Борис
ВАСИЛЬЕВ



ГОСПОДА ВОЛОНТЕРЫ

Господа волонтеры

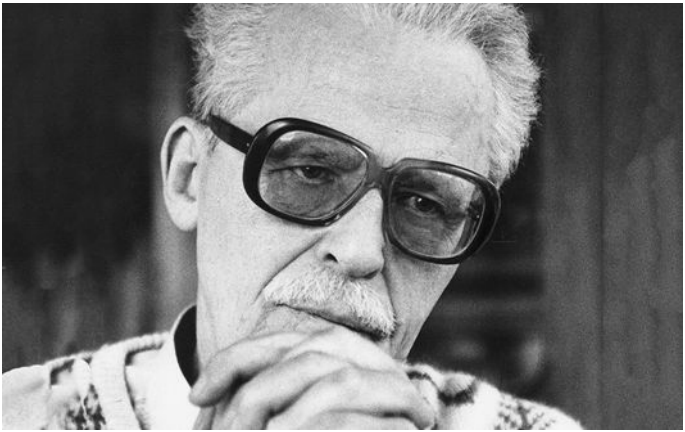
Борис Львович Васильев

Аннотация
Борис Львович Васильев. Господа волонтеры
Часть первая
  Глава первая
  Глава вторая
  Глава третья
  Глава четвертая
  Глава пятая
  Глава шестая
  Глава седьмая
  Глава восьмая
  Глава девятая
  Эпилог
Часть вторая
  Глава первая
  Глава вторая
  Глава третья
  Глава четвертая
  Глава пятая
  Эпилог

Аннотация

Роман «Господа волонтеры» – это первая часть известной дилогии Бориса Васильева «Были и небыли». Действие романа происходит в 70-х годах XIX века в России и на Балканах, где в то время шла освободительная война болгар и сербов против турецкого владычества. Сотни русских, охваченных патриотическим порывом, отправлялись на помощь братьям-славянам, чтобы плечом к плечу сражаться с захватчиками. Среди них – молодые дворяне Олексины, которым предстоит пройти через многие испытания.

Борис Львович Васильев
Господа волонтеры



БорисВасильев
(1924–2013)

© Васильев Б.Л., наследники, 2025
© ООО «Издательство «Вече», оформление, 2025

Часть первая

Глава первая

1

— Господа, прошу не задерживаться, отец Никандр уже прибыл. Господа, прошу не задерживаться, отец Никандр… — Худощавый, болезненно бледный офицер монотонно повторял одну и ту же фразу, стоя у лестницы, ведущей в зал Благородного собрания.

Публики было много, и не только дворянской, ибо в широко разосланных Славянским комитетом билетах особо указывалось на возможное присутствие самого генерал-губернатора, а появление его личного адъютанта подчеркивало серьезность предстоящего события. И шли разодетые мамаши с засидевшимися дочками, отставные полковники, рогожские миллионщики, чиновники и коммерсанты, корреспонденты московских и петербургских газет, студенческая и офицерская молодежь. Гвоздем программы был отец Никандр, только что возвратившийся из Болгарии, свидетель турецких зверств, о которых русские газеты писали из номера в номер со ссылками то на английские, то на австрийские,

то еще на какие-то источники. Сегодня выступал очевидец, и, подогретая газетной шумихой, Москва валом валила в Большой белый зал.

— Господа, прошу не задерживаться…

— Господин капитан, а танцы будут? — бойко спросила хорошенькая барышня, тронув веером порядком уставшего адъютанта.

— О, мадемуазель Лора! — Штабс-капитан поклонился, не забывая при этом со служебной цепкостью оглядывать вестибюль. — Как всегда, в одиночестве гордом? Бросаете вызов московскому обществу? Приветствую вашу решимость в суровой борьбе за эмансипацию и ангажирую вас на весь вечер.

— А что скажет ваша очаровательная жена?

— Она так любит вас, Лора, что будет только счастлива.

— Я подумаю, Истомин. Здесь, случаем, не появлялся высокий шатен?..

— С туркестанским загаром? — улыбнулся Истомин. — Увы, пока нет.

— Скажите ему, что у нас места в третьем ряду слева.

— Непременно, мадемуазель… Господа, очень прошу не задерживаться.

Девушка убежала, прошуршав платьем по мра-

морным ступенькам. К зданию подъезжали и подъезжали экипажи, двери беспрерывно хлопали, пропуская новые группы москвичей; входя, все непременно задерживались в вестибюле, ища знакомых или начиная обстоятельные московские беседы.

— Господа, прошу… — Среди цивильных костюмов мелькнул офицерский мундир, и адъютант прервал привычную фразу. — Олексин! Пожалуйте сюда!

Молодой армейский поручик с надменно прямой спиной вынырнул из-за рыхлых сюртуков.

— Рад вас видеть, Истомин. Дежурите?

— Изображаю вопиющего в пустыне. О, поздравляю с производством, поручик. Говорят, вы недавно совершили приятный вояж?

— Не шутите, Истомин, я чудом не помер от жажды в Кызылкумах.

— Но зато удостоились поцелуя в уста от самого Скобелева. Правда это, или легкая зависть преувеличивает ваши успехи?

— Если бы я вам привез именной Его Величества указ о зачислении в свиту, вы бы тоже расцеловали меня. А именно такой подарок я и доставил Михаилу Дмитриевичу на позиции.

— От души поздравляю. — Адъютант пожал

руку поручику. — А награда ждет вас в третьем ряду слева.

— Здравствуйте, господа. Кто ждет в третьем ряду? — К ним подошел рыжий, весь в веснушках, подпоручик гвардейской артиллерии. Коротко, как добрым знакомым, кивнул и тут же картинно прикрыл рукой явно искусственный зевок.

— Не вас, Тюрберт, не вас, — сказал Истомин. — Ждут нашего среднеазиатского героя. Он умирал от жажды, когда вы опивались шампанским, и теперь его час. Ступайте, господа, мне необходимо очистить вестибюль к приезду его превосходительства.

— Мне чертовски скучно в Москве, Олексин. — Тюрберт опять зевнул. — Я устал от отпуска, ей-богу. Вы всплыли наверх, а наверху всегда ветерок славы, хотя бы и чужой. И вы уже, вероятно, не понимаете меня, господин счастливчик.

Олексин и вправду ощущал дуновение чужой славы, которую по молодости склонен был разделять, искренне считал себя счастливчиком, был влюблен и любим и поэтому великодушно и необдуманно щедр. Он не только проводил подпоручика в третий ряд, не только представил его мадемуазель Лоре как своего ближайшего друга, но и уступил свое место, а сам отошел к колонне,

гордо посматривая на рыжего артиллериста, неприятно удивленную девушку, а заодно и на весь переполненный зал. Он был чрезвычайно, до легкого головокружения, доволен собой, своим великодушием, фигурой, мундиром, молодостью — словом, всем миром, лежащим сейчас у его ног. «Смотрите, смотрите! — слышалось ему в нестройном шуме зала. — Видите у колонны молодого поручика? Это же Олексин! Да, да, тот самый Гавриил Иванович Олексин, личный курьер Его Величества, который с риском для жизни доставил Скобелеву именной указ прямо на поле боя!..» Никто, естественно, не обращал никакого внимания на офицера, никто не говорил о нем, да и говорить, собственно, было нечего, поскольку невероятные трудности, пески, перестрелка, жажда и само поле боя существовали только в воображении молодого человека. Он и в самом деле доставил указ, но ни в делах, ни в походах участия не принимал, так как на следующий же день был с эстафетой отправлен в Петербург. Однако он исполнил оба поручения быстро и четко, был тут же произведен в поручики и теперь, вернувшись в Москву, чувствовал себя если не на вершине, то на подъеме к вершине славы, успехов и карьеры. И, пребывая в молодом ослеплении, слышал то,

чего не было, и не замечал того, что было.

На сцене появились члены Славянского комитета, в зале наступила выжидательная тишина, и председательствующий объявил о выходе отца Никандра.

Отец Никандр был весьма пожилым, но далеко еще не старым человеком. Он много ездил по поручениям церкви и по своим надобностям, много видел, часто выступал с просветительскими и благотворительными целями, писал статьи и заметки, состоял членом многочисленных комиссий и комитетов. Его хорошо знала московская публика всех сословий как страстного поборника православия и христианской морали, любила слушать, привыкла к нему, но сейчас по залу пробежал легкий ропот: всегда строго и тщательно одетый, священнослужитель вышел на сцену в пропыленной, покрытой странными ржавыми пятнами простой дорожной рясе, с почерневшим и погнутым медным крестом на груди.

— Актерствует отец, — насмешливо сказал студент рядом с Олексиным.

Отец Никандр начал говорить, и на студента зашикали. Гавриил посмотрел в третий ряд, где рыжая голова артиллериста почти нависла над худеньким плечиком мадемуазель Лоры, нахму-

рился и как-то пропустил гладкое и неторопливое начало выступления. Он видел лишь шевелящийся, как у кота, ус над розовым ушком, чувствовал досадную тревогу и словно вдруг оглох.

— …я ехал по выжженной, вытоптанной и напоенной кровью стране, — донеслось до него наконец. — И если бы не заброшенные кукурузные нивы, если бы не изломанные виноградники, я мог бы подумать, что Господь перенес меня через столетия и я еду по родной Руси после нашествия Батыя. Увы, я был не в Средневековье, я путешествовал по европейской и христианской — услышьте же это слово, господа! — христианской стране в конце просвещенного девятнадцатого столетия!

Шепот прошелестел по залу, и опытный оратор сделал паузу. Его сдержанный, спокойный и полный горечи пафос отвлек Гавриила от досадных дум и подозрений; он не смотрел более в третий ряд, он слушал.

— Мы ехали медленно, очень медленно, потому что на дороге то и дело попадались неубранные, уже тронутые тлением трупы. Лошади останавливались сами, не в силах сделать шаг через то, что некогда было венцом божьего творения; мы выходили из кареты, мы рыли ямы близ дорог, и

я совершал последний обряд, не зная даже, как назвать душу, что давно уже предстала пред Богом. «Господи, — взывал я, — прими душу в муках почившего раба твоего, а имя ему — человек».

Он снова сделал паузу, и в мертвой тишине отчетливо было слышно, как судорожно всхлипнула женщина.

— Воздух пропах тлением, смрадом пожарищ, кровью и страданием. Великое безлюдье и великая тишина сопровождали нас, и лишь бездомные псы выли в отдалении, да воронье кружилось над полями. Цветущая земля Болгарии была превращена в ад, и я не просто ехал по этому аду, я спускался в него, как Данте, с той лишь разницей, что это была не литературная «Божественная комедия», а реальная трагедия болгарского народа. Я потерял счет замученным, коих отпевал, я потерял счет уничтоженным жилищам, я потерял счет кострам и виселицам на этой земле. Я думал, что достиг дна человеческой жестокости и человеческих страданий, но я ошибся: Бог послал мне страшные испытания, ибо человеческая жестокость воистину есть прорва бездонная.

Вечерело, когда смрад стал ужасным. Кучер погонял лошадей, но они лишь испуганно прядали

ушами, а потом и вовсе остановились, точно не в силах идти дальше. Мы вышли из кареты. Левее от нас на возвышенности еще дымилось, еще догорало огромное село. Клубы смрадного дыма сползали к дороге, окутывая ее точно саваном. Нечем было дышать от пропитанного миазмами разложения липкого, жирного дыма. Там, наверху, находилось нечто ужасное, распространявшее на всю округу тяжкий дух смерти, и я не мог не увидеть это воочию. Прочитав молитву, я медленно тронулся в догоравшее селение. Я шел один, вооруженный лишь Божьим именем и человеческим состраданием, я шел не из праздного любопытства, а в слабой надежде найти хоть единое живое существо и вырвать его из лап смерти. Я пробирался через горящие обломки зданий по улицам села, и смрад усиливался с каждым моим шагом. Я задыхался, я хрипел, весь покрывшись потом, но шел и шел, направляясь к церкви и надеясь, что там, в доме молитвы, найду кого-либо из тех, кто еще нуждается в помощи. Но совсем скоро я замер, не в силах сделать ни шагу: я наткнулся на труп. Жалкий, сморщенный, полуобгоревший трупик ребенка валялся посреди бывшей улицы — той улицы, на которой совсем недавно протекала вся его веселая детская

жизнь, где он играл и дружил, откуда вечерами его никак не могла дозваться мать. Я подумал о его матери и не ошибся: я увидел ее рядом, в двух шагах, с черепом, раскроенным зверским и неумелым ударом ятагана. Она тянула руки к своему ребенку, она, мертвая, звала его к себе. В ужасе оглянулся я окрест и всюду, куда только достигал мой взгляд, — под тлевшими остатками домов, во дворах, на обочинах и просто средь дороги — всюду видел трупы. Трупы детей и женщин, девушек и юношей, мужчин и старцев. Трупы росли, трупы вздымались горами, трупы тянули ко мне синие руки. Я шел как в страшном сне, вцепившись в крест и творя молитву.

Так, обходя трупы и просто перешагивая через них, когда обойти было невозможно, продолжал я свой страшный путь. Я не задохнулся от смрада, не захлебнулся от рыданий, не потерял сознание от ужаса: я выдержал испытание, я уверовал в свои силы. Но когда я вошел в церковный двор, я понял, что никаких человеческих сил не хватит, чтобы вынести то, что мне предстало: весь двор был завален человеческими телами. Весь двор, от стены до стены, от церкви до ворот, в несколько слоев! Четвертованные обрубки, бывшие некогда мужчинами, девичьи головы с заплетенными ко-

сичками, изрубленные женские тела, иссеченные младенцы, седые головы старцев, проломленные дубинками, — все это со всех сторон окружало меня, все это давило и теснило меня, и я не мог сделать ни шагу. Я был в самом центре царства мертвых. И тогда я завопил. «Господи! — кричал я, и слезы текли по моим щекам. — За что ты столь страшно испытываешь смирение мое, Господи? Вложи меч в руки мои, и я воздам зверям в облике человеков. Вручи мне меч, Господи, ибо силы мои на исходе от испытания твоего! Вручи мне меч!..» Так кричал я над телами моих братьев и сестер, принявших лютую смерть из рук башибузуков. Кричал, пока не истощились силы мои и не рухнул я на колени в запекшуюся кровь. Я рыдал и молился и встал, осознав долг свой. Долг этот придал мне сил: я не только дошел до кареты, но и еще раз проделал весь путь от дороги до церкви, захватив с собой все необходимое для требы. Когда мы вернулись на церковный двор, уже стемнело и взошла луна. Кучер-болгарин рыдал, упав ниц и грызя окровавленную землю, а я отслужил панихиду по невинным страдальцам, земно поклонился и поклялся, пока жив, рассказать миру, что творится в несчастной Болгарии.

Мы не спали ночь, притомились и потому оста-

новились на отдых в полдень недалеко от места чудовищной гекатомбы. Это был небольшой постоялый двор на перекрестке, принадлежащий испуганному, тихому и немолодому болгарину. В доме находилась жена хозяина, исплаканная и почерневшая от горя, и их дочери, десяти и шестнадцати лет. Я спросил о стертом с лика земли селении; хозяйка, а вслед и дочери начали рыдать, а хозяин тихо и горестно поведал мне, что селение называлось Батак, что жители его встали против произвола османов и были поголовно вырезаны в страшную ночь и еще более страшный день. Хозяева и сами были родом из Батака, но находились здесь и потому уцелели, а все их имущество было разграблено и предано огню, все их родственники и единственный сын, по их словам, погибли в резне, учиненной озверелой толпой башибузуков. Это случилось совсем недавно, всего несколько дней назад, но окрестные жители боялись приблизиться к селению, страшась мести башибузуков, и я был первым, кто взошел на эшафот после ухода палачей. Я мог бы многое поведать вам с его слов. Я мог бы рассказать, как ятаганами рубили материнские руки, чтобы вырвать из них младенцев и бросить их в огонь. Я мог бы рассказать, как стреляли в

набитую людьми церковь, набитую настолько, что пули пронзали по нескольку человек кряду, а убитые оставались стоять, ибо пасть им было некуда. Я мог бы рассказать, как зверски, на глазах отцов и матерей, насиловали девочек прямо на окровавленной земле, а утолив животную похоть, отводили их на мост, где и отрубали им головы, соревнуясь в лихости удара. Я многое мог бы рассказать, но я пощажу ваши чувства.

Я не помню, кто первым крикнул знакомое нам, но — увы! — страшное в Болгарии слово «черкесы». Я ничего еще не успел понять, как мать бросилась предо мною на колени, умоляя спасти ее старшую дочь. Спасти не от смерти, нет, — кажется, они уже не боялись смерти! — спасти от неминуемого и мучительного позора. «У меня в доме есть тайник, но в нем не поместятся двое. Умоляю вас, господин, спасите мое дитя! Заклинаю вас именем Бога и матери вашей, спасите!» Я сам отвел дрожавшую от страха старшую девочку в свою карету, уложил ее на пол, накрыл ковром, а поверх навалил багаж. И вовремя: к дому уже со всех сторон с гиканьем неслись всадники. Они мгновенно окружили дом, вытолкали всех во двор и поставили у стены. Все делалось молча и дружно; лишь один — очень молодой, в про-

стой черкеске, но с богатым оружием — стоял в стороне, не вмешиваясь в суету и не отдавая никаких распоряжений, хотя был их вождем, что я понял сразу.

Пока черкесы грабили дом, вынося все, что представляло хоть какую-то ценность, или попросту круша и ломая, если вынести было невозможно, этот последний через суетливого переводчика-болгарина приступил к допросу хозяина: «Где твой сын?» — «Не знаю», — сказал старик. «Он врет, эфенди! — закричал переводчик. — Его сын сражался в Батаке!» — «Стыдно врать такому почтенному человеку, — сказал черкес. — А где твои дочери?» — «Не знаю», — тихо, но с непоколебимым упорством повторил отец. Двое услужливых арнаутов взмахнули нагайками. Они хлестали старика по лицу, плечам, голове. Он не защищался, только прикрыл глаза. На седой щетине его лица показалась кровь. «В чем вина этого человека, бек?» Я сознательно крикнул по-русски. И по-русски получил ответ: «Его вина понятна каждому: не надо было рождаться болгарином. А ты кто? Поп?» — «Я представитель Русской православной церкви и сейчас возвращаюсь в Россию из Константинополя, — сказал я. — Фирман султана разрешает

мне беспрепятственный проезд». В это время его воины подошли к моей карете с намерением обшарить и ограбить ее, как ограбили дом. Еще мгновение — и они открыли бы дверцы. «Назад! — закричал я. — Мое имущество неприкосновенно! Я повелеваю именем Его Величества султана!» — «Оставьте его карету, — приказал бек. — К сожалению, мы еще не воюем с Россией. Но берегись, монах, попасть ко мне в руки, когда это случится!» Я мысленно возблагодарил Господа, увидев, что черкесы отходят от кареты. А допрос тем временем продолжался. «Как зовут твоего сына, старик?» Старик молчал. «Это он, он! — суетливо кричал переводчик. — Его сына зовут Стойчо, я знаю эту семью!» — «Зато эта семья не знает тебя, иуда», — сказал старик и плюнул под ноги переводчику. Над ним вновь взвились нагайки, но бек остановил арнаутов. «Мы ищем убийцу, которого зовут Стойчо. У него рассечена голова, за это его уже прозвали Меченым. Три дня назад он зарубил турецкий патруль в горах. Я спрашиваю тебя, старик, что ты знаешь о Стойчо Меченом? Подумай, прежде чем солгать. А пока мои люди поищут твоих дочерей, может быть, это развяжет твой поганый язык. Где твои дочери, старуха?» — «Они ушли, они далеко отсю-

да. — Мать пала в ноги, ползала в пыли, пытаясь поцеловать сапог черкеса. — Эфенди, пощади нашу старость! Мы смирные люди, эфенди, мы ни в чем не виноваты!» — «Болгары не бывают невиновными, — сказал бек. — Лучше добровольно покажи, где прячешь дочерей, старая ведьма!» — «Их нет здесь, нет, эфенди!» — «Тогда мы найдем их сами». Бек подал знак, и дом вспыхнул, подожженный со всех сторон. Онемев от ужаса, отец и мать смотрели, как пламя пожирает их жилище, а заодно и дочь, спрятанную в нем. «Молись! — властно крикнула мать, заметив, как вздрогнул и шагнул к дому старик. — На колени!» Она рухнула на колени и начала горячо, неистово горячо молиться за упокой сгоравшей заживо дочери. Старик дрожал крупной дрожью, а черкесы с живейшим любопытством смотрели на бушующее пламя. Из дома раздался душераздирающий крик ребенка. Черкесы засмеялись, а мать продолжала молиться: она предпочитала мученическую смерть дочери ее бесчестью. Но отец не выдержал. Пользуясь тем, что на него не обращали внимания, он схватил тяжелую дубину и занес ее над головой. Черкес, над которым взметнулась она, успел вырвать из ножен шашку, но шашка разлетелась пополам, и узловатая

дубина обрушилась на его голову. Черкес упал, и в тот же миг полдюжины шашек блеснули в воздухе. Они со свистом и яростью полосовали упавшего наземь старика, кровь брызгала во все стороны, трещало пламя, все еще нечеловечески кричала сгоравшая заживо девочка, а старуха… Нет, она уже не молилась. Поднявшись на ноги, она извергала проклятья! Блеснула шашка, седая голова старухи покатилась с плеч, и это было последним, что я увидел. Я потерял сознание и упал в лужу крови рядом с изрубленным в куски стариком.

Когда я очнулся, черкесы уже ушли, захватив с собой раненого сообщника. Я поднялся и только тогда увидел, что рядом с обезглавленной матерью молча стоит на коленях старшая дочь, распустив по плечам длинные черные волосы. Я сказал ей, что мы возьмем ее с собой, но она отвела руку, которой я коснулся ее плеча, подняла с земли обломок черкесской шашки и коротко обрезала свои роскошные косы. «Я буду мстить, — сказала она. — Клянусь тебе, мать, тебе, отец, тебе, сестра. Я буду мстить за вас и за Болгарию, пока не отрастут мои волосы». И ушла в горы. Мы кое-как разворошили догоравший дом, извлекли оттуда останки несчастного ребенка и с честью

похоронили трех мучеников в одной могиле. На пожарище я нашел этот крест и тогда же надел на себя. А в этой рясе я был там, на постоялом дворе, пятна на ней — это кровь болгарских мучеников, наших братьев и сестер!..

Отец Никандр замолчал, но в зале уже не было тишины. Рыдали женщины, хмуро, скрывая волнение, покашливали мужчины, и глухой гул перекатывался из конца в конец. Выждав длинную паузу, священник снова поднял руку:

— Трагедия Батака и безымянного двора, быть свидетелем которой меня поставил Господь, неожиданно вновь всплыла передо мной на страницах одной из румынских газет. Вот что там говорилось. — Он достал газету и начал читать: — «По сообщениям осведомленных турецких источников, подтвержденным болгарскими беженцами, в Болгарии на территории горного массива Стара Планина действуют хорошо организованные отряды инсургентов. Особую популярность среди болгарского населения завоевал некий Стойчо Меченый, ярость и отвага которого наводят ужас на местные турецкие власти». Слава тебе, мститель за муки Болгарии, Стойчо Меченый! Молю Господа Бога нашего, чтобы продлил он дни твои на земле и вложил

в твое сердце еще более яростную ненависть к палачам твоего народа. Знай же, что мы, твои русские братья, будем не только молиться, но и готовиться. Готовиться к тому знаменательному дню, когда великая Россия придет на помощь православной Болгарии, изнемогающей под гнетом мусульманской Порты! Да будет так!

Отец Никандр осенил себя широким крестным знамением и торжественно поцеловал тусклый наперсный крест. И зал словно взорвался. Вскакивали с мест, кричали, плакали, потрясали кулаками. Это было похоже на массовое сумасшествие, если бы не та искренность, с которой выражала взбудораженная публика свои чувства.

— Мщения! — кричал багровый полковник, потрясая кулаком. — Мщения!

— Жертвую! — басом вторил дородный купчина, и слезы текли по окладистой ухоженной бороде. — Капиталы жертвую на святое дело! Жертвую, православные!

— Подписку! Организовать подписку! Всенародно!

— Петицию государю! — кричали молодые офицеры. — Петицию с просьбой о добровольческом корпусе!

— Все пойдем! Все как один!

Гавриил кричал со всеми вместе. Он вдруг позабыл и о мадемуазель Лоре, и о рыжеусом артиллеристе-сопернике, он был весь во власти высокого и прекрасного вдохновения. Протолкавшись сквозь ряды кричавших мужчин и рыдавших дам, он пробрался к сцене, решительно отодвинул шагнувших к нему членов Комитета и опустился на колени перед отцом Никандром.

— Отче! — громко и четко сказал он, перекрыв шум, и зал невольно примолк. — Благословите первого русского волонтера, отче.

2

Патетический жест офицера неожиданно для него получил широкую известность. Проталкиваясь к сцене, Олексин и не думал о последствиях: его захватил всеобщий порыв, восторженный пафос публики. Его обнимали, благодарили, целовали, ему жали руки — и все это прилюдно, все это в напряженном поле человеческих чувств, единых и искренних, по крайней мере в этот момент. Он был тут же введен в члены Славянского комитета, корреспонденты наперебой расспрашивали его о том, что было и чего не было, что будет и чего не может быть; он стал

вдруг центром кристаллизации уже подготовленного, уже перенасыщенного раствора. Он собственной волей взлетел на орбиту, но взлетел так точно, так вовремя, что был тут же подхвачен посторонними силами, направлен и раскручен ими в соответствии с внутренними законами общественного движения и теперь уже не мог самостоятельно вернуться в прежнее приземленное состояние, даже если бы и захотел этого.

И Олексин увлекся. Шли бесконечные заседания, собрания, совещания, рауты и вечера, и начальство безропотно отпускало ставшего вдруг знаменитым поручика по первой его просьбе. Даже публикация в газетах, в самых восторженных тонах освещающая его «святой порыв», не вызвала неудовлетворения командования, хотя армия терпеть не могла газетных сообщений о тех или иных поступках офицеров. Олексин ожидал бури, и тучи в лице посыльного от самого полкового командира не замедлили показаться на горизонте. Поручик тут же явился и отрапортовал.

Командир полка, седой и кряжистый, как заиндевевший дуб, неодобрительно сдвинул косматые брови и дважды разгладил усы — признак, не предвещающий ничего хорошего.

— В газетки попали? И полк упомянут полно-

стью. Извольте объяснить, чем обязаны такой славе?

Гавриил коротко обрисовал ситуацию и в двух словах — свои чувства. Он сознательно о чувствах говорил мало, надеясь развить эту тему впоследствии, если старик начнет разнос. Командир молча выслушал, снова дважды провел по усам.

— Не одобряю, — пробасил он. — В наше время эдакого не случалось. А уж коли случилось бы — адью! Скатертью дорога. Однако в искренности не сомневаюсь, за сдержанность хвалю. Только уж коли назвались груздем, так первым в кузовок полезайте, первым, поручик. Еще раз — молодец.

Общественная деятельность настолько поглотила Олексина, что все его дела вынужденно отошли на второй план. Конечно, он не забыл о мадемуазель Лоре, в которую, как казалось ему, был влюблен страстно и искренне, но с молодым максимализмом считал, что дело, которым он занимается, и есть самое главное, а посему Лора должна терпеливо ждать, когда придет ее черед. Но Лора ждать не желала, справедливо полагая, что на свете нет дел, мешающих влюбленному проявить внимание. Сначала это была обида, незаметно подогреваемая намеками и шутками Тюрберта, потом… потом — женская месть,

избравшая своим орудием все того же рыжего артиллериста: Лора постоянно бывала с ним в тех же местах, где знали и Гавриила, отчаянно веселилась и отчаянно кокетничала, ожидая, что ревность образумит новоявленного общественного деятеля. Однако Олексин то ли не замечал ее контрмаршей, то ли терпеливо сносил их. Лора встревожилась не на шутку и стала избегать рыжего подпоручика. Но Тюрберт к тому времени уже основательно увлекся ею — кстати, и партия была вполне подходящая, — а потому и решил действовать сам и выбить противника из седла. Этим пресловутым седлом для Гавриила была служба; рыжий подпоручик правильно понял это и повел огонь по всем канонам артиллерийской науки.

Да, Гавриил очень гордился службой в привилегированном московском полку. Ему нравилась форма, он любил строй, разводы и ученья и искренне плакал от восторга и умиления, впервые присутствуя на высочайшем смотру. Он мечтал о карьере и славе, о чинах и наградах, о благосклонности государя и любви товарищей по полку. Он свято верил, что добьется того положения, которого не добился его отец, скандально уволенный в отставку по строптивости характера, и уже пре-

успел по службе, исполнив почетное поручение и получив чин поручика. Он был хорошим товарищем и примерным офицером, офицером на виду, с множеством полезных знакомств, несмотря на просчеты домашнего воспитания, отсутствие связей и тощий кошелек. И даже разовый, позорный, по сути, мальчишеский проигрыш в карты в самом начале карьеры, о котором он всегда вспоминал с приливами запоздалого стыда, оказался плюсом в его офицерской биографии, укрепив за ним славу беспутного малого, для которого деньги существуют постольку, поскольку их можно проиграть. Изо всех сил тянулся за родовитыми офицерами, хватая на лету их словечки и привычки, манеру говорить, походку, даже клички лошадей. Временами казалось, что у него уже ничего не осталось своего, что он словно бы растворился в среде, которую имел все основания считать своей, которой поклонялся и которой восхищался. Ему почудилось, что после удачной командировки и внезапного общественного взлета он уже стал равным им — им, швыряющим десятки тысяч на любовниц и кутежи, проигрывающим состояния в карты и покупающим лошадей за баснословную цену только для того, чтобы завтра же загнать их на первой же скачке.

Так чудилось ему, чудилось, пока…

— Господа, я вычитал любопытнейшую штучку. Оказывается, помесь жеребца с ослицей — кровного, заметьте, жеребца с робкой рабочей скотинкой — называется лошаком! Смешное словечко, господа, не правда ли? Ло-шак! Он наследует жеребячью силу и ослиную тупость, а посему абсолютно незаменим в обозе. Но не в армии, господа, отнюдь не в армии!

Это было в офицерской компании, шумно обсуждавшей только что вспыхнувшее восстание в Сербии. Опоздавший Тюрберт, наплевав на сербские дела, прямо с порога выложил почерпнутые из словаря сведения, в упор глядя на Гавриила. Все почему-то начали смеяться и острить, и Олексин смеялся и острил, хотя сразу понял, в чей огород полетел камешек, и лицо его заполыхало помимо воли. Но он изо всех сил смеялся и изо всех сил острил, стараясь не встречаться с Тюрбертом взглядом и все время ощущая, что рыжий подпоручик смотрит на него, насмешливо улыбаясь. Тогда у него хватило выдержки не понять, и Тюрберт отложил второй залп. Он произвел его через три дня — уже в другом доме, в присутствии мадемуазель Лоры.

В этот вечер Лора упорно не замечала Тюрбер-

та, отдав все свое обаяние, внимание и кокетство Гавриилу, специально ради нее пришедшему сюда. Жертва была велика, Лора оценила ее и пыталась не просто отблагодарить, но и закрепить свой первый успех в борьбе с общественной деятельностью потенциального жениха. Тюрберт учел ситуацию и решил идти ва-банк.

— Пахнет лошаком, господа, неужели не ощущаете? Странно. Этакий специфический запах: смесь навоза, щей и сивухи. Кстати, Олексин, отчего бы вам не сволонтерить в Сербию?

Если бы Гавриил сумел не расслышать этих слов или, на худой конец, дал бы подпоручику пощечину! Но он не сделал ни того ни другого. Он растерялся, покраснел и тут же ушел, ничего никому не объяснив. И лишь на другой день прислал Тюрберту форменный вызов.

— Я бы подстрелил Олексина не без удовольствия, но боюсь, господа, что может пострадать честь дамы, — сказал Тюрберт присланным секундантам. — А своему другу порекомендую послужить в обозе на благо отечества: на лошаках хорошо пушки возить.

При первом же намеке на Лору Гавриил отказался от вызова, и после этого оставалось лишь уйти в отставку: кодекс чести не прощал офицеру,

ставшему мишенью острот, если офицер этот не находил приличного предлога для дуэли. Олексин его не нашел, получил афронт и покрыл себя позором. Оставался последний выход: Сербия; он подготовил этот выход публичными заверениями и общественной суетой. Поставить крест на военной карьере во имя спасения братьев-славян от османского ига — выход, не требовавший объяснений, а их-то Гавриил и боялся пуще всего.

Объяснений и впрямь не требовалось, но отставки ему не дали. Пришлось переписать рапорт и вместо отставки получить годичный отпуск «по семейным обстоятельствам». Он согласился на него, втайне решив через год все же настоять на окончательной отставке.

А поездка в Сербию все откладывалась и откладывалась. И вместо того чтобы ехать самому, Олексин встречал, провожал, поздравлял и напутствовал тысячи русских волонтеров, сплошным потоком ринувшихся в далекую и незнакомую Сербию. Ехали офицеры и студенты, рядовые казаки и отставные полковники, мещане и земские деятели, купеческие сынки и крестьянские дети. Ехали «мстить нехристям» и с оружием в руках отстаивать чужую свободу; ехали за крестами и карьерой; ехали из любознательности и из равно-

душия; ехали посмотреть мир или просто хоть на время удрать из родного отечества, чтобы полной грудью вдохнуть свежий ветер борьбы вдали от голубых мундиров. Ехали все, кто хотел и кто мог, — не ехал лишь поручик Гавриил Олексин. Волонтер номер один.

3

В эту ночь в последний раз пели соловьи. По смоленской традиции девушки выходили в сады и слушали последние песни, млея от восторга и ожидания. В полночь бдительные мамаши отправляли их спать, но девушки все равно не спали, слушая соловьев в постелях и до утра мечтая о женихах. Непременно статных, красивых, удачливых и добрых.

Варе Олексиной никто не приказывал идти спать: в их городском доме она оставалась единственной хозяйкой. И недавно представленному ей молоденькому прапорщику, стоявшему на квартире в пустующем купеческом доме, тоже никто не приказывал. Молодые люди, восторгаясь, долго слушали соловьиные переливы, глядя друг на друга через забор, разделявший сад, а потом слово за слово разговорились, соловьи отошли на второй план, и офицер перепрыгнул

через ограду.

— Варвара Ивановна, умоляю вас, не пугайтесь. Позвольте мне постоять подле вас и, если не возражаете, выкурить две папиросы.

Варя испугалась, но не подала виду, решив, что всегда успеет убежать, если молодой человек вздумает вести себя непочтительно. Но прапорщик был вполне корректен, даже застенчив, говорил тихо и интересно, держал себя на расстоянии, и Варя вскоре забыла о своих девичьих страхах. Прапорщик рассказывал о Кавказе, откуда только что приехал, о мирных и немирных горцах, о тоскливой службе в крохотном гарнизоне, куда ему предстояло вернуться всего через несколько дней. Соловьи звенели восторженно и любовно, ночь была нежной и таинственной, а их возраст — возрастом бессонниц, смутных тревог и отважного желания идти навстречу друг другу. И вскоре они уже сидели рядом, и стук их сердец давно уже заглушил все соловьиные трели.

Очнулась она внезапно, как со сна, от далекого тележного грохота, что отчетливо слышался в тихом рассветном воздухе. Оттолкнула прапорщика, вскочила со скамьи, на которой забылась в объятиях, и опрометью бросилась в дом, лихорадочно застегивая кнопки на распахнутом

вороте блузки.

— Варя! Варенька, подождите! Два слова, Варенька, умоляю, два слова!

Она не оглянулась, влетела в дом, захлопнула за собой дверь и привалилась к ней, точно боялась, что прапорщик ворвется следом. И почему-то все время слышала нарастающий тревожный тележный грохот.

С этим грохотом с Киевского шоссе влетела в Смоленск легкая таратайка. Промчалась по пустынной, усыпанной сенной трухой площади, миновала Молоховские ворота, мелькнула на Благовещенской и остановилась у одноэтажного особняка на чинной Кадетской улице. Возница — крепкий мужик с косматой гривой, но аккуратно подстриженной бородой — ударил кулаком в загудевшие ворота:

— Семен!

Неистово залаяли собаки, где-то хлопнула дверь. К воротам степенно шел заспанный дворник. Почесывался, зевал, крестил заросший рот, важно гремел ключами.

— Кого надо?

— Отчиняй, Семен!

— Захар Тимофеич? — Дворник, забыв и сон, и степенность, засеменил к воротам. — Счас, счас.

Спозаранку прибыли, Захар Тимофеич, ночью, стало быть, из Высокого-то выехали. Ай, лошадку загнали, ай! Дело, стало быть, срочное? А барышня спит и не чает…

Без умолку говоря и не заботясь при этом, слушают его или нет, Семен открыл наконец огромный ржавый замок, сдвинул засовы, распахнул заскрипевшие ворота.

— Здравствуйте вам, Захар Тимофеич!

— Аня померла. — Захар снял картуз, вытер изнанкой мокрое лицо. — Аня наша померла вчера, Семен.

— Господи! — Крупное заросшее лицо дворника задрожало, и, чтобы скрыть эту дрожь, он по-бабьи прижал ладонь ко рту. — Анна Тимофеевна? Господи, Боже ты мой, Господи! Упокой душу рабы твоея.

— Отмучилась заступница наша, — дрогнувшим голосом сказал Захар и тут же, словно злясь на себя за секундную слабость, крикнул сердито: — Ну, чего рассоплился? Коня прими, выводи да не напои с похмелья-то! Смотри у меня!

Крупно, по-хозяйски зашагал к крыльцу. Не доходя, швырнул кнут в клумбу с отцветающими пионами, взошел по ступеням и скрылся за тяжелой дверью, держа в кулаке смятый картуз.

В доме уже проснулись. Полная экономка в капоте и старинном чепце, услышав новость, затряслась, замахала руками.

— Полно, Марфа Прокофьевна, не вернешь. — Захар помолчал, теребя картуз. — Буди барышню.

Барышня вышла сама. Остановилась в дверях, вцепившись в косяки:

— С мамой?

— Нету маменьки, Варвара Ивановна, — глухо сказал Захар. — Нету больше сестрицы моей Анны Тимофеевны.

И тяжело, грузно опустился на стул, чего никогда не делал в присутствии барышни Варвары Ивановны Олексиной.

Варя не закричала, не вздрогнула, только лицо ее, став белее блузки, словно опустилось, поехало вниз, к закушенной губе и отяжелевшему вдруг подбородку. Она ни о чем не спрашивала, пристально, не моргая глядя на Захара огромными материнскими глазами.

— Вчера еще песни играла. Потом полоть пошла. Знаешь, там, у пруда, где огороды заложили.

— Полоть! — неожиданно громко и резко сказала Варя. — Ей ведь нельзя полоть, нельзя

работать.

— Да нешто это работа, — вздохнул Захар: ему не дышалось, и он все время вздыхал. — Это ж так, в потеху. Разве ж мы дали бы ей? А тут только нагнулась и — в ботву.

Дом уже полностью проснулся: хлопали двери, шуршали юбки, скрипели половицы. В задних комнатах кто-то плакал, все говорили шепотом, и только резкий голос Вари звучал громко и отрывисто:

— Врача догадались?

— Сразу же за лекарем послали: у господ Семечевых лекарь из Петербурга гостит. Приехал вскорости, да не помог: к вечеру преставилась.

Захар замолчал, ожидая вопросов, но Варя больше ни о чем не спрашивала, все так же пристально глядя на него. Из всех дверей выглядывали женские лица.

— К полудню привезут, — сказал он, поняв ее молчание. — Подготовить все надо.

— Телеграммы, — опять перебила Варя. — Батюшке и Гавриилу в Москву, Феде в Петербург, Васе в Америку. В Америку телеграммы принимают?

— Не знаю, барышня.

— Узнаешь на телеграфе. Со станции отправляй,

оттуда скорее доходят. Идем, я запишу адреса.

Варя оторвалась от косяков, качнулась. Захар вскочил, чтобы поддержать ее, но она отстранилась и пошла вперед, чуть откинув голову над прямой, как струна, спиной.

Они прошли в тесный кабинетик, где стояло старинное бюро, шкафы с книгами и уютное кресло, в котором лежал раскрытый журнал. Варя сразу начала писать, а Захар остановился в дверях.

— Прими журнал и садись, — сказала она, не оглядываясь. — Как написать, когда будем? — Она замолчала.

— Хоронить-то? — Он подумал. — Раньше субботы не получится. Из Москвы сутки езды, а из Петербурга да с пересадкой еле-еле в трое суток Федя управится.

— Я пишу всем одно. В четыре адреса: два в Москву, один в Петербург и один в Северо-Американские Соединенные Штаты.

— А зачем в Штаты телеграмму? Вася все одно к похоронам не поспеет, для чего же пугать? Может, письмо? Письмо спокойнее.

— Письмо? — Варя по привычке покусала нижнюю губу. — Пожалуй, ты прав, письмо лучше. Я напишу, а ты ступай на телеграф. Коня сильно

загнал?

— Это есть.

— Возьмешь мою пару. Распорядись там. — Она протянула синеватый листок дорогой глянцевой бумаги. — Отправишь со станции.

Он покивал, соглашаясь. Первые распоряжения были отданы, и вместе с ними словно бы закончились и их деловые отношения. Они оба почувствовали это, вновь ощутили утрату и пустоту, ту страшную пустоту, что рождают такие утраты. Хотелось что-то сказать, утешить, ободрить или просто поплакаться, но это было и невозможно, и ненужно, и они молчали, стоя друг перед другом.

— Ну, ступай, — тихо и мягко сказала Варя. — Ступай, мне одеться надо.

— Поплачь, Варя, — вдруг глухо сказал он, опустив кудлатую голову. — Поплачь и за упокой помолись. Полегчает.

— Хорошо, — сказала она, словно не слыша его. — Месяц до сорока не дожила. Как странно все.

Захар вздохнул, закивал горестно и пошел через залу к выходу, стуча подковками новых сапог по натертому паркету.

Варя прошла к себе, в смежную с кабинетом

комнату. Остановилась в дверях, крепко обняв плечи скрещенными руками и незряче глядя на несмятую постель. На этой постели всегда спала мама в редкие приезды из усадьбы. Тогда Варя стелила себе на диване, что стоял тут же, у противоположной стены, и они говорили с мамой до глубокой ночи.

Мама не любила город, терялась в нем и даже не ездила за самыми необходимыми покупками. Дети унаследовали от нее эту сковывающую застенчивость, но Варя пошла в отца, только глаза были мамины. Она единолично распоряжалась домом с той поры, как кончила пансион: вела хозяйство, делала покупки для усадьбы в Высоком, следила за ученьем младших братьев и сестер, регулярно писала старшим и отцу, хотя отец никогда не отвечал на письма, ограничиваясь скупыми поздравлениями на Пасху и Рождество.

Варя была центром их огромной разбросанной семьи, но душой этой семьи всегда оставалась мама, маленькая тихая женщина, до самой смерти не разучившаяся краснеть в присутствии посторонних. Мама безошибочно находила самые простые и теплые слова, самые неопровержимые аргументы, а советовать умела так, что совет этот воспринимался как вдруг возникшее собственное

решение. Так было с Гавриилом, проигравшим в карты довольно кругленькую сумму, так было с Василием, попавшим под надзор III Отделения, так было и с самой Варей, еще девчонкой безоглядно влюбившейся в залетного офицера. Долгую зимнюю ночь они проплакали тогда с мамой на этой постели, а утром Варя уехала в Псков к тетке, оставив офицера в растерянности крутить лихие гусарские усы.

Отец никогда не принимал участия в жизни семьи. Прожив с ними бок о бок до рождения младшего — десятого по счету — ребенка, он так и остался чужим: Варя помнила только его бесконечные отъезды. У него была своя половина в доме, свои слуги, свои лошади, собаки, и даже обед ему готовил специально выписанный повар, а не их добрая, толстая, мало что умевшая кухарка. С детьми — а он занимался с детьми, когда был дома, два часа утром и час перед ужином, — с детьми он держался всегда ровно, спокойно и строго. Одинаково ровно и одинаково строго со всеми, никого не выделяя: у него не было ни любимчиков, ни любимых, хотя как-то по-своему он их, конечно, любил, и дети чувствовали это и тоже относились к нему ровно и спокойно. Впрочем, он никогда не отказывал

им в тех просьбах, которые считал разумными: в книгах, игрушках, детских балах или нарядах. Но любая личная просьба всегда превращалась им в общую потребность: если Гавриил просил ружье, то ружье получал не только он, но и не просивший этого Василий; если Варе хотелось щенка, то щенков оказывалось два, а то и три — и Варе, и Феде, и Володе, хотя Федя и Володя об этом и не думали. И эта причуда не только лишала подарок индивидуальности и неповторимости, но заодно и радости, и дети как-то сами очень скоро отучились просить подарки у никогда не отказывающего отца.

Если у отца была редкая способность превращать подарки в ординарную вещь, то мама самые обычные вещи умела делать подарками, будь то крестьянские бабки или первый цветок, бантик на платье или горстка земляники. Даже сказки на ночь она рассказывала, никогда не повторяясь, интуитивно чувствуя настроение маленького слушателя. И одна и та же сказка выходила у нее то грустной, то радостной, то страшной, то веселой и поэтому всегда неожиданной. И если у каждого в детстве были свои радости, свои сказки и свои подарки, то были они только потому, что была мама.

Отец был общим для всех; мама для каждого была своя. Неповторимая и единственная мама.

И вот мамы не стало. Не стало самого незаметного, самого тихого члена семьи и, как ощутила сейчас Варя, самого главного ее члена. В каждой семье есть этот главный, есть ось, вокруг которой вращаются все, со смертью которого неминуемо разлетается самая крепкая и дружная семья. И Варя, еще ничего не осознав, уже предчувствовала этот неудержимый разлет. Предчувствовала грядущую пустоту гнезда, хранить которое отныне предстояло ей. И ужас перед этой сегодняшней утратой и завтрашней пустотой был столь ошеломляющ, что она рухнула ничком на постель, захлебываясь от рыданий.

Выплакавшись, Варя немного успокоилась. Оделась в темное, застелила постель — они сами ухаживали за собой, и не только мама, но и отец следил за этим, — распахнула окно, но тут же закрыла его: в дворницкой по-старинному, по-псковски выла Агафья. Варя хотела было послать туда горничную с приказом замолчать, но вовремя одумалась: дворня была вся вывезена с Псковщины, из маминой крохотной деревеньки, где все были родственниками. И оплакивали они сегодня не просто добрую и тихую барыню,

а свою родную деревенскую девчонку, ставшую госпожой по прихоти опального гвардейского офицера.

Варя вышла распорядиться, но в доме и так уже готовились к приему покойницы. Занавешивали зеркала в зале, зажигали лампады, застилали паркет половиками. Дворник Семен привез еловые ветки и охапки вереска, и Варя вместе с девушками усыпала вереском полы.

Занимаясь этими простыми делами, Варя все время прислушивалась, не скрипят ли ворота, и по привычке поглядывала на часы, но часы в зале были остановлены, а возвращаться в свою комнату ей не хотелось. Она ощущала движение времени, и приближающаяся встреча с тем, что когда-то было ее матерью, все больше и больше пугала ее. Страх копился, нарастал, и в конце концов она уже ничего не могла делать, а только ходила по комнатам, напряженно прислушиваясь ко всем шумам.

Но раньше вернулся Захар. Он не только отправил телеграммы, но и договорился в соборе о панихиде, в Троицком монастыре — о чтицах и в ресторации Мачульского — о деликатесах и винах к поминкам. Он был толковым и грамотным мужиком, никогда не забывал о мелочах

и слыл дельным управляющим. И даже смерть единственной и любимой сестры не нарушила его привычной хозяйственной деловитости. Это обстоятельство вызвало у Вари досаду.

— Хорошо, хорошо, — перебила она его, не дослушав. — Только бы Гавриил приехал поскорее.

Она говорила о Гаврииле, а думала о Василии, который никак не мог приехать из далекой Америки и долго еще не узнает, что семья их внезапно осиротела. Думала не потому, что Василий был всего на год старше ее, а потому, что дружила с ним и знала как никто, как, может быть, знала только мама, его обостренное, болезненное чувство справедливости, даже и не чувство, а чутье. Для всех остальных он был немного чудаковатым, непрактичным и увлекающимся юнцом, предметом язвительных насмешек старшего брата, и только. И даже его торопливый отъезд за границу всеми воспринимался как побег, и лишь она одна знала, что дело здесь не в страхе перед III Отделением, а в высших идеалах добра и справедливости. Она не очень понимала и поэтому не разделяла эти идеалы («Да ведь разорвут эту вашу коммуну, Вася!»), но твердо была убеждена, что ее брат не способен ни на трусость, ни на подлость. Не способен физически, под страхом

лютых мучений и самой смерти.

Иное дело Гавриил. Варя всегда считала, что она в отца, что от матери у нее только глаза, но отцовской копией в семье был старший. Сейчас, без толку блуждая по комнатам, прислушиваясь к шумам во дворе и сравнивая братьев, Варя понимала, что ее сходство с отцом только внешнее, кажущееся. И именно поэтому с тоской вспоминала далекого Василия и страшилась предстоящего свидания с Гавриилом. Слишком уж он казался ей сухим, надменным и язвительным.

Захар уговорил ее поесть, и Варя нехотя, через силу, села выпить чаю. Но тут заскрипели ворота, заголосила Агафья, и Варя кинулась к дверям со стаканом, лишь на крыльце отдав его Дуняше.

Первой во двор въехала широкая крестьянская телега. Подле с вожжами шел староста Лукьян, а на телеге рядом с гробом сидели, держа на коленях фуражки, почерневшие то ли от загара, то ли от горя и бессонной ночи Володя и Ваня. А из коляски, что остановилась у ворот, уже спешили к крыльцу Маша и Георгий; младших, как видно, не взяли.

Телега остановилась, братья спрыгнули с нее, и все вокруг молчали, потому что молчала Варя, все еще неподвижно стоя на крыльце. Лукьян

шагнул к ней, оглянулся растерянно на тихо плакавшую дворню и спросил:

— Прикажете вносить, барышня?

— Как же… Как же могли на телеге? — задыхаясь от слез, тихо спросила Варя. — Как же могли, как смели…

— Ну, полно, Варенька, полно, — сказала Маша, поднявшись на крыльцо и обнимая сестру. — Не влезает он в карету, пробовали.

«Он» был гроб, в котором под глухой крышкой лежала мама. И Варя сразу все поняла и сошла с крыльца.

— Вносите.

И вновь запричитала Агафья, словно ждала, когда Варя скажет это слово. Захар, Лукьян и Семен направились к телеге, братья, сунув фуражки Маше, пошли им помогать, а Георгий прижался к Варе, уткнувшись ей в колени.

— Мамочку жалко…

— Взяли! — коротко выдохнул Захар.

Гроб взмыл вверх, качнулся и поплыл к крыльцу, невесомо лежа на крутых мужицких плечах: Владимир и Иван лишь держались за него, идя впереди. Семеня и толкаясь, мужики поднялись на крыльцо, перехватив гроб с плеч на руки, и, теснясь, боком миновали дверь. Следом мол-

ча шли Маша, Варя и маленький зареванный Георгий.

Глава вторая

1

Гавриил получил телеграмму перед обедом; по счастью, догадались переслать из полка, куда она была адресована. Трижды перечитал: «Мама скончалась похороны субботу», поднял растерянные глаза на хозяйку, что торчала в дверях, сгорая от любопытства. Поймав его взгляд — вдовушка была молода и взгляды ловила жадно и преданно, — качнулась полным станом:

— Подавать, Гавриил Иванович?

— Что? — Он аккуратно сложил телеграмму, пытаясь собраться с мыслями. — Мне в полк надо. Вызывают.

Он боялся ее жалости, чувствуя, что может не выдержать. Прошел к себе, торопливо переоделся, прицепил саблю. И тут же сел и закурил, рассеянно уставившись в одну точку.

Ему казалось, что он думает о матери, но он ни о чем не думал. В голове, сменяя друг друга, мелькали какие-то случайные разрозненные воспоминания. То он видел себя еще маленьким на мосту, с корзиной для ягод. Он замахивался

на огромную, какие бывают только во сне и в детстве, бабочку, и корзиночка падала в воду и плыла, и кто-то во всем светлом, добрый и ласковый, доставал эту корзиночку. То он видел себя на качелях и взлетал ввысь, к самой перекладине, и вдруг сорвался, и кто-то в светлом, добрый и ласковый, поднимал его, испуганного, с земли. То он видел бабки — простые, ничего не стоящие косточки, игра крестьянских ребятишек, — и кто-то в светлом, добрый и ласковый, протягивал ему их.

Этим светлым чудом, добрым и ласковым, была мама. Он знал, что это мама, но почему-то именно сейчас ему никак не удавалось увидеть ее лицо. Он лихорадочно ворошил вдруг нахлынувшие детские воспоминания, но там, где он искал, мама была без лица. Это было просто нечто доброе и очень ласковое, само воплощение доброты и ласки, но лица у нее не было. Вероятно, оно появилось бы в других воспоминаниях, более поздних, когда он уже подрос и научился видеть, а не только смотреть. Но эти иные картинки сейчас не хотели возникать в его памяти, мама не приходила, а двадцатичетырехлетний офицер чувствовал себя совсем маленьким и совсем забытым.

За дверью вздохнули робко, но томно и многозначительно, и этот рассчитанный женский вздох вернул Гавриила к действительности. Он погасил папиросу и встал. Он решил уже не только ехать к отцу с этим известием, но и выдержать бурю.

Сказав хозяйке, что пришлет за вещами, Гавриил вышел на улицу. Отец жил довольно далеко, на Пречистенском бульваре, но Олексин у Спасской взял лихача.

Дверь открыл не Игнат, старый камердинер отца, а лакей Петр, важный, толстый, ленивый, слушавший только самого барина. Гавриил молча отдал ему саблю и перчатки, прошел в столовую и так же молча поклонился отцу, уже сидевшему за прибором.

— Обедал? Нет? Садись. — Отец говорил отрывисто и глядел в сторону, сдвинув седые брови. — Хочешь рябиновой? Я что-то пристрастился. Вино дрянь стало, кислятина.

— Мама умерла, — сказал Гавриил, помолчав. — Я депешу получил от Вари.

— Кислятина, — строго повторил старик. — Налей барину рябиновой, Петр. У меня раковый суп. Пощусь. Удивлен? Впрочем, если хочешь бульону…

Он вдруг замолчал. Чисто выбритый кадык его круто пошел вверх, странно задергался, и старик торопливо стал гладить седые усы, чтобы скрыть это судорожное движение. Потом сердито махнул и, когда Петр вышел, поднял рюмку чуть заметно вздрогнувшей рукой.

— Помянем, поклонимся и Господа помолим мысленно. — Он большими глотками осушил рюмку. — Удивительно. И несуразно. Несуразно, Гавриил.

Он торопливо, расплескивая на скатерть, налил себе еще, выпил, пожевал корочку и откинулся к спинке стула, прикрыв старческие дряблые веки.

— А вы получили?.. — начал было Гавриил.

— Хорошо! — вдруг крикнул старик. — В эпоху всеславянского единения и православных идей пить рябиновую весьма патриотично. Знаменует русский дух. При выходе особливо. Петр! Подавай.

Он в упор глянул на Гавриила странными, отсутствующими глазами. Словно тяжело и упорно думал о чем-то совсем ином, мучительном и сладком одновременно, а шумел и ерничал просто так, для прикрытия собственных дум. Он никогда не допускал никого в царство своих размышле-

ний и переживаний, думал не то, что говорил, и не говорил, что думал.

— Ты почему здесь? Ах да, отпуск. Надолго испросил?

— Надолго, — сказал Гавриил.

— А Черняев-то бежит! Бежит от нечестивых аскеров султана! — с какой-то злой радостью неожиданно сказал старик, и Гавриил испугался, не читает ли отец его мысли на расстоянии. — Мальбрук в поход собрался. Тебе, связанному с Комитетом, поди, вдвойне обидно, а?

— Генерал Черняев самоотверженно служит великой идее, — нехотя сказал Гавриил: не хватало еще спорить о политике в этот день. — Он рыцарь.

— Он легкомысленный искатель лавров, — перебил отец. — Ему наплевать на ваши идеи, и на султана, и на Сербию, ему наплевать на всё и на вся. Ему нужны лавры Цезаря: лучше быть первым в Сербии, чем вторым в Петербурге.

— И все же он был единственным, кто не бросил Сербию на произвол судьбы. Согласитесь, что одно это достойно уважения.

— Не соглашусь. Нет, не соглашусь! Не бросил по расчету и бросит тоже по расчету. У господ новоявленных крестоносцев сначала расчет, а

потом уж вера. Как сухарный запас: на всякий случай. А что до идеи, то идея — плод размышлений, а не моды. На нее надо право иметь, ее надо выстрадать, а уж коли идея не вами высижена, то хоть время-то для приличия соблюдите, господа! Хоть вид сделайте, что мучились ею, что сомнения преодолевали, что сравнивали ее и выбирали путем умственной деятельности, а не одних ушей. Я сейчас не о Цезаре российском говорю, не о господине Черняеве: бог с ним, с Черняевым! Я о брате твоем говорю, об американце нашем. Добро бы хоть в Америку за барышом поехал — говорят, ловкачи наживаются и даже якобы капитал составляют. Это бы понятно было, хоть и противно: дворянское занятие — шпага, крест да книга, так в старину считалось. В служении отечеству одним из трех этих путей шел русский дворянин, не пачкая рук торговлишкой и душу оборотливостью не смущая. А ныне посмотришь: Господи, дивны дела Твои! Рюриковичи с мужиками об отрезках рядятся, Гедиминовичи заводишком обзавелись! А купчина — не воин, из торгаша офицера не сделаете. Нет-с, не сделаете!..

Старик говорил без умолку, путано и непоследовательно, а глаза оставались все теми же мучительно напряженными, ловящими что-то

ушедшее. И поэтому Гавриил не спорил, хотя его так и подмывало поспорить и надо было поспорить, чтобы выговорить наконец свое и утвердиться в этом окончательно. Но сейчас было не время.

Обед закончился, и поручик встал, намереваясь откланяться, так как отец обычно отдыхал после трапез с возлиянием. Надо будет еще послать за вещами, но главным сегодня было, пожалуй, то, что не в меру и не к месту разболтавшийся отец раздражал, как никогда прежде.

— Кури здесь, — сказал старик. — А лучше пойдем ко мне.

— Вам следует отдохнуть…

«Следует» было ошибочным словом: старик сдвинул седые брови. Он не терпел советов, а тем паче указаний и умел усматривать их и в более безобидных фразах.

— Следует не давать рекомендаций, если их не просят. Эту бесцеремонность оставьте приказчикам. — Он шел впереди, и толстый Петр еле поспевал открывать ему двери. — Любое благое намерение останется сотрясением воздухов, ежели не будет высказано в приличной форме. Сожалею, что ваше воспитание не принесло плодов, на кои смел рассчитывать.

Идя следом, Гавриил с тоской думал, что вряд ли успеет обернуться: видимо, старик намеревался скрипеть до позднего вечера. Он жил одиноко, не поддерживая знакомств и не признавая вежливых визитов, много молчал, но иногда говорил без остановки.

Им с детства внушали преклонение перед отцом. Не любовь, не уважение, а почти рабскую покорность, точно они были не законными его детьми, а тайно прижитыми. И отец воспринимал это как должное, не снисходя даже до гнева. Гавриил думал об этом, сидя в кабинете, где каждая книга знала свое место и по прочтении тут же возвращалась на него, где ни один журнал не смел остаться раскрытым даже ненадолго, а газеты выглядели так, будто их никто никогда не читал. От этого кабинет казался скучным и казенным.

— Я не люблю споров, а особливо с женщиной. — Отец не сказал «с дамой», и Гавриил с болью понял, что он говорит о матери. — В спорах с женщиной истина умирает, запомни это и никогда ничего не пытайся доказать прекрасному полу. У них своя логика и свои аргументы, совершенно непостижимые для нас. Вот почему я устранился от вашего воспитания. Я стремился

лишь образовать вас, полагая, что воспитание вам сумеют обеспечить если не по велению ума, то по зову сердца. Однако, встречаясь с тобой, Варварой и Василием, я с горечью убедился, что зараза сильнее лекарств. Да, да, сильнее! От вас прямо-таки разит кислыми щами, господа!

Поручик встал, сознательно с грохотом отбросив тяжелое кресло. Слова путались в голове, он не решался сказать того, что думает, а старик молчал, глядя на него с откровенным любопытством. Пауза затянулась, и, чтобы оборвать ее, Гавриил пошел к дверям, так ничего и не сказав.

— Я не отпускал тебя, — негромко сказал отец.

Гавриил медленно повернулся к нему:

— Та, от кого всю жизнь пахло кислыми щами, — моя мать и ваша жена. Она мертва, пусть хоть это заставит вас замолчать. А сейчас разрешите откланяться: я уезжаю сегодня в Смоленск и…

— Вторым классом, — вдруг перебил старик. — Вы едете вторым классом согласно чина и состояния, сударь. Полагаю, что билеты уже взяты.

— И все же я бы хотел…

— Что же касается твоей матери, то ты превратно понял меня. Я не обижал ее живой, не обижу и мертвой. Мертвой. — Он медленно,

словно вслушиваясь, повторил это слово. — Если хочешь, буду молчать. Только вернись и сядь. Сядь, Гавриил. Прошу тебя… Мне… мне трудно почему-то. — Он растерянно улыбнулся и развел руками. — Я думал, что смогу… преодолеть смогу. И вот не получилось. Начал болтать, глупый старик. А тут ведь… — он пальцами осторожно потрогал грудь. — Тут ведь боль, сын. Такая боль…

— Батюшка! — Гавриил шагнул к отцу и, опустившись на колено, обнял его. — Простите меня, батюшка.

— Ну, ну. — Старик неуверенно и неумело погладил сына по голове. — Только не реветь. Не реветь, Гавриил, ты офицер. Оставим слезы слабым и помолчим. Помолчим.

Ни сын, ни тем более отец никогда не проявляли чувств, которые старик презрительно именовал кисейными. Но порыв был искренен, и они надолго замерли в неудобных и одинаково непривычных позах, и оба чувствовали и это неудобство, и эту непривычность. Чувствовали, но не шевелились, хотя порыв давно прошел и осталось одно неудобство, выйти из которого было трудно именно потому, что оба одинаково ощущали это.

— Сядь, — сказал наконец старик и покашлял,

скрывая смущение. — У меня скверный характер, слава богу, что вы не унаследовали его.

Минута внезапной близости прошла; отец стеснялся ее, хотел забыть и потому снова возвращался к столь привычной интонации иронических сентенций. Гавриила эта минутная близость смущала тоже, но он дорожил ею как завоеванным плацдармом; надо было решиться: то, что уже было сделано без огласки, оставалось как бы сделанным не до конца.

— Я взял годичный отпуск, батюшка, — сказал он. — Пока. А затем подам в отставку.

Он ожидал бурной вспышки, вопросов, но отец молчал. Молча придвинул к себе ящичек с табаком, начал набивать трубку. Табак просыпался, но отец упорно напихивал его, изредка посасывая чубук. Набив, положил в сторону, побарабанил сухими пальцами по крышке ящика.

— Объясни, сделай милость.

— Вы сами дали это объяснение, когда упомянули, что от ваших детей разит кислыми щами. Нет, я не упрекаю: просто так получилось.

— Оставь, Гавриил, я не это имел в виду.

— Но они имеют в виду именно это! — резко сказал поручик. — Извините, но мне надоели шуточки господ гвардейских офицеров.

— Почему не ходатайствовал о переводе?

— Потому что вызвал гвардии подпоручика Тюрберта. А он отказался драться со мной именно в связи со щами.

Старик снова взял трубку, внимательно осмотрел ее и опять отложил. Встал и, заложив руки за прямую, как трость, спину, долго ходил по кабинету. Гавриил смотрел на эту несгибаемую, вызывающе высокомерную спину и жалел, что сказал о дуэли: уход из армии можно было бы объяснить, не вдаваясь в подробности. Но подробности стали известны, и, судя по напряженно выпрямленной спине, отец воспринял их как личное оскорбление.

— Пять веков Олексины служат отечеству мечом, — надменно сказал старик. — Во всех войнах, во всех походах и ни в одном из заговоров. Не чинов мы искали, но чести, и нас скорее уважали, чем любили. Никогда — слышишь? — никогда не ищи любви у сильных мира сего, но требуй уважения, завоеванного тобой. Требуй, но не проси, мы не просили милостей у государей. Ни милости, ни снисхождения, помни об этом.

— Да, батюшка.

— Собираешься за границу?

— Да. Уже выправил бумаги.

— За Василием в Америку?

— Нет. Воевать.

— Ах, в Сербию! — Старик рассмеялся. — Мода на идеи? Ну-ну, проверь. Идею нужно проверить, в этом нет ничего дурного. Дурно следовать идее без проверки. Даже не дурно, а глупо. Тебе двадцать четыре минуло?

— Минуло, батюшка.

— Двадцать четыре — и еще не воевал? Непростительная оплошность для российского офицера. Ну что же, благословляю. Себя проверишь, идею свою проверишь. Только обид не забывай.

— Не забуду.

— И голову под турецкую пулю не подставь.

— Как повезет.

— Глупо. Офицер, принимающий в расчет везенье, — плохой офицер.

— Да ведь пуля-то дура, — улыбнулся Гавриил.

— Именно это я и имел в виду. Именно-с. Поди узнай, вернулся ли Игнат, да вели чай подать.

Поручик поклонился и вышел из кабинета. Вопрос, которого он боялся, разрешился проще, чем он предполагал. Конечно, можно было бы уехать без отцовского согласия, и это было бы куда как современно, но Гавриил не любил со-

временности.

Игнат давно прибыл, но сразу же уехал опять — за багажом Гавриила. Поручик сказал, чтобы подавали чай, и вернулся в кабинет. И только сел, как дверь приотворилась и в комнату осторожно заглянул Игнат:

— Ваше благородие, Гаврила Иванович.

— Все сделал? — спросил отец, не поворачивая головы.

— Все исполнил, что приказать изволили. И билеты, и багаж.

— Чай?

— Сей момент: Петр самовар раздувает.

— Хорошо, ступай.

Седая голова Игната втянулась в дверную щель. Потом высунулась рука и таинственно поманила Гавриила.

— Извините, батюшка, — сказал поручик, вставая. Старик важно кивнул: любил почтение и порядок. И снова окутался дымом сладковатого голландского табака.

Гавриил вышел, прикрыл дверь; в коридоре ждал Игнат.

— Братец ваш приехали. В буфетной ожидают-с.

— Кто? — Гавриил сразу подумал о Василии:

американский беглец если бы и рискнул зайти к старику, то искал бы убежища только в лакейской половине. — Василий?

— Никак нет-с, Федор Иванович. Из Петербурга прямо. Без вещей и даже без шляпы. Прямо в чем стоят-с.

Все это старый камердинер докладывал уже на ходу, с трудом поспевая за шагавшим через две ступеньки поручиком.

— О маме знает?

— Не могу сказать. Я не докладывал.

В буфетной худой, заросший Федор жадно ел холодный бульон. Рядом презрительно грохотал посудой Петр, подчеркивая неуважение.

— Здравствуй, студент!

— Брат! — Федор вскочил, торопливо отер рукой редкую бородку, заулыбался. — Я сразу к тебе, хозяйка сказала, что ты в полку, а тут, на счастье, Игнат.

Он все-таки поцеловал Гавриила, хотя тот не любил этого и еще издали протягивал руку.

— Как славно получилось, что Игнат! — восторженно продолжал Федор, держа брата за руку и ласково сияя голубыми глазами. — Знаешь, я ночь не спал и сутки не ел ни крошечки, только кипяток пил на станциях. А как Игната увидел,

так очень обрадовался.

— Что же ты Федору Ивановичу холодный бульон подал? — строго спросил Гавриил. — Дал бы жаркое или хотя бы бульон подогрел.

— Они чего-нибудь-с просили, — недовольно сказал Петр. — А чего-нибудь-с — это по-ихнему бульон называется.

— Да славно и так, Гавриил, славно, — еще шире заулыбался Федор, и поручик понял, что никакой телеграммы он не получал и о смерти матери не знает. — Мне ведь голод унять важно, а самое главное — поговорить. Я ведь ехал, чтоб поговорить.

— Ступай отсюда, — сказал Гавриил Петру, Петр раздражал его: он нарочно медленно перетирал посуду. — Ступай, говорю.

— А чай как же? — нахально улыбнулся Петр. — Батюшка ваш чаю велел.

— Ступай, ступай! — замахал руками Игнат. — Велено тебе, так исполняй, ишь какой! Я и посуду сам, и Федору Ивановичу закусочек.

— Не надо. — Федор торопливо допил холодный бульон. — Я сыт уже, благодарствую. Батюшка наверху? Где бы поговорить нам, брат?

— В малую гостиную идите, в малую, — заговорщически прошептал Игнат. — Я позову, коль

востребует.

Он любил Федора, как, впрочем, и все: Федор был удивительно добр, мягок и ласков. Он был словно влюблен во всех людей, знакомых и незнакомых, радовался им, слушался их и верил безоглядно. Эта вера пугала Гавриила: у Федора с детства словно не было своих личных желаний. То он намеревался стать офицером, с энтузиазмом занимался верховой ездой, стрельбой и фехтованием, мечтая о военном училище, славе и подвигах. То вдруг, прожив месяц в Высоком с Василием, не только изменил первоначальным намерениям, но и решительно отказался от всякой родительской помощи, торжественно заявив, что каждый человек обязан сам зарабатывать себе на жизнь и ученье. С этой благородной идеей он поехал в Петербург, бегал по урокам, жил впроголодь, но жизнью был доволен и писал восторженные письма Варе. И — опять вдруг! — бросил все уроки и приехал в Москву без вещей, без денег и даже без шапки.

Братья прошли в малую гостиную и сели друг против друга. Гавриил думал, как бы помягче сказать о смерти матери, а Федор, улыбаясь, нервно потирал пальцы, не решаясь начать.

— Ты от Вари не получал известия? — спросил

Гавриил больше для начала, чем в ожидании ответа.

— Нет, — рассеянно, думая о своем, сказал Федор. — Видишь ли, Гавриил, я вынужден был уехать вот так, как сижу перед тобой: денег еле на билет хватило, а шляпу кондуктору за хлеб отдал. Он, правда, брать не хотел, сердился даже, но я все-таки отдал, потому что нищенствовать не могу. Вася бы сказал — «не поднялся до нищенствования», правда? Но что же делать, у меня еще много пороков, я знаю. А уехал я так срочно потому… Только обещай, что не будешь сердиться, а? Я бы не хотел расстраивать тебя, но надо же говорить сущую правду, иначе жить невозможно. Ты знаешь, как рабочие живут? В казармах на нарах, даже семейные. Вши, голод, грязь ужасная. Я видел все это, я сам с ними три дня прожил, чтобы понять, что невозможно так жить, невозможно!

— Просвещал? — насмешливо спросил Гавриил.

— Нет, что ты, какое там. Евангелие читал, только одно Святое Евангелие. Объяснял, правда, что Бог не таким мир земной видел. Да, труд, тяжкий труд, но — равный. Каждый равно обязан трудом, понимаешь? Это же действительно

проклятие Господне, это же действительно во спасение наше! Но ведь если люди равны перед этим проклятием, то должно же быть равенство во всем, потому Бог не делал различия между людьми, проклятие это налагая. Тогда почему же одним — проклятие, а другим — плоды этого проклятия? Разве это справедливо? И не надо улыбаться, Гавриил, не надо: каждый человек имеет право веровать, каждый!

— Не побили?

— Побили. Но это не важно. Важно, что следить начали. Ходил за мной круглолицый господин в котелке, я его сразу приметил, но виду не подавал. Зачем же мне пугаться, что он ходит? Пускай себе ходит, я ничего дурного не делаю, пусть убедится, что не делаю. Я Евангелие неграмотным, темным людям читаю: разве ж это преступление? А третьего дня возвращаюсь с фабрики и у ворот встречаю дочку соседскую, Глашеньку: у вас, говорит, Федор Иванович, обыск был, перерыли все, вещи все перетрясли и бумаги ваши арестовали. А там среди бумаг…

— Герцен.

— Да, «Колокол», один номер. И две брошюры на немецком, я у товарища почитать взял.

— Что же дальше, господин пропагатор?

— Вот, брат, ты уж сердишься. Не надо, а?

— Я спрашиваю, что было дальше?

— Я к товарищу побежал. Не тотчас, конечно, потому что позади господин этот. Но повезло, что ли: конка последняя шла, на ходу вскочил да на ходу же и выскочил. Господин этот мимо меня и пробежал. Пришел к товарищу, а он, оказывается, уже арестован. Вот тогда я — на вокзал и… Как стоял, так и приехал.

— Что же думаешь делать?

— Я у тебя денег хочу попросить. В долг. Уехать хочу.

— К Василию?

— Я еще не решил. Мне все равно, лишь бы маменьку не волновать.

— Маменьку. — Гавриил вздохнул. — Мама скончалась, Федя.

Узкое, неряшливо заросшее лицо Федора дрогнуло, замерло на мгновение и тут же осветилось мягкой белозубой улыбкой.

— Нехорошо, брат! Шутишь ты…

Гавриил молча протянул телеграмму. Федор читал долго, чуть шевеля губами, и чем дальше читал, тем все ниже сгибалась, сутулилась его узкая неокрепшая спина. Он уронил на колени руки с телеграммой, поднял лицо: по мягкой

юношеской бороде текли слезы.

— Как же так?

— Вот… — Гавриил почувствовал, как поднимаются и в его груди слезы, как захватывают они его все выше и выше, сжимая горло, и торопливо закурил. — Осиротели мы, Федя. Одна мама умерла, а осиротели все десять. Даже одиннадцать…

Выехали втроем; отец ни о чем не спрашивал и появление Федора встретил как само собой разумеющееся. И больше не разговаривал, словно выговорился, устал и говорил теперь молча то ли сам с собой, то ли с кем-то невидимым. Шевелил изредка губами, несогласно вздергивая седой головой. Братья тоже молчали. Они ехали во втором классе, сидели рядом и думали об одном. О матери.

А поезд тащился медленно, подолгу отдуваясь на станциях. Выходили в буфет, пили невкусный чай, изредка перебрасываясь ничего не значащими фразами.

С каждым часом приближался Смоленск, а значит, и последнее свидание с той, которую так по-разному любили все трое. И свидание это пугало, отнимая последнее желание говорить, спать или пить в буфете чай.

С каждым часом приближался Смоленск…

2

Встречал один Захар. Это не понравилось отцу, он хмуро кивнул и руки не подал.

— А Варвара что ж?

— Ночь не спала, только задремала, Иван Гаврилович. Не решился будить, — сказал Захар, укладывая багаж. — Все ведь на ней тут.

Он хотел помочь барину сесть в коляску, но старик поднялся сам, указал Гавриилу место подле. Федор устроился на козлах возле Захара. Сытые, отдохнувшие кони играючи рысили по крупному булыжнику; Захар сдерживал их, чтоб поменьше качало.

— Погоняй, — сквозь зубы сказал старик.

— Подъем долгий, Иван Гаврилович. Запарятся.

Старик не стал настаивать, братья подавленно молчали. От моста за крепостным проломом начиналась крутая и длинная Соборная гора, и Захар перевел упряжку на шаг.

— С местом решили? — отрывисто спросил старик.

— Выбрали, — сказал Захар. — Вон в Успенском. Хорошее место, веселое. Не знаю, правда, сколько святые отцы запросят: землица древняя. Легкая

землица, праху много.

Федор, съежившись, с невольным упреком глянул на него: уж очень буднично звучал голос. Будто шла речь о постройке беседки, где вечерами будут пить чай и любоваться закатом. Это было неприятно и несправедливо по отношению к той, которая сама ни на что уже не могла любоваться и ничего не могла выбирать.

— Покажешь.

— За поворотом остановимся. И лошадки отдохнут.

За коленом Благовещенской Захар свернул налево. Здесь начиналась плотно застроенная вершина Соборной горы, на верхнюю площадку вела крутая лестница. Отец, Гавриил и Захар стали подниматься по ней, а Федор остался: не хотел смотреть, куда завтра зароют мать. Забьют гвоздями крышку, опустят в яму и навсегда засыплют землей. И она неподвижно будет лежать в узком темном ящике, навеки отрезанная от всего живого. От радостей и несчастий, забот и тревог…

— Здесь, — сказал Захар, когда они поднялись и обогнули белую громаду собора. — Место вымерочное, я узнавал.

В соборе шла служба, сквозь толстые стены чуть доносилось пение хора, и слов разобрать бы-

ло невозможно. А здесь, на маленьком кладбище для избранных, чуть шелестел ветер.

— Сыро, — сказал старик. — Тени много.

— В полдень солнце аккурат сюда выйдет. И уж до заката. И службу слышно.

— Да, службу слышно, — сказал Гавриил. — Хорошо.

Отец сердито фыркнул в усы, но промолчал. Ему самому не хотелось лежать здесь, а о себе он сейчас думал больше, чем о покойнице. Они вместе прожили жизнь и вместе должны были лечь в землю, но ей уже было все равно, а ему почему-то не нравилось. Но он никак не мог определить, что же именно ему не нравится, и поэтому сердито фыркал.

А не нравилось ему не место, а сама мысль о месте. Он не боялся смерти не философски, а возрастно, уже шагнув за рубеж, нечасто, но все же думал о ней, причем думал спокойно и, как казалось ему, до конца. Но то были отвлеченные и потому кокетливые мысли: до самого конца он никогда не добирался. А сейчас мысли эти вдруг обрели грубую, осязаемую реальность: да, вот оно, то место, где он, недвижимый, безгласный и равнодушный ко всему земному, будет лежать и медленно тлеть, сливаясь с землей и раство-

ряясь в ней. Он словно увидел себя в гробу — не в пышно изукрашенном, а в сыром, смрадном, источенном червями. И это было мучительно.

Ничего более не сказав, он повернулся и пошел, еще старательнее выпрямив спину, словно бросая вызов тому неизбежному, во что вдруг заглянул и чего вдруг испугался. То, что испугался, он понимал, и от этого еще больше раздражался и хмурился.

Гавриил и Захар слегка отстали; старик шагал крупно, будто убегал. Захар понял это и усмехнулся.

— Не глянулось тут барину.

— Это так, нервы. Ты был, когда матушка умерла?

— Глазыньки ей закрыл, — вздохнул Захар. — Не думай об этом, Гаврила Иванович: Бог ей хорошую смерть послал, тихую. Да и так, если поглядеть, за что ей плохую? Бог, он награждает смертью, так-то. Вот батюшка ваш тяжко помирать будет и знает, что тяжко, потому и страшится.

— Страшится, — повторил Гавриил. — А кто не страшится, Захар?

Сам он тоже боялся, но не смерти, о которой ничего не знал и никогда не думал, а свидания

со смертью. Первого в своей жизни свидания. И поэтому замешкался на крыльце, старательно пропуская братьев и сестер. И Федор тоже замешкался и все уступал ему дорогу, и вошли они в залу последними. Вошли и сразу, еще в дверях, увидели мать, потому что гроб стоял высоко и одиноко в самом центре на широком обеденном столе. И внутри его уютно и просто лежала мать, скрестив на груди тяжелые крестьянские руки, и образок в них казался совсем маленьким и — ненужным.

— Ты зачем тут? — неприятно громко спросил отец, увидев Захара, стоявшего у стены поодаль от всех.

— Помилуйте, барин, Иван Гаврилович, это же сестра моя, — тихо сказал Захар. — Сестра единственная, родная.

— То барыня твоя, не забывайся! Ступай вон, вместе с дворней прощаться будешь.

— Опомнись, барин. — Голос Захара задрожал. — Над гробом ведь кричишь, опомнись.

— Вон, холоп!

Низко опустив голову, Захар быстро вышел. Всем было стыдно и неудобно, но никто не вмешался, привычно подчиняясь крутому нраву капризного и своевольного старика.

Дети стояли вокруг, не решаясь приблизиться, и только отец, выпрямившись, как на высочайшем смотру, положил пальцы на край гроба; пальцы эти все время шевелились, словно он поглаживал гроб, но он не поглаживал, а просто скрывал дрожь. Потом обвел всех сухими строгими глазами и глухо сказал:

— Уйдите все.

Все, теснясь, пошли к выходу, стараясь идти медленно и уступая друг другу дорогу. Варя задержалась:

— Подать вам стул, батюшка?

Он молча кивнул. Она принесла стул, поставила у изголовья, постояла немного и пошла к дверям. Отец сказал в спину:

— Дверь закрой и не вели входить.

Подождал, пока она выйдет, пока осторожно, боясь скрипнуть, прикроет дверь, и только после этого тяжело опустился на стул.

— Здравствуй, Аня…

Он пристально вглядывался в окостеневшее, почти чужое лицо единственного на всем свете существа, которое любил жадной, эгоистической, слепой любовью. Он только вчера понял, что любил, когда прочитал телеграмму. Понял не по боли, ударившей вдруг в сердце, — понял по

пустоте, которую ощутил. Он всегда жил одиноко, даже тогда, когда рядом была она, он привык к этому одиночеству, ценил его и гордился им, но при этом знал, что одиночество это — его каприз, а не судьба. Что есть на свете человек, к которому он в любой миг может приехать просто так, со скуки, или умирать, есть плечо, к которому можно припасть, есть сердце, которое всегда поймет, есть руки, которые в последний раз закроют его глаза. Теперь все исчезло. Плечо было чужим и холодным, руки — неподвижными, а сердце, перестав биться, уже не принадлежало ни ей, ни ему. И по ту сторону гроба стояла не боль, не тоска: по ту сторону стояло отчаяние глухой старости. Одиночество стало судьбой.

— Поторопилась ты, Аня. Поторопилась.

Он впервые встретил ее четырнадцатилетней, двадцать шесть лет назад. Он был тогда отставным офицером с седыми висками и обидой, от которой, казалось, не было ни лекарств, ни спасения. Она, простая и ясная крестьянская девочка, дала ему лекарство и спасение, и он воспрял, и стал смеяться, и стал жить, — правда, по-своему, особливо, но жить и радоваться жизни. Чувствовать вкус, цвет, запах, ощущать тело и потребность в ласке.

К чьим ногам сложу обиды,
Кому повем печаль мою?..

Он не помнил ни начала, ни конца этих стихов, не помнил, откуда они, кому принадлежат. Он просто мысленно твердил эти две строчки, словно корил судьбу за великую несправедливость.

«ОСТАВИТЬ БЕЗ МИЛОСТИ» — эти три слова начертал собственной рукой государь Николай Павлович на его нижайшем прошении. Он лгал вчера Гавриилу, утверждая, что Олексины не просили милостей: просили! Он сам просил. Правда, один-единственный раз, правда, в отчаянии, правда, почти не помня себя. Оставили без милости, запретив появляться в Петербурге и указав покидать те города, где остановится Его Величество хотя бы проездом. И с той поры он не был более в Петербурге и уехал из Москвы во время коронации Александра II, хотя получил именное приглашение присутствовать в Успенском соборе. Сын прощал его, но он не считал себя виноватым перед отцом и потому не принял прощения сына.

…Он влюбился в жеманную пустышку; потом-то он понял, что она пустышка. Но тогда ему было всего двадцать пять, жизнь была ослепительна,

и он жил в ослеплении. Девица отчаянно кокетничала, но держала его про запас: офицер был не знатен, но состоятелен, без связей, но при дворе, дурно воспитан, но красив, строен и высок. Но все же он добился позднего свидания в беседке, пришел много раньше срока, увидел, как прошмыгнула она, замешкался — и к счастью: было бы во сто крат хуже. Кто-то высокий в темной накидке быстро прошел следом. От ревности темнело в глазах, он до ломоты стискивал челюсти, но, выждав, вошел в беседку неожиданно. Девица вскрикнула, но из объятий не упорхнула.

— Ты весьма кстати, любезный, принеси-ка вина.

Он уже понял, кто его опередил: этот надменный голос знали все. Но он не поклонился, не побежал за вином, не отступил в темноту.

— Сударь, — сказал он, — дама тяготится вашим присутствием.

Пауза была короткой, но он запомнил ее, потому что сердце отсчитывало эту паузу.

— Ступай вон, болван.

Опять ему давали шанс, и опять он не воспользовался им.

— Завтра в это время я буду ждать вас здесь, сударь. Соблаговолите не опаздывать, в против-

ном случае я останусь болваном, но получу право считать вас трусом.

Всю ночь он метался по парку, приходил в караулку, падал на койку, но не было ни сна, ни покоя, и он снова убегал в парк. Утром была смена, но он не успел уйти:

— Олексина к государю! Живо!

Государь завтракал, когда он вошел и громко — государь любил ясность — отрапортовал, что прибыл по повелению. Николай медленно поднял голову, вперил в него немигающий взгляд, медленно вытер губы салфеткой. Он не отвел глаза, собрав все свое мужество.

— Тебе известно, что дуэли запрещены?

— Так точно, Ваше Величество.

— Однако ты ослушался моего повеления.

— Я был в ослеплении, Ваше Величество.

— В ослеплении? — Глаза, по-прежнему не мигая, без выражения изучали его. — Значит, ты сожалеешь о том, что произошло?

— Никак нет, Ваше Величество. Я сожалею лишь о том, что никогда не смогу узнать, из-за кого нарушил ваше повеление.

— Почему?

— Я был в ослеплении.

— Ты не так глуп, как кажешься. Но мне не

нужны караульные офицеры, способные впадать в ослепление. Я принимаю твою отставку с условием, что ты покинешь Петербург до захода солнца и никогда более не появишься в нем.

— Я не просил об отставке, Ваше Величество.

— Вот как? В таком случае я угадал твое желание. Ступай и никогда не попадайся мне на глаза.

Он все же подал прошение. Он униженно просил прощения, но царская рука собственноручно начертала: «ОСТАВИТЬ БЕЗ МИЛОСТИ». И, как было приказано, еще до захода солнца он покинул Петербург.

Он уехал на Псковщину, в родовое гнездо, когда-то, еще при Иване III, подаренное его предку за отвагу и испытанную верность московским великим князьям. Ни темная пора опричнины, ни Смутное время, ни стрелецкие бунты, ни сложная цепь дворцовых интриг прошлого века не поколебали этой верности: в интриги предки не ввязывались, предпочитая служить отечеству подальше от двора. Он был первым, кто нарушил этот фамильный закон, первым и последним: Романовы не поощряли строптивых дворян. Быстро начавшаяся карьера так же быстро и рухнула, и гвардеец в отставке возвращался к разбитому

корыту в смятении и обиде.

Несмотря на опалу, о которой быстро дозналось местное общество, Ивана Олексина приняли с почетом и подчеркнутым вниманием: молодец был холост, а в провинции всегда имелся переизбыток заневестившихся красавиц. Двери всех домов и самого губернатора широко распахнулись, но Иван Гаврилович редко пользовался гостеприимством провинциальной знати, предпочитая мужское общество, карты и охоту. Три года вел он гвардейско-холостяцкий образ жизни, а потом не то чтобы остепенился, а устал. Придворная ветреница была забыта; следовало если не влюбиться, то хотя бы задуматься о женитьбе. Он стал появляться в обществе, наносил визиты, посещал балы, и местные мамаши воспряли духом. Гвардии холостяк сам шел в сети, дело завертелось, и вскоре Иван Гаврилович решительно отдал предпочтение племяннице губернатора, девице худосочной, но знатной и вполне светской. На Пасху должна была состояться официальная помолвка, родственники барышни да и она сама уж считали дни, но никто не мог предположить, что в марте случится оттепель и тронутся льды.

Эта оттепель остановила Ивана Гавриловича на пути к невесте в глухой, позабытой Богом и

кредиторами деревеньке на тринадцать дворов вкупе с барским домом, куда, непривычно согнувшись, и вошел Олексин. Дом был дряхл и беден, хозяин радушен и болтлив, а в овраги кинулись полые воды, мосты снесло, и лед трещал на реках. Приходилось скрепя сердце ждать то ли возврата зимы, то ли наступления лета.

— Межзимье — тяжкая пора! Я, изволите видеть, выезжаю редко, но страшусь этого безвременья. Страшусь!

Хозяин развлекал гостя в маленькой душной комнатке. За перегородкой звякали посудой, тихо переговаривались женские голоса.

— Я, изволите видеть, тоже лицо неугодное. Давно в отставке и, как и вы, без пенсиона. Отзвуки Сенатской площади, грехи молодости.

— М-да, — вяло поддакивал Олексин.

Вскоре пригласили к столу, где разговор взяла в руки хозяйка. Она не касалась политики, гость мило скучал и много пил, и все сошло благополучно. После ужина мужчины вернулись покурить в клетушку.

— Чай нам сюда подадут. Нюра, неси!

Отворилась дверь, и вошла девочка лет четырнадцати. Собственно, уже не девочка, но и не девушка, полуженщина-полуребенок, маленькая

и крепенькая, как репка. Вошла и остановилась, просто и ясно глядя на незнакомого барина чистыми синими глазами.

— Поклонись же их благородию, Нюра. Ты молчишь неучтиво.

Девочка молча поклонилась. Она стояла свободно, как-то удивительно естественно, легко и, чуть склонив голову к плечу, спокойно разглядывала Ивана Гавриловича. И взгляд этот, и полуоткрытые губки были совсем еще детскими, доверчивыми и беззащитными; встретившись с ней глазами, Олексин вдруг точно оглох и слышал уже не голос хозяина, а глухие удары собственного сердца.

— Ваша воспитанница? — спросил он, как только девочка вышла.

— Жена ее балует, — сказал хозяин. — Девочка славная, довольно знает грамоте, читает барыне перед сном.

Больше о ней не говорили. Девочка появлялась каждый день: подавала чай, что-то ловко и неслышно убирала, всегда серьезно, открыто встречая его взгляды. Иван Гаврилович заговаривал, она отвечала коротко, не смущаясь, но не болтая попусту. И он начал улыбаться ей, и она в ответ улыбалась радостно и доверчиво,

улыбалась всем существом: сияющими синими глазами, которых не опускала при этом, ямочками на тугих, покрытых золотистым пушком щеках; колючими аккуратными бровками, тотчас же весело прыгавшими куда-то вверх. И тогда Олексин крутил ус и принимался напевать что-то бравурное, отстукивая ритм ногой.

Через пять дней, когда хозяин с гостем сидели за шахматами, вошел мужик и доложил, что дорога на Псков открылась.

— Вот и кончилось ваше заточение, — сказал хозяин. — Завтра, даст бог, еще и подморозит, и утречком можете ехать. А мне, признаться, жаль: рад нашему знакомству, любезный Иван Гаврилович, весьма рад. Буду вспоминать да судьбу благодарить…

Что-то он еще говорил. Олексин не слушал. Нелепо и быстро проиграл партию, походил по комнате, нещадно дымя трубкой, и сказал вдруг:

— Продайте мне эту Нюру. Да, да, продайте, что вы смотрите на меня? Дам, сколько запросите.

— Я не торгую людьми, милостивый государь, — тихо сказал хозяин.

— Ну подарите, обменяйте, проиграйте в карты, наконец!

— Я не торгую людьми, — повторил хозяин. — И

оставим этот разговор, Иван Гаврилович.

Олексин уехал через час, кое-как собравшись и почти не простившись с гостеприимными хозяевами. Но поехал он не к невесте, что с нетерпением ждала его, а в Псков. Там узнал, что деревня заложена-перезаложена, и через подставных лиц купил ее на корню, велев старым хозяевам убираться на все четыре стороны.

Общество изумилось, губернатор настоятельно просил в гости, но он нигде не появился, а сразу же после всех сделок, подкупов, взяток и расчетов вернулся к себе. В огромное поместье с многочисленной дворней, конюшнями, псарнями и любовницами. Любовниц он разогнал, кого тут же выдав замуж, а кого просто отправив подальше, и стал ждать со странным ощущением, что так он не ждал никого.

Через три дня привезли Нюру.

Ритуал был продуман до мелочей. Новую пассию встречали, переодевали и наставляли особо доверенные лица. Они же и ввели ее к нему в спальню, как было приказано. Ввели и исчезли, сдернув с нее платок, в который она куталась по-девчоночьи старательно.

Он развалился на пышной, разобранной ко сну постели. А она стояла перед ним в короткой ба-

тистовой рубашке, надетой на голое тело, плотно поставив рядышком маленькие ступни; помпоны на туфельках были синими, под цвет глаз, он сам купил эти туфельки в городе. Стояла молча, со странной взрослой грустью глядя на него.

— Здравствуй, Аня, — сказал он ненатурально бодрым голосом. — Подойди и поцелуй меня.

Она не тронулась с места, а из глаз вдруг полились слезы. И это было очень странно, потому что глаза ее по-прежнему смотрели на него не моргая, а слезы все текли и текли по крутым щекам, оставляя бороздки в пушке. Текли и капали со щек на грудь, и тонкий батист намокал и начинал уже просвечивать там, где намокал, и он видел крохотные темные соски, то ли от холода, то ли от волнения вынырнувшие, как пуговки.

— Не бойся, глупенькая, — сказал он. — Этого не избежать, и будет лучше, если ты подойдешь сама. Ну же. Не заставляй меня ждать, а тем паче прибегать к силе.

Она молчала и не двигалась, а слезы продолжали капать. Тогда он встал, уже злясь, прошелся по комнате, покашлял внушительно.

— Если бы я не любила, — вдруг сказала она. — Господи, если бы я не любила вас…

И, опустив голову, покорно пошла к кровати.

Он растерянно посмотрел на нее и неожиданно для себя крикнул:

— Эй, кто там! Накрыть в столовой ужин! — И добавил, не глядя: — Поди оденься и жди в столовой. Я сейчас спущусь.

Он оделся к ужину, как на бал. Спустился вниз; девочка уже ждала его, одетая во все новое, купленное на глаз, но старательно подогнанное. Подошел.

— Прости меня, Аня. — Взял за руку и подвел к столу. — Вот твое место. Отныне и навсегда.

Он сказал эти слова не готовясь, не думая, что скажет именно их, и всю жизнь потом втайне гордился, что сказал именно так.

Он хотел, чтобы она улыбалась, как там, у болтливых, уютных стариков, и чтобы так же, как там, смотрела на него с открытой детской влюбленностью. Хотел куда больше, чем чего бы то ни было иного, и сам удивлялся этому странному желанию. Но глядела она пока настороженно и серьезно, отвечала односложно и совсем не улыбалась, хотя он шутил и легко рассказывал забавные истории. И все равно ему было приятно угощать ее, смотреть на нее и чувствовать ее рядом.

После ужина он сам проводил девочку в от-

веденную для нее комнату, сказал, что ждет к завтраку, и пожелал спокойной ночи. Она поклонилась:

— Спокойной ночи, барин.

— Ты забыла, как меня зовут?

— Спокойной ночи, барин Иван Гаврилович, — покорно поправилась она.

Он ласково погладил ее по голове и ушел. И был чрезвычайно доволен, что не тронул, не обидел, не сломал эту девочку. Полночи бродил по дому, улыбался в зеркала, выходил во двор и подолгу смотрел в ее темное окно.

Он думал, как странно обернулась его прихоть и как радостно ему сейчас именно потому, что прихоть эта обернулась странно. Нет, не вожделение руководило им, не вдруг вспыхнувшая страсть к чистой и очень юной девочке: в его жизни бывали и чистые, и юные, но такой пронзительно искренней еще не было, и эта наивная, святая искренность и приводила его в восторг. Впервые в жизни он поверил, что его любит женщина, поверил сразу, ни секунды не колеблясь и не требуя доказательств. Поверил всем сердцем, без остатка, поверил до потрясения и сохранил эту веру и это потрясение на всю жизнь вплоть до сегодняшнего дня.

А тогда… Тогда он все же раздул почти угасший огонек влюбленности осторожной лаской, заботливостью, подчеркнутым вниманием, проявив совершенно не свойственное ему терпение. Это была игра, игра азартная, новая, невероятно увлекавшая его. В этом увлечении он сначала перенес помолвку, сославшись на недомогание, а потом и вовсе забыл о ней и уже летом был неприятно удивлен личным визитом губернатора.

Говорили о Кавказской войне, о политике Англии, о последних петербургских сплетнях. Губернатор привез с собой свежие газеты и журналы, ни родственников, ни отложенной помолвки в разговорах не касался, и Иван Гаврилович немного успокоился и даже стал намекать, что собирается за границу на воды для окончательной поправки здоровья. Губернатор поддержал его намерение, выразил надежду, что Олексин возвратится полностью выздоровевшим, и беседа покатилась совсем уж легко и просто.

И тут из сада вбежала Аня («Нюру» Иван Гаврилович решительно приказал забыть). Она всегда вбегала без доклада, уже привыкнув к своему особому положению в доме, любила появляться вдруг, выпалить что-нибудь, подставить лоб для поцелуя и так же неожиданно убежать.

— Пионы расцвели! Те, махровые, у беседки…

Тут она увидела, что барин не один, и замолчала. А Олексин спокойно смотрел на нее и улыбался, да и трудно было не улыбнуться внезапно влетевшей в чинную тишину крепкой девчушке в розовом нарядном платье, с цветами в руках.

— Позвольте представить вам, ваше превосходительство, мою воспитанницу Анну Тимофеевну. Анечку.

Губернатор, выждав паузу, неуверенно кивнул. Аня сделала книксен, подошла и протянула цветы:

— Это самые первые. Посмотрите, как хороши.

Ей было трудно сказать эти слова, а уж для того, чтобы протянуть так легко и свободно цветы, понадобились все силы. Она была очень застенчива, даже диковата, всегда помнила о том, кто она и где кончаются ее права, но сейчас боролась за свое счастье и шла на дерзость с отчаянной решимостью, точно бросалась в омут.

— Так вот какова она, ваша Психея, о которой идет столько разговоров, — по-французски сказал губернатор. — Мила, очень мила. Но дерзка. Весьма.

— Его превосходительство говорит, Анечка,

что ты очень хороша, — невозмутимо перевел Олексин. — Буду весьма признателен, ваше превосходительство, если вы избавите меня от обязанностей толмача.

— Как мужчина мужчину я вас понимаю, — все так же продолжал губернатор. — Однако позволю себе надеяться, что, утолив пыл и охладив страсть на водах, вы вспомните, как джентльмен, о некоторых обязательствах если не перед моей племянницей, то хотя бы перед обществом.

— Анечка, его превосходительство благодарит тебя за цветы и желает обедать с нами, — с улыбкой пояснил Иван Гаврилович. — Распорядись, душенька, чтоб накрыли на террасе.

Аня положила цветы перед губернатором, мило улыбнулась и убежала. Его превосходительство проводил ее взглядом и недовольно вздохнул.

— Вы слишком балуете эту девчонку, сударь. Надеюсь, она не восприняла буквально ваш вольный перевод и я не увижу ее за обедом.

— Напротив, ваше превосходительство. Хорошенькие лица способствуют аппетиту.

— Для меня это очень сильное средство, — сухо сказал губернатор, вставая. — Кроме того, я спешу. На прощанье позволю себе дать вам совет: одумайтесь, Олексин.

— Как мужчина мужчине признаюсь вам, что я не принимаю советов ни от кого, исключая управляющего, за что и плачу ему деньги. Это гарантирует меня от слепого подчинения чужим, а следовательно, и не вполне искренним желаниям.

— Вы, кажется, забываетесь, милостивый государь!

— Простите, но это вы забываетесь, повышая голос на хозяина дома. Не сюда, ваше превосходительство: эта дверь сократит вам путь к вашей карете. Эй, кто там! Карету его превосходительства!

Он не вышел проводить губернатора. Не в гневе — он был абсолютно спокоен, — а чтобы раз и навсегда поставить точки над «i». Глядел через окно, как подсаживали в карету смертельно обиженного старика, как тронулась карета. Потом оглянулся — в дверях стояла Аня.

— Старый пень отбыл, и мы обедаем вдвоем! — весело сказал он. — Ты довольна?

Она серьезно смотрела на него.

— Его племянница и есть ваша невеста?

— Почему ты так решила?

— Он говорил о ваших обязательствах.

— Аня, — он опустился на стул, поманил ее, —

ну-ка поди сюда.

Она подошла, и он обнял ее за талию.

— Кажется, я напрасно переводил?

— Меня барыня, та, прежняя, учила французскому, я и читать умею. — Она не удержалась и немножко похвастала.

— Ах, умница моя…

— А переводили вы не напрасно. — Аня вдруг начала неудержимо краснеть. — Совсем даже не напрасно.

И, гибко изогнувшись, впервые крепко и благодарно поцеловала его в губы. Тут же выскользнула из объятий и выбежала. Только платье взметнулось.

За границу он поехал вместе с Аней, правда, не на воды, а в Париж. Он ехал летом, в мертвый сезон, не столько по прихоти, а для того, чтобы девочка спокойно привыкла к незнакомой жизни. Поэтому и вернулись поздно, к началу зимы, и под первые морозы обвенчались в скромной сельской церкви, в которую вошла крестьянская девочка Нюра, а вышла барыня Анна Тимофеевна.

А гости на свадьбу не пожаловали, хотя приглашения были разосланы широко и заранее: даже единственная сестра Софья Гавриловна сказалась

больной. И, войдя в зал, где ломились столы и никого не было, Иван Гаврилович затрясся и закричал:

— Все отдать свиньям! Все!..

Он крушил мебель, переворачивал столы, бил посуду. К нему боялись подступиться, и только молодая жена отважно бросалась под тяжелые кулаки; утром он виновато целовал ее кровоподтеки.

Это был первый приступ слепой ярости, ворвавшийся в день свадьбы как знамение: Иван Гаврилович трудно переживал обиды. Он никуда более не выезжал и никого не принимал у себя ни под каким видом, сделав исключение только для сестры по слезной просьбе Анны Тимофеевны. Он никогда не забывал оскорблений, он сладострастно берег их в памяти, холил и нежил, и они обрастали наслоениями, непомерно раздуваясь, теряя причинные связи, отрываясь от действительности и угнетая его размерами. Все это зрело в нем, как нарыв, иногда прорываясь в припадках безудержного гнева. Тогда он ломал все вокруг, беспощадно сек людей за малейшую провинность, а опомнившись, уезжал подальше от немого укора терпеливых глаз жены. Переселился из Псковщины на Смоленщину, подарив

Анне Тимофеевне Высокое, и окончательно устранился от всего. Не интересовался ни делами, ни хозяйством, пристрастился к охоте, случайным трактирным знакомствам — и постепенно, как-то исподволь, — к одиночеству.

Первый ребенок родился мертвый: Анна Тимофеевна была еще слаба, еще не созрела и не могла рожать детей. Несмотря на отчаяние, она не потеряла головы: свято выполняла указания врача, выписанного из Германии, год всеми правдами и неправдами береглась и хитрила и в шестнадцать родила крепкого и здорового мальчишку. И уже больше не береглась и не боялась, хотела детей и рожала их еще девять раз…

А теперь лежала перед ним тихая и покойная. И он, не отрываясь, все смотрел на нее и смотрел, а в голове тяжело и упорно ворочалась одна мысль: «Что же ты меня-то обогнала, Аня? Что же ты бросила-то меня, одного бросила?» Это была новая обида. Самая горькая из всех обид, что с таким сладострастием коллекционировал он в себе.

3

— Ну вот, мы все в сборе, — сказала Варя, выходя на террасу.

— Почти все, — поправила Маша: она любила

точность. До прихода Вари все молчали. Младшие теснились вокруг Ивана — он всегда возился с ними, — старшие разбрелись по террасе, не решаясь ни присесть, ни заговорить. И Варя подумала, что эти-то уже расстались с гнездом, уже разлетелись, а теперь и вообще не появятся более. До очередного несчастья. От этой мысли ей стало еще горше, и она твердо решила сделать все, чтобы не допустить распада семьи. Сохранить клан, растерявший сословные связи, знакомства и поддержку.

— Ваня, погуляй с детьми.

Иван тотчас увел младших; они были такими потерянными, такими непривычно тихими и послушными в эти дни. А ведь их предстояло вырастить, выучить и направить в жизнь, и все эти заботы грозили свалиться на нее одну.

— Садитесь, — сказала Варя. — Нам надо поговорить.

Все расселись. Она осталась стоять, вглядываясь в такие родные, такие знакомые и такие похожие друг на друга лица. Все они сейчас почему-то избегали ее взгляда; только небрежно обросший юношеской клочковатой бородой Федор смотрел на нее, но думал о чем-то ином: глаза были пустыми, отсутствующими. Видно,

опять был в плену какого-то вдруг принятого решения и уже предвкушал результат, еще не начав действовать. «Наш Феденька из неубитого медведя уже по себе шубу кроит», — говорила в таких случаях мама.

— Кажется, мы наконец-то становимся взрослыми, — неуверенно нащупывая подходы, начала Варя. — Вернее, должны стать взрослыми, если способны оценить мамину… — она не решилась произнести слово «смерть». — Оценить, что мамы больше нет. Мы сироты, да, да, круглые сироты, поскольку батюшка нам отцом так и не стал.

— Варя, так не следует говорить, — строго сказала Маша. — Это несправедливо и непочтительно.

— Несправедливо, непочтительно, но верно, — сказал Гавриил. — Варя права: пора научиться смотреть правде в глаза.

— Несправедливо, но — правда? — Маша возмущенно тряхнула тяжелой косой. — Разве может существовать несправедливая правда? Это же иезуитство какое-то: несправедливая правда! Может быть, это исповедуют в полках, но исповедовать это в жизни…

— Оставь, Маша, — ломающимся баском прервал Владимир. — Нашла время для споров. И

кстати, именно офицерский корпус с его особым, я бы сказал, рафинированным отношением к личной чести не заслужил твоих оскорбительных намеков.

— Не надо спорить, — примирительно сказала Варя. — Вероятно, я неточно выразилась, но суть в том, что мы — семья, понимаете? Мы — семья, — твердо, как заклинание, повторила она, — единая семья, одно целое. Конечно, мы разъедемся, разлетимся, у каждого будут свои заботы, а потом и своя семья, но где бы мы ни были, куда бы ни забросила нас судьба, мы должны помнить, что мы — одно целое, что нет крепче уз, чем те, которыми мы связаны. Мы — мамины дети, помните это всегда.

— Мужицкие дети, это ты хотела сказать? — с усмешкой спросил Гавриил. — Не стоит, Варвара. Не стоит наступать на мозоль. И забыть нам о ней не дадут, даже если бы мы сами хотели этого. Не дадут, господа лошаки, не дадут-с!

Он замолчал, с излишней торопливостью прикуривая новую папиросу. Все смотрели на него и тоже молчали, и в этом молчании было не столько удивление, сколько стыд за него, будто он, старший, сделал сейчас нечто глубоко безнравственное.

— Ты это скверно сказал, Гавриил, — вздохнул Федор. — Очень скверно, прости уж, пожалуйста.

— Подло! — крикнула Маша, и в глазах ее показались слезы. — Это подло, низко и гадко! Зачем ты приехал сюда? Зачем? Чтобы плюнуть в гроб?

— Успокойся, Маша. — Варя обняла сестру за вздрагивающие плечи. — Володя, принеси воды. Успокойся, Гавриил не то имел в виду.

— Нет, то! То самое!

— Сожалею, что был превратно понят, — деревянным голосом сказал Гавриил и встал. — Здесь достаточно причин для иных слез, не стоит лить по этому поводу. Полагаю, что конференция окончена.

Спустился в сад, постоял немного и пошел подальше от детских голосов, в глушь, к беседке.

— Пожалуйста, Федя, верни его, если сможешь, — сказала Варя. — Ах, ну почему, почему нет Васи!

— Пей. — Владимир принес воду. — И бога ради, перестань реветь.

— Тебе не обидно за маму? — спросила Маша, залпом выпив воду. — А мне очень обидно, очень.

— Он не так выразился, уверен, что не так, — вздохнул Владимир. — Всем нам трудно, все мы

как потерянные, почему же ты считаешь, что ему все трын-трава? Нельзя же быть такой непримиримой. Маша, нельзя.

— Только бы Федя вернул его, — вздохнула Варя.

Федор нагнал брата скоро, но долго шел молча: ждал, пока оба успокоятся. Он не любил столкновений и ссор, терялся в них и потому всегда старался свести дело к мирному концу. Но пока он выжидал и подыскивал слова, заговорил поручик:

— Нас прекрасно воспитывали, ты не находишь? Мы говорим на трех языках, довольно наслышаны о новой философии и модных идеях, знаем, почему Сократ выпил чашу с ядом и почему Иоанн Креститель расстался со своей головой…

— Мне кажется, ты говоришь о другом, — нерешительно перебил Федор. — Ты говоришь о наших знаниях, а не о наших принципах. Можно знать очень много, очень, можно быть великим ученым и не иметь никаких принципов. Ты согласен?

— Кто это тебя научил? — с усмешкой спросил Гавриил. — Скажешь, что сам додумался? Не поверю, Федька: ты ленив и мягок.

— Конечно, не сам, — тотчас же согласился брат. — Это все Вася. Он будто сеятель среди нас, правда? Разбросал семена, щедро разбросал, не задумываясь и не скупясь, и уехал в Америку. Может быть, тоже сеять? А зерна его в нас прорастают, я чувствую, как они прорастают, хоть и многого не понимаю еще.

— Болтуны вы, что ты, что Васька, — проворчал поручик. — Перебил меня, а я в мыслях запутался. Обидно, брат, когда в лицо смеются, а крыть тебе нечем, очень обидно. — Он помолчал. — Так что там Василий говорил насчет принципов?

— Он считает, что принципы — единственное мерило личности. Именно по ним мы уже давно бессознательно делим людей на добрых и злых, на плохих и хороших. Мы знаем, допустим, что господин N, пусть он хоть трижды легкомыслен, не солжет и не предаст, ибо у него в душе воспитаны принципы, посеяны и выращены. А вот господин NN, с пафосом воздающий хвалу своему учителю, завтра же отречется от него и с тем же пафосом будет проклинать, с каким хвалил. И пусть он хоть семи пядей во лбу, пусть он хоть все знания мира вобрал в себя — грош ему цена, ибо он беспринципен. Разве не так? Разве ты сам не делишь людей исходя из их порядочности?

— Я делю людей на счастливых и несчастных, вот и вся философия, — сказал Гавриил. — Это деление точное и правильное, а все остальное — от лукавого, Феденька. От безделья, господа студенты, только от безделья.

— Ты упрощаешь, брат. Упрощаешь неосознанно, потому что боишься…

— Боюсь? — Поручик громко, нарочито расхохотался. — Ты говоришь это офицеру, побывавшему в Хиве?

— Извини, я не имел в виду храбрость, я имел в виду понимание жизни. Большинство, огромное большинство людей поступают так, как ты, то есть разлагая жизнь на две субстанции: на счастье и несчастье. Это примитивное представление…

— Брось ты эту галиматью, Федор! — неожиданно грубо оборвал его Гавриил. — Плевать людям на все ваши философские доктрины, им счастье подавай. Да, да, примитивное, обывательское, насущное и реальное счастье. И они стремятся к нему всеми силами и всеми мерами, ибо в противном случае будет несчастье. Так вот, счастье и несчастье — это альфа и омега жизни, господа теоретики. Альфа и омега, от и до, два полюса, меж которыми мечется людское стадо, сопя, тол-

каясь и беспощадно давя друг друга.

— Зачем ты такой злой, Гавриил? — вздохнул Федор. — Злость сушит ум. Сушит.

— Злой, говоришь?

Гавриил замолчал. Они поравнялись с беседкой, и из этой заросшей хмелем беседки вдруг донесся глухой, сдавленный стон. Гавриил раздвинул колючие плети: за врытым в землю столом, низко согнувшись и закрыв лицо смятым картузом, сидел Захар. Широкая спина его судорожно вздрагивала, и зажатые рыдания были похожи на странный рыкающий кашель.

— Вот почему я злой, — тихо сказал Гавриил. — Я тоже хотел бы зарыдать в шапку, но не могу. Не могу, и ты не можешь, и нам во сто крат горше, чем ему.

— Захар, — Федор вошел в беседку и, сев рядом, положил Захару руку на плечо. — Что ты, Захар, что ты?

— Эх, Феденька! — Захар тяжело вздохнул и отер лицо картузом. — Тяжко, когда и смерть не равняет. Не мне, а ей тяжко, сестрице моей.

— Батюшка сгоряча сказал так, от боли, — сказал Федор. — Он и нас выгнал потом, один остался. Может, рыдает там сейчас, как ты здесь.

— Зарыдает он, как же. — Захар поднял голову,

увидел стоявшего в дверях Гавриила, хотел было встать, но не встал и только качнулся. — Не будет ли папиросочки, Гаврила Иванович? Табак свой позабыл где-то.

Гавриил, помедлив, протянул портсигар. Сел рядом, усмехнулся:

— Слезами печаль мерить проще простого. И стоит недорого, и видно всем.

— Ах, брат, брат! — Федор укоризненно покачал головой.

— Сухая душа быстро черствеет, барин, — сказал Захар. — А с сухарем вместо сердца жить тяжко. Сами знаете: было на кого глядеть.

— Грех на старика злобу копить, — примирительно сказал Гавриил. — Бог велел прощать ближним, да и уедет он скоро. Залезет опять в свою раковину, и до смерти ты его не увидишь.

— Уйду я, — сказал Захар, словно не расслышав. — В Сибирь уйду, в Малороссию или еще куда. Человек я вольный, и бумаги при мне. Не могу я тут, тошно мне, и душа моя словно с места сдвинута.

— Уйдешь? — Федор весь подался к Захару. — Вправду уйдешь?

— Вот крест святой. — Захар перекрестился. — Корень мой зачах тут, не хочу более в Высоком.

— Тогда, знаешь. — Федор задохнулся словами. — Возьми меня с собой, а? Возьми, пожалуйста, возьми! Я работать хочу научиться, я пользу хочу приносить и понять все, я…

Гавриил громко засмеялся, но Федор уже не обращал на него внимания. Он был весь во власти идеи, он уже жил ею, он уже шел куда-то, уже пахал, ловил рыбу или рубил избу: привычно и восторженно кроил шубу из неубитого медведя.

— Да что ты, Феденька, — улыбнулся Захар. — Душа у тебя добрая, это конечно, только шкворень бы ей выковать…

— Вот вы где, — сказал Иван, заглядывая в беседку. — Идемте же к Варе, она по всему саду гонцов разослала.

— Идем с нами, Захар, — сказал Федор. — Мы как раз семейные дела решаем.

— Нечего там Захару делать, — прервал Гавриил, выходя. — Мы и сами-то толком не знаем, что решать да о чем говорить.

Однако Варя знала, чего хотела. Высокое было собственностью мамы только при жизни, после смерти оно отходило к отцу. Конечно, он никогда не оставил бы младших без средств, но по капризу или в порыве отчаяния мог, никого ни о чем не спрашивая, продать имение и предложить

всем перебираться на Псковщину. Вот этого Варя и не хотела и боялась и поэтому заранее решила условиться, чтобы в случае необходимости прозвучало хотя бы всеобщее неудовольствие.

— Послушает он нас, держи карман шире! — сказал Владимир.

— Оставь юнкерские прибаутки для казарм, — нахмурилась Варя.

— Господи, о чем вы, о чем? — вздохнул Иван — с младшими его заменила Маша, не желавшая более видеть Гавриила. — Можно же и потом об этом, после всего.

Он не сказал «после похорон», не смог выговорить.

— После всего он уедет.

— И я уеду, — вдруг сказал Гавриил.

— Знаете, я, пожалуй, тоже, — начал было Федор, но замолчал, потому что все сейчас смотрели на Гавриила.

— Торопишься в полк? — спросил Владимир.

— Нет, я в длительном отпуску. — Гавриил говорил отрывисто, словно нехотя. — Я еду в Сербию.

— В Сербию? — недоверчиво переспросил Иван.

— Да. К генералу Черняеву.

— Это прекрасно! — восторженно воскликнул

Федор. — Это замечательное, благородное решение, я… Я завидую и от всего сердца благословляю тебя.

— А как же «не убий»? — усмехнулся Гавриил. — Я ведь убивать собираюсь, Феденька.

— Счастливец! — заулыбался Владимир. — Если бы я мог…

— Как глупо! — резко сказала Варя. — Как оскорбительно глупо все, о чем вы говорите! Все ваши восторги, планы, шуточки над маминым гробом.

Все примолкли. Федор виновато развел руками и сел. Владимир перестал улыбаться.

— Ну, давайте скорбеть, — сказал Гавриил. — Хором или по очереди?

— Нет, это, право же, нехорошо как-то, — вздохнул Иван. — Мы забываемся, а это нехорошо.

— Нехорошо то, что фальшиво, — сказал Гавриил. — А если мы искренне улыбаемся, то ничего плохого в этом нет. И это никак не может оскорбить ни наши чувства, ни мамину память.

Варя не успела возразить: из залы вышел отец. Все встали, глядя на его осунувшееся, окаменевшее лицо с остановившимися, невидящими глазами. Он медленно подошел, остановился перед Варей, хотел что-то сказать, но губы запрыгали, и он прикрыл их рукой, разглаживая усы.

— Что с вами, батюшка? — тихо спросил Федор.

— Почему у нее, — старик дрожащими пальцами потыкал щеку, — пятнышки? Здесь пятнышки?

— Она полола, — сказала Варя. — Полола и упала в землю лицом.

— Последняя боль. — Старик покачивал головой. — Кто решил здесь хоронить? Кто сюда везти приказал, я спрашиваю?

— Мы, — растерянно сказал Владимир. — Я, Маша, Ваня, Захар…

— Захар! — Отец яростно отмахнулся. — Что он понимает, ваш Захар! Там ее земля, в Высоком, неужели не ясно? Там, где полола, во что лицом, лицом уткнулась в последний раз. Назад! Запрягать! Немедля!

Все молчали, переглядываясь в замешательстве.

— Батюшка, это не очень удобно, — отважился Гавриил. — Везти тело за тридцать верст в такую жару. И так уже… — Он замолчал.

— Пахнет, да? — выкрикнул старик. — Чего же недоговариваешь, чего мямлишь, офицер? — Он обвел всех суровым взглядом. — Здесь простимся. Сейчас, пока закладывают. Здесь простимся, а

там, в Высоком — ее Высоком! — похороним. И меня тоже там. Рядом, гроб к гробу, слышите? Гроб к гробу!

И зашагал к дверям, откинув седую голову к прямой, как древко, спине.

Глава третья

1

Василий Иванович Олексин так и не получил Вариного письма, адресованного в далекий американский городишко. Письмо медленно ехало по Европе, медленно плыло по океану, подолгу залеживалось в почтовых мешках, а когда в конце концов достигло назначения, адресат уже пересекал Атлантику в обратном направлении, перебирая в памяти осколки разбитых вдребезги иллюзий.

Правда, мечты превратились в иллюзии недавно. А до этого еще со студенческих сходок они являлись смыслом жизни, самой возвышенной, самой святой идеей века. Даже тогда, в самом начале пути, при первых встречах с Марком Натансоном и его супругой Ольгой Александровной, когда идея только как бы парила в воздухе, уже родившись, но еще не одевшись в слова, даже тогда она не казалась иллюзорной. Она была истиной, и ее воспринимали как истину, как единственную, равную откровению формулу, уравнявшую счастье народа с подвигом во имя этого счастья.

Осознание своего долга перед большинством, порабощенным государством, церковью и вековым невежеством, делало их бесстрашными, сильными и гордыми не перед людьми, а перед судьбой. Прежние представления о жертве во имя прогресса, о миссионерско-просветительской деятельности, о благородном порыве, сострадании, милости и прочем были отброшены: они изначально разводили народ и тех, кто хотел служить этому народу, на неравноправные, заведомо противопоставленные друг другу позиции благодетелей и просителей. Нарушалось не просто равенство, его не могло быть, — нарушалась взаимосвязь целого, называемого народом, нацией, родиной. Мозаика не складывалась, картины не возникало; темная, непонятная масса шла своим, особым путем, а те, кто хотел служить этой безликой массе, — своим, и пути эти никогда не пересекались, как рельсы Николаевской дороги.

— Парадокс в том, что мы, дети народа, его плоть и кровь, настолько оторвались от него, настолько обособились, что цветем на его теле чуждым, непонятным и пугающим его цветом, источая раздражающий аромат роскоши и тунеядства, — говорил Красовский, их трибун и идеолог, по имени которого и называли их кру-

жок. — Нам необходимо вернуться в материнское лоно не для того, чтобы раствориться в нем, а для того, чтобы всеми силами, знаниями, талантом облегчить народу жизнь и страдания. Будущее России в единстве народа и интеллигенции. Служить народу — значит вернуть ему наш неоплатный долг, постараться возместить то, что господин Лавров так блестяще определил как цену прогресса.

Однако уплатить эту «цену прогресса» оказалось непросто: во-первых, сам кредитор не желал принимать долга, с привычной недоверчивостью встречая очередное господское начинание; во-вторых, правительство немедленно усмотрело в этом противозаконие, и наиболее активные пропагандисты и ходоки в народ вскоре очутились за решеткой. Петербург и Москва готовились к небывалым по количеству обвиняемых политическим процессам. Не понятое и не принятое снизу течение оказалось разгромленным сверху — сотни арестованных ожидали своей участи в камерах, остальные разбежались, затаились, ушли за границу.

Василий Иванович был арестован, но до суда отпущен на поруки с высылкой под надзор по месту жительства. В Высоком тогда, два года назад,

вместе с мамой жили Варвара и Федор; никто ни о чем не расспрашивал, никто не упрекал, никто не жалел, и Василий Иванович вскоре оправился от потрясения, вызванного первым знакомством с голубыми мундирами. Поехал в Смоленск, привез две телеги книг, много читал, много думал. Когда Федор или Варвара приставали с вопросами, виновато улыбался, бормотал и старался уйти к себе. А мама укоризненно говорила:

— Васенька торбочку примеряет, а вы мешаете.

— Какую торбочку, маменька?

— Собственную. У каждого своя торбочка, и как наденешь ее, так и до смерти не скинешь. Поэтому ошибиться нельзя: надо по плечам брать, по силам мерить.

Вскоре Василий Иванович, отложив книги, стал частым гостем в деревне, с наслаждением принимая участие в общинных работах: косил, жал, возил с поля снопы. Говорил о чем-то с мужиками, особенно со старостой Лукьяном и Захаром. Федор преданно сопровождал его, но был еще молод, многого не понимал, зато запоминал все. Путался, страдал и наконец не выдержал:

— Что тебе в них, в мужиках, Вася? Экают, мекают, ничего толком объяснить не могут. Тупы,

как верблюды загнанные, а ты время тратишь.

— Тупы? — Василий Иванович улыбнулся. — Очень уж себя мы любим, Федя. А это самое легкое: себя-то любить. Нет, ты вот такого полюби, потного да нечесаного, в лаптях да сермяге. Тогда прозреешь. И все разглядишь: и сердце доброе, и совесть, и справедливость, и ум, которому любой позавидовать может. Только в коросте пока все это. Триста лет коросте той, Федор Иванович, брат мой любезный. Пока мы французские глаголы да английские времена учили, кормилец наш пот со лба смахивать не поспевал. Высыхал тот пот на нем, слой за слоем в коросту превращался, и мы уж своего же брата узнавать перестали. А ведь мы должны ему.

— Должны? — Федор недоверчиво усмехнулся. — Это он нам должен.

— Он нам рубли должен, а мы ему — миллиарды. Мы в кабальном долгу перед ним, Федор, запомни это, пожалуйста. На всю жизнь запомни.

Федор запомнил, память была блестящая. И о долге запоминал, и о тех трех мешках, о которых Василий Иванович толковал с Варей. Федор и тогда мало что понял, по правде говоря, но запомнил.

— Деревня живет по закону трех мешков, Варенька. Глупо? Чрезвычайно глупо, а попробуй переубеди их, попробуй уговори.

— Каких трех мешков?

— Роковых, на этих мешках русская деревня стоит, как земля на трех китах. Вот считай: одна треть мужицкого урожая — долг, недоимки, общинная доля и прочая и прочая; вторая треть — хлеб насущный на круглый год до новой страды; а третья — семена, то, что весной в оборот уйдет, чтобы снова те же три мешка породить. Скажешь, простое, мол, воспроизводство? И ошибешься. Нет никакого воспроизводства. Есть рабская традиция, привычный страх, что излишек все равно отберут, как отбирали доселе. Есть поразительная готовность к худшему. Не к лучшему, заметь, а к плохому, к невыносимому, к чему-то настолько тяжелому, что и говорить-то об этом не хочется. А раз так, раз все равно плохое впереди, так зачем же четвертый мешок? Знаменитый четвертый мешок, который лежит в основе всех богатств, оказывается ненужным русскому мужику — вот в чем парадокс, Варя.

Варя слушала затаив дыхание. Она не просто любила старшего брата — она восторженно поклонялась ему и слушала так, как слушают

влюбленные женщины, не столько вникая в смысл, сколько чувствуя интонацию, стук сердца, волнение и страсть. Ее пансионное образование было далеким от жизни, и сейчас она жадно, до самозабвения училась, слушала, читала, стремясь как можно скорее постичь тот мир, который так горячо принимал к сердцу ее идол. Она читала по ночам привезенные им книги, старательно выписывая целые страницы и выучивая наизусть то, в чем не могла разобраться.

Потом в Высокое приехал сам Красовский и с ним восторженная, непородисто громкая и вызывающе аппетитная курсистка Градова. Таких девиц всегда хочется тискать, и Варя сразу же люто невзлюбила ее именно за это качество.

— Маменька, она неприлично кокетничает с Васей. По-моему, решается его судьба.

Пугая маму, Варя и не подозревала, как близка была к истине: судьба Василия Ивановича действительно решалась в эти дни.

— Вы абсолютно правы, Василий Иванович, — как всегда, тихо сказал Красовский. — Ломать традиции можно только примером, даже если дело касается трех мешков. Всякая иная ломка чревата подрывом нравственного фундамента народа. А пример вполне реален: наш друг Градо-

ва согласна пожертвовать своим наследством.

— Эти миллионы жгут мне руки! — с пафосом воскликнула курсистка.

— Значит, земледельческая коммуна? — с замиранием сердца спросил Василий Иванович. — Боюсь верить в это, господа: такое счастье бывает только в сказках.

— В Новый Свет! — Градова стремилась к возвышенным чувствам, яростно отрицая этот погрязший в сытости мир. — Мы привезем туда новую религию!

— Это прекрасно, — улыбнулся Красовский. — Но наша основная задача — создать образец самоокупаемой, мало того, рентабельной ячейки общества, основанной на принципах равенства. Создать не для себя, не для внутреннего потребления, а в качестве примера для всех свободных тружеников. Мы должны агитировать не столько словом, не столько нравственной чистотой своего бытия, сколько результатами своего труда. Мы должны добиться права гордо сказать всему миру: смотрите, на что способен истинно свободный, гордый и прекрасный человек. Смотрите не для того, чтобы удивляться, а для того, чтобы самим стать лучше. Я свято убежден, что пример свободного труда способен сотворить чудо и со-

творит его!

Он сказал это тихо, без всякой аффектации, а словно прислушиваясь к своим мыслям и в то же время критически проверяя их. Это был верный способ привлечь внимание в самых громких спорах. Красовский недаром слыл признанным вожаком их кружка.

Их было десять, рискнувших создать модель нового общества: семеро мужчин и три женщины, и среди них Екатерина Малахова, единственная мать. Одиннадцатый член будущей коммуны отправился за океан еще два месяца тому назад.

Этим одиннадцатым был Вильям Крейн — в прошлом офицер Генерального штаба, человек выдающихся способностей, увлекающийся и нетерпеливый. Крейн ожидал их в Нью-Йорке, уже имея в кармане документы на право владения фермой в далеком западном штате.

Они с энтузиазмом взялись за дело, но первый урожай сгорел на корню: год выдался засушливым. Пришлось начать все сначала, но энтузиазма хватило и на это: они были молоды, отважны и верили в свою великую цель. Однако то ли сеяли они слишком поздно для этих широт, то ли купленные второпях семена были никуда не годными, а только и второй урожай не внушал

особых надежд: колос был полупустым, стебель чахлым и тощим, посевы редкими, с многочисленными огрехами. Василий Иванович целыми днями бродил по полям, высчитывая зерна в колосках, и лишь одно поле — то ли потому, что он сам его обрабатывал, то ли по счастливой случайности — обещало хоть что-то весомое.

— Озабочены, Василий Иванович? — спросила Малахова, встретив его за этим занятием: она гуляла с сыном.

— Озабочен, Екатерина Павловна, — вздохнул Олексин. — И, признаться, не понимаю, почему здесь недород, а на том клину полный колос. Может быть, близко грунтовые воды?

— Какие там воды, — усмехнулась она. — Руки у вас золотые, вот и вся причина. А мы тяп да ляп.

— Ну что вы, столько труда. — Он замолчал, потому что лгать не умел да и не хотел: труда было много, но бестолкового. — А Коля ваш молодцом стал. И окреп, и вырос.

— Скучно здесь, — невпопад сказала Малахова. — И небо то же, и хлеба, а — не Россия. И поговорить не с кем: ни людей вокруг, ни соседей. Если бы не вы, взяла бы я Коленьку и — куда глаза глядят. Ей-богу, куда глаза глядят…

Смахнула слезинку, взяла сына за руку и пошла

к их большому и неуютному дому, где было много жильцов, но ни одной подружки, где был муж, но не было друга. А хотелось тихих вечеров с самоваром и вареньями, уютных разговоров ни о чем, спокойной уверенности в завтрашнем дне. Но вместо этого каждый вечер ее ожидали бесконечные жалобы мужа, раздражающая неряшливость Градовой и тоскливый, как в казарме, стол на двенадцать персон.

«Если бы не вы…» Голос ее словно остался тут, с ним. До сих пор он боролся со своей влюбчивостью, всячески сторонился женщин, соблюдал строгий режим и обливался по утрам звонкой колодезной водой. Но с каждым днем он все отчетливее слышал шелест юбок, а по ночам просыпался от одних и тех же снов и в одной рубашке выходил остывать во двор.

Он думал, что теперь ему обязательно приснится Малахова, и даже хотел этого. Но приснилась не она, грустная и тихая, а разбитная петербургская девица без имени, этакое пышущее бесстыдством создание в одних черных чулках. Создание наваливалось горячим телом, душило и требовало, и Василий Иванович счастлив был проснуться на узком топчане в собственной темной каморке. Встал, отер взмокший лоб и вышел

во двор. По привычке он направился к конюшне: он всегда навещал лошадей во время своих остываний. Створки оказались полуотворенными, но он не обратил на это внимания и вошел. И замер в дверях: против входа лежал кто-то на охапке сена. Он не понял, кто это: в конюшне стоял предрассветный полумрак. Шагнул: на сене, вольно раскинувшись, сладко спала Градова. А рядом похрапывал еще кто-то, и рука этого неизвестного небрежно покоилась на круглом женском колене. Олексин тихо попятился, но уйти не успел.

— Кто тут? — сонно спросил мужчина.

Василий Иванович выбежал, неуклюже ударившись о створку приоткрытых ворот. Хотел тут же скрыться в доме, но передумал, боясь, что заподозрят в подглядывании. Пошел не спеша, но сзади окликнули.

— Олексин, вы? — делано позевывая, подходил Крейн. — Не спится? Да, душны тут ночи. А вы все насчет урожая беспокоитесь?

Василий Иванович покивал. Ему было неудобно и неуютно разговаривать с этим человеком после того, что он увидел, но извиниться и уйти он почему-то не мог, хотя Крейн явно ждал этого.

— Интересно, а что творится у соседей? Может быть, съездим завтра с вами, Олексин? С познава-

тельной целью, а?

— Можно, — с трудом выдавил Василий Иванович.

— Так и порешим. А пока воздержимся от суждений, правда? Наши склонны к преувеличениям.

И торопливо пошел к конюшне, где на душистом сене сладко спала женщина.

На следующий день они предприняли объезд соседей, и вечером Крейн лично доложил результаты рекогносцировки:

— Мы скверно работаем, друзья. Мы причесываем, а не бороним. Мы непозволительно запаздываем со сроками и сеем кое-как, лишь бы избавиться от зерна.

— Какой же выход? Что скажет заведующий хозяйством?

— Выхода я вижу два, — сказал Василий Иванович. — Первый — нанять рабочую силу, пока мы не встанем на ноги.

— Но это же абсурд: коммуна, пользующаяся наемными рабочими! Мы рубим сук, на котором сидим!

— Второй выход: переход от зернового хозяйства к смешанному. Купить скот, откормить его, продать и тем покрыть дефицит.

После долгих споров предложение было приня-

то, и Василий Иванович собрался за бычками в ближайший городишко: он лучше остальных говорил по-английски. Крейн вызвался проводить.

— Старайтесь не пользоваться наличностью, — говорил он, придерживая лошадь, чтобы ехала рядом. — Чеки и только чеки: Америка — особая страна.

— Да, да, я вас понимаю.

— Настаивайте, чтобы продавец сам обеспечил доставку гурта. Скажите, что окончательный расчет будет на месте.

— Конечно, конечно. Я просто не справлюсь.

— И вот вам на всякий случай. — Крейн протянул кольт. — С ним, знаете, спокойнее, но не проговоритесь нашим дамам.

— Благодарю вас, Крейн, только мне как-то спокойнее без оружия. Я человек мирный.

— В Америке нет европейского деления на мирных и военных. Здесь люди делятся на вооруженных и безоружных.

— И все же…

— Вы мне симпатичны, Олексин, и я вам дарю этот револьвер на память. Счастливого пути.

Крейн хлестнул лошадь, и Василий Иванович остался один. И проводы, и особенно подарок были похожи на плату за молчание, и на душе

у Олексина остался неприятный осадок.

В ближайшем городишке продажного скота не оказалось, и Олексин, переночевав и наведя справки, двинулся дальше на Запад. Здесь уже совсем пошли места незнакомые, обжитые районы попадались редко, а вскоре и они кончились. Василий Иванович часто привставал на стременах и оглядывался, надеясь увидеть хоть какое-нибудь жилье, но вокруг было по-прежнему пустынно, дико и неприветливо.

Вечерело, когда он заметил дымок. Подхлестнул усталого коня, миновал низинку и за гребнем холма увидел костер. Двое мужчин сидели подле огня, а невдалеке паслось стадо, что очень обрадовало Олексина: он достаточно наслышался рассказов и о воинственных индейцах, и о шайках бродяг и чувствовал себя неуютно. Подъехав, спешился, сказал, кто он, откуда и зачем едет.

— Тебе повезло, приятель, — сказал сидевший у костра. — Я гоню бычков на продажу.

О цене столковались быстро, но продавец требовал наличные. Олексин все же уломал его, пообещав треть в звонкой монете по доставке гурта на место. Уже в темноте они выборочно осмотрели бычков. Василий Иванович передал чек, попросил документы.

— Документы при расчете, — сказал продавец, седлая коня. — Я поеду вперед, а мои парни помогут тебе управиться. Не давай им спуску, приятель: они полукровки и унаследовали от матерей только индейскую лень.

Продавец ускакал, а Василий Иванович, переночевав у костра с молчаливыми ковбоями, на рассвете тронулся в обратный путь. Бычки были рослыми и упитанными, достались дешево, и Олексин ощущал полное довольство собой, немного гордясь собственной хозяйской сметкой, позволившей так легко и просто поддержать пошатнувшийся баланс коммуны.

В полдень остановились в низинке пообедать, подкормить скотину и передохнуть. Пока ковбои разжигали костер, Василий Иванович прилег, положив голову на седло, и неожиданно уснул: сказались усталость и почти бессонная ночь.

Проснулся он от выстрелов. Решив со сна, что напали индейцы, вскочил и стал поспешно вытаскивать кольт. Делал он это неумело и не очень уверенно, револьвер зацепился курком за пояс, а еще через мгновение полдюжины стволов уперлось в его грудь.

— Задери-ка руки, парень, — сказал грубый, прокуренный голос. — Пошарьте у него в карма-

нах, ребята.

Перед Олексиным стояло с десяток всадников на взмыленных, с проваленными боками лошадях: видно, скакали они издалека и не жалели коней. Распоряжался кряжистый мужчина в широкополой шляпе, с кольтом на поясе и винчестером за плечами. Его приказание было исполнено тотчас: двое спешились, бесцеремонно обыскали Олексина, отобрав револьвер и документы.

— У него неплохая игрушка для скотовода, — сказал один из них, передавая вещи предводителю.

— Я не понимаю, — начал было Василий Иванович.

— Молчи, пока не спрашивают! — грубо перебил старший. — Вопросы задаю я. Чей это скот?

— Мой.

Всадники зашумели. Предводитель поднял руку.

— Допустим. Почему же твои погонщики бросили его и ускакали, увидев нас?

— Не знаю. Я купил этих бычков сегодня утром.

— Он купил их сегодня утром, сэр! — громко сказал главарь.

Из-за его плеча выдвинулся прилично одетый господин с озабоченным и, как показалось Олексину, интеллигентным лицом, украшенным аккуратной черной бородкой.

— У кого вы купили бычков?

— Не знаю. Я…

— Какое на них тавро?

— Не знаю.

— Он ничего не знает, сэр! — весело перебил предводитель. — Встряхните ему мозги, ребята.

Василия Ивановича с силой ударили в лицо, в живот, снова в лицо и снова в живот. Он упал на колени, оглушенный болью и ощущением полнейшего бессилия.

— За что? — крикнул он, размазывая кровь. — Я действительно ничего не знаю! Даже собака должна знать, за что ее бьют!

— На этих бычках мое тавро, — негромко сказал господин с бородкой. — Стрела с поперечиной. Вы утверждаете, что купили их?

— Клянусь вам. Я купил их вчера вечером по тридцать семь долларов за голову с уплатой двух третей чеком на предъявителя и одной трети золотом по доставке гурта на место.

— Складно врет! — крикнул какой-то парень. — Чек на предъявителя!

Старшие совещались. Потом господин с бородкой спешился, подошел к все еще стоявшему на коленях Олексину и достал карманную Библию.

— Поклянитесь на Святом Писании, что говорите правду.

— Я даю вам честное слово.

— Поклянитесь именем Господа.

Василий Иванович молчал, сосредоточенно счищая кровь с клочковатой и реденькой русой бородки.

— Клянись, парень, — сказал главарь. — Если это так, ты виноват только в скупке краденого. Мы сдадим тебя шерифу — и дело с концом. Чего ты ждешь?

— Я не могу, — тихо сказал Олексин. — Поверьте, я говорю правду и только правду, но я не стану клясться на Библии. Я не верю в Бога и не могу пойти против собственных убеждений.

— Не веришь в Бога? А кто же после этого будет верить тебе?

— Люди.

— Люди чтут закон и не воруют скот. Ты нарушил людской закон и будешь вздернут. Ребята, веревку!

— Господа! — Василий Иванович попытался встать, но дюжие парни прижали его к земле. —

Господа, я ни в чем не виноват! Поверьте же мне, поверьте! Я не знал, чье это тавро, я не знал, чей это скот, я ничего не знал, господа!

— Либо ты поклянешься на Библии, либо будешь болтаться на суку. Думай, пока тебя не вздернули, мы ждать не любим.

— Но, господа, это же невозможно, это же бесчеловечно, господа! Нет, вы не сделаете этого, не сделаете. Я знаю, что вы хорошие люди, я верю в ваши добрые сердца: ведь у каждого из вас есть мать. И у меня тоже есть мать, господа, есть мать в далекой России.

Тонкая ременная петля захлестнула горло, сдавила его. Олексин дико рванулся, но его крепко держали за плечи.

— Что вы делаете, люди! Ведь люди же вы! Люди, люди…

— Клянись на Священном Писании, грешник.

Слюна заливала глотку, текла по бороде, по груди. Василий Иванович мучительно глотал ее сдавленным петлей горлом, давясь и задыхаясь. Он был весь в омерзительном липком поту, но дрожал, как в ознобе.

— Господа, я умоляю. Я клянусь своей честью…

— Клясться можно только именем Господа нашего. Не хочешь?

Корчась в сильных руках, Олексин судорожно глотал. Глаза вылезали из орбит, сердце отбивало бешеный ритм, мучительно хотелось вздохнуть, вздохнуть хоть раз, но воздуха не было: петлю подтянули до предела.

— Господа, я прошу-у…

Он уже хрипел. Язык словно распух и теперь занимал весь рот, мешая дышать, мешая глотать и мешая говорить. Перед глазами уже плыли не лица, а цветные пятна, они медленно двигались, сталкивались друг с другом. На миг мелькнуло острое желание поклясться на этой книге, сделать так, как хотели эти люди, купить себе глоток воздуха и, может быть, жизнь. Но это трусливое желание только мелькнуло, и он тут же загасил, запрятал, задавил его, понимая, что если сдастся, если покорится и солжет, сказав, что уверовал, то солжет не им, солжет не Богу — солжет самому себе. И предаст самого себя.

Он уже ничего не видел и ничего не слышал, он уже не хотел ни видеть, ни слышать, он хотел только одного: не позволить себе унизиться, солгать, смалодушничать. А сил оставалось так мало, что он отверг все, все чувства, сосредоточившись на одном, самом простом и самом страшном: молчать. Заставить себя молчать. И

последнее, что он почувствовал, — его куда-то поволокли, поволокли на этой удавке, и острая пропотевшая петля с невероятной силой сдавила горло…

Очнулся он от воды, что лилась на лицо. И от хохота:

— Ты счастливчик, парень: мои ребята не нашли дерева, на котором можно было бы тебя вздернуть!

Отряд уходил, гоня перед собой бычков. Олексин сел, осторожно потрогал шею и тут же отдернул руки: петли не было, но содранная ременным арканом кожа горела, словно после ожога. Хотелось пить, он попытался встать, не смог и остался сидеть, закрыв глаза и равнодушно осознавая, что остался жив. Сзади послышался топот. Шея не поворачивалась, и Василий Иванович терпеливо ждал, когда всадник окажется перед ним.

— Мы не бандиты, мы честные скотоводы, — сказал, подъехав, господин с бородкой. — Частная собственность неприкосновенна, и вашу лошадь мы взяли в качестве законного штрафа за убытки, которые мы понесли, это справедливо. — Он бросил на песок документы Олексина, его нож и револьвер. — Частная собственность неприкосновенна, и пусть этот урок заставит вас подумать

о Боге.

Всадник ускакал. Затих топот, рев стада, а Василий Иванович долго еще неподвижно сидел на песке, закрыв глаза и ни о чем не думая.

На пятый день голодный, полуживой, оборванный добрался он до дома. Без денег, без бычков и без чего-то в душе; он сам не понимал, без чего именно, но что-то покинуло его, и на место покинутого вселилась пустота. Он ощущал эту вселившуюся пустоту как тяжесть.

Скупо, избегая подробностей, он рассказал о своем приключении. Его никто ни о чем не расспрашивал: умыли, накормили, перевязали, уложили в постель. Он лежал в своей келье, глядел в дощатый потолок, понимал, что хорошо бы уснуть, и почему-то боялся снов.

Для кого они бросили семьи, дома, родину, отечество? Для кого ехали за тридевять земель, трудились до седьмого пота, отказывали себе во всем, ведя почти иноческий образ жизни? Для кого они еще до плавания за океан рисковали своим будущим, своей судьбой, а зачастую и жизнями, расшатывая устои могучего государства почти в одиночку, силами собственных умов и талантов? Для народа? А что такое народ? Тот, кто трудится? Но те, кто издевался над ним, кто затягивал ре-

менное лассо на шее, были самыми что ни на есть рабочими и затягивали петлю грубыми руками по одному лишь подозрению, что он скупщик краденого скота. Даже и не по подозрению, а так, из слепой жажды мести, из темной злобы против чужих, а тем паче не верящих в Бога. Почему же они поступали так? Что двигало ими, что делало их жестокими и злыми? Частная собственность? Значит, если не будет ее, этой проклятой частной собственности, люди изменятся, станут добрыми и чуткими, покончат с жестокостью, ненавистью и несправедливостью раз и навсегда?

Стояла глубокая ночь, и во всем доме не спали только два человека. Не спали по разным причинам и думали каждый о своем.

Святая и неприкосновенная частная собственность, забота о личной сытости и личном благополучии есть питательная среда жестокости, злобы и несправедливости. Но так ли уж справедлив этот набивший оскомину постулат?

Разве те, кто не обладает никакой собственностью, менее жестоки, злобны и несправедливы? Разве жестокость и злоба вольны приходить или не приходить в зависимости от благосостояния? Разве человечество не было жестоким еще до того, как стало обладать собственностью? Разве

дикари, не имеющие никакого представления о собственности, не поджаривали нищих миссионеров на медленном огне? А может быть, жестокость есть чувство изначальное, свойственное животной сущности человека и лишь задавленное в нем цивилизацией, образованием, воспитанием, наконец? Да-да, просто воспитанием, терпеливым, вдумчивым примером и добрым словом. Примером и добрым словом…

Но этот вывод, пожалуй, не для него, уже зараженного обидой, уже оплеванного и опозоренного, уже сломленного, уже увидевшего в людях страшные бездны безотчетной злобы и ненависти, уже усомнившегося в них. Нет, это не для него. И подвижничество не для него, и проповеди не для него. Сомневающийся проповедник — может ли быть что-либо более лживое на свете? Нет, ему не преодолеть себя, не воскреснуть вновь, не улыбаться так, как он улыбался всегда. Эта петля, оставив его в живых, что-то навеки задушила в нем. А стоит ли жить полузадушенному и потрясенному? Не проще ли воспользоваться подарком Крейна: он не защитил его жизнь, так, может, он оборвет ее?

Он не успел дотянуться до револьвера, как скрипнула дверь. Кто-то в белом скользнул в

комнату, тихо щелкнул задвижкой. Сердце его вдруг забилось нетерпеливо и оглушительно; он все понял, но все-таки спросил:

— Кто здесь?

Белая фигура шагнула к топчану, и тихий знакомый голос прошептал, чуть задыхаясь:

— Я больше не могу без вас. Не могу, понимаете?..

2

После похорон матери — в Высоком, на холме подле церкви — Гавриил сразу же вернулся в Москву. Комитет задерживал отъезд, но сдобная хозяйка напрасно наряжалась и румянилась: постоялец возвращался поздно, дома не ужинал и до утра засиживался над книгами. Она томно вздыхала, часто роняла что-нибудь звонкое, призывно вскрикивая при этом, и старательно забывала закрывать дверь в собственную спаленку, но ничего не помогало. Усатый — ах, эти пшеничные усы! — офицер учил сербский язык.

В Москве шли бесконечные собрания, заседания Славянского комитета и самых разнообразных благотворительных обществ. Толковали об историческом праве славян, о зверствах турок, о доблести черногорцев, о происках Англии, о

единой славянской семье, о… О чем только не говорилось на этих собраниях, и говорилось главным образом потому, что говорить-то дозволялось и собираться дозволялось, и, господи боже ты мой, наконец-то и на святой Руси повеяло чем-то похожим на свободу. И — говорили. Всласть говорили, точно хотели вдруг наговориться в полный голос за многие-многие годы шепотков с оглядкой. И в восторге от дозволенной свободы уже не жалели ни времени, ни сил, ни денег.

Побывав в двух-трех домах и потеряв полдня на одном из собраний, Гавриил старался нигде более не появляться. Он был человеком военным и понимал, что Сербии нужны офицеры, а не разговоры. К этому прибавлялся и страх встречи с прошлым — с офицерами полка, с рыжим артиллеристом или, упаси бог, с самой мадемуазель Лорой. Он не забывал о ней, как не забывают ушедших в небытие, — памятью без надежды.

Но выдержать затворничество не удалось: из Сербии приехал полковник Измайлов, правая рука Черняева, герой первых победоносных и легких боев. Он горячо и напористо говорил о часе избавления, который пробил, о святом долге, который движет историей, об узах крови и веры и о кресте и полумесяце, о прародине, справедли-

вости, избавлении.

— Мечи обнажены, господа! — взывал он на обеде в его честь. — Мечи обнажены, и слава волонтерам!

Восторженно аплодировали, восторженно пили, но с ответным тостом никто не спешил. А Измайлов явно ждал этого тоста и уже начал проявлять признаки некоторого недоумения, когда председательствующий предложил слово первому русскому волонтеру.

Для Олексина столь высокая честь была полной неожиданностью, и поначалу он говорил путано и длинно, долго пробираясь к тому, чего, как он чувствовал, от него ждали.

— Нет, не заветный Олегов щит зовет нас на поле брани. Не лазурь Мраморного моря, не тучные поля Забалканья и не красоты Адриатики. Нет, не ради наград и славы лучшие сыны отечества нашего оставляют сегодня отчий кров и рыдающих матерей. Нет, нет и еще раз нет! «Свободу братьям!» — написали мы на наших знаменах и боль за их муки вложили в наши сердца. Чаша великого терпения России переполнилась, боль хлынула через край, и нет в мире сил, которые смогли бы воспрепятствовать нам в нашем святом порыве. Свободу угнетенным братьям!

Свободу, свободу, свободу!

Гавриилу долго аплодировали и долго улыбались. Растроганные дамы утирали слезы, убеленные старцы прочувствованно жали руку. Полковник Измайлов лично пожелал чокнуться и поблагодарить, и весь остаток обеда Олексин ощущал себя в центре внимания, разделяя славу с тем, ради которого и затеяли весь этот обед.

Как только встали из-за столов, Гавриила отозвала хозяйка:

— С вами жаждут познакомиться.

Олексин покорно двинулся за хозяйкой, плавно плывущей мимо гостей, расточая на ходу улыбки. Они прошли в маленькую гостиную, где одиноко сидел рано полысевший худощавый мужчина лет тридцати со странным немигающим взглядом бесцветных и равнодушных глаз.

— Рекомендую, господа: поручик Олексин Гавриил Иванович — наш гость из Петербурга князь Насекин. А меня извините: святые муки хозяйки.

Хозяйка выплыла. Олексин сел, с трудом выдерживая остановившийся на нем взгляд.

— Приятно познакомиться с идейной жертвой массового национального помешательства. — Голос у князя был под стать взгляду: без цвета и глубины.

— Да, я стремлюсь в Сербию, — с некоторым вызовом сказал Гавриил.

— Позвольте поинтересоваться причиной?

— Полагаю, что Сербия нуждается в офицерах.

— Добавьте: в русских офицерах. А в идеальном случае — в русских солдатах под командованием русских офицеров.

— Что же, защита угнетенного народа есть благороднейший долг каждого честного человека.

Князь чуть заметно улыбнулся:

— Отчего же вы не стремитесь на Кавказ или к киргизам? Поднимайте восстание во имя свободы горцев или номадов — честь вам и хвала. Какая, в сущности, разница между деяниями генерала Кауфмана и деяниями Мегмета-паши? Нет, вы почему-то скачете именно в Сербию, потрясая мечом, как архангел Гавриил. Извините за каламбур, не хотел вас обидеть.

— Мне нет дела до горцев, номадов и прочих инородцев, — чувствуя, что начинает злиться, и злясь от этого еще больше, сказал Гавриил. — Иное дело Сербия, Черногория или Болгария: это наши братья и по крови, и по вере. Таков наш долг перед лицом Европы, наконец.

— О, Россия, Россия, влюбленный паж Европы! — тихо и зло рассмеялся князь. — Вероятно,

мы чудовищно юны и не желаем замечать, что предмет нашего восторга стар и безобразен. Что у него вставные зубы Бисмарка и накладной лондонский парик. Что Европа давно уже подбеливается новейшей философией и румянится площадными революциями темпераментных галлов. А мы смотрим на эту хитрую, поднаторевшую в плутнях старуху восторженными глазами, почитаем за великое счастье всякое небрежное ее одобрение и ради этого готовы подставить свой славянский лоб под любую пулю.

— Не понимаю вашего сарказма, князь, — сдержанно сказал Олексин. — Мы такие же дети Европы, как и все прочие европейские народы.

— Вы заблуждаетесь, Олексин; исторический парадокс заключается в том, что о нас вспоминают тогда, когда начинают печь каштаны. Так что не обожгите руки, друг мой. А пуще того, не подпалите крылья своей благородной идее.

Разговор этот весьма не понравился Гавриилу. Он хотел бы забыть его, изгладить из памяти, но забыть князя так просто не удавалось. Всю дорогу домой он внутренне спорил с ним, искал злые и убедительные аргументы и никак не мог избавиться от цепкого взгляда пустых немигающих глаз.

— Вас дожидаются, Гавриил Иванович.

Олексин, как всегда, пришел поздно и не хотел встречаться с хозяйкой, но она бежала к дверям на всякий стук.

— Кто?

— Не знаю, только давно ждут. Они там, в гостиной, чай пьют.

В гостиной у самовара сидел Захар. Увидел Гавриила, торопливо поставил чашку, вскочил и вытянулся во фронт, хотя в армии никогда не служил и фронту не обучался.

— Здравия желаю, Гаврила Иванович!

— Здравствуй, Захар. Случилось что-нибудь?

— Никак нет.

— Ты из Смоленска или из Высокого?

— Ах, про дом вы. — Захар усмехнулся. — Так ведь ушел я, Гаврила Иванович. Как говорил вам тогда, так и ушел. И сороковин не дождался. Господи, спаси и помилуй!

— Да ты садись. — Гавриил сел напротив, и обрадованная хозяйка тут же поставила перед ним чашку. — И где же ты теперь? Помнится, в Малороссию собирался или даже в Сибирь.

— До Сибири далеко, а в Малороссии пыльно, — улыбнулся Захар. — Решил было в Москве счастья попытать, извозом заняться. Дело знакомое, и в

лошадях понимаю. Да только… — Он усмехнулся, покрутив кудлатой головой. — Народ московский — не приведи бог ночевать по соседству. Тому дай, этого приласкай, того обмани, а иного и во двор не пускай — вот какая тут карусель. Не умею я так-то, да и не по мне все это, Гаврила Иванович.

— Привыкнешь. Мужик ты оборотистый и грамотный.

— Да, газетки читаем, — не без самодовольства подтвердил Захар. — Как турка-то злобствует, Гаврила Иванович!

— Делом, делом надо заниматься, Захар! — резко сказал Олексин: ему не хотелось поддерживать эту тему.

— Так ведь о том-то и речь, для того-то и жду, — понизив голос, сказал Захар. — Не может терпеть душа православная, Гаврила Иванович, не может и не должна. С тем и побеспокоил вас и, если бы разговор мне уделили, премного бы вам благодарен был.

— Пойдем ко мне. — Гавриил встал. — Спасибо за чай.

Они прошли в комнату, сели и закурили. Гавриил ждал, но Захар, как видно, еще собирался если не с мыслями, то с духом. Похмурил брови, колупнул в пышной, под купца, бороде, откашлялся:

— Был я, значит, в Комитете, когда вас искал. Расспросил все, порядок узнал и написал прошение, поскольку бумаги при мне.

— Какое прошение?

— Касательно Сербии, — важно пояснил Захар. — Послужить хочу святому православному делу.

— Воевать, что ли, собрался?

— Воевать — это как придется. Трудов не боюсь, сами знаете. Стрелять умею — вас же учил. Вилами ворочал, думаю, и штыком управлюсь. Одобряете?

— Нет, — решительно сказал Гавриил.

— Правильно, — неожиданно улыбнулся Захар. — Затем и пришел.

— Сербии нужны офицеры. Солдат у нее хватает.

— Ну, офицер без денщика тоже немного навоюет, — несокрушимо улыбнулся Захар. — Вы-то едете? Или передумали?

— Еду. И, вероятно, скоро.

— Значит, денщик понадобится? — Захар вдруг встал и старательно вытянулся. — Рад стараться, ваше благородие! Бери ты меня, Гаврила Иванович, бери, право. А то ведь один уеду — себе на неудобство, да и тебе без пользы. Ну, по рукам,

что ли, ваше благородие?

3

Варя жила теперь в Высоком. По ее распоряжению мамину спальню закрыли на замок, ключ она взяла себе и заботливо следила, чтобы все, вся жизнь дома была как прежде. Бродила по дому, отыскивала любимые мамины вещи и, как сорока в гнездо, сносила их в мамину комнату. И даже завела дневник: «Десять дней без мамы. Уехал Гавриил. Двенадцать дней без мамы. У Наденьки жар, болит животик. Наверно, объелась пенок: весь день варили варенье…»

Она боялась возвращения в Смоленск не потому, что мамы больше не было, — она привыкла жить одна и ценила свою независимость. В Смоленске она позволила себе забыться. Она с ужасом, до жара, ощущала тот вечер: жесткие усики, что касались ее щеки, руки, скользившие по ее платью, порывистое мужское дыхание на своей шее, которую она — она сама! — потеряв голову, оголила и подставила ему! Варя до сих пор слышала треск кнопок, что медленно, одну за другой, расстегивала тогда, вспоминала свое постыдное тайное желание, чтобы он коснулся ее груди, представляла, как изворачивалась в его

объятиях, чтобы случилось это, и задыхалась от мучительного стыда. Но самым горьким, самым ужасным было сознание, что именно в то время, когда она, забыв о девичьей скромности, таяла в руках мужчины, мама уже лежала безгласная и недвижимая. Этого Варя не могла себе простить, этого нельзя было прощать. Это не было ни грехом, ни проступком: это ощущалось как преступление и как преступление ожидало не покаяния, а возмездия.

Отец жил здесь же, но, как всегда, на своей половине, и Варя его почти не видела. В сумерки он гулял по саду, чай пил с детьми, но завтракал и обедал один. Каждое утро ему седлали лошадь: старик выезжал на прогулку в полном одиночестве, окончательно став нелюдимом.

После завтрака Варя с младшими ходила в церковь: семья не была религиозной, но церковь посещала. Теперь к этому прибавилось кладбище: после службы они шли к могилке, клали свежие цветы, поливали дерн. Памятник — отец приказал, чтобы был простой мраморный крест — еще не привезли, могилка выглядела совсем деревенской: цветы да зелень. Ограду не ставили, только Иван врыл скамьи по обе стороны холмика.

Хлопот у Вари хватало: Захар ушел — и все

свалилось на ее плечи. Еще при маме начали перестраивать флигель, завезли железо, и теперь вновь началась работа, и громкий перестук молотков будил их по утрам. Неожиданно привезли дрова — еще Захарово распоряжение, — Варя осталась присмотреть и в церковь опоздала. Пошла не в церковь, так как служба кончилась, а к маме. Дети уже возвращались — Варя встретила их на мостике через речку, — и на холм к сельскому кладбищу ей пришлось подниматься одной. Шла она не дорогой — вокруг, — а напрямик, через кусты, минуя старую ограду, петляя среди бедных, на отшибе, могил. Поднялась наверх, вышла из-за кустов и остановилась: у могилы сидел отец.

Он сидел согнувшись, уперев локти в колени и закрыв лицо руками. Варя хотела тихо уйти и уже начала отступать к кустам, но плечи старика жалко, потерянно задрожали, и Варя, поняв, что он одиноко и покинуто плачет, ощутила вдруг такую взрослую жалость, что бросилась к нему, обняла и прижалась.

— Кто? — Отец торопливо отер слезы, и в этой торопливости тоже была какая-то жалкая и беспомощная старческая суета. — Ты? Зачем тут? Зачем?

— Батюшка, милый мой батюшка! — всхлипнув, зашептала Варя. — Поговорите со мной, откройтесь, поплачьте — вам же легче будет, проще будет, батюшка!

— Это дурно, сударыня, дурно! Подглядывать, шпионить! — Старик сделал попытку подняться, но Варя его удержала. — Каждый имеет право на печаль, каждый. Но не смейте ее навязывать, слышите, не смейте! Это кощунство, да-с!

— Батюшка, я не нарочно. Я шла от речки…

— Вы дворянка, сударыня! — Отец встал, выпрямившись и привычно откинув голову. — Кликушество нам не к лицу. Извольте носить свое горе втайне. Извольте!

На следующий день он уехал в Москву, скупо — сдержаннее обычного — распрощавшись с детьми. И Варе добавился новый грех, а если и не грех, то сладостный повод для искупления. «Что же еще впереди? — горестно вопрошала она саму себя. — Чем Ты еще покараешь меня, Господи?» Странное чувство неминуемого возмездия росло и от ощущения некоторой избранности, которую не без гордости чувствовала она. Ее горе было непереносимым, а вот горе остальных довольно быстро отступило на второй план. Младшие тут в расчет не шли, но и старшие уже оправились, вер-

нулись к привычным занятиям и даже позволяли себе смеяться, правда, не при ней. Любимейшая Маша, верный и преданный друг, начала музицировать, а порой и петь; Владимир целыми днями бродил с ружьем; Иван с увлечением занимался химией, переселился в садовую сторожку, ставил опыты и являлся к столу с какими-то пятнами на руках; Федор зачастил в деревню, где часами что-то читал терпеливым мужикам, разъяснял прочитанное и в конце концов сам запутался окончательно. Гавриил уехал, а Василий был далеко, в Америке, и она очень жалела, что не может с ним поговорить. Уж он-то, чуткий, как мама, наверное, понял бы ее, уговорил, утешил, убедил, что она ни в чем ни перед кем не виновата, что нет никакого предначертанного свыше возмездия, а есть лишь закономерное стечение обстоятельств. Но поговорить Варе было не с кем, и она молчаливо громоздила в своей душе обвинения против самой себя.

Вечерами они пили чай на террасе за огромным круглым столом. Так было заведено мамой, но сейчас от прежнего веселого чаепития осталась одна форма. Шутить было еще неприлично, шалить младшие не решались, а разговоры плелись плохо, и все скорее отбывали некий ритуал, чем

наслаждались семейным общением. Да и неулыбчивая Варя у самовара, сама того не желая, гасила слабые отблески былой непринужденности.

— В город никто не собирается? Мне нужно азотнокислое серебро.

— Зачем тебе серебро? — спросила Маша.

— Хочу вырастить кристалл. Если получится, подарю тебе.

— Лучше бы ты порох выдумал, — съязвил Владимир.

— Это верно: судя по трофеям, тебе нужен собственный пороховой завод.

— Что ты понимаешь в охоте, алхимик!

— Что за тон, Владимир, — нахмурилась Варя. — Иван просто пошутил.

— Мне надоели его ежевечерние шутки.

— Попробуй за озером, — примирительно сказал Федор. — Прошлым летом мы охотились там с Гавриилом.

— А Федя бороду накормил! — радостно засмеялась Наденька.

— Вытри рот, Федор, — строго сказала Варя. — А смеяться над старшими грешно.

— Знаете, а ведь мужики осуждают Захара, — сказал Федор, стряхнув застрявшие в жиденькой бороденке крошки печенья. — И вовсе не пото-

му, что он бросил хозяйство. Нет! Они его за то укоряют, что он мир оставил, общину сельскую, вот что любопытно. Добро бы, говорят, шустряк какой в город бежал или бобыль бобылем, ан нет, основательные уходят, крепкие. Скудеет мир, говорит Лукьян, скудеет. Очень любопытная мысль, очень! Ладно, наш Захар не пример, он человек вольный, но, если действительно лучшие элементы сельской общины потянутся в город, деревня пропала. Естественный отбор, господа, что же вы хотите?

Федор витийствовал с наслаждением, но его никто не слушал. Иван давно уже играл с младшими. Маша отсутствующе уставилась в сад. Владимир сердито думал, что завтра же непременно докажет, какой он охотник, а Варя привычно ушла в себя. Семья еще не разлетелась, но единство ее уже треснуло, и таинственные центробежные силы уже подспудно скапливались в каждом ее члене. А Варя, предчувствовавшая и так боявшаяся этого разлета, сейчас позабыла о нем, занимаясь только своей изнурительной внутренней борьбой.

Наутро Владимир ушел задолго до завтрака. Свою собаку, глупую и ленивую, он оставил дома, а взял злую отцовскую Шельму. Он был очень

самолюбив и по-юношески обидчив и твердо решил умереть, но без трофеев не появляться. До озера было неблизко, а охотничье раздолье лежало и того дальше: за самим озером, среди бесчисленных проток, заливчиков, озер и стариц. Поэтому по дороге Владимир не отвлекался, а шел прямиком, и собака с недовольным видом трусила сзади.

Еще на подходе он спугнул с озера стайку уток: взлетев, они сели на глубокую воду. Рассчитывая, что утки вернутся в тихую, заросшую белыми кувшинками заводь, Владимир осторожно залез в кусты и притаился, уложив собаку и изготовив ружье. Добыча была рядом, улетать не собиралась и, значит, должна была перебраться на привычное кормное место.

Топот послышался раньше, чем глупые птицы подплыли на выстрел. Владимир выглянул: по заросшей прибрежной дороге неспешно рысила легкая рессорная коляска, за кучером виднелись раскрытые зонтики.

— Тетушка, это здесь! Я узнала место!

Кучер придержал, женщина соскочила с коляски и, подобрав платье, легко побежала к берегу. Собака тихо заворчала, но Владимир положил руку ей на голову и пригнулся сам, уходя за куст.

Молодая женщина в соломенной шляпке с откинутой на тулью вуалеткой стояла у воды, кокетливо подобрав подол; кувшинки были совсем рядом, она, изгибаясь, тянулась к ним, но не доставала. «Видит око, да зуб неймет», — улыбаясь, подумал юнкер. Женщина вдруг быстро сбросила туфли и, подхватив подол, решительно шагнула в воду. Она шла осторожно, гибко балансируя телом, и очень боялась замочить платье, поднимая его все выше и выше. Владимир судорожно глотнул, во все глаза глядя на белые ноги…

— Лизонька! — раздельно, почти по слогам прокричала дама из коляски. — Где ты, душенька?

Лизонька не отвечала. Она тянулась к кувшинке, поддерживая платье одной рукой, но широкий подол свисал, касался воды, и она поспешно подхватывала его обеими руками. И снова тянулась, и снова отдергивала руку, подхватывая непокорное платье.

— Лизонька!

— О господи, — сердитым шепотом сказала Лизонька. — И непременно ведь под руку.

С шумом раздвинув кусты, Владимир бросился в воду. Лизонька ахнула, но платье не уронила. Владимир шел к ней напрямик, срывая по пути кувшинки. Вода доходила ему до груди, но он не

обращал на это внимания и стеснялся смотреть на женщину; так и подошел, свернув голову на сторону. И протянул цветы.

— Благодарю, — медленно сказала Лизонька, по-прежнему держа подол в обеих руках. — Вам придется донести ваш подарок до экипажа. Идите вперед.

В голосе ее было что-то такое, чему Владимир подчинился с восторженной готовностью, и шел к коляске, не замечая ни мокрого шелеста собственной одежды, ни удивленно вытянувшегося лица пожилой дамы. Впрочем, Лизонька предупредила расспросы:

— Тетушка, это мой юный спаситель! Представьте, я тонула, меня тащила трясина, и если бы не этот доблестный рыцарь…

Она замолчала, выжидательно глядя на мокрого Олексина; в шоколадных глазах метались два бесенка, и Владимир окончательно потерял голову. Неуклюже щелкнув всхлипнувшими сапогами, представился.

— Как же, как же, мы наслышаны, очень приятно познакомиться, — закудахтала тетушка. — Но боже, мальчик мой, вы же совсем мокрый! Вылейте из сапог воду, и немедленно едем переодеваться.

Владимир покорно вылил воду, сбегал за ружьем, свистнул Шельму и уселся рядом с кучером.

Так случилось познакомиться с Елизаветой Антоновной и ее тетушкой Полиной Никитичной Дурасовой, а позднее, в доме, и с дядюшкой Сергеем Петровичем, таким же полным, медлительным и восторженным. Дурасовы жили в маленьком поместье одни и чрезвычайно, до хлопотливого восторга обрадовались ему: тут же отправили переодеваться в необъятные дядюшкины одежды, отдали его вещи сушить и гладить, накормили собаку и приказали ставить самовар. И весь дом бегал, хлопал дверями, о чем-то спрашивал и радушно суетился.

Кое-как подвязав, подколов и подвернув дядюшкины панталоны, Владимир завернулся в широчайший халат и прошел в гостиную. Лизонька всплеснула руками и звонко расхохоталась:

— Вы прелесть, Володя! Можно мне называть вас так? Ведь вы спасли мне жизнь и, стало быть, отныне почти мой брат.

В шоколадных глазах опять заискрились бесенята. Владимир нахмурился:

— Мне очень приятно, только зачем вы сказали, будто я спасал вас?

— А если это моя мечта?

— Какая мечта?

— Мечта о том, чтобы меня кто-нибудь спас. Взял бы на руки и вытащил из трясины.

— Елизавета Антоновна. — У Владимира опять пересохло в горле, как тогда, когда смотрел из-за кустов на белые ноги. — Поверьте, я бы за вас жизнь отдал…

— Уже? — рассмеялась Лизонька. — Володя, вы прелесть!

Вошел дядюшка. Осмотрел Владимира, остался доволен, похлопал по спине.

— Значит, в юнкерах изволите?

— Да.

— По какой же части?

— Буду командовать стрелками. — Владимир искоса глянул на Лизоньку.

— Замечательно, замечательно! — сказал дядюшка. — Ну-с, к самоварчику, к самоварчику!

За уютным домашним завтраком Полина Никитична прочно взяла разговор в свои пухлые ручки. Мягко расспрашивала Владимира о доме и семье, и Владимир слово за слово рассказал все: о Василии, уехавшем в далекую Америку, и о Варе, ставшей вдруг суровой; об Иване, который — конечно же! — пороха не выдумает, и о Федоре,

бесспорно, самом умном, но пока непонятом; об отце, что сам себе выдумал одиночество, и о маме. О том, как неожиданно и несправедливо она умерла и как мучительно долго длились ее похороны.

— Бедный, бедный мальчик! — всплакнула чувствительная Полина Никитична. — Нет, нет, мы никуда вас не отпустим. Мы пошлем человека предупредить, что вы у нас гостите.

А Лизонька улыбалась при этом, да так улыбалась, что Владимир уже ничего не слышал и почти ничего не соображал.

4

Второй раз при ежевечерних беседах Федора с мужиками присутствовал посторонний. Беседы эти происходили в сумеречные часы, когда дневная работа заканчивалась, а до сна еще оставался час-полтора. Тогда мужики собирались на одном краю села, бабы на другом, а молодежь на третьем: так повелось с тех времен, когда на эти посиделки захаживала Анна Тимофеевна. Барыню любили и уважали: она была своя, родни не чуралась, работы тоже; эти отношения сельский мир перенес и на детей, о родстве, правда, уже не упоминая. Маша и Иван любили ходить к молоде-

жи. Варя иногда навещала баб, а Федор регулярно появлялся у мужиков, но в отличие от матери слушать не умел, а говорил сам, немилосердно путаясь и запутывая слушателей. Однако мир к нему относился снисходительно и любовно: считали, что барчук малость с придурью.

Посторонний был не из деревни и одет в полугородскую-полугосподскую одежду, носил аккуратную бородку, садился в сторонке, строгал палочки и молчал. Напуганный петербургскими филерами, Федор приметил его сразу, но из конспирации справок наводить не решился. Беседы свои он считал вполне дозволенными, но все же старался думать, что говорит. Да и тему избрал нейтральную — о совести.

— Когда Адам пахал, а Ева пряла, совести не было, — втолковывал он. — Когда двое во всем мире кормятся от трудов своих, им нет нужды лгать, красть или обманывать. Этих грехов нет, а раз их нет, то нет нужды и в совести как понятии. Совесть возникает тогда, когда появляется грех. Конечно, я не имею в виду грех первородный, но парадокс первородного греха как раз и заключается в том, что обманутой была божественная сила, а не человек, вот почему грехопадение и не могло разбудить совести ни в Адаме, ни в Еве. Но

вот народились люди, отделились друг от друга, сказали — это мое, а это твое, и человечество сразу же было поставлено перед необходимостью создания внутреннего запрета в душе своей. Поступать по совести стало означать соблюдение законов общежития, придуманных специально для того, чтобы четко обозначить границы дозволенного.

Мужики слушали, ухмылялись, но вопросов не задавали. Но Федора это не огорчало: он получал удовольствие от самого процесса говорения, не думая, зачем, почему и для кого витийствует.

— Какие же это законы, соблюдение которых негласно должна регулировать наша совесть? Если мы рассмотрим их, то увидим, что все они направлены на защиту интересов семьи и основываются на охране частной собственности…

— Завечерело, — перебил староста Лукьян. — Ты уж прости нас, Федор Иванович, а только до дому пора. Завтра до свету в поле.

— Пожалуйста, пожалуйста, — поспешно согласился Федор. — Конечно, конечно.

Мужики расходились, степенно кланяясь. Федор тоже кланялся: ритуал нарушить было неудобно, и он всегда уходил последним. Вчера неизвестный ушел раньше, но сегодня продол-

жал сидеть, невозмутимо строгая палочку, и это несколько настораживало Олексина.

— Вы очень хорошо говорите, — сказал неизвестный, подходя. — Горячо, увлеченно.

— Не смейтесь надо мной, — вздохнул Федор. — Я жалкий недоучка.

— Ну зачем же? Вы весьма убедительно доказали, что совесть возникла на классовой основе. Не ново, конечно, — а что ново в нашем мире? — но вполне своевременно. Разрешите представиться: Беневоленский Аверьян Леонидович, из породы вечных студентов. Вас, Федор Иванович, помню еще мальчиком, поскольку вырос по соседству, в селе Борок. Там приход моего отца.

Знакомство состоялось. Аверьян Леонидович был собеседником терпеливым — качество, которое Федор неосознанно ставил превыше всего. Днем они бродили по полям, вечером неизменно появлялись на мужицких посиделках: Федор говорил, а Беневоленский помалкивал, строгая палочки перочинным ножом. Спросил, когда возвращались:

— Почему мужики никогда не задают вопросов, Федор Иванович?

— Вопросов? — Федор пожал плечами. — Вопросы возникают тогда, когда появляется своя точка

зрения, Аверьян Леонидович. А для этого нужно время. И терпение.

— Возможно, возможно. — Беневоленский забросил палочку в кусты, чтобы завтра сделать новую: он строгал их постоянно. — Но возможно и иное: у них нет интереса к тому, о чем вы толкуете.

— Но они же слушают.

— А у них нет иного развлечения, только и всего. Предложите им что-либо другое, скажем лекцию о началах геометрии, — они будут слушать и это с теми же ухмылками. А вот если вы коснетесь, допустим, землепользования или налоговой системы…

— Извините, я не занимаюсь политикой.

— Занимаетесь, Федор Иванович, занимаетесь, только — в дозволенных пределах. Мы чрезвычайно любим толковать о политике от сих до сих, будто штудируем учебник.

Федор был слегка уязвлен, но счел за благо перевести разговор. Расстались, уговорившись встретиться, но на другой день с утра зарядил дождь, и Федор пригласил Беневоленского к себе.

— Нас свел случай, которому я чрезвычайно признателен, — напыщенно сказал он, представляя нового друга Варе и Маше.

Федор немного волновался по поводу этого знакомства и поэтому утратил вдруг живость и непосредственность. Ему казалось, что Варя будет недовольна, что Маша непременно скажет какую-либо бестактность, а сам Аверьян Леонидович обязательно растеряется, попав в чуждую его взглядам и воспитанию дворянскую семью, и сделается либо развязным, либо робким. Однако страхи его оказались напрасными: Беневоленский вошел в их дом столь же спокойно, как вошел бы в любой иной. Это был его принцип, его стиль, о чем Федор, естественно, не догадывался.

— Случай есть пересечение двух причинных рядов, — улыбнулся Аверьян Леонидович. — И одним из этих причинных рядов было мое огромное желание быть в числе ваших знакомых.

— Это правда или комплимент? — строго спросила Варя.

— Я всегда говорю правду. На худой конец — молчу.

— И часто вам приходится молчать?

— Увы, мир так несовершенен, Варвара Ивановна.

— И что же вы собираетесь предпринять для его усовершенствования?

— Вопрос настолько русский, что мне хочется

расхохотаться. Ни в одной европейской стране он не прозвучит даже в шутку: там заботятся прежде всего о себе, потом о семье и никогда — о мире.

— Вы часто бывали в Европе? — Варя не поддерживала разговор, а словно вела допрос.

— Я год прожил в Швейцарии, в Женеве.

— Целый год! — вздохнула Маша. — А почти совсем не старый.

Невозмутимо отошла к окну и уселась там с книгой. Это прозвучало так по-детски, что даже Варя улыбнулась:

— Прошу вас чувствовать себя как дома и не обращать внимания на детей.

Маша на это никак не отозвалась. Она всегда была склонна к созерцанию, любила прислушиваться к своим неторопливым, покойным мыслям. За обедом вдруг каменела, не донеся ложку до рта. Мама в таких случаях говорила: «Машенька слушает, как травка растет». После похорон эта привычка вернулась к ней с новой силой. Маша часами могла стоять у окна, глядя в одну точку, обрывала на полуноте игру, замирая с поднятыми для аккорда руками; долго, не шевелясь, лежала в постели, разглядывая, как медленно светлеет потолок, как нехотя ползет в углы тьма. Маша словно всматривалась в себя,

внимательно и сосредоточенно наблюдая, как растет и наливается ее тело, как из глубин выплывают темные силы и смутные желания. Она совсем не боялась ни этих сил, ни этих желаний, она верила, что они прекрасны, и берегла их для чего-то очень важного и ответственного, что непременно должно было войти в ее жизнь.

Федор и Беневоленский играли в шахматы, а Маша по-прежнему сидела у окна, иногда отрываясь от книги и слушая то ли их разговор, то ли саму себя. Беневоленский часто поглядывал на нее: ему нравилась эта задумчивая, по-крестьянски крепенькая — копия мамы — девушка с детскими губами.

— Что вы читаете, Мария Ивановна?

Маша медленно повернула голову, долгим взглядом посмотрела прямо в глаза и не ответила. Федор улыбнулся:

— Ее надо спрашивать три раза кряду. Что ты читаешь, Маша? Что ты читаешь, Маша? Маша, ответь же наконец, что ты читаешь?

— Я читаю книгу, а ты играешь в шахматы, — со спокойным резоном ответила Маша.

Дождь зарядил на неделю. Беневоленский приходил каждый день и скоро подружился со всеми, кроме Владимира, который все еще где-то гостил.

Даже Варя начала улыбаться и слушать рассказы о Швейцарии, а Иван доверил ему свои опыты, и они вместе оглушительно взорвались. В сторожке вылетели рамы, собаки подняли лай. Химиков дружно ругали, и это окончательно сблизило Беневоленского с осиротевшим полудетским семейством Олексиных.

Владимир приехал, когда вся семья азартно заделывала прорехи в сторожке, даже Варя стояла тут же.

— Я познакомился с чудными людьми! — выпалил Владимир, едва соскочив с чужой коляски. — С изумительными, прекрасными людьми! Послезавтра они приедут к нам с визитом! Алхимик взорвался?

— Где твои трофеи, Соколиный Глаз? — весело спросил Иван.

— Будут трофеи, Иван Иванович, все будет! — прокричал Владимир и убежал переодеваться.

Вернулся он в прекрасном настроении: беспричинно смеялся, пел, перестал обижаться и стремился всем помочь. И очень беспокоился о достойном приеме гостей:

— А что на обед, Варя? А ром у нас есть? Сергей Петрович любит после обеда скушать рюмочку рома.

— Ром не кушают, — привычно поправила Варя. — И вообще избегай этого слова — оно шипит.

— Ну, видела бы ты, как он смакует! — с восторгом воскликнул юнкер. — Ну именно — кушает, понимаешь?

— Вкушает.

— Господи, а вина-то хватит? Вдруг Федя все выпил с этим поповичем?

— Как ты сказал? — нахмурилась Маша. — Ты очень гадко сказал.

— Сорвалось, Машенька, просто сорвалось!

— Влюбился, — сказала Варя, когда Владимир убежал. — Нет, Маша, он определенно влюбился там.

— Ну и прекрасно. Влюбиться — это прекрасно.

— Только не нам, — вздохнула Варя. — Мы, Олексины, влюбляемся очертя голову и на всю жизнь.

Гости приехали к обеду. Варя беспокоилась за этот обед, потому что впервые принимала и боялась что-либо упустить. Кроме того, она подозревала, что ей не удастся занять гостей умным разговором, и ради этого пригласила Аверьяна Леонидовича.

— Варя, милая, ты все испортила! — в отчаянии

кричал Владимир. — Он же вести себя не умеет, он же из сельских попиков.

Однако Беневоленский вел себя безукоризненно, чего никак нельзя было сказать о самом Владимире. И куда девалась его обычная непосредственность: он то мрачно молчал, уныло глядя в тарелку, то начинал говорить, и говорил слишком долго и громко. При этом он много пил, а Варя не решалась остановить его, страдала и с огромным облегчением встала из-за стола.

Дамы пили кофе в гостиной, детей отправили гулять, а мужчин Владимир увел курить на отцовскую половину, там был неплохой погребец, про который Варя запамятовала. Гремел бутылками и восторженно кричал:

— Сергей Петрович, дорогой, вот настоящая ямайка! Господа, р-рекомендую!

Крохотная чашечка пряталась в пухлой ручке Полины Никитичны, и Маша очень внимательно следила, удастся ли почтенной даме дотянуться до кофе. Любопытство было безгрешным: польщенная приглашением разделить дамское общество, Маша пребывала в отменном настроении, и гости ей нравились. Особенно Елизавета Антоновна; ее Маша разглядывала осторожно, но внимательно, и нашла, что в такую можно влю-

биться именно очертя голову, по-олексински.

— Как же вы справляетесь одна? — поражалась Полина Никитична. — Господи, такая семья.

— У меня хорошие дети, — улыбнулась Варя.

— Нет, это настоящий подвиг любви и преданности! Подвиг!

— Владимир много рассказывал о вас, — сказала Елизавета Антоновна. — И о вашем американском миссионере, и о сербском подвижнике…

— О Гаврииле, — подсказала Варя, уловив легкую заминку.

— Да-да. Он прелесть, наш юнкер. Скажите, а этот молодой человек — Аверьян Леонидович, кажется? Извините, я скверно запоминаю имена. Вероятно, ваш старый друг?

— Напротив, мы познакомились всего неделю назад. Он прямо из Швейцарии, здесь отдыхает.

Варя сознательно выложила про Швейцарию: кокетливая Лизонька чем-то настораживала ее, и связи их семьи должны были быть безупречными. Кроме того, она сразу поняла, что Володину влюбленность приняли как сельское развлечение, и это было неприятно.

— Он что же, учится там?

— Кажется, по медицине.

— Он очень умен и образован, — сказала вдруг

Маша. — И это очень важно, потому что он сын сельского священника.

— Как интересно! — Лизонька с любопытством посмотрела на Машу. — Следует признать, что его способности превосходно подмечены вами.

— Знаете, я лишена сословных предрассудков, — решительно объявила Полина Никитична. — В наше время следует отдавать предпочтение уму и таланту.

— Совершенно согласна с вами, — сказала Варя. — Еще чашечку?

— Благодарствую. Говорят, Бальзак умер от кофе.

— Бальзак умер от гениальности, — улыбнулась Лизонька. — Я где-то читала, что гениальность сжигает человека и все гении умирают молодыми.

— Вероятно, они просто умирают раньше времени, — сказала Варя. — Но нам это, кажется, не грозит. Если не возражаете, я покажу вам ваши комнаты. Чай мы попьем в шесть часов.

Проводив дам, Варя вернулась в гостиную. Маша сидела на прежнем месте, мечтательно уставившись в противоположную стену.

— Зачем ты бахнула про Аверьяна Леонидовича? — недовольно сказала Варя. — Очень им надо

знать, кто чей сын.

— Надо всегда говорить правду, — отрезала Маша. — В мире и так слишком много лжи.

— Или молчать. Особенно когда разговаривают старшие.

Маша недовольно повела плечиком, перебросила косу на грудь, потеребила ее и надулась.

— Прости, — улыбнулась Варя. — Просто мне не нравится эта Елизавета. По-моему, она злючка. Пойду-ка я посмотрю, что там поделывают мужчины.

Она пришла вовремя: мама недаром говорила, что женское сердце — вещун. Красный, взлохмаченный Владимир покачивался перед Беневоленским и кричал:

— Вы забываетесь, милостивый государь! Да! Забываетесь!

— Я не дам вам больше ни глотка, — негромко говорил Аверьян Леонидович. — Вы непозволительно пьяны.

— А как вы смеете? Да! Как вы смеете мне указывать? Кто вы такой? Вы штафирка! Шпак! А я — военный!

— Пусть пьет, — благодушно улыбался тоже изрядно хвативший Федор. — Напьется — уснет, а мы будем говорить. С Елизаветой…

— Не сметь о благородной женщине! — кричал юнкер.

В кресле уютно спал Сергей Петрович, изредка морщась от громких воплей. Варя сразу поняла, что уговорами действовать бесполезно.

— Федор и Владимир — в баню! — резким, как у отца, голосом скомандовала она. — Чтоб к чаю были трезвыми! Позор! Федор, выведи его, или я кликну людей.

— Идем, возлюбленный брат мой, — сказал Федор. — Идем, идем.

— Я — офицер! — объявил Владимир в дверях. — Я презираю шпаков.

Братья вышли, с грохотом скатившись по лестнице. Варя робко глянула на невозмутимого Беневоленского и почувствовала, что краснеет.

— Бога ради, извините его, Аверьян Леонидович. Он не ведает, что творит.

— Господь с вами, Варвара Ивановна, — улыбнулся Беневоленский. — Молодо-зелено. Что нам со старичком делать? Оставить в кресле?

— Я пришлю их кучера, пусть отведет в спальню.

Они спустились с лестницы и, минуя комнаты, сразу вышли в сад. Пройдя немного, Варя вдруг остановилась и взяла Беневоленского за руку.

— Это возмездие, Аверьян Леонидович.

— Что? — не понял он.

— Это возмездие, — убежденно повторила она, глядя на него странными расширенными глазами. — Вы верите в возмездие?

— Не стоит принимать близко к сердцу обычную юношескую глупость, — сказал он, помолчав. — Все естественно, все закономерно, и все очень просто. Не ищите предопределений там, где их нет.

— Да, да. — Она грустно вздохнула. — Первый причинный ряд, второй причинный ряд. Все можно объяснить логически в наш просвещенный век, только — зачем? Ах, как было бы покойно и просто жить, если бы все действительно поддавалось объяснению.

— Вас тревожит что-то определенное или некий мираж?

— А ведь все мы, в сущности, жертвы слепого случая, — не слушая, продолжала Варя. — Кто родился, когда, зачем — все до нелепости случайно. Если бы мой отец не встретил мою маму, я бы не родилась вообще, никогда бы не родилась. А ведь могла бы родиться не я, а какая-либо другая девочка или мальчик, даже если предположить закономерность во встрече моих родителей,

потому что… — Она запнулась, но мужественно продолжала: — Потому что все решает одна ночь. Понимаете, одна ночь — это же какая-то сплошная нелепица, изначальное отсутствие какой бы то ни было закономерности, игра. Но если это так, если бездушной природе все равно, то зачем тогда я? Почему я — именно Я и для чего Я — это я? Но раз нет на свете ответа, раз «я» — элемент стихийной, бестолковой случайности, тогда я свободна перед любыми законами, потому что и законы-то приняты не для меня: я же волею стихий оказалась в сфере их действия. Значит, каждый — за себя и ради себя? Значит, все мы кирпичики, из которых ничего не сложишь?

Варя говорила быстро, не подыскивая слов, а будто вставляя в речь уже готовые словесные сочетания. Беневоленский сразу уловил это, тут же про себя нарек ее начетчицей и сказал, пряча насмешку:

— Однако складывают, Варвара Ивановна. И семьи, и народы, и государства.

— Да, вы правы, складывают. Складывают, следовательно, есть состав, скрепляющий нас. И состав этот — высшая идея, предопределяющая жизнь каждого и регулирующая, осмысленно направляющая ее по каким-то непреложным и

непостижимым для человека законам.

— Вы имеете в виду Бога?

— Бог — это форма, то есть доступный нам способ объяснения непонятного. Сегодня это Бог, завтра еще что-то: формы могут меняться. А я говорю о существе, которое измениться не может, ибо это и есть данность.

«Нет, она не начетчица, — подумал он. — Просто в этой головке все перемешалось, а потом подошло на женских дрожжах и теперь лезет через край, как опара из горшка. И смех и грех…»

— И у вас есть доказательства этой данности? — вежливо поинтересовался он.

— Не у меня, Аверьян Леонидович, у жизни. Например, любовь. Почему вдруг мужчина, ничего еще не осознав, начинает испытывать страстное, непреодолимое влечение именно к этой женщине, хотя рядом подчас и лучше, и красивее, и умнее, и изящнее? Почему женщина, скромная, нравственная, внезапно влюбляется в весьма ординарного мужчину, который зачастую не только не лучше, но и просто намного хуже окружающих? Причем влюбляется настолько, что готова забыть и скромность, и нравственность — все готова забыть! У вас есть объяснение этому? Нет, а у меня есть: предопределение. Но предопределение

немыслимо без возмездия, Аверьян Леонидович, немыслимо, ибо предопределение и возмездие суть две стороны одной медали. Я нарушаю нечто непонятное мне, нарушаю неосознанно, не ведая, что творю, но наказание наступает неотвратимо и последовательно, причем в формах самых нелогичных и незакономерных, как кажется нам, неразумным муравьям. Разве вы сами не можете привести подобных примеров? Разве понятие несчастной любви не есть следствие прегрешения и наказания? Разве…

— О любви говорите, а там чай стынет, — недовольно сказала Маша.

Она стояла на повороте садовой дорожки, теребя переброшенную на грудь косу. Беневоленский рассмеялся.

— Маша, вы — чудо! Извините, что я так запросто, но вы такое прекрасное доказательство абсурдности всяческих мрачных догм, что поиному вас и не назовешь.

Подхватив юбку, Варя быстро пошла к дому. Напряженно выпрямленная спина ее выражала глубочайшее презрение и, как вдруг показалось Аверьяну Леонидовичу, глубокую женскую обиду. Он смущенно покашлял и двинулся следом, а Маша, серьезно глядя на него, ждала, пока он

подойдет. А когда он поравнялся с нею, сказала очень решительно:

— О любви не смейте говорить, слышите? Ни с кем!

И опрометью бросилась в дом, высоко, по-детски взбивая коленками подол легкого платья.

За чаем все весело подтрунивали над Федором: после бани он подстриг бороденку, и клинышек ее торчал, как запятая. Дети прыскали в ладошки, да и взрослые с трудом сдерживали смех, а Федор сердился.

Владимир к столу не вышел, сочтя за благо отоспаться. А слегка помятый Сергей Петрович пришел, чуть запоздав, и благодушно подремывал в кресле.

— У вас чудно, чудно! — восторгалась Полина Никитична. — Удивительно ароматное варенье и покоряющая непринужденность.

— Ваши комплименты, тетушка, несколько напоминают перевод с иностранного, — улыбнулась Лизонька.

— Я от чистого сердца, голубушка Варвара Ивановна. От чистого сердца!

— Я так и поняла, Полина Никитична, — серьезно сказала Варя. — У нас сегодня день открытых сердец.

— Прекрасная мысль, — подхватила Лизонька. — Открытые сердца — редкость, не правда ли, Аверьян Леонидович? Что это вы примолкли, как побритый. О, простите, Федор Иванович, я оговорилась. Я хотела сказать как прибитый.

— Я понимаю, это тоже перевод, — проворчал Федор, покраснев.

Он побаивался смотреть на Лизоньку, а если и поглядывал, то тогда лишь, когда был уверен, что она этого не заметит. А так как смотреть на нее ему очень хотелось, то он все время боролся с собой и мрачнел еще больше.

— Ваше сердце не пытались сегодня открыть, Аверьян Леонидович?

— Оно у меня всегда открыто, Елизавета Антоновна, — нехотя отшутился Беневоленский. — Причем настежь: там всегда сквозняк.

— Смотрите же не застудите его, ветреный мужчина.

— А я забыла во дворе книгу. — Маша внезапно вскочила.

— Успеешь взять потом, — сказала Варя.

— Успею, но она отсыреет, — резонно пояснила Маша и вышла.

— Очень славная девочка, — заметила Полина Никитична. — Такая непосредственность — про-

сто прелесть! Она где-нибудь училась?

— Машенька закончила Мариинскую гимназию. Я предпочла бы пансион, но она мечтает о курсах.

— Фи! Эти современные курсы…

— …готовят синих чулков, — подхватила Лизонька.

— Курсистки курят, — сказал проснувшийся Сергей Петрович. — Это мило, но как-то не очень привычно.

— Тянет похлопать по плечу и сказать: «Нет ли у вас папиросочки, любезная?» — снова добавила Елизавета Антоновна. — Некоторые женщины ценят и такой знак внимания, дядюшка, так что хлопайте смело!

После чая хозяева предложили осмотреть датских гусей, заведенных еще при маме: просто пришлось к слову. Варя, призвав на помощь Ивана, давала пояснения, гости вежливо восторгались, скрывая зевоту, и Беневоленский постарался поскорее отстать. В одиночестве бродил по саду, не желая признаваться даже в мыслях, что ищет Машу. Но Маши нигде не было. Аверьян Леонидович загрустил и направился в свой Борок.

— Вот вы где, оказывается!

Беневоленский нехотя приладил улыбку, узнав Лизоньку.

— Размышляете в уединении?

— Просто иду домой. В соседнее село.

— А я рассчитывала, что именно вы покажете мне сад.

На «вы» был сделан нажим. Аверьян Леонидович встретился с шоколадными глазами, отвел взгляд. В конце аллеи мелькнула фигура. Он не узнал, но догадался:

— Федор Иванович, пожалуйте сюда!

Федор, помедлив, вылез из-за куста, как-то боком подошел.

— Думается, Елизавета Антоновна, что Федор Иванович куда полнее ознакомит вас с садом, нежели я. Честь имею.

Поклонился и быстро пошел к воротам. Лизонька прикусила губку, глазки ее сразу растеряли ласковую лукавость, но рядом вздыхал Федор, и Елизавета Антоновна постаралась вернуть на место лукавость, и улыбку, и завораживающий шоколадный блеск.

— Ваш друг попросту скучен, Федор Иванович.

— Скучен? — Федор не отрываясь смотрел на нее, соглашался с каждым ее словом и глупел на глазах. — Да, да, конечно!

— Ведите меня в самое таинственное место. Ну?

Тревожно ощущая близость красивой женщины, Олексин шел напряженно, пребывая в состоянии непривычного блаженства. Он всегда сторонился женского общества, не имел опыта в обращении с дамами и готов был лишь с восторгом исполнять любые капризы. Лизонька сразу поняла это и уже плохо скрывала досаду: она не любила легких побед.

Беневоленский миновал ворота и остановился: по тропинке вдоль ограды шла Маша. Он заулыбался — не ей, а самому себе, своему вдруг засиявшему настроению, — но Маша нахмурилась и сказала:

— Долго же вы прощались.

— Значит, вы ждали меня?

— Конечно, — очень серьезно подтвердила Маша. — Сначала я сердилась, а потом мне надоело сердиться, и вот и все. Долго сердиться, оказывается, скучно.

— На что же вы сердились?

— Знаете, Аверьян Леонидович, мне она сначала очень понравилась, а потом сразу разонравилась. Может быть, я непостоянная?

— Просто вы умная девочка и разбираетесь в

людях куда лучше, чем ваши братья.

— Девочка, — недовольно повторила Маша. — Интересно, до какого возраста человека будут называть девочкой? Пока он не состарится?

— Если позволите, я буду называть вас так, ну, скажем, до вашего замужества.

— Это уже срок, — сказала Маша. — Потерплю. Но за это вы придете к нам завтра, да? И не будете больше флиртовать с этой кокеткой. До свидания.

— До свидания, Машенька. До завтра!

Он смотрел, как она быстро идет по тропинке, ждал, что оглянется, но Маша не оглянулась. Но Беневоленский не перестал улыбаться, шел через поле, сшибал тросточкой головки чертополоха и радостно думал, что готов влюбиться без памяти. Без всяких желаний, без планов на будущее, без каких бы то ни было расчетов на настоящее — просто влюбиться, как влюбляются только в детстве. И знал, что так и будет, что он непременно влюбится, и от этого хотелось петь.

Федор вообще был склонен воспринимать все буквально, а в состоянии восторженности и подавно, и поэтому повел Лизоньку в старый сад — место, с детства считавшееся таинственным. Сад этот начинался за цветниками на пологом

спуске к реке, он зарос и одичал, и под старыми грушами росли грибы. Мама любила его и не велела рубить: здесь рассказывались сказки, здесь ловили стрекоз и ежей, здесь проходило самое первое детство. Корявые старые деревья были полны воспоминаний, но на Лизоньку произвели впечатление удручающее.

— Не сад, а декорация к Вагнеру.

— Да, да, прекрасно! — опять невпопад сказал Федор. — Здесь много груш. Они одичали, но в детстве были вкусными.

Он не знал, о чем говорить, и говорил о том, что Лизоньке было неинтересно: о детстве, о маме, о том, как однажды забрался на грушу, не мог слезть и как Захар снимал его оттуда. Рассеянно слушая, Лизонька присела на рухнувший ствол, почти с раздражением думая, что темпераментный юнкер забавнее этого заучившегося говоруна, хотя тоже провинциален и неуклюж, как, вероятно, и вся олексинская семья.

— Мне холодно, — резко сказала она, бесцеремонно перебив тягучие воспоминания.

— Холодно? Да, да, сыро. Знаете, неделю шли дожди…

— Так принесите же мне что-нибудь!

— Да, конечно, конечно! — Федор метнулся к

дому, но остановился. — А что принести?

— Боже правый, ну хотя бы мою шаль, — вздохнула Лизонька. — Кажется, я оставила ее в гостиной.

В доме уже зажгли огни. Федор, запыхавшись, ворвался в гостиную; здесь сидели старшие и позевывающий, слегка опухший от сна Владимир.

— Шаль! — объявил Федор. — Елизавета Антоновна просила шаль.

— А где же она сама? — спросила Полина Никитична. — Приведите ее, Федор Иванович.

Федор, схватив шаль, молча выбежал. Владимир нагнал его уже в саду, схватил за плечо:

— Отдай. Я отнесу.

— Пусти! — Федор тянул шаль к себе. — Сейчас же пусти, она меня просила, меня…

Владимир был сильнее и имел опыт юнкерских драк. Резко ударив Федора по рукам, вырвал шаль и кинулся в садовые сумерки.

— Елизавета Антоновна! Елизавета Антоновна, где вы?

— Отдай! — Федор немного пробежал и остановился, растирая отбитые руки. — Ну и черт с вами. Глупость какая-то, глупость! — Схватился за голову, пошел назад, бормоча: — Глупость. Какая глупость!

По сумеречному саду, то затихая, то усиливаясь, метался призывный крик Владимира. Из сторожки вышел Иван, увидел бредущего без цели Федора, спросил:

— Что случилось?

— Мы дураки, — сказал Федор. — Не знаю, от природы или вдруг.

— Делом надо заниматься, — назидательно сказал Иван. — Вот я занимаюсь делом, и мне наплевать на заезжих красавиц.

— Он ударил меня. — Федор сел на ступеньку и вздохнул. — Ударить брата — и из-за чего? Господи…

— Володька — бурбон. Он будет бить своих солдат, вот увидишь.

— Елизавета Антоновна-а! — донесся далекий крик.

— Ну зачем же кричать? — недовольно сказала Лизонька, выходя к задохнувшемуся от криков и беготни юнкеру.

— Елизавета Антоновна! — Владимир бросился к ней. — Я ищу вас, я… Вот ваша шаль.

— Благодарю. — Она набросила шаль на плечи. — Впрочем, хорошо, что вы кричали: я вышла на крики из той мрачной декорации.

— Елизавета Антоновна. — Владимир теребил

конец шали. — Я… Я люблю вас, Елизавета Антоновна.

— Так быстро? — улыбнулась она. — Очаровательно.

— Я люблю вас, — зло повторил он. — Я прошу вас быть моей женой. Нет, не сейчас, конечно, сейчас мне не разрешат, а когда закончу училище и стану офицером.

— Боюсь, что к тому времени я состарюсь.

— Я быстро стану офицером, Елизавета Антоновна. Я попрошусь в действующие отряды на Кавказ или в Туркестан, я не пощажу себя, но сделаю карьеру и приеду к вам в чинах и лентах. Только ждите меня. Ждите, умоляю вас.

— Уговорили, — улыбнулась она. — Авось к тому времени, как вы станете героем вроде Скобелева, умрет мой муж и я обрету свободу.

— Муж? — растерянно переспросил Владимир, выпуская шаль. — Чей муж?

— Мой, я уже год замужем. Вы поражены? Увы, дорогой мальчик, у меня есть старый, знатный и богатый повелитель. А сейчас дайте мне руку — и идем. Уже поздно.

Владимир машинально подал ей руку, молча повел к дому. Лизонька поглядывала на его застывшее лицо и улыбалась. Потом взяла обеими

руками за голову и поцеловала в губы. И отстранилась: он не обнял ее, не ответил на поцелуй.

— Не отчаивайтесь, милый мой мальчик, — шепнула она. — У нас еще месяц впереди, мы можем быть счастливы…

— Что? — напряженно переспросил он. — Все равно. Все равно, слышите? Я клянусь вам, клянусь…

Голос его задрожал, он вырвался и бросился в дом, чувствуя, что может разреветься. Елизавета Антоновна вздохнула, оправила шаль и пошла следом. На душе у нее почему-то стало смутно и неспокойно.

Глава четвертая

1

Группа русских волонтеров пятый день жила в Будапеште: австрийские власти задерживали пароход, ссылаясь на близкие военные действия. Добровольцы ругались с невозмутимыми чиновниками, шатались по городу, пили, играли в карты да судачили о знакомых: развлечений больше не было.

Гавриил еще в поезде резко обособился от своих, приметив знакомого по полку: не хотел воспоминаний и боялся, что воспоминания эти уже стали достоянием скучающих офицеров. Он ехал отдельно, вторым классом, да и в Будапеште постарался снять номер для себя и Захара в неказистой гостинице неподалеку от порта. В город почти не ходил, на пристань посылал Захара, обедал один в маленьком соседнем ресторанчике: соотечественники здесь не появлялись, и это устраивало Олексина.

— Месье говорит по-французски?

Около столика стоял худощавый господин. Светлая полоска над верхней губой подчеркива-

ла, что усы были сбриты совсем недавно.

— Да.

— Несколько слов, месье.

— Прошу. — Гавриил указал на стул.

— Благодарю. — Француз сел напротив, изредка внимательно поглядывая на Олексина. — Направляетесь в Сербию?

— Да.

— Сражаться за свободу или бить турок?

— Это одно и то же.

— Не совсем.

— Возможно. Меня интересует результат.

— И что же в результате: победа народа или победа креста над полумесяцем?

— При любом результате я вернусь домой, если останусь цел.

— Домой — в порабощенную Польшу?

— Домой — значит, в Россию.

— Месье русский? — Собеседник, казалось, был неприятно поражен этим открытием. — Прошу извинить.

— Вы затеяли этот разговор, чтобы выяснить мою национальность?

Француз уже собирался встать, но вопрос удержал его. Некоторое время он молчал, размышляя, как поступить.

— Вы избегаете своих соотечественников. Могу я спросить почему?

— Спросить можете, — сказал Гавриил. — Но ведь не ради этого вы подошли к моему столику?

Француз снова помолчал, несколько раз испытующе глянув на поручика.

— Я тоже еду в Сербию. Со мною трое товарищей: два француза и итальянец. И мы очень хотим уехать отсюда поскорее. Скажу больше: нам необходимо уехать как можно скорее.

— И поэтому вы утром сбрили усы?

Француз машинально погладил верхнюю губу и улыбнулся:

— Вы опасно наблюдательны, месье.

— Пусть это вас не беспокоит: я не шпик. Я обыкновенный русский офицер.

— Благодарю.

— Итак, вы хотите уехать как можно скорее. Я тоже. Что же дальше? Насколько я понимаю, вы не прочь объединить наши желания. Тогда давайте говорить откровенно.

Француз улыбался очень вежливо и непроницаемо. Гавриил выждал немного и сухо кивнул:

— В таком случае всего доброго. Как видно, русские вас не устраивают. Желаю удачи в поисках поляка.

— Не возражаете, если я переговорю с друзьями? Пять минут: они сидят за вашей спиной.

— Это ваше право.

Француз вернулся раньше.

— Не откажетесь пересесть за наш столик?

Вслед за ним Гавриил подошел к незнакомцам, молча поклонился. Все трое испытующе смотрели на него, чуть кивнув в ответ. На столике стояла бутылка дешевого вина, сыр и хлеб. Старший, кряжистый блондин, невозмутимо попыхивал короткой трубкой; итальянец, откинувшись к спинке стула, играл большим складным ножом; третий, самый молодой, сидел, широко расставив локти, навалившись грудью на стол, и смотрел на Олексина исподлобья, настороженно и недружелюбно. Молчание затягивалось, но Гавриил терпеливо ждал, чем все это кончится.

— Кто вы? — спросил старший, не вынимая трубки изо рта.

— Русский офицер.

— Этого мало.

Олексин молча пожал плечами.

— Я не доверяю аристократам, — резко сказал молодой парень.

— Погоди, сынок, — сказал старший. — Сдается мне, что Этьен и так наболтал много лишнего. Мы

спрашиваем вас, сударь, потому, что у нас четыре судьбы, а у вас одна. Право на нашей стороне.

— Поручик Гавриил Олексин. Направляюсь в Сербию и хотел бы добраться до нее как можно скорее. Насколько я понял вашего товарища, наши желания совпадают. Если у вас есть какие-то планы, готов их выслушать.

— Русские волонтеры живут в отелях побогаче. Вам это не по карману?

— Это мое личное дело.

— Наше общее дело зависит от вашего личного.

— Я не знаю ваших дел, но полагаю, что мои дела — это мои дела.

— Он не тот, за кого ты его принимаешь, Этьен, — сказал старший, вздохнув.

— Вы свободны, месье, — сказал парень. — Извините.

— Погоди, Лео, — поморщился старший. — Как знать, может, мы и испечем с вами пирог, а? Предложи офицеру стул, Этьен.

— Прошу вас, господин Олексин. — Этьен усадил Гавриила, сел рядом. — Извините за допрос, но мы рискуем жизнями, а вы — только временем.

Итальянец со стуком захлопнул нож, по-преж-

нему не спуская с поручика настороженных темных глаз. Старший сосредоточенно копался в трубке, Лео глядел исподлобья и, кажется, уже с ненавистью.

— Похоже, что я не понравился вашему другу, — сказал Олексин старшему.

— Если вас треснут по башке прикладом только за то, что вы не успели снять шапку, вы тоже станете глядеть на мир недоверчиво.

— Полагаю, что его треснули пруссаки, а не…

— Не совсем так. — Старший раскурил трубку и удовлетворенно затянулся. — Нам бы не хотелось, чтобы о нашем плане знал кто-либо еще.

— Я ни с кем не встречаюсь.

— Сегодня не встречаетесь, завтра захотите встретиться. Нам нужны гарантии.

— Например?

— Слова чести было бы достаточно, я думаю.

Старший посмотрел на товарищей. Итальянец важно кивнул, Лео недоверчиво усмехнулся, но промолчал.

— Достаточно, — сказал Этьен. — Я знаю русских.

— Значит, вы просите в поруку мою честь? Однако она у меня одна, и я хотел бы знать, кому ее доверяю.

— Ишь чего захотел! — сказал Лео. — Нет, я не люблю аристократов.

— Мы не бандиты, — с легким акцентом сказал итальянец. — Не бандиты и не преступники, хотя за нами гоняются по всей Европе. Не знаю почему, но я вам верю так же, как Этьен. Мы парижане, господин офицер.

— Вы парижанин?

— Бои на баррикадах делали парижан даже из поляков. А уж из итальянцев тем более.

— Коммунары? — тихо спросил Гавриил.

Никто ему не ответил. Он понял, что вопрос прозвучал бестактно, но не попросил извинения. Достал папиросы, закурил.

— Вы направляетесь в Сербию? Или дальше?

— В Сербию.

— Сражаться против турок?

— Сражаться за свободу, — поправил Этьен. — В данном случае против турок.

— Доверие за доверие, — сказал, помолчав, Гавриил. — Слово офицера, что о нашем разговоре не узнает никто и никогда.

— Благодарю. — Старший впервые улыбнулся и протянул Олексину тяжелую ладонь. — Миллье. Сынок, попроси еще бутылочку: всякую сделку необходимо спрыснуть, не так ли?

Лео принес бутылку и стакан. Миллье не торопясь разлил вино, поднял стакан:

— Здоровье, друзья. — Привычно отер усы, придвинулся ближе. — Не скрою, сударь, наше положение не из блестящих. Вчера Этьена узнали, подняли шум, он еле улизнул.

— И расстался с усами, — рассмеялся Лео. — Ах, какие были усы! Любое девичье сердце они пронзали насквозь.

— У Этьена было еще кое-что, — сказал Миллье. — Настоящие бумаги. Прекрасные бумаги, подтверждающие не только его усы, но и его кредит.

— И все полетело в огонь, — вздохнул итальянец.

— Есть частное судно, — сказал Этьен. — Хозяин согласен доставить нас в Сербию за определенное вознаграждение, но нужен официальный фрахт и гарантия оплаты в случае захвата или потопления. Короче говоря, необходимы документы.

— Русский паспорт устроит?

— Лучше, чем какой-либо иной. Необходимо оформить фрахт.

— И оплатить проезд?

— Только за вас двоих, — сказал Миллье. — Свой проезд мы оплатим сами.

— Десять дней мы жрем один сыр ради этого, — проворчал Лео. — Меня уже мутит от него.

— И это все? — спросил Гавриил.

— Все, — подтвердил старший, вновь не торопясь, аккуратно разливая вино. — Если вы согласны помочь нам выбраться отсюда, чокнемся и пожелаем друг другу удачи. Этьен вам все растолкует и покажет нужного человека.

— Только издалека, — уточнил итальянец.

— Да, действовать вам придется самому, — сказал Миллье, чокаясь с Олексиным. — Здоровье, друзья. Не проговоритесь, что мы из Парижа, это осложнит дело.

— Зачем же? Я фрахтую судно для перевозки русских волонтеров.

— Это проще всего: русские едут тысячами, власти к ним привыкли.

— За удачу! — громко сказал Этьен, поднимая стакан.

2

Сильные характеры мечтают любить, слабые — быть любимыми. Машенька никогда не думала об этом, а просто хотела любить. Любить глубоко и преданно, отдать любимому всю себя, всю, без остатка, раствориться в нем, в его мыслях и же-

ланиях, стать для него необходимой, как воздух, пройти рядом с ним весь его путь, каким бы он ни был, помочь ему раскрыть свои способности, создать из него человека, окруженного всеобщим благодарным поклонением, и тихо состариться в лучах его славы. Таково было ее представление о великом женском счастье и о великом женском подвиге одновременно. Схема была выстроена и старательно продумана, жизненный путь прочерчен от венца до могилы несокрушимо прямой линией. Дело оставалось за объектом приложения сил.

— Варя, как по-твоему, Аверьян Леонидович талантлив?

Варя проверяла счета. После ухода Захара она решительно соединила в своих руках все хозяйственные нити, словно пыталась на этих вожжах удержать семью.

— Все мужчины талантливы.

— Так уж, так уж все мужчины? Все-все?

— Вероятно, мы понимаем под талантом разное, — сказала Варя, решив, что настала пора изложить собственную теорию подрастающей сестре. — Если ты понимаешь талант, как его понимает толпа, то мера твоя нереальна: в представлении толпы талант есть результат труда, а

не его процесс, и говорить о нем можно лишь тогда, когда результат этот очевиден. Тогда талант превращается в нечто, напоминающее орденскую ленту, и рассуждать о нем бессмысленно.

— А когда смысленно?

— Зачем вы все переиначиваете русский язык? Такого слова не существует.

— Ну пусть не существует. Но талант-то существует или тоже нет? Вот ты сказала: все мужчины талантливы. В каком смысле ты это сказала?

— Садись. — Варя закрыла расчетную книгу. — Скажи, какая разница между кобылой и жеребцом?

Маша смущенно фыркнула.

— Я не говорю о внешних приметах, — строго сказала Варя. — Я имею в виду образ жизни, способ жизни, что ли. Словом, существо, понимаешь? И вот если по существу, то никакой разницы между жеребцом и кобылой, между волком и волчицей, между бараном и овцой нет. Они одинаково сильны и беспощадны, быстры и жестоки, храбры или трусливы. Природа не сделала никакого существенного различия между полами, ограничившись лишь необходимыми органами.

— Я не хочу слушать про анатомию.

— Никакой анатомии не будет, не бойся. Но скажи, разве ты или я похожи на Федора или Гавриила? Нет, мы иные, а они — иные. У нас не только иная одежда, у нас, женщин, иная психика, манера поведения, образ мыслей, даже представления о жизни. Мы настолько различны — даже мы, братья и сестры, выросшие в одной семье! — что впору говорить о двух видах человечества. Мы терпеливее мужчин, нежнее и мягче их, практичнее и… плаксивее.

— Это правильно, — согласилась Маша. — Я иногда могу реветь просто так. Ну, ни с того ни с сего, понимаешь?

— Я много думала над этим, — не слушая ее, продолжала Варя. — Зачем это подчеркнутое явное различие? Ведь для чего-то оно же нужно, оно же необходимо, ведь высшая идея ничего не творит бессмысленно.

— Какая еще высшая идея?

— Ну, природа, пусть так. Ведь если мужчина и женщина столь различны, то и задачи, стоящие перед ними, тоже должны быть различными, ведь правда? Стало быть, если пара животных решает одну и ту же задачу, то пара людей — мужчина и женщина — должна решать две задачи одновременно. Две задачи, понима-

ешь? А поскольку изначальная эта задача была единой, то ныне… — Варя вдруг замолчала, нахмурила лоб, точно припоминая, как там следует дальше. — Да, ныне это единство стало ее противоположностью. Они решают как бы одну задачу, но с разными знаками, понимаешь?

— Нет, — честно призналась Маша, начиная краснеть. — Ты затрагиваешь очень рискованную тему. Задача у любой пары живых существ одна и та же: продление своего рода.

— Это функция, а не задача, — с неудовлетворением сказала Варя. — Ты бестолкова, Мария. Функция — воспроизведение рода, совершенно верно, не требует доказательств и размышлений. А я говорю о задаче, понимаешь? О предопределении любой жизни: для чего-то она ведь нужна? Нельзя же признать, что все бессмысленно, этак и жить не для чего. Нет, есть смысл в нашем существовании, есть задача, и задача эта различна для мужчины и для женщины, вот о чем я тебе толкую.

— Не сердись, — примирительно улыбнулась Маша. — Я, наверно, примитивное существо.

— Ты просто мало читаешь умных книг. Конечно, можно прожить и так, но зачем же обкрадывать саму себя!

— Ага, значит, ты все это вычитала из Васиных книжек? — спросила Маша. — Хорошо, я не буду обкрадывать саму себя.

— Так вот, о задаче мужской и женской, об общей их задаче, но — с разными знаками, — невозмутимо и заученно продолжала Варвара. — Каково блаженное состояние любой женщины, то, что она называет счастьем? Это покой. Это стремление во что бы то ни стало сохранить статус-кво при некоторых уже сложившихся благоприятных предпосылках. Дайте женщине любимого, детей, семью, достаток — и именно это она станет называть счастьем, именно это она будет охранять от всех бед и случайностей, именно это она будет желать каждый час и всю жизнь. В каждой женщине заложена жажда гармонии: достижение, защита и продление этой гармонии и есть ее задача. Сейчас много говорят, спорят и пишут о женской эмансипации, а мне смешно и грустно. Я смеюсь над наивной попыткой пойти наперекор естеству и горюю, представляя себе, чем мы заплатим за это легкомыслие.

— Чем же? — с некоторым вызовом спросила Маша, ибо считала разговоры об эмансипации очень современными и за это любила саму эмансипацию.

— Разрушением семьи, — почти торжественно изрекла Варя. — Нарушится извечное равновесие полов, перепутаются их задачи, мужчина утратит уважение к женщине, а женщина — к мужчине, и за все расплатится семья. И место высокой любви займет чисто животное влечение мужеподобных женщин и женоподобных мужчин.

— Ты вещаешь, а не говоришь, — с неудовольствием отметила Маша. — Настоящая пифия. Расскажи лучше про мужчин, почему они все поголовно талантливы, а мы нет.

— Я этого не утверждала, — сказала Варя. — Однако для состояния покоя требуется куда меньше душевных сил, чем для активных действий, согласись. А мужчине свойственна активность точно так же, как женщине — гармония. Войны, политика, интриги, борьба за власть — это все внешние проявления мужской задачи. Мужчины — возмутители спокойствия, они разрушают гармонию от низа до верха, от гармонии семьи до гармонии государства, разрушают то, к чему стремимся мы, или, наоборот, мы созидаем то, что стремятся разрушить они. Борьба мужского и женского начала — вот суть и внутренний смысл жизни. И вот почему мужчины талантливее нас, понимаешь?

— Понимаю. — Маша задумчиво покивала. — Ты навеки останешься старой девой, Варвара.

Варя глянула на сестру с кротким ужасом, будто ждала приговора, знала, что он справедлив, но все же надеялась на помилование. И сразу же опустила глаза, раскрыв заложенную счетами книгу.

— Я знаю.

Она знала, что обречена, но знала про себя. Сегодня сестра сказала об этом, сказала в своей обычной полудетской манере, не вдаваясь в причины, а сообщая результат. Варе очень хотелось заплакать, но она пересилила себя и сказала почти безразлично:

— Володя хочет уехать в Смоленск. Говорит, скучно у нас.

— Прости меня, Варя. — Маша подошла, крепко обняла сестру. — Я сделала тебе больно. Я знаю, что больно, я такая дурная. Наверно, мне надо влюбиться.

— Уж не в Аверьяна ли Леонидовича? — улыбнулась Варя. — Что ж, он всем хорош, только не для тебя.

— Не для меня?

— Не для тебя, — строго повторила Варя, уловив подозрительные нотки. — Он слишком проза-

ичен для романа и слишком легкомыслен для семейной жизни. Муж без положения, образования, состояния, наконец…

— Варя, о чем ты говоришь? — удивленно спросила Маша, отстраняясь.

— Я знаю, что говорю, — с непонятной резкостью сказала Варя. — Забродила хмельная олексинская кровь, барышня? Обливайтесь холодной водой, делайте немецкую спортивную гимнастику и прекратите чтение любовных романов, пока… пока кнопки не полетели.

— Какие кнопки? Какие романы? Что с тобой, Варвара?

— Поедешь в Смоленск. Немедленно, с Владимиром.

— Ты… ты сама в него влюблена! — крикнула вдруг Маша. — Сама, сама, я вижу, я все вижу!

— В Смоленск! — Варвара туго прижала ладони к запылавшим щекам. — Я… я не услежу за тобой, чувствую, что не услежу.

— Ты… ты гадкая, — сквозь слезы выдавила Маша. — Гадкая старая дева! — И, уже не сдерживаясь, с громким, детски обиженным плачем выбежала из комнаты.

Она проплакала всю ночь и утром не вышла к завтраку. Варя сказала, что у Маши болит голова,

и все расспросы прекратились.

После завтрака, как всегда, пришел Беневоленский. Играл с Федором в шахматы, но был рассеян и проигрывал.

После третьей партии поймал Варю на веранде: она шла в сад.

— В вашем доме сегодня что-то очень тихо.

— Это к отъезду. Лето кончилось, Аверьян Леонидович, наступает пора забот.

— Да, скоро осень, — эхом откликнулся он. Разговаривали на ходу. Варя не оглядывалась, Беневоленский шел сзади.

— Федор тоже уезжает?

— Все уезжают, даже дети. Остаюсь только я. — Она неожиданно обернулась. — А вы? Остаетесь или тоже в отъезд?

— В отъезд, — сказал он. — Вы правы: наступает пора забот.

— В Москву или в Петербург?

— Еще не решил. Когда же прощальный вечер?

— Завтра, Аверьян Леонидович. Жду вас к чаю.

Беневоленский поклонился и пошел к воротам. Варя смотрела ему вслед, а когда он скрылся, поспешно вернулась в дом. Федор разбирал удачную партию, что-то спросил, но Варя, не отвечая, пошла к Владимиру.

Владимир забросил охоту, не ездил к Дурасовым и целыми днями валялся на кушетке. Кажется, тайком выпивал: от него попахивало.

— Ты когда едешь?

— Все равно.

— Может, завтра утром? Я распоряжусь.

— Утром так утром, — безразлично сказал он.

— Возьмешь с собою Машу.

— Машу так Машу.

Теперь следовало уговорить сестру. Уговорить или заставить — Варя была готова и на это. И вошла в Машину комнату решительно, без стука.

Комната была заставлена коробками, раскрытыми чемоданами. Маша, полуодетая и растрепанная, складывала вещи.

— Собираешься?

— Чем скорее, тем лучше.

— Умница. — Варя поцеловала ее. — Завтра утром поедешь вместе с Володей, Машенька. Ты не сердишься на меня?

— Нет.

— Ты выросла из всех платьев, сестричка, — ласково сказала Варя. — Надо новые шить, займись этим немедля. Рекомендую Донского Петра Григорьевича: Благовещенская, собственный дом. У него хорошие мастерицы.

— Ты очень добра, Варя.

— А в октябре в пансион. Я спишусь с тетей, а в Псков поедем вместе. Хорошо?

— Замечательно.

— Ну и отлично. — Варя еще раз поцеловала сестру, снова почувствовала, как сухо она ей отвечает, но сделала вид, что все в порядке, и вышла из комнаты в самом прекрасном настроении.

Почти силой отправляя Машу в Смоленск, Варя вовсе не стремилась избавиться от соперницы. Аверьян Леонидович был ей не совсем безразличен, но до влюбленности тут было еще далеко. Просто Варя в этом видела наипростейший способ уберечь сестру от мирских соблазнов, разрушить ее еще неосознанное и неокрепшее первое влечение, а затем отправить в Псков под крылышко единственной тетушки и под надзор пансиона. Тогда бы она окончательно перестала тревожиться за ее судьбу и могла бы спокойно заняться младшими. Она шла к цели напрямик, нимало не заботясь о тех, кого наставляла и направляла, а то, что ее слушались, льстило самолюбию и укрепляло в представлении о собственной прозорливой непогрешимости. «Надо быть твердой, — убеждала она сама себя. — Твердой и решительной, только так я смогу уберечь

их от греха и возмездия. Только так, но, Господи, как это трудно!..»

На следующее утро Маша и Владимир выехали в Смоленск.

3

Владелец парового катера, с виду чрезвычайно добродушный, а на деле прикрывающий добродушием цепкую жадность австриец, которого осторожно показал Олексину Этьен, согласился предоставить судно на прежних условиях. Быстро сторговавшись о цене и сроках, они направились в контору и здесь встретили непредвиденные осложнения.

— Нужно поручительство, господин Олексин. Вы не подданный Австро-Венгрии.

— Я плачу наличными.

— Да, но не стоимость судна, а только его фрахт.

— Хозяин согласен.

— Таков закон, господин Олексин. Ищите поручителя.

Раздосадованный Гавриил ничего не сказал французам: владелец обещал разыскать поручителя. В поисках его Олексин целыми днями мотался по Будапешту, возвращался поздно уста-

лым и раздраженным.

— Гавриил Иванович, гость у нас!

Захар встретил его у дверей номера с чайником в руке: самоваров в гостинице не водилось. Был вечер. Олексин весь день прождал обещанного поручителя, не дождался и пребывал в отвратительном настроении.

— Гони всех в шею.

— Ни-ни, ни под каким видом! — широко заулыбался Захар. — Гость больно дорогой, не пожалеете.

И распахнул дверь, пропуская поручика. В комнате у стола сидел молодой человек. Увидев Гавриила, встал и шагнул навстречу:

— Ну, думал, не дождусь.

— Васька? — совсем как в детстве, в Высоком, крикнул Гавриил. — Васька, чертушка, откуда?

— Проездом в отечество. — Василий Иванович расцеловался с братом. — Знал, понимаешь, определенно знал, что кто-то из наших непременно в Сербию направится: либо ты, либо Федор, либо, не дай бог, Володька, да боялся, что уж проехали, три дня справки наводил, и представь себе, здесь, говорят, Олексин! Здесь торчит, парохода ждет. — Василий Иванович радостно посмеялся. — Что, саботируют австрийцы? Саботируют, еще как

саботируют. Сами же заварили кашу, и сами же препоны волонтерам строят: старая, как матушка Европа, европейская политика.

— Захар, мечи все на стол! — весело приказал Гавриил. — Вина тащи — пировать будем.

— Вина можешь не стараться: не пью.

— Ничего, Василий Иванович, мы сами за тебя выпьем, — приговаривал Захар, собирая на стол. — За тебя да за встречу — с полным удовольствием.

Братья сидели поодаль, коленки в коленки, улыбаясь, разглядывали друг друга.

— Ах, до чего же я рад, что нашел тебя, до чего рад! — сиял Василий Иванович.

Было в нем нечто новое, незнакомое: аккуратно подстриженная благолепная бородка, благолепный взгляд, благолепная говорливость — все в обкатку, шариком. Даже радовался благолепно:

— Ах, до чего же рад я, до чего рад!

— Что же Америка? — спросил Гавриил. — Что же идея твоя?

— Идея? — Василий Иванович вздохнул, медленно провел по лицу, по бороде, словно снимая благолепие, и глаза его сразу точно высохли. — До чего же мы любим идеи. Любим страстно, самозабвенно, истово — до самозаклания на алтаре.

Да только идеи не любят нас, вот беда. Может, потому, что они чужие? Немецкие, французские, английские. А где же наши собственные идеи? Почему к ним-то, на единой ниве взращенным, мы с насмешечкой да усмешечкой, а к заграничным — с трепетом душевным, с восторгом неистовым, загодя шапку ломая? Сами себе не верим, привычно не верим, исстари, от татаро-монголов. А что, как поверим однажды? С нашей-то азиатской неистовостью, с нашим-то русским размахом, да все вдруг, все человеки российские, — что тогда? Мир воздрогнет, Гаврюша. Мир переменится, если мы все дружно, как церковь, новую идею воздвигнем.

— Какую же?

— Какую? — Василий Иванович усмехнулся. — Вон Захар над рюмкой мается, пойдем к столу.

Только за столом Гавриил решился сказать, что матери больше нет. Василий Иванович замер, долго сидел не шевелясь. Захар придвинул стакан с вином — по-походному пили, из стаканов, — тронул за руку.

— Вечная память ей, Вася.

Братья встали, выпрямив и без того прямые спины. Помолчали, глядя в стол, пригубили вино.

— Садитесь, — вздохнул Захар. — Знать бы, где

упасть бы да когда случится. Мне сестра она единственная, а всю жизнь вместо маменьки была. А вам так сама маменька: родила да вспоила.

— Умные люди утверждают, что законом человеческого общества является не борьба за существование, а взаимопомощь, — сказал Василий Иванович, по-прежнему глядя в стол. — Прекрасная и благородная формула, а мы о ней знали с колыбели. Нет, Захар, мама нас не только родила и вспоила, хотя и этого достаточно для благодарности нашей вечной. Мама нас людьми сделала. И в этом сила наша.

Разговор угас, потом приобрел новое направление: о доме, об отце, о братьях и сестрах. Отвечал Захар, и не только потому, что знал лучше, а и потому, что Гавриил часто замолкал, вспоминая сказанное Василием. Перемена в брате была явная, но в чем она заключалась, куда вела его теперь и зачем, этого Гавриил пока не понимал.

— А что же твой социализм, Вася? Неужели разочаровался?

— Социализм не девушка, и я не разочаровался, а понял, — нехотя, даже ворчливо, сказал Василий Иванович.

— И что же ты понял? — не унимался Гавриил.

— Что понял? — Василий Иванович достал

платок, аккуратно отер усы, бородку. — Видишь ли, социальные идеи — это идеи о всеобщем справедливом распределении благ. Разных благ: экономических, политических, гражданских, культурных. Они толкуют о дележе добычи. Да, справедливом, да, всеобщем, да, равном, но — лишь о дележе, предполагая, что человек сам изменит свою натуру, приведя ее в соответствие с нормами всеобщего равенства и братства.

— Интересно, как ты выкрутишься, — улыбнулся Гавриил.

— Слабость тут в том, Гавриил, что духовная жизнь человека всеми этими идеями мало принимается во внимание. Принимается во внимание скорее его физическое существование. Может быть, все это и хорошо для человека совершенного, но ведь идею-то призваны осуществлять человеки обыкновенные. А они ой как несовершенны. Ой как! А об этом идеи молчат.

— Уж не стал ли ты верить в Бога, Вася?

— В Бога? В общепринятом смысле нет: я не хожу в церковь и не бьюсь лбом о заплеванный пол. Но… — Он помолчал, собираясь с мыслями. — Нет, не экономическая модель счастливого будущего нужна человечеству, Гавриил: оно задыхается в тисках злобы и жестокости, ибо топчется в нрав-

ственном тупике. Путь нравственного очищения, путь нравственного примера, тернистый путь первых подвижников христианства — вот модель справедливого и доброго общества будущего. Вопрос не в том, как делить добычу, — вопрос в том, чтобы отдать ее добровольно, без всякого дележа. А чтобы подготовить все это, нужна новая религия. Без вороватых и темных попов, без возврата монастырей, без роскоши высшей церковной иерархии. Нужна вера в идею, святую в своей простоте: чем больше ты отдаешь, тем богаче ты становишься. Вот и все. И в этом смысле я готов принять Бога, если это позволит людям поверить.

— Темна вода во облацех, — улыбнулся Гавриил. — За справедливость надо воевать, вот это и просто, и всем понятно, господин проповедник. Когда читаешь, как турки вырезают целые болгарские города, как насилуют женщин и вырубают кресты на спинах мужчин, кровь застывает в жилах и хочется стрелять, стрелять и стрелять. И знаешь что? Поехали с нами в Сербию: там на практике и испытаешь свою идею.

— Что же, я бы и поехал, — вздохнул Василий Иванович. — Даже наверное бы поехал с тобой и Захаром.

— Поехали, Василий Иванович! — откликнулся допивавший за столом вино Захар. — Я враз за багажом вашим сбегаю.

— Нет, сейчас уже не могу. Дело в том, что я не один. Со мной тут жена моя Екатерина Павловна и сын Коля.

— И сын, и жена? — ахнул Захар. — Это когда же ты успел-то, Василий Иванович? Ну, Америка!

— Поздравляю, — сдержанно сказал Гавриил. — Надеюсь, ты представишь меня своей супруге. У вас, естественно, гражданский брак?

— Естественно. — Василий Иванович улыбнулся. — Она чудная женщина, Гавриил, и я счастлив. Знаете, она спасла меня. Да, спасла. Она появилась как ангел и отвела руку. — Он прошел к дверям, достал из плаща револьвер. — Вот от чего она отвела мою руку. Возьми, Гавриил. Ты едешь на войну, он может пригодиться.

— Спасибо, Вася. — Гавриил с удовольствием прикинул в руке кольт. — Прекрасный подарок. Спасибо.

— И да хранит вас Бог, — вдруг с чувством сказал Василий Иванович.

— Чему быть, того не миновать, — вздохнул Захар.

— Больно, когда убивают, — тихо, словно про

себя, сказал Василий Иванович. — Очень больно. Поверьте, я знаю.

Гость посидел еще немного и распрощался. Гавриил и Захар вышли его проводить и провожали долго, почти до центра, до пансионата, где Василий Иванович снимал комнаты. По дороге договорились о завтрашнем визите и поэтому расстались второпях. На обратном пути взяли экипаж, добрались быстро. А когда подходили к уснувшей гостинице, от подъезда шагнула фигура.

— Недаром существует поговорка: опаздывает, как русский, — сказал знакомый голос, и Гавриил узнал Этьена. — Жду вас: на рассвете погрузка.

— Какая погрузка?

— Миллье договорился с капитаном буксира: они волокут баржу в Белград. Капитан оказался боснийцем, и это решило дело. Скорее, господа: нас возьмут в грузовом порту.

— Значит, вы обошлись без моей помощи, — не без горечи отметил Гавриил. — Зачем же вам связываться с нами?

— Нашли время для обид, — улыбнулся Этьен. — Если вам так уж не хочется быть нашим должником, оставайтесь.

— Что он говорит? — нетерпеливо спросил

Захар.

— Едем! — сказал поручик. — Нельзя упустить такой случай. А Василию я оставлю записку: не судьба, видно, с супругой его познакомиться…

4

Утром Маша и Владимир уехали в Смоленск, а к вечеру пожаловала тетушка Софья Гавриловна, гостья редкая и дорогая.

— Как же это я с Машенькой и Володей разъехалась? — расстраивалась она. — Ах, какое невезение, какое невезение, обидно!

Тетушка быстро расстраивалась, но и быстро находила в чем-либо утешение. Она была дамой почтенной, доброй и одинокой: единственный сын ее умер во младенчестве, а муж, артиллерийский офицер, погиб в Крымской войне. Однако в отличие от брата она не любила одиночества, поддерживала широкий круг знакомств, принимала у себя, наносила визиты, но дальних путешествий побаивалась; Варя подозревала, что тетушка не приехала на похороны именно по этой причине.

День был суматошный, как и всякий день приезда нежданных гостей. Тетушка долго и дотошно осматривала хозяйство, давала указания,

пересказывала последние лечебные рецепты и способы выращивания георгинов. Потом пришел Беневоленский, не удивился, что Маша уехала, но тут же отбыл, сославшись на срочные дела. Варя не удерживала его, хотя было немного досадно, что он так демонстрирует. За чаем тетушка расспрашивала детей, но связной беседы не вышло: Надежда дичилась, Георгий и Николай отвечали односложно, занятые какими-то своими делами. Федор начал было излагать очередную идею, увлекся, но вскоре увял, почувствовав, что слушают его из вежливости.

Один Иван был молодцом. Терпеливо ответил на все тетушкины вопросы, вежливо поинтересовался здоровьем и вежливо выслушал ее длиннющий отчет. Он вообще как-то повзрослел за последнее время, посерьезнел, много занимался, возился с детьми и стал самой надежной Вариной опорой: она находила, что он очень похож на Василия, а для нее это была высшая похвала.

Но, как выяснилось, все эти разговоры были только разведкой. Серьезная беседа — беседа, ради которой тетушка предприняла это путешествие, — состоялась поздно вечером, когда они остались одни. Начала ее тетушка весьма

своеобразно.

— Караул, — объявила она, войдя в Варину комнату и удобно, надолго усаживаясь.

— Что — караул? — не поняла Варя.

— Я кричу «караул», Варвара, — строго сказала почтенная дама. — Семья стоит на краю бездны. Впрочем, я так и предполагала, что она стоит на краю. Да, представь себе, предполагала. И кричу «караул».

— Неужели все так уже скверно? — улыбнулась Варя, хотя тетушкино вступление несколько зацепило ее самолюбие. — Что же вас беспокоит?

— Ты, — сказала тетушка. — В первую голову ты. Почему здесь нет управляющего?

— Он уехал после похорон.

— Он был честен?

— Он мамин брат.

Варя всегда определяла Захара как брата мамы, но никогда — даже в мыслях — не считала его своим дядей. Так уж повелось в семье, так сложилось, и не только она — все ее братья и сестры считали Захара лишь родным братом матери.

— Захар? Знаю его. Мужик разумный и хозяйственный. Почему уехал?

Варя пожала плечами.

— Он человек вольный.

— Вольный? Надо было лишить воли: дать землю, женить.

— Захар хотел жениться, да невесты маме не нравились.

— Ах, Анна, Анна! — Тетушка неодобрительно покачала головой. — И что же, слушался? И женщины у него не было?

— Была. Солдатка, вдова, ребенок у нее от него. А все равно ушел. Сказал, что дело заведет в Москве.

— Значит, обидели, — убежденно сказала Софья Гавриловна. — Узнаю братца Ивана: меня не щадил под горячую руку — такое бывало. Ну да ладно, сама этим займусь. Найду и верну.

— Считаете, что я не справлюсь с хозяйством?

— Отчего же? Справишься, девица разумная. И характером в папеньку. С хозяйством ты справишься, Варя. С собой не управишься.

— То есть?

— Муж нужен. Пора уж, пора, засиделась. А нам, женщинам, нельзя на родительских ветвях засиживаться: червивеем. Кошечек заводим, собачек, приживалочек или, того паче, любовников. Не красней, голубушка, не красней: мы обе женщины.

— Очень вас прошу, тетушка, оставить этот

разговор.

— Нет, не могу, не взыщи. — Софья Гавриловна развела руками. — Это не разговор, Варенька, это предназначение твое, судьба. Либо в линию она пойдет, либо в тупик упрется, серединки нет. Анна Тимофеевна, матушка твоя, царство ей небесное, мужа тебе не приглядывала?

— Она считала меня взрослым человеком, тетя.

— Она считала тебя ребенком, — отрезала Софья Гавриловна. — Ну ладно, будем искать.

— Что искать? — испугалась Варя.

— Супруга, сударыня, супруга тебе достойного искать будем. Здесь, в глуши, на тебя разве что медведь выскочит.

— Тетя, мне очень неприятна эта тема, — сухо сказала Варя. — Давайте прекратим ее и…

— А уж и прекратили, — сказала тетя. — Уже прекратили, и нет никакой темы. А есть я, твоя тетя. Единственная твоя тетушка. Ты ведь любишь меня, Варенька?

— Тетушка! — Варя нежно поцеловала почтенную даму. — Разве я дала повод сомневаться?

— А раз любишь, значит, зимой переедешь ко мне.

— Нет, дорогая моя тетя, не перееду. Очень бы

хотела, поверьте, да не могу. Вот Машу я к вам отправлю.

— И Машу отправишь, и Наденьку, и сама приедешь.

Варя с грустью покачала головой:

— Это было бы прекрасно, только на кого же я детей оставлю? Ване год в гимназии остался, а еще Георгий и Коленька. Не на Федю же их оставлять, он и сам-то ребенок бородатый. А больше никого нет. Никого, милая тетя, я одна.

— А батюшка?

— Батюшка в Москве.

— Ничего, в Смоленск перевезем, а упрется, так к нему детей отправим, пусть там учатся.

— Боюсь, что вы плохо знаете своего брата, — улыбнулась Варя.

— Это ты меня плохо знаешь, — ворчливо сказала Софья Гавриловна. — Всю жизнь ему потакали, всю жизнь с ним возились — хватит, пусть теперь он возится, пусть теперь он потакает. Если мы с тобой, Варенька, чего захотим, то того и добьемся. Я ведь еще дома догадалась, что ты сиротой себя вообразишь, горе как Божью кару воспримешь и сама себя на алтарь семьи поведешь как жертву искупительную. Так пустое все это, выкинь из головы! В зеркало посмотрись, молодость ощути

— и живи как жила!

— Как жила, не получится.

— Точно не получится, так похоже получится. Получится, сударыня моя, все получится! А со старым ворчуном, с батюшкой твоим, я сама все решу, ты и знать ничего не будешь. Анна Тимофеевна, царствие ей небесное, любила его без памяти, разбаловала. Слишком любила и слишком баловала, ну да бог с ним, справимся. А вам общество нужно, милые вы мои дети, а особо тебе и Машеньке. И не спорь, пожалуйста, не спорь со мной, я все равно сделаю по-своему!

Варя спорила не по существу, а по инерции и прекрасно понимала, что спорит по инерции, из-за какого-то осторожного упрямства; в душу ее с каждым тетушкиным аргументом вселялся давно утраченный ею покой, все дальше и дальше оттесняя и страх перед будущим, и даже сумрачные мысли о принесении себя в жертву семейному благополучию. То, что предлагала Софья Гавриловна, было не просто разумнее, нет: ее планы предусматривали и личное Варино счастье. Обыкновенное девичье счастье, не требующее ни теоретических оправданий, ни роковых предопределений. И все то, что много ночей и дней копилось в ее сердце, все то, что лишь изредка

выплескивалось в форме сложных философских построений, в которые и сама-то Варя верила лишь постольку, поскольку они оправдывали ее гордое одиночество, — все это прорвалось вдруг неудержимыми, облегчающими душу слезами.

— Ну вот и славно, вот и прекрасно, — сказала тетушка невозмутимо, не тронувшись с места. — Поплачь, Варенька, поплачь: девичьи слезки ледышку плавят.

5

Буксир ошвартовался у причала белградской грузовой пристани тихим августовским утром. На пристани было пустынно, лишь несколько грузчиков ожидали прибытия транспорта.

— Желаю не попасть в плен, — сказал капитан-босниец, пожимая руки. — Лучше так. — Он выразительно щелкнул пальцами у виска.

Олексин ожидал увидеть чиновников таможни, но к ним никто не спешил. Грузчики разглядывали их, но издалека, не приближаясь. Гавриил хотел спросить, куда направляют волонтеров, но Миллье остановил его:

— Сначала разойдемся.

— Разве мы не вместе?

— Вы офицер, а мы рядовые, — пояснил Этьен,

улыбаясь. — Вы защищаете славян от турок, а мы — свободу от тирании.

Олексин не стал более расспрашивать. Расстались друзьями возле ворот порта, но направились в разные стороны.

— Может, они к турку подались? — предположил Захар.

— Может, и к турку, — усмехнулся поручик. — Свобода, Захар, понятие относительное. Особенно для господ инсургентов.

Сам он, впрочем, испытывал к «господам инсургентам» чисто дружеское расположение, но не в связи с Парижской коммуной — он мало знал о ней, да она его и не интересовала, — а скорее интуитивно, угадывая в них людей честных, мужественных и преданных своему долгу.

Они окликнули первого встречного, представились, спросили, куда им следует идти.

— Русские? — Серб крепко жал руки, улыбаясь, заглядывал в глаза. — Русские и сербы — братья!

Он взвалил на плечи их багаж и по дороге с воодушевлением оповещал, кого именно он сопровождает, и вскоре за русскими шла уже порядочная толпа.

— Русские офицеры! Они прорвали австрийский кордон! Один из них говорит по-сербски.

Гавриил по-сербски говорил плохо, но достаточно, чтобы спросить, чем вызван этот переполох.

— Давно не было русских волонтеров, — сказал провожатый. — Прошел слух, что австрийцы выставили кордоны, чтобы лишить сербов помощи.

Русские не знали, куда их ведут; сербы говорили все разом, перебивая друг друга, отделив Олексина от Захара, забрасывая их вопросами и не ожидая ответов на эти вопросы. Прием был почти восторженным, но Гавриил хотел не восторгов, а дела.

— Говорят, трудно приходится, а мужиков молодых — хоть отбавляй, — недовольно сказал Захар, пробившись к поручику. — На войну надо идти, братушка! Турка бить!

— Турка, турка! — закричали восторженные провожатые, вновь оттесняя его от Гавриила.

Наконец навстречу попался священник с красным крестом на рукаве, и шествие остановилось.

— Добро пожаловать на несчастную сербскую землю. — Священник хорошо говорил по-русски. — Давно не было пароходов с русскими волонтерами, этим и объясняется восторг моих сограждан. Если не возражаете, можем сразу направиться в министерство: ваш багаж отнесут

в «Сербскую корону».

Он распорядился, толпа направилась к гостинице, унося их поклажу (Захар смотрел на это с некоторым подозрением, но молчал), и они наконец-то остались одни.

— Направо, — сказал священник. — За багаж не беспокойтесь: нас столько веков грабили османы, что мы научились ценить чужую собственность.

— Что слышно о боях под Алексинацем? — спросил поручик. — Есть известия от Черняева?

— Белград предпочитает ничего не слышать, — с уловимой горечью сказал священник. — У нас очень сложное положение, господа: султан бросил против несчастной Сербии свои лучшие силы и даже части собственной гвардии. А мы заседаем и спорим, спорим и заседаем. И надеемся на чудо.

Министерство помещалось в ничем не примечательном одноэтажном здании, вход в которое был свободен для всех желающих. Здесь священник передал их приветливым чиновникам и распрощался; они быстро получили назначение в действующую армию, документы на оружие и подорожную.

— К сожалению, лошадей пока нет, — сказал улыбчивый служащий. — Полковник Медведов-

ский формирует конную группу, все передано в его распоряжение. Завтра постараемся раздобыть вам транспорт и проводника.

— Не знаете, могу я рассчитывать на роту?

— Это в компетенции штаба Черняева. Мы всего лишь чиновники. Денщика я вписал в вашу подорожную, господин поручик.

— Благодарю. Значит, завтра мы можем надеяться…

— Максимум через два дня: все зависит от проводников. С фронта они сопровождают транспорты с ранеными, а отсюда — волонтеров и порох.

До вечера они успели побывать в цейхгаузе, где получили оружие, продукты и форменную одежду. Оружие Гавриилу не понравилось, но он предполагал раздобыть что-нибудь более современное у турок; Захар же с удовольствием нацепил тяжелую австрийскую саблю.

Багаж оказался в отведенном для них номере. Не успели они распаковать его, как раздался вежливый стук в дверь. Захар открыл: на пороге стоял коренастый немолодой мужчина с ленточкой неизвестного ордена в петлице сюртука.

— Здравствуйте, господа соотечественники! — по-русски сказал он. — Вы поручик Олексин?

Помню. И тост ваш помню.

— Полковник Измайлов? — удивился Гавриил.

— Бывший полковник, бывший начальник штаба генерала Черняева, бывший идеалист. Бывший, бывший, бывший, — со вздохом сказал посетитель. — Узнал, что прибыли очередные идеалисты, и позволил себе без приглашения.

— Очень рад, — сказал Олексин, несколько озадаченный картинной горечью, с которой Измайлов вошел в номер. — Это мой денщик.

— Все волонтеры имеют одинаковые права. — Полковник несколько демонстративно подал руку Захару и со вздохом опустился на стул. — Права на первое приветствие и права на последнее прощание. Однако все же я злоупотребляю. Давно ли из любимого отечества?

— Вторая неделя.

— И что же там у нас?

— Солнышко то же, а дождик разный, — сказал Захар.

— Остроумно, остроумно. — Измайлов вежливо изобразил улыбку. — И все же?

— А что вас, собственно, интересует? — спросил Олексин. — Ведь что-то же, наверное, интересует, не погода же в Москве, не так ли?

— Интересует? — Полковник помолчал. — Все

меня интересует там и ничего здесь, поручик. Желаю не дожить до такой односторонней любознательности. Шумели много, куда как излишне шумели. Победы, лавры, литавры. Не то вывозим из отечества нашего любезного! — вдруг резко и громко сказал гость. — Не то, не то и не то! Шумиху вывозим, показливость свою, трижды клятую, вывозим, идеи и восторги — массово, массово, поручик! А служение идее — где? Где, господа, безропотное, каждодневное, трепетное служение оставляем? В Будапеште, в Вене, на таможнях?

— Следует ли понимать, что вы недовольны русскими волонтерами, полковник?

— Доволен: мрут героически. С энтузиазмом подставляют свой русский лоб всякой турецкой пуле. Вперед, ура, в штыки их, ребята! — это все так, без претензий, как и положено русскому человеку, когда он решился. Когда русский человек решился, его ничто не остановит. Ничто, поручик, знаю, видел, верю! Но кто решился-то? Кто, я вас спрашиваю?

— И кто же?

— Ваш брат — обер-офицер. Его брат — рядовые и унтеры. Молодежь решилась: военная, купеческая, студенческая, крестьянская — всякая. А штаб-офицерство решилось? Решилось

оно умереть за идею здесь, на чужих полях, за чужой народ? Нет, поручик, оно не просто не решилось: оно решилось не умирать за эту идею. Оно решилось лавры пожинать, славу черпать и — других гнать умирать. Прибывают сотни людей, тысячи! Думаете, одни русские? Нет-с — болгары, румыны, чехи, поляки, итальянцы, немцы, американцы даже! Все жаждут боя, все горят отвагой, все — молодо и искренне, молодо и искренне, поручик! — хотят помочь несчастной Сербии. Хотят, если надо, оплатить своей кровью цену ее свободы. Но воевать-то, воевать-то они не умеют, господа! И сербы воевать не умеют — что же поделаешь, не приходилось. Армия создана, но армия неопытная, молодая, более склонная к прекрасным порывам, чем к терпеливому исполнению приказов. А против нее турецкий низам, вымуштрованные боевые части. Значит, штабу и командующему необходимо именно это иметь в соображении, именно это ставить в основу операций, будь то блистательное наступление или тяжкая оборона.

— Вы недовольны штабом или командующим?

— Штаб? — Полковник печально улыбнулся. — Штаба больше нет. Командующий пока есть, поскольку ему еще верят и Сербия, и князь

Милан, а штаба больше нет.

— С той поры, полковник, как вы перестали быть его начальником?

— Обойдемся без колкостей, поручик. Воевать за чужую победу нужно не только чистыми руками, но и с чистым сердцем. Да, с чистым сердцем, поручик, я понял это и потому ушел с поста. А что касается штаба, то спросите у Монтеверде, где его бригады. Я готов держать беспроигрышное пари: он вам не ответит. Это же гверилья, это же Фигнеры с Давыдовыми, а не армия! Управление утрачено или почти утрачено…

— Зачем вы нам все это говорите, полковник? — спросил Олексин. — С какой целью вы обрушили на нас ушат холодной воды? Ведь должна же быть у вас какая-то цель, кроме обиженного брюзжанья?

— Поручик, вы забываетесь! — Измайлов медленно багровел. — Я, кажется, не давал повода. Да! Я имею заслуги! Этот Таковский крест, — он ткнул пальцем в ленточку в петличке, — этот орден я получил одним из первых из рук князя Милана!

— Я не сомневаюсь в ваших заслугах, господин полковник. Я лишь спросил о цели вашего визита.

— А цель вашего приезда в Сербию? — Полковник встал, прошелся по номеру. — Боже вас упаси от изложения славянофильских идей, поручик. Боже вас упаси: у меня уже болят уши. Мне жаль вас, юных идеалистов, цвет России: вами играют. Играют на вашем энтузиазме, на вашей молодости, на вашей отваге. Знайте же об этом, ибо ничего нет горше разочарования. Ничего нет горше!

Он пошел к выходу, но в дверях остановился, хотя никто не останавливал его. Потеребил шляпу, словно не решаясь, стоит ли говорить то, что хотелось. И — решился:

— Вы услышите много разговоров обо мне, поручик. Не торопитесь с выводами, пока не поговорите с генералом Черняевым.

— Вряд ли он примет меня.

— Добейтесь, это в ваших интересах. И если зайдет разговор обо мне… Впрочем, не надо.

— Нет, отчего же, полковник. Все может быть.

— Скажите ему, что я жду его письма. Здесь, в Белграде.

Измайлов поклонился и вышел. Захар усмехнулся:

— Обижен барин. А говорил красно.

Гавриилу больше не хотелось ни говорить, ни

слушать. Он устал плыть на вонючем буксире, где негде было даже присесть по-людски. А в ресторане, шум которого проникал в номер, наверняка начались бы утомительные и пустые разговоры: он послал туда Захара, велев раздобыть ужин и отбиться от визитеров. Захар пропадал долго: поручик уже начал терять терпение. Наконец ввалился с корзинкой:

— Ваша правда, Гаврила Иванович, народу — тьмища! И эти, из газет, тоже. Окружили меня: ла-ла-ла! ла-ла-ла! Ну, я им сразу: по-вашему, мол, ни бум-бум, а барин отдыхает и беспокоить не велел. И сам на кухню, там нагрузили. Сейчас перекусим…

Перекусить не удалось: в дверь опять постучали.

— Гони всех, — раздраженно сказал поручик.

— Спит барин, — сказал Захар, чуть приоткрыв дверь. — Не велено…

Его молча и весьма бесцеремонно оттеснили, и в комнату скользнул господин в американском клетчатом пиджаке и в мягкой, сбитой на затылок шляпе.

— Тысяча извинений, господа, тысяча извинений! — еще с порога прокричал он по-французски, быстрыми глазами вмиг обшарив номер. — Фран-

цузская пресса, господа, а с прессой кто же станет ссориться, не правда ли? Пресса — всесильная богиня нашего времени…

— Я не принимаю, — сухо сказал Гавриил.

— И не надо! — весело отозвался француз. — К чему церемонии? Три вопроса на ходу для парижской публики, всего-навсего три вопроса.

— Ровно три, — сказал Олексин. — Итак, первый.

— Итак, первый! — Корреспондент достал блокнот. — Ваше имя и звание?

— Русский офицер. Этого достаточно для Франции.

— Допустим. Что же заставило вас, русского офицера, оставить родину и приехать сюда, в Сербию?

— Зов братского народа.

— Прекрасный ответ! Вы стремились на этот зов, преодолевая многочисленные препятствия, как случайные, так и не случайные. Мы знаем, что вы были не один, что с вами вместе на этот зов стремились и наши соотечественники-французы. Это чрезвычайно благородный порыв, а Франция, как никто, ценит благородство. И вы, конечно, понимаете, как интересно французской читающей публике будет узнать о своих согражданах,

обнаживших шпагу против османского ига. Кто же они, ваши французские друзья? Нам бы очень хотелось узнать их имена, намерения, планы…

Французы расстались с Олексиным, едва сойдя с парохода, и избежали шумной встречи белградцев. Гавриил сразу вспомнил и об этом и о том, как они боялись слежки еще там, в Будапеште, как стремились уехать любым путем. Они доверились только ему, и, кто бы ни были эти французы, он не имел права предавать их доверие.

— Вы ошибаетесь, сударь, — сказал он. — Я прибыл в Белград со своим денщиком и не имею ни малейшего понятия о ваших соотечественниках.

— Однако вместе с вами с буксира сошли…

— Это четвертый вопрос, господин корреспондент, а мы договорились о трех.

— Но позвольте маленькое уточнение! — Визитер в американском пиджаке вдруг засуетился, забыв про улыбки. — Матрос буксира утверждает…

— Честь имею, — перебил Гавриил, встав. — Прощайте, сударь, наш разговор окончен.

Корреспондент потоптался, спрятал блокнот и вышел, забыв поклониться. Захар закрыл дверь, накинул крючок.

— Что он спрашивал?

— Он интересовался французами, — сказал поручик. — Ты нигде не болтал о них?

— Да что вы, Гаврила Иванович! Я ведь понимаю.

— Ну и прекрасно, — сказал Гавриил, садясь к столу. — А этого клетчатого господина никогда и ни под каким видом не пускай ко мне. Он слишком любопытен. Садись к столу, вдвоем ведь, можно без церемоний…

6

Беневоленский больше в Высоком не появлялся. Варя старательно не замечала его отсутствия, была ровна и даже весела, но самолюбие ее было уязвлено. Ею пренебрегали явно и демонстративно, и это кололо больнее, чем само отсутствие Аверьяна Леонидовича.

Тетушка уехала, забрав с собой Ивана и младших, в Высоком остались только Федор и Варя. Яблоки звучно падали в саду, было тепло, тихо и грустно, но грусть была легкой и приятной. Правда, она мешала с прежним рвением заниматься хозяйством, но после разговора с тетей Варя как-то охладела к хозяйству, все чаще поручая дела приказчику — мужику немолодому, серьезному и работящему. Возилась в саду, много

читала, а с Федором почти не разговаривала: он целыми днями сидел безвылазно в своей комнате, обложившись книгами. То ли готовился в университет, то ли вырабатывал очередную сверхновую идею. Встречались в столовой за обедом да за ужином, даже завтракали отдельно.

От Дурасовых неожиданно прискакал нарочный с запиской: Елизавета Антоновна заболела, очень скучает, просит не забывать. Записка никому не адресовалась, Варя прочитала ее, подумала и за обедом показала Федору.

— Надо бы съездить, Федя.

Федор прочитал записку, повздыхал и ничего не ответил.

— Я понимаю, как тебе не хочется, — продолжала Варя. — Может быть, вместе с Беневоленским прокатитесь? Кстати, он что-то совсем пропал, не заболел ли тоже? Ты бы навестил и записку показал: хороший предлог для визита.

Федору очень не хотелось никуда ходить, он обленился за лето. Но Варя настояла, и пришлось, вздыхая, оставить привычный диван.

— Здоров как бык, — сказал Беневоленский, когда Федор, появившись, справился о здоровье. — Хотите водки? Нормальная российская сивуха вкупе с малосольным огурцом обладает

сказочной способностью приземлять мысли витийствующей интеллигенции.

Он достал початую бутылку, налил в стакан, придвинул миску с огурцами и сел напротив.

— Отчего ж никуда не поехали?

— Не знаю, — сказал Федор. — Я отвык учиться. Право, отвык.

— А к лени привыкли быстро, — усмехнулся хозяин. — Хотите совет? Поезжайте к этой дамочке. Она мается томлением духа и тела: авось желания появятся.

Федор хлебнул из стакана, сморщился, полез за огурцом. Аверьян Леонидович насмешливо следил за его вялыми движениями.

— В вашей семье жизнеспособна только женская линия, Олексин, замечаете? Это первый признак угасания рода.

— При чем тут угасание? — вздохнул Федор. — Просто все: мать у меня крестьянка. Вы ничего не знаете, Беневоленский, а беретесь судить, это нехорошо и на вас не похоже.

— Чего же я не знаю?

— Ничего, — упрямо повторил Федор. — Вот напьюсь сейчас и все вам расскажу.

— Ну так напивайтесь поскорее.

— Вы спешите?

— Очень, — сказал Аверьян Леонидович. — Я уезжаю.

— Куда?

— В отличие от вас — учиться. Надо закончить в университете.

— А зачем?

— Ну хотя бы затем, чтобы зарабатывать на хлеб насущный. У меня нет имения, Олексин. Ни имения, ни состояния — только руки и голова.

— Вы лжете, Беневоленский, да, да, лжете. Вы не из тех, кто будет делать что-либо ради своей выгоды. Это пошло, ужас как пошло — делать что-либо ради своей выгоды. Ради идеи — да! Это прекрасно, это возвышенно и благородно. А ради выгоды… Нет, вы идейный. Вы скрываете от меня, потому что идея ваша, — Федор вдруг выпучил глаза и весь подался вперед, — казнить государя!

— Бог мой, какой бред посещает иногда вашу бедную голову, — усмехнулся Аверьян Леонидович. — И все от безделья. Бредни — от безделья, идейки — от безделья, даже разговор этот — тоже от безделья. Ох ты, милое ты мое русское безделье! Есть ли что в мире добродушнее, безвреднее и… бесполезнее тебя!

— Вот, — обиженно отметил Олексин и снова хлебнул. — Опять вы насмешничаете.

— Нет, друг мой, на сей раз я не насмешничаю, — вздохнул Беневоленский. — На сей раз предмет слишком дорог, чтобы обращать его в шутку. Дорог не для меня — дорог для отечества нашего в самом вульгарном экономическом смысле. Миллионы золотых рублей летят на воздух ежедневно и ежечасно, летят опять-таки в прямом смысле, лишь сотрясая его, но не производя никакой полезной работы. Когда же вы опомнитесь, добрые, милые, безвредные и — увы! — бесполезные господа соотечественники? Когда же вы наконец поймете, что идеи не сочиняют, а творят, творят на почве знаний, боли, тоски, неосуществленных порывов и, главное, труда. Адского труда, Олексин! А вы… Да вбили ли вы хоть один гвоздь в своей жизни, пропололи хоть одну грядку?

— Прополол, — кивнул Федор. — Маменька велела, я и прополол. Это был лук.

— Лук! — усмехнулся Аверьян Леонидович. — Проповедуете народу собственное представление о Евангелии, а что вы знаете о самом народе? Каков он, о чем думает, о чем мечтает, о чем говорит меж собой, подальше от барских ушей? О куске хлеба или о справедливости? О Боге или уряднике? Если вы уж так стремитесь служить

ему — а вы стремитесь, я верю, что стремитесь, — так сначала узнайте, какой службы он ждет от вас. Залезьте в его шкуру, пропотейте его потом, покормитесь его тюрей с квасом, а уж тогда и решайте, в каком именно качестве вы послужите и ему на пользу, и себе в умиление.

— Но разве… Разве знания обязательно должны быть практическими? Разве нельзя постичь истину путем углубленного изучения?

— Для вас — нет, — отрезал Беневоленский. — Вы не способны к углубленному изучению, а посему изучайте с натуры. Впрочем, можете и не изучать: натура от этого не пострадает. Что вы смотрите на меня, как на чудотворную? Я лишь предполагал, только и всего. Решать все равно придется вам. Если сможете.

— Если смогу, — задумчиво повторил Федор. — Странно, ах как все странно переплетается в жизни! Вася тоже говорил о неоплатном долге перед народом, о служении истине и справедливости. И вот вы теперь…

— Я ничего не говорил, — резко перебил Аверьян Леонидович. — Ваш братец Василий Иванович, знаком с ним по Швейцарии, — восторженный адепт Лаврова, такой же говорун и идеалист. Нет, не просвещение народа должно

предшествовать революции, а революция — просвещению, господа Лавровы! Не долг перед народом, а обязанность действовать во имя и во спасение этого народа — вот реализм русской действительности, если желаете знать правду. Понять народ, полюбить народ и, если надо, погибнуть во имя его свободы и счастья — вот цель жизни. Самая благородная из всех целей, какие только ставило перед собой человечество!

— А это… это прекрасно! — воскликнул Федор. — Прекрасно то, что вы сказали! Позвольте поцеловать вас, милый Аверьян Леонидович. Позвольте. Вам — в дорогу, и это замечательно. Дорога — это замечательно!

С серьезнейшим, даже многозначительным видом он расцеловал хохотавшего в голос Беневоленского и вернулся домой, не поехав к больной Лизоньке. И не потому, что забыл о ней, — он помнил и даже хотел поехать, — а потому, что не мог уже, не имел права откладывать того, что решил вдруг, внезапно за голым холостяцким столом Аверьяна Леонидовича. А поскольку решение это нашло на него как озарение, он и воспринимал его как озарение свыше, как зов, не откликнуться на который уже не имел права.

Он ничего не стал рассказывать Варе, буркнул

походя, что Беневоленский здоров, и ушел к себе. Варе долго не спалось в эту ночь, она слушала, как Федор бродит по дому, хотела даже встать и спросить, что это он бродит, но поленилась. А потом уснула.

К завтраку Федор не явился. С ним часто это случалось, и Варя не обратила внимания. Но когда он не вышел к обеду, забеспокоилась, послала узнать.

— Федора Ивановича нету, — сказала горничная, воротясь. — Постель нетронутая.

Заволновавшись, Варя пошла сама. Осмотрела пустую комнату, нетронутую кровать, успела уж испугаться, но нашла записку:

«Я не утонул и не пропал: я ушел. Не ищите меня, а лучше всего — забудьте. Идеи нельзя сочинять — их надо выстрадать, и я готов страдать. Я хочу быть честным и нужным. И буду честным и нужным. А вас всех — целую. Будьте счастливы и простите своего брата-бездельника Федора».

Варя три раза прочитала записку и, так ничего и не поняв, в бессилии и отчаянии опустилась на стул.

7

Длинная, запряженная отощавшей парой повозка уныло скрипела несмазанными осями. Возница, молодой серб, пел бесконечные песни, в терпеливом одиночестве трясясь на передке; остальные предпочитали идти пешком по пыльной обочине.

— Дегтю у них нет, что ли? — удивлялся Захар. — Бранко, долго еще пыль-то глотать?

— Гайд, гайд! — погонял приморенных коней Бранко, весело сверкая зубами.

— Турецкие кони, что ли?

— Добрые кони! Сербские кони!

Группа волонтеров — трое русских и молчаливый поляк — выехала на позиции с первой же оказией. Все произошло внезапно, второпях, и знакомиться пришлось уже в пути.

С русским — субтильным, болезненным до желтизны штабс-капитаном Истоминым — Гавриил был знаком: штабс-капитан служил адъютантом при московском генерал-губернаторе. Слабый физически, чрезвычайно интеллигентный, Истомин еще в июне прибыл в Сербию, участвовал в победоносном черняевском наступлении, а теперь маялся иссушающей желудочной болезнью.

В Москве у него оставалась жена, старуха мать и три девочки, но штабс-капитан сетовал не на судьбу и не на больной желудок, а на равнодушие штабов, несогласованность действий и запутанную многоступенчатость начальства.

— Слишком много указаний, Олексин, слишком много! Боюсь, что самолюбие отдельных господ погубит великую идею.

В идею всеславянского единения он верил истово и несокрушимо. Ни авантюрный марш плохо подготовленной черняевской армии, ни последующий ее разгром, ни даже честолюбивые интриги многочисленного начальства, присосавшегося к народному восстанию и теперь торопливо выкраивающего выгоды для личного пользования, — ничто не могло поколебать тихого и мягкого штабс-капитана. За внешним обликом книжно-салонного дворянина скрывалась фанатическая преданность однажды понятому и принятому на себя долгу.

— Прекрасный, достойный свободы народ, прекрасная, достойная счастья страна! О, если бы немножечко честности, немножечко искренности, немножечко долга, господа!

— Да сядьте же вы на телегу, Истомин. На вас лица нет.

— Нет-нет, ни в коем случае. Мои недуги — это мои несчастья, Олексин. И я желаю бороться с ними, а не выставлять их напоказ. Равенство трудностей рождает равенство усилий, поэтому никаких исключений ни для кого, кроме раненных на поле боя. Равенство трудностей: ах, если бы когда-нибудь эту простую истину поняли бы те, кто управляет энтузиазмом людей, поверивших в благородную идею! Ах, как это было бы прекрасно, Олексин, ибо нет боли мучительнее, чем разочарование. Пирогов сказал, что раны победителей заживают быстрей, чем раны побежденных. Знаете почему? Потому что их идея осуществилась, их труд не погиб втуне и они не обманулись в вождях своих.

— Вы слушали Пирогова?

— Я много и бестолково учился, как большинство русских, — улыбнулся штабс-капитан. — Увы, если бы мы к тому же умели бы с пользой применять свои знания! Но нам этого не дано: мы просвещенные дилетанты, не более.

Кони шли неспешным ломовым шагом, не меняя скорости ни на спусках, ни на подъемах. В полдень волонтеры останавливались в придорожной корчме, часа через три трогались дальше, до следующей корчмы, где и ночевали в узких,

как пеналы, номерах, заботливо сохранявших запахи всех предыдущих постояльцев.

— К концу кампании попадем, ей-богу, к концу, — ворчал Захар.

Гавриил и сам беспокоился, что они непременно куда-либо опоздают, но нетерпение скрывал: и бывалый — очень трудно было отнести это слово к утонченному штабс-капитану — Истомин, и неоднократно проделывавший этот путь Бранко относились к лошадиной медлительности как к явлению естественному; явно тяготился путешествием лишь высокий поляк.

— Прошу пана, но нельзя ли быстрее?

Русских при этом он сторонился, шел всегда рядом с Бранко, ел с ним за одним столом. Утром и вечером любил мыться до пояса: Бранко окатывал его холодной водой, поляк громко, радостно вскрикивал. Истомин пригляделся, сказал поручику:

— Обратите внимание на его шрам.

Шрам был на левой руке, чуть ниже локтя. Недавний, еще багровый, узкий, будто от удара хлыстом.

— Сабля, и скорее всего казачья, — определил Олексин.

Вскоре их обогнала пароконная коляска. С

грохотом пронеслась мимо: был уклон, лошади неслись вскачь. В клубах пыли Гавриил разглядел только широкую спину кучера, но Захар был внимательнее:

— Клетчатый ваш проехал. Ему, видно, лошадушек не пожалели.

В следующей корчме корреспондентской коляски не оказалось, но к вечеру они нагнали ее на постоялом дворе. Коляска стояла под навесом, лошади у коновязи, а широкоплечий кучер одиноко ужинал за столом: клетчатого господина в зале не было.

В этот низкий, полутемный зальчик Олексин вошел один: Захар устраивался в номере, попутчики отлучились по своим делам. Выбрав относительно чистый стол, поручик сел в расчете заказать ужин на троих. Но не успел: вошел поляк и, оглядевшись, направился к нему.

— Вас просят выйти до конюшни, — негромко по-русски сказал он.

— Кто просит?

Поляк отошел, разглядывая прокопченные стены и демонстративно не желая отвечать. Олексин недоуменно пожал плечами, но вышел.

Двор был пустынен. Поручик пересек его, вошел в темную конюшню. Здесь был Бранко:

задавал корм лошадям. Гавриил хотел окликнуть его, но не успел.

— Здравствуйте, сударь.

Он оглянулся: у стены стоял Этьен.

— Не ожидали?

— Признаться, нет. — Гавриил пожал руку. — И очень рад, что нам по пути.

— По пути, но не вместе, — улыбнулся Этьен. — Маленькая неприятность и маленькая просьба, месье Олексин. Видели во дворе коляску?

— Кажется, на ней прикатил ваш соотечественник?

— Это не важно. Важно, чтобы эта коляска не выехала вслед за нами. А мы уедем, как только стемнеет.

— Что вы предлагаете: пристрелить лошадей или, может быть, кучера?

— Зачем же столько ужасов? Насколько нам известно, кучер не дурак выпить. Угостите его с русской щедростью, и он не сможет держать вожжи.

— Извините, Этьен, но я — офицер, и попойки с ямщиками мне как-то не с руки.

— Дело идет о нашей жизни, сударь, — все так же улыбаясь, сказал Этьен. — В ваших руках возможность сохранить эти жизни. Для общего дела,

сударь, для борьбы за свободу Сербии. Решайтесь, а мне пора исчезать: наш соотечественник любит появляться там, где его меньше всего хотят видеть.

Сказав это, француз тут же шмыгнул в густую тьму конюшни. Через мгновение во тьме еле слышно скрипнула дверь, и Олексин остался один.

Он вернулся в низкий зальчик, где добродушный толстый хозяин уже расставлял на столах глиняные миски с вареной кукурузой и кусками обжаренного мяса. Спутники были на месте, клетчатый не появлялся; кучер его в одиночестве приканчивал ужин и бутылку местного вина. Он безразлично глянул на Олексина и с удовольствием потянулся к кружке.

— Прошу извинить, господа, — сказал поручик, подходя. — Захар, тебе придется отужинать сегодня в другой компании.

Отозвав денщика, Олексин коротко проинструктировал его и снабдил деньгами.

— Чтобы из-за стола не вылез, понял?

— Вот это приказ! — заулыбался Захар. — Не извольте беспокоиться, ваше благородие, исполним в лучшем виде.

Гавриил сел ужинать, а Захар, равнодушно

позевывая, направился к хозяину, от которого вышел с тремя бутылками ракии. Неторопливо, вперевалочку, будто не зная, куда приткнуться, поплутал по залу и решительно уселся за столик кучера, красноречиво стукнув бутылками.

— Решили дать денщику увольнение? — улыбнулся Истомин. — Очень демократично, Олексин. Только не рекомендую такое попустительство в зоне военных действий.

— Пусть гульнет в последний раз.

Ужинали неспешно и долго, развлекаясь разговорами и слабеньким местным вином. Поляк сидел отдельно и не столько слушал их беседу, сколько поглядывал на дальний столик в углу. И иногда — с острым любопытством — на поручика.

Гавриил тоже посматривал на дальний столик: там крепчали голоса, явно не понимавшие друг друга, но звучавшие вполне дружелюбно. Дважды туда направлялся хозяин: раз с огромной сковородой яичницы на сале, второй — с двумя бутылками. Захар знал толк в застолье и приказ исполнял любовно и трепетно.

— Не напьется? — с брезгливой миной спросил штабс-капитан.

— Напьется, — улыбнулся поручик. — Непре-

менно напьется как скотина!

Олексина чрезвычайно забавляла и сама ситуация, и полнокровный восторг Захара. Он знал Захара с детства и не сомневался, что все сойдет благополучно.

— Все же позволю себе удивиться вашим действиям, — непримиримо ворчал Истомин. — Пьянство вообще гнусь великая, и прискорбная к тому же. И мне, признаться, странно наблюдать в офицере такое… ммм… безразличие к чести нации.

— Да перестаньте вы брюзжать, капитан. Моему Захару нужна бочка…

Он замолчал, потому что в зальчике появился клетчатый господин. Задержался в дверях, мгновенно окинул быстрыми глазками помещение, лишь на миг задержавшись на Гаврииле, и решительно направился к дальнему столику. Олексин уже привстал, еще не решив, что делать, но понимая, что клетчатого необходимо задержать, отвлечь, заговорить. Но его опередили.

Путь клетчатого лежал мимо дальнего конца их стола, за спиной поляка. Поляк тоже заметил корреспондента, тоже понял, куда он направляется, но сидел ближе к нему, и действовать ему было удобнее. Не подавая виду, он повернулся спиной,

а когда клетчатый почти поравнялся с ним, чуть отставил локоть. Это было сделано так вовремя, что корреспондент с ходу наткнулся на него.

— О, пардон!

— Сударь! — гневно сказал поляк, отряхивая капли вина. — Ваша неучтивость стоит мне ужина и одежды.

— Тысяча извинений…

— Даже из миллиона извинений мне не сшить новой рубашки, — громко перебил поляк и воинственно подкрутил усы. — Вам придется поискать другой способ, господин невежа.

Поляк напролом шел к глупейшему трактирному скандалу. Истомин болезненно сморщился.

— Вот ярчайший пример нашей славянской распущенности…

Он сделал попытку встать, но Гавриил удержал его:

— Мы русские офицеры, Истомин, нам не к лицу ввязываться в кабацкие ссоры.

— Не понимаю, чего вы требуете от меня, — горячился француз. — Я нанес вам материальный ущерб? Извольте, готов компенсировать.

Он вынул из кармана несколько монет, положил их на край стола, шагнул, но поляк схватил его за полу клетчатого пиджака.

— Сначала вы испачкали мое платье, а теперь пытаетесь замарать мою честь? Я не лакей, сударь, а волонтер.

— Но помилуйте… Господа! — вскричал встревоженный корреспондент, на сей раз узнавая Гавриила. — Господин Олексин, умоляю вас объяснить вашему спутнику…

— Нет уж, позвольте! — гремел поляк, вставая и по-прежнему удерживая клетчатого за лацкан пиджака. — Я готов был свести все к недоразумению, но теперь, когда мне швырнули деньги…

— Господа, стыдно! — болезненно морщась, взывал Истомин. — Господа, прекратите. Что подумают сербы?

Поляк грозно топорщил усы, кричал, но при этом часто взглядывал на Олексина. Гавриил догадался, глянул в дальний угол и увидел пустой, заставленный бутылками стол: Захар уже увел захмелевшего кучера подальше от господского скандала. Поручик улыбнулся и не очень умело подмигнул обидчивому шляхтичу.

— Черт с вами, согласен на мировую, — сразу перестав кричать, сказал поляк. — Ставьте две бутылки клико, и мы квиты. Эй, хозяин, тащи шампанское, Франция угощает доблестных волонтеров!

Пили долго. Поляк шутил, рассказывал анекдоты, провозглашал тосты. Штабс-капитан вскоре ушел, сославшись на недомогание, клетчатый нервничал, с трудом прикрываясь вежливостью. Однажды, не выдержав, воззвал к Олексину:

— Помогите мне уйти: у меня пропал кучер.

— А у меня денщик, — сказал поручик. — В России есть поговорка: рыбак рыбака видит издалека.

— Это замечательная поговорка! — развеселился поляк. — Вы уловили ее смысл, газетная душа?

Наконец он угомонился и отпустил корреспондента. Проводил его насмешливым взглядом, повернулся к Олексину, вдруг посерьезнев.

— Разрешите представиться: Збигнев Отвиновский. Жму вашу руку, поручик, с особым удовольствием: вы не из тех, кто вешал нас на фонарных столбах в шестьдесят третьем году.

— Вас вешали жандармы, — сказал Гавриил. — Следует ли из-за этого ненавидеть целый народ?

— Это сложный вопрос, поручик, — вздохнул Отвиновский. — Очень сложный вопрос, решать который приходится пока путем личных контактов. Судьбе угодно было свести нас в одном лагере, и я предлагаю вам дружбу. Но если она вновь разведет нас — не взыщите, Олексин. А се-

годня мы с вами устроили неплохой спектакль!

Они еще раз крепко пожали друг другу руки и разошлись по номерам. Захара не было. Гавриил постелил, осмотрел подозрительно серые простыни, повздыхал и лег. Голова приятно кружилась, и он с удовольствием перебирал весь сегодняшний вечер, странный и немного таинственный. Где-то копошилась мысль, что поступки его вряд ли были бы одобрены на родине, что поступает он вопреки официальному долгу, но по совести, и это раздвоение между долгом и совестью совсем не терзало его. Он был в чужой стране, считал себя свободным от служебных обязательств и хотел лишь поступать согласно внутренним законам чести. И выполнил сегодня основное требование этого закона: помог друзьям избежать полицейской слежки. И на душе у него было легко. С этим приятным чувством он задремал и проснулся от грохота: Захар, шепотом ругаясь, поднимался с пола.

— Хорош, нечего сказать!

— Сами велели. — Язык у Захара заплетался, но соображения он не терял. — Так что разрешите доложить, приказ исполнил.

— А где кучер?

— В сене, — засмеялся Захар. — Я его так упря-

тал, что ни в жисть не найдут, пока сам не выползет! Вот ведь с виду бычина чистый, а жила у него слаба.

— Не опоил до смерти?

— Меру знаем, Гаврила Иванович, меру знаем и блюдем. — Захар, покачиваясь, стелил себе в углу. — Ежели еще будут такие же приятные ваши распоряжения, то мы рады стараться.

— Ладно, спи, поздно уже. И не храпи, сделай милость.

— Храп, он от Бога, — резонно заметил Захар. — Накажет Господь сном тяжким, так и захрапишь. Ты не спишь, Гаврила Иванович?

Захар обращался запросто очень в редких случаях. И сейчас непохоже было, что говорил совсем уж с пьяных глаз. Олексин помолчал немного и спросил:

— Ну что тебе?

— Мы в конюшне-то втроем пили: Бранко я поднес. Для разговору: он по-нашему маленько балакает, а с этой немчурой…

— Разве кучер не серб?

— Немец, — решительно сказал Захар. — Или кто-то вроде. А Бранко свой брат, правда, пьет мало. Он к вам просится, Бранко-то этот. Надоело, говорит, на извозе: туда целых, обратно кале-

ченых.

— Как — ко мне? Куда — ко мне?

— Так вам же, поди, отряд под начало дадут? Вот он и просится: скажи, говорит, своему офицеру — это вам, значит, — что желаю проводником. Места, мол, хорошо знаю, вырос тут.

— Там видно будет, — сказал Гавриил. — Куда самих направят, тоже неизвестно. Спи.

— Сплю, — вздохнул Захар. — Вот мы и в Европе, значит. Чудно! А парень он, Бранко-то, хороший. Как есть славный парень, Гаврила Иванович. А закуска у них, прямо сказать, хреновая. Ни тебе соленого огурчика, ни тебе квашеной капусты. Может, поэтому и пить тут не умеют, а, Гаврила Иванович?..

С раннего утра клетчатый с заметно опухшей физиономией долго суетился, звал кучера, приставал к Захару.

— Знать не знаю, ведать не ведаю, — твердил Захар, хмурый с похмелья. — Пили вместе, а ночевали поврозь.

Выезжали, когда сыскался кучер. Вылез весь в сене, мыча что-то несуразное. Корреспондент кричал, бил его пухлым кулачком в гулкую спину — кучер ничего не соображал. Бранко весело хохотал, выводя коней из узких ворот.

Ехали, а точнее — брели за телегой уже вместе, поддерживая общий разговор. Правда, Отвиновский обращался только к Гавриилу, но делал это вполне корректно; штабс-капитан все еще расстраивался по поводу вчерашней гульбы и попрекал Олексина:

— Недопустимое легкомыслие, поручик, недопустимое!

Клетчатый догнал их только в обед, когда они уже сидели за столом. Подошел, сухо поклонился, сказал Гавриилу:

— Я ценю ваши шутки, но в известных пределах. Ваш денщик вчера обокрал моего кучера. Его показания у меня: они будут представлены лично генералу Черняеву с соответствующими разъяснениями.

— Я не верю ни единому слову вашего кучера, — сказал Олексин. — А своего денщика знаю ровно столько, сколько живу на свете, и ручаюсь за него своей честью.

— Ваш денщик будет предан военно-полевому суду, — отрезал корреспондент и, не отобедав, спешно выехал вперед.

— Я вас предупреждал! — шипел штабс-капитан. — Иностранные корреспонденты — большая сила при штабе.

— Чего клетчатый-то сказал? — допытывался Захар.

Гавриил не стал ничего объяснять, но настроение было испорчено.

— Не расстраивайтесь, — утешал Отвиновский. — Кто поверит в эту дикую чушь?

На вечернем постое они вновь встретились с клетчатым и его кучером: оба мелькнули в трактире, заказывая ужин в номер. Перекусив, быстро разошлись, а на рассвете Гавриил был разбужен испуганным воплем хозяина. Накинув сюртук, торопливо сбежал вниз, в трактир, где уже звенели встревоженные голоса.

Корреспондент лежал поперек стола лицом вниз. Под левой лопаткой торчал складной нож, по клетчатому американскому пиджаку расползалось большое темное пятно.

— Убийство! — кричал хозяин. — Угнали коней и коляску!

Ломая руки, он бестолково метался по трактиру, то выбегая во двор, где гомонились кучера, то возвращаясь.

— Убийство! Надо сообщить полиции!

В трактире были поляк и Захар, штабс-капитан еще не спускался. Они негромко переговаривались, Гавриил их не слушал.

Он смотрел на нож: итальянец красноречиво играл им при первой встрече еще в Будапеште.

Хозяин снова выбежал во двор. Олексин огляделся и, еще ничего не обдумав, вырвал нож из тяжело вздрогнувшего тела, вытер его, сложил и сунул в карман.

— Ножа не было, — негромко по-русски сказал он. — Никакого ножа не было. Убийца унес нож с собой, понятно?

И вышел из трактира.

Глава пятая

1

Почтенная Софья Гавриловна была женщиной не только рассудительной, но и упрямой, возмещая последним качеством природную мягкость и покладистость. Еще покойный муж, для которого ничего не существовало, кроме пушек, предпочитал не связываться с ней, когда дело доходило до решений, однажды ею принятых; впрочем, кардинальные решения принимались Софьей Гавриловной не часто, а во всех прочих случаях она вовремя сдавала позиции.

Однако решение вмешаться в жизнь полусирот — племянников и племянниц — было для Софьи Гавриловны не просто решением: это была ее миссия, ее жизненное предназначение, долг, выше которого уже не существовало ничего. Достаточно хорошо зная брата, она не тешила себя надеждой на победу, но уповала если не на собственное красноречие, то на обстоятельства, чувство долга и остатки разума закосневшего в эгоистическом одиночестве упрямого и своевольного старика. Проявив не свойственную ни ее

характеру, ни возрасту, ни привычкам распорядительность, Софья Гавриловна тут же выехала в Москву для очень неприятного — она не сомневалась, — но, увы, необходимого разговора.

— Барин никого не принимает, — глупо улыбаясь, сказал мордатый молодой лакей.

Софья Гавриловна молча ткнула его зонтиком в живот и, не глядя сбросив накидку, пошла прямехонько в стариковский кабинет.

— Не принимает, сказано! — в отчаянии закричал мордатый, не зная, поднимать ли накидку или хватать старую барыню за платье. — Сказано ведь, сказано! Куда вы?

Он все же догнал ее и попытался не пустить в следующие двери, но почтенная дама еще раз прибегла к помощи опасно острого зонтика и, сломив сопротивление, победно прошествовала дальше.

— Дядя Игнат! — в отчаянии завопил лакей.

Из боковых дверей сановито выдвинулся Игнат, второй человек дома, хранитель господских тайн и особо доверенное лицо. Важно повернул голову:

— Чего орешь, бестолочь? — И вдруг изогнулся, заулыбался, заспешил. — Софья Гавриловна? Как же так-с — без депеши, без оповещения? И не

встретил я вас как должно…

— Здравствуй, Игнат, — сказала тетушка. — А этого, — она ткнула зонтиком, — этого убрать с глаз моих навсегда. Если встречу…

— Да не встретите, не встретите, — заверил Игнат. — Ступай вон, Петр, в людскую ступай и не вылазь! Пожалуйте, Софья Гавриловна, пожалуйте! Уж как барин-то обрадуется, как обрадуется!

Восприняв победу над лакеем как знамение, Софья Гавриловна вступила в кабинет в настроении радужном и боевом. Брат и впрямь очень обрадовался ей, по-стариковски нелепо засуетился, не смог скрыть радости и насупился вдруг, еще до начала разговора. А тетушка, увлекшись миссией и предстоящей победой, вовремя не заметила недовольного шевеления седых бровей и все говорила и говорила, упиваясь собственными неотразимыми аргументами.

— Фельдфебеля в Вольтеры желаете? — перебил Иван Гаврилович голосом, не обещавшим ничего доброго. — Это можно-с. Да-с. Только век, сударыня, век кончается, не изволили заметить? А смена века есть смена знамен. Знамен, сударыня, знамен! Дворянство уходит, уходит! Торговать начало, барышом заинтересовалось, а вы все как в лесу дремучем? Нет-с, нет-с! Меняйте гуверне-

ров на философов в сюртучках-с. Меняйте — или сами придут, сами и уведут вашу паству. А я — ни в пастыри, ни в фельдфебели, ни в гувернеры.

Он паясничал, испугавшись ее слов, а особо тех выводов, что из них следовали. Он еще не нашел, чем отгородиться от опасности, и защищался, привычно ерничая.

— Иван, твой тон…

— За тон пардон, пардон за тон.

— Опять кривляешься, а зачем? Публики нет, даже собеседника нет: есть сестра. Не надо тратить на меня такие бесценные афоризмы: они нелегко тебе достались. Давай поговорим как два старых человека, на которых судьба возложила святые обязанности. Ты не отрицаешь обязанностей, надеюсь?

— Нет, — угрюмо буркнул старик.

— Прекрасно. А как ты их понимаешь? Неужели только как безотказное содержание? Не верю, Иван, не смею верить! Ты, с таким пылом обличающий дворянство за его интерес к барышам — кстати, а что делать, друг мой, что делать? Крепостных нет, оброку нет, деньги проедаются. Проедаются!.. Извини, отвлеклась. О чем бишь я?

Иван Гаврилович молчал, болезненно морщась. Он не торопился подсказать сестре утерянную

нить разговора, он точно вел беседу с самим собой, упрямо не соглашаясь с какой-то мыслью и понимая в то же время, что не согласиться с ней нельзя, что мысль верная, хоть и неприятная для него.

— Я неуклюжий человек, Софи, — тихо сказал он, покачав головой. — Я прожил неуклюжую, какую-то с натугой сочиненную жизнь. И я очень боюсь, что кто-то из моих детей повторит ее. Вот чего я боюсь, Софи. Я дурной пример, а ведь — пример. Пример! Аня… — Он чуть всхлипнул, но выпрямился и твердо повторил: — Аня воспитала их в слепом почтении перед никудышным отцом, а я далек, невозможно, немыслимо далек от них!

— Они прекрасные, послушные дети, Иван. Ты найдешь их вновь, да, да, я верю, я твердо верю, что найдешь и обретешь покой и счастье.

Софья Гавриловна была свято убеждена, что юные Олексины послушны. Да они и сами были убеждены в этом, пройдя полный курс мягкого домашнего воспитания, где все дозволялось, а если и не дозволялось, то пряталось, убиралось с глаз, дабы не соблазняло и не смущало. И росли они в послушании безграничном, ибо границы его были вынесены из них самих, существуя отдельно, сами по себе, зримо, а потому и понятно.

Никто не ставил им препон внутренних, никто не замыкал их души в тесные рамки правил и догм, никто не испытывал их послушания на примерах и опытах. Они росли, как растут крестьянские дети, с той лишь разницей, что их желания исполнялись. Росли свободными, ценили свою свободу и в границах этой свободы были идеально послушны, оставаясь всегда самими собой, чуждые какого бы то ни было притворства и желания пойти на компромисс.

Василий не чувствовал себя непослушным, уехав в Америку устраивать эксперимент с коммуной. Даже попав под надзор III Отделения, он не нарушал ничего, что входило в рамки домашнего кодекса поведения. И оставивший армию Гавриил тоже имел все основания считать себя послушным. И сгинувший невесть куда Федор, и Варя, и Владимир, как раз в это время писавший рапорт с нижайшей просьбой направить его куда-либо:

«Я мог бы применить на деле свои знания и исполнить долг чести и верности отечеству нашему. Нижайше прошу о зачислении меня в какой-либо из кавказских или туркестанских полков, принимающих непосредственное участие в боевых действиях».

Он не просто мечтал поскорее стать взрослым. Он мечтал стать неотразимо взрослым, покрытым шрамами и орденами, поседевшим и грустно-усталым. Не ради карьеры, не ради славы, не ради благосклонности государя: ради горького права насладиться признанием некой замужней женщины, считавшей его мальчишкой. Насладиться ее мольбой, ее слезами, ее поздним раскаянием — и отвергнуть. Отвергнуть мучительно и гордо.

А послушание… Что ж, он служил послушно, был на отличном счету, и именно это служебное слепое послушание и помогло ему, не закончив курса, заручиться поддержкой начальства и подать рапорт. Через неделю он получил ответ. Юнкеру Владимиру Олексину предоставлялся годичный отпуск с назначением в Ставропольский полк. И юнкер был на седьмом небе…

И даже Маша, любимица Маша, примерная Маша, сама передвигала рамки собственного послушания в зависимости от обстоятельств.

Прислуге было приказано никого не пускать в дом до приезда Софьи Гавриловны или хотя бы Вари. А Маше — и не принимать, и не отлучаться, а если случится ехать к портнихе или в магазин, то вместе с горничной: Софья Гавриловна умела

воспитывать, только ставя барьеры.

Маша с легкостью исполняла все предписания, не ощущая никаких барьеров, поскольку не было нужды преодолевать их. Портнихи ее заботили мало, а за нотами было рукой подать: на Кирочной, в доме Благородного собрания. Она любила музыку, интересовалась новинками и частенько наведывалась на Кирочную, аккуратно, как и приказано было, прихватывая с собою Дуняшу. В магазинчике ее хорошо знали, и хозяин Семен Алексеевич Крестов спешил навстречу:

— Здравствуйте, Мария Ивановна, добро пожаловать. Есть, есть свеженькое: специально для вас переписчикам заказывал. Изволите видеть: Моцарт, Россини, господина Чайковского романсы.

Маша перебирала за стойкой ноты, когда позади слабо звякнул дверной колокольчик. Хозяин вопросительно подался вперед, но так ничего сказать и не успел: вошедший осторожно кашлянул.

— Вот я и нашел вас, Мария Ивановна.

Маша вспыхнула, сразу узнав этот голос. Не оглядываясь, еще ниже пригнулась к нотам, а Семен Алексеевич уже забегал лукавыми глазками, да и Дуняша, сидевшая на стуле у дверей, встала,

решив, что пришла ее пора действовать. Но Беневоленского не смутили ни хозяйские взгляды, ни грозный облик горничной: он просто не замечал их. Подошел со шляпою в руке, остановился за плечом. Маша всем телом чувствовала, где он остановился.

— Ваши церберы в дом не пускают, но я правильно рассчитал, что за нотами вы непременно придете. Да оглянитесь же, право, оглянитесь, я вас не укушу.

Обратно они шли вместе, отправив вперед Дуняшу с нотами. Догадливая Дуняша уже перестала изображать неподкупную дуэнью, шепнув Машеньке на прощанье:

— Я-то ничего, барышня, я-то с понятием. Но коли Агафья вас увидит, ой, разговоров будет! Так что ступайте-ка лучше на Блонье, а как наговоритесь, так я и приду.

Днем в сквере почти никого не было, только дети ковырялись в песке под присмотром нянек. Маша и Аверьян Леонидович прошли к закрытому павильону и сели на скамью.

Несмотря на уменье молчать и любовь к молчанию, Беневоленский говорил и говорил, пока они шли. Говорил что-то очень непоследовательное и необязательное, и Маша понимала, что говорит

он не то, что хочет сказать, и не слушала, а ждала. Ждала чего-то очень важного, самого главного, самого заветного; она и села-то вся в ожидании, вся готовая — нет, не слушать! — готовая всем сердцем, всей душой воспринять то, ради чего искал ее Беневоленский, ради чего так глупо и мучительно она краснела в нотном магазине, ради чего шла сюда, преступая воздвигнутый тетушкой барьер послушания.

А он замолчал. Как сел рядом, так и замолчал, совершенно незнакомым ей и несвойственным ему нервным жестом растирая руки.

— Мария Ивановна, Машенька, — начал он, но начал так робко, что сердце ее защемило вдруг от жалости к нему. — Я искал вас и, по счастью, нашел быстро, но, верьте мне, я бы прошел всю Россию, чтобы найти вас. Я не шучу, не смеюсь, я знаю, что слова мои избиты и затерты, но они искренни, Машенька, они идут от сердца, а сердце это бьется для вас. Знайте же это, знайте и помните: есть сердце, которое болит и радуется за вас. Я пришел, чтобы сказать вам об этом, сказать и уйти. Если потребуете, навсегда.

— Зачем же навсегда? — тихо-тихо спросила Маша, строго глядя перед собой и боясь шевельнуться.

— Машенька! — Он нашел ее руку, она не давала ее, прятала, но он все же нашел и прижал к губам. — Машенька, я люблю вас. Нет, нет, ничего не говорите! Я знаю, вы еще молоды, вам надо кончить ученье. А я буду ждать. Слышите, Машенька, я буду ждать вас всю жизнь!

— Молчите, — шепнула она, чуть сжав его руку. — Молчите же, а то я зареву сейчас.

Аверьян Леонидович поспешно закивал и замер, улыбаясь и глядя на нее счастливыми влажными глазами. Машенька чувствовала его взгляд и слышала его молчание, и ей было так хорошо, как не было еще никогда в жизни. То, что надеялась она услышать, было сказано, три заветных слова прозвучали, но не заглохли, не растаяли, не исчезли: отныне они хранились в самом надежном месте — в ее душе.

— Мы будем работать, — сказала она. — Вы слышите? Мы будем работать, мы будем приносить пользу, мы сделаем счастливыми множество людей, ведь правда?

— Правда, Машенька. Святая правда!

— Я все же поступлю на курсы. Ну зачем мне этот противный пансион? Там учат манерам, а не труду на благо народа. А я хочу труда. Я так хочу работать и… — она запнулась, не зная, следует ли

ей признаваться. — И страдать.

— Зачем же страдать, Машенька? Мы будем…

— Страдать во имя какой-нибудь идеи — это прекрасно!

— Да-да, это прекрасно, — тотчас же согласился он. — Я тоже закончу в университете и стану врачом. И мы уедем с вами далеко-далеко, где люди еще не знают, что такое лекарства, врачи, наука.

— Вы будете лечить их, а я учить детей! — с восторгом подхватила Маша. — Учить детей грамоте — это благородно, правда?

По дальней аллее к ним неторопливо шла Дуняша.

— Я знаю, что у меня послушные и, главное, великодушные дети, — говорил за чаем Иван Гаврилович. — Да, да, великодушные, Софи! Великодушие, прекрасное и гордое русское великодушие они унаследовали от Ани. Не от меня, нет! Я мелочен, я эгоистичен, я обидчив и желчен. Да-да, я знаю, кто я есть. Знаю, знаю! Таким монстрам место в берлоге. Да-с! В норе, сестра, в норе-с!

— Иван, ты не прав.

— Нет-с, увольте! Не ставьте опытов на живых покойниках, не ставьте! Каждому свое, сударыня, каждому свое!

Софья Гавриловна больше не спорила. Она уже поняла, что старик не просто не хочет, а боится долгого и непосредственного общения с собственными детьми, боится ответственности, забот и хлопот, боится изменить привычный жизненный уклад. Убеждать его было просто бессмысленно и бестактно, и старая дама не без горького кокетства приняла твердое решение изменить свой собственный жизненный уклад, свою собственную налаженную жизнь и заменить в своем лице и мать и отца вдруг осиротевшим племянникам. Даже самыми послушными детьми необходимо руководить, в этом Софья Гавриловна была твердо убеждена.

2

Теперь скрипела не только их повозка: чем ближе подъезжали они к театру военных действий, тем все чаще встречались беженцы, потерянно бредущие за парой медлительных волов, раненые, на фурах и пешком, стада, которые угоняли подальше от прожорливых войск; одинокие путники. Дорога ожила, но оживление это было оживлением кладбища: горе, слезы и смерть незримо и безгласно тащились им навстречу.

Теперь Бранко уже не вертелся на передке,

тыча кнутом в посевы, деревья и дома, и не пел бесконечных песен. Сидел молча, нахохлившись. Изредка оглядываясь на бредущих позади волонтеров, горестно вздыхал:

— Турци!

Теперь шли втроем: штабс-капитан задержался на последнем ночлеге, решив дождаться властей. Убийство он воспринял весьма серьезно и озабоченно: долго расспрашивал хозяина, кучеров, ходил, смотрел, что-то вымерял. Отвиновский понаблюдал за ним, а когда тронулись в путь, сказал Олексину:

— Не говорите капитану о ноже. Он не в меру любопытен.

— Почему вы так дурно думаете о всех русских? — вспыхнул Гавриил. — Ваша подозрительность оскорбительна, милостивый государь.

— Поступайте как знаете. — Поляк пожал плечами. — Это совет, Олексин. Всего-навсего. Но по мне уж коли что делать, так делать до конца.

Повозка их внезапно остановилась, они чуть не наткнулись на задок. Бранко, бросив вожжи, спрыгнул на землю:

— Милица! Милица, сестра!

Пара тощих волов лениво двигалась навстречу. На возу громоздились узлы, поломанная мебель,

корзинка с гусыней, две неумело, кое-как разделанные свиные туши и две черненькие детские головки, торчащие, как подсолнухи. Сбоку шла женщина в черном изорванном платье, с распущенными нечесаными волосами.

— Милица!

Увидев Бранко, женщина бросила хворостину, которой подгоняла волов, отшатнулась и закрыла лицо руками. Бранко обнимал ее, пытался оторвать эти руки, но женщина упорно сопротивлялась, громко крича:

— Куку мене, куку! Куку мене, Бранко!

Враз заплакали дети, загоготала гусыня, и только волы равнодушно вздыхали, поводя проваленными боками. А женщина кричала, отбиваясь от Бранко, но он все же оторвал ее руки и теперь целовал мокрое от слез лицо.

— Видать, сеструху встретил, — вздохнул Захар. — Ах ты горе-то какое!

Порылся в мешке, что лежал на их повозке, достал три куска сахара, подумал, забрал весь кулек и пошел к детям. Говорил им что-то ласковое, гладил черные взлохмаченные волосы, совал сахар.

Бранко немного успокоил женщину, отвел на обочину, усадил рядом. Судорожно всхлипывая, она что-то быстро говорила ему, старательно

отворачивая избитое, в затекших синяках лицо.

— Война, — вздохнул Отвиновский. — Не такой ее представляли, поручик?

— А вы какой представляли?

— А я не представлял, я знал, что она такая, — сквозь зубы сказал поляк.

Оставив женщину на обочине, Бранко поспешно вернулся к повозке. Рылся в передке, вытаскивая съестное, судорожно шарил по карманам.

— Сестра? — спросил Отвиновский.

— Брата жена, — сказал Бранко. — Нету брата, нету больше. Налетели, грабить начали. Он за жену вступился — повесили. А ее опозорили. Говорит, если бы не дети, руки бы на себя наложила. На глазах у детей насиловали, пока не натешились. Дом подожгли, скотину порезали. Куку мене, господине, куку мене!..

Рыдая, он бился головой о телегу. Отвиновский обнял его за плечи:

— Успокойся, друг. Тут ничем не поможешь.

Ссадив детей рядком на обочину, Захар перекладывал вещи. Поладнее, по-мужски. Перевязывал веревками, крепил, подтягивал. Бранко ушел к Милице. Совал ей еду, деньги; она молча отводила его руку. Он рассердился, накричал. Тогда

взяла, низко, до земли поклонилась.

— У вас есть деньги, Олексин?

Поляк уже вывернул карманы и теперь смотрел на Гавриила. Смотрел как-то с недоверием, почти зло. Поручик достал все, что у него было, отдал Отвиновскому. Поляк прошел к обочине, чуть не насильно сунул женщине их волонтерское жалованье. Потом вернулся.

— Турки прорвались, что ли? — спросил Гавриил.

— То не турки, то башибузуки. Иррегулярный сброд, сволочь всякая.

Через час расстались. Женщина по-прежнему шла рядом с волами, шагала босыми, до крови сбитыми ногами по пыли, так ни разу и не оглянувшись. Скрип медленно замирал вдали, а навстречу тянулся новый обоз, шли другие волы, другие женщины, другие дети. И только тот же скрип, словно стон, висел над пыльными сербскими дорогами.

К полудню их нагнал штабс-капитан. Прискакал на сытой паре с казенным — в форме — кучером.

— Спасибо властям, а то бы потерялись!

Пристроился позади повозки, пылил наравне со всеми. Когда поляк отошел, спросил негромко:

— Там все толковали о каком-то ноже. Вы не видели ножа, Олексин?

— Нет, — помедлив, сказал Гавриил; ему нелегко было солгать: нож лежал в кармане.

— Жаль, — вздохнул Истомин. — Это затруднит действия полиции.

— Разве у них есть полиция?

— Полиция всегда есть, — важно сказал Истомин. — Раз есть государство, есть и полиция. Да, весьма жаль, что вы ничего не заметили, — я говорю о ноже. Это ведь не простое убийство, Олексин, не простое! Это политическое убийство.

— Политическое?

— Убит агент французской тайной полиции, — понизив голос, сказал штабс-капитан. — Я знал, что он идет по хорошему следу, знал! И — такая неосторожность!

— Неосторожность?

— Дичь была опасной, поручик. Вы, конечно, слыхали о Парижской коммуне? Остатки инсургентов разбрелись по Европе и, естественно, проникли сюда. Учтите это, поручик.

— Мне-то зачем учитывать?

— Вы мне симпатичны, Олексин, поэтому учтите. На будущее. Глупость только тогда является

глупостью, когда совершается вторично.

— Я вас не понимаю, Истомин.

— Понимаете, поручик, не хитрите. Хитрость не ваша стихия.

Через сутки близость фронта стала еще заметнее. Беженцы почти исчезли, зато появилось множество сербских солдат — в одиночку и командами. У мостов и на перекрестках стояли часовые, в кустарниках виднелись палатки, всадники в форме то и дело проскакивали мимо с видом важным и озабоченным.

Переехали через охраняемый мост, и в зелени садов открылся Делиград. Над большим домом виднелся флаг Красного Креста.

— Вот и добрались, — сказал штабс-капитан. — Переночуете, а завтра представитесь начальству.

— Самому Черняеву? — спросил Гавриил.

— За Черняева не ручаюсь: и он и его начальник штаба полковник Комаров очень заняты. А Монтеверде примет вас непременно. Сворачивай к штабу, Бранко.

Они проехали по мощеной улице среди военного и полувоенного люда, арб, фургонов и свернули к белому одноэтажному зданию, окруженному забором. У ворот стояли часовые-сербы, но Бранко крикнул им, и они тут же распахнули створки.

В большом дворе горели костры, на которых сербская охрана готовила ужин: чувствовался пряный запах паприкаша. У забора тянулись ряды палаток и шалашей, у коновязи фыркали расседланные лошади.

На веранде, окружавшей дом, стояли несколько молодых офицеров. Они без особого интереса глянули на въехавшую повозку, один из них, с Таковским крестом на груди, крикнул:

— Это вы, Истомин? Ну, как ваша печень?

— У меня не печень, а желудок, — ворчливо поправил штабс-капитан. — Надеюсь, мой шатер не занят? — не дожидаясь ответа, пояснил: — Это Мусин-Пушкин, ординарец Черняева. Олексин, вы переночуете у меня, а вас, господа, устроит Бранко. Завтра к семи утра прошу быть здесь.

Бранко поехал дальше, огибая дом; Отвиновский и Захар прошли следом, а Гавриил остался. Штабс-капитан кивнул, и они вместе подошли к офицерам, курившим на веранде.

— Господа, рекомендую нового товарища, — сказал Истомин. — Поручик Олексин.

Офицеры церемонно откланялись, Мусин-Пушкин — совсем еще юный, с легкомысленно-блудливыми глазами — спросил скорее из вежливости, чем из любопытства:

— Где желаете послужить угнетенному славянству, поручик? При штабе, при интендантстве, а может быть, при Красном Кресте? Со своей стороны рекомендую Красный Крест: есть очаровательные сестрички. С ними не соскучитесь, а сербки на меня нагоняют тоску. Нет, право же, господа, они говорят о несчастной родине даже в объятьях!

— Возможно, ваши объятья недостаточно крепки? — насмешливо спросил офицер с цыганской, черной, вольной бородой.

— Мысль о крепости объятий вас посещает после контузии? — осведомился Мусин-Пушкин. — Ничего, у некоторых, говорят, это проходит.

— Фи, Серж! — недовольно сказал штабс-капитан. — Это недозволенный прием.

— Беру назад, — тотчас же согласился ординарец. — Итак, Олексин, куда же прикажете вас пристроить?

— Благодарю, не утруждайтесь, — сухо сказал Гавриил. — Я пристроюсь в строй.

— Строй! — неприятно рассмеялся Мусин-Пушкин. — Это ведь не плац-парад на Марсовом поле, поручик.

— Представьте, я догадался об этом еще в Москве.

— Полагаю, что знакомство состоялось, — сказал Истомин. — Проводи меня к Черняеву, Серж.

— Не знаю, примет ли он…

— Не важничай, я знаю тебе цену. Я ненадолго оставлю вас, поручик.

Штабс-капитан и ординарец прошли в дом. Следом потянулись еще два офицера, и с Олексиным остался чернобородый.

— Кажется, здесь не очень-то радуются соотечественникам, — сказал Гавриил.

— Вы не узнаете меня, Олексин? Мы вместе учились в Корпусе. Я Совримович.

— Боже мой, Совримович! — Гавриил радостно сжал протянутую руку. — Во всем виновата ваша борода.

— Во всем виновата контузия: мне попортило лицо. Рад встрече, очень рад. Ужинали? Идемте в кафану: там неплохое вино.

— А Истомин?

— Истомин найдет вас даже тогда, когда вы этого не захотите. — Они шли через двор к воротам. — Кстати, вы давно знакомы с ним?

— Немного по Москве и три дня здесь: вместе ехали из Белграда. Он лечил там желудок.

— Его желудок здоровее вашего, — вздохнул Совримович. — Он пытается лечить не свои яз-

вы, Олексин. Впрочем, здесь все интересуются чужими болячками и тайком прописывают друг другу рецепты. Иногда сильнодействующие, как, например, Измайлову.

— Должен сказать, что он произвел на меня странное впечатление.

Они миновали ворота, пересекли дорогу и вошли в наспех сколоченное легкое помещение, где горел открытый очаг и стояло несколько столов. Сели в дальнем углу, молчаливый хозяин быстро подал глиняные кружки, кувшин с вином и пресный кукурузный хлеб.

— Измайлов стоял у истоков волонтерского движения, — сказал Совримович, наливая вино. — А после первых неудач поспешно обвинен в некомпетентности и практически изгнан. Вы прибыли с рекомендательными письмами?

— Нет.

— С искренними приветами от великих князей, генерал-адъютантов или иных сильных мира сего?

— Господь с вами, Совримович, я сам по себе.

— Тогда ни Черняев, ни Комаров, ни даже Монтеверде вас не примут, Олексин. Вы получите назначение через меня или через того же болтуна Мусина и отбудете с глаз долой, освобождая место

тем, кто придет не с пустыми руками, — усмехнулся Совримович. — Это грустно, дружище, очень грустно, но это так. Не подумайте, что я изменил свое отношение к Черняеву: это было бы отступничеством. Я по-прежнему считаю его личностью выдающейся, прекрасным организатором и отважным вождем. Но… но он настолько растерялся после турецкого афронта, что начал обеспечивать собственное почетное отступление прямехонько в Санкт-Петербурге. И безмерно возлюбил молодых людей, имеющих мощную руку в милом отечестве. Вся столичная шушера ринулась в его штаб за крестами и карьерой, и дельные работники были вынуждены потесниться, дабы очистить им безопасные местечки.

— А Истомин?

— О действительной службе Истомина можно только догадываться, Олексин. Он регулярно уезжает в Белград, жалуясь на желудок, но лечится не у врачей, а у полугласного русского представителя. О чем он с ним беседует, я не знаю, но советую не пускаться в откровенности.

— Я приехал сражаться, а не разговаривать.

— Эту возможность вам предоставят с радостью. Сербы — неплохие солдаты, дерутся отважно и стойко, но офицеров катастрофически на хватает.

А может быть, и хватает, только штаб не подозревает об этом.

— Как — не подозревает? Разве не существует учета?

— Учет существует, управления не существует, Олексин. Практически штаб выпустил из рук всю кампанию, и партизанская система постепенно вытесняет планируемые операции. Где кавалерийский отряд Медведовского? Где-то ведет бои на свой страх и риск. Где корпус Хорватовича? Связь перерезана турками, и мы даже не знаем, дошла ли до него недавно прибывшая русская батарея или захвачена противником.

Олексин молчал, подавленный новостями, что свалились на него вдруг, посыпавшись, как из дырявого мешка. Странное поведение полковника Измайлова он тогда приписал личным обидам бывшего начальника штаба, но Совримович говорил о том же, причем говорил не просто с болью, но и с чувством горького разочарования, которое уже ощущал, но еще боялся в него поверить, принять и признать как реальность.

— Вы мне не верите, — усмехнулся Совримович, точно прочтя его мысли. — Я понимаю вас, Олексин. Боже правый, как я рвался сюда! Какие трубы пели в душе моей в тот день, когда я впер-

вые вступил на эту землю! Это самонадеянно, я понимаю, самонадеянно и нескромно, но я ощущал себя спасителем несчастных братьев моих по крови и вере. Я с радостью готов был отдать свою жизнь за свободу и счастье всех людей, я…

— Теперь уж не отдадите? — неприязненно спросил Гавриил. — Поумнели или… постарели, может быть?

Совримович грустно улыбнулся, покивал головой. Налил вина, отхлебнул.

— Здесь все странно, Олексин. Здесь как в жизни, понимаете? То, что мы знали, — это как в книгах, а здесь — как на самом деле.

— И что же на самом деле?

— Пожалуйста, не перебивайте меня. Я и сам еще ничего не понял, я просто увидел, сопоставил, почувствовал, но выводов у меня нет. Восстание готовилось скверно, точнее, вообще не готовилось, но пока мы наступали, сербскому мужику было что приобретать, и он шел вперед. А когда турки, подтянув армию, начали нас бить, тому же мужику нашлось, что терять. У него есть что терять, и он призадумался. Он интуитивно, без всякой логики понял, что восстание обречено, что не только весь мир, но даже Россия не очень-то спешит к нему на выручку, вынужден-

ная из политических соображений отделываться волонтерским энтузиазмом. И воевать ему расхотелось, Олексин, расхотелось. Он внутренне уже стремится к миру, он уже не хочет войны, и турки сразу это поняли. Вы не поверите, но они вдруг стали относиться к сербам вполне добродушно, вплоть до того, что распускают пленных по домам. Конечно, я говорю о регулярной армии: башибузуки грабят, убивают и насилуют, пользуясь беззаконием, но это бандиты и мародеры, и не о них речь. А политика турок очень продуманна, и это понятно: в тылу у них Болгария, пороховой погреб, уже взорвавшийся в апреле. И создается впечатление, что турки готовы уступить здесь, готовы поиграть в демократию, лишь бы только сохранить за собою Болгарию: слишком уж близко она от Константинополя…

— Так и думал, что вы здесь, — устало сказал Истомин, подходя. — Что, Совримович, как всегда, пугаете неофитов? Не скучно ли вам при штабе? О, простите, у вас же контузия, я запамятовал. Я за вами, поручик. Завтра вас примет Монтеверде, а сегодня, пожалуй, пора и соснуть. Не возражаете, Совримович?

Совримович молча поклонился.

3

— Одежонка-от худа у тебя, барин. Худа-а. Задожжит-от, студено станет, так и помрешь. Ай, худа одежонка, худа-а…

Маленький, шустрый, розовый от седины старичок привычно раздувал костер, прилаживал котелок, аккуратно подгребал угли, отмеривал соль, осторожно с ладони сыпал пшено в кипящую воду. Он непрерывно двигался, но не напрасно, не ради движения, а что-то делая при этом: готовя пищу, приглядывая за костром, подбирая сучья или штопая одежду. И беспрерывно говорил ровным, тихим старческим тенорком.

— Вот ты, барин, от дома-от ушел, а зачем-почему — молчишь-от. А все свой корень имеет. Я, к примеру, чего ушел-от? А того я ушел, что смерть почуял. Да, да! Помирать да не оглядевшись — какая корысть? Не-ет, ты оглядись сперва-от: на Страшном суде спросят, поди. Спросят, а? Мир-от Божий видал, спросят? Или так и прожил, в землю уставясь? Да-а. Спросят-от, спросят! Вот я и ушел. От дочки ушел, от сына ушел, от внуков ушел: оглядываюсь. Шестой-от годок все оглядываюсь и оглядываюсь: хорош Божий мир, барин! Ой хорош, ай пригож, ай помирать-от обидно,

как хорош!

Федор лежал поодаль, смотрел на огонь, на закопченный котелок, в котором булькала похлебка, на крупные августовские звезды, что высыпали на еще светлеющее у горизонта небо. Слушал плавный говорок деда, звон кузнечиков в порыжевшей траве, мерный колокол далекого села и ни о чем не думал. Это было удивительное состояние покойного бездумья, когда все видишь и все слышишь так, как есть на самом деле, когда окружающий мир точно вливается в душу — и душа распахивается навстречу, принимая мир таким, каков он есть издревле, и сама сливается с ним. И уже нет ни тревог, ни забот, а есть лишь тихая, умиротворенная грусть созерцания. От армяка, которым накрыл его дед, пахло пылью дорог, дымом и чуть, еле уловимо, — избяной прелью, и это было тоже частью мира, жизнью, прошлым и будущим одновременно, как представлял себе сейчас мир, жизнь и будущее дворянский сын Федор Олексин.

Ему казалось, что он уже давным-давно бродит по бесконечным дорогам, ночует у костров, ест, что придется, пьет, что зачерпнет, и слушает, слыша все и ни во что не вслушиваясь. Вначале он пристал к мужикам-погорельцам, но они

пропивали вечером то, что выклянчивали за день, горланили, дрались, скотски ругались, и он ушел.

Бродил один, голодал, потому что не умел и не хотел просить, мерз ночами и почти не спал, пугаясь темноты и одиночества, а потом встретил шустрого румяного старичка Митяича.

— В Киев-от пойдем, барин? Святым угодникам печерским поклонимся. Сильные угодники в Киеве, Богородица любит их.

Старик собирал в деревнях подаяние, чем они и кормились. Федору нравилось, как он собирал: он не клянчил, как погорельцы, а — рассказывал. Про угодников, которых сама Богородица потчует чаем, про чудеса, про красоту земли, про птиц и зверей, про людей, которых встречал, и про истории с ними, которые складно выдумывал. Начинал он свои разговоры еще на улице, но под окнами никогда не брал, а лишь благодарил душевно и ждал, когда позовут в избу. А там ел, что давали, и брал про запас, щедро расплачиваясь бесконечными разговорами. А города обходил, да и в деревнях богатых изб сторонился.

— Мошна-от — забор меж людьми, барин. Туже мошна — выше забор. И нет на всем Божьем свете щедрее бедного человека.

Федор жил нахлебником и тяготился этим: пожалуй, это было единственное, что омрачало его теперешнюю жизнь. Попробовал есть поменьше, отказываться, но долго не смог: он был очень молод и не готов к такому искусу. Тогда сказал, что хочет сам добывать пропитание, что готов работать, или рассказывать, или…

— От ума говоришь, барин, от ума, не от сердца-от, — улыбнулся Митяич в реденькую — волосики на счет — бородку. — Значит, гордыня в тебе покуда живет, гордыня. Так ведь гордыню-от твою и услышат, коль рассказывать почнешь. Гордыню, а не душу твою. А за гордыню хлебушко не дают. Так-от, барин, так-от. А что меня объешь, не тужи. Не объешь-от, сам-от понимаешь. Хлебушком не поделиться — самый тяжелый грех, барин. За него на том свете в кипящий мед окунают: пей, жадная душа, сколько вместишь.

Встречались попутчики: богомольцы, страждущие узреть монастырского старца или приложиться к чудотворной; странники, гонимые то ли голодом, то ли страстью; бродяги без роду без племени, идущие куда глаза глядят. Дед Митяич любил попутчиков, но бродячий люд льнул к нахоженным дорогам, к почтовым трактам, а старик предпочитал проселки, а то и просто

тропочки, по которым брел от деревни к деревне, кружа и плутая, но чутьем выдерживая верное направление.

— Вот и напитались, вот и славно. — Митяич неторопливо, с толком перекрестился. — Сыт ли, барин?

— Сыт. Спасибо, дедушка.

— А не мне, не мне благодарствие. Царю небесному благодарствие, царице небесной — заступнице нашей, да людям добрым. Так-от, барин, так-от. Бог в душе, так и добро в душе, а коль Бог в церкви, так-от и добро на весах да в словесах. Сейчас чайку попьем: малинки сушеной девочка дала — дай ей Бог деток хороших, — с малинкой-от и попьем. Утробу грешную погреем…

— Свет да тепло, православные! — басом сказали из темноты.

— Милости прошу, милости прошу, — оживился старик. — Кого Бог-от послал?

— Странников Божьих. Здравствуйте, люди добрые!

В освещенный круг вступила корявая деревяшка и нога, обутая в огромный разлапистый сапог. Все это неторопливо опустилось на колени, и Федор увидел заросшего по брови дюжего мужика в порядком изношенной солдатской форме и

армейском кепи с большим козырьком.

— Отставной фейерверкер ракетной батареи Киндерлинского отряда его высокоблагородия полковника Ломакина Антип Сомов, — представился косматый. — Ранен в деле при взятии Хивы, а со мною товарищ из чиновников, Белоногов.

— Отставной губернский секретарь Белоногов Иван Фомич. — К костру мягко скользнула тщедушная фигурка в порыжелой крылатке. — Сбились с пути да, слава Господу, на ваш огонек.

— Милости просим, милости просим, — ласково суетился Митяич. — Кипяточку-от, кипяточку не желаете ль? Есть и хлебушко, коли голодны, есть-от хлебушек да сольца.

— Благодарствуем, — басом сказал солдат. — Есть свой припас. А кипяточку выпьем. Выпьем кипяточку, Иван Фомич?

— Беспременно, Антип, беспременно. — Чиновник достал жестяные кружки и колотый сахар в тряпочке. — Угощайтесь. Куда путь держите?

— В Киев, — нехотя сказал Федор.

— Мать городов русских, — с уважением отметил Белоногов. — А сами кто будете? Ежели по обличью — студент?

— Студент.

— Ученость, значит. Из каких же сами-с? Из

дворян, поди?

— Из дворян, — с неудовольствием сказал Федор. — Место ли здесь любопытствовать, сударь?

— Нет, позвольте, позвольте, такая редкость — благородный человек среди натуры дикой. Небывалость! Наблюдаете жизнь? Да, да, приятно-с, приятно-с. Весьма!

Чиновник Федору не понравился: был болтлив, привычно гибок, все время вытирал потные руки и восторгался. Солдат, усмехаясь, молча пил чай, громко, со вкусом круша сахар крепкими белыми зубами. Поймав взгляд, улыбнулся, сказал добродушно:

— Угощайся, барин. Не краденое.

— Спасибо, спасибо, — поспешно отказался Федор. — Мне, знаете, с малинкой.

— Простыл-от, — сокрушенно покачал головой Митяич. — Одежонка худа больно.

После чая улеглись, с головой завернувшись в армяки и накидки: ночи были росные, хоть и теплые. Солдат сразу же захрапел, дед Митяич тоненько подсвистывал ему, а чиновник все жужжал и жужжал Федору в ухо:

— Истощился я по образованности, милостивый государь мой. Да-с. Помилуйте-с, третий год уже среди сермяги и дегтя-с брожу, третий годок!

Да-с, чиновник есмь, до двенадцатого класса дослужился, до чина губернского секретаря-с. Двадцать семь лет верой и правдой, верой и правдой, а пенсиона лишен-с. Уволен несправедливо и обидно для седин своих, выброшен-с, выброшен-с, ваше благородие.

— Оставьте звать меня благородием, — глухо вздохнул Федор под армяком.

— Как можно-с, как можно-с, мы понимаем! Да-с, чиновник, крапивное семя. Ни состояния, ни мастерства. Конечно, гордый человек в чиновники не пойдет, потому как полный произвол, полный произвол-с! Гибчайшую спину надо иметь, чтоб удержаться, гибчайшую-с. Потому, изволите ли видеть, что одно жалованье. Лижи руку дающую, лижи, даже если бьет она. Собачья жизнь-с, собачья, ваше благородие.

— Да оставьте…

— Нет, как можно-с, как можно-с. Вот среди подлого народа вынужден коротать дни своей старости. Не потрафил, да, не потрафил-с своевременно кому следует-с — и выброшен, аки пес, рык растерявший. Но я горд, горд, я благородный человек, подаяния от подлейших сил не прошу. Я, изволите ли видеть, слог имею и почерк. Тем и кормлю бренность свою.

Федор вертелся под армяком, затыкал уши: гнусавое жужжанье доводило до отчаяния. Чиновник то жаловался на судьбу, то ругал мужиков, снова жаловался и снова ругал, и Федор уснул под это нытье с головной болью. А проснулся от мощного веселого рева:

— Бери ложку, бери хлеб, собирайся на обед!

Инвалид трубил в кулак воинские сигналы, хохотал, бодро прыгал на деревяшке, собирая хворост. Он был жизнелюбив и громогласен, жил в полной гармонии со всем миром, встречая каждый день радостно и буйно.

— Сиди, дед, грей косточки, а я попрыгаю. Ух ты, солнышко мое, здорово! Батарея, по порядку р-рассчитайсь!

Чиновник куксился, кутаясь в древнюю крылатку, кряхтел, кашлял, жаловался:

— Прежде-то, изволите ли видеть, кофей по утрам пил.

— Лик сполосни, господин Белоногов, да солнцу возрадуйся! — гремел солдат. — Фейерверкеры, не зевать! Наводи по лаве, к огню готовсь!..

— Ай веселого человека Бог послал, — радовался Митяич. — Ай славно-от, ай хорошо!

В полдень вышли к большому селу. Солдат остановился, оправил потрепанную форму, под-

тянул ремень, вынул из-за пазухи завернутый в тряпицу солдатский Георгиевский крест и важно приколол его к груди.

— Мы, господа хорошие, милостыню не собираем, — сказал он, пытаясь пятерней расчесать свалявшуюся бороду. — Я мужикам о сражениях рассказываю, а Белоногов письма да прошения пишет. Потому вчетвером нам не с руки: поодиночке надо. А опосля тут соберемся.

— Добро, — сказал Митяич.

— Вы, барин, может, со мной желаете? — спросил солдат.

— А не помешаю?

— Никоим разом, барин.

Федор с удовольствием пошел с инвалидом. Он нравился ему звонкой веселостью, да и назидательные легенды старика уже приелись: Митяич часто повторялся, путал, и Федора все время подмывало поправить его. Кроме того, было любопытно, что рассказывает солдат о лихих схватках с далекими хивинцами.

Слушателей нашли они на удивление быстро: солдат постоял у колодца, попил водицы, пошутил с молодками, выяснил, у кого сын на действительной, и ходко захромал в указанные избы. Заходил, кланялся, желал здоровья,

расспрашивал о сыне-солдате, отказывался от угощения и шел дальше. За ним уже хвостом тянулись ребятишки, а он ходил из избы в избу, намекал, что готов рассказывать, а сам приглядывался, выбирая не только дом, но и хозяев, учитывая не только зажиточность, но и интерес, с которым встречали его. Он искал и театр, и публику намеками и обещаниями. А когда нашел, что искал, когда уселся прочно в красном углу — во всех окнах торчали любопытные лица и то и дело хлопала дверь, пропуская все новых и новых слушателей.

— Потерял я свою ноженьку при кровавом штурме города Хивы, — неторопливо и словно бы нехотя начал фейерверкер, сворачивая цигарку из хозяйской махорки. — А город этот есть столица самого Хивинского ханства, и стоит он посреди страшенной пустыни, где, окромя песков да русских косточек, и нет ничего.

Слушали его, затаив дыхание и раскрыв рот. Цыкали на опоздавших, и те, сняв шапку, молча крестились на образа и усаживались на лавках, а то и просто на полу.

— Вышли мы в поход на Василия Капельника, а жара стояла, как в русской печи. А на тебе амуниция полная, патронов сорок штук, сухарей

на три дня, ружье да тесак, котелок да скатка, да еще верблюда ведешь: вода на нем в турсуках приторочена. А песок под ногами осыпается, ровно назад тащит: шаг шагнешь и другой шагнешь — ан только песок месишь, а сам где стоял, там и стоишь. Пушки по оси вязнут, ни кони, ни верблюды не берут. «А ну, ребятушки, навались! Раз-два, взяли!..» — скомандует офицер, и сам с коня долой, и сам за колесо хватается, потому как надобно вытащить, а солдатушек мало. Облепим пушечку — ну, милая, ну, соколики, ну разом, ребятушки! Аршин протащим и в песок падаем: мочи нет. Пот глаза ест, рубахи — хоть выжми, а во рту ровно засуха, и язык что лист сухой, аж шуршит, когда говоришь. А пить нельзя, упаси бог глоточек сделать по жаре: враз фельдфебель кулаком по роже, а то и казак какой с седла нагайкой огреет, да с потягом, да со злостью: самому-то пить тоже не велено, тоже мается сердешный.

— Пить-то неужто не давали? — поразилась какая-то молодка. — За что же муки-то такие, господи!

На нее было зашикали, но бравый фейерверкер милостиво улыбнулся.

— Пить вечером да утром, да и не досыта, а по кружечке. Воды нету там, и дождей не бывает ни

капли. А колодец от колодца — день пути, а то и два дня. Двадцать седьмого да двадцать восьмого апреля воды и капелечки не было, и как уж мы до колодца Коль-Кинир добрели, Бог один знает. Ползли уж, а не шли, ползли, а пушки ползком тянули. Верблюды полегли, лошади подкосились, а мы, солдатушки, ползком пушечки свои да батарейку ракетную волокем. Приползли, а туркмены колодезь тот падалью забили. Ну, думаем, вот она, смертынька наша, посреди пустыни, знать, нашла нас!

Солдат замолчал, сосредоточенно скручивая цигарку. Среди слушателей шорохом пронесся вздох, бабы утирали глаза кончиками платков, мужики нахмурились. Федор слушал рассказчика и следил за аудиторией с живейшим интересом: здесь не было равнодушных, здесь близко к сердцу принимали чужую боль и чужие страдания, хотя и эта боль, и эти страдания были бог весть когда и бог весть где. Он почему-то вдруг вспомнил свое последнее свидание с Беневоленским, но вспомнил походя, весь в ожидании, когда солдат продолжит свой рассказ.

— Спасибо, офицеров нам Бог послал и сердешных и боевых, — продолжал Антип. — В походе вровень с нами страдали, вровень с нами орудия

волокли, вровень пили и ели, да не вровень отчаивались. Был у нас полковник Скобелев Михаил Димитриевич — молодой, собой что богатырь: косая сажень. Ус аржаной, а глаза синие-синие и веселые — ну Бова-королевич, да и только! «Не верю, — говорит, — что помирать нам здесь, ребята! Не верю, что воды нет, быть того не может. Лежите, — говорит, — здесь, отдыхайте, а я пойду колодцы искать. Либо всех спасу, либо сам в пустыне погибну, не поминайте лихом, братцы!» Взял он с собой десяток казаков да проводника-киргиза — хороший был товарищ, хоть и басурман, — и в пески ушел. Лежим мы на песке вповалку, кто где упал, усталь такая, что косточка косточке слезно жалуется, и сил нет, чтоб шинелью укрыться. Стволы ружейные да орудийные лижем: роса на них мелкая, как пыль. Лижем, значит, и смерти ждем. А полковник Ломакин, командир наш, ходит середь нас и говорит: «Ничего, — говорит, — ребятушки, русские никогда не сдавались. Быть, — говорит, — того не может, чтоб Михаил Скобелев слова своего не сдержал».

Как-то незаметно, будто сам собой, появился перед инвалидом полуштоф и кружка, миска с огурцами и ломти свежего хлеба. Но он не замечал ничего, не меньше слушателей увлеченный

собственным рассказом.

— Двое суток лежмя лежали мы в песках. И кони наши легли, и верблюды уж не ревели, и только вороны кружили, скорую поживу ожидая. Ан не допустил Господь солдатской гибели. Прискакал киргиз-переводчик: есть вода, говорит, много воды. Полковник Скобелев с казаками у колодца от туркмен-иомудов отстреливаются. «Сдавайся!» — кричат ему. «Убирайтесь к черту, — отвечает он, — мне солдат своих напоить надо». — «Скачите за мной на помощь да турсуки для воды берите!» И откуда силы взялись: как один все встали. Казаки коней подняли, трубач тревогу заиграл: вперед, молодцы! На выручку!

Голос солдата прервался. Он смахнул слезу, прикурил от услужливо протянутой лучины. Ему было водку пододвинули, но он отстранил ее.

— Вот за то геройство, за спасение наше и присудили мы, георгиевские кавалеры, чтоб лихому полковнику нашему его высокоблагородию Михайле Димитриевичу Скобелеву беспременно пожалован был солдатский Георгий. Верите ли, братцы, прослезился полковник, принимая его. Не знаю, говорит, где буйну голову сложу, не знаю, сколько еще наград государь мне пожалует, а только ваш крест, солдаты, товарищи мои

боевые, всегда буду носить на самом переду как главнейшую из наград своих…

Возвращались обласканные, напоенные и накормленные. Солдат был взволнован успехом и собственным выступлением и с гордостью нес к вечернему костру жбан водки, купленной всем миром герою в дорогу. В заплечной торбе лежали сухари и хлеб, пшено и сало, огурцы и бутылка конопляного масла: слушатели не поскупились.

— Хорошо ты рассказывал, Антип.

— Сказки да песни — солдатская утеха, барин. Соберемся, бывало, у костра, ну и пошло. И бывальщины и небывальщины — все одно, было бы складно.

— А про Скобелева правда?

— Святой истинный крест! Это не изволь сомневаться. Глаз синий, а усы аржаные: увидишь где, сразу узнаешь. Вот и спроси тогда, за что у него солдатский Георгий.

— Да где я его увижу?

— Господские дороги пересекаются, барин.

Было еще светло, тепло и тихо. Звонко стрекотали кузнечики в траве, в низинах сгущался туман, с востока полнеба охватила тяжелая марь; под нею слабо светился костерок деда Митяича, возле которого копошились четыре фигуры.

— Видать, гости у нас! — удивился фейерверкер.

Кроме Митяича и чиновника у костра сидела толстая баба и девочка лет десяти. У бабы было румяное лицо с тугими, будто надутыми, щеками, среди которых робко прятался маленький, сильно вздернутый носик; девочка, напротив, выглядела болезненной то ли от худобы, то ли от землистого цвета кожи. Быстрыми глазенками при полной неподвижности она напоминала мышку.

— Тебя как звать-то? — спросил Федор, давая девочке яблоко.

— Паня, — еле слышно ответила девочка.

— А меня Ульяной, — кланяясь, певуче сказала баба. — Прощения просим, барин, что без вашего позволения в гости пожаловали, да места не просидим, уголька не украдем, а с бабьим голосом спится крепче.

Бабенка была развязна и словоохотлива. Белоногов суетился возле нее, вскидывая козлиную бороденку. Сонные и всегда скорбные глазки его заострились и замаслились, скользя вокруг пышных бугров Ульяны.

— Гость к обеду лучше к соседу, а гость ко сну — милости прошу, — сказал солдат, заметно ожи-

вившись. — Эй, баба Ульяна, не ходи полупьяна, а ложись на печь да и мне дай лечь!

При этом он ласково огрел бабенку по крутому, как у кобылицы, заду и закрутил ус. Ульяна кокетливо взвизгнула и захохотала, чиновник оторопел, а дед Митяич довольно отметил:

— Солдат хват: не ужом ползет, а соколом бьет.

— Расстилай, дед, скатерть-самобранку, — сказал фейерверкер, развязывая торбу. — Потрудились мы сегодня знатно, не грех и отдохнуть приятно.

Федор от водки отказался: выпил немного в селе, где их угощали после рассказов. Посадил девочку рядом, кормил ее; девочка молча и с жадностью ела.

А напротив хохотала и взвизгивала баба, которую то и дело хлопал и щипал солдат, завистливо и плаксиво шипел Белоногов и ласково пьянел старик:

— Эх, Ульяна-баба! Пей до дна, не гуляй одна!

— Так ее, солдатик, так ее, сердешный, — приговаривал Митяич, любовно оглядывая всех ласковыми, захмелевшими глазками. — Ай, жизнь больно славна, да обидно — прошла!

Белоногов ерзал с другого бока толстухи. Лез с поцелуями, тискал, пытался обнять. Ульяна

локтем отталкивала его, отворачивалась, явно предпочитая солдата. Федору был одинаково противен и ее визг, и сопенье чиновника, и самодовольные солдатские шлепки по мясистому бабьему телу. Он старался не смотреть, разговаривал с девочкой, но непонятная сила, которой он уже мучительно стыдился, заставляла его изредка, будто подглядывая, вскидывать глаза и сразу с пронзительной ясностью отмечать, что делалось напротив. Он тут же отворачивался, но увиденная картина не исчезала; он краснел и стеснялся, с удивлением ощущая нарастающий стук собственного сердца.

— С дочкой бы занялась, — с раздражением сказал он. — Спать ей пора.

— А пусть ее! — крикнула раскрасневшаяся баба. — Не дочка она вовсе, а найденка. Я ее в городе Туле на базаре нашла да и с собой взяла: с ней подают больше.

— Своих-то, поди, свекрови подкинула? Баба ты в соку.

— Своих Бог прибрал. Всех прибрал: и мужа, и деток, и свекровь со свекром. Лихоманка у нас полсела скосила.

Все это Ульяна прокричала без всякой печали, а даже с удовольствием, словно смерть близ-

ких была благодеянием, осчастливившим ее. А прокричав и хватив полкружечки за упокой, вскочила вдруг и завертелась, притоптывая и прихлопывая:

Ай, ку-ку, ку-ку, ку-ку,
Я сидела на суку,
Меня маменька звала,
А я вишенки рвала.
Ух! Ух! Ух! Ух!

Она закружилась, раздувая юбками пригасшее пламя, закачалась, вывалилась из освещенного круга и с маху села на землю. Солдат хотел было вскочить, но помешала деревянная нога, и чиновник успел цепко схватить его за руку.

— Антип, не смей! Слышишь, Антип? Моя! Себе вел, сговорено с ней. Не обижай, Антип, слышь, не обижай!

— Куда тебе, возгря!

Солдат сбросил его руку, вскочил, вприпрыжку поскакал к Ульяне.

— Становому пожалуюсь, хам! — визгливо закричал Белоногов. — Мое, не трожь! Мое это!

Он на четвереньках пополз за солдатом. В темноте послышалась возня, хриплый солдатский рык и два хлестких удара.

— Тебе спать пора, спать, — сказал Федор девочке.

Не вставая, хотя ему очень хотелось встать и посмотреть, что творится за светлой чертой, Олексин подтянул к себе армяк, закутал в него Паню. Дед Митяич уже спал, с головой укрывшись драным тулупчиком. Федор посидел рядом с девочкой, напряженно прислушиваясь к громкому пыхтенью, визгливым всплескам женского смеха, тоненькому, жалобному всхлипыванию чиновника и гулким ударам собственного сердца. Потом встал и пошел от костра.

Он понимал, что совершает нечто постыдное, но удержаться уже не мог. Он не знал ни одной женщины в своей жизни, имел самые сумбурные понятия о практической стороне любви, а тело было молодо, и силы, уже неподвластные рассудку, тащили его в темноту. Он сделал большой круг и зашел так, чтобы солдат и Ульяна находились между ним и костром. Шел осторожно, напряженно вслушиваясь и с трудом сдерживая собственное тяжелое дыхание.

Он почти наткнулся на них; увидел вдруг под ногами что-то шевелящееся, неестественно белое, обмер, перестав дышать, вгляделся и понял: белыми были ноги, толстые женские ноги, широко

разбросанные на стороны. Между этими белыми ногами лежал солдат, а рядом… Рядом стоял Белоногов. Жар обрушился на Федора внезапно, как обвал; он весь покрылся липким, омерзительным потом. Закрыв лицо руками, бросился в темноту, долго ходил там, постанывая от мучительного гнусного стыда перед самим собой.

Успокоившись, пошел к костру. Огонь почти погас, тени вокруг сгустились, и Федор, подойдя, сначала ничего не понял: армяк, которым он укутал девочку, шевелился. Он рванул его: под армяком, всем телом прижавшись к спине то ли спавшей, то ли просто притихшей Пани, лежал Белоногов. Шарил трясущимися руками по телу и шептал, задыхаясь и трудно глотая слюну:

— Ну, повернись, лапушка. Повернись, цыпочка…

— Как смеешь, мразь! — закричал Олексин. — Как смеешь?!

Не помня себя, он бил чиновника ногами в лицо, топтал руки, плевал на него. Чиновник молча извивался, стараясь отползти.

— Подлец! Подлец! Подлец!

Белоногову все же удалось извернуться и выкатиться в темноту. Федор не стал преследовать: его била дрожь. Присел у костра, скорчился, обняв

руками плечи. Почувствовал взгляд, повернул голову: девочка молча смотрела на него немигающими взрослыми глазами.

— Спи, Паня, спи.

Он погладил девочку: лоб был мокрый, видно, вспотела от страха. Укутал ее в армяк, вновь скорчился у костра, замер.

Дед Митяич невозмутимо посапывал во сне. Да и пыхтенья за костром больше не слышалось: доносился лишь тихий смешок женщины да устало басил солдат.

Страшный удар вдруг обрушился на Федора. Он скорее услышал его, чем почувствовал. Услышал тяжкий тупой грохот в голове, увидел нестерпимо яркие искры перед глазами и мягко опустился на бок, сразу потеряв сознание.

4

— Поручик Олексин, честь имею прибыть! — представился Гавриил, вслед за Истоминым входя в кабинет помощника начальника штаба.

Стройный, подтянутый блондин, выпятив грудь, молча кивнул, в упор глядя на Олексина бесцветными остзейскими глазами. Штабс-капитан сел, закинув ногу на ногу, а поручик все еще стоял в дверях под немигающим взглядом

полковника. Потом Монтеверде указал на стул, а сам остался стоять, слегка барабаня пальцами по столу.

— Уволены из армии? Дуэль? Долг чести? Растрата? — вдруг быстро спросил он.

— Отнюдь, — несколько удивленный началом разговора и потому помедлив, сказал Гавриил. — Числюсь в годичном отпуску по семейным обстоятельствам.

— В Сербию за крестом? Славой? Карьерой? Из любви или ненависти?

— Хочу помочь сербам в их правой борьбе, только и всего.

— Только и всего? — Монтеверде неприятно усмехнулся. — Вы оригинал, поручик? Предупреждаю, таковых не понимаю. Все слова, слова, а суть в ином.

— В чем же суть, по-вашему? — как можно спокойнее спросил Олексин.

— Суть всегда в личных идеях, а не в общественных. Так называемые общественные идеи всего лишь ширма, скрывающая действительные цели.

— Вам придется мириться с этой ширмой, полковник. Другой в запасе у меня нет.

— Интересно, каким вы отсюда уедете. Если

уедете вообще. Впрочем, бог с вами, оставим это. Итак, вы хотите в дело? В штаб? В санитарные отряды? Выбирайте: я обещал нашему другу, — он кивком указал на штабс-капитана, — что исполню ваше желание.

— Я приехал драться с турками.

— Вам случалось бывать в делах до этого?

— Нет.

— Хотите испытать храбрость?

— Хочу принести пользу.

— Нет, он положительно оригинал! — почти весело сказал Монтеверде Истомину.

— Поручик знает язык, — сказал Истомин, точно напоминая о чем-то уже оговоренном.

— Немного, — уточнил Олексин. — Мало практики.

— С практикой мы вам поможем. — Монтеверде опять неприятно усмехнулся и расстелил на столе большую, выполненную от руки схему. — Извольте смотреть. Делиград. — Карандаш изящно скользнул по схеме. — Турецкие позиции. Как видите, они пока еще на том берегу Моравы, но — пока. В районе Рагавицы — Суповац позиции удерживает отдельный корпус Хорватовича. Третьего дня туда, к Хорватовичу, ушла русская батарея, но у нас нет уверенности,

что она добралась до него: сербские беженцы уверяют, что турки где-то переправились через Мораву и, таким образом, отрезали Хорватовича. Хотите попытаться внести ясность в этот вопрос, поручик?

— Каким образом?

— Болгарские волонтеры вызвались добраться до Хорватовича.

— Отчаянные головорезы эти болгары, — сказал с дивана Истомин. — Они из отряда воеводы Цеко Петкова.

— Петков в Сербии? — удивился Олексин, еще в Москве немало слышавший о легендарном гайдуке.

— Нет, он где-то в Болгарии, а сюда прислал молодежь. Самых нетерпеливых.

— Нетерпеливому коню нужна хорошая узда, поручик, — сказал Монтеверде. — Возьметесь возглавить этот отряд? Задача: добраться до Хорватовича, ознакомить его с нашим планом единого удара в районе Алексинаца, узнать о судьбе русской батареи. В дальнейшем действовать по его указаниям.

— Могу я взять с собой своего друга?

— Отвиновского? — спросил Истомин. — Странная дружба между русским офицером и польским

инсургентом, вы не находите?

— Да пусть себе берет, — сказал Монтеверде. — Если согласны, ступайте знакомиться с отрядом, получайте оружие, ищите проводника — капитан вам поможет. Вечером прошу ко мне.

— Слушаюсь. — Гавриил щелкнул каблуками. — И благодарю.

Вышли вместе с Истоминым. На веранде, как всегда, курили офицеры.

— Были на аудиенции? — спросил Совримович. — Как вам наш Монтеверде?

— Послан на связь с Хорватовичем, — похвастался Олексин.

— Вот как? Когда выступаете?

— Завтра утром.

Совримович бросил окурок и, ни слова не говоря, быстро направился в дом.

— Кажется, вы довольны поручением? — спросил штабс-капитан, когда они шли через двор к воротам.

— Доволен? Этого мало, Истомин. Я горд и счастлив.

— Значит, с вас шампанское. Если вернетесь.

Последние слова он сказал хоть и с улыбкой, но как-то уж очень многозначительно. Впрочем, Гавриилу некогда было заниматься анализом

истоминских интонаций: у ворот они встретили Захара и Отвиновского. Наскоро объяснив, в чем дело, Олексин отправил их готовиться и вслед за штабс-капитаном вышел на улицу.

Болгары стояли во дворе кафаны, где вчера ужинал Гавриил. Их было одиннадцать — молодых, сильных парней в белой, щедро расшитой шнурами одежде. За широкими турецкими поясами торчали рукояти ятаганов.

— Здравствуйте, господа, — сказал Истомин. — Вот ваш командир поручик Олексин Гавриил Иванович.

— Добре дошли, — сказал старший отряда; молодое лицо его было обезображено широким шрамом. — Меня зовут Стоян Пондев. С остальными потом познакомитесь, а это мой ординарец Любчо.

Он кивнул на худенького паренька с большими девичьими глазами. Паренек сразу отвернулся, а болгары заулыбались.

— Я оставляю вас, — сказал штабс-капитан. — Надо проводника искать.

Он поклонился и ушел. Гавриил сел на доски, сложенные у забора, болгары расположились вокруг, а застенчивый Любчо устроился за их спинами. Рассказывая о задании, Олексин все

время ловил на себе его быстрый изучающий взгляд, и взгляд этот почему-то смущал его.

— Как видите, задача наша проста: дойти и доложить.

Болгары переглянулись. Стоящий ближе всех широкоплечий парень с оспинками на лице что-то быстро сказал по-турецки. Войники рассмеялись, только Любчо сердито нахмурился.

— Митко говорит, хороша у волка шкура, да зубы мешают, — сказал Стоян. — Мы знаем турок, командир. Там, где нет дорог, они высылают черкесов.

— Черкесов боитесь, молодцы?

— Боялась баба в лес за дровами сходить, так в дому и замерзла, — уже по-болгарски сказал Митко.

— Нужен проводник, командир, — уточнил Стоян. — Нужен хороший проводник, чтобы идти без дорог и там, где не может напасть кавалерия.

— Нужны магазинки, — сказал черный, как цыган, парень. — Если будут магазинки и много патронов, черкесы не страшны. Они не любят огня.

— Кирчо правильно говорит, надо просить магазинки, — подтвердил Стоян. — При штабе есть оружейный склад.

— Оружие обещали, — сказал Гавриил.

— Надо брать самим: они для кого-то берегут хорошие винтовки.

— Для турок, — усмехнулся Митко.

Болгары опять засмеялись. Они вообще смеялись часто и охотно, и это тревожило Олексина. Он и сам был молод, но считал смешливость чертой невоенной и старался почаще хмуриться.

— Смех в то время, когда гибнут ни в чем не повинные люди, когда позорят женщин и вешают их мужей, считаю неприличным, — сказал он.

Болгары растерянно замолчали. Стоян нахмурился, а Любчо вдруг вскочил и, не оглядываясь, пошел со двора.

— Любчо! — крикнул Стоян. — Любчо, вернись!

Ординарец не остановился, и Стоян торопливо направился за ним. Митко сокрушенно цокнул языком, а черный Кирчо сказал неодобрительно:

— Не надо об этом говорить. Никогда.

— Прошу извинить, — сухо сказал поручик. — Однако такая чувствительность, как у вашего Любчо, больше подходит девице, чем воину.

Парни неожиданно расхохотались. Они смеялись так искренне, что Олексин не выдержал и тоже заулыбался.

— Ну и глаз у тебя, командир! — весело кричал

Кирчо.

Вернулись Стоян и Любчо. Ординарец был красен как маков цвет и прятал глаза.

— Любчо, командир интересуется, почему ты без усов! — крикнул Митко.

— Хватит, — строго оборвал Стоян. — Кажется, к нам идут.

К ним приближались Совримович и Бранко. Подойдя к Олексину, Совримович щелкнул каблуками:

— Честь имею явиться, поручик. Назначен вашим помощником. А это наш проводник.

Обе новости чрезвычайно обрадовали Гавриила: он привык к Бранко, а то, что серб добровольно вызвался идти с ними, Олексину было понятно — он помнил дорожную встречу. А Совримович уже побывал в деле, в прямом смысле понюхал пороху, и поручик очень надеялся на его боевой опыт. Конечно, болгары тоже были боевыми ребятами, но опыту кадрового офицера Олексин все же доверял больше, чем партизанским навыкам повстанцев.

Они отправились получать оружие, и Совримович, используя знакомства и недавнюю службу в штабе, сумел добиться новеньких магазинных винтовок «пиподи-мартини». Болгары брали их в

руки с почти благоговейным восторгом.

— Мне бы эту магазинку в апреле! — вздыхал Кирчо. — Поплясали бы у меня турки.

Поручив продовольственные дела Стояну и отрядив ему в помощь Захара, Олексин с Совримовичем и Бранко до вечера обсуждали предстоящий маршрут, искали укрытые от внезапных кавалерийских налетов ночевки. Совримович тоже опасался черкесских клинков, тоже советовал быть осторожнее:

— Тактика у них старая, Олексин: набег. Любят атаковать из укрытий, внезапно. Стреляют, как правило, неважно, но шашками владеют отменно. Если не удержимся — сомнут и вырежут. Узнайте у Монтеверде, что слышно о черкесах.

Вечером Гавриил спросил об этом у помощника начальника штаба. Монтеверде очень удивился:

— Какие черкесы, поручик? Черкесы, абреки — это у вас от кавказских рассказов. Лермонтовым зачитывались?

— Однако болгары уверяют…

— Болгары путают, — перебил полковник. — Да, башибузуки кое-где, возможно, просочились, но черкесы… Слышите, Истомин?

— Это нонсенс, Олексин, — пожал плечами штабс-капитан. — У ваших приятелей болгар

черкесская паника, уверяю вас.

Получив подробное разъяснение предполагаемой операции, поручик распрощался с Монтеверде и Истоминым. Штабс-капитан придержал руку:

— У турок, по нашим сведениям, нет кавалерии вообще. Так что, с богом, Олексин.

Несколько успокоенный этими заверениями, поручик не стал заходить к Совримовичу. Было уже поздно, на рассвете предстояло выступление, и он прямо пошел к себе. Ночь была тихой и звездной. Выйдя из душной комнаты, поручик с наслаждением вдохнул полной грудью и подумал, что пока ему — тьфу, тьфу! — везет и, кто знает, может быть, по возвращении на родину и на его груди сверкнет Таковский крест. Он тут же постарался прогнать из головы тщеславные мысли, ибо ехал сюда не за крестами и не лгал утром Монтеверде. Спустившись с веранды, он обогнул штаб и направился к шалашу, где ночевали Захар и Отвиновский. Еще издали он заметил небольшой костер, возле которого сидели трое: Совримович не ушел спать. Гавриил коротко рассказал о последнем свидании с начальством, особо упирая на «черкесские страсти».

— Не понял: вы нас убеждаете, что никаких

черкесов в тылу нет, или они вас в этом убеждали? — спросил Совримович.

— Во всяком случае, я в этом почти уверен. Черкесы — типичная тыловая паника.

— А брат Бранко — тоже паника? — хмуро поинтересовался Отвиновский.

— Я получил приказ как можно скорее доложить Хорватовичу. А если мы будем ползти по кустам в страхе господнем, то сведения просто-напросто устареют. Штаб заверяет нас, что черкесов нет, значит, их нет, мы обязаны верить штабу.

— Возможно, возможно, — вздохнул Совримович. — И все же что-то мне здесь не нравится. Скажите, Олексин, вы действительно в добрых отношениях с Истоминым?

— Надеюсь, что мы друзья.

— Преуменьшать опасность — плохая дружеская услуга.

— А преувеличивать ее?

— Преувеличивать естественно, но ведь он же не преувеличивает? Ну да бог с ними. — Совримович встал. — Будем полагаться на себя. Спокойной ночи, господа.

— Знаете, Олексин, а я не верю ни единому слову вашего приятеля Истомина, — сказал Отвиновский, когда Совримович ушел. — Он лиса.

— С какой целью ему хитрить, скажите на милость?

— Вот этого я не знаю.

— Господи, до чего же вы недоверчивы, Отвиновский.

— Доверчивость растрачивают, поручик, и, очевидно, мои запасы подходят к концу. Хорошо это или дурно — не мне судить, а только путешествие наше будет совсем не таким простым, как это нам пытаются предсказать.

— Я не отрицаю опасностей, Отвиновский.

— А если опасно, то зачем же девчонку брать? — вдруг сердито спросил Захар. — Не бабское это дело, ваши благородия.

— Какую девчонку?

— Да болгарку, какую же еще? Послали вы меня за продуктом, а болгарский старшой в помощь ординарца своего отрядил.

— Любчо? — спросил Олексин.

— Любка она, а не Любчо, — хмуро поправил Захар. — Я как глянул, сразу в сомнение: больно уж тонок паренек-то, больно уж нежен, да и ходит как баба, нога за ногу цепляется. Что-то, думаю, не того, что-то, думаю, проверить надо.

— Проверил? — улыбнулся Отвиновский.

— А как же! В складе за грудки ординарца этого

цап! А там что положено. А она мне вжиг по одной щеке, вжиг по другой. Аж искры из глаз. И в слезы. Ладно, говорю, девонька, виноват, ежели так вышло.

— Девушка? — растерянно спросил Гавриил. — Нет, этого я не потерплю. Завтра же в тыл, к маме!

— Ясно, — кивал Захар. — Не бабское дело.

— Молодец, Захар! — весело хохотал Отвиновский. — Значит, все что положено, говоришь? Вот это разведка! Учитесь, поручик!

5

Василий Иванович не поехал ни в Смоленск, ни в Москву, ни в Псков: он хотел бы повидать родных, но неизбежные разговоры о прежних идеалах, о жизни в Америке и, главное, о его семье были настолько неприятны, что он предпочел переписку. Мамы больше не было, а остальных он слушать не желал, подозревая, что все они резко восстанут против их брака, не освященного церковью, а значит, безнравственного и незаконного в глазах общества. Уже в письме Вари он уловил неудовольствие по этому поводу и с той поры обязательно отговаривался от приезда крайней занятостью.

А занят он не был ничем. Поселились они в Туле, где у Екатерины Павловны были дальние родственники, сняли квартирку с хозяйскими дровами и пробавлялись случайными заработками: Василий Иванович бегал по урокам, а Екатерина Павловна, имея диплом повивальной бабки, довольствовалась случайной практикой в домах бедных, часто поэтому стесняясь брать деньги за услуги.

— Знаешь, Вася, такая голь неприкрытая, такая бедность, что…

Она замолкала, не решаясь признаваться в собственной непрактичности. А Василий Иванович неизменно отвечал:

— Доброе дело дороже денег.

Жили бедно, часто отказывая себе в самом насущном и беспокоясь только о ребенке. Бедность заставляла изворачиваться, и Василий Иванович вскоре научился многое делать сам: чинил обувь, столярничал, вызвался покрыть крышу соседке, пытался красить холсты, по собственным рецептам составлял краски. Клиентура была невелика, но давала некоторый заработок.

Жизнь текла тихо. Родственники Екатерины Павловны — выходцы из села, пробавлявшиеся ремеслом и мелкой торговлишкой, — были

людьми богобоязненными и ограниченными, пациентки и редкие заказчики — им под стать; в гости Олексины не ходили и у себя не принимали. Кроме акушерки Марии Ивановны, с которой Екатерина Павловна познакомилась на общем поприще.

Мария Ивановна заходила на чай, к которому непременно приносила то пряники особой выпечки, то пирог собственного изготовления, то конфеты, присланные из Петербурга. Расспрашивала об американском житье, о семье, о взглядах на религию и церковь, хорошо слушала. Вначале Василий Иванович стеснялся, разговор обычно вела Екатерина Павловна, а потом осмелел, стал рассказывать сам. Как-то зашла речь о графе Льве Николаевиче. Василий Иванович читал почти все, что было опубликовано, высоко отзывался о Толстом как о писателе, но не верил ему как человеку. Усмехался скептически:

— Граф мастерски потрошит человека, Мария Ивановна. Мастерски, но — постороннего. А вот господин Достоевский ставит опыты на себе. Себя потрошит, и ему больно. Больно ему, а его сиятельству не больно. Один — блистательный патологоанатом, а второй сам у себя вырезает аппендикс. Или того страшнее — язву из сердца.

— Полно, Василий Иванович. Сомневаться в огромном таланте Льва Николаевича даже немодно.

— А я и не сомневаюсь в его таланте, а может быть, и в гениальности. Но зло у графа теоретическое. А у нас практического зла — девать некуда. Практического — и во фраках, и в мундирах, и в армяках. Как с ним прикажете бороться?

— Но ведь вы тоже, Василий Иванович, отрицаете борьбу как непременное условие развития общества.

— Отрицаю как самоцель: борьба, борьба и борьба. Нельзя безболезненно переносить законы природы на человеческое общество хотя бы потому, что природа не знает нравственности, а человек отрицает отсутствие этой нравственности. Сумеем ли мы соединить эти крайности, если будем слепо проецировать аксиомы диалектики с природы на человека?

Мария Ивановна спорила осторожно, только намечая тему и давая Василию Ивановичу высказываться, как он хочет. Не пыталась защищать свою точку зрения, а просто слушала, лишь изредка направляя разговор. Екатерину Павловну беспокоила эта манера:

— Она словно выпытывает.

— Нет, Катенька. Просто у нее нет позиции, и она ощупывает мою. Все естественно. Мария Ивановна — добрый человек. Добрый и страдающий.

— Почему ты решил, что она страдает?

— А разве можно быть добрым, думающим и не страдать?

Обычно Мария Ивановна приходила в субботу, если не было вызовов. Олексины привыкли ждать ее в этот день и очень удивились, когда она появилась в четверг.

— Мария Ивановна, вы ли это? — громко спросила Екатерина Павловна, открыв дверь. — Признаться, не ожидали и очень, очень рады.

Василий Иванович услышал и успел юркнуть в комнатку Коли: был одет по-домашнему, распустехой. Старательно привел себя в порядок, вышел:

— Мария Ивановна! Какими судьбами в будний день?

— Среди ваших братьев есть Федор? Федор Иванович Олексин?

— Есть. — Василий Иванович несколько оторопел. — Федя. Студент. А почему вы спросили, Мария Ивановна?

— В городской больнице лежит какой-то Федор

Олексин. Доставил его неизвестный бродяга солдат, сказал, что подобрал на дороге.

— А… что с ним?

— Было сотрясение мозга, как мне сказали. Но вы не волнуйтесь, Василий Иванович, он уже в полном сознании, все позади.

— Идем! — Василий Иванович заметался. — Катенька, извозчика!

— Извозчик у дома, я не отпускала, — сказала Мария Ивановна. — Только оденьтесь же: на улице дождь.

В благотворительном корпусе пахло промозглой плесенью, карболкой, плохо выстиранным бельем. На выщербленном каменном полу стояли лужи, железные койки проржавели, и даже сестры, в отличие от общих отделений одетые в серые халаты странноприимниц, казались убогими и нездоровыми.

Федор лежал у стены в низкой сводчатой палате. Он не удивился и не обрадовался, увидев брата: он вообще уже ничему не удивлялся и не радовался. Глянул отсутствующе, и этот взгляд больнее, чем все остальное, резанул Василия Ивановича.

— Феденька, узнаешь меня?

— Узнаю, — тусклым голосом сказал Федор. —

Васька-американец.

Впопыхах забыли об одежде, а своей у Федора не оказалось. Завернули в казенное одеяло. Серая сестра шла сзади, напоминая:

— Верните, господа, не позабудьте. Уж пожалуйста, верните: больным не хватает.

Всю дорогу Федор молчал, не отвечая на вопросы и ничем не интересуясь: куда везут, зачем, почему. Ему было все безразлично, все существовало точно в ином измерении, а в том, в котором находился он сам, были только воспоминания. И больно ему было не от толчков пролетки, а от этих воспоминаний. Только на квартире он несколько оживился. С видимым удовольствием вымылся, надел чистое белье, безропотно лег в постель.

— Кто эта женщина?

— Моя жена. Екатерина Павловна.

— Милая женщина какая.

— Ах, Федя, Федя! — Василий Иванович смахнул слезу. — За что же тебя-то, а? Тебя-то за что?

— Сейте разумное, доброе, вечное. — Федор медленно улыбнулся. — Сейте, только спасибо вам никто не скажет, не уповайте. Это ошибка, Вася. Поэтическая ошибка.

— Не думай сейчас ни о чем, не думай. Ешь, спи,

набирайся сил. Силы — это главное.

— Мысли, как черные мухи, всю ночь не дают мне покою… — Федор помолчал, спросил вдруг: — Я постарел, брат? Да-да, постарел. На сто лет постарел.

— Федя, господь с тобой, — пугаясь, сказал Василий Иванович. — Ты поспи лучше, Федя, поспи. Завтра поговорим. Вот проснешься утром, а рядом на полу — мальчуган. Коля. Он с тобой спать будет в этой комнате.

— Думаешь, брежу? Или, того чище, с ума тронулся? — улыбнулся Федор. — Нет, брат, здоров я. В твердом уме и ясной памяти. Знаешь, когда старость наступает? Сейчас скажешь, с возрастом, мол, тело изнашивается, обмен веществ и прочее. Нет, Василий, это еще не старость, это износ. Физическое одряхление. А старость — это познание тайны, только и всего. Одним на это познание жизни не хватает, и умирают они дряхлыми младенцами. А иным открывается она, тайна эта. Простая, как ухват. Вот тогда и наступает прыжок в старость, даже если тебе двадцать лет от роду: что, молодых стариков не встречал? Встречал, брат, встречал. И сейчас встретил: меня. Я эту тайну знаю теперь, хорошо знаю. Я ее головой почувствовал, самым темечком, детским

местом. Помнишь, макушки в детстве считали, у кого сколько? У тебя две, я помню. Двухмакушечный ты, счастливчик, значит. А у меня одна-единственная. И мне по моей единственной макушечке — колом…

— Федя, прошу тебя, успокойся.

— Я спокоен, Вася, спокоен. Я теперь так спокоен, как тебе и во сне не приснится. На всю жизнь спокоен, потому что искать более нечего. Вбили в меня тайну великую, и я — прозрел. Подл человек, Вася, подл изначально, по натуре своей — вот и вся тайна. Вы идеи сочиняете, сеете разумное, доброе, себя на заклание обществу готовите, об отечестве помышляете, жизней своих не щадите, а человек — подл. И какое бы вы открытие ни сделали, какой бы рай земной ни построили, как бы ни витийствовали, все равно человек — подл. Не подлец, заметь, подлец — это крайность, а просто подл. Тихо подл, подспудно подл…

— Не буду говорить с тобой, Федя, ты болен.

— Я не болен, я прозрел, Василий, прозрел. Созидайте, стройте, упивайтесь идеями — к концу жизни, даст бог, прозреете и вы. Не все, конечно: большинство-то как раз и не прозреет, так и помрет дряхлыми младенцами. Но ты пораньше прозрей, Вася, ты постарайся, Вася. А сейчас за-

помни, как «Отче наш»: человек подл. Каждый человек подл, и все без исключения. И я, и ты, и жена твоя, и…

— Мама тоже?

— Что? — растерянно переспросил Федор.

— Я спрашиваю, мама тоже была подла?

Федор надолго замолчал. Лежал, уставясь в потолок синими глазами, смешно и беспомощно выпятив тощую бородку. Потом сказал:

— А это нечестно.

— А лгать на людей честно?

— Это не ложь! — Федор дернулся на кровати. — Я заплатил за это, заплатил, слышишь? И ты не смеешь! Ты, двухмакушечник, баловень судьбы.

— Тебя вешали, Федя? — вдруг тихо спросил Василий Иванович, нагнувшись к заросшему лицу. — Вешали тебя? Потным арканом за шею? — Непроизвольным жестом он судорожно потер ладонью под тощей, как у брата, но аккуратно подстриженной бородкой. — Больно, когда убивают, правда? Больно. Лежи. Заснуть постарайся.

Он вышел в другую комнату, где за самоваром сидели женщины и глазастый напуганный Коля. Выпил стакан чаю, сдержанно отвечал на расспросы, думая о своем. Потом отставил стакан,

побарабанил пальцами и сказал:

— Мария Ивановна, мне бы место какое ни есть. Извините, что прошу, это неприлично, понимаю, но деньги нужны. Твердый заработок: Федора поднимать надо. А у своих просить не хочу. Не хочу!

— Какое место вы бы желали, Василий Иванович? Может быть, домашним учителем?

— Учителем — это замечательно, Мария Ивановна. Замечательно.

— Долгом почту помочь вам, дорогой Василий Иванович, — с чувством сказала Мария Ивановна. — Я наведу справки, надеюсь в субботу обрадовать.

— Я закончил математический факультет в Петербургском университете, — говорил Василий Иванович, провожая гостью. — Могу готовить по точным наукам — математике, физике. Впрочем, по любым, по любым в пределах гимназии. Я проштудирую курс, я готов ночами…

Федор хорошо выспался, с аппетитом позавтракал. Екатерина Павловна разыскала самого знаменитого врача, объяснила обстоятельства. Заинтересованное светило приехало незамедлительно: случай был любопытный. Он тщательно осмотрел больного, успокоил, выписал лекар-

ства. Потом пил чай в большой комнате, шепотом рассказывая:

— Сильный ушиб головы с сотрясением мозга. Не исключаю кровоизлияния в теменную область. Однако особой опасности не нахожу: организм молодой, здоровый.

— Психическая травма возможна? — осторожно спросил Василий Иванович.

— Не исключена, не исключена, милостивый государь: потрясение было сильным. Покой, прежде всего покой. Постельный режим, легкая пища, портвейн по утрам. Никаких излишеств, никаких душевных напряжений. Читайте ему что-нибудь простенькое. Журнальчики, Понсон дю Террайля. А как он попал в общество бродяг, на дорогу?

— Кажется, в Киев шел, в Лавру, — нехотя сказал Василий Иванович.

— Ваш брат религиозен?

— Нет. Просто увлечение молодости.

— Да, хотим все познать, — сказал доктор, вздохнув. — Все, даже непознаваемое. Неугомонное существо человек! И знаете, это прекрасно. Любознательность утоляет только опыт, и пока человек не утратит этого святого чувства, он остается человеком. А коль заменит однажды

любознательность любопытством, то будет преспокойненько сидеть у себя дома и пробавляться слухами. И уже перестанет быть человеком разумным.

Федор выдержал строгий режим неделю и запротестовал. После долгих увещеваний столковались, что один раз — к вечернему чаю — он будет сидеть за столом ровно час.

В субботу с нетерпением ждали Марию Ивановну. Прислушивались к каждому стуку, два раза ставили самовар — и напрасно. Василий Иванович не унывал, но был озабочен:

— Биография моя подкачала, Катенька. Кому нужен нигилист в учители детей своих?

Мария Ивановна приехала в воскресенье. Вошла, таинственно улыбаясь:

— Здравствуйте, господа. О, и Федор Иванович поднялся? А можно ли вам, Федор Иванович?

— Через сорок минут будет нельзя, — серьезно сказал Федор.

— А я с приятным известием, — сказала Мария Ивановна, садясь к столу. — Извините, что вчера не пришла: не поспела обернуться.

— Откуда не поспели? — насторожился Василий Иванович.

— Угадали, Василий Иванович, угадали! — за-

улыбалась Мария Ивановна. — В Ясной Поляне была, так что угадали. Узнала, что Толстые учителя своего уволили. Рождественского. Представляете, в классной комнате попойку учинил, и его же ученик Сережа, сын Льва Николаевича, нашел его там мертвецки пьяного! Ну-с, место свободно. Я переговорила. Ждут.

Василий Иванович молчал, сосредоточенно изучая стакан. Екатерина Павловна глянула на него, торопливо заулыбалась:

— Мария Ивановна, голубушка, уж и не знаю, как вас благодарить.

— Сережа хороший, добрый и способный мальчик, — продолжала акушерка, посматривая на молчавших братьев. — Вам будет легко с ним, Василий Иванович.

— А с графом-писателем? — спросил Федор.

— Не скрою, граф — человек сложный, но я убеждена, что Василий Иванович уживется с кем угодно.

— Извините, уживаться не привык, — сухо сказал Василий Иванович. — Да, не привык! И к тому, чтобы лакеи в белых перчатках обеды подавали, тоже не привык.

— Помилуйте, Василий Иванович, какие белые перчатки?

— Благодарствую за хлопоты, уважаемая Мария Ивановна, но это место не для меня. Да, да, не для меня. Катя! Вспомни наши разговоры, наши клятвы на корабле, наши мечты.

— Василий Иванович, голубчик, что вы говорите! Граф чрезвычайно демократичен…

— Ха-ха! — громко сказал Федор. — Демократичный граф — это прекрасно!

— Извините, Мария Ивановна, ради бога, извините, — строго повторил Василий Иванович. — Это предложение я не могу принять. Да, не могу! Не могу изменить своим идеалам, хотя это, возможно, и смешно. Не могу! И поэтому оставим этот разговор.

Над столом повисла неприятная тишина. Только чуть звякали ложечки.

— А у нас доктор Браудэ был, — сказала Екатерина Павловна. — Федора Ивановича смотрел…

И, заплакав вдруг, быстро вышла из комнаты.

Глава шестая

1

Заместителем командира 74-го пехотного Ставропольского полка был полковник Евгений Вильгельмович Бордель фон Борделиус. Эта звучная фамилия служила предметом постоянных офицерских острот, однако острить дозволялось лишь однополчанам, да и то не впрямую, а с намеком: тонкостью этого намека и оценивалась глубина остроумия. Офицеры изощрялись как только могли, ревниво следя за исполнением договорных условий; нарушителей одергивали неукоснительно и строго.

Сам Евгений Вильгельмович — человек отменного хладнокровия и уравновешенности, не позволявший себе повышать голос даже на солдат, — относился к шуткам в собственный адрес с живейшим любопытством, а наиболее удачные остроты записывал для памяти. И если они повторялись, говорил: «Вчера, поручик, вы изволили использовать остроумие трехмесячной давности: впервые на эту тему проехался капитан Дмитрий Афанасьевич Сашальский.

Либо изобретите что-либо новенькое, либо смените цель. У нас в полку есть капитан Арендт, поручик Кандиляри, подпоручик Макроплио или младший врач Опеньховский. Попробуйте поговорить касательно «арендтной» платы, прикажите как-нибудь зажечь «кандиляри» или назовите подпоручика Микроплио: может быть, это поднимет ваш престиж острослова». Говорил он ровным, скрипучим голосом, всегда длинно и нудно, и проштрафившийся надолго запоминал выволочку. Если же острота оказывалась свежей, полковник заносил ее в книжечку, ставил дату и с чувством жал руку автору.

Об этом рассказал портупей-юнкеру Владимиру Олексину подпоручик Герман Станиславович фон Геллер-Ровенбург — нервозно-живой, скорее крикливый, чем звонкий, имеющий неприятную привычку хрустеть длинными костлявыми пальцами. Он был оставлен с дежурной частью при главной квартире в станице Крымской; сам же полк вот уже месяц как выступил в Майкоп на ежегодные дивизионные учения.

— Так что острите осторожно, юнкер. Осторожно и умно, если не хотите получить внушение.

Подпоручик старательно грассировал, но иногда забывался и говорил вполне правильно,

поскольку картавил только для шика.

— Я не собираюсь острить.

— Напрасно, юнкер, напрасно. Остроумие у нас ценится весьма и весьма. Признаться, скучновато, юнкер, скучновато. Днем служба, служба, служба, «неукоснительно и непременно», как говорит подполковник Ковалевский. Полагаете, вдалбливаем словесность? Черта-с два-с, юнкер, черта-с два-с! А по холмам на брюхе не желаете ли? А от стрельбы оглохнуть не стремитесь, нет? Странно, мы стремимся. Полк, изволите ли видеть, кавказский, большинство офицеров — старые вояки. «Вперед, молодцы, ура, ура-ура!» — вот что им снится. И в соответствии с этим — сами понимаете. Из кожи вон лезем.

С уходом полка в Крымской стало тихо: остались лишь тыловые службы, лазареты, обозы да дежурная часть. Подпоручик изнемогал от скуки и до смерти рад был вцепиться в только что прибывшего неофита.

— А вечером, думаете, отдых? Какое там! Ни Лизет, ни Анет, ни даже цыганочек здесь не сыщете. А дочери офицеров на выданье — это же клюква в лампадном масле, юнкер, клюква в лампадном масле! Ну, играем по маленькой. Вы играете? Ага, отлично! Почему по маленькой, спросите? А

потому, друг мой, что по большой начальство не велит. Да-да, представьте себе! Полковник лично меж столов ходит и на ставки поглядывает: каков антураж? Иметь долги здесь считается неприличным, чуть ли не оскорблением чести полка. Представляете, поручик Ростом Чекаидзе в прах проигрался в Тифлисе! Приехал герой героем, а Бордель дознался, тут же выплатил весь его долг и теперь изымает у Ростома из жалованья. А уж разговору-то было, разговору! И Чекаидзе из героя превратился чуть ли не в посмешище. В отставку просился, ей-богу, в отставку! Допекли, вот как-с, юнкер, вот как-с.

Старшим начальником в Крымской оказался подполковник Ковалевский — старый кавказский служака с орденами, одышкой и многочисленной семьей. Служил он старательно и исправно, новшеств не любил и, получив два сабельных да одно огнестрельное ранение в стычках с немирными горцами, войны откровенно не хотел, за что и считался в полку чудаком. Когда Владимир по всей форме представился ему, спросил озабоченно:

— Война будет ай нет? Что в Москве-то говорят, голубчик?

— Ждут, господин полковник. С нетерпением и

надеждой, уповая…

— Уповая, — вздохнул подполковник, покачав большой, бритой на кавказский манер головой. — Уповать на милость надо, юноша. На милость да на благо, неукоснительно и непременно.

— Однако, господин полковник, известные турецкие зверства заставляют нас вспомнить об оружии, — рискнул поспорить юнкер. — Если изволили читать о резне…

— Писать да читать — самое пустое занятие, — добродушно сказал подполковник. — Чего ради деньжат не сочинишь! А воевать — значит убивать. Этак вот штыком душу выпустить. Каков бы ни был злодей — черкесец там, турка или чечня, — душа-то у него есть? Есть. А вы ее — наружу. Ох-хо-хо, нехорошо все это, голубчик. Сам грешен, знаю: нехорошо. Поверите ли, по сей день сплю плохо. То есть так скверно сплю, не приведи бог никому. Уж и молюсь до пота, и говею, и пощусь, а сон нейдет. Нейдет сон, и все тут. Отчего нейдет, а? От греха. От убийства, которое производил согласно должности и присяге. И сна за то лишен, так полагаю, что Богом. Ох-хо-хо! — Подполковник еще раз вздохнул и сокрушенно покачал головой. — Однако как же вы, юноша, один-то, а? Господа офицеры в Майкопе, собрание закрыто

— затоскуете, поди?

— Ничего. Как-нибудь.

— Как-нибудь — это где-нибудь, а не в Семьдесят четвертом Ставропольском. Пожалуйте ко мне вместе с подпоручиком Геллером, прошу покорнейше ему приглашение передать. Да, да. Жена пирог испечет, посидим, потолкуем. О Москве расскажете, жена и дочери рады будут. Не откажите, голубчик. Очень обяжете, очень.

— Зазвал-таки? — рассмеялся подпоручик фон Геллер-Ровенбург, когда Владимир поведал ему о результатах официального представления. — Ну, не завидую. Дочери у него — монстры. Три монстры, представляете? Ужас! Стихи заставят читать, вот увидите. Зубрите заранее.

— Давайте вместе зубрить, Герман Станиславович. Не покидайте в тяжелую минуту, и это зачтется вам.

— Я? Туда? — Подпоручик был искренне поражен. — Окститесь, юнкер: там наши не бывают. Там же этакие, знаете ли… — он похрустел пальцами, — селяне. Да, да, самые натуральные: подполковник родом из сельских попиков — тех, знаете ли, что сами пашут, сами сеют. Дослужился верой и правдой, честь ему и хвала, дослужился — и не закрепил. Женился на казачке, этакой

Ганке. Добро бы с приданым, ан нет: по любви. По горячей страсти на полуграмотной казачке, хоть и дворянке по отцу: знаете это казачье дворянство за удаль? Нет, это немыслимо, юнкер, немыслимо!

Вероятно, это было действительно немыслимо, но Олексин все же уговорил подпоручика. То ли фон Геллеру было тоскливо в опустевшей станице, то ли долг хозяина он ставил выше личных симпатий, то ли, несмотря ни на что, ему очень хотелось познакомиться поближе с кем-либо из «трех монстров», а только сопротивлялся он лениво и недолго. Сговорившись, молодые люди надели первосрочные мундиры и прибыли на скромный домашний чай точно на высочайший смотр.

Гостей было немного. Полковой священник отец Андрей Варашкевич; приземистый и длиннорукий, похожий на сельского коваля прапорщик Терехин; вислоусый, тоже по кавказской моде бритый наголо чернобородый капитан Гедулянов да коллежский секретарь Иван Герасимович Ефимов. Батюшка и чиновник пришли с женами, но жены пока сидели в задних комнатах, у девочек, а гостей принимала круглолицая чернобровая хозяйка Прасковея Сидоровна. Соб-

ственно, весь прием заключался в улыбках с ямочками на персиковых щеках да бесконечной беготне на кухню, где вот-вот непременно должен был подгореть пирог. Суетилась она от смущения, а виной тому было появление молодых людей в мундирах и при оружии. Постоянные гости, к которым она давно привыкла, вели себя запросто: сидели в расстегнутых сюртуках, просили кваску похолоднее и по-свойски звали ее Сидоровной.

Молодые люди тоже чувствовали себя не в своей тарелке. И хозяин, и гости были старше их, давно знали друг друга не только по службе, а «монстры» что-то не появлялись, и разговор никак не клеился. Гедулянов вел скучнейшую беседу с Терехиным о преимуществах кабардинских лошадей, хозяин толковал о погоде, чиновник жаловался на поясницу, а отец Андрей, умно улыбаясь в любовно расчесанную бороду, вставлял замечания большей частью загадочного свойства:

— Лошадь — тварь женского рода.

— Позвольте, а если жеребец?

— Все равно женского. Вы о ней как о женщине говорите, как о женщине думаете. Право, господа, поверьте.

— Кабардинки в лаве ушами прядут, — говорил

прапорщик, упрямо не соглашаясь признавать выдающихся свойств у местной породы. — Мне казаки рассказывали.

— Прядут те, которые выезжены скверно, — басил чернобородый мрачноватый капитан. — Извольте выездить, а уж потом требуйте с коня. А выносливы-то, батенька, выносливы-то каково! При особом театре военных действий, коим является Кавказ, — незаменимая лошадь. Круч не страшится, жрет что ни попадя…

— Человек — скотина всеядная, — сказал отец Андрей: у него была способность говорить глупости, умно улыбаясь. — Потому и пост введен. Потому и соблюдать их надобно. Не токмо ради исполнения заветов, но и на пользу сущую.

— Для сущей пользы к столу прошу, — сказал хозяин, гостеприимно растопырив руки, точно сгоняя кур. — Прошу, господа, прошу, у хозяйки пироги перестоятся.

Не успели рассесться, как вошли дамы. Матушку и чиновницу Владимир почти и не приметил, потому что во все глаза смотрел на трех сестер Ковалевских.

«Монстры» выплыли, как гусыни: плавно, неторопливо, строго одна за другой. Были они погодками, похожими друг на друга, как патро-

ны: крепенькие, кругленькие, с материнским пушком на крутых щеках. Только средняя, семнадцатилетняя Тая, путала это сходство: пшеничный ус отца перебил в ней материнскую южную жгучесть, породив копну огненно-рыжих кудрей, но оставив колючие черные бровки. Сестры заученно присели, пролепетали что-то, изо всех сил стараясь не глядеть на молодых людей, и с шелковым шелестом уселись на стулья.

— Благословим трапезу и почнем, — сказал отец Андрей, заправляя крест за вырез рясы. — Могии вместити да вместит.

Владимир оказался напротив рыженькой, но глазел на нее не только потому: сядь она в самый дальний угол, он бы и тогда нашел возможность косить глаза. Просто немыслимо было оторваться от огненной головы, длинных, испуганно вспархивающих ресниц и румянца на пухлых, с ямочками щеках. Да, в такую нельзя было влюбиться: ни полной фигуркой, ни круглым тугим лицом (надавишь — кровь брызнет!) она не отвечала современной изнеженной моде и с этой точки зрения и впрямь была монстром. Но оторвать глаз от этого возмутительно молодого, переполненного жизнью «монстра» было совершенно невозможно.

— Не проглотите визави, — шепнул подпоручик.

— Да что вы! — Владимир очень смутился, забормотал. — Вы правы, поручик, селянский монстр, не более того. Если и смотреть на нее, так только сдерживая смех, ей-богу.

— Не скажите. — Герман Станиславович плотоядно прищурился. — При взгляде на нее я начинаю понимать каннибалов. Право, юнкер, я бы ее съел. Даже без соли.

За столом шло обильное возлияние, подкрепленное солидной закуской. Здесь пили и ели без затей, стол красноречиво доказывал это. Пили большей частью местное вино; оно очень понравилось Владимиру, но по молодости он малодушно отрекся от собственного вкуса:

— Кислятина с претензией.

— Да? — озадаченно спросил подпоручик; после обеда они вышли покурить в сад. — А мне, представьте, нравится. Право, что-то есть. Что-то от земли, настоящее что-то, юнкер. И эта рыжая корона…

— Вы о ком?

— Я? Я о ней, о Тае-Лореляе. Огонь-девица: только и ждет, чтобы взорваться. Вот бы этот фитиль поджечь, а, юнкер? Сгорел бы в объятиях вместе

со шпорами.

— Раньше не видели, что ли?

— Где же? На балы папахен с мамахеном старшую вывозят, а она черна, как головешка. А младших, естественно, придерживают: в этих семьях очередь за женишками.

Позвали в дом, где к тому времени подали чай, домашнее печенье, сладости. Мужчин хозяин пригласил к себе, что очень обидело Владимира, которого не пригласили; впрочем, он вскоре утешился, досыта вознагражденный застенчивыми улыбками девочек и заботливой суетой женщин. Отец Андрей, как старший, сидел во главе стола: он не жаловал карточной игры.

— Ну-с, юноша, всяко время отмерено. Сейчас ваше: жаждем рассказа, аки воды в песках. Что же в Москве слыхать, кроме звона малинового?

— В Москве? Да что, собственно, в Москве…

Три пары девичьих глаз с живейшим любопытством уставились на него. Владимир по очереди заглянул в них, как в темные колодцы, выбрал те, что светились тем же тяжелым золотом, что и волосы, и не очень уверенно начал говорить о том, чем жила Москва: о Болгарии, Сербии, турецких зверствах. В Москве он как-то не слишком прислушивался к этим разговорам, занятый ученьями и

строем, но здесь, под девичьим прицелом, сразу припомнил все, что знал и что слышал, и даже то, чего не знал и не слышал, но вполне мог знать. Он живописал трагедию Батака с такими подробностями, будто сам все видел, рассказывал о несчастном апрельском восстании, будто лично участвовал в нем, описывал башибузуков так, будто сам когда-то отражал их натиск. Женщины плакали, священник удрученно качал головой, но высшей наградой были блестящие от слез глазки, что уже без всякого стеснения смотрели на него.

— Терпелив Господь, — со вздохом сказал отец Андрей. — Многотерпелив, но не бесконечно. Нет, не бесконечно!

— Какие страдания! — всхлипывала чувствительная матушка.

— Куда смотрит Европа? — строго спрашивала чиновница, когда-то с грехом пополам кончившая провинциальный пансион. — Турки творят бесчинства на священной земле Европы, а она потворствует им!

— Куда смотрим мы! — вдруг громко сказал Владимир. — Турки зверствуют не просто в Европе: они проливают славянскую кровь. Они подняли меч на славян — и горе им! Мой старший брат

уже сражается с ними в Сербии, я добровольно попросился сюда, чтобы тоже сражаться. Чаша славянского терпения переполнилась!

Последнюю фразу он неоднократно читал в газетах, но здесь она прозвучала к месту. Внимательные глазки под рыжей копной вспыхнули таким восторгом, что Владимира кинуло в жар. И он впервые смело улыбнулся прямо в лицо рыжей девочке, вмиг закрасневшейся и очень мило опустившей головку.

Приподнятое настроение не оставляло юнкера весь вечер. Он удачно шутил, хорошо поговорил с Прасковеей Сидоровной о родных, получил ее материнский поцелуй, перемолвился с сестрами и даже с Таей и покинул гостеприимный дом с приглашением заходить запросто, когда захочется.

— Влюбились, юнкер? — весьма желчно поинтересовался подпоручик. — Втюрились в казачью клецку?

Отменное настроение сразу покинуло Олексина. Он вдруг вспомнил далекую и недосягаемую Лизоньку, утонченных, жеманных и — увы! — тоже недосягаемых девиц Москвы, моды, от которых по молодости был несвободен и измену которым считал почти святотатством. Да, в ры-

жую казачью клецку можно, пожалуй, было бы и влюбиться, но хвастаться таким романом было немыслимо. И поэтому он решительно отверг все подозрения:

— Да что вы, поручик! Мне еще пока не изменял вкус.

— Кажется, вы славный товарищ, Олексин. — Фон Геллер ободряюще потрепал юнкера по плечу. — Кстати, ведь у вас нет лошади? Я вам дарю одну из своих. Будем друзьями, Олексин, и… И навестим, пожалуй, завтра же эту потешную семью. По рукам?

— По рукам, поручик!

Они крепко пожали друг другу руки, хотя где-то в самом затаенном уголке сердца Владимир чувствовал непонятную, но пока не тревожащую его горечь.

2

Девушка все же пошла с ними. В ответ на все аргументы Олексина Стоян лишь пожал плечами:

— У нее нет никого, кроме брата. А брат — это я.

— Но посудите сами, господин Пондев, уместно ли девице путешествовать с десятком мужчин? Я уж не говорю об опасностях. Естественно, мы

защитим ее, но…

— Заодно защитите ее и от самих себя, поручик. Этого будет достаточно.

И Гавриил отступился. Любчо — а для всех она по-прежнему оставалась Любчо — шла в середине отряда, не жалуясь на переходы, ночевки на сырой земле и тяжесть поклажи. Олексин поначалу поглядывал на нее, но девушка упорно избегала его взгляда, ни с кем не заговаривала и старалась держаться возле брата, а если он уходил вперед, то возле вечно ухмыляющегося Митко. К ней быстро привыкли, только Захар непримиримо ворчал:

— Девка середь мужиков — последнее дело. Не божеское дело, господа офицеры.

Господа офицеры не разделяли его позиции, наперебой оказывая ординарцу знаки особого внимания. А Збигнев Отвиновский, подкрутив усы, отважился и на ухаживания, но получил афронт и на вторую попытку не решился.

— Дикарка, господа. Прелестная амазонка, но, увы, отрекшаяся от земных слабостей.

Несмотря на заверения штаба, что на пути возможны лишь встречи с отдельными отрядами пехоты, шли осторожно, избегая дорог, деревень и открытых пространств. Бранко вел уверенно,

свободно ориентируясь в сильно пересеченной местности, где горизонт зачастую был сужен до пределов лощины. С ним постоянно шли двое болгар, и чаще всего на эту опасную работу добровольно вызывался Христо Карагеоргиев, самый молчаливый, сдержанный и, видимо, образованный болгарин. Он словно избегал контактов с русскими, стараясь держаться в отдалении; если случалось вступать в разговор, отвечал кратко, сухо, а порой и неприязненно.

— Насолили мы ему, что ли? — удивлялся Совримович. — Остальные болгары как болгары — веселые, общительные, а этот — бука. И явный русофоб, Олексин, явный. Потолкуйте с Пондевым при случае.

Гавриил потолковал. Стоян усмехнулся:

— Эта троица — Карагеоргиев и его приятели Тодор Ганчев и Хаджи Хаджиев — не наши. Сидели в Бухаресте при Комитете, писали письма да воззвания. Правда, Карагеоргиев уверяет, что ходил с Христо Ботевым, но я ему не верю: чета Ботева вся погибла, а он почему-то спасся.

— Вы не доверяете им, Стоян?

— Отчего же? Только мои люди проверены в боях, а эти — в спорах, стоит ли вести бои. Договорились до того, что некоторые прямо заявляют:

не надо было в апреле поднимать восстание. А другие и того хуже: дескать, слава богу, что была батакская резня, этим мы привлекли внимание всей Европы к несчастной Болгарии. Привлекли внимание за счет мученической смерти детей и женщин! Как благородно это звучит, не правда ли, поручик?

— Да, Батак, — вздохнул Олексин. — Я читал о Батаке корреспонденцию Макгахана. И слушал рассказ почти из первых уст. Там ведь, кажется, никто не спасся?

— Спасся, — помолчав, нехотя сказал Пондев. — Это шрам — оттуда.

— Стойчо Меченый? — с удивлением спросил поручик. — Так вот вы какой… Газеты много писали о вас.

— Все тот же Макгахан?

— Вы знакомы с ним?

— Нет, но хочу познакомиться. Кажется, он действительно любит Болгарию; горькую родину мою.

— Вы получили хорошее образование, Стоян?

— Небольшое: гимназия в Велико Тырново да два курса университета в Бухаресте. Мой отец — чорбаджи, состоятельный человек. Был.

— А вы один из самых знаменитых гайдуков

в Болгарии. О вас уже песни слагают.

— Песни слагают не обо мне, а о моем воеводе Цеко Петкове. Он более тридцати лет воюет с турками, три года просидел в Диарбекире прикованным к стене, бежал. А я, что я? Я такой же, как Кирчо или Митко.

— Но не такой, как Христо Карагеоргиев.

— Это он не такой, как мы. Многие из эмигрантов боятся России.

— Чем же их так испугала Россия?

— Самодержавием, поручик.

— У русского народа нет иной цели, кроме полного освобождения славян, — убежденно сказал Олексин.

— Вот они и беспокоятся, не придет ли вместе с освобождением и самодержавие.

— Странная мысль. И вы так же считаете?

— Я воин, а не политик. И как воин твердо знаю: без военной помощи Руси нам не обойтись. Воевать за нас никто не станет, а своими силами нам не свергнуть османов. Опыт апрельских восстаний доказал, что для того, чтобы победить, мало одной отваги. Нужны профессиональные офицеры, а откуда их возьмет Болгария? Турки поступают разумно, не призывая наших юношей в свою армию: зачем готовить потенциальных

бунтовщиков?.. Смотрите, как сердито озирается моя сестра. Это означает, что ужин готов.

Несмотря на большие переходы, усталость и ощущение опасности, ужин всегда проходил оживленно: сказывалась молодость и, главное, присутствие женщины. Болгары шутили, часто и с удовольствием смеялись, беззлобно задевая друг друга и даже неприступного ординарца. Офицеры не принимали участия в общем разговоре из-за плохого знания языка, но это никого не смущало.

— Наш Любчо опять плакал в похлебку от неразделенной любви! — шумел Митко. — Дайте мне скорее вина: надо же развести эту соль!

— Да ты просто пьяница, Митко, — улыбался мрачноватый Кирчо. — Ты нарочно подсыпаешь себе соли, чтобы выпросить лишний глоток.

— Никогда так вкусно не ел. — Бранко причмокивал от удовольствия. — Положи мне еще черпачок, Любчо.

Ему нравилась строгая и тихая девушка, и он не скрывал этого. Да и Любчо, привыкнув, вскоре стала улыбаться ему, как улыбалась только своим.

— Хорошо здесь, чудо как хорошо! — Совримович разглядывал звезды, щедро высыпавшие на

темном осеннем небе. — Благословенный край, господа. Вот кончится эта война, и я убежден: Сербия никогда не будет воевать. Ведь кто в основном воюет? Воюют те, кто оказался на плохих землях, в дурном климате, то есть мы да немцы. Так сказать, от неуютности жизни.

— А французы? — лениво спросил Отвиновский. — Они не укладываются в вашу схему.

— Французы воюют от легкомысленной любви к подвигам.

Спали под открытым небом, завернувшись в тонкие казенные одеяла; складную палатку ставили только для Любчо. Утренники были росными и холодными; случалось, Захар еще затемно не выдерживал. Поднимался, шепотом ругаясь, раздувал погасший костер, заботливо укутывал сладко спавшего командира. Ежась от холода, зевал подле костра; согревшись, шел за водой. Когда девушка поднималась, кипяток был уже готов.

— Спасибо, — по-русски говорила она Захару.

А Захар вздыхал и сокрушенно качал косматой головой: не дело, когда девка одна середь мужиков, не дело!..

При этом они были добрыми друзьями; их дружбу скрепляла общая тайна: Захарова раз-

ведка и две ответные пощечины. Захар часто ловил на себе ее совершенно особый, лукавый, чисто девичий взгляд, улыбался и подмигивал: все в порядке, мол, девка, знай себе помалкивай в тряпочку.

И в это утро он проснулся от знобящей дрожи: все же постарше остальных был, да и полушубочек коротковат достался. Покряхтел спросонок, поругался по привычке — он всегда по утрам ругался, иначе мужиков разбалуешь. Поглядел, как барин спит и остальные господа, поправил на Отвиновском сербскую шинельку, прошел к костру, разворошил угли, раздул. Затем подложил хворосту, скрутил цигарку и уселся греться. Часового в это туманное мглистое утро что-то не видно было. Обычно тоже на огонек приходил, а тут то ли не замерз еще, то ли службу нес исправно, то ли русского стеснялся.

Покурив и согревшись, Захар взял ведро и пошел к ручью. Для этого следовало осторожно, от ствола к стволу спуститься по крутизне на дно затянутой сплошным туманным облаком расселины, выйти ею до оврага, там в бочажке почерпнуть ведро и на четвереньках вползти наверх. Конечно, для молодых путь, что и говорить, но молодые еще неизвестно когда проснутся, а

девушка вставала рано.

В самом начале спуска, в кустах, что окружали поляну, он наткнулся на часового. Парень мирно спал, привалившись спиной к дереву и обняв ружье. Захар хотел было разбудить его, но раздумал: пусть поспит, покуда он с водой не вернется, а ругать всегда поспеется. Доложит поручику, а тот уж решит, кому ругать: самому или Стояну. Может, даже Стояну сподручнее: все же свой брат, болгарин.

Размышляя так, Захар скатился по крутому откосу, нырнул в туман и задержался, отдыхая и прислушиваясь. Спускался он ловко, зажав дужку ведра: не брякнул, не громыхнул, но показалось, будто брякнул. Будто проплыл металлический звон, короткий и вроде бы неблизкий. Неудобно замерев меж двух валунов, Захар старательно прислушивался и никак не мог понять, откуда донесся этот ясный железный звон: то ли он сам сплоховал с ведром, то ли звон этот приплыл к нему из туманной расселины. Но ни звона, ни иных каких звуков не слышалось, и Захар с неудовольствием понял, что брякнул сам. А на всякие звуки металлические и Олексин, и Совримович, и Стоян упирали особо: звук в лесу — что костер в чистом поле. Приказывали, упрашивали,

предупреждали: только не звенеть. Упаси бог не звенеть ничем.

Вздыхая и сокрушаясь, Захар ощупью лез по ущелью через огромные камни, придерживая ведро. Пробирался он словно в густом молоке, не видя, куда ставит ногу и за что сейчас хватается, но был еще очень силен, ловок — много охотился, умел ходить неслышно и невидно и не испытывал особых неудобств от такого передвижения.

Второй раз он услышал звенящий звук совсем рядом и сразу понял, что звенит небрежно подтянутое стремя. Звенит где-то за плотной завесой тумана чуть впереди него. Замер, вслушиваясь и припоминая, что впереди овраг, что по этому оврагу петляет тропа, расслышал тупой перестук обернутых тряпками копыт, тихий всхрап лошади и сообразил, что по оврагу, обтекая их лагерь, движется конный отряд. И мысленно возблагодарил Бога, что не разбудил часового: он бы топал сейчас наверху, кашлял, брякал, ломал бы сучья. Но, по счастью, тот спал, и ни единый шорох поэтому не доносился сверху. Набравшись смелости, Захар еще немного прополз вперед, удобно устроился, выглянул и успел разглядеть в сером туманном мареве смутные силуэты лошадей и всадников, что вели их в поводу: двое

были в бурках, и Захар сразу догадался, кто тихо, по-волчьи обходил понизу их лагерь.

Забыв о ведре, он змеей пополз назад, к повороту расселины: туман уже редел, клочьями сползая с утесов, и надо было успеть, успеть во что бы то ни стало добраться до спящих раньше, чем их обнаружат. Миновал выступ и, прикрытый им, полез наверх, к лагерю, торопясь и в кровь обдирая руки о колючие плети ежевики. Добрался до часового, растряс, знаками объяснил, что надо молчать, затоптал разгоревшийся костер и только после этого тронул за плечо поручика:

— Беда, Гаврила Иванович. Черкесы понизу обходят.

3

Василий Иванович переживал период острого душевного разлада. После гордых слов о лакеях в белых перчатках и измене идее, после столь горячего отказа, поддержанного Федором, в глубине души он все же надеялся, что Мария Ивановна начнет его разубеждать, уговаривать, а возможно, даже и просить. Но акушерка лишь недоуменно пожала плечами, повздыхала на слезы Екатерины Павловны и стала говорить о пустяках. Терпеливо высидела вечер, мило распрощалась

и исчезла, и Василий Иванович изнемогал от борьбы с самим собой. То он вдруг вспомнил, что семья в долгах, что нет ни денег, ни доходов, ни перспектив, и терзался, что поспешил с отказом: метался по квартире, в отчаянии щипал редкую бородку, называл себя испанским ослом и торжественно клялся Федору, что пойдет чернорабочим на оружейные заводы. То переполнялся невероятной гордостью, значительно покашливал и говорил, что только так и следует утверждать свое «я», что он беден, но не ничтожен, что идея его — служить добру, а не знатности и богатству, что… При этом он опасливо поглядывал на жену, но Екатерина Павловна была женщиной умной и терпеливой, привыкшей плакать наедине и улыбаться сообща.

— Ничего, Васенька, мы и так проживем. Честь дороже всего.

— Напиши Варе, — сказал Федор. — Существуют твоя и моя законные доли маминого наследства.

— Ни в коем случае! — категорически отвечал Василий Иванович. — Ты забыл нашу клятву никогда, ни под каким видом не пользоваться неправедным богатством?

— Клятву я помню. А Катя тут при чем?

— Ничего, ничего, уж как-нибудь. Признаться,

мне лишь одного жаль: обидел хорошего человека. Я говорю о Марии Ивановне: видишь, не появляется более.

— Умна — так появится, — проворчал Федор. — А коли не очень, то и бог с нею.

— Все правильно, — бормотал Василий Иванович, думая о своем. — Все замечательно, и все распрекрасно.

А думал он опять-таки о том, что же все-таки ему делать, и думал с отчаянием. Он не склонен был к панике, обычно трезво оценивая обстановку, но сейчас эта обстановка сама становилась панической. Они задолжали хозяину, кредит в лавочке держался лишь на улыбках Екатерины Павловны, Федору предстояло еще лечиться, и денег не было ни гроша.

Так продолжалось дней десять. Василий Иванович днем мыкался по городу в поисках приработка, а вечерами строил планы, которые тут же разрушал. Строил он не столько для себя, сколько для Федора, надеясь, что брат загорится и, как прежде, примется с увлечением кроить шубу из неубитого медведя. Но Федор только скептически усмехался.

— Угас ты, Федя, — озабоченно сказал Василий Иванович, исчерпав весь арсенал фантазий.

— То был бенгальский огонь, Вася, — усмехнулся Федор. — Ни света, ни тепла — один треск во всю Ивановскую.

— Да, брат, — вздохнул Василий Иванович. — Много у нас на Руси этого огонька. И Мария Ивановна что-то не едет, не едет, не едет.

Екатерина Павловна не ораторствовала, а бегала в поисках практики, экономя на извозчиках. Приходила, с ног валясь от усталости, и, наскоро переодевшись — шли дожди, мокрый подол хлестал по ногам, — торопилась к печи на хозяйскую половину. А сготовив и накормив младенцев — бородатых и безбородых, — садилась к лампе чинить и штопать, прислушиваясь, не постучат ли внезапные пациенты. Теперь она брала деньги со всех, кому помогала, брала, конфузясь и страдая, и плакала по ночам оттого, что вынуждена была их брать. А по утрам улыбалась:

— Вставайте, лежебоки! Завтракайте, я уже поела. Феде и Коленьке по чашечке какао, а вы, сударь мой Василий Иванович, чайком обойдетесь.

И убегала без завтрака. По знакомым и незнакомым, по больницам и ночлежным домам, по рабочим казармам и полицейским участкам. Рожали везде. Рожали много и бестолково, плодя

больных, нищих и бесприютных, в лютых муках расплачиваясь за свой, а чаще за чужой грех. И этот чужой грех, искупленный страданием, и был практикой Екатерины Павловны. В богатых домах детей принимали другие.

— Напиши Варваре, Василий.

— Нет. Я стану презирать себя, если сделаю это. Я пойду работать. Я не боюсь никакого труда, я докажу, что не боюсь.

Но пока Василий Иванович говорил, ничего не доказывая. И Федор, назойливо упрашивая его написать Варе, сам такого письма не писал и писать не собирался. То ли боялся, что начнут жалеть, то ли просто пребывал в равнодушии, принимая все как должное и расплачиваясь унылыми советами.

Мария Ивановна приехала внезапно. Екатерины Павловны не было дома, и дверь открыл Василий Иванович.

— Извините, Василий Иванович, но я не одна. Не примете ли гостя?

— Бога ради, Мария Ивановна, бога ради, пожалуйста! — Василий Иванович суетился в некоторой растерянности, ибо как раз в этот вечер они отужинали с последним сахаром. — Прошу, прошу покорно.

Мария Ивановна выскользнула за дверь — братья недоуменно переглянулись — и вновь появилась в сопровождении неизвестного господина.

— Позвольте представить вам, Лев Николаевич, братьев Олексиных: Василия и Федора Ивановичей.

— Очень рад, господа, познакомиться, — сказал Толстой, снимая круглую шляпу. — Увидеть зараз двух нигилистов, да еще родственников, — редкость.

Василий Иванович очень растерялся и все еще по инерции кланялся, потирая руки. А Федор — он занимался с мальчиком за столом — откинулся к спинке стула и нахмурился:

— Если ваше сиятельство вкладывает в слово «нигилист» тот обывательский смысл, которым пестрят наши газеты, то я попросил бы…

— Да полноте, — махнула рукой Мария Ивановна. — Лев Николаевич шутит, а вы — сразу на дыбы. Садитесь, Лев Николаевич, современная молодежь ведь и стула не предложит: сразу в спор.

— Почему же непременно современная? Любая, — улыбнулся Толстой, садясь и продолжая с интересом разглядывать братьев. — Только

вот насчет сиятельства вы, Федор Иванович, напрасно. Если не против, называйте Львом Николаевичем, а титулы оставим для господ из губернского правления.

— Блажь, — буркнул Федор.

Мария Ивановна нахмурилась и покосилась на Толстого. Василий Иванович растерялся еще более и засуетился еще более, хотя теряться и суетиться более уже было невозможно. И только Лев Николаевич улыбался добродушно и даже одобрительно.

— А пускай себе и блажь, что же в этом дурного, Федор Иванович?

Федор неопределенно пожал плечами и примолк. Василий Иванович поспешно отправил Колю в другую комнату, покрутился и сел на освободившийся стул, все еще нервно сцепляя и расцепляя руки.

— Господа, я в затруднении… — начал было он и замолчал.

Он имел в виду отсутствие сахара и невозможность предложить чаю. Но гости о сахаре ничего не знали и слова истолковали по-своему.

— Считайте, что гора пришла к Магомету, — улыбнулась Мария Ивановна.

— Признаюсь, обяжете, коль разъясните пози-

цию, — сказал Толстой. — Мне любопытно знать, право, очень любопытно. Я ведь не вспомоществование предлагаю, а работу, а от работы какой же резон отказываться? А коли есть такой резон, то готов выслушать, затем и приехал.

Василий Иванович развел руками, с надеждой посмотрел на сердитого Федора и неожиданно улыбнулся конфузливой и обезоруживающей олексинской улыбкой.

— Право, не знаю, как и начать.

— Позицию изложите, позицию, — проворчал Лев Николаевич. — Ведь есть же у вас позиция? Какая? Не работать? Не верю. Наслышан о вас, об идеях ваших, об американских приключениях — вот Мария Ивановна рассказывала. И вдруг — отказ. Признаюсь, не понял. Что здесь — фанаберия? Не верю, не могу поверить: вы человек страдательный. Страдать умеете и любите — за других, разумеется. Тогда почему же? Объяснитесь, сделайте милость.

Федор хотел что-то сказать — что-то непримиримое, резкое, но раздумал. Василий Иванович глядел в стол, пальцами старательно разглаживая скатерть.

— Вероятно, все дело в форме вознаграждения за труды, — сказал он и тут же испуганно вскинул

глаза. — Нет, не о сумме. Боже упаси, не о сумме! О форме, понимаете? Ощущать ежемесячный конверт в руках, писать расписки. Вероятно, я горожу чушь. Лев Николаевич, даже, наверное, чушь несусветную, но… Но, боже мой, как мы спорили об этом на пароходе! Как делить доходы? Как измерить труд человеческий — не физический: физический труд зрим, его можно измерить, — а как определить труд неопределяемый? Труд учителя, инженера, агронома?.. Я не то говорю, извините, но мы спорили об этом.

— И к какому же выводу пришли? — заинтересованно спросил Толстой.

— Да ни к какому. Интеллигенция отдает знания, следовательно, ценятся знания как таковые, а не труд. К какому же выводу тут можно прийти?

— Я думаю, что форму мы уладим, — сказала Мария Ивановна: ее по преимуществу интересовали вопросы практические. — Я переговорю с Софьей Андреевной, не беспокойтесь.

— А Василия Ивановича не это беспокоит, — сказал Толстой, помолчав. — Денежная оценка собственных знаний — это всегда что-то не очень приятное, я понимаю вас. Но скажите, разве мужик не обладает знаниями? Обладает. А ведь он

ничего не берет за совет, ему это и в голову не приходит — брать за совет. Отчего это, Василий Иванович?

— Мужик не ценит знаний. Пока, во всяком случае, не ценит.

— Вот-вот, а мы — ценим. Мужик не ценит знаний, потому что считает, что они ему не принадлежат: они принадлежат общине, миру, мужицкие знания — это коллективные знания. И наши знания тоже не нам принадлежат, если вдуматься, тоже переложены в нас из голов воспитателей, учителей, авторов книг, гувернеров, папенек и маменек. Но мы их присваиваем и начинаем торговать как своими собственными. Мы узурпируем чужую собственность и считаем, что это правильно и в высшей степени морально. Это в вас совесть шевельнулась, — неожиданно закончил Толстой и улыбнулся.

— Проповедовать надо за хлеб и воду, — хрипло сказал Федор: он очень волновался, пребывал в странном напряжении и от этого хрипел.

— Господа, господа, мы уклоняемся, — всполошилась Мария Ивановна, с опаской посмотрев на Федора: ждала, что вот-вот выпалит какую-нибудь колкость. — Решайтесь же, Василий Иванович. Сережа чудный мальчик, вам будет

легко с ним.

— Вам будет трудно, не верьте Марии Ивановне, — сказал Толстой серьезно. — Вам всегда будет трудно. Есть люди, которым всегда трудно, что бы они ни делали; вы из их числа.

— Советуете ничего не делать? — спросил Федор, опять захрипев.

— Нет, не советую. Да и никакие советы тут не помогут, зачем же советовать? Человек должен прислушиваться только к советам собственной совести, тогда он будет спокоен, а вы, Василий Иванович, извините, очень сейчас неспокойны. Fais ce que dois, advienne que pourra[1].

— Ага, все же даете советы! — заметил Федор. — Не удержались.

— Это не совет, Федор Иванович, это просьба, — сказал Толстой и вновь обратился к старшему Олексину, все еще задумчиво поглаживающему скатерть. — Не хочу скрывать, вы мне нравитесь, и думаю, мы с вами поладим, Василий Иванович. И — поспорим.

— Позвольте мне подумать, — сказал Василий Иванович, не поднимая головы.

Толстой улыбнулся, а Мария Ивановна сердито

---

[1] Примечания: 1

Делай то, что ты должен, и будь что будет (*фр.*).

махнула рукой:

— Господь с вами, о чем же тут думать, голубчик мой?

— Отчего же, подумайте и известите меня. — Толстой встал, взял шляпу, повертел ее в руках. — Извините, один весьма нескромный вопрос. Вы не обвенчаны с Екатериной Павловной?

— И вас это шокирует? — вскинулся Федор.

— Это отличается от моих взглядов, почему я вынужден буду просить вас жить в деревне. Рядом с усадьбой, расстояние вас не затруднит. — Толстой откланялся. — Прощайте, господа. Очень рад был познакомиться с вами. Жду с надеждой еще более укрепить это знакомство.

— Решайтесь, милый Василий Иванович, решайтесь! — сказала Мария Ивановна, выходя вслед за графом.

Братья молча переглянулись, прислушиваясь. Хлопнула входная дверь, зацокали, удаляясь, копыта.

— Ну, что скажешь? — Федор вскочил, в волнении прошелся по комнате.

— Я откажусь, — сказал Василий Иванович, помолчав. — Ты совершенно прав, Федя.

— Что? — озадаченно спросил Федор, останавливаясь. — Мне нравится этот граф. Да, нравится!

Он очень умен, что несомненно. И хорошо расположен…

— Да ты же… — Василий Иванович с удивлением смотрел на него. — Ты же все время пикировался с ним.

— А я проверял, — хитро улыбнулся Федор. — Я проверял, только и всего. И тебе непременно надо соглашаться. Завтра же, завтра же, Вася!

Василий Иванович с сомнением покачал головой:

— Катю не признаю�т. На деревне жить. Унизительно это.

— Чушь! — крикнул Федор сердито. — Фанаберия олексинская! Не признаю�т, так призна�ют, дай срок! В конце концов, каждый имеет право на предрассудки. И обижаться на это — детство какое-то, еще худший предрассудок. Да, худший!

— Отчего вы так громко кричите? — спросила Екатерина Павловна, входя. — Что-то случилось?

— Мы переезжаем, — решительно объявил Федор. — Переезжаем в Ясную Поляну. Завтра же. Укладывайтесь. Все, все, все!..

Василий Иванович только беспомощно развел руками:

— А я им и чаю не предложил. Неудобно. Боже, как неудобно!

4

Гавриил лежал за камнем, сжимая винтовку и напряженно прислушиваясь, не раздастся ли в рассветной тишине цокот копыт, лязг оружия или людские голоса. Это был первый бой в его жизни, первое «дело», и он боялся не столько еще невидимого противника, сколько себя самого. Только теперь, в минуту опасности, он понял, что совершенно не знает себя, не знает, как поведет бой, как будет командовать и как будет убивать. Единственно, в чем он был совершенно уверен, так в том, что скорее умрет, чем побежит или спрячется. Но этого было мало для предстоящего дела. Этого было мало, он понимал, что мало, и потому нервничал и сжимал турецкую магазинку без всякой надобности.

Они обошли черкесов поверху, по горе, успели раньше и заперли выход из оврага. Правда, они не знали ни численности врага, ни его вооружения, ни намерений, но позиция представлялась на редкость удобной, и офицеры единогласно решили дать бой.

Рядом укрылись Захар, Отвиновский и мрачноватый Кирчо. Совримович и Стоян с остальными охватывали фланги. Гавриил искоса поглядывал

на соседей, но вели они себя тихо и даже спокойно, спокойнее, чем он. Захар лежал недвижно, точно ждал зверя в засаде. Кирчо для удобства раскладывал перед собой патроны, а поляк рассеянно жевал травинку. И, поглядывая на них, Гавриил ободрял себя.

На единственном боевом совете, проведенном практически на бегу, договорились, что огонь открывают только по выстрелу Олексина. Ровно один залп, после которого черкесам будет предложено сложить оружие; если не согласятся, каждая группа ведет огонь самостоятельно до полного уничтожения противника. Поначалу Стоян был против того, чтобы предлагать черкесам сдаваться, но его убедили.

— Они все равно в ловушке, — сказал Совримович. — И потом, это не по-рыцарски, Стоян.

— Рыцарски? — Болгарин усмехнулся. — Черкесы и рыцарство — обратные понятия. Ну да ладно, будь по-вашему.

Туман редел, таял на глазах, но в низинах еще держался, сползая все ниже и ниже, и в этом особо плотном мареве уже слышался тупой перестук лошадиных копыт. Где-то слабо звякнуло то ли стремя, то ли плохо подтянутая шашка, и из белого марева перед Гавриилом вдруг выросла

мокрая лошадиная морда и бородатое лицо в черной папахе.

— Пли! — крикнул он и, не целясь, нажал на спуск. Нестройный залп ударил по выходящим из оврага людям, гулко отдавшись в мокрых утесах. И сразу испуганно заржали кони, послышались крики, лязг выхваченных из ножен клинков и зычный раскатистый бас:

— Рассыпайсь! Ложи-ись! Стрелки, вперед!

— Стой! — закричал Олексин, вскакивая.

Из тумана грохнуло несколько выстрелов, пуля прожужжала возле уха. Захар снизу дергал за ногу, но поручик уже ни на что не обращал внимания. Он ясно расслышал команду, отданную на чистейшем русском языке, и теперь, покрывшись вдруг липким противным потом, надсадно кричал:

— Не стреляйте, свои! Не стреляйте, свои! Свои!

— Твою мать! — гаркнули из тумана. — А коли свои, так какого же вы… стреляете?

Единственный и, по счастью, неприцельный залп вывел из строя двух лошадей да ранил казака, шедшего в головном дозоре. Нянча перевязанную руку, кубанец бродил по лагерю, скрипел зубами и страшно ругался:

— Волонтеры, мать-перемать, стрелять ни хрена не умеют. Ты же мне дулом в грудь уперся, ваше благородие, а куды же тебя под левую-то руку занесло? Холера вам в бок, стрелки…

По оврагу пробиралась конная группа Медведовского. Сам полковник хриплым басом нещадно крыл офицеров:

— Куда же без разведки-то поперлись, сукины дети? Все на русский авось, нахрапом воюете? Нельзя же так, господа, вы не на маневрах! Бог ведь упас, не иначе: чудом своих не перестреляли. Кто нас обнаружил?

— Мой денщик, — виновато сказал Гавриил.

— Ты? — Корявый палец уперся в Захарову грудь, как пистолет.

— Так точно, ваше высокоблагородие. Аккурат по воду шел…

— Молодец! — рокотал полковник, любуясь собственным басом. — А что же своих не разглядел? Поджилки затряслись со страху.

— Никак нет. Бурки увидел, ну и…

— Бурки — видали дурака? Да в бурках пол-России ходит, дубина! Потому что удобно и тепло. А чего же не счел, сколько нас? Ведь нас три сотни с гаком: ежели бы черкесов столько было, они бы из вас котлет нарубили! Ладно, его понимаю,

в деле не был. — Полковник пренебрежительно махнул рукой на Олексина и вцепился в Совримовича: — Но вы-то, вы-то не первый год замужем, должны бы, кажется, соображать. К болгарам претензий не имею, братушки действовали правильно, хвалю! А вас, господа соотечественники, драть надо за такую операцию. Драть!

— Слава богу, что обошлось, господин полковник, — вяло сказал Олексин: он чувствовал страшную усталость. — Это моя вина. Я сознаю.

— Вина, — проворчал Медведовский уже, впрочем, по инерции. — Я черкесов ловлю: крепкая банда просочилась. Хотел обходом взять, а тут вы со своей инициативой. Сорвали все планы, казака покалечили, лошадей. Эх, вояки! Теперь ищи ветра в поле, лови черкесов…

Полковник Медведовский был чрезвычайно расстроен именно последним обстоятельством, а отнюдь не случайной стычкой со своими. Он был старым воякой и к подобным анекдотам относился скорее с юмором, хоть и ругал при этом провинившихся со всей кавалерийской невоздержанностью.

У него был сборный отряд, основу которого составляли донские и кубанские казаки: именно кубанцы, идущие в авангарде, и попутали Захара.

Отругавшись, казаки добродушно знакомились с болгарами, гулко хлопали их по спинам, приглашали к своим казанам на походный харч. Стоян держал Любчо при себе, в офицерском кругу, и она счастливо избегла грубоватых казачьих приветствий.

— Что ж вы, господа, не завтракаете? — спросил полковник, со вкусом уничтожая кулеш. — Аппетит отшибло или казачьим угощением брезгуете? Ну-ну, веселей, молодежь! На войне и не такие казусы случаются, на то она и война.

— Обидно, что из-за нас вы черкесов упустили, — сказал Совримович, садясь на гостеприимно раскинутую бурку. — Сорвали мы вам операцию.

— Сорвали, — добродушно подтвердил Медведовский. — Главное дело, выследили мы их: разведчики у меня бывалые. Черкесов выследить не просто, господа, очень не просто. Они вояки скрытные, любят нападать внезапно, врасплох. Нападут, порубят — и опять в кусты. Сущие абреки.

— Далеко они? — спросил Гавриил.

— Далеко ли? Эй, корнет, карту!

Безусый, совсем еще юный корнет бегом принес потрепанную карту, услужливо расстелил ее

перед полковником и замер подле. Медведовский поглядел, ткнул пальцем:

— Вот тут вчера поутру были обнаружены на марше. Дорога одна, почему я и решил упредить их сим оврагом. Если бы не вы, они бы сами мне в руки вышли: изволите ли видеть — дефиле и я седлаю единственный проход.

— А если сейчас попытаться?

— Бессмыслица: и светло, и время упущено. Судя по донесению моих пластунов, вот их маршрут. — Полковник еще раз ткнул в карту коричневым прокуренным пальцем. — С вами вроде бы они расходятся, но глядите в оба. Их около двух сотен: провороните — сомнут и изрубят. Запомнили диспозицию?

— Благодарю, полковник. Мы идем лесами и совсем в другую сторону.

— Стороны черкесам не заказаны. — Медведовский легко вскочил на ноги. — Кончай продовольствоваться, казаки! Седлай! Корнет, выводите кубанцев.

Шумный казачий бивак свернулся мгновенно: Медведовский любил дисциплину. Вскоре слышался только удаляющийся топот копыт да игривый всхрап отдохнувших лошадей. Поляна опустела, болгары заливали казачьи костры.

— Не огорчайтесь, Олексин, — сказал Отвиновский. — Первый блин, что же поделаешь.

— Говорите так, будто у вас он не первый.

— Признаться, далеко не первый, поручик.

— Сколько же вам было лет, когда… — Олексин не договорил.

Отвиновский понял и усмехнулся:

— Боитесь произнести слово «восстание»? Не бойтесь, здесь за это пока не вешают. А лет мне было в ту пору ровнехонько пятнадцать.

— У вас злоба в глазах.

— От воспоминаний млеют только старички, Олексин. Оставим, пожалуй, этот разговор, он не доведет нас до добра. Сытый голодного не разумеет. Впрочем, вы не сытый. Вам только кажется, что вы сытый.

— Господа, от ваших иносказаний у меня голова кругом пошла, — сказал, приблизившись, Совримович. — Сытый, несытый, полусытый. Говорите проще, Отвиновский, тут все свои.

— Я уже высказался и теперь буду молчать долго и упорно, — улыбнулся Отвиновский. — Что, пора в дорогу?

В этот день шли особенно осторожно. Стоян сменил в головном дозоре Карагеоргиева на опытного Кирчо. Карагеоргиев очень оскорбился,

хмуро поглядывал на Олексина. Когда Стойчо ушел вперед, не выдержал:

— Вам обязан, господин поручик?

— Да не мудрствуйте вы лукаво, Карагеоргиев, — сказал Совримович, вздохнув. — Пороха и крестов на всех хватит, не спешите в рай.

— У русских есть прелестная черта: с мягкой улыбкой навязывать свою волю. С немцами, признаться, как-то проще: всегда знаешь, чего они хотят.

— Как вам не стыдно, господин Карагеоргиев! — вспыхнула Любчо.

— Этот же вопрос уместнее задать вам, мадемуазель. Общество романтических разбойников хорошо смотрится на сцене, в жизни возникают более земные мысли.

— Еще одна острота в эту цель — и я вам снесу полчерепа, — тихо сказал Отвиновский. — Ровнехонько: у меня хороший удар.

Карагеоргиев усмехнулся, пожал плечами, но промолчал. Любчо ушла вперед, к Стояну, офицеры сделали вид, что не слышали этой ссоры.

— Пора бы и о привале подумать, — делано зевнул Совримович. — Пожалуй, я нагоню Бранко, Олексин.

— Пожалуй…

Впереди вразнобой ударили торопливые выстрелы, послышались крики, визг, наметный конский топот. Весь отряд без команды бросился через лес напрямик, на выстрелы, сбрасывая с плеч поклажу. Олексин закричал, чтобы остановились, но его уже никто не слушал, и он тоже побежал туда, где дробно стучали выстрелы, слышался топот, конское ржание и дикие непривычные крики.

— Вот они, черкесы! — прокричал на бегу Совримович.

— А куда бежим?

— А черт его знает! Должно быть, атаковали Медведовского!

Лес кончился, впереди, скрывая дорогу, тянулся кустарник, и они, задыхаясь, остановились. За кустами где-то совсем рядом слышалась пальба и крики, ржание коней и звон шашек, но пальба начинала затихать, и Гавриил догадался, что невидимые противники сошлись лоб в лоб, врукопашную, и теперь все решают секунды.

— Вперед! — крикнул он. — Пали им в спину, ребята! Залпами в спину!

Он продрался к дороге вместе с Захаром и невесть откуда появившимся Бранко, увидел краем глаза, что кругом качаются и трещат ку-

сты, что отряд его атакует дружно, и выбежал на открытое место.

Перед ним была узкая дорога, тесно забитая конными упряжками, орудиями на марше, передками, зарядными фурами, повозками и оттесненными к артиллерийскому обозу людьми в знакомой волонтерской форме. А вокруг, замкнув кольцо, вертелись на лошадях юркие всадники, сверкая клинками, с визгом, азартом и исступлением рубя сбитых в кучу артиллеристов. Кое-где еще отстреливались, еще отбивались палашами и банниками, но исход боя был уже решен: смятые конной атакой артиллеристы долго сопротивляться не могли.

— Пли! — срывая голос, крикнул поручик. — Бей их, ребята!

Он спешил, непрерывно передергивая затвор, и почти не видел мелькавших на мушке всадников. Рядом, стреляя на бегу, спешили болгары, неторопливо и хладнокровно бил из магазинки Отвиновский, орал яростную матерщину Захар. Все было безрассудно и стремительно, но черкесы уже разворачивали коней.

Олексин бежал вдоль разгромленного артиллерийского обоза. Патроны в магазинке кончились, он не стал перезаряжать ее и бросил и теперь

стрелял из кольта, но стрелял осторожно, считая выстрелы. Бежал, перепрыгивая через раненых и убитых, видя только беспорядочно уходивших черкесов, и кричал:

— Где командир? Командир ваш где?

Наконец он увидел командира. Рослый офицер привалился к орудийному колесу, опустив онемевшую руку с тяжелым артиллерийским палашом. Распахнутый волонтерский мундир был мокрым от пота и крови.

— Вы ранены? — еще издали крикнул поручик.

— Это чужая кровь, — задыхаясь, сказал офицер. — Опоздай вы — и была бы моя.

— Невероятная удача! — радостно воскликнул Олексин, подбегая. — Мы случайно шли…

И замолчал. Перед ним, с трудом переводя дыхание, стоял гвардии подпоручик Тюрберт.

5

— Неисповедимы пути Господни, — разглагольствовал Тюрберт, насмешливо кося бледно-голубыми глазами. — Они взяли нас в шашки на марше, а артиллерия, господа, неповоротлива и, как известно, безмятежна. Изрубили бы в капусту, если бы не ваша любезность.

Подпоручик уже отдышался, и веснушки вновь весело высыпали на щеках. Он сидел на лафете в распахнутом мундире, пил коньяк, угощал волонтеров и говорил не переставая. Гавриил изредка взглядывал на него, но видел почему-то не круглое, с кошачьими усиками лицо, а розовую, поросшую рыжим волосом, еще мокрую от пота грудь и мрачнел.

— Но я особо счастлив, что моим спасителем оказались именно вы, Олексин, — улыбаясь, продолжал Тюрберт. — Я непременно расскажу об этом моей невесте в самых восторженных красках и неоднократно. Можете себе представить, как она будет счастлива.

— Прошу вас на два слова, — сказал Гавриил, встав куда поспешнее, чем того требовала обстановка. — Совримович, узнайте потери…

— Потерь, слава богу, нет, Олексин. Правда, Стоян еще не вернулся…

— Так узнайте, где он! — с непонятной резкостью перебил поручик. — Прошу, Тюрберт.

— Признаться, я уморился, — говорил Тюрберт, идя за Гавриилом. — Одно дело отмахиваться эспадроном в фехтовальном зале и совсем иное, оказывается, спасать свою жизнь. У вас какие-то секреты, Олексин? Куда вы меня влечете?

— Вы постоянно оскорбляли меня в Москве, но не рассчитывайте на это в Сербии, Тюрберт. Здесь это не пройдет.

— Бог мой, уж не хотите ли вы со мной драться?

— За вами долг, подпоручик.

— Долг? — Тюрберт вдруг рассмеялся и сел на землю. — Спасти человека лишь для того, чтобы тут же подстрелить его, как вальдшнепа, — знаете, Олексин, это уж слишком. Ну, что вы на меня смотрите? Я сел потому, что устал.

— Лжете, Тюрберт.

— Лгу, — согласился подпоручик без всякого промедления. — Мне как-то расхотелось умирать, если говорить начистоту.

— Вы правы, я не могу пристрелить вас, пока вы сидите. Но я могу дать вам пощечину.

— Оставьте, Олексин, — скривившись, как от зубной боли, вздохнул Тюрберт. — Оставьте вы оперетту, давайте говорить серьзно. Я только-только вышел из боя, я не успел похоронить своих людей, а вы толкуете про страсти роковые и готовы каждую секунду схватиться за револьвер. Нельзя же так, поручик, право, нельзя, не обижайтесь. Мы оба добровольно приехали в Сербию, оба хотим воевать против турок, оба

— русские офицеры, облеченные доверием и обремененные долгом перед подчиненными. Перед подчиненными! И вдруг, забыв обо всем — о чести волонтера, о долге и положении, — начнем драку, как опившиеся шампанским юнкера. Естественно, я далек от того, чтобы предложить вам забыть прошлое, но я предлагаю перемирие. Вот уж вернемся в родное отечество и прямо-таки побежим к барьеру, если вы того желаете. Но не здесь же, Олексин, не здесь, опомнитесь!

Все это Тюрберт выложил без всякой аффектации, тоном усталым и слегка сварливым. И, как ни странно, именно эта сварливость подействовала на Гавриила успокаивающе. Он перестал метать молнии, хотя ус по-прежнему подкручивал, но уже не воинственно, а смущенно.

— Ну как, согласны, спаситель?

— По-моему, вы трус, Тюрберт, — сказал поручик спокойно.

— Трус? — Тюрберт легко вскочил с земли и пошел на Олексина, рыжий, громоздкий, как медведь. — Тут вы перегнули палку, Олексин, тут вы хватили через край…

— А говорили разумные вещи, — усмехнулся поручик. — Передохните, или вас хватит удар.

Тюрберт остановился, медленно провел ладоня-

ми по лицу, зевнул знакомым деланым зевком.

— Черт, щетина лезет. Утром поленился побриться — и пожалуйста. Хотите дуэль наоборот?

— Это что значит: кто быстрее застрелится, что ли?

— Чья смерть будет отважнее, тот и победил. Сообразили? И оставшийся в живых должен на могиле публично заявить, что трус — он, а не тот, кто лежит в земле. Публично, Олексин, слово чести!

С дороги ударил выстрел. Один-единственный и потому особо гулкий и особо тревожный. Офицеры дружно бросились сквозь кусты.

— Свалил! — торжествующе кричал Захар. — Одним патроном, ваше благородие! С ходу свалил!

Оказалось, в кустах прятался отставший от своих черкес. Когда все успокоилось, он галопом вылетел на дорогу, надеясь на резвость коня и собственную удачу. Проскакал мимо растерявшихся артиллеристов и почти достиг спасительного поворота, когда хладнокровный охотничий выстрел Захара свалил наземь коня.

— Я тут без вас распорядился, — докладывал Совримович, пока артиллеристы ловили

оплошавшего всадника. — Отправил Бранко с Карагеоргиевым за Медведовским, а болгарам пока поручил охранение.

Солдаты привели черкеса. Его нарочно вели мимо еще не убранных убитых, вели с руганью и подзатыльниками. Но черкес внешне был спокоен, только чуть вздрагивали пальцы, перебиравшие узкий наборный ремешок.

— Ваше благородие, велите немедля в расход! — громко сказал рослый унтер, передавая Тюрберту снятую с черкеса шашку. — Ведь сколько душ на тот свет отправили, стервы некрещеные!

— Ступай, — сказал подпоручик, рассматривая шашку. — А клинок-то кавказский. Ваше имя?

Пленный молчал.

— Я спрашиваю, как ваше имя? — строго повторил Тюрберт. — Желаете умереть безымянным?

— Почему вы считаете, что все обязаны понимать русский язык? — с неудовольствием спросил Отвиновский.

Но пленный не хотел объясняться даже по-турецки: Совримович немного знал язык. Он молчал не по незнанию, а просто не желая вступать в переговоры, и не скрывал этого.

— Придется расстрелять, — сказал Тюрберт, искоса глянув на Олексина.

— Подождем Медведовского, — решил Гавриил: мысль о расстреле была для него мучительна. — Он старший по званию, ему и решать.

Пленного поместили в центре батареи под надежной охраной. Артиллеристы уже рыли могилу: у Тюрберта четверо были зарублены сразу и еще столько же умирали от потери крови. Обоз привели в порядок, перепрягли лошадей. Все делалось в спешке: от болгар поступили сведения, что черкесы упорно кружат поблизости.

— Двигаться нельзя, — сказал Тюрберт, ни к кому не обращаясь, но по-прежнему посматривая на Гавриила: он не делил с ним власть, но признавал равновесие положения. — На марше они повторят атаку.

— Подождем Медведовского, — упорно повторил Олексин, не желая принимать никаких совместных решений.

— А если Медведовский не придет до вечера? Прикажете ночевать?

— Приказываете здесь вы, Тюрберт.

— Ночевать, — сказал Совримович: ему была неприятна эта вежливая пикировка. — Загородимся орудиями и обозом, выставим усиленные караулы.

— Воля ваша, но все это до крайности нелепо, —

вздохнул Тюрберт.

— Что именно?

— Все! — отрезал подпоручик. — Если такое же согласие царит среди всех офицеров в Сербии, то султан может отдать распоряжение о параде в Стамбуле. Ладно, займемся похоронами. Кто прочитает молитву? Я не помню ничего, кроме «Отче наш».

— Какая разница, что читать? — пожал плечами Отвиновский. — Молитвы нужны живым, а не мертвым.

— Их-то я и имею в виду.

К закату все было готово, но в могилу уже опускали всех восьмерых. Среди артиллеристов нашелся пожилой солдат, знающий обрывки канона по единоумершему, которые он и пробормотал прокуренным басом:

— Мы же от земли тленни созданы быхом и в землю ту же возвратимся…

— Ту же, да не ту, — вздохнул Захар, горестно покачав головой.

Тюрберт сказал несколько слов, офицеры отсалютовали погибшим, солдаты бросили по горсти земли — и погребение было окончено. Засыпали яму, возвели холм, поставили крест, постояли, сняв шапки.

— Хуже нет, когда в чужой земле зарывают, — сказал Захар. — Хуже нет.

Первая смерть на чужбине не так угнетала его, как первые похороны. Он все время возвращался к мысли о земле, хранившей прах отцов и прадедов. И ругательски ругал себя, что не захватил горсти родной земли.

От болгар по-прежнему поступали тревожные сведения: черкесы не уходили, кружась на расстоянии выстрела. А смены у охранения не было, так как артиллеристов использовать для этого не годилось: и ружья у них были старого образца, и стреляли они из них плохо.

— Ничего, — сказал Стойчо; он сам пришел с последним донесением. — Мы привыкли не спать ночами.

По приказу Тюрберта солдаты развели костры, готовили ужин. Захар еще возился с котлом, когда к офицерскому костру подошел унтер.

— Ваше благородие, врет он, нехристь этот. Говорит он по-нашему и понимает!

— Откуда тебе известно?

— Так до ветру сам попросился!

— Своди до ветру и давай его сюда.

Через четверть часа пленный стоял перед Тюрбертом. Руки у него были связаны, конец веревки

держал унтер.

— Развяжи и ступай.

— Сбежит, ваше благородие, — с сомнением сказал унтер. — Шустер!

— Побежит — получит пулю, — проворчал Отвиновский.

Унтер неодобрительно покачал головой, но руки пленному развязал. И сразу же ушел: в батарее у Тюрберта был порядок.

— Как приспичило, так и язык вспомнил? — усмехнулся подпоручик. — Как зовут? Как зовут, спрашиваю?

— Ислам-бек! — с вызовом выкрикнул черкес.

Офицеры переглянулись.

— Вот почему они не уходят, — тихо сказал Совримович. — Беспокоятся о своем вожде.

— Садитесь, бек, — сказал, помолчав, Тюрберт. — Ваше место у этого костра. Вместе поужинаем и поговорим.

Помедлив, бек опустился на попону между Олексиным и Совримовичем, по-турецки подвернув ноги. Теперь, когда стало известно, кто он, этот молчаливый пленный, офицеры совершенно по-иному и смотрели и видели его, оценив и тонкие черты лица, и скромную одежду, и старинное серебро газырей и наборного ремешка. Ислам-бек

сидел недвижимо, строго глядя перед собой.

Захар разложил кашу по мискам, подал. Совримович поставил свою порцию перед пленным.

— Первый кусок — гостю.

Черкес склонил голову, коснувшись левой стороны груди, но к еде не притронулся.

— Ешьте, если голодны, — сказал Олексин. — Остынет.

— Я не ломаю хлеб с гяурами! — резко ответил Ислам-бек.

Он говорил с сильным акцентом, не очень правильно произносил слова, но фразы строил легко и быстро.

— Вы предводитель этой шайки? — спросил Тюрберт: слова о гяурах ему откровенно не понравились.

— Шайки? — Ислам-бек гордо вскинул голову. — Мы — народ воинов, а не бандитов.

— И все же вы не ответили на вопрос.

— Сначала вы лишили нас земли, теперь хотите лишить чести?

— Я лишил вас только свободы, бек. И то — по необходимости.

— Я был мальчишкой, когда в одну из осенних ночей русские окружили наш аул. Я помню эту ночь: дул ветер с гор и было так холодно, что

собаки жались друг к другу. Солдаты заходили в сакли и всех выгоняли на площадь. Стариков, старух, беременных женщин, малых детей — всех до одного. Всех! Мы мерзли на ветру, а ваши солдаты бродили между нами и срывали кинжалы с мужчин и мониста с наших женщин. А старики не понимали, просили объяснить: ведь мы были мирным аулом. Потом, когда было снято наше оружие, когда дети уже хрипели, а не плакали, когда мы замерзли до дрожи, полковник прокричал, что все наше племя выселяют в Турцию. Все племя, все аулы, все семьи — всех, до последнего человека!

Последние слова Ислам-бек выкрикнул на едином дыхании, хотя начинал спокойно и негромко. Выкрикнул и замолчал, снова строго глядя перед собой.

— Что же вы замолчали? — громко, с вызовом спросил Отвиновский. — И что же было дальше?

— Перестаньте, Отвиновский, — вздохнул Олексин. — Вы что, не знаете, что было дальше?

— Это вы не знаете!

— Господа, прекратите, — зашептал Соврímович. — Право, господа, это неприлично.

Тюрберт с любопытством посматривал на Отвиновского: он уже все понял, но, в отличие от

Гавриила, не боялся предстоящего рассказа. Для него правильным всегда было то, что целесообразно, эмоции его не трогали.

— Дальше? — Бек неприятно улыбнулся. — Вы хотите насладиться рассказом о горе и унижении целого народа?

— Не надо, бек. — Олексин положил руку на плечо пленника. — Выпейте хотя бы чаю.

— Надо! — черкес сбросил руку Гавриила. — Об этом надо кричать на весь мир! Спасаете сербов от турок? Какое благородство! А если спасете, что тогда? Какое еще горе вы принесете этой стране? Выселите турок или албанцев? Введете повсеместно свой язык, свою веру, свои обычаи? Распашете могилы? И все ведь не от жестокости — нет, вы не жестоки! — все во имя высшей целесообразности устройства, все — во имя благородной идеи. Как будто идея может остаться благородной, если ее достигают неблагородными способами.

— Да, идея — это женщина, — улыбнулся Отвиновский. — Ее можно любить, а можно насиловать. Разница в том, что изнасилованная идея мстит во втором колене.

— Вы еще можете шутить, — укоризненно вздохнул Совримович.

— Могу, братья славяне, могу! Потому могу, что сегодня вы полной ложкой хлебаете то, что заварили ваши отцы. И я этому рад.

— Вы откровенны, Отвиновский, — усмехнулся Тюрберт. — Это мне нравится.

— Поляку нечего терять, кроме чести, поручик.

— Начали, бек, так рассказывайте, — вздохнул Гавриил.

— Нам дали два часа на сборы. Что можно собрать за два часа, когда вы уходите навсегда из родного гнезда, когда неизвестно, что дороже: горсть земли с могилы отца или старая бурка? Люди хватали случайные вещи, и над всем аулом висели рыдания. Но ровно через два часа нас вытолкали на улицу и погнали к морю. Ночью, через заснеженные перевалы, с малыми детьми и дряхлыми стариками. Мы шли и падали, и снова шли, и снова падали. У форта Лазаревского нас ждали парусные фелюги. Нас швыряли сотнями в эти фелюги, не разбирая, кто здрав, кто болен, где мать, а где дети, и через несколько часов мучительного плавания выбросили на пустынный берег. Он был дик и безлюден, и мы еще сутки брели по чужой стране, пока не нашли чиновников, которые хоть что-то могли сделать. Мы долго жили в лагере для переселенцев, ожидая

решения своей судьбы, десятками умирая от болезней. Потом пришел фирман: нам жаловалась дикая земля в Болгарии, которая не нужна была ни туркам, ни самим болгарам. Мы поселились там, вдали от навеки утерянной родины, среди врагов. Вы назвали нас бандитами? Нет, поручик, мы — мстители, а не бандиты. Жалею, что не зарубил вас сегодня.

— Да уж больше такой возможности у вас не будет, — улыбнулся Тюрберт. — Не хочу скрывать: вам предстоят неприятности, бек.

Черкес ничего не ответил.

— Вы когда-нибудь испытывали стыд за деяния своей страны? — спросил Отвиновский. — Хоть раз в жизни, хоть по какому-либо поводу?

— Я люблю свое отечество и горжусь им, — немного напыщенно сказал Тюрберт. — Догадываюсь, что вам трудно это понять.

— Отчего же трудно? Вы эгоист, поручик, и любовь ваша к отечеству тоже эгоистична: она мирится с тем порядком вещей, который удобен вам лично. Вы не сострадаете своей отчизне, вы пользуетесь ею, как любовницей.

— Кажется, вы переходите границы, Отвиновский, — вздохнул Совримович. — В ваших словах заключено нечто, касающееся не только подпо-

ручика Тюрберта. Соблаговолите объясниться.

— Объясниться? — Поляк поковырял угли костра, на миг вспыхнуло пламя. — Каждый народ считает себя избранным. Это пошло с тех времен, когда чувство особливости было инстинктом сохранения рода: ребенок тоже считает себя особым и, лишь взрослея, начинает понимать, что он ничем не лучше остальных. Не в этом ли понимании заложено то, что мы считаем чувством справедливости, господа? С этим чувством не рождаются: его постигают, учась сравнивать. Сравнивать! Сравнивать, то есть заранее считать всех равными…

— Хотите сказать, что мы народ пока еще младенческий?

— Дайте же человеку высказаться, Тюрберт, — с раздражением заметил Гавриил. — Он как раз горюет о том, что ему не дают говорить, а вы тут как тут со своими гвардейскими обидами.

Тюрберт насмешливо посмотрел на Олексина, но промолчал. Совримович, всегда близко к сердцу принимавший размолвки между друзьями, с беспокойством следил за Отвиновским, ставшим вдруг надменно, почти враждебно холодным. И лишь пленный бек отрешенно сидел у костра, да Захар беззвучно убирал посуду.

— Вы благодетели по натуре, Олексин, — невесело усмехнулся поляк. — Благодетели искренние, бескорыстные, щедрые. Но вам лень подумать…

— Вот и лень появилась, — улыбнулся Тюрберт. — Признаться, ждал ее с нетерпением: как, думаю, вы без этого-то аргумента обойдетесь? А вы и не обошлись, и все сразу стало таким банальным, что, господа, захотелось поспать. Оставим банальности земским сердцеедам и предадимся самому безвинному из удовольствий: сну в обнимку с шинелью.

— Леность не аргумент, леность — результат, — сказал поляк. — Вся Европа, все ее страны и народы стоят или сидят, а вы лежите, пятками упираясь аж в Тихий океан. У вас — масштабы, у вас — размах, у вас — идеи под стать размерам. Я спросил вас о деяниях вашего отечества, об истории вашей. Да, великая история, есть чем гордиться, господа, есть, готов признать как воин, коему не чужды честь и отвага. Но сколько же в этой истории темного, сколько крови и слез, сколько обид! Когда-нибудь — не теперь, нет! — но когда-нибудь вы сочтете их. Хотя бы во имя справедливости, без которой не может жить ни человек, ни народ, ни государство.

— До чего же вы ненавидите нас, господин

инсургент, — сказал Тюрберт, улыбаясь с привычной безмятежностью. — Но я не в претензии, поймите. Вы отвыкли служить отечеству, заменив отечество идеей. А идея — неадекватная замена, Отвиновский. Идеи приходят, идеи трансформируются, уходят или умирают, а отечество остается. И наша сила — в нем.

— Ваша сила вскоре явится сюда, и поэтому мне самое время присоединиться к тем, кто, вроде меня, еще не обрел своего отечества: я имею в виду болгар. Передать им что-нибудь, Олексин?

— Благодарю, ничего.

— Счастливо, господа, я заночую у Меченого. — Отвиновский двинулся было из освещенного круга, но остановился. Добавил, понизив голос: — Не хочу быть пророком, но почти убежден, что бравый рубака Медведовский повесит нашего гостя на его же собственном ремешке.

Отвиновский ушел; офицеры молчали, но молчали по-разному. Гавриил сосредоточенно размышлял о чем-то непривычном, что, может быть, и не было для него новым, но от чего прежде он легко отмахивался, а сейчас почему-то не мог отмахнуться, удивлялся, что не мог, и чуточку этим гордился. Тюрберту все всегда было ясно не потому, что он не умел или избегал ду-

мать, а потому что все им услышанное лежало за пределами его совести и чести, а значит, и не относилось к нему. Все это и подобное этому решалось за него, бралось на чью-то иную совесть, было делом государственным, и он не желал да и не считал себя вправе сомневаться. А Совримович страдальчески морщился, терзал цыганскую бороду и вздыхал.

— У меня скверно на душе, господа, — признался он. — Думаю, потому скверно, что Отвиновский в чем-то прав.

— Оставьте! — с непривычным раздражением крикнул Тюрберт. — Мы смотрим на мир с разных колоколен, и не перескакивайте на чужую, Совримович: наша и повыше, и погромче. Эти господа думают только о себе, воюют только за себя и умирают за свою милую племенную ниву. А мы первыми в мире шагнули за племенные границы, мы первыми научились видеть дальше собственного порога и думать шире родимой околицы. И то, что мы с вами здесь, в Сербии, то, что мы во имя братьев по вере покинули свои дома и готовы отдать свои жизни, лучшее доказательство вечной правоты России.

— Братья славяне, — опять вздохнул Совримович. — А нужно это им, братьям славянам,

Тюрберт? Нужно?

— Что — это? Помощь?

— Помощь нужна, я не о помощи. Я приехал сюда по зову души своей и… и горжусь этим. Я готов помогать, готов сражаться, готов, если понадобится, умереть за свободу и счастье моих братьев, но… Ах, боже мой, я не знаю, как высказать то, что тревожит меня, господа. Нет чего-то общего, чего-то большего, чем все наши жизни. Нет! Почему же нет? Может быть, потому, что у нас нет знамени?

— С такими мыслями, Совримович, вам трудно служить в русской армии.

— Я кое-что понял, господа, не все, правда, не до конца, но кое-что понял, — не слушая Тюрберта, продолжал Совримович. — Знаете, и Карагеоргиев в чем-то прав, и Отвиновский, а ведь они тоже славяне. Значит, что-то не так, господа. Значит, что-то мы напутали в московских салонах, что-то недодумали или незаметно для самих себя додумали за другие народы. А это неправильно. И — несправедливо.

— Послушайте, Совримович! — Тюрберт опять скривился, и опять в его тоне зазвучала некоторая сварливость. — Не раздувайте вы свою драгоценную совесть до вселенских размеров.

В конечном итоге существует долг, существует честь, существует отечество — что еще нужно, чтобы всегда остаться правым?

— Существует, вероятно, нечто большее, чем личная честь и личный долг, Тюрберт. Вероятно, существует, только мы этого пока понять не можем.

— Ну и слава богу! Излишние представления обременительны для нашей с вами профессии.

— А ведь Медведовский и в самом деле повесит пленного, — вдруг тихо сказал Гавриил. — Повесит, а мы всю жизнь…

Он замолчал, так и не договорив. Совримович сокрушенно вздохнул, а Тюрберт неожиданно зло расхохотался.

— Я к солдатикам, — сказал он, вскакивая. — К солдатушкам — бравым ребятушкам.

— Постойте, — морщась, сказал Олексин. — Пленный — ваш, извольте решать его судьбу.

— Нет уж, увольте! — Тюрберт развел руками и картинно поклонился. — Во-первых, ссадил его ваш денщик, стало быть, вам приз и принадлежит. А во-вторых, господа соотечественники, ваших людей он не убивал, вашей жизни не угрожал — вам, знаете ли, как-то проще проявлять нежные чувства. А посему разрешите удалиться

для исполнения командирских обязанностей. Вернусь через час, надеюсь, что к этому времени вы кончите страдать и обстановка прояснится.

Тюрберт еще раз церемонно поклонился и ушел. Офицеры молчали, старательно не глядя друг на друга. Ислам-бек, слышавший весь разговор — Тюрберт либо не умел, либо не желал говорить тихо, — сидел в прежней неподвижности, словно все это его не касалось.

— Все-таки этот ваш московский приятель — отменный наглец, — сердито сказал Совримович. — Он, видите ли, явится через час!

— Что вы скажете, Совримович, если я отпущу бека на все четыре стороны? — спросил Олексин, упорно разглядывая папиросу. — Что вы молчите? Я исхожу из боевой обстановки: пока мы его не отпустим, черкесы не уйдут, а, напротив, ночью повторят атаку. Об этом никто не думает, а это и есть главное.

— Я не судья вам, Олексин, — сказал, помолчав, Совримович.

Глава седьмая

1

Тетушка Софья Гавриловна выполнила данную себе самой торжественную клятву. Никому ничего не объясняя, вдруг укатила восвояси, но вскоре вернулась в Смоленск в сопровождении сундуков, любимой болонки и шепотливой старушки наперсницы Ксении Николаевны. К этому времени Варя привезла детей из Высокого, и привыкший к тишине и безлюдью смоленский дом зажил жизнью шумной, суетливой и энергичной, поскольку энергию эту излучала почтенная Софья Гавриловна каждое божье утро:

— Сегодня французский день. Разговоры по-русски запрещены. Даже с прислугой.

— Боюсь, что прислуга не поймет, — пыталась возражать Варя.

— Захочет — поймет: русский человек все понимает, когда захочет. А вы, сударь и сударыни, обленились и закоснели и извольте напрячь волю. Маша может музицировать, но не более двух часов, остальное — занятия и занятия. Пора думать о пансионе.

— О пансионе?

Спорить с тетушкой Маша не решалась не из боязни или малодушия — она была человеком прямым, а из чувства благодарности. Своей неуемной деятельностью, затратой сил, искренностью и заботой Софья Гавриловна обезоруживала спорщиков еще до спора. И Маша плакала по ночам, а днем жаловалась все понимающему Ивану:

— Да что же это творится, Ваня, я даже спорить не могу! Я боюсь неблагодарной оказаться: она ведь от души все, правда? Ну скажи, ведь от души, без хитрости?

— От души, Маша.

— Вот видишь. Как же тут спорить?

Иван молча улыбался. Он стал еще сдержаннее и нелюдимее, увлекся философией, а химию вдруг оставил, но то, чем он увлекался, видели, а что забрасывал, не замечали. Это было по-олексински: гордиться увлечениями и не замечать непостоянства. Они всегда чем-нибудь увлекались, но никогда не доводили до конца своих увлечений, и это было столь естественно для них, что упрись кто-либо в какое-нибудь одно дело и не измени ему — посчитали бы чудаком.

— Рабство благодарности, Маша, есть самое тяжкое рабство, ибо цепи для него человек вы-

ковывает сам.

— Оставь свою противную философию.

— А что изменится? Ты сразу сделаешься неблагодарной?

— Господи, она меня и вправду в пансион запрет! — Маша в отчаянии всплескивала руками. — А я не хочу туда. Не хочу, не хочу!

— Молодец! — Иван, улыбаясь, любовался сестрой. — Вот так прямо и скажи.

Но Маша могла говорить, спорить и возмущаться только с Иваном: боязнь огорчить тетушку была сильнее ее. Иван был прав, говоря о рабстве благодарности: в это мягкое улыбчивое рабство постепенно втягивалась вся семья, и даже Варя, все еще пытавшаяся спорить, спорила только до известного предела, перейти который уже не могла. Деятельно-ласковые ручки Софьи Гавриловны неторопливо, но крепко захватывали и дом, и домочадцев.

— Завтра немецкий день. Дети, вы слышите? Георгий, я тебя спрашиваю.

— Да, ма тант.

— Немецкий, немецкий, а не французский!

— Все равно голодными будем, — улыбался Иван. — Прислуга опять напутает, и мы получим желе вместо отбивной и паштет вместо варе-

нья. Впрочем, голодный полиглот лучше сытого недоучки.

Ивану было проще всех: он с самого начала отгородился непроницаемо вежливой улыбкой, все принимал как должное и ничем не восторгался. Софья Гавриловна, с первых же дней озадаченная этой позицией, так и осталась озадаченной, в конце концов оставив его в покое.

— Знаешь, Варвара, я пугаюсь людей, которые не способны увлекаться.

— Иван увлечен философией, тетя.

— Вот когда его философия зашелестит юбками, тогда я перестану пугаться. А потом непременно закричу «караул».

— Опять — караул?

— Помяни мои слова: он влюбится не в того, в кого надо.

— Полагаю, ему виднее, в кого влюбиться.

— Но он непременно напутает. И будет распутывать всю жизнь и запутает еще больше. Пожалуйста, не спорь, я знаю, что говорю.

Однако больше всех языков, свободное владение которыми Софья Гавриловна почитала основой воспитанности, больше всех хозяйских хлопот, детского ученья, занятий и развлечений тетушку занимал вопрос, из-за которого она то и

дело намеревалась кричать «караул». Вопросом этим было будущее девочек, понимаемое как выгодное замужество. Она бы с удовольствием занялась и мужскими партиями, но все годные для этой роли мужчины разбежались, Иван в расчет не шел, и вся ее энергия отныне была направлена на поиски женихов. В этом вопросе она полагалась целиком на себя, ни с кем не советовалась, но и не спешила, проводя пока глубокую подспудную работу и нанося визиты предпочтительно одиноким дамам со связями и в возрасте. Верная Ксения Николаевна добывала необходимые сведения, вооружившись которыми, Софья Гавриловна и шла в разведку боем.

— Выдадим Варю и Машеньку и передохнем, — говорила она наперснице, возвращаясь со свиданий, требовавших утонченной хитрости, высшей дипломатии и точного расчета, что сильно утомляло ее. — С Наденькой будет легче. Я чувствую, что легче.

Вдовствующей владычицей смоленского общества была Александра Андреевна Левашова, дама почтенного возраста, петербургских связей и независимого капитала, наезжавшая по хозяйственным надобностям в город. Когда-то Софья Гавриловна была ей представлена и рискнула

явиться с поклоном, как только Александра Андреевна объявилась в Смоленске. Скучающая матрона приняла ее немедленно и вполне благосклонно; дамы пили чай и говорили о пустяках, но Софья Гавриловна умудрилась перевести разговор в нужном направлении, доверительно поведав хозяйке о своих заботах в связи с осиротевшей олексинской семьей.

— Буду рада познакомиться с вашими питомицами, Софья Гавриловна, — сказала Левашова. — Привозите в четверг, я люблю молодежь.

К четвергу готовились особо: шили платья, обсуждали разговоры. Маша скептически улыбалась, но не спорила: ей была любопытна эта суета. А Варя относилась к предстоящему визиту не только со всей серьезностью, но и с определенными планами, будто там, у таинственной светской вдовы, ей должны были незамедлительно вручить того, кого она готова была полюбить вдруг и на всю жизнь. Теперь, когда Софья Гавриловна взяла на себя все семейные заботы, Варя начала ощущать такую потребность любить, что все остальное отошло на второй план, стало мелким, необязательным и неинтересным. У нее было чувство, будто та непосильная ноша, которую она, задыхаясь, тащила на своих плечах, уже

доставлена, уже сброшена, и она наконец-таки получила возможность выпрямиться, оглядеться и ощутить собственную бесприютность и одинокость. И ощущение это было пугающим, потому что Варя уже считала свои годы.

— Ты суетишься неприлично, — сказала Маша в своей полудетской беспощадной манере.

Варя вспыхнула, но смолчала, хотя ей очень хотелось сказать, как легко быть спокойной, когда тебе всего семнадцать и все еще впереди. А у нее если и не позади, то вровень, в самый раз, когда промедление сродни забвению того, что жило в ней, должно было жить, не имело права не жить, не пользоваться жизнью, не отдаваться ей со всей накопленной силой. Варя смолчала, но мысли, вызванные бестактностью девчонки, у которой как раз-то все было впереди, остались, и прибыла она к Александре Андреевне несколько растерянной.

— Я хотела бы представить вам брата, — сказала хозяйка, когда переговорили о погоде, модах и новостях и девушки освоились. — Он спасается от сплина то в Европе, то в России, попеременно и с равным успехом, однако не растерял еще желания знакомиться с очаровательными девицами. Рекомендую, князь Насекин.

Рано полысевший князь скользнул равнодушными глазами, на миг задержал взгляд на Маше и неожиданно улыбнулся одними губами:

— Боюсь, что я — скучная принадлежность дамских гостиных.

— За чаем мне случалось видеть тебя даже остроумным, — сказала Александра Андреевна, вставая. — Прошу вас.

Они прошли в столовую, где был подан чай по-английски — с молоком и без самовара. Князь сел напротив Маши, изредка изучающе поглядывал на нее, но молчал, не участвуя в общем разговоре и отделываясь односложными замечаниями, когда его пытались втянуть в этот разговор. Потом сказал неожиданно и совершенно невпопад:

— Поразительно, но ведь только Россия тратит. Тратит деньги, тратит знания, время, душевные силы. Остальные народы ничего не тратят: они вкладывают. В будущее, в карьеру, в дело. Вкладывают, всегда думая о том, чтобы получить прибыль. Даже когда дело касается удовольствий, думают о процентах с вложенного капитала.

Гостьи растерянно примолкли, а хозяйка улыбнулась:

— Князь Сергей Андреевич — наша семейная загадка. Мы часами ломаем головы над его ша-

радами, но таков уж стиль, приходится с этим мириться.

— Может быть, князь пояснит, что он имел в виду? — улыбнулась Варя. — Признаться, я озадачена: говорили о провинциальной тишине — и вдруг ваша эскапада.

— Князь считает эти разговоры ненужной тратой сил, только и всего, — покраснев, сказала Маша. — Вероятно, это справедливо.

Князь молча улыбался одними губами. Глаза по-прежнему смотрели с усталым равнодушием.

— Придется разъяснить, Серж, иначе ты рискуешь быть превратно понятым, — вздохнула Александра Андреевна.

— Представьте, что потребность всюду искать абсолютную гармонию есть наше национальное свойство и наша национальная беда, — скучно, словно через силу, начал он. — Европа — я беру ее в целом, ибо разница между ее народами практически несущественна, — так вот, Европа стремится к гармонии личной, суть которой сводится к формуле «мне должно быть хорошо». А мы этого стыдимся, даже если втайне и исповедуем. Стыдимся мучительно и искренне, готовы каяться, замаливать грех благотворительностью или… или чудачеством. Не потому ли у нас в Рос-

сии столь много совершенно особых русских чудаков? Куда-то рвемся, спешим, грешим и святотатствуем — и все не для себя, а если и для себя, то для утешения духа, а не тела, все скорее для покоя внутреннего, нежели внешнего. Не отсюда ли наше пресловутое русское чувство вины перед всем миром?

— А вы еще не влюблялись, — объявила вдруг Маша, опять закрасневшись. — И поэтому вам легко.

Князь внезапно рассмеялся. Смех его был неровным и каким-то насильственным.

— Кажется, тебе тоже придется пояснить свою мысль, — не без желчи сказала Варя.

— Не буду. — Маша покраснела еще больше и по-детски обиженно надулась.

— И не надо. — В глазах Сергея Андреевича впервые появилось что-то живое: они сейчас улыбались вместе с ним. — Вы открыли истину, Мария Ивановна. И, как всякая истина, она достаточно горька, чтобы принести пользу.

Софья Гавриловна была очень недовольна направлением, которое приняла застольная беседа. Она шла в этот дом, где избегали смотреть в глаза, где не говорили, а изрекали, не ели, а пробовали, не пили, а отведывали вопреки собственным

симпатиям. Шла, рассчитывая на протекцию в сватовстве, а вместо протекции и серьезного разговора ей подсунули потрепанного и явно женатого человека, навязавшего обществу никчемный спор. Она все время ждала мгновения, в которое можно было бы вцепиться, чтобы поворотить все в нужную сторону, и поэтому с радостью ухватилась за последнюю сентенцию князя.

— Да-да, вы совершенно правы, князь, совершенно. Горечь одиночества, отсутствие избранника сердца…

Разговор нехотя, со скрежетом и натугой, переползал на иные рельсы. Варвара хмурилась. Маша сердито краснела, а князь вновь зазмеился улыбкой, приглушив лишь однажды вспыхнувшие глаза. Все стало привычно скучным, дамы вежливо поддерживали беседу, вылавливая в потоке суетных фраз имена и тут же придирчиво, но осторожно обсуждая их. Девушкам становилось все неуютнее и беспокойнее, но тетушка уже увлеклась, уже позабыла о них, да и хозяйка оживилась. Князь молчал, привычно выдавливая улыбку и поглядывая на Машу. Маша хмуро отворачивалась, а потом глянула вдруг с отчаянной мольбой.

— Я привез любопытные журналы, — сразу

же, точно только и ждал этого взгляда, сказал князь. — Если не возражаешь, сестра, я показал бы их пока в гостиной.

— Да-да, Серж, развлекай барышень, а мы поболтаем с любезной Софьей Гавриловной.

Прошли в гостиную, князь принес парижские журналы. Отдал пачку Варе, но один оставил у себя и просматривал его вместе с Машей, комментируя рисунки и фотографии, остроумно пересказывая последние сплетни и анекдоты. Маша окончательно перестала дичиться, смеялась, когда хотелось смеяться, переспрашивала, когда не понимала; князь оживился, говорил легко и весело, опять заулыбался оттаявшими глазами. Варя поначалу поддерживала общий разговор, поскольку Сергей Андреевич к ней обращался, но потом его обращения стали все более редкими, а вскоре и совсем прекратились. Варя изо всех сил демонстрировала живую увлеченность журналами и даже смеялась в одиночестве, а когда возвращались, сказала, уже не пытаясь скрыть обиды и раздражения:

— Ты возмутительно вела себя с князем, Мария. Возмутительно!

— Возмутительно?

— Воображаю, что он мог подумать. Что он мог

подумать!

Маша ничего не ответила. Что-то безнадежно горькое звучало в тоне сестры, настолько горькое, настолько не соответствующее словам, что Маша не обиделась, а испугалась. И не хотела признаваться в этом страхе, чувствуя, что если признается в нем, то ей будет стыдно за Варю. Поскорее прошла к себе и постаралась тут же заплакать, еще по-детски веря, что слезы смывают все неприятности и скверны. Но поплакать всласть ей не удалось: вошла Варя. Вошла так стремительно, что Маша не успела прикинуться равнодушной.

— Прости меня, Маша.

И опять слова были отделены от тона, и опять Маша слышала сначала тон, а уж потом то, что говорилось.

— Ты уже взрослая, — продолжала Варя, старательно глядя в сторону. — Судя по двум примерам, вполне взрослая, и… и я решила говорить с тобой как со взрослой женщиной. Нам будет трудно, я догадываюсь, но разговора этого не избежать, и… и если ты не против…

— Я не против.

— Вот и прекрасно, прекрасно. — Варя решительно прошлась по комнате, решительно

нахмурила брови. — Мы — сестры, мы должны быть откровенны, и если даже откровенность эта покажется тебе обидной, то…

Она замолчала, глядя в сторону. Маша внимательно следила за нею, видела эту выставленную напоказ решительность, понимала, что Варе трудно, и с непонятным злорадством ждала, что же она скажет. Понимала, что поступает скверно, ругала себя за это вдруг пробудившееся в ней злорадство и — ждала.

— Мы родные сестры, но мы неодинаковы. Ты моложе и… и привлекательнее. — Варя с трудом выдавила из себя это признание. — Да, ты привлекательнее, ты умеешь легко увлекать, ты… ты обольстительна, если тебе угодна моя прямота.

— Это скверное слово, Варя, — тихо сказала Маша; в душе ее гремели сейчас фанфары, но она изо всех сил старалась быть скромной. — Я понимаю, что ты хотела сказать этим словом, и прощаю тебя.

— Ты прощаешь меня? — Варя близко заглянула в лицо и неприятно улыбнулась. — Благодарствую, сестрица. Я тащила на себе семью, Мария. Я, забыв обо всем, о молодости, о радостях, о соловьях в этом саду… — Она вдруг оборвала себя, словно проговорившись. Медленно провела

рукой по лицу, отвернулась. — Мы не можем одновременно выйти в дверь: кто-то должен уступить дорогу, — как-то нехотя, словно уже утратив интерес к разговору, сказала она. — И я прошу тебя. Нет, я требую, чтобы ты…

— Не надо, Варя, милая, не надо! — Маша, не выдержав, бросилась к сестре, обняла сзади за плечи. — Прости меня, что я раньше не прервала, прости, что мучила. Я скверная, Варя, я эгоистка, вот кто я такая. Но я все поняла. Все! Не тревожься…

Варя холодно отстранила Машу и молча вышла из комнаты, старательно выпрямив и без того вызывающе гордую спину.

На второй день князь явился с ответным визитом. Маша пряталась в своей комнате, пыталась читать, но не видела строчек, а если и видела, то не понимала. Она слушала. Слушала напряженно, всем существом, всеми силами, хотя до гостиной, где Варя оживленно болтала с князем, было далеко и услышать она ничего не могла. И она знала, что не может услышать ни единого звука, и все равно слушала до звона в ушах. Такой напряженно прислушивающейся ее и застала Софья Гавриловна.

— Мари, это что за новости? Почему ты пря-

чешься, как ребенок? Князь дважды спрашивал о тебе.

— Пусть. — Маша упрямо надула губы. — Я читаю и никого не хочу видеть.

— Но это же неприлично, сударыня, неприлично. Немедля извольте пройти в гостиную. Немедля!

— Не пойду. Хоть зарежьте.

Тетушка мгновение остолбенело глядела на нее, а потом безвольно рухнула на кушетку.

— Маша, не истребляй, — проникновенно сказала она. — Не истребляй во мне порыва. Не истребляй.

— Я ничего не истребляю.

— А я не сплю ночами, — строго поведала Софья Гавриловна. — Я думаю, задумываю и передумываю. Когда у тебя будут дети, ты поймешь и устыдишься. И это будет утешением в моей одинокой могиле.

— Тетушка, — почти с отчаянием сказала Маша, захлопывая книгу. — Вам хочется кого-нибудь осчастливить? Так осчастливьте Варю, она ждет этого. А я потерплю. Мне еще пансион кончить надо.

Про пансион она схитрила, ибо думала о нем почти с отвращением. Схитрила по-детски, в дан-

ный момент не задумываясь, что ее слова могут прозвучать обещанием. Ей хотелось, чтобы ее оставили в покое, в ее покое, который заставлял слушать то, что заведомо невозможно услышать, и читать, не понимая ни единого слова. Это был покой неустойчивого равновесия, но она не желала, чтобы кто-либо извне нарушал это равновесие. В нем заключалась сладкая возможность выбора, и этой возможностью Маша сейчас дорожила пуще всего на свете.

— Ну что же, — проговорила тетушка после глубокого размышления. — Ну что же, по-своему ты права. Ты не эгоистка, а значит, еще не влюбилась. Только не думаю, чтобы князь приехал еще раз.

Маша тоже не думала, и ей было чуточку грустно. Но грусть эта была торжественной, как в церкви.

Князь и вправду больше не появлялся, подчеркнув тем самым, что визит его был всего лишь вежливо-ответным. Более они не встречали его, хотя дважды выезжали вместе с Александрой Андреевной: тетушка стремилась расширить круг знакомств. Но поскольку сама Софья Гавриловна в князе не была заинтересована, полагая его женатым, а потому как бы уже и не первого сорта,

то и не задавала наводящих вопросов. И тусклые глаза усталого аристократа стали забываться вкупе с его приклеенной улыбкой.

2

Полковник Хорватович был плечист и высок, а походный зипун, который он никогда не застегивал, и широченные, заправленные в высокие австрийские сапоги шаровары делали его громоздким и неуклюжим. Но впечатление было обманчиво: двигался командир корпуса легко и стремительно, говорил, энергично отрубая фразы, действовал без колебаний, и сорокалетние глаза его до сей поры не растеряли юношеской синевы.

Для подробного рассказа он оставил в палатке одного Олексина, попросив выйти даже собственного начальника штаба. При докладе не перебивал, лишь коротко осведомился, когда Гавриил закончил:

— Это все?

— Все, господин полковник.

— Больше нечего доложить?

Олексин пожал плечами. Хорватович пристально посмотрел ему в глаза, кивнул:

— Садитесь.

Прошелся по палатке, взмахнув полами распахнутого зипуна, выглянул наружу. Потом, размышляя, постоял над поручиком и сел по другую сторону дощатого стола.

— Нет, не все, поручик.

— Простите, полковник, я вас не понимаю.

Хорватович не глядя выхватил из лежавшей на столе папки письмо, протянул Гавриилу, продолжая в упор глядеть на него синими глазами:

— Ознакомьтесь.

Это было донесение Медведовского. Полковник объяснял изменение своего маршрута в связи с нападением черкесов и вынужденным сопровождением батареи Тюрберта до сербских позиций. Все было правильно, но все это не касалось ни поручика, ни его доклада. Он читал, не понимая, зачем Хорватович знакомит его с рапортом, и лишь в конце, в приписке, понял, в чем дело.

«При внезапной атаке черкесов русско-болгарским отрядом поручика Олексина был захвачен в плен командир черкесов Ислам-бек, имя которого, безусловно, знакомо Вашему превосходительству. За час до моего прибытия указанный пленный бек был отпущен на свободу лично поручиком Олексиным. Ставлю Вас об этом в известность, усматривая в этом проступке не

просто доверчивость офицера, но прямое попрание им воинского долга, почему и ходатайствую о немедленном откомандировании поручика Олексина в распоряжение штаба генерала Черняева с последующим лишением волонтерских прав и принудительной высылкой в Россию…»

В приписке было что-то еще, но Гавриил не стал читать до конца: так засосало, заныло вдруг под ложечкой. Аккуратно сложил письмо по сгибам, протянул Хорватовичу.

— Прикажете сдать оружие?

— Объяснитесь.

— Долго, полковник. Да и вряд ли вы поймете.

Хорватович помолчал, постукивая сложенным рапортом о плохо струганные доски стола. Потом сказал:

— Ислам-бек вырезал два села. Вырезал буквально, не пощадив ни детей, ни стариков, за что и объявлен вне закона. Я понимаю, вы могли об этом не знать, но незнание не является оправданием, поручик.

— Я не пытаюсь оправдываться.

— И по-прежнему считаете себя правым?

Олексин долго молчал. Потом встал, извлек из кобуры револьвер и положил его на стол.

— Жду ваших приказаний, господин полков-

ник.

— Приказаний? — Хорватович зябко поежился, запахнул зипун. — Проклятая лихорадка, бьет второй месяц. В центре нашей позиции находится возвышенность. Она выдвинута вперед, делит корпус пополам, и, пока она у меня в руках, турки не могут продвинуться ни на шаг. Я поставил на эту высоту батарею Тюрберта, а прикрывать ее будет рота, усиленная вашим отрядом. Рота наполовину состоит из сербских войников; естественно, они не будут знать о вашем великодушии, но вы об этом помнить должны. Возьмите оружие и извольте принять роту.

Олексин неуверенно протянул руку к револьверу и снова отдернул, продолжая с молчаливым удивлением смотреть на полковника.

— Вы не расслышали приказа? — Хорватович вздохнул, потрогал пальцами лоб. — Все правильно, сейчас свалюсь.

— Может быть, врача? — спросил Гавриил, заталкивая кольт в кобуру.

— Врач умеет только отпиливать конечности. Слушайте, поручик, почему вы так неумеренно пьете?

— Я не пью неумеренно, господин полковник.

— Да не вы лично, а господа русские офицеры,

во всяком случае, многие из них. — Он неожиданно усмехнулся. — Из-за этого пристрастия я вынужден держать в своей палатке ведерную бутыль ракии.

— Угощаете господ русских офицеров? — Гавриил попытался сказать это легко, но улыбка вышла кривой, да и вопрос прозвучал достаточно криво.

— Мне надоели постоянные жалобы на вашу невоздержанность, и, чтобы положить этому конец, я объявил пьяницей себя. — Улыбка у Хорватовича тоже не получилась. — Жалобы прекратились, но пьянство осталось. Вы догадались, у кого вам предстоит принять роту? У пьяницы, поручик. Прискорбно, но этот пьяница — отставной полковник русской службы. Он явился сюда с претензией на бригаду, но у меня была только эта несчастная рота. Полковник покорился судьбе, но впал в амбицию: месяц беспробудно пил, и от роты осталось чуть более половины. Учтите это и постарайтесь сдержаться, когда будете принимать людей и хозяйство: мне и так хватает ссор. Удивлены?

— Признаться, да.

— В моем корпусе восемнадцать национальностей. Восемнадцать, поручик! Все горят желанием

помочь несчастной Сербии, но все — на свой лад. Оркестра нет — есть музыканты, а единых нот штаб так и не удосужился выслать. И все играют свою музыку и кричат, что фальшивит сосед. На разбор их пустопорожних жалоб я тратил уйму времени, пока не завел должность адъютанта по национальным претензиям.

— А славянские идеи что же, больше не помогают?

— А какое дело немцам, итальянцам, венграм или грекам до ваших славянских идей?

— Ваших? Я полагал, полковник, что это наши общие идеи. Разве не так?

— Мы — народ маленький, куда уж нам до панславизма, — вздохнул Хорватович. — Ну да ладно, поживете — сами увидите. Фамилия пьяницы полковника Устинов, а найдете вы его в кафане у маркитантов. Ступайте, мне, кажется, придется лечь. Ступайте, поручик, приказ о вашем назначении вам передадут утром.

Гавриил щелкнул каблуками и пошел к выходу.

— Если отдадите пушки туркам… — Хорватович помолчал, а потом тихо и очень буднично закончил: — Я расстреляю вас за все грехи разом.

Поручик молча поклонился и вышел из па-

латки.

Он никому не стал рассказывать о рапорте Медведовского: это было его дело, за которое он отныне нес полную меру ответственности. Поручик до сих пор ощущал холодок в спине от последних слов Хорватовича и понимал, что синеглазый командир корпуса сказал их не ради фразы. Здесь яростно боролись за дисциплину и боеспособность и не стеснялись подчас прибегать к самым крутым мерам: полковник лично расстрелял войника, бросившего в бою раненого товарища, об этом писали все газеты.

Тюрберт уже увел свои пушки на позицию, а болгары держались в стороне, ожидая указаний. После истории с черкесом, о которой они, к счастью, не знали подробностей, между ними и Гавриилом словно пробежала кошка: внешне все оставалось по-прежнему, но ощутимый ледок появился. А угрюмый Кирчо спросил напрямик:

— Отпустили или вправду сбежал?

— Сбежал, — сказал Отвиновский. — Не уследили, виноваты.

Кирчо выругался и ушел. И появился ледок в отношениях.

— Идем на пополнение стрелковой роты, — сказал Олексин. — Сообщите об этом болгарам,

Отвиновский. Мы с Совримовичем поищем командира.

По дороге в кафану, которая стояла на отшибе, за строгими линиями штабных палаток и шалашей, говорил один Совримович. Рассказывал о встрече со знакомым офицером, о турках, редких боях и о слухах. Он был неравнодушен к слухам, любил извлекать из них доказательства собственных выводов, за время похода скучал без новостей и с удовольствием сыпал ими. О Черняеве, о докладе сербского военного министерства, о злоупотреблениях интендантства, о князе Милане, тайком примерявшем королевскую корону, о демонстративном отъезде группы русских волонтеров в Россию…

— Студенты, — несколько пренебрежительно комментировал он, — недовольны позицией сербских властей, обвиняя их в саботаже и чуть ли не в тайном сговоре с Портой…

Олексин не слушал. Он вновь с ужасом вспоминал рапорт Медведовского и внутренне благодарил судьбу, что счастливо избежал позорной высылки на родину. Нет, он и сейчас не жалел, что отпустил Ислам-бека, и хотя упоминание Хорватовича о вырезанных селах тревожило его совесть, поручик твердо был убежден, что

полковник сильно преувеличил жестокости, творимые черкесами в Сербии.

И все же главное место в его размышлениях занимал сейчас Хорватович. Поручик думал о нем почти с восторгом не только потому, что сербский полковник спас его честь и карьеру, но и высоко оценивая ловкость, с которой Хорватович использовал рапорт в общих боевых целях. Да, он взвалил на плечи поручика нелегкую ношу, но взвалил, понимая, что Олексин с благодарной радостью ухватится за нее. «А все-таки все к лучшему, — с неистребимой юношеской верой в счастливую звезду думал Гавриил, входя в шумную кафану. — Если бы не случай, ни за что бы мне не получить такого участка».

В тесной кафане было дымно и людно, но толстый хозяин в грязном фартуке мгновенно нашел для них место, поспешно выпроводив из-за столика двух сербских войников.

Совримовичу это не понравилось:

— Напрасно вы их потревожили.

— Никак не можно, никак не можно! — на плохом русском языке кричал хозяин, проникновенно прижимая к засаленной груди волосатые пальцы. — Все — для господ русских волонтеров. Вы проливаете кровь за нашу Сербию…

— Но мы не затем пришли…

— Никак не можно! Бутылочку вина, одну бутылочку! — Тут хозяин понизил голос до интимной доверительности: — Есть настоящее французское. Только для вас, господа, только для вас.

Он тут же исчез, с профессиональной ловкостью обходя посетителей. Офицеры сели, оглядывая набитое людьми помещение.

Русских здесь было много, и поэтому на них никто не обращал внимания. Ели и пили с той грубоватой бесцеремонностью, к которой с удовольствием прибегают мужчины, сойдясь по случаю, изо всех сил изображая бывалых рубак и хвастаясь бесшабашной удалью. Громко говорили, громко смеялись, вмешиваясь в разговоры соседей и не стесняясь в шутках. В основном это была молодежь, хотя попадались лица, довольно потрепанные возрастом и жизнью. Офицеры и солдаты придерживались своих компаний, но столы располагались рядом, плечи касались друг друга, а разговоры и шутки часто пересекались: волонтерское платье несколько уравнивало социальные группы, и Совримович сразу обратил на это внимание.

— Этак мы потеряем армию, Олексин: солдат не должен видеть пьяного офицера. А уж коль

начнет пить с ним, в атаку его не поднимешь.

— Они хоть за разными столами, Совримович. Вы посмотрите направо.

Правее их за большим кувшином ракии сидели худой, сморщенный старик в русском полковничьем мундире и рослый краснорожий волонтер. Оба одинаково навалились на столик, едва не касаясь друг друга низко склоненными лбами, и одинаково молчали.

— Держу пари, это и есть полковник Устинов, у которого мне надлежит принимать роту.

— Я вам не пешка! — вдруг побагровев, крикнул полковник. — Да-с, не пешка! Я — русский офицер, я тридцать лет верой и правдой! Да-с! А меня — в пешки, в пешки! Почему не русские командуют, почему, я вас спрашиваю? Почему? Интриги, господа? Не позволю! Не позволю, чтоб русский мундир… — Он ткнул солдата в плечо. — Ты видишь этот мундир? Видишь?

— Так точно, — невнятно пробормотал солдат, привычно думая о своем. — Как же. Мундир — это точно.

— Этот мундир свят, — с пьяной проникновенностью сказал полковник. — Он вознесен волею его императорского величества и матушки России. Вознесен! Во всех столицах славой по-

крыт. Во всех, милостивый государь, не извольте спорить. Все — дерьмо, только русские воюют. Только русские! А меня — в подчинение. К кому? К австрийскому сербу?

— Ах ты, горе горькое! — крикнул солдат, хватив кулаком по столу.

За столиком воцарилась тишина. Полковник долго и тупо глядел на собутыльника пьяными красными глазками.

— Горе? Какое у тебя может быть горе, дубина?

— Детки мои, детки, — всхлипнул волонтер. — Троих оставил. Троих!

— Детки?.. Да. Наливай. Наливай, Белиберда, за деток. Ты зачем сюда ехал? Какая твоя идея?

— Чего?

— Доложи.

— Я, это… Турку бить!

— Молодец! — Полковник чокнулся глиняной кружкой и лихо отправил ее содержимое в неаккуратно заросший рот. — Я православный, милостивый государь, да-с. И горжусь! Когда российский человек жизни своей не щадит, извольте в ножки ему за это. В ножки! А мне — роту. Роту! А серб воевать не хочет. Ты заметил? Не хочет, подлец этакий!

— Не хочет, Зиновий Лукич. Ох-хо-хо! — громко

вздохнул солдат и пригорюнился. — А у нас на семь сел один вол, да и тот без рог.

— Не сметь! — строгим шепотом сказал полковник. — Не сметь отчизну порочить. Не сметь!

— Да нешто я… — растерялся солдат.

— Не сметь! — Полковник строго погрозил пальцем, хлебнул из кружки и сказал уже более спокойно: — Мне говорят: снимайте мундир, потому сербы косятся. А зачем? Зачем мне снимать мундир? Я — русский полковник с мундиром и пенсионом в отставке. Я — кавалер российских орденов! Я служил беспорочно тридцать лет! Я по Белграду в мундире ходил, я у Черняева в мундире ходил, я и здесь в мундире хожу. Пусть видят, кто их от турок спасает, пусть! Нате, смотрите! Я — русский полковник. Русский! И не сметь здесь отчизну порочить. Не сметь!

— Виноват, ваше высокоблагородие.

— То-то. Наливай, Белиберда. Белиберда ты и есть.

Отставной полковник кричал, стучал по столу, призывал свидетелей, но в переполненной кафане никто не обращал на него внимания. То ли потому, что в нем видели завсегдатая, к которому привыкли, то ли потому, что здесь вообще было принято ничему не удивляться и ни к чему не

прислушиваться, то ли потому, что Устинов был скандально обидчив и никто не хотел связываться с ним. Как бы там ни было, а кафана жила своей жизнью: у окна волонтеры вслух читали письмо из дома, обсуждая каждую новость; в углу негромко пел под гитару молодой офицер; из-за дальнего стола доносился хохот: там рассказывали что-то веселое и, судя по отдельным словам, весьма соленое. И, возможно, именно поэтому полковник и повышал голос до крика.

— Удивительно, Совримович: чем благороднее идея, тем она беззащитнее. Возле нее вдруг оказывается такое количество спекулятивной гнуси, что диву даешься, как ты сам до сей поры еще не изверился в ней. Причем, заметьте, за границей это как-то особенно бросается в глаза.

— Либо мы уведем его, Олексин, либо уйдем сами, — сказал Совримович. — Меня тошнит от его патриотизма.

— Попробую, — вздохнул Гавриил.

Он нехотя поднялся, оглядел зал, прикидывая, на кого можно тут рассчитывать, если разразится скандал, не встретил ни одного взгляда и, помедлив, подошел к Устинову.

— Честь имею представиться, господин полковник: поручик Олексин. Назначен командиром

роты, которую вам надлежит немедля сдать мне.

— Немедля? — Полковник, тупо моргая, смотрел на него снизу вверх, пытаясь осознать, что услышал, и хотя бы частично разогнать хмель. — Вторая отставка. А известно ли вам, милостивый государь…

— Мне известно, что мы на войне, где промедление недопустимо.

— Совершенно верно. — Полковник тряхнул остатками седых волос. — Садитесь, поручик. Начнем.

— Я не обсуждаю служебных дел в присутствии денщиков, господин полковник.

— Совершенно правильно. — Полковник опять тряхнул головой. — Я его Белибердой зову. Как твоя фамилия, Белиберда?

— Валибеда! — гаркнул солдат.

— А я его — Белибердой. Белиберда и есть. Садитесь, поручик. Вы не имеете права пренебрегать. Я старше чином и… и возрастом, да-с! И на мне, изволите видеть, русский мундир.

— Так не позорьте его, господин полковник, — тихо сказал Гавриил.

— Я? Позорю? Я?..

Качнувшись, Устинов встал. Он был невелик ростом, и Олексин по-прежнему созерцал его

розовую лысину, опушенную седыми, вразнобой торчащими космами. Лысина эта стала апоплексически наливаться кровью, а полковник, наоборот, бледнел, точно кровь его, минуя щеки, вся без остатка ринулась в темя.

— Я позорю? Я?.. Нет-с, милостивый государь, вы позорите. Вы! Мундирчик-то скинули? Скинули? На волонтерское тряпье заменили? А я — нет-с! Вместе с кожей, только вместе с кожей! С сербами заигрываете? С немчурой? С полячишками? Со всеми заигрываете, о демократии рассуждать позволяете, о свободе! Книжечки, в отечестве запрещенные, почитываете, разговорчики разговариваете — тем и Россию позорите. Да-с! Не сметь! Позорите! Тем позорите, что под сомнение ставите. Все — под сомнение, даже властей предержащих. Наслышан, многому наслышан и от студентиков, и от жидовствующих, и от демократов, и от господ офицеров, как сие ни прискорбно. Вот что Россию позорит: сомнения. Сомнения ее позорят, сударь, а во мне нет сомнений. Ни грана нет, и я не позорю, а утверждаю. Наш российский дух утверждаю, нашу веру во власти верховные, нашу силу через мундир сей утверждаю. И не сметь мне, не сметь!

— Через пьянство утверждаете, полковник? —

шепотом сказал Гавриил. — Через пренебрежение ко всем и вся? Через постыдный маскарад? Вы компрометируете нас. Даже не нас, нет: вы Россию компрометируете, ее порыв, ее искренность. Вы…

— Молчать! — Полковник затрясся. — Да я вас… На дуэль! К барьеру… Через платок, через платок-с!

— Я не стреляюсь с пьяными стариками.

Кажется, в кафане стало тихо. Или это только показалось Гавриилу: ему тоже бросилась в голову кровь, и он не видел и не слышал никого, кроме этого трясущегося красного полковника.

— Заставлю! — со смешком, нараспев проговорил Устинов. — Заставлю…

Он замахнулся. Олексин непроизвольно дернул головой, но поднятую руку полковника уже перехватила молодая и крепкая рука.

— Спокойно, Устинов, — негромко сказал невысокий плотный офицер. — Вас уже трижды выбрасывали отсюда, а сейчас выбросят в четвертый раз, если вы не образумитесь.

— Ах, господин капитан Брянов! — Устинов пытался раскланяться, но это ему плохо удалось, так как Брянов по-прежнему крепко держал его руку. — А как с нигилистами-то, отчизны лишен-

ными, беседки вели — знаю. Знаю, Брянов, знаю! В Сибирь пойдете, сударь, в Сибирь!

Но капитан не обращал на него внимания. Он в упор смотрел на краснорожего Валибеду, и под этим взглядом собутыльник полковника спрятал бессмысленную улыбку и заметно сник.

— Встать! — негромко скомандовал Брянов. — Забирай своего барина и марш отсюда.

Валибеда привычно встал, но, посмотрев на Устинова, опять глупо заулыбался:

— А может, не хотят они? Не желают уходить?

— Выполняй. Ослушаешься — завтра же, пьянь тыловая, в строй переведу. В такое пекло суну — мать с отцом забудешь.

Валибеда глубоко вздохнул, точно собираясь с силами. Достал из кармана потрепанный кошелек, долго копался в нем, выудил несколько монет и положил на стол.

— Три хранка, — сказал он. — Тут за прошлое, значит.

Подошел к полковнику, с привычной ловкостью подхватил так, что ноги Устинова уже не касались пола, и вежливо повлек к выходу.

— Куда? — кричал полковник, стуча сухоньким кулачком по гулкой спине денщика. — Не желаю…

— Бай-бай, — сурово пояснил волонтер.

Кафана весело смеялась. Брянов с улыбкой глянул на Олексина:

— Не стоит из-за этого расстраиваться, поручик.

— Благодарю вас от всего сердца, — с чувством сказал Гавриил. — Я рисковал получить пощечину, на которую не мог бы ответить.

— Я ваш командир батальона капитан Брянов. И очень рад, что от меня наконец-то убрали эту старую лохань. Надеюсь, будем друзьями, поручик?

— Будем, капитан, — улыбнулся Олексин: его подкупила эта прямолинейность.

— С вами, кажется, друг? Забирайте его, и прошу за наш столик.

— Прощения просим, — робко, с покашливанием сказали за их спинами.

Офицеры оглянулись: перед ними стоял Валибеда.

— Прощения просим, — повторил он, снова покашляв. — Ваше благородие, возьмите меня в строй. Явите милость божескую: не затем я деток своих бросил, чтоб в Сербии ракию ихнюю пить. Спасите вы меня от господина Устинова, ваше благородие!

3

Прием роты оказался чистейшей формальностью: хозяйства не было никакого, а все снабжение лежало на плечах пеших носильщиков — комоджиев, обязанных доставлять продовольствие и патроны на передовую. Правда, за ротой числилась пара лошадей и повозка для транспортировки раненых, но полковник Устинов так мучительно путался, объясняя, где она находится, что Олексин махнул рукой:

— Не страдайте, господин полковник. Потом разберемся.

Ему было стыдно за вчерашнюю сцену. Правда, Устинов был безобразно пьян, но оставался офицером, старшим по званию, при мундире и орденах, и Гавриил ругательски ругал себя, что не сдержался в переполненной кафане.

Поименного списка роты тоже не оказалось, и Устинов напрасно перекладывал с места на место потрепанные листочки в своем шалаше. Ни списков людей, ни учета оружия, ни даже фамилий взводных командиров не смог выяснить поручик у тихого и вялого старика. Поняв, что ничего не добьется, подписал рапорт о вступлении в должность и отпустил полковника с миром.

— Будем начинать сначала. Стройте людей, Совримович.

Выстроилось чуть больше сотни вместе с болгарами. Олексин медленно шел вдоль фронта, останавливаясь перед каждым войником. Тот делал шаг вперед, называя имя и фамилию, которые Совримович заносил в список.

— Серб, — помечал он при этом. — Черногорец, серб, румын, опять серб. Грек, чех, венгр. Похоже, тут вся Европа.

— Добавьте французов — и будет вся, — сказан Гавриил. На левом фланге впритык к болгарам стояли его давешние спутники по речному плаванию. Миллье добродушно улыбался, Лео весело подмигивал, и даже итальянец чуть приподнял руку в знак приветствия.

— Попросите этих господ пройти ко мне, — сказал Олексин.

Он сразу же прошел в шалаш, ставший уже его шалашом, но еще хранивший в себе стойкий запах ракийного перегара. Прошелся перед колченогим столиком, еще не решив, что сейчас скажет, но твердо зная, что этим людям не служить под его началом. Их поступок был для него омерзителен: он не мог забыть клетчатого трупа в придорожной корчме.

Французы вошли один за другим. Миллье с добродушной улыбкой шагнул к поручику и протянул руку:

— Вот нам и пришлось встретиться, командир.

Олексин не принял протянутой руки. Французы переглянулись, а Лео криво усмехнулся:

— Кажется, от папаши ждут другого обращения.

— Что случилось, месье Олексин? — спросил Этьен.

Гавриил со стуком положил на стол складной нож.

— Смотри-ка, он нашел нож, что ты утерял, — удивился Лео, подтолкнув итальянца.

— Я нашел его в спине вашего соотечественника. — Поручик старался говорить спокойно. — Полагаю, господа, что эта находка освобождает меня от данного когда-то слова чести. Также полагаю, что нам следует незамедлительно расстаться: прошу извинить, но мне как-то не приходилось командовать убийцами.

— Но позвольте, сударь… — растерянно начал Миллье.

— Это все, господа, — решительно перебил Олексин. — Прошу тотчас же покинуть вверенный мне участок.

— Так вот каким образом мы освободились от слежки, — вздохнул Миллье. — Я понимаю вас, господин офицер.

— Прошу немедленно покинуть мою роту.

— Но позвольте нам… — начал было Этьен.

— Никаких «но».

Весь день Гавриил занимался неотложными делами: знакомился с людьми, местностью, линией своих стрелков, расположением секретов, передовых ложементов противника, состоянием оборонительных позиций. Земляные работы были сделаны кое-как, укрепления не доведены до конца, всюду он находил следы небрежности и упущений, всюду приходилось начинать чуть ли не сначала. Он был все время с людьми, все время в работе, но постоянно возвращался мыслями к французам. Их растерянные лица часто возникали в памяти, а последние слова Миллье звучали до сих пор, и он никак не мог понять, хитрил тогда француз или говорил правду.

Под вечер зашел капитан Брянов. Он только что посетил Тюрберта и остался очень доволен энергией и распорядительностью командира батареи. Обошел с Олексиным его позиции, долго разглядывал турецкие укрепления.

— Прямо скажу, Олексин, мне не нравятся эти

ложементы. Я говорил об этом Устинову, но без толку, как вы легко можете догадаться.

— А что вы предлагаете?

— Вылазку. Надо заставить турок попятиться и срыть аванпостные укрепления. В противном случае они сделают то же самое.

— Вылазку силами одной роты?

— Я помогу, Олексин. А может, и артиллеристы поддержат: им ведь тоже пристреляться не грех. Планируйте свою задачу, я спланирую общую — и завтра все покажем Хорватовичу.

— Минуя командира бригады?

Брянов улыбнулся:

— Здесь не та армия, с которой вы привыкли иметь дело, поручик. Командир бригады майор Яковлич нерешителен и неуверен, как старая дева: он будет только благодарен, если мы все возьмем на себя. Пройдем ко мне, я покажу вам общую систему укреплений.

Было уже поздно, когда Гавриил возвращался домой. Домой, ибо теперь у него был свой дом — его рота, своя семья — его рота, своя ответственность — его рота. И он был счастлив и горд, что у него есть эта рота, он мечтал сделать ее лучшей ротой корпуса, мечтал заслужить одобрение Хорватовича, мечтал совершить отчаянно дерзкую

вылазку, чтобы о нем и о его роте заговорили по всей Сербии, а может быть, даже в России. Мечтал восторженно и безгрешно, как мечтают только в юности, ища не выгод, а подвигов, не славы, а похвалы.

Впереди показался человек. Он явно ждал его, и Гавриил чуть замедлил шаги и расстегнул клапан кобуры.

— Не беспокойтесь, сударь, — по-французски сказал ожидавший, и поручик узнал Этьена. — Это всего лишь ваш покорный слуга.

— Я приказал покинуть расположение моей роты.

— Мы помним об этом. Но нам кажется, что следует выслушать и нас. Если и после этого вы укажете нам на дверь, мы уйдем.

Под деревом сидели Миллье и Лео, итальянца видно не было. Рядом лежали тощие волонтерские мешки.

— Наши богатства при нас, сударь, и мы ни на что не претендуем, — сказал Миллье. — Но мы уважаем вас, командир, и нам бы не хотелось расстаться так, как мы расстались. Уделите нам пять минут, а потом решайте. Это будет только справедливо.

— Присаживайтесь, — сказал Лео, указывая на

толстый обрубок дерева. — Я для вас приволок этот пень.

Он не привык к вежливости, говорил угрюмо, набычившись, и Гавриил сразу сел на предложенное место, вдвойне оценив услугу. При этом он, однако, держался настороженно, поглядывая по сторонам и положив руку на расстегнутый клапан кобуры: французы были вооружены. Миллье заметил его воинственную позицию и грустно улыбнулся.

— С нами нет четвертого, сударь, нет и не будет, поскольку нам с ним не по дороге. Не было его с нами и тогда, когда мы мирно храпели в корчме. Точнее, нас не было с ним, когда он не спал. Короче, сударь, до сегодняшнего дня, до вашего появления, мы трое ничего не знали об этом убийстве. Хотите — верьте, хотите — нет, но я говорю правду.

— Лучше верьте, — тихо сказал Лео.

Этьен подавленно молчал, изредка поглядывая на поручика. Гавриил дважды поймал его потерянный взгляд, застегнул кобуру и закурил.

— Нас много лет гоняли по всей Европе как бешеных собак, — помолчав, продолжал Миллье. — И если бы нас где-либо схватили, нам бы грозил неправый суд и бессрочная каторга. Нет,

мы не убийцы, мы не совершили ничего противозаконного, потому что борьба за свободу всегда законна. Но руки наши чисты, сударь, мы не пачкали их убийством и не испачкаем никогда. Хоть мы и не аристократы, у нас тоже имеется честь, которой мы дорожим не меньше вашего. Скажу откровенно: если бы тот человек прижал нас к стене, мы бы сопротивлялись сколько могли, сударь, сопротивлялись бы до последнего, и никто бы не поставил нам этого в упрек. Но ударить ножом в спину — нет, сударь, нам это не подходит, и поэтому мы расстались с тем, кто это сделал.

— Я рад это слышать, господа.

— Но это не все, что мы хотели сказать, не торопитесь, командир, — усмехнулся Миллье. — Мы не просто беглецы, которые ищут, где бы им зацепиться и как бы им уцелеть. Мы сознательные борцы за свободу против любой тирании. Мы готовы защищать свою свободу с оружием в руках, не щадя жизни. Сегодня мы защищаем ее в Сербии, но не спрашивайте, где мы защищали ее вчера, и не интересуйтесь, где будем сражаться завтра.

— Мы — за справедливость, — негромко сказал Лео.

— Да, мы — за всеобщую справедливость, и

во имя этой справедливости мы от многого отказались. Мы отказались от родины, от церкви, от государства, потому что и родина, и вера, и государство несправедливы к большинству и не в состоянии дать народам истинной свободы.

— А кто же в состоянии?

— Сам народ, — негромко сказал Этьен. — Только народ может быть справедливым, и только он в состоянии обеспечить настоящую свободу. Любые привилегированные группы, будь то аристократия или буржуазия, прежде всего охраняют свои интересы. Свои, а не народные.

— Утопия, — вздохнул Гавриил. — Извините, господа, но это из области фантазий. Никакая страна не может обойтись без армии, без полиции, без тюрем, судов, налогов, законов, наказаний и поощрений — словом, без государства. А государство немыслимо без подавления чьей-то воли, без принуждения, подчинения, зависимости, — одним словом, без служебной иерархии. А иерархия — это лестница, где стоящий выше всегда давит на стоящего ниже и не может не давить, даже если бы и хотел этого. Не может, потому что его, в свою очередь, давят сверху, не может, потому что он по долгу службы обязан заставлять работать тех, кто под ним, и, значит…

— Значит, справедливости вообще не может быть, — перебил Миллье.

— В абсолютном смысле — да, не может. Всегда будут существовать те, кто посчитает себе обойденным.

— Конечно будут, — согласился Этьен. — Мы не мечтаем о том, чтобы их вообще не было, — мы боремся за то, чтобы их становилось все меньше и меньше.

— Просто мы говорим о разных свободах, — сказал Миллье. — Мы говорим о свободе народов, а вы толкуете о свободе личности. И наша свобода совсем уж не такая утопия, как ваша, сударь. Мы за полную ликвидацию сословий, денег, религий и системы государственного угнетения. Мы хотели бы создать такое общество, где все были бы равны перед законом, где у всех были бы равные возможности и равные условия жизни. Но это далекая мечта. А пока, сегодня, мы хотим помочь Сербии сбросить турецкое иго, только и всего.

— Я тоже хочу этого. Мы расходимся в деталях, а это несущественно.

Французы переглянулись. Лео облегченно рассмеялся и крепко хлопнул себя по бедрам.

— Если это не так существенно, то, может быть, вы отмените свой приказ? — спросил Этьен.

— Я верю вам, — сказал поручик, вставая. — Кажется, ваш шалаш еще никто не занял. Мне остается только предупредить, что в строю я не признаю дружеских отношений.

— Это мы поняли, — улыбнулся Этьен.

— Минуточку, командир! Пока мы не в строю, такую хорошую сделку надо бы спрыснуть. Достань-ка бутылочку, сынок. Ту, заветную, что я припрятал до добрых вестей.

4

— Я сам солдат, — улыбаясь, говорил Хорватович. — Я глубоко уважаю боевой пыл молодых людей, но я знаю моих сербов лучше, чем знают их русские: не только ночью, но и днем они вяло идут в огонь. Они еще не солдаты, они крестьяне; они умеют стойко защищаться, но не умеют хорошо атаковать.

— Мы подадим им пример, — сказал Олексин.

— Русских и так пало слишком много на этой земле, — вздохнул полковник.

— Но, господин полковник, нельзя же допустить, чтобы турки достроили укрепления, — сказал Брянов. — И вам тоже должно быть понятно, что наш упреждающий удар…

В палатку вошел Тюрберт, и капитан замолчал.

Тюрберт с гвардейской лихостью вскинул руку к фуражке, отрапортовал, что явился по приказанию. Хорватович подозвал его к столу, где была расстелена выполненная от руки схема позиций, коротко ознакомил с предложением о ночной вылазке.

— Что скажете, подпоручик?

— Если бы у меня было достаточно снарядов, я бы за три часа разметал эти ложементы. Но снарядов вы мне все равно не дадите, не так ли, полковник?

— Не более десяти на орудие.

— Десять на непристрелянное орудие? — Тюрберт улыбнулся. — Я уступаю лавры пехоте, полковник. Тем более когда она столь безудержно рвется к ним.

— Признаюсь, господа, я в затруднении, — озабоченно сказал Хорватович. — Не окажется ли плата дороже покупки?

Все же они уломали командира корпуса. Олексину необходимо было не только проверить, но и сплотить роту в деле, Брянов опасался турецкой угрозы, а Тюрберт хотел пристрелять свои орудия по ориентирам. Хорватович понял это и в конце концов разрешил ночную вылазку силами одной роты при скромной поддержке артиллерии. Офи-

церы согласовали свои действия, условились о сигналах, помощи и связи и вышли от командира корпуса весьма довольные одержанной победой.

— С ним можно иметь дело, — говорил Брянов. — Командир он стоящий, а что упрям иногда, так не без того, господа, не без того.

— Глядите, Тюрберт, по своим не пальните, — сказал Гавриил, избегая глядеть в насмешливо улыбающееся лицо.

— Окститесь, Олексин, зачем мне ваша героическая гибель? Я помню о нашем договоре.

Весь день Гавриил готовил роту. Несколько раз проинструктировал взводных, заранее разослал в передовые секреты болгар, чтобы они за четверть часа до атаки без шума сняли турецких наблюдателей, лично проверил оружие передового отряда, который вел сам. Фланговыми отрядами командовали Совримович и Отвиновский: они должны были ввязаться в бой чуть позже, одновременно с группой, которую выделял капитан Брянов для поддержки. Все было сделано, проверено и перепроверено, но Гавриил не мог усидеть на месте и метался по шалашу.

— Отдохните, Гаврила Иванович, — урезонивал Захар; он набивал для поручика папиросы. — Еще часа четыре спокойно поспать можно, я разбужу.

— Да, да, отдохнуть надо. — Гавриил сбросил сапоги, прилег на топчан, но тут же вскочил. — Ужин роте не давать!

— Ясное дело, не давать, — подтвердил Захар. — Мы этот ужин аккурат в обед съели, чего же давать-то?

— Как считаешь, Захар, я все сделал?

— А остальное в руках Божьих, — сказал Захар степенно. — Как выйдет, так и выйдет. Спи, Гаврила Иванович, разбужу, когда время твое придет.

Поручик послушно лег, но долго еще метался на жестком ложе, хотя думал уже не столько о предстоящем сражении, сколько о себе. То он метким выстрелом повергал наземь рослого турка, занесшего ятаган над Бряновым; то впереди своих солдат захватывал батарею и с торжеством дарил турецкие пушки Тюрберту; то по великому везенью и личной отваге врывался в глубину турецкого расположения, а потом гордо кидал к ногам Хорватовича захваченное знамя. В голову лезли мысли и дерзкие, и наивные, но ни на одно мгновение он не подумал, что может быть ранен или даже убит, что этот первый бой в его жизни может оказаться последним. И не потому, что гнал от себя такие думы, а потому, что дум этих не

было вообще: после двух скоротечных перестрелок он уверовал не только в то, что не струсит, но и в то, что его никогда не убьют. Война начала рисоваться просторной ареной для подвигов, в мечтах о которых он наконец-таки и уснул.

Захар тихо возился в шалаше. Он мог бы и не делать того, что делал, мог бы оставить до будущего, но не только не оставлял, а, наоборот, искал себе работу, неодобрительно прислушиваясь к вздохам Гавриила. И только когда вздохи эти прекратились, когда он убедился, что барин его уснул крепко и безмятежно, он оставил все дела. Посидел, сосредоточенно глядя перед собой, а потом опустился на колени и начал беззвучно молиться, истово кладя поклоны. Он не знал ни одной подходящей молитвы, но горячо и искренне просил сохранить жизнь ему и рабу Божию Гавриилу.

— Потом жизнь возьмешь, Господи, — бормотал он. — Потом, на родине: не дай на чужбине дух испустить, Господи, Боже ты наш…

Закончив эту полуязыческую молитву, он степенно перекрестился, лег на солому, укрылся полушубком и через минуту храпел мощно и мирно, будто собирался на рассвете не в бой, а на покос.

Передовой отряд выступил, когда чуть забрезжил рассвет. По поводу начала атаки спорили долго: Брянову и Олексину нужна была темнота, но Тюрберт справедливо требовал хоть какой-то видимости. В конце концов сошлись на этом рассветном часе, когда черная мгла еще прикрывает низины, когда только-только начинают обозначаться контуры предметов и когда всем часовым на свете так мучительно хочется спать.

— Пора, — шепнул Меченый. — Кирчо, берешь левого, Митко — правого. Хаджиев, прикройте их: вы хвастались, что хорошо стреляете.

Хаджиев пробурчал что-то невнятное, взяв на мушку еле различимый турецкий окоп. Кирчо и Митко, распластавшись, уже ползли к нему.

Рядом нетерпеливо заворочался Бранко. Стоян улыбнулся, положил руку на плечо:

— Главная доблесть на войне — стерпеть. На том, кто горяч, давно уже черти угли возят.

Рассветный ветерок донес чуть слышный сдавленный стон. Меченый недовольно поморщился:

— Опять Митко погорячился. Всем скрытно вперед. Карагеоргиев, останетесь ждать поручика.

Болгары, пригнувшись, бежали к турецкому секрету. Карагеоргиев проводил их взглядом и

приник ухом к земле, пытаясь уловить шаги передового отряда. Земля пока молчала.

Поручик вел отряд неторопливо и осторожно. Осторожность эта возникла, как только они спустились с высотки на ничейную полосу, но возникла не от опыта командира, а скорее от его неопытности: Гавриил все время напряженно ожидал выстрелов, окрика, внезапной атаки и поэтому крался там, где можно было бы идти спокойно. И, глядя на командира, крадущегося впереди, сербские войники тоже пригнулись и затаили дыхание, точно так же без надобности стискивая потными ладонями старые, однозарядные ружья. Поэтому добрались они до Карагеоргиева не только с опозданием, которое само по себе было еще допустимо, но уже исчерпав изрядный запас сил и мужества там, где врага не было, где болгарские пластуны уже расчистили путь. Азарта еще хватило до турецкого секрета, занятого Меченым, но, достигнув его, отряд Олексина свалился в полном изнеможении.

— Пора, — шепнул Стойчо поручику. — Давать сигнал?

— Подождите, — задыхаясь, сказал Гавриил. — Дайте отдышаться.

— Светает. Если турки заметят и откроют огонь,

мы не сможем даже отойти.

— Еще хотя бы пять минут…

— Нет пяти минут! — отрезал Меченый и, подняв винтовку, трижды выстрелил в воздух.

— Ну наконец-то! — с облегчением крикнул Тюрберт, давно уже до слез всматриваясь в однообразно серое марево. — Первое, пли…

В рассветной тишине глухо рявкнула пушка. Снаряд с воем пронесся над головами и разорвался внизу, отметив падение слабой вспышкой желтого пламени.

— Недолет! Редькин, доверни чуть! Заряжай, ребята! Первое, пли!

Он кричал, пребывая в радостном возбуждении. Насмешливое лицо его раскраснелось и ожило, и весь он точно ожил, утратив вдруг столь обычную для себя развинченную леность. Сейчас он был собран и энергичен, весел и напорист, и артиллеристы, глядя на своего командира, тоже старались быть озорными, веселыми и энергичными. Тюрберт занимался делом, которое любил, знал до тонкостей, которым гордился и в которое верил как в свое призвание.

— Молодцы, ребята, всем по глотку из моей фляжки! Наводить по первому, батарея — пять снарядов беглым… пли!…

Отряд Олексина лежал, вжавшись в землю. Снаряды рвались на гребне турецких укреплений, но отдельные осколки долетали и сюда: Тюрберт, бравируя, стрелял впритирочку, с высшим артиллерийским шиком. Земля тяжко вздрагивала, ветер нес дым на пехоту; солдаты кашляли, закрываясь шинелями.

— Кончится стрельба — все вперед, вперед! — кричал Олексин, уже позабыв о желании передохнуть «хотя бы пять минут». — Захар, задержись тут и гони всех в шею!

Артиллерийская стрельба оборвалась так же внезапно, как и началась, выпустив считаное количество снарядов. Турки пока молчали.

— Вперед! — Поручик вскочил, взмахнув саблей. — Не выдавай, ребята! За мной! Ура!

Дружно поднялись болгары, французы, краснорожий и трезвый Валибеда, кто-то еще — уже с промедлением, вразнобой; Олексин не оглядывался. Он бежал к турецким ложементам, размахивая саблей и путаясь в ножнах. А Захар, матерясь, метался по полю, подгоняя отставших:

— Вперед, православные! Вперед, братки, вперед!

Гавриил уже видел красные фески, мелькавшие за развороченным бруствером. Оттуда удари-

ло несколько выстрелов, пули с протяжным жужжанием прочертили воздух над головой; поручик инстинктивно хотел упасть, укрыться, но пересилил это желание, только запнулся на бегу. Огонь противника был неорганизованным и случайным, а слева и справа уже доносилось «ура»: Совримович и Отвиновский подняли свои отряды.

— Скорее! — кричал поручик, задыхаясь. — Скорее!

Кричал он сам себе, потому что в топоте, тяжком дыхании бегущих и выстрелах турок все равно никто не слышал его. Атака перешла в неуправляемую фазу, когда все зависело уже не от командира и команд, а только от солдат, от их решимости, скорости и боевого задора. Гавриил еще не понимал этого, еще свято верил, что уставы предусмотрели все, что только возможно, и поэтому продолжал кричать, пытался командовать, старался сообразить, где сейчас могут быть Совримович и Отвиновский, выступил ли Брянов и почему Тюрберт сделал так мало выстрелов. И замешкался на подъеме к брустверу.

— Ложись! — Кирчо дернул его за ногу, упал сам, и над ними тонко просвистели две револьверные пули. — Зачем по сторонам смотришь,

командир? Вперед надо, вперед!

Прокричав это почти без пауз, болгарин невероятным прыжком перемахнул через бруствер. Там тонко, дико закричал кто-то. Гавриил не смог сразу вскочить, на четвереньках вскарабкался наверх и свалился в окоп на еще теплое, еще бьющееся в конвульсиях тело в синем турецком мундире.

Когда он поднялся, схватка в первом ложементе уже закончилась. Турки почти не приняли ее, сразу начав отход на вторые линии, а кто принял, тот лежал на земле, проколотый болгарскими штыками. В узкий окоп враз набилось множество народа, топча мертвых и еще живых, азартно и бесцельно стреляя по убегавшим туркам. Оказавшийся рядом с поручиком потный, пышущий жаром и усердием Валибеда все совал ему в руки винтовку с окровавленным штыком:

— Гляди, ваше благородие, гляди! Я его наскрозь, наскрозь! Я не за ракию, я за идею сюда! Вот она, кровь-то его, вот, пощупай!

— Цел, Гаврила Иванович? — Захар лежал на бруствере, свесив голову. — Ну и слава богу. Я последних подогнал, отставших больше нет.

— Вперед надо! — кричал Меченый, проталкиваясь к Олексину. — Вперед, пока они не

опомнились! Здесь укрыться негде!

Грохнул залп. Закричали раненые, заметались уцелевшие, пытаясь спрятаться от прицельного огня. Ударил второй залп, третий — турки методически расстреливали сбившихся в кучу людей.

— Отходить надо! — отчаянно закричал кто-то. — Перестреляют! Всех перестреляют!

— Отходи-ить!

Уже бежали, бросая захваченный ложемент и раненых товарищей. Паника охватывала людей, паника, следствием которой, как ясно понял вдруг Олексин, будет повальное бегство, провал всей операции и — позор. Его личный позор, от которого уже не избавиться вовеки и который не смыть никакой отвагой. Оттолкнув испуганно прижавшегося к нему Валибеду, он прыгнул на бруствер.

— Стой! Ложись! Застрелю! Застрелю, кто побежит без приказа! Застрелю-у!

Бежавшие остановились, кое-кто уже послушно ложился на землю. Ударил новый залп, с поручика сорвало фуражку.

— Ложись! — крикнул он, падая на землю. С ревом пронеслись над головами снаряды. Разрывы легли точно по турецкой стрелковой цепи, и стрельба сразу прекратилась.

— Спасибо, Тюрберт! — закричал Гавриил, вскочив. — Вперед, ребята! Там спасение! Там!

Вторая атака была стремительным рывком на едином дыхании. Олексин одним из первых ворвался во вторую линию, но турки опять не приняли рукопашной, опять откатились за следующие валы.

— Укрепляться! — сорванным до хрипа голосом скомандовал поручик. — Здесь их залпы нам не страшны.

На флангах слышалась стрельба, далекие крики. Олексин разослал связных, распорядился, чтоб уносили раненых, и в полном изнеможении опустился на землю. Бойцы его кое-как укреплялись, но что следовало делать дальше, он плохо представлял.

— Отходить, — пожал плечами Стоян.

— Без боя?

— Бой будет, но уходить лучше без боя, поручик. Мы достигли цели: потревожили турок, сбили их с передовых ложементов.

— Побегать, пострелять, поваляться по земле — и отойти? Странное занятие, вы не находите?

— Если хотите разобраться в этой странности, спросите своих войников, откуда у них яблоки. Кое-что я понял сам, кое-что мне растолковал

Шошич.

— Какой Шошич? Мой взводный?

— Хороший командир. — Меченый одобрительно кивнул. — Его взвод поднимался в атаку первым. Он серб, но из Боснии, с левого берега Дрины, а это большая разница. Там власть султана проявляется в полную меру.

— Почему там проявляется, а здесь…

— Потому что по Дрине проходит граница Сербского княжества и Османской империи. Княжество автономно и практически независимо: оно лишь платит султану дань. А левый берег турки считают своей территорией, и сербы там — райя, то есть неверные. И для них не существует ни свободы, ни закона, как в Болгарии…

Грохот близкого разрыва заглушил слова: турецкая артиллерия открыла огонь по собственным укреплениям, занятым отрядом Олексина. Била она часто, не жалея снарядов, но пока неточно: снаряды ложились в стороне, с перелетом.

— Вот и дождались! — прокричал Меченый. — У них снарядов хватает!

— Так это же превосходно, Стойчо! — смеялся поручик. — Они сами разрушат то, из-за чего мы шли на вылазку!

Однако турки вскоре ослабили обстрел, а потом

и вовсе прекратили его, перенеся значительно левее, где удачно атаковал отряд Отвиновского. У Олексина оказалось пятеро тяжелораненых и трое убитых, патроны были на исходе, турки часто постреливали, явно готовясь к атаке. Пора было отходить.

На отходе потеряли еще одного, но отошли в порядке, без отставших, своевременно выведя из боя Совримовича и Отвиновского. Вспомогательный удар Брянова пришелся весьма кстати, а сейчас и он выводил своих людей из-под огня. Дело было сделано, добились, правда, не очень многого, но и офицеры и солдаты были довольны. Опасности остались позади, и теперь вдоволь можно было и наговориться, и похвастаться.

— Благодарю, Тюрберт, — сказал Олексин, когда офицеры сошлись, чтобы обсудить вылазку. — Ваша помощь была вовремя.

— Не воображайте, что я так уж стремился оказать ее вам, — с привычной насмешливостью ответил подпоручик. — Я заботился о чести русской артиллерии, не более того.

— Ну что же, общие потери — всего девять убитых, — отметил Брянов. — Турки потеряли явно больше, сбиты с передовых ложементов, ошарашены нашей внезапностью. Результат в

нашу пользу, господа, с чем я вас и поздравляю.

— А что это за история с яблоками, Брянов? — спросил Олексин. — Вы что-нибудь знаете об этом?

Брянов усмехнулся, покачал круглой, как у мальчишки, головой.

— Ходят мои сербы за яблоками. Левее нас в низинке — брошенный сад. Вот туда и ходят. И турки тоже.

— Турки?

— Там у них что-то вроде клуба. Существует джентльменское соглашение: не стрелять, когда кто-то спускается в сад.

— Веселая война, — усмехнулся Отвиновский.

— Ваше благородие, Гаврила Иванович!

Олексин оглянулся. Невдалеке маячил Захар, не решаясь подойти к офицерам.

— Француза ранило, Гаврила Иванович, в лазарете он. Вас спрашивал.

Миллье лежал под кустом на соломе, кое-как прикрытый бурой от крови холстиной. Круглое добродушное лицо его осунулось и постарело, и даже пышные усы поникли, и седина в них стала еще заметнее. Рядом, понурившись, стояли Этьен и Лео, все время зло вытиравший мокрые глаза.

— Куда его?

— В живот, — сказал Этьен. — Осколком.

— Когда же это случилось?

— Он бежал медленнее нас, когда отходили. Как раз последним разрывом.

— Старый человек, — с отчаянием сказал Лео. — Он не мог воевать, не мог! Он и убивать никого не мог, если хотите знать. Он и на баррикадах всегда стрелял мимо и приговаривал: «Господи, только бы не попасть!» А тут вы с этим ножом, ну он и пошел…

— Осторожнее, сынок, — не открывая глаз, сказал Миллье. — Зачем грузить на человека чужие грехи?

— Его смотрел доктор?

— Посмотрел, махнул рукой и сказал, что все равно помрет, — тихо сказал Этьен. — Он спрашивал о вас.

— Подождите! — Гавриил рванулся к выгоревшей на солнце санитарной палатке, откуда как раз в эту минуту донесся отчаянный мальчишеский крик.

Он вбежал в палатку и остановился у входа. Два дюжих санитара, навалившись, держали на окровавленном столе по пояс обнаженное юношеское тело, и врач, потный, взлохмаченный, в залитом кровью кожаном фартуке, с ожесточением рвал

что-то длинными загнутыми щипцами.

— Яду! — по-русски отчаянно кричал юноша. — Дайте мне яду, изверги!

— Ремня тебе, а не яду, — бормотал доктор, хладнокровно ковыряясь в разрезанной ране. — Ну вот, опять упустил, ищи ее тут, в кровище. Да держите же вы его крепче, болваны!

— Яду! Яду мне, яду!

— Терпи, волонтер. Еще чуть. Вот она!

Он вырвал глубоко засевшую в плече пулю, с торжеством поднял над головой. Юноша сразу перестал кричать, только дышал тяжело, со всхлипами.

— Сейчас зашьем тебя, будешь как новенький. Что у вас, поручик?

— Тяжело ранен один из моих людей. В живот.

— Ах, этот… француз? С этим все, голубчик, такие ранения не штопают даже в госпиталях. А у меня околоток.

— Неужели умрет?

— Часа через два, — спокойно подтвердил доктор, склоняясь над раненым.

— Неужели ничего нельзя сделать?

— Ступайте, голубчик, ступайте. У меня еще четверо необработанных, а я один и уже три часа на ногах. Ступайте.

Миллье по-прежнему лежал не шевелясь, опустив серые веки на глубоко ввалившиеся глаза. Лицо его еще более заострилось, дышал он коротко и часто, беспрестанно облизывая пересохшие губы.

— Спрашивал вас, — шепнул Этьен.

Опустившись на колени, Гавриил склонился к умирающему. Серые веки дрогнули, и усы тоже дрогнули в попытке улыбнуться.

— Не хлопочите, сударь, обо мне.

— Доктор займется вами. Сейчас у него раненые…

— Не лгите. Никогда не лгите, даже во спасение. Ложь съедает человека, как моль. От лгунов к старости остается одна голая шкура. А вы молоды и… честны. Честны, я сразу это понял. Еще там, в Будапеште…

Миллье с трудом открыл глаза, и Олексин вздрогнул, в упор увидев огромные, расширенные болью зрачки. Он хотел сказать что-то обнадеживающее, бодрое, но не смог. Не смог солгать.

— Люди достойны лучшей жизни, мальчик, — с трудом, задыхаясь на каждом слове, сказал француз. — Люди, понимаешь? Не протестанты, не католики, не мусульмане — люди. Они хотят

справедливости…

Голос вдруг замер, и поручик с ужасом подумал, что Милльe мертв. Растерянно оглянулся, но старик заговорил снова:

— Люди хотят справедливости, запомни мои слова. Ты молод, а значит, тебя будут обманывать, и ты… ты будешь верить в обманы. О, старики выдумали массу способов, чтобы заставить верить таких, как ты. Помни о справедливости. Помни. Помни…

Последние слова он выговорил еле слышно и вновь прикрыл тяжелые серые веки. Гавриил поднялся, машинально отряхнул брюки, Лео сказал с отчаянием:

— Не надо было ему ходить в атаку. Не надо!

— Не надо, — со вздохом согласился Гавриил. Лео посмотрел на него и замолчал. Из палатки вышел доктор, щелкнул крышкой портсигара, но прикуривать не стал. Подошел, тронул рукой лоб умирающего, покрытый крупными каплями пота.

— Он все сказал, что хотел?

— Я сделаю укол морфия, чтобы он уснул и… и не мучился.

— Значит, он… — Лео гулко проглотил ком, — он больше не проснется?

Врач выразительно посмотрел на Олексина.

— Решать вам, — тихо сказал поручик Этьену. — Я не вправе.

— Решать мне, — внятно сказал Миллье. — Спасибо, доктор. Делайте свое дело, а ты, сынок, нацеди мне стаканчик вина.

— Вам нельзя пить, — неуверенно сказал доктор.

— А умирать можно? Ну если можно умирать, то можно и выпить. Последний глоток. За Францию.

Глава восьмая

1

Портупей-юнкер Владимир Олексин наслаждался свободой. Щедрый подарок нового друга подпоручика фон Геллер-Ровенбурга — резвая кобылка была еще достаточно молодой, чтобы ощутить буйный восторг седока. А полк по-прежнему пребывал в Майкопе (в Крымской поговаривали, что оттуда он двинется прямо на Тифлис и далее, к турецкой границе), обязанностей у юнкера не было никаких, но он не скучал, целые дни проводя либо в седле, либо на охоте.

Правда, за подарок приходилось платить визитами к Ковалевским, но эта дружеская потачка странным прихотям фон Геллера тоже была приятной. И добрая, такая домашняя Прасковея Сидоровна, и сам подполковник, превращавшийся дома в неизменно радушного хозяина, и его постоянные друзья, к которым Олексин очень скоро привык, и, главное, три «монстры», три сестрички-погодки, прекрасные юностью и желанием нравиться, — все делало жизнь похожей на затяжной праздник. И Владимир ощущал свое

пребывание в Крымской именно как праздник, искренне предполагая в каждом те же запасы радости, восторженности и великодушия, которые испытывал сам. И, постоянно пребывая в этом состоянии, уже не замечал, что визиты к Ковалевским планирует не он, а подпоручик по какой-то своей системе, что место подле рыжей девочки выбирает тоже подпоручик из каких-то своих соображений, что разговоры с ней ведет только он, предоставляя юнкеру возможность развлекать остальных сестер.

— Друг мой, извините, но вы производите странное впечатление в сочетании с этой рыжей ватрушкой, — старательно грассировал фон Геллер, время от времени поучая Олексина. — Вашему порывистому экстерьеру нужна более благородная оправа. Вот вернутся наши, я введу вас в общество, представлю барышням действительно утонченным. Вы не в претензии, юнкер, за эти дружеские слова?

— Что вы, поручик! Я и сам догадываюсь, что оттачивать оружие следует на тонком оселке.

— Вы прекрасно сказали, Олексин: оттачивать оружие надо на тонком оселке. Прекрасно, рад за вас, дружище!

Жизнь была как праздник, но иногда — особен-

но по возвращении от Ковалевских — праздник этот вдруг как бы отступал, и на смену радужно-восторженному настроению приходила грусть и странная безадресная досада. В грусти этой являлась Тая, ее рыжие волосы, детские веснушки на круглых щеках, глаза, в которых можно было утонуть. Владимир вертелся на постели, гнал рыжую девочку, нещадно курил и ругал себя остолопом. А утром снова вставало солнце, и в его огненной короне окончательно плавились и исчезали все ночные видения. Под Олексиным чутко вздрагивала лошадь, послушная любому его желанию, и мир, видимый с казачьего седла, обещал одни радости. И он скакал по этому распахнутому лично для него миру с ощущением неистребимого молодого восторга.

Из Майкопа неожиданно пришло известие, что в Крымскую возвращается полковник Бордель фон Борделиус. Известие это касалось только начальства, но в тесном мирке полковых тылов о нем мгновенно узнали все. Узнали и засуетились, развивая непривычную энергию и приводя в порядок то, что следовало привести в порядок, дабы избежать нотаций строгого и уныло-пунктуального заместителя командира полка. Срочно проверяли людей и лошадей, караулы и поме-

щения, что-то подкрашивали, приколачивали, чинили, чистили, гоняли солдат, и Владимир на время забыл о безмятежной жизни, так как и ему нашлась работа. Но и здесь он не огорчался, а радовался, с упоением муштруя на плацу нестроевые команды. А подпоручик фон Геллер-Ровенбург огорчился. Сутки пребывал в меланхолии, а потом начал бурную и непонятную деятельность: куда-то уезжал, с кем-то встречался, беспрестанно гонял денщика с записочками к Ковалевским, оставаясь при этом настроенным чрезвычайно нервозно. Потратив на эти тайные дела еще двое суток, вдруг угомонился, сказался больным, полдня провалялся на койке, а затем послал денщика за Олексиным.

— Друг мой, вы верите в любовь? Горячую, безрассудную, от которой теряют голову?

— Верю, — сказал Владимир, и сердце его сжалось в неприятном предчувствии.

— Перед вами жертва такой любви, — несколько картинно вздохнул подпоручик. — Да, да, не говорите мне, что я ставлю на карту свою карьеру, что двери общества отныне закроются для меня навсегда. Это выше меня, выше спекулятивных соображений. Надеюсь, вы понимаете, о каком предмете я говорю?

Олексин молчал, растерянно вертя в пальцах папиросу. Все это так не вязалось с избалованно-ломаным фон Геллером, с милой уютной семьей, в которую юнкер радостно спешил каждый вечер, с тем ощущением вечного праздника, в котором он жил.

— Мы с Таей любим друг друга. Удивлены? Ах, Тая, Тая, бедняжка, и надо же было ей влюбиться в такого никчемного человека, как я! — Вздох подпоручика был тоже достаточно фальшив. — Скажу откровенно, я это делаю только ради нее.

— А при чем тут я? — угрюмо спросил Владимир. — Зачем вам понадобился поверенный в сердечных делах? Носить записки? Извините, поручик, я не гожусь в пажи. Я вырос из этих штанишек.

— Бросьте дуться, Олексин. Я догадываюсь, вам неприятно ощущение, будто вас водили за нос. Но ведь я и сам не понимал, что влюблен, друг мой, не понимал до последнего объяснения, до ее слез, до ее отчаяния! А увидев все это, я уже не мог остаться прежним, Олексин, не мог! Меня потащило, как в половодье, и… и я счастлив, что меня потащило! Я вдруг точно очнулся, понимаете? Очнулся от дремы, в которой пребывал сызмальства, открыл и увидел жизнь. Да, да, друг

мой, я прозрел и увидел жизнь!

Даже сейчас он фальшивил, хотя фальшивил почти восторженно. Владимир чувствовал это, но еще сильнее он чувствовал незнакомую ноющую боль в сердце.

— Я бы не рискнул вас просить, но об этом просит она. Наша Тая-Лореляя.

Кажется, он сознательно сказал «наша» вместо «моя», так, во всяком случае, почудилось Владимиру. Но сознательно это было сказано или случайно, Олексину важным казалось не это. Самым важным оставалась просьба, с которой обращались к нему.

— О чем она просит?

— Быть свидетелем при нашем венчании. Мы не можем ждать согласия родных, оглашения, разрешения командования, уже не можем, понимаете? Поэтому нас обвенчают тайно: я условился со священником в соседней станице. Но нам нужен свидетель, чтобы все было по закону. И Тая выбрала вас.

— Вам придется уйти из полка, — помолчав, сказал юнкер.

— Я знаю. Я перешлю рапорт почтой.

— И на что же вы будете жить?

— У меня есть средства, не беспокойтесь. Ре-

шайтесь, юнкер. Наше счастье в ваших руках.

Олексин молчал: что-то мешало ему сказать «да», протянуть руку или хотя бы согласно кивнуть. Нет, он не сомневался в правдивости подпоручика, хотя ощущал какую-то фальшь, какую-то нечистую игру. И все же искренне верил ему, потому что за этим стояла Тая, ее решение, ее любовь и счастье. И потому, что за этой просьбой стояла именно она, он и молчал. Молчал, ощущая тревожную боль в сердце.

— Неужели вы откажете Тае в ее просьбе?

— Хорошо, — сдавленно сказал Владимир. — Что я должен делать?

— Все расскажу, друг мой, все! — обрадованно засуетился фон Геллер. — Посвящу во все тайны, но сначала выпьем шампанского. Эй, Кузьма, неси!

Венчание состоялось в ночь накануне возвращения фон Борделиуса в Крымскую; правда, эту особенность Олексин отметил позднее, когда вообще все открылось и когда ему пришлось думать так много, как не приходилось никогда. Церковь оказалась не в соседней станице, а черт знает в какой глухомани, откуда Владимир добирался обратно весь остаток ночи и добрый кусок утра. Венчал маленький, неприлично пьяный попик,

венчал с постыдной поспешностью и в полном одиночестве, гнусаво подпевая себе за всех разом; церковная книга тоже была странной, и запись в ней была сделана странно. Но все эти странности и несуразности всплыли потом, а тогда там, в скупо освещенной церкви, Олексину было не до того, чтобы замечать что-либо. Он был подавлен самим фактом, суетливостью фон Геллера, отчаянными глазами Таи и собственной болью в сердце.

Он вернулся в Крымскую, когда на плацу маршировали, а возле штаба суетились вестовые, счастливо миновал знакомых и, расседлав коня, завалился спать, решив, если разбудят, сказаться больным. Не хотелось встречаться с благодушным, всегда ласково улыбавшимся ему подполковником Ковалевским.

Разбудили его уже после обеда. Довольно бесцеремонно растрясли за плечо. Он открыл глаза и узнал капитана Гедулянова.

— Юнкер, в штаб. Немедля!

— Я болен, господин капитан.

Гедулянов смотрел зло и пронзительно, Олексин ощутил вдруг почти детский страх.

— Я, правда, болен, господин капитан.

— Вас вызывает полковник фон Борделиус. Без

всякого промедления.

В кабинете полковника сидел Ковалевский; сердце Владимира сжалось, когда он увидел его опущенные плечи, непривычно ссутуленную спину, руки, которые не находили покоя, то потирая друг друга, то теребя мундир, то поглаживая старательно выбритый череп. Юнкер сразу отвел глаза и, доложившись, смотрел только на полковника. И полковник смотрел на него, не торопясь с вопросами. Смотрел усталыми строгими глазами, точно ожидая чего-то. И спросил, так и не дождавшись:

— Что же вы замолчали, юнкер? Доложите, где были ночью.

— Ночью? — Владимир глянул на Ковалевского и сразу опустил глаза. — Ночью я присутствовал на венчанье, господин полковник.

— Венчанье? — Подполковник Ковалевский весь подался вперед, к Олексину. — Тая обвенчалась с фон Геллером? Где?

— Я не знаю, такая маленькая церквушка. Но брак освящен, я присутствовал. И расписался в книге как свидетель.

— Следовательно, обвенчались, — не то подтвердил, не то спросил фон Борделиус. — И все же это странно. Неприлично странно.

— У меня одно состояние, Евгений Вильгельмович, — с глухим отчаянием сказал Ковалевский. — Доброе имя — мое богатство, вы знаете это. Не дайте пятну пасть. Не дайте.

Полковник промолчал. Медленно прошелся по кабинету, аккуратно, всякий раз почти складываясь пополам, заглянул в каждое из трех окошек, постоял перед юнкером, размышляя. Потом открыл дверь, велел, чтобы позвали Гедулянова, и снова остановился перед Олексиным, заложив руки за спину.

— Следовательно, обвенчались?

— Так точно, господин полковник.

— Вы сознаете, что скверно начали службу в Семьдесят четвертом Ставропольском полку?

— Кроме долга службы есть долг чести, господин полковник.

— Вот именно, — задумчиво повторил фон Борделиус. — Долг чести. Именно поэтому я и говорю, что вы скверно начали свою карьеру, юнкер. Скверно.

Вошел Гедулянов. Не отрапортовав, остановился у порога.

— Поедете с юнкером в церковь, капитан, он покажет дорогу. Поговорите со священником, попросите предъявить записи о ночном венчании.

Даже если все совершенно соблюдено, выразите священнослужителю мое крайнее удивление о сем прискорбном факте. И скажите, что донесение о нарушении им закона мною будет послано незамедлительно.

— Дозвольте мне. — Ковалевский сделал попытку встать, но полковник удержал его. — Дозвольте лично, Евгений Вильгельмович…

— Не надо вам ехать, — грубовато сказал Гедулянов. — Идите, юнкер.

Ехали рядом, стремя в стремя, и молчали. И если Гедулянов был вообще из молчаливой породы, то Олексину это молчание казалось уже нестерпимым. Он не чувствовал за собой большой вины, с тайным торжеством ожидая, что в конечном итоге все образуется, законный брак вступит в силу и Ковалевские, поплакав, начнут радоваться счастью дочери, а холодно-непроницаемый фон Борделиус однажды улыбнется и скажет: «Знаете, юнкер, а вы, пожалуй, поступили правильно, хотя и не совсем по правилам». И тогда все офицеры полка будут наперебой жать ему руку, говорить, что он — отчаянная голова и, главное, надежный товарищ, на которого можно положиться. И Тая, вернувшись вместе с мужем после прощения, — а ее и фон Геллера не могут

не простить, потому что люди всегда прощают влюбленных, — благодарно посмотрит в глаза и — поцелует. И сладкая горечь этого поцелуя будет ему наградой за все сегодняшние неприятности.

— Знаете, капитан, все будет замечательно, вот увидите, — весело сказал он, хотя ему было сейчас совсем не так уж весело, как он пытался изображать. — И тогда убедитесь, что я поступил правильно, что просто не мог, не имел права поступить иначе. Когда вас друзья просят помочь…

— Столичная шушера, — глухо, с ненавистью выдавил Гедулянов и выругался сочной казачьей матерщиной. — Привыкли над людьми измываться, барчуки проклятые. Старика, старуху, девчонку — всех готовы в грязь втоптать ради удовольствия. Ни чести, ни совести у вас нет, шаркуны.

— Как вы смеете… — возмущенно начал Олексин.

— Молчать! — гаркнул капитан. — Марш вперед, пока я тебя нагайкой не полоснул, дрянь!

Владимир съежился в седле и покорно тронул коня. Он не испугался ни окрика, ни угрозы, но в тоне Гедулянова было такое презрение, что юнкер вдруг понял легкомыслие собственных мальчишеских самообольщений и впервые ощу-

тил леденящий позор бесчестия.

— Знать ничего не знаю и ведать не ведаю, — бойко говорил старенький попик, истово глядя безгрешными светлыми глазками. — Ночью спал без греха, как Богом заповедано, о чем у матушки справиться можете. А что до венчанья, то я законы блюду, господин офицер. И законы, и уложения, и честь свою пастырскую, не извольте сомнения иметь. Как же можно сие — без родительского благословения, без дозволения отца-командира? Да Господь с вами, молодые люди, не пугайте вы меня, ради Христа.

— Но ведь вы же венчали, вот здесь, на этом самом месте. Ведь это же было, было, не приснилось же мне все это! Батюшка, опомнитесь: вы честь мою, честь под сомнение ставите.

— Я грешен, грешен, могу и запамятовать, — суетливой скороговоркой отвечал старичок. — Но книги, книги суть истинная правда. Извольте, господа офицеры, извольте глянуть.

Не та была книга, не таким был попик, и даже церковь, весело просвеченная покойным осенним солнцем, сегодня казалась не той.

— Это не та книга, — тихо сказал Владимир. — Та новая была, я еще, помню, удивился, что новая.

— А поп тот?

— Тот самый, только трезвый. Ночью пьян был сильно: Геллер в него две бутылки шампанского влил, пока Тая готовилась.

— И церковь та? Не ошибаетесь?

— Не ошибаюсь.

— Значит, не венчали? — громко спросил Гедулянов.

— Да поразит меня гнев твой, Господи! — Священник широко перекрестился. — Да падет проклятье твое на весь род и племя мое…

— Хватит, отче, кощунствовать, — резко оборвал капитан. — В клятвах твоих наш полковой священник отец Андрей лучше меня разберется. Жди его к вечеру, не отлучайся. Поехали, Олексин.

— Это все ложь! — крикнул Владимир. — Это страшная ложь, клянусь вам всем святым! Честью своей клянусь!

Обратно ехали тоже молча, только теперь лошадь Гедулянова шла впереди. А Владимир тащился сзади, плакал от бессильного стыда и отчаяния и не замечал, что плачет. Капитан оглянулся, придержал коня; когда поравнялись, обнял вдруг Владимира за плечи, встряхнул:

— Перестань реветь. Ну?

— Я подлец, — дрожащими губами выговорил Олексин. — Я не могу больше жить.

— Ты дурак, а не подлец. Подлец там, в Тифлисе, с девчонкой. Слезь, умойся и не реви больше: к постам подъезжаем.

Ковалевского у заместителя командира полка не было. Владимир с облегчением отметил это и тут же яростно выругал себя за малодушие. Он теперь все понял и ничего не хотел больше утаивать. После краткого доклада Гедулянова, что венчание фиктивное, сам рассказал все, что знал. Рассказывал, не щадя себя, но всячески выгораживая Таю, будто это могло хоть как-то облегчить ее положение.

— Натешится — бросит, — вздохнул Гедулянов. — Хорошая девочка, господин полковник.

— Суд чести, — сказал фон Борделиус. — Я не потерплю такого пятна на чести полка.

— Он подаст рапорт об отставке.

— Рапорт мы отклоним. Суд чести, — сурово повторил полковник. — Завтра я уведомлю командира…

— Господин полковник, — с отчаянием перебил Олексин. — Разрешите мне доставить подпоручика фон Геллер-Ровенбурга в Крымскую.

— Подпоручика доставит Гедулянов.

— Господин полковник, позвольте мне. Я умоляю вас, я на колени встану, я… Я не смогу жить, если вы откажете!

— Позвольте юнкеру, — хмуро попросил Гедулянов. — Он тоже обманут, господин полковник.

— Хорошо, — подумав, сказал фон Борделиус. — Учитывая, что вы тоже в какой-то мере обмануты, я разрешаю вам это. По возвращении напишете рапорт.

— Какой рапорт? — тихо спросил Владимир.

— Рапорт о переводе в другой полк, — жестко пояснил полковник. — И это единственное, что я могу для вас сделать. В Тифлис выедете завтра, утром явитесь ко мне. Ступайте.

Владимир вышел. Фон Борделиус проводил его взглядом, нахмурился и сказал, глядя в стол и будучи очень недовольным тем, что говорит:

— Переночуйте сегодня у него, Гедулянов. Как бы этот мальчишка глупостей не наделал.

2

Гедулянов боялся заснуть, а спать, как на грех, очень хотелось. До этого он плохо и мало спал двое суток, занимаясь фуражировкой по дальним хуторам и станицам. Конечно, такое дело можно было бы перепоручить толковому фельдфебелю,

как и поступало большинство офицеров, но Гедулянов был солдатским сыном, вырос из низов, опираясь лишь на собственные способности, старательность и неистовую работоспособность, ценил достигнутое, но не довольствовался им, настойчиво идя к мечте. А мечтою было выслужить дворянство, вытянуть его потной лямкой армейской службы, добившись либо звания полковника, либо высокого ордена, а тогда уж и жениться, нарожать детей и дать им то, чего сам был лишен, что завоевывал трудом, верностью и исполнительностью. Он мечтал не для себя и добивался мечты тоже не для себя: он мечтал облегчить жизнь и будущее своим детям и внукам, хотя и до сей поры не знал, когда сможет обзавестись семьей. Ему, сыну бессрочного николаевского солдата, никто, естественно, не мог запретить мечтать, но не более того; превращение мечты в реальность зависело уже не от него, и никакие сроки установить тут было невозможно.

Он погасил свет, оставив лишь одну свечу у изголовья, чтобы видеть юнкера, бессильно, ничком рухнувшего на кровать. Он тогда заставил его встать, раздеться, лечь под одеяло, сам накрыл шинелью, надеясь, что быстрее заснет,

пригревшись. А сейчас боролся со сном, слушал, как дышит Олексин, и не мог понять, спит он или лежит, ожидая, когда заснет приставленный к нему надзиратель. Теперь Гедулянов не испытывал к нему и тени той ненависти, которая неожиданно для него прорвалась вдруг при их совместной поездке в дальнюю церковь. Живя бок о бок с офицерами-дворянами, он никогда не ощущал ничего, кроме привычной, с молоком матери всосанной настороженности: эти дворяне тащили ту же полковую лямку — кто лучше, кто хуже, но тащили, не жалуясь и не увиливая. И до этого дня не предполагал, что она живет в нем, эта ненависть, тоже, вероятно, всосанная с материнским молоком. Живет как живет под пеплом огонь ночных бивачных костров: достаточно было дунуть, чтобы вспыхнуло это опалившее его пламя, чтобы он понял, что ненавидит не одного-единственного подлеца, а всех их разом, потому что этот один-единственный мог совершить свою подлость, лишь опираясь на что-то общее, глубоко чуждое и презираемое им. Мог допустить в мыслях, что ему дозволено сделать то, что он сделал, что рано или поздно его поймут, простят, вновь примут в свой круг и даже будут восторгаться его беспардонной наглостью. И то,

что Геллер мог это допустить, было для капитана Гедулянова еще одним доказательством мерзости всех тех, на кого рассчитывал Геллер как на будущих союзников. Их нравственность была иной, более расплывчатой и более избирательной в одно и то же время, и осознание этого особенно мучило сегодня угрюмого солдатского сына. Перед ним распахнулось окно, но мир за окном оказался совсем не таким, каким представлял его старательный армейский служака.

Однако, ощутив тяжелую потаенную ненависть к тому сословию, принадлежать к которому мечтал, Гедулянов к юнкеру подобного чувства не испытывал, несмотря на то, что именно этот безусый, всегда радостно-восторженный щенок был, пожалуй, виноватее всех виноватых. Его отчаяние было настолько глубоким и искренним, что капитан не отпустил бы его от себя и без всякого распоряжения заместителя командира полка. Он сразу безоговорочно поверил в глубину этого отчаяния, а поверив, понял, что юнкер Олексин тоже распахнул окно и тоже увидел мир таким, каким увидел его сам капитан Гедулянов. И эта странная общность увиденного и была главным звеном, связавшим в эту ночь потомка крепостных с юношей столбового дворянского рода.

Вечером они не разговаривали, и Гедулянов не спешил завязывать беседу. Он всегда был не очень-то разговорчив, если дело не касалось строя, лошадей или оружия, а в этой истории вообще предпочел помалкивать, полагая, что юнкер сам начнет разговор или подаст для него ощутимый повод. И тихо лежал, мучительно борясь со сном. Вероятно, он все же задремал, потому что увидел вдруг Владимира у стола: он искал что-то в полутьме.

— Что вы там ищете, юнкер?

— Стакан, — глухо ответил Владимир. — Я хочу пить.

Гедулянов встал, накинул на плечи шинель и сел к столу.

— Садитесь, Олексин, — сказал он, с трудом проглотив мучительный зевок.

Он сразу понял, что юнкера мучает не жажда, а желание поговорить. Что он еще настолько молод, что не может, не умеет размышлять, что ему еще нужен собеседник не только для того, чтобы понять, но и для того, чтобы собеседник этот непременно доказал что-то очень важное, чтобы не просто помог ему уяснить нечто, а опрокинул бы это нечто, разгромил его, внушил бы, что все прекрасно, что это всего лишь частный случай,

что мир по-прежнему добр, великодушен, чист и благороден в сути своей. «Кутенок, — со странной теплотой подумал Гедулянов. — Ах ты, господи, не надо бы ему в Тифлис…»

— Садись, — повторил он, сознательно обращаясь на «ты», потому что ощутил себя не просто старшим, а единственно старшим во всем мире для этого мальчишки.

— Вы бы домой пошли, — сказал Владимир, надев шинель поверх белья и послушно усаживаясь напротив. — Шли бы к себе на квартиру, выспались бы. Зачем это? Я не застрелюсь, не бойтесь. Это глупо — застрелиться сейчас. Это малодушие, я понял и слово готов дать, что все будет хорошо.

— Хорошо не будет, — вздохнул капитан. — Ты себя не обманывай и меня тоже не обманывай. Хорошо быть совесть не позволит.

— Совесть. — Владимир грустно усмехнулся. — А что это такое — совесть? Почему у одного она есть, а у другого труха одна, гнилушки? Почему?

— Почему?

Гедулянов не был готов к такому разговору, в этих категориях особо не разбирался, но знал: ни юлить, ни лгать было нельзя. От него ждали правды, ждали жадно и нетерпеливо, и, чтобы выиграть время, он начал медленно набивать

трубку.

— Вино местное пил? В одной хате одно, в другой другое — не спутаешь. И солнце вроде для всех одинаковое, и дождик одинаковый, и ветер, а сок в гроздьях разный. От чего же разный? А от земли, юнкер. Все главное — от земли, сок наш от земли идет. И честь наша, и храбрость, и сила — все от земли. И совесть — она тоже от земли. Солнце для всех одинаковое, а земля для каждого своя. От дедов и прадедов что пришло, то и твое. Особое. Они-то и есть земля наша, отечество. Думаешь, вокруг нас оно, отечество-то наше? Нет, то — родина. Родиной то зовется, что вокруг нас. А отечество — то, что под нами: земля. И соки наши — от нее. От земли той, что под каждым из нас напластована.

Очень довольный, что не просто отговорился, а объяснил, Гедулянов откинулся на спинку стула и закурил. Найдя пример, он готов был строить на нем любой ответ, разъяснять любые сомнения, потому что теперь все стало ясным и для него.

— Земля, — вздохнул Олексин. — Может быть, не знаю. Нет, вы даже правы, если о Геллере думаете. Только я о нем не думаю, господин капитан: он — подлец, зачем же о подлеце думать? Я о другом думаю. Я думаю… — Он замолчал, вздохнул

несколько раз, точно собираясь нырнуть в омут, в котором заведомо не было дна. — Я думаю, что Бога-то нет, господин капитан. Нету Бога, выдумки это все.

Гедулянов ожидал вопросов, спора, несогласий — чего угодно, вплоть до слез, отчаяния или гнева. Но юнкер ни о чем не спрашивал и ни о чем не спорил: он утверждал. Знакомил собеседника с открытием, которое сделал сам, и знакомил спокойно, без желания поразить и даже без особого интереса. И вот это-то спокойствие, это отсутствие желания спорить и испугало капитана: так мог говорить человек, уже решивший для себя все вопросы.

— Вы что это, юнкер? Вы… Опомнитесь!

— Опомнился. — Олексин упрямо мотнул головой. — Если человек лжет — мерзко, но могу понять. Вашу ли теорию вспомню или свою выдумаю, но пойму, отчего он лжет, зачем и почему. Но если слуга Господа Бога лжет, тогда какая теория? Тогда как понять? Как тогда понять, если он в лицо вам черное за белое выдает и язык его не костенеет и во прах он не обращается? Уж коли священнослужитель солгал, тогда что же, нет Бога? Нет, господин капитан, нету его, пустота там, обман один, дыра в небе. Дыра в небе-то

оказалась — вот ведь что главное. Дыра! И хоть мильон свечей под нее ставьте, все равно ничего вы не осветите, ничего: пустота. Дырка вместо Бога оказалась, дырка, дырка, дырка!..

Последние слова Владимир выкрикнул звонко, в полный голос. Выкрикнул с болью и горечью, стиснул лицо руками и упал грудью на стол. Узкие мальчишеские плечи жалко тряслись под небрежно наброшенной шинелью.

3

Следующим утром Олексин выехал в Тифлис, снабженный письменным приказом фон Борделиуса и наставлениями Гедулянова, где искать беглецов. Путь был неблизким и достаточно опасным, но Владимиру посчастливилось вскоре присоединиться к эстафетному отряду. С ним вместе он благополучно добрался до Тифлиса, устроился в рекомендованной Гедуляновым гостинице и уже через сутки раздобыл адрес фон Геллер-Ровенбурга: Гедулянов поступил мудро, посоветовав обратиться к родственникам своего однополчанина, поручика Ростома Чекаидзе.

— Если вам понадобится моя помощь, господин Олексин, я буду счастлив, — многозначительно сказал сопровождавший его молодой чиновник,

родной брат лихого поручика. — А гостиница перед вами, почему и позвольте откланяться и пожелать успеха во всех делах.

Гостиница оказалась маленькой, в узком коридорчике не было ни души. Владимир не стал звать коридорного, отыскал требуемый номер, поправил портупею, снял фуражку и постучал. Сердце его билось так сильно, что он не расслышал, что именно сказали за дверью. Но поскольку что-то сказали, то распахнул ее и вошел в комнату.

Геллер в домашней куртке полулежал на низкой кушетке с книгой в руке, рядом на стуле сидела Тая; кажется, подпоручик читал стихи, строчки еще звучали в воздухе, но что это были за строчки, Владимир не разобрал. Он слышал только стук собственного сердца и, мельком глянув на Геллера, смотрел на Таю. Она медленно поднялась со стула и начала краснеть.

— Олексин, вы ли это? — Подпоручик мигом вскочил с кушетки. — Какими судьбами, дорогой друг?

Юнкер не видел протянутой руки. Он по-прежнему смотрел на Таю, боялся заговорить, опасаясь, что задрожит голос, но все же сказал:

— Извините, мадемуазель Тая, но я прошу вас покинуть эту комнату. У меня служебный раз-

говор.

Тая молча пошла в другую комнату, все время оглядываясь. Во взгляде ее была отчаянная мольба, но Владимир изо всех сил не хотел ее понимать.

— Что это значит? — сухо спросил Геллер, когда Тая вышла.

— Потрудитесь прочесть приказ и исполнить его. — Олексин протянул пакет, впервые глянув подпоручику в лицо.

— Я подал в отставку, и приказы меня не касаются. — Подпоручик бросил конверт на стол. — А вас, невежливый юнец, я прошу немедленно убраться отсюда.

— Я буду драться с вами, Геллер, — тихо сказал Олексин. — Вы подлец, Геллер, да, да, подлец. Вы обманули девушку, которая вас любит, обманули ее родителей, обманули меня, которого называли другом…

— Довольно, юнкер! — перебил Геллер. — Уходите, или я вышвырну вас в коридор.

— Вы трус и ничтожество, Геллер, — вздохнул Владимир. — Трус и ничтожество, как я раньше не разглядел?

И, коротко размахнувшись, с силой ударил подпоручика по щеке. Пощечина прозвучала

неприлично звонко, и Тая вскрикнула в соседней комнате.

— Мой секундант — Автандил Чекаидзе, вы найдете его в городской управе, — сказал Владимир, торопливо стаскивая перчатки. — Я остановился в гостинице «Бристоль» и жду ваших секундантов.

Он швырнул перчатки на стол и вышел, аккуратно притворив двери. В нем все бушевало, но сейчас, как ни странно, он начал успокаиваться. Он вновь ощущал себя честным и благородным, будто для чести и благородства было достаточно одной пощечины подлецу. И рад был, что Тая слышала эту пощечину и теперь уж фон Геллеру не удастся отказаться от дуэли. И даже если на этой дуэли Владимиру суждено быть убитым, никто и никогда не усомнится более в его честности. Отныне он может смело глядеть людям в глаза, радоваться радостям и смеяться, когда захочет. И он почти бежал, улыбаясь такой торжествующей улыбкой, что прохожие оборачивались ему вслед.

— Разрешите от всей души пожать вашу руку, — с чувством сказал Автандил Чекаидзе, когда Владимир разыскал его и поведал, что произошло. — А если этот ублюдок испугается и убежит,

его найдет мой брат поручик Ростом Чекаидзе. Позвольте попросить вас оказать мне честь — отобедать со мной и моими друзьями.

Было прекрасное и шумное застолье с пышными грузинскими тостами и бесконечными подарками в виде шампанского с соседних столиков в честь гостя. Были красивые песни и разговоры о чести и благородстве, и голова Владимира сладко кружилась и от шампанского, и от этих разговоров. Его долго провожали по пустынным улицам, долго прощались, уважительно пожимая руку.

— Завтра, — многозначительно сказал Автандил, прощаясь последним. — Если он, как трусливый шакал, не ответит на вызов завтра, послезавтра в Майкоп поедет мой родственник и все расскажет моему дорогому брату поручику Ростому Чекаидзе. Мы найдем этого ублюдка, дорогой друг, и задушим его, как ехидну!

Радостно-взволнованный и изрядно пьяный, Владимир наконец распрощался, картинно отдал честь новым друзьям и вошел в гостиницу. Поднялся на второй этаж.

— Господин! — с невероятным акцентом закричал снизу коридорный. — Тебя давно женщина ждет, где ходишь, понимаешь?

— Какая женщина?

— Такая молодая, такая красивая, уходить не хотела. Плакала немножко, понимаешь…

Не дослушав, Владимир бросился к своему номеру, распахнул дверь. У стола возле тускло горевшей лампы сидела женщина в шляпке и накидке. Увидев его, она отбросила вуаль.

— Тая?.. — Владимир сел, забыв закрыть дверь. Тотчас же вскочил, прикрыл ее, подошел к столу. — Я не понимаю, простите… Почему? Почему вы здесь?

— Я ждала вас. Внизу ждать неудобно, сказала, что ваша знакомая, и вот. Пустили.

Говоря это, она все время пыталась улыбнуться. А у Владимира все плыло перед глазами: сумеречная комната, странно улыбающееся лицо Таи, фон Геллер, тосты грузинских друзей — все это медленно вертелось перед глазами, звучало в ушах, а мыслей не было. Ничего не было, кроме крайнего удивления и попыток что-то сказать.

— Извините, — заплетающимся языком выговорил он. — Я сейчас. Извините.

Швырнул фуражку, схватил полотенце, выбежал. В умывальной вылил на голову кувшин холодной воды, долго, с яростным ожесточением тер затылок вафельным полотенцем. Кое-как

расчесал мокрые волосы, одернул мундир. Уставился в тусклое зеркало, пытаясь сообразить, почему Тая оказалась здесь в такой неурочный час, ни до чего не додумался, но вернулся в номер твердыми шагами, почти протрезвев. Прибавил огня в лампе, сел напротив.

— Извините, мадемуазель Тая, я не ожидал и был не очень… Но теперь все в порядке. Теперь говорите, Тая, теперь все говорите.

— Дорогой Владимир Иванович, — Тая глубоко вздохнула, — я очень виновата перед вами…

— Не вы, мадемуазель, не вы! Вы ни в чем не виноваты, ни в чем.

— Я очень виновата перед вами, — с прежней интонацией, точно повторяя урок, продолжала она. — Я буду нести эту вину всю жизнь, как крест. Да, да, не говорите, пожалуйста, ничего сейчас не говорите! Вы вправе презирать меня, но вы не вправе заставить меня молчать.

— Говорите, — сказал Владимир. — Говорите, я больше не перебью ни разу. Говорите все, что хотели сказать.

— Я глупая, я очень глупая, Владимир Иванович. Я всю жизнь прожила в станице, я ничего не видела, а если что узнала, то только из книжек. У меня очень добрая мама, очень, очень добрая и

чудная, но она — простая казачка и умеет только любить семью да стряпать пироги. Нас учили полковые дамы да случайные учителя, да еще книжки, потому что папа приучил нас читать, и отец Андрей тоже хотел, чтобы мы читали, и капитан Гедулянов, и даже… Даже полковник Евгений Вильгельмович присылал нам книжки. И я все читала, и читала, и… мечтала. Годами глядела на пыльный плац и годами мечтала об одном. Ради бога, не смейтесь надо мной. Или нет, смейтесь, смейтесь сколько хотите, потому что это все очень смешно. Очень. Мне семнадцать лет, и вот мне кажется — нет, не кажется, а я убеждена, что все семнадцать лет я мечтала, что меня украдут. Украдут из этого окошка, из которого виден только пыльный плац.

Последние слова она сказала еле слышно, с трудом сдерживая слезы. Помолчала, старательно вытерев платочком покрасневший носик, робко глянула на Владимира и вновь потупилась, разглаживая пыльную бархатную скатерть. Юнкер терпеливо ждал, стараясь не встречаться с ней взглядом, чтобы не смутить ее окончательно.

— Извините, — сердито (а сердилась она сейчас на себя за слезы и слабость) сказала Тая. — Я огорчаю вас, это неблагородно.

— Рассказывайте, все рассказывайте. — Владимир покашлял, скрывая вздох. — Я понимаю вас, поверьте, очень понимаю. Когда веришь во что-то, а потом — дырка, это ведь где-то дырка, не в небе даже, это в тебе дырка, в тебе самом.

— Да, да, — согласно кивнула она, почти не расслышав его слов. — Я убеждена была, что вы поймете, потому что… — Тая вдруг замолчала, еще ниже склонив голову. — Да уж не важно теперь почему. Теперь ничего уже не важно, потому что мы оба обманувшиеся. Не просто обманутые, а обманувшиеся. Мы себя обманули, вот и все. А он… Что же он-то? Он не обманывал.

— Не обманывал?

— Нет, не обманывал, не хочу грешить: это я хотела, чтобы меня обманули. Он ведь и в любви мне объяснился, и руки просил.

— Знал, что не разрешат, потому и просил.

Владимир сказал зло, тотчас же пожалел об этом зле, но Тая восприняла его как должное. Опять покивала, соглашаясь.

— Конечно, должности-то у него нет, кто же позволит семью заводить? И об этом говорили, он в отставку уйти хотел. Господи, совсем я голову тогда потеряла! Только маму еще боялась обманывать и сказала ей все. Ночь проплакали и

решили, что нечего мне мечтать попусту, что не по мне эта любовь. И приданого у меня нет, и связей. И я ему отказала тогда, совсем отказала, как с мамой решили. А он… Он расстроился очень, до слез расстроился. И сказал, что все равно любит, что никому не отдаст и чтоб только ждала я, а уж он решит, как наше счастье устроить. И я такая счастливая была, такая счастливая! И так ждала…

У нее перехватило голос, но она справилась. Помолчала, строго глядя в пыльную скатерть. И Владимир молчал, не поднимая глаз.

— И вот дождалась. — Она готовилась к этой фразе, пыталась произнести ее с бесшабашной насмешливостью, но фраза все равно прозвучала горько. — Дождалась. Вы вправе спросить меня, на что я рассчитывала, а я ни на что не рассчитывала. Я дождалась, вот и все.

Она опять замолчала, и, поскольку молчание затянулось, Владимир не выдержал:

— Вам известно… известно, что никакого венчанья не было, что все это недостойная комедия, разыгранная человеком холодным, жестоким и… и нечестным?

— Теперь да. — Она горько покачала головой. — А сначала я верила и… радовалась очень. А потом,

после вашего ухода, он все рассказал. Бегал по комнатам и рассказывал, а я… — Она помолчала. — Я все ждала, с таким страхом ждала. Ну и опять дождалась.

— Он предложил вам вернуться к родителям?

— Нет, он предложил завтра же обвенчаться с ним. Сказал, что добьется разрешения губернатора, что все будет совершенно официально, что напишет покаянные письма своим родным и убежден, что они поймут его.

— Ну и… ну и прекрасно! — с деланой радостью воскликнул Владимир. — Я очень, очень рад, что так разрешилось…

— Я отказала ему, — тихо перебила Тая. — Я сказала, что он свободен и волен отправляться, куда хочет.

— Как?

— Понимаете, я очень ждала, что он скажет. Ждала, что хоть словечко обо мне будет, хоть словечко. А он не сказал этого словечка. Он о себе говорил, только о себе. Говорил, что ошибся, что запутался, что теперь единственное, что может спасти его честь, его карьеру, его положение в свете, это немедленная женитьба.

— Он прочитал приказ фон Борделиуса? — сообразил Владимир.

— Кроме приказа там было письмо. Я не знаю, что это за письмо, но со слов Геллера поняла, что они с Евгением Вильгельмовичем дальние родственники и что мой отважный похититель до крайности чем-то испуган. И, предлагая мне руку, исполняет не свое желание, даже не долг чести, а предписание этого письма. И я сказала, что никакого венчания не будет. И собрала вещи.

— А… а где они? — с некоторым беспокойством спросил юнкер, оглядываясь.

Тая впервые открыто посмотрела на него и почти весело улыбнулась:

— Не беспокойтесь, я не переехала к вам. Вещи пока там, у него. Завтра я сниму комнату и пошлю за ними.

— У вас есть деньги?

— Есть. — Тая горько вздохнула. — Это очень стыдно и противно, но я взяла деньги у него. Если бы вы видели, как он обрадовался, когда я сказала, что мне нужны деньги на первое время, пока я не устроюсь! Он с таким облегчением совал их мне. А я твердила про себя: «Так тебе и надо, подлая. Продавай себя, продавай, продавай».

Она задохнулась в рыданиях, торопливо прикрывшись платочком. Владимир вскочил, прошелся по номеру, опять сел напротив.

— Что вы намереваетесь делать?

— Я умею шить, — сказала она, ладошками, по-детски отирая слезы. — Конечно, не так изящно, но я буду стараться. Поступлю к кому-нибудь в ученицы, а там, может быть, открою свою мастерскую.

— Завтра он заплатит за каждую вашу слезинку, — с юношеским пафосом сказал Олексин. — За каждую, Тая!

Тая сразу перестала плакать и очень серьезно, почти испуганно посмотрела на него. Владимир не выдержал и улыбнулся: он очень гордился тем, что сказал.

— Ни за что, — с расстановкой произнесла Тая, строго покачав головой. — Ради этого я и шла сюда, ради этого и ждала вас, хотя коридорный так смотрел и так подмигивал, что мне хотелось провалиться в подвал.

— Это невозможно. — Владимир заулыбался еще шире: ему вдруг стало радостно. — Я отпустил ему полновесную пощечину и не могу отказаться, если он завтра вызовет меня. А он вызовет, он не имеет права струсить, если не хочет еще раз получить…

— Володя, милый, я умоляю вас, — говорила Тая, не опуская темных, как колодцы, глаз; в них

опять было отчаяние, но иное, более глубокое и более выстраданное. — Извините, что говорю так с вами, но я уже имею на это право. Я теперь старше вас, да, да, старше, и… и я виновата перед вами, так не усугубляйте же моей вины. Уезжайте в Крымскую, уезжайте немедленно. Вы исполнили свой долг, вы покрыли его позором и можете ехать со спокойной душой. Уезжайте, я прошу вас и… и буду просить, пока вы не согласитесь. Пусть он вас ищет, если он не трус.

— Я тоже не трус!

Владимир упорствовал со все возраставшей радостью. Прекрасная и несчастная юная женщина пришла сюда ради него, умоляла его не рисковать жизнью — это было ново и необыкновенно, настолько необыкновенно, что он даже не смел и мечтать об этом. И теперь ощущал ни разу еще не испытанное им чувство гордого мужского торжества. И Тая напрасно просила его, напрасно плакала, порывалась встать на колени, умоляла всем святым — все это только укрепляло его в уже принятом решении.

— Да он же убьет вас, убьет! — в отчаянии выкрикнула она, исчерпав все аргументы.

— Убьет? — Владимир насмешливо улыбнулся. — Что вы, Тая, этого не может быть. У подлецов

всегда дрожат руки, разве вы не знаете?

— Господи! — в изнеможении вздохнула Тая. — Господи, как мне страшно и как я устала!

Олексин спустился вниз, растолкал спящего коридорного, спросил еще номер и строго приказал спрятать глупую ухмылку. Получив ключ, проводил Таю: было уже за полночь, она устала, да и самому Владимиру следовало отдохнуть и выспаться перед завтрашним днем. Прощаясь, задержал ее руку и сказал то, что готовил давно и для чего собрал все свое мужество:

— Почему же не я украл вас из вашего окошка?

— Действительно, почему не вы? — грустно улыбнулась она.

— Но я вас еще украду, — краснея, сказал он, и сердце его отчаянно и весело забилось. — Я непременно украду вас, Тая, ждите. Клянусь вам, что украду!

А вернувшись к себе, долго ходил по номеру, глупо и счастливо улыбаясь. Он уже думал о том, как увезет Таю из Тифлиса, как познакомит ее с Варей и Машенькой, как и Варя, и Машенька полюбят Таю и как им будет прекрасно в Высоком вчетвером. С этими приятными мечтами он и прилег. Подумал было, что полагалось бы написать письма отцу и в Смоленск — так просто,

ради исполнения дуэльного ритуала, — но подумал мельком; вставать не хотелось, а хотелось мечтать дальше. И он мечтал, пока не уснул.

Рано утром его разбудил Автандил Чекаидзе:

— Сегодня в два часа.

— Прекрасно! — сказал Владимир. — Успею переделать множество дел.

— Надо отдыхать, дорогой. — Чекаидзе с неудовольствием покачал головой. — Рука должна быть твердой.

— Рука не дрогнет, господин Чекаидзе!

Он позавтракал с Таей. Она была молчалива и печальна и смотрела на него с тревожной тоской. Он улыбнулся:

— Вы прощаетесь со мной, Тая? Смотрите, это дурная примета.

— Бог с вами, Володя, бог с вами! — испуганно закрестилась Тая.

Потом они взяли извозчика, поехали в город и вскоре нашли скромную квартирку. Владимир уплатил за два месяца вперед, а когда Тая хотела вернуть деньги, сказал:

— Не надо, Тая, я загадал. Если все будет хорошо, даю слово, что возьму у вас эти деньги.

Извозчик съездил за вещами, но пропадал долго, так как Геллера на месте не оказалось. А когда

вернулся, то времени уже оставалось совсем мало, и Владимиру пришлось ехать в свою гостиницу на этом же извозчике. И все было впопыхах, они даже не попрощались; Тая махала рукой, пока пролетка не свернула за угол.

Возле гостиницы уже ждал Автавдил Чекаидзе; в старомодной пароконной коляске сидел пожилой, очень недовольный доктор,

— Господа, я еду против собственного желания, предупреждаю!

— Так, может быть, вам не стоит ехать? — с улыбкой спросил Владимир.

Доктор надулся и промолчал. А Владимир был очень оживлен и всю дорогу острил, но большей частью неудачно. Он изо всех сил бравировал, скрывая волнение. Чекаидзе понял это и сокрушенно цокал языком.

Добрались вовремя: пока шли до поляны, оставив экипаж у дороги, прискакали и противники. Высокий сутулый капитан, секундант подпоручика, увидев Олексина, стал что-то быстро говорить фон Геллеру. Геллер отрицательно покачал головой; капитан подошел к Владимиру, представился. Юнкер не разобрал его фамилии, сказал поеживаясь:

— Тут очень ветрено. Это отчего же ветрено,

оттого что дырка в небе?

— По долгу чести и человеколюбия призываю вас, господа, забыть обиды и протянуть руки друг другу.

— Этому не бывать! — крикнул издалека фон Геллер-Ровенбург.

— Этому не бывать, капитан, вы слышали? — улыбаясь, спросил Олексин. — Давайте все же поскорее, господа, этак и простуду схватить недолго.

Он чувствовал нарастающую внутреннюю дрожь и очень боялся, что ее заметят другие. И нервничал, что секунданты ведут глупый спор из-за солнца, мест и ветра, который так раздражал его сейчас. Наконец они поладили, и сутулый капитан предложил пистолеты. Владимир взял первый попавшийся и быстро пошел на указанную ему позицию. Пистолет был неудобен и тяжел, не то что привычный револьвер, но признаться в том, что он ни разу не стрелял из подобного оружия, юнкер не решился: право выбора принадлежало оскорбленному.

Он стал на свою точку и повернулся лицом к противнику. Ветер порывами бил в левую щеку, и он подумал, что на этот ветер следует сделать поправку при стрельбе. Сердце его вдруг заколо-

тилось, и он стал медленно и глубоко вдыхать, как учили его в училище перед стрельбами. Но там это помогало, а тут почему-то нет; сердце никак не желало успокаиваться, и он испугался, подумав, что промахнется. И так занят был всем этим, что не расслышал команды, а увидел вдруг, что к нему идет подпоручик, медленно поднимая пистолет в вытянутой руке. И шагнул навстречу, но нес свой пистолет у плеча и теперь стал опускать его, ловя фон Геллера не мушкой, а всем тяжелым вздрагивающим стволом. «А ведь он промажет, — подумал юнкер. — Непременно, непременно промажет! Такой ветер…» Он не расслышал выстрела и не ощутил боли. Почувствовал сильный удар в грудь и вдруг ясно-ясно увидел мать. Она, улыбаясь, шла ему навстречу. И падая, он успел удивиться и громко крикнуть ей:

— Мама!..

4

После похорон Миллье осиротевшие французы прибились к Олексину, даже обменяли шалаши, чтобы быть поближе. Они тяжело переживали потерю товарища, который был для них не просто старшим по возрасту. Лео совсем захандрил, целыми днями валялся на соломе. Их следова-

ло занять делом, но поручик ничего толкового придумать не мог: французы не знали сербского языка. Выручил Стоян, зашедший как-то вместе с Бранко. Была пора полного затишья: турки не стреляли, восстанавливать разрушенные ложементы не стремились — и над всем участком повисло тягостное безделье. Участились случаи отлучек с позиций, разговоров в секретах, сна на постах: безделье рождало падение дисциплины.

— Яблочки, поручик, — улыбался Стоян. — Все дело в этих яблоках.

— Какие еще яблоки?

— Попробуйте. — Бранко протянул Олексину яблоко. — Яблоки добрые.

Яблоки действительно были вкусные, но Гавриил ничего не понял. Попросил разъяснить без аллегорий.

— Хотите, покажу, где растут? — предложил Бранко. — Сейчас самое время.

За яблоками Олексин пригласил и французов; они очень обрадовались, устав от безделья. Шли вчетвером: Бранко указывал дорогу. На подходе к аванпостам их нагнал немолодой хмурый взводный командир Шошич; Олексин запомнил его еще по ночному бою, где Шошич всегда первым поднимался в атаку. Миновали секрет, не обра-

тивший на них никакого внимания, спустились в заброшенный сад. Гавриил шел настороженно, но Бранко топал, как прежде, не заботясь о том, что с каждым шагом приближается к турецким позициям.

Впереди послышались голоса. Олексин остановился, цапнув рукой кобуру. Глядя на него, остановились и французы, Лео сбросил с плеча винтовку, передернул затвор. Бранко оглянулся на знакомый звук, замахал рукой, молча указал вперед. Гавриил подошел, выглянул из-за куста.

Под старой, усыпанной плодами яблоней мирно сидели четверо турецких низамов и пятеро сербских войников. Противники со вкусом жевали яблоки и говорили по-сербски: двое турок хорошо знали язык и тут же переводили товарищам.

— Нет, я табак редко поливаю, — говорил немолодой серб. — Редко поливать — злее будет. Не пробовал?

— Лист плохо идет, — сомневался полный и очень добродушный турок. — Сам себя обижаешь, если листу расти не даешь.

— Это-то верно, только лучше один лютый лист, чем три слабых.

Поручик шагнул из-за куста. Увидев его, сербы

и турки поспешно встали.

— Это что за беседы?

— Яблоки собираем, господин четоводник, яблоки, — поспешно пояснил пожилой войник.

— И тут турки тоже яблоки собирают?

— Коран разрешает, — сказал добродушный турок. — Кто ты есть? Командир?

— Да, да, командир, — объяснил серб. — Русский брат, офицер.

— О, великий христианин? — с уважением отметил турок.

— Они вас, русских, великими христианами называют, — улыбнулся Бранко.

— Великие христиане — великие воины, — сказал турок, и все с уважением закивали. — Знаменитый воин Хорват-паша недаром так ценит помощь великих христиан.

— Ваши офицеры знают, что вы здесь? — спросил поручик.

— Конечно, знают, ага, как не знать.

— Пусть один из вас сходит за вашим офицером. Остальным приказываю оставаться на местах.

Турки пошептались, и самый молодой бегом устремился к позициям. Олексин пригласил садиться, и турки тут же послушно уселись, без всякого смущения и страха разглядывая русского

офицера.

— Скоро будет мир, — помолчав, сказал добродушный турок. — Мы пойдем к своим домам, а вы к своим.

— Дай-то Бог, — вздохнули сербы, с опаской поглядев на Олексина.

— Бога молите? — вдруг высоким голосом выкрикнул молчавший доселе Шошич. — Не о том Бога молите, сербы, не о том! Вы же братья мои, братья, только я в Боснии родился, за Дриной. И я — райя!.. — Он ткнул пальцем в добродушного турка. — Спросите у него, что значит, когда вас считают райя, спросите! Райя для них — это не люди, это неверные, это псы, у которых можно забрать дочь, изнасиловать жену, угнать последнюю скотину со двора. Нас душат податями, над нами измываются как хотят, нас грабят, нас убивают без суда, и терпение наше кончилось. Райя восстали, райя предпочли смерть в бою той проклятой жизни, на которую нас обрекли вот эти вот, в красных фесках! — Шошич метался по кругу, выкрикивая фразы то туркам, то волонтерам, то сербам. — Мы просили помощи у княжества, мы верили, что все сербы — братья, а вы… Яблоки с ними жрете? — Он ногой ударил по куче яблок, собранных турками про запас. — О мире Бога

молите? А нам — тем, кто в Боснии живет, за Дриной, — нам-то что делать, о чем молить?..

— Что здесь происходит? — спросил Этьен.

Гавриил объяснил, о чем говорили солдаты.

Приближался конский топот; к ним подскакал молодой офицер на прекрасном гнедом жеребце. Ловко осадил его, склонился в седле, мягким жестом правой руки коснувшись сердца и лба.

— Вы звали меня, господин русский офицер? — на хорошем французском языке спросил он.

— На нашем с вами участке, кажется, началось замирение, — сказал Олексин. — Вас это не тревожит, господин турецкий офицер?

— Стремление к миру должно тревожить меньше, чем стремление к войне, — улыбнулся турок. — Разговоры о перемирии вполне реальны, уверяю вас.

— Я не получил соответствующего приказа и поэтому продолжаю считать реальностью войну.

— Даже в момент нашего разговора? — продолжал улыбаться офицер.

— Через полчаса я прикажу стрелять в любого, кто выйдет на нейтральную полосу.

— Мы приехали сюда драться с вами! — выкрикнул Лео. — Да, да, именно с вами! Вы убили папашу Миллье!

— О, я слышу голос парижанина! — Турок вновь отвесил изящный поклон. — А что касается меня, господа, то я бы давно покончил с этой глупой комедией, рождающей, к сожалению, столь много трагедий. Я бы высек и сербов и турок и разогнал бы их по домам. Значит, война, господин русский упрямец? Прощайте, до встречи в бою!

Он резко выкрикнул команду, поднял коня на дыбы, круто развернул его и бросил в карьер. Турки поспешно вскочили и побежали к своим позициям, теряя яблоки.

— Поручите нам это место, командир, — попросил Этьен. — И считайте, что с этой проблемой покончено.

На следующий день Олексин и Брянов доложили обо всем Хорватовичу.

— Я устал, господа, — вздохнул полковник. — Страна оказалась не готовой к затяжной войне, не готовой психологически. Прежде всего психологически.

— Вы верите слухам о перемирии? — спросил Брянов.

— Ходят такие слухи, — уклончиво сказал Хорватович. — Поговаривают, будто генерал Черняев вступил в неофициальные переговоры с Абдул-Керимом.

Возвращались, когда солнце уже садилось. Брянов рассеянно хлестал прутиком по сапогам и поглядывал на Олексина, ожидая, когда он заговорит. Но поручик думал о последних словах Хорватовича.

— За что мы воюем, Брянов? — вдруг спросил он и, поймав удивленный взгляд капитана, поспешно разъяснил: — То есть за что воюют русские волонтеры, мне понятно. Но за что воюют французы, поляки, болгары? Хорватович как-то сказал, что у него в корпусе восемнадцать национальностей. Отбросим сербов, черногорцев, хорватов, боснийцев и русских — за что воюет остальная дюжина? За крест? За сербов? За свободу? За наши византийские сновидения?

— За веру, — весомо сказал Брянов.

— Бросьте, не верю! — Олексин раздраженно отмахнулся. — Это какая-то средневековая чушь. Вести религиозные войны в конце девятнадцатого столетия — нелепость. И, извините, даже думать так — тоже нелепость. Атавизм вроде хвостатого человека.

— Так ведь я не Бога православного имею в виду, — улыбнулся капитан. — Вы ехали в Сербию через Будапешт, а я через Бухарест, причем значительно раньше вас. Настолько раньше, что

мне пришлось задержаться в Бухаресте. Я скучал, шатался по городу, читал запоем и однажды… — Брянов вдруг замолчал.

— Говорите, я слушаю.

— И однажды выучился читать по-болгарски. И прочитал… новую молитву: «Верую во единую общую силу рода человеческого на земном шаре — творить добро». Ну а раз есть новая молитва, значит, есть и новая вера, Олексин. Вера возникает раньше молитв, если это действительно вера.

— И что же дальше в этой молитве?

— Не помню, поручик.

— Не хитрите, Брянов.

— Право, не помню.

— Жаль, — вздохнул Олексин. — То ли мне постоянно что-то недоговаривают, то ли я безнадежно туп и чего-то не понимаю. Жаль!..

Он замолчал. Брянов искоса внимательно глянул на него, сказал негромко:

— Кажется, у вас в роте служит некий Карагеоргиев?

— Да, в болгарском отряде. Вы знаете его?

— Поговорите с Карагеоргиевым об этой молитве, — сказал капитан, так и не ответив на прямой вопрос. — Он более компетентен, нежели я.

— Слушайте, Брянов, зачем вы прячетесь? У вас

есть какая-то тайна? Так либо доверьтесь мне, либо не намекайте.

— Не сердитесь, Олексин. — Брянов улыбнулся. — Просто мне не хочется подвергать вас неприятностям, только и всего.

— Каким неприятностям?

Брянов долго шел молча. Поручик не повторял вопроса, но все время поглядывал на командира, чувствуя, что капитан колеблется.

— Как вы считаете, Олексин, справедливо устроено наше общество? Да, мы освободили мужика, мы стремимся дать образование юношам всех сословий, мы учредили гласный суд и самоуправление земства. И все равно богатый помыкает бедным, мужику не хватает земли, а мы, дворяне, пользуемся привилегиями, которых лично не заслужили.

— Это… — Поручик неуверенно пожал плечами и замолчал.

— Это обычно, вы хотели сказать? Но обычай еще не есть справедливость. Обычай может устареть, вам не кажется?

— Я как-то не думал об этом.

— Понимаю. А я думал. И думы эти привели меня однажды к людям, которые думают так же. Кстати, их много, и не только в России.

— Например, мой Карагеоргиев?

— Он многое понял и многое узнал.

— Он не любит русских.

— А вам непременно нужно, чтобы вас любили? — насмешливо спросил Брянов. — Какая девичья обидчивость! Не предъявляйте векселей, которые давно просрочены.

— Батарея, к стрельбе готовьсь! — вдруг совсем рядом почти пропел веселый голос. — Наводить по ориентирам…

— Тревога! — ахнул Брянов и, подхватив саблю, первым бросился наверх, к батарее.

Когда они выбежали на поляну, где стояли пушки, Тюрберт, согнувшись в три погибели, проверял прицел второго орудия.

— Ма-лад-ца! — нараспев, с гвардейским шиком кричал он. — Первому расчету по глотку из моей фляжки, а второму аж по два! Сподобились, орлы-орелики!

— Что случилось? — задыхаясь, выкрикнул Брянов. — Турки?

— Турки падают, как чурки, а наши, слава богу, стоят безголо[illegible]вы! — солдатской прибауткой ответил Тюрберт и весело расхохотался. — Чего вас принесло, господа пехота?

— А что вы делаете? — спросил Олексин.

— Репете, — пояснил подпоручик; лицо его было в поту, фуражка сбита на затылок. — Отбой, молодцы! Любушек наших помыть, почистить, привести в бальный вид! Гусев, вина дорогим гостям!

Все это рыжий командир прокричал с веселым озорством, и с таким же веселым озорством его артиллеристы принялись драить пушки, хотя пушки прямо-таки сверкали. Под деревьями был расстелен ковер, брошены подушки, появилось вино, груши и виноград. Здесь не было унылых, скучных, даже просто не улыбавшихся лиц: все шутили, смеялись, задевали друг друга, обливались водой, но дело делалось споро и с явным удовольствием.

— Насчет фляжечки не позабыли, ваше благородие? — басом крикнул рослый унтер-офицер.

— Гусев, отнеси ребятам фляжку. Помнить счет!

— Не извольте беспокоиться, ваше благородие! — весело отозвались артиллеристы. — Нам по два, первому по глотку, а третье рукавом утрется!

— Верно! — одобрил Тюрберт, с лёта всем телом бросаясь на ковер. — Располагайтесь, господа, как дома. Пока жарища, попьем винища, а придет хо-

лодище — добудем винища. Наливайте, Олексин, что вы на меня уставились?

— У вас ученье? — спросил поручик, разливая вино по глиняным кружкам.

— Хорошо пехоте! — сказал Тюрберт, обращаясь почему-то к одному Брянову. — Нет атаки — суй руки в рукава и дрыхни до побудки. А мы — артиллерия. Мы, господа, первые скрипки той великой симфонии, которая называется войной. И, как всяким скрипачам, нам нужно упражняться. И не менее двух раз в день: на рассвете, когда солнышко нам глазки застит, и на закате, когда оно застит глазки противнику. Дабы не посрамить чести русской артиллерии, за славу которой я, как всегда, поднимаю первый тост. Ура, господа, ура!

Брянов отхлебнул вина, глянул на Олексина, спрятал скользнувшую усмешку. Сказал, помолчав:

— Мне кажется, Тюрберт, что вы приехали в Сербию только из любви к боевым стрельбам.

— Откровенно говоря, да, — беспечно согласился подпоручик, со вкусом — а он все делал со вкусом, — шумно и несколько картинно расправляясь с грушей. — Я люблю свое дело и горжусь им. Может быть, потому, что я — потомственный

артиллерист: моего прадеда взял на службу Петр Великий, и прадед оказался неплохим бомбардиром. Вот с той поры мы, Тюрберты, и стараемся не ударить лицом в грязь. А чтобы не ударить в эту самую грязь, надо хорошо стрелять, господа, вот и весь секрет.

— Значит, Сербия для вас — артиллерийский полигон? — спросил Гавриил.

— В ваших словах звучит какой-то непонятный мне упрек, Олексин. Я офицер и уже имел честь заявить вам, что мне плевать на все так называемые идеи. Тем паче что их развелось больше, чем голов, для коих они предназначены. Давайте, не мудрствуя лукаво, пить вино и говорить о чем-нибудь приятном. Например, о стрельбе картечью при кавалерийской атаке лавой.

Поручик, горячась, влез в бесконечный и бестолковый спор, Тюрберт насмешливо иронизировал, а Брянов слушал их, пил вино и усмехался. Когда покинули гостеприимных артиллеристов, сказал:

— Вам хочется подтвердить свою жизнь идеей, Олексин, дабы она не выглядела пустопорожней. А может быть, истина как раз в обратном? Может быть, истина заключается в том, чтобы идею подтверждать всей своей жизнью?

— Какую идею?

— То-то и оно, что такой идеи нет. Та, которую исповедуете вы, вряд ли стоит того, чтобы тратить на нее жизнь, это вы, кажется, уже понимаете. А иной в запасе у нас с вами нет. И может быть, правда за Тюрбертами? Служи честно своему делу — вот и все, что от тебя требуется. И будет в душе твоей покой, а в глазах вечная синева. И будете вы прекрасно стрелять картечью сегодня в турок, завтра в поляков, а послезавтра в русских крестьян, которые слишком уж громко попросят хлеба и справедливости.

— Нет, Брянов, мне эта тюрбертская философия не подходит. Я должен знать, зачем я стреляю.

— Как ни странно, мне тоже, Олексин. Мне тоже хочется знать, зачем я стреляю и в кого: ведь не стану же я от этого стрелять хуже, правда? Или стану? И может быть, все-таки прав Тюрберт, утверждая, что идеи обременительны для нашей с вами профессии?

Брянов внезапно крепко пожал Гавриилу руку и свернул к себе. Он задавал вопросы, не ожидая ответов и вроде бы не очень интересуясь ими, но вопросы остались, и Олексин шел домой, в смутном раздражении ощущая, что вопросы эти, столь щедро рассыпанные капитаном, прице-

пились к нему надолго, что ответов на них ему не отыскать и что, если он даже и отыщет эти ответы, легче от этого ему не станет.

Рота его спала, из шалашей доносился храп и сонное бормотание. Поручик невольно подхватил саблю, сбавил шаг и теперь почти крался.

— Справно живете, — вздохнул в темноте голос, и Олексин узнал Захара. — И говядина у вас, и свинина, и птица домашняя, и вино, и табак, и фрукт разный, и овощ. И что же получается: круглый год так?

— Едим хорошо, — ответил из тьмы Бранко.

— Да поглядел бы ты, парень, как наш мужик живет. Поглядел бы.

— Как живет?

— Хреново живет, вот как, — опять вздохнул Захар. — Лук с хлебом да щи пустые — не хочешь ли каждый день? Одна надежда — хлебушко, а ежели неурожай, то хоть по миру гуляй. Детишки молочко не каждый день пьют, не все, да и не досыта, вот так-то, братушка. А уж мясо…

— Мясо — да, — подтвердил Бранко. — Мясо много кушать надо, чтобы работать сила была.

— А раз в году мяса не хочешь? — вдруг озлившись, грубо выругался Захар. — Раз в году мужик мясо досыта ест, раз в году — на Василия Сви-

нятника!

— Не истина! — сердито крикнул Бранко. — Не истина то! Зачем обманываешь?

— Не истина? — зловеще переспросил Захар. — Вру, значит, так выходит? А тюрю с квасом не хочешь каждый день? А хлеб с мякиной жевал когда? Пожуй, попробуй: его и солить не надо — все одно крови полон рот будет. Не истина… А что пьет русский — истина? То-то что истина. Что пьет, это Европа видит да посмеивается, а с чего пьет — это ей невдомек. А с голоду она пьет, Россия-то, с голоду да с холоду да с обиды великой. Работаем поболе остальных, потом умываемся, горем утираемся, а жизни все одно нет. Тыщу лет все жизни нет, все как в прорву какую идет, в руках не задерживается. Выть от такого житья захочется, а выпьешь — и ничего вроде. И сыт ты вроде, и согрелся ты вроде, и, главное тебе скажу, человеком опять себя чувствуешь. Выпьешь — и вроде ты вровень со всеми, вроде уважают тебя все, вроде и горя никакого нет. Вот ведь в чем дело-то, братишка ты мой сербский. Все народы, погляжу я, с радости пьют, покушав плотно. А мы с горя пьем, натощак глушим. А поскольку горя у нас — ого! — то и пьем мы тоже — ого! Пока оно не забудется, горе-то, до той поры и пьем… Это

кому там не спится?

— Это я, Захар. — Олексин подошел к шалашу. — Все спокойно?

— Спокойно, Гаврила Иванович, вас дожидаемся.

— Не стреляли турки?

— Бог миловал. Тихо живем.

— Тихо, — сердито повторил поручик. — Ученья нужны, а то разбалуемся на позициях. Завтра собери мне всех господ офицеров.

— Слушаюсь, Гаврила Иванович. Ужинать не прикажете?

— Спасибо, Захар, артиллеристы накормили.

Олексин прошел в шалаш, разделся, прилег на жесткий топчан. Хотел подумать об ученьях, о возможных вылазках к туркам, но думал почему-то о Тюрберте и его батарее — веселой, дружной, сплоченной напористым и звонким азартом командира. И думал с завистью.

Утром его разбудил Захар:

— Перемирие, ваше благородие! По всей линии перемирие! Турки роте в подарок пятнадцать бычков прислали!

5

Телеграмма о гибели портупей-юнкера Владимира Олексина пришла в Смоленск с большим запозданием: судя по дате, на второй день после похорон. Телеграмма была пространной, но как и почему погиб Владимир, не объясняла, а слова «верный долгу чести» пролить какой-либо свет на обстоятельства никак не могли.

— Не верю! Не верю ни единому слову! Не верю! — кричала Софья Гавриловна. — Нет такой фамилии Бордель фон Борделиус! Нет и не может быть! Это все идиотские гусарские шутки, слышите? Бордель с фоном выдумали!

Тетушка бегала по дому, всем показывая телеграмму и жадно, ищуще заглядывая в глаза. Дворня послушно соглашалась:

— Не может того быть. Ваша правда, барыня.

— Вот видите, видите? — с торжеством кричала Софья Гавриловна. — Это форменное издевательство над родными! Я буду жаловаться, я государю напишу. Да, да, государю! Это все полковое остроумие, не больше.

— Не надо, — не выдержав криков и столь оскорбительной сейчас суеты, сказала Варя. — Не надо так, тетушка, милая. Нет больше Володень-

ки нашего. Нету.

— Нету? — тихо, по-детски растерянно переспросила тетушка. — Не уберегла. Не уберегла!

Затряслась, закрыла лицо руками, Варя пыталась подхватить ее, но не успела — Софья Гавриловна сползла с кресла на колени, отчаянно всплеснув руками:

— Прости меня, Аня, прости! Не уберегла я его. Не уберегла-а!

Если бы Владимир погиб здесь, на глазах, то — кто знает! — может быть, мертвая, похоронная тишина не вцепилась бы в старый смоленский дом с такой затяжной силой. С ним бы простились, его бы отплакали, отпели, откричали, опустили бы в землю — и проснулись бы на другой день хоть и в тоске и печали, но встав на иной путь, и жизнь постепенно, с каждым часом, возвращалась бы в сердце, вытесняя заглянувшую туда смерть. Но с ним не простились, его не отплакали, не отпели; он оставался как бы живым для всех и в то же время уже не живым, и поэтому каждый вынужден был долго и мучительно хоронить его в одиночку. Каждый сам оплакивал его, сам клал в гроб, сам опускал в могилу, сам рвал живого брата из своего сердца, рвал с одинокими слезами, со своей болью и собственной тоской.

Умерев вдали от дома, Владимир умирал сейчас в каждом сердце в отдельности.

Теперь они подолгу не расходились по комнатам, сидели в гостиной или у тети, свалившейся после первого энергичного выплеска. Сидели молча, изредка перебрасываясь незначащими фразами; каждый думал о Владимире, но никто не решался о нем говорить. Они просто сообща молчали об одном, и это очень дружное, очень согласное молчание было сейчас важнее разговоров: они словно питали друг друга силами, столь необходимыми им в эти дни.

— А батюшка ничего не знает, — вздыхала Варя.

— И никто не знает, кроме нас, — говорила Маша. — Ни Вася, ни Федя, ни Гавриил. Никто.

— Надо сначала поехать в Крымскую, — осторожно добавлял Иван.

— Да, надо поехать в Крымскую, — эхом откликалась Варя.

И они опять надолго замолкали. Они понимали, что, перед тем как ехать к отцу, необходимо узнать как можно больше, необходимо ответить на все вопросы, надо быть готовым все рассказать, чтобы избавить его от того неведения, которое так болезненно переживалось ими. Но бесконеч-

но начиная разговоры о поездке в Крымскую, они тут же бросали их, не делая никаких выводов. Они еще не были готовы к этому, они еще боялись расстаться друг с другом и терпеливо ждали, когда утихнет первая боль, уйдет растерянность и настанет время действий.

Они сидели за утренним чаем, теперь настолько тихим, что даже дети старались без стука ставить чашки, когда вошла растерянная Дуняша:

— Там господин с барышней. И вещи при них.

За столом переглянулись и замерли. Иван вскочил:

— Военный?

— Нет, в цивильном они. И вроде нерусский. А барышня как есть русская.

— Проси! — И добавил, когда Дуняша вышла: — Это из полка. Вот увидите, из полка.

Вошли девушка в пелерине и стройный, небольшого роста молодой человек, прижимавший к груди шляпу. Следом кучер нес два баула, картонки, шинель и кавалерийский клинок.

— Разрешите представиться, — с акцентом сказал молодой человек. — Автандил Чекаидзе. Разрешите также представить мадемуазель Ковалевскую Таисию Леонтьевну.

Но они уже ничего не слышали и даже не смотрели на вошедших. Они видели сейчас шинель Владимира, лежавшую поверх баулов, и такую знакомую саблю.

В эту ночь сестры ночевали вместе: Маша уступила свою комнату Тае. Было уже далеко за полночь, а Варя, так и не раздевшись, все ходила и ходила по комнате, то принимаясь беззвучно плакать, то вдруг гневно сверкая сухими глазами. Маша в ночной кофте сидела на кушетке, той самой, на которой всегда спала Варя, когда мама приезжала в Смоленск.

— Завтра же она уедет отсюда. — У Вари как раз был приступ ненависти. — Зачем она вообще приехала к нам, зачем, объясни мне, пожалуйста? Какая наглость! И какая жестокость: приехать к родным и заявить, что Володя стрелялся из-за нее! Нет, вон! Вон, вон на все четыре стороны! Немедленно!

— Ты несправедлива, Варя, — задумчиво сказала Маша. — Боюсь, что ослеплена гневом и поэтому очень несправедлива.

— Несправедлива? Из-за этой полковой дряни погиб мой брат — и я же несправедлива?

— Да, ты несправедлива, — упрямо повторила Маша. — Жаль, что здесь нет Васи: он бы тебе все

объяснил — и тебе бы стало стыдно.

— Володи нет, Володи!.. — Варя опять начала плакать, ломая руки. — Какая холодная, какая бесчеловечная жестокость! Убить юношу… Нет, я не понимаю, я никогда не примирюсь с этим! А она, она уедет завтра же. Уедет!

— Она очень страдает, — тихо, словно самой себе, сказала Маша.

— Кто страдает? Эта девица страдает? — Варя сразу перестала плакать. — Это я страдаю, я, понятно? Я страдаю, а не она!

— Да, ты страдаешь. Одна, но зато за всех нас.

— Мария! — Варя остановилась перед нею, сурово сдвинув брови. — Как тебе не стыдно говорить так, Мария?

— Нет, мне не стыдно так говорить, я не любуюсь своим страданием и не демонстрирую его. А ты демонстрируешь, а это дурно. Прости, но это очень дурно, вот и все. И еще прости, но твоего горя так много, что я перестаю верить. А в страдания этой девушки верю. Это ее страдание, она его никому не демонстрирует.

Варя плашмя упала на кровать, зарылась в подушки. Плечи ее судорожно тряслись, но Машенька не торопилась с утешениями. Она могла быть упрямой и решительной, когда ее к это-

му вынуждали, и сейчас настал именно такой момент.

— Ты самая бессердечная в семье, — сказала Варя, садясь на кровати и вытирая мокрое от слез лицо. — Ты и Гавриил.

— Я поеду в Москву к батюшке, — спокойно, как об уже решенном и продуманном, сказала Маша. — И Таисия Леонтьевна поедет со мной: мы обе расскажем, как погиб Володя.

— Что? Извини, Мария, но я слишком дорожу отцом, чтобы позволить…

— Мне не нужно ничего позволять, Варя, я все равно сделаю по-своему. И непременно вместе с Таисией Леонтьевной. И то, что тебе кажется жестокостью, как ты говоришь, для батюшки будет утешением. Единственным утешением.

На следующий день гость уезжал в Тифлис. Он долго и проникновенно жал руку Ивану, гладил по головам детей, низко, почтительно кланялся вставшей ради его отъезда Софье Гавриловне.

— Погиб мой дорогой друг, — сказал он уже в дверях. — Но подлый убийца недолго будет топтать нашу прекрасную землю. Мой брат поручик Ростом Чекаидзе уже спешит на поединок. А если ему не повезет, с этим господином будет стреляться весь славный Семьдесят четвертый полк

и вся городская управа города Тифлиса!

Тая хотела ехать вместе с господином Чекаидзе, но ее уговорили остаться. Тая долго не соглашалась; тогда к ней подошел Иван, осторожно взял за руку.

— Пожалуйста, повремените с отъездом. Маша и я очень просим вас, если возможно.

Тая дико посмотрела на него, по лицу ее побежали слезы. Закусила губу, часто закивала:

— Как вам будет угодно. Как вам будет угодно, Иван Иванович.

Маша обняла ее, прижала к себе:

— Будет вам, Таисия Леонтьевна, будет. Успокойтесь. Пожалуйста.

— Да, да, сейчас, — поспешно говорила Тая в платочек. — Да, да, извините, пожалуйста. Извините.

Варя поджимала губы, выразительно поглядывая на тетушку. Но Софья Гавриловна была погружена в свое горе и в свои мысли и не замечала ничего иного.

В связи с отъездом гостя Иван опять не пошел в гимназию, а вместе с Машей и Таей поехал провожать Чекаидзе. При этом он отказался от кучера, решив править лошадьми самостоятельно, чуть не упустил их на спуске с крутой Соборной горы,

напугал барышень, немного струхнул сам и стал так одерживать пару, что приехали они на вокзал к отбытию и прощались наскоро.

— Что прикажете передать вашим уважаемым родителям, мадемуазель Тая?

Чекаидзе спросил из лучших побуждений, но Тая мучительно покраснела.

— Поклон, пожалуйста.

— Когда им ждать вас?

— Я не вернусь в Крымскую, — с отчаянным мужеством сказала Тая. — Я живу теперь одна. В Тифлисе.

— О, пардон! — закричал Чекаидзе, сообразив наконец, что поставил ее в неловкое положение. — Извините, мадемуазель Тая, извините!

Он кричал «извините», уже стоя на подножке вагона. Кричал, кланялся и махал шляпой, пока поезд не скрылся за водокачкой.

— Мы хотим показать вам, Таисия Леонтьевна, наш Смоленск, — сказала Маша, когда крики Чекаидзе растаяли в перестуке колес. — Ваня одно время увлекался историей и, если согласится, расскажет много интересного.

— Я уже согласился, — улыбнулся Иван. — А вот смогу ли, это вопрос особый.

Однако он был человеком обстоятельным и

толковым, обладал блестящей памятью и даром рассказчика, и прогулка оказалась очень интересной. Он осмотрел с барышнями Свирскую церковь и Соборную гору, Блонье и Лопатинский сад с остатками древней темницы, где на подоконнике рядом с обломками ржавых решеток еще сохранилось латинское имя, вырубленное когда-то несчастным узником. Потом провез вдоль крепости, показал французское ядро, застрявшее в стене над Никольскими воротами, поднялся вместе с ними на крепостную стену и долго восторженно рассказывал, где стоял генерал Раевский и как к закрытым Молоховским воротам подскакал неаполитанский король и требовательно постучал в них маршальским жезлом.

— А наши дали залп, и Мюрат так улепетывал, что чуть не потерял шляпу!

Рассказывал он одной Тае и так, будто Маши вообще не существовало на свете. Как все Олексины, он был не только увлекающимся, но и чрезвычайно влюбчивым, и даже недавняя трагическая смерть брата не могла сейчас заслонить горьких и прекрасных глаз рыжей девочки, которая была всего на год старше его, а казалась такой недоступно взрослой. По окончании экскурсии

он усадил барышень под каштанами, а сам побежал за лимонадом и мороженым. И тогда Маша сказала:

— У нас к вам огромная просьба, Таисия Леонтьевна. Дело в том, что наша мама умерла, а батюшка живет отдельно, в Москве…

— Я знаю, — тихо перебила Тая. — Володя рассказывал.

Она опять закусила губу и прикрыла глаза. Две слезы выползли из-под ресниц и скатились, оставив дорожки в пушке.

— Не надо, Тая, милая, сестричка моя! — Маша порывисто прижала ее к себе и поцеловала. — Не надо терзать себя, вы ни в чем не виноваты. Это судьба.

— Не утешайте меня, Мария Ивановна, я все равно знаю, что виновата. Я виновата на всю жизнь свою. — Она судорожно вздохнула. — Когда мне выезжать в Москву?

— Мы поедем вместе. На завтра Варя заказала панихиду по Володе. Отстоим службу, справим поминки и поедем к батюшке.

К ним бежал Иван. За ним с подносом в руках поспешал полный немолодой приказчик из кондитерской. На подносе тонко звенели стаканы.

— Быстрее! — весело кричал Иван. — Быстрее,

растает!

Тая посмотрела на него, грустно улыбнулась и незаметно вытерла слезы.

Отслужили панихиду по Володе, отпели, отплакали за господским, откричали за дворницкими поминальными столами. Тетушка, размякнув и перемучившись, благословила отъезд в Москву. Только повторяла все время:

— Бедный Иван. Бедный Иван. Бедный Иван!

Маша и Тая выехали вторым классом, «согласно чина и состояния», как любил говорить отец. Впрочем, состояние Таи было таково, что ей впору было бы ехать в третьем, но Маша этого не позволила:

— Мы с вами, Тая, теперь сестры. Сестрички по несчастью, так батюшке и скажем. Как же можно считаться?

А сама подумала, что, может быть, как раз в этом-то и состоит высшее Божье провидение: было десять и осталось десять. Было десять и осталось десять… И думала об этом в поезде, глядя на Таю, и колеса выстукивали согласно и звонко: было десять и осталось десять, было десять и осталось десять.

Маша никогда не бывала в Москве, а телеграмму отцу тетушка категорически запретила

давать: она сама боялась телеграмм и считала, что отец непременно разволнуется раньше времени, надумает бог весть что, и вся идея постепенной подготовки к известию окажется тогда бессмысленной. Поэтому барышень никто не встречал; они взяли извозчика, назвали адрес и потрусили по Москве среди шума и гама. Но не замечали ни шума, ни толчеи, сидели, испуганно прижавшись друг к другу, под гнетом того страшного известия, которое везли старому, странному, своенравному и очень дорогому человеку.

Дверь открыл толстый молодой лакей. Глядел, сонно сощурясь, презрительно выпятив грубые, мокрые губы.

— Не велено пущать. Никого не велено.

Он будто не был в состоянии слушать, а тем более понимать, что ему говорят. Это было ниже его достоинства. Вровень с его достоинством стояло сладкое право «не пущать».

— Ты глухой? — У тихой и приветливой Маши совсем по-отцовски колюче похолодели глаза. — Я Мария Ивановна Олексина, изволь немедленно доложить батюшке.

— Барин никого не велел…

Но барышни уже раздевались, кидая пелерины и шляпки на диван, стоявший в прихожей, и

не обращая на лакея внимания. Это породило в голове Петра смутную мысль об их неотъемлемом праве нарушать данные ему инструкции. Он помолчал, пожевал толстыми губами и неторопливо, борясь с сомнениями, поплелся докладывать, все время с недоверием оглядываясь на капризных барышень.

— Каков нахал! — дрожа от возмущения, сказала Маша. — Федор недаром говорил, что батюшка нарочно ему потакает. Знает, что туп и нахален, и потакает нарочно, чтобы всех сердить и обескураживать.

Вместо Петра на лестнице появился живой и очень приветливый старичок. Поспешно спустился, улыбаясь и кланяясь на каждой ступеньке.

— Мария Ивановна, радость-то какая нам! И опять без эстафеты, без депеши, мне на огорчение.

— Игнат! — Маша шагнула к давно знакомому ей старому камердинеру, радостно протянув обе руки. — Я так рада, Игнат, что это ты. Что батюшка? Как он?

— Здоров батюшка, здоров, Бог милует. — Игнат осторожно подержал и отпустил девичьи руки. — В гости пожаловали? Надолго ли, осмелюсь

спросить?

— Ох, Игнат! — Маша уткнулась лбом в подбитую ватой грудь старика. — С горем мы, Игнат, с большим горем. Володю нашего убили в Тифлисе.

— Владимира Ивановича? Володеньку?

Игнат качнулся. Маша поддержала его, усадила на диван прямо на пелеринки.

— Володеньку, Володеньку… — Голова его затряслась, по дряблому, старческому лицу, обрамленному жиденькими седыми бакенбардами, ползли слезы. — Да как же это, как же?

— На дуэли, — вздохнула Маша. — Пуля попала в сердце. Сразу в сердце и…

— Господи, Господи!.. — вздыхая, крестился камердинер. — А батюшка как же? Как сказать-то ему, как? Ведь в себе все держит, всю жизнь все в себе, не расплескивая. Аккурат вчера Володеньку поминал. Доволен был, что служит, что в чины входит. Поди вот так-то ляпни с порога — помрет. Слова не скажет, а — помрет. Как же сказать-то, а? Как?

— Мы сами скажем, Игнат. Для этого и приехали.

— Да, да. — Старик горестно покачал головой, перекрестился, достал платок и шумно

высморкался. — А с вами-то кто же будет, Мария Ивановна? Извините, барышня, глазами слабну.

— Это? — Маша запнулась только на мгновение. — Это невеста Володина.

— Барышня! — Игнат дотянулся до Таи, ласково провел по ее рукаву. — Господи, горе-то, горе-то какое! Идите, барышни, идите к нему. Только не сразу бы, а? Не с порога скажите, не с порога.

Старик читал в кресле, когда барышни без доклада проскользнули в кабинет. Увидев их, он снял очки, заложил ими книгу и встал.

— Дочь? — Он что-то почувствовал и от волнения забыл ее имя. — Как ты здесь? Почему? Что-нибудь с… Гавриилом?

— Батюшка! — Маша бросилась к нему, уткнулась в грудь. — Милый батюшка, сядьте. Сядьте, умоляю вас!

Она уже не сдерживалась, уже плакала, забыв о предостережениях Игната, о строгих наказах Вари и Софьи Гавриловны. Крепко прижимаясь лицом к домашней, пропахшей запахом дорогого табака куртке, она толкала отца в кресло, пытаясь усадить, а он сопротивлялся, упираясь руками в подлокотники, и все твердил:

— Да говори же, говори! Что с волонтером, что? Ведь вижу все, все ведь вижу, господи!

Все же она усадила его и, опустившись на колени рядом с креслом, гладила и целовала сухую старческую руку, крепко, как во спасение, вцепившуюся в подлокотник.

— Не бойся, — тихо и строго сказал отец. — Не бойся, говори. Что с волонтером нашим? Убит? Ранен? Я ведь предупреждал его, предупреждал…

— Володя погиб, батюшка! — не выдержав, крикнула вдруг Маша — Володенька погиб на Кавказе!

Старик отбросил ее руку, судорожно выпрямившись в кресле. Беспомощно и немо, как рыба, открывал и закрывал рот, будто пытался проглотить что-то и не мог, и только горбатый кадык конвульсивно сотрясался под дряблыми складками кожи. Тая рванулась от дверей, налила воды из графина, подала. Он выпил булькающими глотками, слепо глянув на незнакомую барышню.

— Погиб? — тихо и как-то очень уж спокойно переспросил он. — Как же мог? Как? Там замирение. Или опять взбунтовались? Я давно не читаю газет. Давно. Они непристойно спекулятивны и стремятся навязать свою волю. А это неприлично.

Он говорил и говорил, точно второпях, кое-как, наспех возводил баррикаду между собой

и ими, словно заделывал брешь, нанесенную известием и вдруг обнажившую сердце. А он не мог допустить, чтобы кто-то — не важно, кто именно, — видел это сердце, видел его боль, его судороги, слышал его молчаливый крик.

— Стало быть, что же? Несчастный случай? Зашибла лошадь? Болезнь? Умер в постели?

Последний вопрос прозвучал строго, выбившись из торопливого ряда. Маша почувствовала это, поняла, что ответ для него важен.

— Нет, батюшка. Не в постели.

— Не в постели? — Старик быстро глянул на нее, проверяя, и тотчас отвел глаза. — Не в постели — это хорошо. Хорошо. Мужчина не должен умирать в постели. Это унизительно. Да. Унизительно. Смерть должна возвышать.

— Его убили! — громко, с отчаянием выкрикнула Тая: ей было невмоготу это бессмысленное старческое бормотанье. — Убили! Убили на дуэли!

— Убили?

Отец долгим пристальным взглядом уперся в Таю. Она испугалась этих немигающих глаз, где живым было только судорожное подергивание век, но выдержала, поспешно закивав.

— От пули, — тихо, точно отвечая сам себе,

сказал старик. — Значит, от пули.

Он медленно придвинул ящичек, стал набивать трубку. Пальцы тряслись, табак сыпался, он снова и снова старательно подбирал крошки и запихивал их на место.

— Батюшка…

— Значит, все-таки от пули, — жестом остановив ее, повторил он.

Голос не послушался, задрожал, сорвавшись на дикий, лающий звук, и старик опять несколько раз тяжело сглотнул, словно заталкивая в себя прорвавшийся живой вопль.

— Батюшка. — Слезы текли по лицу Маши, она чувствовала, как они текут, но боялась отереть их, боялась признаться, что плачет, потому что это горе не терпело слез, и она понимала отца. — Батюшка, Володя погиб гордо и прекрасно. Он защищал честь девушки, что стоит перед вами. Это невеста его, батюшка.

Старческий, немигающий взгляд вновь уперся в Таю. В строгих, осмысленно напряженных глазах не было слез, но копилась такая боль, что Тая сразу подошла и опустилась на колени по другую сторону кресла. Олексин положил руку ей на голову, медленно провел к затылку — не погладил, а именно провел. И рука эта не дрожала, была

тверда и почти покойна, но Тая почувствовала вдруг ее чугунную тяжесть.

— Он умер сразу?

— Пуля попала в сердце.

— Хорошо. — Старик удовлетворенно кивнул головой. — Хорошо, что он защищал честь. Это хорошо и достойно.

— Он защищал не только мою честь, — тихо сказала Тая. — Он защищал честь полка.

— Хорошо, — еще раз кивнул Олексин. — Он славный мальчик, и его любили в полку. Внизу есть шкапчик с лекарствами. Принесите склянку с синим ярлычком.

Тая молча вышла из комнаты.

— Вам плохо? — с испугом спросила Маша. — Батюшка, скажите правду. Может быть, послать за врачом?

— Нет лекарств, чтобы они помогали отцу, когда он теряет сына. Даже такому отцу, как я. — Он помолчал. — Кто эта девушка?

— Дочь заместителя командира полка подполковника Ковалевского.

— Дворянка?

— Не знаю. Кажется, нет.

— Славная. Славная девушка.

Маша осторожно глянула на него. Подумала,

сказала неуверенно:

— Ей нельзя возвращаться к родителям. Так получилось, что…

— Не объясняй. — Отец чуть пожал ей руку. — Зачем же ей возвращаться, когда Владимир погиб?

Он замолчал, со строгой скорбью глядя перед собой и медленно поглаживая дочь по голове. А Маша опять чувствовала, как по лицу ее текут слезы, и опять боялась заплакать.

— А ты молодец, — тихо сказал старик. — Варвара себя жалеет и потому скорбит шумно. Оскорбительно шумно. А ты — умница ты. Ты других жалеешь и щадишь. В маму ты. В Анечку. Помолчим, доченька? Вспомним их, светлых, и помолчим. Мертвым ничего не нужно, кроме нашего молчания. Ничего.

Отец и дочь надолго замолчали, но молчание это не было пустым. Оно было наполнено их единением и согласием, первым объединяющим мгновением полного взаимопонимания и любви.

Тая спустилась в прихожую, так никого и не встретив. От волнения она забыла, как звали того доброго старичка, что встретил их на лестнице и так убивался, узнав о гибели Владимира, как

позвать кого-либо из прислуги, не знала и стала открывать подряд все двери в надежде найти где-нибудь шкапчик с лекарствами. Так прошла она несколько безлюдных комнат, приоткрыла очередную дверь и тихо ахнула: у окна стоял молодой человек в куцем провинциальном сюртучке. Но ахнула она не потому, что испугалась, а потому что человек этот был удивительно похож на Владимира, только жиденькая бороденка выглядела совсем лишней.

— Я испугал вас? — улыбнулся он такой знакомой ей улыбкой. — Извините. Мне суждено, видно, не вовремя появляться. Я через черный ход, как обычно, чтоб не беспокоить.

— Федор Иванович? — тихо спросила Тая. — Я вас сразу узнала, Федор Иванович. Почему я вас сразу узнала?..

Глава девятая

1

Вечером того же дня, когда было объявлено о перемирии, к шалашу Олексина в полном боевом снаряжении подошли болгары. Остановились, вольно опершись о винтовки, но не нарушая строя. Меченый заглянул в шалаш:

— Мы уходим, поручик.

— Как уходите? — Олексин сел на топчане. — Куда?

— Мы пришли сюда сражаться. Нет сражения — нет обязательств.

— И куда же намереваетесь? — спросил поручик, натягивая сапоги.

— Домой. В Болгарию.

— Через позиции?

— Позиций больше нет. Кроме того, с нами идет Бранко.

Бранко стоял в строю рядом с Любчо. На позициях Гавриил никогда не встречал девушку, за хлопотами позабыв о ее существовании, и теперь смотрел удивленно.

— Где вы прятали своего адъютанта, Стойчо?

— В селе. Там у Бранко дальние родственники. Прощайте, поручик. — Стойчо протянул руку. — Спасибо.

— Прощайте, Стойчо. — Олексин грустно улыбнулся, обнял его. — Если бы я мог, я бы тоже ушел. — Он оглядел строй. — А где же Карагеоргиев?

— Ему с нами не по дороге, — проворчал Кирчо из строя.

— Прощайте, юнаки! — громко сказал Олексин, отдав честь строю. — Дай вам бог добраться до родины.

Из шалаша поспешно вышел Захар. Совал в руки Любчо узелок:

— Возьми, девка, на дорожку. Возьми, не обижай.

— Спасибо, — по-русски сказала девушка.

Стоян, помолчав, еще раз кивнул поручику и негромко отдал команду. Отряд двинулся мимо шалашей, мимо ошалевших от радости войников и растерянных волонтеров, мимо костров, вина, плясок, песен и веселья. Болгары шли молча, с горделивым достоинством выдерживая равнение и шаг.

Из-за поворота показались Совримович и Отвиновский. Нагнали отряд, долго шли рядом с Ме-

ченым. Потом вернулись к шалашу.

— Зачем вы отпустили их, Олексин? — с неудовольствием спросил Совримович. — Самый боеспособный отряд.

— Боеспособность нужна в бою, — усмехнулся Отвиновский. — Плясать вокруг костров можно и без боеспособности.

— Тоже собираетесь куда-нибудь податься? — спросил поручик: внезапный уход болгар вызвал в нем волну горького раздражения.

— Некуда! — с непонятным ожесточением ответил Отвиновский. — Связал нас черт веревочкой.

Шошич метался по лагерю, уговаривал, ругался, просил опомниться, даже бил — ничего не помогало.

— А я куда вернусь? — горько спрашивал Шошич. — Дома нет — сожгли турки, дочери нет — увели турки, жены нет — с горя померла. Куда мне-то идти, куда?!

Шли дни, но настроение праздничного оживления не исчезало. Контакты с турками стали еще теснее и еще откровеннее, перейдя вскоре в сферу деловых отношений: под яблоней, откуда Олексин был вынужден убрать французский караул, развернулось оживленное торжище. Торговали всем, чем только можно было торговать:

табаком и фруктами, вином и мясом, барашками и птицей, кожами, одеждой, топорами, ножами, даже оружием. Меняли, покупали, продавали, одалживали друг у друга — базарный азарт охватил обе стороны с невероятной силой, и уже не только сербские войники, но и русские волонтеры щеголяли в турецких фесках и хвастались выгодно приобретенными ятаганами.

— Такого разгрома я еще не испытывал, — с горечью сказал Хорватович, приехав на позиции. — Теперь, пожалуй, я соглашусь признать, что турки выиграли войну.

— Считаете, они начнут наступление? — спросил Брянов.

— Непременно начнут, капитан. У них регулярная армия, и навести порядок им ничего не стоит: только прикажи. Пробовали обязательные ученья?

— Безнадежное дело. Волонтеры еще кое-как занимаются, хотя и с отвращением, а войники решительно отказываются. Говорят, что перемирие — это вроде отпуска.

— Однако Тюрберт сумел заставить своих артиллеристов.

— Скрипачи, — с оттенком зависти сказал Олексин. — И потом, господин полковник, я не

хочу никого обижать, но…

— Боюсь, что разгром неминуем, господа, — невесело сказал Хорватович. — Я вижу только один выход: первыми начать.

— Нарушить перемирие? — изумился Брянов. — Да нас расстреляют перед строем за такое самоуправство!

— Я вижу только один выход, — задумчиво повторил Хорватович. — Есть способ разорвать перемирие. Есть!

На следующий день Хорватович выехал в Белград, поручив корпус майору Яковличу, рыхлому, облинившемуся и нерешительному. Единственная форма приказания, которой широко пользовался майор, заключалась в трех словах: «Ничего не предпринимать».

— Послал Бог начальничка, — со вздохом говорил Брянов.

Целыми днями валялись по шалашам, проводя время в пустопорожних разговорах. После ухода болгар Отвиновский стал чаще навещать Олексина и Совримовича, но в беседы вступал редко, предпочитая слушать или отделываться короткими замечаниями. Его тяготило не просто безделье, и поручик спросил напрямик:

— Жалеете, что не ушли с болгарами?

— Жалею, что приехал в Сербию. А впрочем, неверно, я ни о чем не жалею, Олексин.

— Вот это вас и мучает.

Отвиновский промолчал, привычно усмехнувшись. Потом спросил вдруг:

— Вы женаты, Олексин?

— Нет. Почему вы спросили об этом?

— Потому что тоже не женат. А это глупо.

— Что же глупого?

— Глупо, когда человеку некуда спешить.

— По-вашему, спешат только к женщине? — спросил Совримович.

— Только к женщине, — убежденно сказал Отвиновский. — Все остальное — выдумки, в которые мы почему-то так часто верим. А женщина — реальность, господа. Единственная реальность, к которой стоит торопиться.

— У вас есть семья, родные? — спросил, помолчав, Совримович.

— Таким тоном обычно разговаривают с больным, — опять усмехнулся Отвиновский. — Утолю ваше любопытство одним словом: были. А это означает, что мне не только некуда торопиться, но и некуда возвращаться. В этом смысле я идеальный солдат: мне нечего терять.

— И когда закончится эта война, вы поедете на

другую? — спросил Олексин. — Право, жаль, что вы не ушли с болгарами.

— Знаете, Отвиновский, я увезу вас с собой, — решительно сказал Совримович. — Да, да, не спорьте: нехорошо, когда человеку некуда возвращаться. У меня есть небольшое имение на Волыни, матушка и прелестная кузина. Я выйду в отставку, и мы прекрасно заживем вчетвером. А Олексин будет наезжать в гости.

— Благодарю, друг. Я запомню ваши слова и — кто знает! — может быть, и постучусь однажды в сумерки. Когда-нибудь. Когда пойму.

— Что поймете? — спросил поручик, зевнув.

— Когда пойму, для чего меня убивали и для чего я убивал сам. Рано или поздно человек должен дать себе полный отчет. Особенно если он занимается этим ремеслом с четырнадцати лет. — Отвиновский натянуто улыбнулся. — Мы хорошо шутим, господа, не правда ли? А все от безделья.

Он сухо поклонился и вышел поспешнее, чем требовалось. Совримович вздохнул:

— Знаете, Олексин, мне жаль нашего поляка. По-моему, он очень несчастлив.

— Он был бы куда приятнее, если бы меньше бравировал своей несчастливостью, — неприми-

римо проворчал поручик. — Что-то в нем есть неистребимо шляхетское: что бы он ни говорил, я все время слышу звон шпор и бряцание сабли.

Утром их разбудил адъютант Яковлича, красивый улыбчивый мальчик. Он редко покидал своего командира, никогда не появлялся на позициях, и офицеры переглянулись.

— Господин майор просит пожаловать к себе господ русских офицеров.

Майор Яковлич, вопреки обыкновению, принимал не в тесном прокуренном шалаше, а на поляне. И это обстоятельство, и неуклюжая старательность в одежде майора, и нелепая сабля, за которую он то и дело цеплялся, — все удивляло и настораживало. Но самым удивительным был неожиданный приезд штабс-капитана Истомина.

— Важные новости, господа, весьма важные.

— Господа русские офицеры, — тусклым голосом начал Яковлич, когда все выстроились на краю поляны. — Сербский народ переживает великое историческое событие. В кровавой борьбе с турками наступил новый этап. А так как народ в Сербии составляет войско, которым вы командуете, то мы просим вас присоединиться ко всенародному желанию и разъяснить его зна-

чение подчиненным.

— Позвольте, какое желание? — громко спросил Тюрберт. — Нельзя ли попроще, господин майор?

Яковлич сонно глянул на щеголеватого артиллериста, вяло пожевал толстыми губами.

— Сербский народ выразил единодушное желание провозгласить князя Милана королем Сербии. Этим актом мы решительно сбрасываем турецкое иго и объявляем войну султану как самостоятельное суверенное государство. С момента возложения короны на голову короля Милана мы уже не повстанцы, а самостоятельное европейское государство, находящееся в состоянии войны с Османской империей.

— Вот и конец перемирию, — шепнул Брянов Олексину. — Ай да Хорватович!

— По-вашему, он лично уговорил Милана короноваться?

— Нет, конечно, это устроила военная партия, Хорватович только подтолкнул нерешительных. Но каков камуфлет, а? Мы больше не повстанцы… Раз они не повстанцы, то и мы не волонтеры, а наемники сербской короны. Вам хочется быть наемником, Олексин?

— Господа, что за разговоры? — призвал к по-

рядку Истомин.

— Разделяют ли русские офицеры единодушное желание сербского народа провозгласить князя Милана королем Сербии? — громко спросил Яковлич.

— А нам-то что за дело? — вдруг резко крикнул Брянов. — Мы ехали помогать сербскому народу в войне с турками, а не сажать на престол королей!

— Господа, господа, нельзя же так! — всполошился майор.

— Капитан Брянов шутит, господин майор, — натянуто улыбаясь, пояснил Истомин. — Он шутил в России с либералами, шутил в Бухаресте с болгарской эмиграцией и пытается шутить сейчас. А шутить как раз и не следует, потому что русское командование, которое я здесь имею честь представлять, поддерживает единодушное желание сербского народа и надеется, что все русские офицеры разделяют эту точку зрения.

— Что до меня, то мне как-то все равно, — ворчливо заметил Тюрберт. — Королем так королем. Лучше скажите, когда начнем стрелять?

— Перестаньте, Тюрберт, это все достаточно серьезно, — поморщился Истомин. — Вам надлежит разъяснить своим подчиненным значение

этого важнейшего политического акта и добиться их поддержки.

— Ура, господа, — насмешливо улыбнулся Совримович.

— Ура! — неожиданно звонко заорал адъютант Яковлича. — Живио краль Милан! Живела кралица Наталья!

Возвращались в подавленном настроении: даже ярых монархистов смутила поспешность и несвоевременность этого акта. Только Тюрберт радовался:

— А что, господа, теперь, пожалуй, постреляем?

Рота приняла известие с завидным равнодушием: как сербам, так и волонтерам было безразлично, останется Милан князем или превратится в короля. Лео проворчал неодобрительно:

— Аристократы взяли верх.

Несмотря на то что приказ был исполнен, смутное раздражение не покидало Олексина. Он пытался разобраться, откуда оно, это раздражение, пытался внушить себе, что ему нет ровно никакого дела до внутренней политики сербских заправил, а тем паче до князя Милана, но чем больше он думал об этом, тем все яснее чувствовал, что раздражение это есть просто

обида. Его личная обида за себя и за всех волонтеров, искренний порыв которых был использован в интересах узкой группки людей, ловко воспользовавшихся моментом для своих далеко не бескорыстных целей. А поняв это, уже не мог усидеть на месте — разыскал Совримовича, и они вдвоем отправились к Брянову.

У Брянова сидел Карагеоргиев. Увидев офицеров, он неприятно улыбнулся, не сделав никакой попытки привстать. Капитану их визит тоже не доставил радости, но Олексин не обратил на это внимания, и Совримович напрасно делал ему знаки.

— Присаживайтесь, — суховато сказал Брянов. — Ужинали?

— Да, да, не беспокойтесь, — поспешно забормотал Совримович. — Мы, собственно, чисто случайно. На минуту. Не знали, что вы заняты.

— Вы знакомы с господином Карагеоргиевым, и, полагаю, этого достаточно.

— Господин Карагеоргиев не любит русских, — сказал Гавриил, садясь напротив болгарина. — Но, кажется, не всех?

Карагеоргиев еще раз улыбнулся и промолчал. Брянов постоял, поочередно посмотрев на каждого гостя, пошел в угол.

— Ну, вина мы все же выпьем. — Он достал бутыль. — Не давиться же нам взаимными колкостями, правда?

Он принес кружки, разлил вино. Карагеоргиев по-прежнему помалкивал, натянуто улыбаясь.

— Почему вы не ушли с Меченым? — спросил Олексин, мало заботясь о тоне.

— Я не разбойник, господин ротный командир.

— Оставим формальности для строя. Вы не находите, что ваше объяснение носит отчетливый турецкий акцент?

— Простите, не понял.

— Обычно болгарских повстанцев называют разбойниками либо турки, либо их прислужники.

— И в данном случае они правы.

— Вы оскорбляете моего друга, — нахмурился поручик. — Не забывайтесь, Карагеоргиев.

— Господа, господа! — засуетился Совримович.

Брянов слушал молча, изредка поглядывая на Олексина.

— Вам известна программа Стойчо Меченого? — спросил Карагеоргиев, помолчав.

— Нет. — Гавриил интуитивно почувствовал подвох в этом вопросе. — Просто мы не говорили об этом.

— Она осталась бы неизвестной, даже если бы вы и говорили, — спокойно сказал болгарин. — Дело в том, что ее попросту нет. Меченый мстит, и только.

— Месть — святое дело, — осторожно вставил Совримович.

— Возможно. Но всегда личное, а потому и антиобщественное. Гайдук мстит народу, а не злодею, мстит, сам верша суд и расправу. Справедливо это?

Олексин опять вспомнил о словах Миллье: и недобрый Карагеоргиев тоже говорил о справедливости. Все вокруг говорили о справедливости, ссылались на нее, жаждали ее, мечтали о ней и умирали за нее, но каждый понимал ее по-своему.

— Болгарский народ не поддерживает военных авантюр против османов, это доказано историей. Из апрельского урока надо было извлечь выводы, а Меченый извлек ненависть. Одну слепую ненависть к туркам.

— Может быть, из этой искры возгорится пламя? — опять осторожно спросил Совримович.

— Для того чтобы возгорелось пламя, важны не столько искры, сколько горючий материал — вот единственно правильный вывод. Болгарии

нужны апостолы, а не воины, нужна пропаганда, а не жертвенные бои.

— Однако вы почему-то оказались в Сербии, господин апостол, — заметил поручик.

Карагеоргиев промолчал, выразительно, как показалось Олексину, посмотрев при этом на Брянова. И капитан сразу поднял кружку:

— Выпьем, господа, и поговорим о чем-нибудь веселом. Как там говорил наш друг Тюрберт, поручик? О стрельбе картечью при конной атаке — так, кажется?

— Это мне напоминает игру «а вы любите брюнеток, господа?», — невесело усмехнулся Гавриил. — Здесь все считают меня несмышленышем. Все! А я думаю о князе Милане и о всей этой странной затее с коронованием. Затее, при которой — у меня такое ощущение, ничего не могу поделать — всех русских волонтеров сочли за стадо баранов, годное лишь на убой. Ну да бог с ними, с интригами и дракой за кусок пирога, но вы-то зачем хитрите, господа? Не доверяете — скажите, мы уйдем без обиды.

— Вы не в стане заговорщиков, Олексин, — нахмурившись, сказал Брянов. — А то, что Карагеоргиев не считает нужным говорить, это его право. Поверьте на слово.

— Мы верим, верим! — поспешно согласился Совримович. — Не правда ли, Олексин?

— Правда. К сожалению, мы куда чаще верим, чем веруем. Верим в призывы трибунов, в необходимость помощи, в собственную искренность и в искренность друзей. А надо веровать. Веровать! Во что-то надо же веровать, надо, надо! — Поручик вдруг вскочил, щелкнул каблуками. — Извините, господа, что нарушил беседу. У меня две дурные привычки: не вовремя приходить и не вовремя уходить. Честь имею. Вы идете, Совримович?

И вышел из шалаша, не дожидаясь ответа.

2

— Наступление, господа, только победоносное наступление может положить достойный конец этой войне, — говорил Хорватович, расхаживая перед офицерами. — Теперь, когда наша несчастная родина переживает исторический момент, мы обязаны нанести противнику сокрушительный удар. Теперь или никогда!

— Авантюра, — вздохнул Брянов. — Боже мой, очередная авантюра, за которую люди расплатятся жизнями, полагая, что умирают за Сербию.

Мысль эта не давала ему покоя. Дождавшись, когда Хорватович покончил с делами, он испро-

сил разрешение на частную беседу.

— Догадываюсь, с чем пожаловали, капитан, — сказал Хорватович, встретив Брянова у порога. — Надеюсь на вашу прямоту и обещаю быть откровенным. Я искренне уважаю русских волонтеров, начиная с генерала Черняева и кончая последним казаком.

— Вы помянули Черняева, я не ослышался, господин полковник?

— Генерал Черняев есть первый русский командир на сербской земле, и Сербия никогда не забудет, кому она обязана своими победами в этой войне.

— И поражениями?

— Это сложный вопрос, капитан. Сербский народ отважен и смел, но он не имеет боевого опыта, даже опыта восстаний, которым, к примеру, обладают болгары. Наше последнее восстание относится к тысяча восемьсот пятнадцатому году: сегодня воюют внуки тех, кто когда-то сражался с турками. Могу ли я винить Черняева, что сербская армия не выдержала ударов регулярных турецких войск?

— Так зачем же… зачем же вы хотите бросить ее в бой сейчас?

— Считаете меня авантюристом?

Брянов промолчал. Хорватович усмехнулся:

— Значит, считаете. А этот авантюрист думает о Сербии завтрашней. Думает о том, что Сербия — лакомый кусок не только для османов, и, если у нее не будет сильной армии, ее проглотят, как устрицу, те же австрийские Габсбурги. Подождите, капитан, я знаю, что вы хотите сказать, но сначала подумайте. Армия зреет в бою и только в бою, это аксиома. А турки сознательно разлагают мои войска. Разлагают бездействием, разлагают тем, что не берут сербов в плен, а отпускают домой, разлагают, сея раздор между сербами и волонтерами, разлагают мирными разговорами, торговлей, теми же беседами в саду на вашем участке. Разве не так, Брянов?

— И поэтому вы внушили князю Милану желание короноваться?

Хорватович рассмеялся. Он был жизнелюбив, звонок, подвижен, всегда смеялся от души, и Брянов невольно улыбнулся, хотя ему было совсем не весело.

— Ну, до короны ему еще далеко! Князь Милан не из когорты решительных, таким нужен либо кнут, либо пряник. Я не поклонник монархии, но обещание, которое мы дали князю, было необходимостью. Турецкие резервы остановили свое

продвижение в глубь Сербии, и у нас появился шанс. Мы обязаны возродить боевой дух в армии, капитан, обязаны перед завтрашним днем сербского народа. И потому — наступление. Только наступление!

— Жертвовать людьми… — начал было Брянов.

— Это приказ, капитан. — В голосе Хорватовича уже не слышалось мягкости. — Извольте исполнять не рассуждая.

Наступление было назначено на 14 сентября, но с ночи пошел проливной дождь — и атаку отложили на сутки. По плану бригада Медведовского, усиленная подошедшими резервами, должна была наступать на правом фланге, прорвать турецкие укрепления и зайти им в тыл. Для отвлечения противника корпус Хорватовича на первом этапе вел сковывающую стрельбу и демонстрировал готовность к бою; после захода Медведовского с тыла корпус переходил в решительную атаку, имея конечной целью захват господствующей высоты со всей артиллерией противника.

С двух часов утра 16-го корпус пришел в движение. Атакующие роты скрытно выдвигались вперед, резервные отводились назад; эта рокировка, затеянная в темноте в целях секретности,

запутала не столько турок, сколько собственные войска: части перемещались в места незнакомые, не было карт, не хватало проводников. Роты выходили с запозданием, прибывали не туда, куда следует, перемешивались, теснили друг друга и к рассвету так и не закончили перемещений. Усталые, всю ночь лазавшие с горы на гору солдаты ворчали, офицеры ругались, яростно обвиняя друг друга в неразберихе; от желания атаковать и сбить неприятеля уже не осталось и следа.

Батальон Брянова был выдвинут вперед, в долину, в брошенный сад, где еще совсем недавно шумел веселый международный базар. Местность была знакомой, роты быстро и скрытно заняли ее, но при этом боевые порядки уплотнились, и Брянов отвел Олексина назад.

— Будете в резерве, поручик.

После той вечерней беседы вчетвером — беседы, в которой ничего не родилось, кроме недоверия и странной настороженности, — они почти не встречались, а встречаясь, не разговаривали: оба были обидчивы и не любили выяснять отношений. Совримович пытался примирить их, ходил к Брянову, разговаривал с Олексиным, но ничего пока не добился.

— Что вы, Совримович, у нас прекрасные от-

ношения с капитаном! — улыбаясь, заверял поручик.

Но отношения оставались натянутыми, и приказ о резерве Гавриил воспринял как очередной акт недоверия. Усмехнулся, но промолчал, помня о дисциплине и предстоящем сражении.

Рота располагалась в заросшей кустарником лощине, сырой и узкой. Поначалу Олексин воспротивился предложению Отвиновского, разыскавшего эту укромную лощинку, поскольку хотел наблюдать бой, быть на виду и вообще доказать Брянову свое полное пренебрежение опасностью, но Отвиновский проворчал неодобрительно:

— А при чем здесь наши люди, поручик? Рискуйте сами, если пришла охота.

Стрелковые части уже продвинулись к противнику на ружейный выстрел и завязали огневой бой. Турки отвечали дружными залпами из всех ложементов, артиллерия в сражение еще не вступала, но все вокруг было наполнено неумолчной винтовочной трескотней. Ветер дул в сторону сербских позиций, и пороховой дым сползал в лощину.

— А пушки молчат, господа, — с тревогой отмечал Совримович. — Мне не нравится, что они

молчат.

Гавриилу тоже не нравилось, что турецкая артиллерия не открывала огня: это означало, что Медведовский почему-то медлит с атакой, что время идет, бой затягивается, а продвижения нет. Бездеятельное сидение в резерве раздражало и утомляло полной неизвестностью. Накануне все офицеры долго беседовали с войниками, сумели внушить им мысль о хорошей и продуманной подготовке наступления, о резервах, которые уже подходят, о внезапности удара и значимости предстоящей операции. Сербы рвались в бой как никогда, и вот теперь весь этот азарт, все накопленное мужество растрачивалось в пустой перестрелке цепей и в тупом ожидании здесь, в лощине.

Солнце уже поднялось, когда со стороны турок донесся первый артиллерийский залп. Пушки били куда-то в сторону от них, по правому флангу, били настойчиво, из всех калибров. И сразу же Тюрберт, определив турецкие батареи, открыл огонь, начиная артиллерийскую дуэль.

— Это Медведовский! — крикнул Олексин, вскочив. — Только почему же так поздно?

Медведовскому не повезло с самого начала, и виной тому была его кавалергардская спесь:

вместо того чтобы провести тщательную разведку местности, он ограничился визуальным определением направления атаки, завел бригаду в болото, где лошади завязли по колено, был вынужден спешиться и атаковать в пешем строю. Непривычные к таким атакам казаки лезли смело, но бестолково и нерасчетливо; подпустив их ближе, турки картечью смели первую цепь, отбросили вторую назад в болото и теперь методически добивали артиллерийским огнем.

Сражение было проиграно в самом начале, но никто не хотел этого понимать. Следовало немедленно отвести части, перегруппировать их и начинать наступление уже без учета несостоявшегося флангового прорыва кавалерии. Следовало, но никто не отдал соответствующих распоряжений, и сражение развивалось так, будто ничего не изменилось в планах атакующих, хотя изменилось самое главное: теперь уже не корпус Хорватовича выполнял роль сковывающей группы, а бригада Медведовского исполняла эту роль. Бой перевернулся с ног на голову.

— Трубить атаку! — приказал Хорватович.

Призывные звуки труб прорвались сквозь артиллерийскую канонаду и ружейную трескотню. Повинуясь сигналу, командиры батальонов

отдали приказы, офицеры обнажили сабли; нестройные цепи атакующих выкатились из укрытий на узкую полосу ничейной земли и побежали к турецким укреплениям, тремя ярусами ружейных ложементов опоясавшим противоположную гору.

— Вперед, ребята! — кричал Брянов, размахивая саблей. — Не ложись, только не ложись! Вперед!

Его войники, задыхаясь, уже лезли на еще не просохшие, осклизлые глинистые откосы турецких укреплений. Лезли молча, остервенело, в едином порыве, все еще веря в то, что вот-вот за спинами аскеров раздастся мощное казачье «ура», противник прекратит сопротивление и ударится в паническое бегство. Передовые уже перевалили за брустверы, сваливаясь на головы турок и яростно работая штыками и прикладами. Ружейный огонь сразу стих; турки из передовых ложементов стали откатываться назад, привычно не принимая рукопашного боя в траншеях.

Тюрберт, махнув рукой на турецкие батареи, уже азартно и точно громил верхние ярусы укреплений, не давая туркам возможности перейти в контратаку. Он стоял возле своих орудий в расстегнутом мундире и, не отрывая глаз от бинокля, сорванным голосом отдавал команды, привычно

балагуря и не стесняясь в шутках:

— Точнее наводи, молодцы: на нас сейчас все девки смотрят! Кто видит, что левее турки бегут? Наводи им в задницы, не давай опомниться! На все жалованье винища куплю: пушки в нем мыть будете.

Начиная атаку, Брянов уповал только на чудо, и чудо произошло. Точный огонь Тюрберта смял турок, на какое-то время посеяв панику, и роты на последнем дыхании ворвались на вершину. Турецкие артиллеристы бежали, частью увезя, частью побросав орудия. Брянов захватил две годные пушки и немного снарядов.

— Роту Олексина сюда! Живо!

Поручик привел роту бегом и без отставших: Захар бежал сзади, подзатыльниками подгоняя самых ленивых. Поручик остановил колонну, скупо доложил.

— Прекрасно, Олексин, вот вам задача: выбить турок с левого пригорка, занять его и удерживать мой фланг во что бы то ни стало. Я вызову Тюрберта: здесь есть годные орудия. В случае, если турки вздумают контратаковать, он вас поддержит огнем. Вопросы есть?

— Нет.

— Исполняйте, Олексин. Нам повезло, чудо как

повезло, и теперь надо удержать это везенье.

Рота Олексина заняла соседнюю высоту без боя: турки уже отошли. Но пока он спускался в седловину, пока поднимался в гору по крутым, заросшим колючим кустарником склонам, в батальоне Брянова произошли события, о которых поручик не знал и которые поставили его роту в положение сложное и опасное.

Тотчас по его уходе в батальон явился штабс-капитан Истомин. Поскольку штабс-капитан был полномочным представителем главного штаба, Брянов отрапортовал ему о занятии горы и о захвате пушек, не вдаваясь в особые подробности и ничего не сообщив о маневре роты Олексина.

— Вам надлежит явиться к полковнику Хорватовичу, капитан. И без промедления.

— Надолго?

— Надеюсь, что нет.

— Кому передать батальон?

— До вашего возвращения командиром останусь я.

— Отправьте солдата к Тюрберту, чтобы прислал артиллеристов, — сказал, уходя, Брянов. — Я беспокоюсь за левый фланг.

Истомин послал к артиллеристам русского волонтера. Но Тюрберт не стал особо выслуши-

вать его.

— На хрена мне менять пристрелянную позицию?

— Капитан Брянов просит хотя бы наводчиков, господин поручик.

— Пусть он просит их в штабе, у меня и так некомплект. Все советуют, все командуют, все просят! Что вы здесь торчите? Идите в штаб.

— Я не уполномочен.

— Ну так доложите своему командиру, что его просьбу я исполнить не могу.

Связной отправился было искать Брянова, но не нашел его: капитан уже миновал позиции. Волонтер добрался до батальона, доложил Истомину, но штабс-капитан лишь выразительно пожал плечами.

А в палатке Хорватовича оказался полковник Монтеверде. Увидев вошедшего Брянова, он встал, выслушал рапорт, молча указал на стул. Когда капитан сел, походил рядом, хрустнул пальцами.

— У вас есть семья, капитан?

— Нет. — Брянов испуганно глянул на него. — На моем попечении сестра. Что-нибудь случилось?

— Нет, но не поручусь за дальнейшее. — Монтеверде остановился перед ним, заложив руки

за спину и покачиваясь с пяток на носки. — Вы неисправимы, Брянов.

— Поясните вашу мысль, господин полковник.

— У вас были связи с тайными обществами бунтовщиков, замышлявших дела антигосударственные. Вас простили и даже разрешили вам выезд за пределы отечества, полагая, что вы действительно стремитесь принести пользу православному делу. В Бухаресте вы опять связались с элементами противомонархическими, посещали их сходки, читали их листки. И прибыв сюда, в действующую армию, вы с упорством фанатика окружаете себя теми, кому место в крепости или в Сибири, изгоняя преданных престолу и отечеству.

— Господин полковник, идет бой. Мой батальон занял господствующую высоту, захватив при этом пушки противника.

— Никто не отрицает ваших боевых качеств и личной отваги, капитан. Полагаю, что за сегодняшнее дело вы будете представлены к награде.

— Благодарю, господин полковник. Я упомянул об этом для того лишь, чтобы просить вас отложить этот разговор и разрешить мне вернуться на передовую.

— К сожалению, это невозможно, Брянов, —

вздохнул Монтеверде. — Я получил личный приказ Черняева доставить вас к нему. Никакие особые условия в этом приказе не оговорены, и поэтому вы тотчас же выедете со мной в штаб.

— Но, господин полковник, хотя бы объясните, чем вызвана эта спешка? Снять боевого офицера с командования частью в разгар сражения — согласитесь, случай экстраординарный, и я имею право на разъяснение.

Монтеверде долго молчал, раскачиваясь на носках и изредка похрустывая пальцами. Потом сказал нехотя:

— Вы хороший офицер, но плохой политик, Брянов. Однако я верю в вас, вы лично мне симпатичны, и я скажу то, что говорить не следовало бы. Полковник Устинов, что был у вас командиром роты, — сослуживец генерала Черняева.

— Значит, эта пьяная свинья… — Брянов усмехнулся, покачал головой.

— Остальное вы узнаете у самого генерала. Лошади ждут, капитан.

3

К вечеру бой стал затихать. Стрелки израсходовали боеприпасы, коморджии не справлялись с доставкой патронов; стрельба делалась все реже,

а затем и прекратилась. Хорватович больше не атаковал, поняв наконец, что сражение проиграно, и решив возобновить его на следующее утро, за ночь выведя из боя Медведовского и поставив ему новую задачу. Единственным реальным результатом многочасовой стрельбы и топтания на месте был прорыв батальона Брянова и захват турецкой батареи. Остальные батальоны продвинулись мало либо не продвинулись совсем; их не имело смысла держать на временных рубежах, и командование корпуса отвело все части на прежние позиции. Все, кроме бряновского батальона и отдельно расположенной роты Олексина: в сумятице новых перемещений об этой роте просто-напросто забыли.

— Слава богу, темнеет, — сказал Совримович. — До утра можем не беспокоиться: ночью турки не полезут.

— А если полезут? — спросил Отвиновский.

— Ночью они не воюют. Коран не позволяет.

— Какой там Коран, когда Хорватович провалился с атакой! — усмехнулся Отвиновский. — Самое время ответить ударом.

— Вот перейдете к ним и будете командовать по-своему, — желчно пошутил Олексин.

— Да, уж такого случая я не упущу.

На ночь поручик выставил усиленные секреты, приказав остальным спать. Измотанные пустым ожиданием, солдаты, поужинав всухомятку, тут же и завалились, но командиру не спалось. Он понимал, что Отвиновский прав: лучшего времени для контратаки, чем эта ночь, нельзя было себе представить. Он запретил жечь костры, чтобы не объявлять о себе до времени, и теперь мерз в шинели, заботливо прихваченной Захаром. Сидел, привалившись спиной к дереву, думал о войне, но думал так, будто война эта уже прошла, и потому думал с грустью, словно вспоминая и ее, и свой нетерпеливый порыв, и наивные желания что-то сделать, как-то отличиться, кому-то принести пользу. «Кому я хотел принести пользу? Кому? — с горечью думал он. — Кому нужны наши жертвы, когда даже Хорватович — даже Хорватович! — вынужден тратить столько сил не на благо родины, а лишь для укрепления своего влияния и положения. Даже Хорватович, бесспорно самый талантливый и яркий из тех, кого я встречал в Сербии…»

Продрогнув окончательно, он решил пройтись, а заодно и проверить секреты. Совримович спал, поеживаясь от ночной свежести, и Олексин не стал его будить. Растолкал Захара, шепотом

объяснил, куда и зачем идет, и шагнул в кусты, осторожно ставя ногу, чтобы не наступить на кого-либо из спавших вповалку войников.

В секретах не спали, а если и подремывали, то по очереди. В одном месте Олексина чуть не обстреляли — в темноте до окрика клацнул затвор, — но в целом обходом поручик был доволен и даже приободрился, согревшись и поверив в своих людей. Все ощущали близость врага, предчувствовали завтрашний бой, и от прежней мирной безмятежности не осталось и следа.

— Стой, кто идет?

— Свой. Поручик Олексин.

Окликнули по-сербски, но Гавриил понял, что окликал не серб. Шагнул ближе, вгляделся в поднявшегося из-под куста волонтера.

— Вы, Карагеоргиев?

— Не сплю, — вместо того чтобы представиться, сказал Карагеоргиев. — Напарник спит, через час разбужу. Если не возражаете.

— Пусть отдохнет. — Гавриил сел рядом, спустив ноги в отрытую тут, под кустом, ячейку. — Что турки?

— Угомонились. С вечера жгли костры, кричали «алла!». Довольно воодушевленно.

— Значит, с рассветом ударят.

Карагеоргиев промолчал. Поручик посмотрел на его размытое темнотой лицо, подумал, покусывая прутик.

— Кому вы хотели помочь, Карагеоргиев? Как вы оказались в Сербии, зачем оказались, почему? Конечно, вы опять можете мне не ответить, это ваше дело. Но я спрашиваю без задней мысли: сегодня я задал этот вопрос себе и… и не смог ответить.

— Не смогли ответить за меня или за себя?

— За себя.

— Хотите, чтобы это сделал я?

Гавриил не видел, но чувствовал, что Карагеоргиев насмешливо улыбнулся.

— Сделайте милость, — сухо сказал поручик.

Его оскорбила явная издевка волонтера, и от прежнего желания говорить уже ничего не осталось.

— Итак, кто я, зачем и почему? Попробую объяснить, хотя… хотя и ни к чему нам эти откровенности. Рано или поздно человек должен знать ответ на эти вопросы, если он человек. Так вот, поручик, я хочу свободы. Свободы не для себя, заметьте, ибо свобода для себя есть высшее проявление самодовольного эгоцентризма, а свободы для всех, и прежде всего для моей родины.

Во имя этой свободы я всеми силами помогал Левскому, добывал оружие и деньги, налаживал связь, писал, убеждал и спорил. Во имя этой свободы я умолял Ботева отказаться от его наивной попытки всколыхнуть Болгарию триумфальным маршем одного отряда. Он отказался, и я не пошел с ним, о чем жалею и буду жалеть. Нелогично? Возможно, но я высоко ценил этого человека и искренне хотел бы разделить с ним его судьбу. Во имя этой свободы я приехал сюда, в Сербию, с мечтой собрать болгарский корпус, сплотить его в боях, вооружить, обучить и на его основе создать костяк будущей болгарской народной армии. Меня не захотели слушать, болгарских волонтеров разбросали по разным частям, и я ничего не смог сделать. Как видите, у нас с вами разные цели, поручик, и ваши иллюзии мне, извините, смешны.

— То, что вы называете иллюзиями, есть чувство, непонятное вам, Карагеоргиев. Да, да, непонятное. Вы для этого слишком отравлены. Отравлены рационализмом, длительной эмиграцией, социальными фантазиями.

— А если отравлены вы, а не я? Представьте хоть на мгновение, что все то, что вы перечислили, не отрава, а лекарство. А отрава как раз в обрат-

ном: в рабской привязанности к своему образу жизни, в рабской покорности своим правителям, в рабском следовании идеям, спускаемым из правительственных канцелярий. Идеям, рекомендованным к насаждению в умы и высочайше утвержденным монаршей рукой. Вы же разумный и мыслящий человек, так представьте хоть раз в жизни, что все ваши идеалы относительны, что есть иные идеалы, основанные не на слепом подчинении раба, а на свободном убеждении свободного человека. И тогда спросите себя: зачем вы здесь?

— И что же я отвечу?

— Вы здесь потому, что вас послали. Приказ можно отдать перед строем, а можно и внушить. Вам внушили, что сербам нужна помощь, что православие умоляет вас о жертве, и вы с энтузиазмом помчались в эту страну, полагая, что исполняете свою волю, а на самом-то деле покорно исполняя чужую.

— Вздор, Карагеоргиев! Я исполнял свою волю, я еще не сошел с ума, я…

— А откуда же тогда вопросы, поручик? — тихо спросил Карагеоргиев, и Гавриил сразу замолчал. — У человека, поступающего в согласии с собственной волей, вопросов нет. Вопросы воз-

никают тогда, когда ваша личная воля приходит в столкновение с волей, вам навязанной; помните такое учение? У меня, например, вопросов нет: я точно знаю, что я ненавижу. Я ненавижу государственный строй, направленный на подавление личной воли человека, и самодержавие как образец этого строя. Я ненавижу людей, воспринимающих это подавление с восторгом и умилением, называя его патриотическим чувством. Я ненавижу, наконец, романтиков типа нашего Стойчо Меченого, подменившего борьбу за людей борьбой против людей. Ненавижу, не скрывая этого, и в этом мое преимущество перед вами и вам подобными, поручик.

Только потом Олексин вспомнил, что Карагеоргиев так и не сказал, что же он любит. Не сказал не потому, что стеснялся, а потому, что ничего не любил. Ничего. Он умел лишь ненавидеть и потому с легкостью обвинял в этом других.

Вернувшись, поручик разбудил Совримовича, рассказал про турецкие костры и крики, но о Карагеоргиеве распространяться не стал. Прилег подремать, хотел о чем-то подумать — о чем, он и сам теперь толком не знал, а просто хотел думать, — но пригрелся и вскоре уснул спокойным, молодым сном.

Проснулся от ружейного залпа. Сбросил шинель с головы, сел, соображая. Ударил второй залп, и началась стрельба по всему лесу — уже не залпами, а лихорадочными и неприцельными одиночными выстрелами, — и поручик сразу вскочил, поняв, что рота его яростно отстреливается от наседающих турок.

Рядом никого не было. Поручик, торопясь, прицепил саблю и шумно побежал на опушку, откуда слышалась стрельба и где ночью он выслушивал злые нотации Карагеоргиева. Он не успел добежать до стрелков, когда впереди послышались шаги спешивших и оступавшихся людей, которые тащили что-то тяжелое и неудобное для носки. Кусты перед ним раздались, и четверо солдат, семеня, выбежали навстречу, волоча по подлеску раненого на окровавленной грязной шинели.

— Стой! — крикнул Олексин, еще издали увидев мотающуюся из стороны в сторону цыганскую бороду раненого. — Что с вами?

— Не уберегся, — виновато сказал Совримович, кусая побелевшие губы. — Турки открыто шли, не знали, видимо, что мы на горе. Я подпустил на тридцать шагов, встретил залпом.

— Куда вас?

— В бок, не повезло. Пошлите кого-нибудь к Брянову, Олексин. Без помощи недолго продержимся.

Поручик посмотрел на носильщиков: трое были сербы, четвертый — красноролжий, с бородой веником — русский.

— Как тебя?

— Валибеда, ваше благородие!

— Беги к капитану Брянову. Доложишь о турках, попросишь помощи и… врача. Обязательно пусть пришлют врача.

— Слушаюсь!

Валибеда тут же кинулся к откосу, ломая кусты. Приказ идти в батальон он явно воспринял как отпуск в тыл, обрадовался этому и очень старался.

— Какой там врач, Олексин, — со стоном поморщился Совримович. — Откуда у Брянова врач?

— Мужайтесь, друг. — Поручик встал на колено, пожал бессильно лежавшую поверх груди руку. — Вас перевязали?

— Захар постарался. Пуля внутри, вот скверно.

— Мужайтесь, — еще раз повторил Гавриил, вставая. — Несите.

Сербы дружно взялись за шинель, подняли отяжелевшее тело, понесли, путаясь ногами и

спотыкаясь. Совримович болезненно охнул.

— Осторожнее! — крикнул Олексин.

Он вдруг подумал, что Совримович непременно умрет, испугался этой мысли, попытался заслонить ее другими, очень важными сейчас: о роте, о повторном приступе турок, о том, хватит ли патронов, пока придет помощь. Он задавил, загнал эту мысль в глубину сознания, но она так и осталась в нем, и он знал, что она осталась, и от этого ему было горько.

4

В Ясной Поляне все устроилось. Тот неприятный разговор, что завел Лев Николаевич, уходя, больше не возобновлялся, а вскоре Софья Андреевна познакомилась с Екатериной Павловной, отнеслась к ее положению с полным пониманием, и Олексины, недолго пожив в деревне, перебрались во флигель. Однако Василий Иванович не забыл тех графских слов, долго носил их в себе, по-отцовски лелея обиду, а потом, набравшись духу, выпалил все Толстому с чисто олексинским холерическим раздражением.

— Я так говорил? — изумился Лев Николаевич. — Полноте вам, Василий Иванович.

— Лев Николаевич, этим удивлением вы вы-

нуждаете меня либо сознаться в заведомой лжи, либо покинуть ваш дом, — надуто сказал Олексин, непроизвольно выпрямляя спину. — Тому свидетелем мой брат Федор. Извольте, я приглашу его, но после этого уж… как мне ни неприятно… но позволить даже вам, глубоко чтимому мною…

Василий Иванович забормотал совсем уж что-то несусветно обиженное. Толстой слушал его, пряча в бороду улыбку, но весело блестя глазами.

— Ай, какое дитя, — сказал он, ласково тронув Олексина за руку. — Большое бородатое дитя. Извините вы меня, бога ради, Василий Иванович, я ведь и вправду запамятовал, что говорил тогда. Теперь припомнил, но мне скорее смешно, чем стыдно.

— Конечно, вашему сиятельству это может показаться смешным…

— Да полноте, полноте, дорогой Василий Иванович! — добродушно улыбнулся граф. — Я ведь над собой смеюсь, а не над вами. Знаете отчего? Оттого что сидит в нас, в каждом человеке, какая-то пружиночка. Как в музыкальной шкатулке. Не сознаемся мы в ней, а она нет-нет да и соскочит, да и заиграет свое. И тогда умный вдруг глупости говорит, щедрый грязную ассигнацию из сточной

канавы поднимет, злой убогого обласкает или еще как. Поди, и у вас такое бывало?

Олексин обиженно молчал. Толстой, улыбаясь, погладил бороду, наклонился, опять тронул за руку.

— А за «сиятельство» я штраф объявлю, так и знайте, Василий Иванович!

Василий Иванович хотел ответить очередной резкостью, но глянул в веселые глаза и облегченно рассмеялся.

— Ну вот и хорошо, вот и поладили, — удовлетворенно сказал Толстой. — А полюбопытствовать себе все же позволю, коли предмета этого коснулись. Церковный брак вы тоже отвергаете? Уж если Бога отвергли, церковь отвергли, то и брак тоже?

— Отверг, — сухо подтвердил Василий Иванович.

Толстой уловил эту подчеркнутую сухость и тут же изменил разговор. Олексин слушал его, поддакивал, вставляя замечания, а думал совсем о другом. И думал мучительно, истязая себя, как только он мог истязать.

Обладая завидным свойством безоглядно влюбляться как в идеи, так и, в особенности, в людей, Василий Иванович стал замечать, что его отно-

шения с Толстым начинают приобретать оттенок неравенства. Олексин терял способность критически воспринимать то, что излагал хозяин Ясной Поляны, что он писал и, главное, что проповедовал. Все было бы естественно и просто, если бы неравенство существовало лишь в сферах возвышенных, но оно существовало не только там, оно было данностью, реальностью жизни, это неравенство сословное и имущественное, разводившее их не на позиции кумира и поклонника, а на куда более земные позиции сиятельного хозяина поместья и нищего домашнего учителя. И, втайне все более восторгаясь Толстым, Василий Иванович до ужаса боялся, что это его почтение, этот трепет перед могучим талантом кем-то может быть истолкован житейским раболепием слабого перед сильным.

— Нет, это невозможно, невозможно! — говорил он, суетливо бегая по комнате и теребя бородку. — Если бы я был независим, Господи, да я бы двор его почел бы за счастье мести! Я бы путь его каждое утро цветами устилал: ходи, могучий дух России! Но я же не могу, не смею! Ведь что увидят, Катенька, что? Что я лишнюю пятерку вымаливаю? Чаек у Софьи Андреевны? Милостыньку? Нет, нет, уходить надо, уходить. Уйти

и боготворить издалека. Боготворите издалека кумиров ваших, иначе не поняты будете.

— Кто не поймет-то, Васенька? Люди? Тогда где же смирение твое? Или смирение — только слова, а на деле гордыня дворянская?

Екатерина Павловна разговаривала спокойно: идей рождалось множество, и она уже научилась не растрачиваться впустую. Считала это детством, навеки поселившимся в бородатом идеалисте, любила его и за это, но постепенно, исподволь усвоила с ним тон материнский, не замечая, что тон этот обижает его.

— Не людской молвы я боюсь, Катя. Я боюсь, что он не поймет, что он неверно истолкует мычания мои мучительные, вот чего боюсь!

— Пустое это, Васенька. Лев Николаевич достаточно мудр, чтобы ценить тебя именно таким, каков ты есть.

— Но ведь мысль, сама мысль о возможности мучительна, Катенька! Мысль всегда мучений мучительнее — вот ведь в чем парадокс.

— Это у тебя только. У тебя одного.

— Не верю, не верю. Это людское свойство. Общечеловеческое.

— А Федя?

И Василий Иванович умолкал. Он перестал

понимать младшего брата, утратил влияние на него, был смущен и поколеблен в себе самом, ощутив чувства незнакомые, среди которых страх занимал не последнее место.

Приняв радостное участие в переезде Василия Ивановича с семьей в Ясную Поляну, сам Федор Олексин ехать куда бы то ни было категорически отказался. Устроился на казенный завод — говорил, что учетчиком, — в гости приезжал редко, только по воскресеньям. Был поначалу молчалив, даже подавлен, но в последнее время вдруг резко изменил поведение, усвоив нелепые, оскорбительно развязные манеры. Громко и грубо разговаривал с мужиками, кричал на них, свистел в доме, засовывал руки в карманы и подчеркнуто неприлично вел себя за столом, когда их приглашали к вечернему чаю. В конце концов, уязвленная этим небрежением, Софья Андреевна перестала просить его пожаловать, но он, если случалось приезжать из Тулы, все равно ходил к Толстым уже без всякого приглашения, что было верхом неприличия. Лев Николаевич молчал, с интересом относясь к этому эпатажу, но Василий Иванович страдал и конфузился.

— Федор, ты ведешь себя возмутительно.

— Плевать на авторитеты. Плевать! Их выдума-

ло рабство, а я хочу быть свободным. Свободным! Это мое право. А не нравится — укажите мне на дверь. Укажите, и я уйду. Может быть.

— Уйди, не дожидаясь, Федя, так приличнее. Тебе учиться надо, закончить в университете.

— Рабы! — кричал Федор. — Рабы приличий, положений, традиций, авторитетов — эт цетера, эт цетера! А мне плевать на все, Васька. Плевать! И я твоему сиятельному гению в глаза это выскажу. О равенстве рассуждаете? Врете, ваше сиятельство! Сами-то, сами без оного обходитесь, а посему философия ваша лжива. Проповедник не тот, кто ораторствует, а тот, кто живет по проповедям своим, иначе ложь все. Ложь! Тонем во лжи этой, захлебываемся и без вашей помощи. Так не умножайте ее хотя бы, если на большее не способны!

Пока Федор сокрушал авторитеты с глазу на глаз, Василий Иванович еще мог спорить с ним, упрашивать и увещевать. Но брат явно входил во вкус и рвался к иным аудиториям. Вот этого Олексин уж никак не мог снести, и ожидание скандала было дополнительным мучением его и каждодневным страхом. И не напрасно: Федор обрушился на них субботним вечером, когда Василий Иванович и Толстой мирно обсуждали

Сережины успехи. Бродили по саду, покойно разговаривали и появление Федора встретили в неподготовленной позиции.

Тем более что младший Олексин начал излагать свои сумбуры еще издалека и без всякого повода:

— Рабство! Свобода! Авторитеты! Лжепроповедники!

Лев Николаевич слушал серьезно. Василий Иванович пытался вмешаться, но Федор выкладывал все без пауз и перебить его не удавалось.

— А что же вместо? — тихо спросил Толстой, когда Федор чуть примолк, переводя дух.

— Вместо? Почему вместо? Вместо чего?

— Пустыря вместо? Разрушите — разрушить все можно, — а потом? Пустырь с бурьяном — такова идея?

— Почему же пустырь, почему? — Федор был несколько сбит с толку, и агрессия его пошла на убыль. — Новое построим, новое и прекрасное. На пустыре и строить сподручнее.

— А что строить-то, Федор Иванович? Надо же план иметь про запас, чертежи, идею. Отрицание тогда разумно, когда за ним созидание скрыто. А коли просто так — разрушать, чтобы разрушить, тогда что же потом-то будет? Ну, разрушат му-

жички, вас послушавшись, сожгут, изломают, топорами разнесут: пугачевщина в крови у нас, как хмель вчерашний. Так что же на пожарище этом делать думаете, когда разрушите все и разрушать более уж нечего будет? Что? Храм новый из старых бревен? Ведь вы же на него замахиваетесь, на храм нравственности народной, не на барскую усадьбу. Что же вы в венцы храма этого нового положите, на какие камни его обопрете? Не пошатнулся бы он без устоев-то, Федор Иванович.

Толстой говорил спокойно, даже благожелательно; этот оттенок отеческой благожелательности и выводил Федора из себя. Однако, вопреки обыкновению и страхам Василия Ивановича, грубить хозяину Федор не стал.

— Храм и без нас качается, — тихо сказал он. — Нравственность, говорите? А что это — нравственность? Шестнадцать часов работать — это нравственность? А штрафы — тоже нравственность? А рабочих бить — это как назовем? Да, пьют они, облик человеческий теряют, воруют что ни попадя — и все только на водку. Деньги — на водку, одежду — на водку, с завода краденое — тоже на водку. Да что там — он за водку жену родную отдаст и детей в придачу! Отчего же все

это? А оттого, что тупеет в каторге этой человек, в скотину превращается, ложь от правды отличить не может, да и не нужна ему ни ваша ложь, ни ваша правда! Ему своя правда нужна, простая, как топор: сила солому ломит. Этого он пока еще не понял, пока он силу свою на водку растрачивает да на драки, а ну как поймет? Да однажды на нас с вами… А? Мокрое место от нас останется, Лев Николаевич, когда он сообразит, что правда-то — в силе.

— Злая правда это, Федор Иванович, — вздохнул Толстой. — И нового вы ничего не открыли: было уж это, было. Убей — и будешь прав; отомсти — и будешь прав; снасильничай — и будешь прав. Да от этого зла, от крови этой человечество-то и восходило вместе с Христом. Искуплено это, все искуплено, и не надо новых искуплений. Веровать надо, Федор Иванович.

— Во что же веровать, Лев Николаевич?

— Во что? — Лев Николаевич долго молчал, хмуря густые брови. Потом сказал: — Сегодня отвечу — в Бога, и не солгу. А завтра?.. Завтра что отвечу себе самому? Солгу ли привычно или силу в себе найду не лгать уж более? Надо, надо о смерти думать, если жить хочешь. Вот решил я однажды все на веру принять, со смирением,

так как положил, что разум отдельных людей должен подчиниться разуму соборному. Решил не замечать более ни лжи церковной, ни нелепиц обрядовых, ни обмана, ни неправды. Решил — и исполняю все обряды и стараюсь быть православным, а дух мой смущен, и часу не проходит, чтобы не думал я, во что же веровать завтра.

— Соборным разумом честно не проживешь, — тихо сказал Василий Иванович, доселе стесненно молчавший. — Коли каждый за себя отвечает, то и думать каждый за себя должен. И решать.

— В силу веровать надо, — вдруг твердо сказал Федор. — В силу!

— В силу, Федор Иванович, только слабые веруют, — грустно усмехнулся Толстой.

5

Турки настойчиво атаковали высоту, занятую ротой Олексина. Цепи их выкатывались из кустарника напротив и, поддержанные ружейным огнем стрелков, быстро достигали половины подъема; дальше начиналась круча, движение замедлялось, цепь разбивалась на отдельные звенья, ложилась и вскоре откатывалась назад. Наступала короткая передышка, и снова солдаты в красных фесках появлялись из противополож-

ных кустов.

Молчала батарея Тюрберта, молчал и батальон Брянова. А когда он наконец начал не очень активно постреливать с фланга, турки уже успели просочиться в седловину между возвышенностями, надежно блокировав Олексина на занятой им горе. Рота пока еще отбивалась, пока еще ее спасала крутизна скатов, ломавшая атакующие цепи, пока еще были патроны, но время шло, помощь не приходила, а турецкие аскеры уже неторопливо пробирались по седловине, обходя роту с тыла.

— Потери невелики, — сказал Отвиновский, в перерыв между атаками обойдя позиции. — Но если Брянов не поспешит на выручку, нас в конце концов окружат со всех сторон.

— Предлагаете отступать?

— Обидно: позиция хорошая.

Гавриилу показалось, что опытный Отвиновский не дает совета отступать, чтобы о нем не подумали, будто он струсил. В этом опять слышался звон шпор и бряцание сабли. Но и сам поручик, понимая, что без помощи извне они почти обречены, не решался дать команду на отход по той же причине. Легче было умереть, чем допустить саму возможность упрека в трусости.

Оба они думали в этот момент одинаково, и оба только о себе.

— Что-то Тюрберт молчит, — сказал Олексин; наступившее затишье в атаках было мучительно своей тишиной. — Я послал связного.

— Ладно, Олексин, хватит лукавить, — сердито прервал Отвиновский. — Ни вы как командир, ни я как ваш заместитель не придумаем ничего путного, а когда придумаем, будет уже поздно. Турки, похоже, обедают, так пойдем пока к Совримовичу.

Совримович лежал под наспех сооруженным навесом. Рядом на кое-как прикрытых шинелями ветках стонали еще шестеро; два немолодых серба перевязали раненых, уложили поудобнее, а теперь молча сидели поодаль на корточках, терпеливо ожидая, когда принесут новых или когда кто-либо помрет от потери крови: три неподвижных тела уже покоились в кустах.

— Очень больно? — спросил Олексин, опускаясь на землю подле раненого.

И сразу же пожалел об этом праздном вопросе: боль стояла в светлых глазах Совримовича. Лицо его заострилось и побелело, все утонув в свалявшейся, мокрой от пота бороде.

— Думаю, — старательно выговорил Совримо-

вич, с трудом разлепив запекшиеся губы. — Зачем же так, господа, нерасчетливо так? Столько молодых душ, цвет России, совесть ее. Куда бросили? Что спасать, что защищать? Отечество? Оно далеко отсюда. Что же тогда?

— Вы меня спрашиваете? — вздохнул поручик. — Я убежден, Совримович, я убежден, что отечество наше знает, зачем послало нас сюда. Нет, не можем, не смеем оставить в беде ни болгар, ни сербов. Я понял это, господа.

— Успеть бы додумать, успеть бы… — с суетливой тревожной настойчивостью повторял Совримович. — Весь этот славянский вопрос ложно поставлен. Из головы, а не от сердца… Я путано говорю?.. Успеть бы додумать, успеть бы… А сколько жертв, сколько мук, сколько нравственной энергии потрачено впустую! Но нельзя же так, господа, нельзя! Ведь кто-то же должен ответить за то, что мы умираем. Кто-то должен, должен!..

— Кто-то должен, — вздохнул Гавриил. — Кто-то должен, но — кто? Может быть, я сам, лично? Я тосты поднимал за Святую Русь.

— Она спит в гробах нетленных, — вдруг строго сказал раненый, — и не тревожьте ее покой. Есть Россия. Россия, свободная от крепостничества и

не знающая, куда девать эту свободу и что с ней делать. И не надо путать ее с ветхозаветной Русью. Как только мы путаем, мы начинаем пятиться назад. А Россия должна идти вперед. Вперед, а не назад. Вот за Россию я бы умер с восторгом, клянусь вам, господа. С восторгом и умилением! А за прошлое… за прошлое умирать бессмысленно. Бессмысленно умирать за вчерашний день…

В груди его захрипело, забулькало, судорожный кашель потряс все тело. Розовая пена выступила на тонких губах, он отер ее ладонью, сразу же тяжело рухнув на спину.

— Легкое задето, — тихо, словно самому себе, сказал он. — А я еще надеялся…

— Даст бог, обойдется, — сказал Отвиновский, не веря в то, что говорит.

— Вы обещали мне, Отвиновский, помните? — с жарким беспокойством начал Совримович. — Вы приехать к нам обещали, я помню, отлично помню. Поклянитесь же, что приедете, что сдержите обещание. Поклянитесь, прошу вас, мне легче будет, если вы поклянетесь. У меня только матушка одна да кузина. Красавица кузина, я влюблен в нее, что уж теперь-то…

Частая стрельба вспыхнула совсем близко, и не на позициях, не впереди, а на спуске в котловину,

где Олексин на всякий случай держал полувзвод.

— Вот и обошли, — сказал Отвиновский, вскакивая. — Я туда, Олексин.

— Стой! — опять приподнявшись, крикнул Совримович, видя, что и поручик торопится уходить. — Не отдавайте меня живым, господа, умоляю вас, не отдавайте! Все равно ведь убьют, но помучают сперва, а я мучений боюсь. Я бы сам застрелился, да не смогу, сил нет, и рука дрожит. Олексин, я вас прошу, слышите? Я умоляю, именем матери умоляю, Олексин!

Гавриил остановился, в замешательстве не находя слов. Он чувствовал, знал, что никогда не сможет выстрелить в Совримовича, а лгать не решался.

— Что же вы молчите, Гавриил? — с надрывом выкрикнул Совримович.

— Я обещаю вам это, — резко сказал Отвиновский. — Я вам клянусь. И в том, о чем вы просили до этого, тоже клянусь.

— Спасибо, — прошептал Совримович, обессиленно опускаясь на окровавленную, отсыревшую за ночь шинель.

Пока поручик, не разбирая дороги, напрямик через кусты бежал к основной цепи своих стрелков, частая беспорядочная стрельба началась и

впереди вдоль всех позиций, и он понял, что турки пошли на новый штурм. Дело осложнилось, но он все же больше беспокоился за фланг, на котором вдруг оказался противник и который удерживал сейчас Отвиновский с полувзводом малообученных и плохо стрелявших сербских войников. Он еще не успел добежать до позиций, как впереди послышались крики, топот множества ног, треск ломаемых веток. Сквозь деревья уже мелькали люди, бегущие на него, его люди, он узнал их сразу, и сердце его защемило от отчаяния. Рота бежала с позиций, бежала в панике, бросая оружие и надеясь только на быстроту ног.

— Стойте! — закричал он, вырывая из кобуры застрявший кольт. — Стой, застрелю!

Солдаты шарахнулись от него, но не остановились. Он выстрелил в воздух, потом в кого-то из бегущих, но не попал. А люди продолжали бежать — молча, задыхаясь, в ужасе шарахаясь от каждого выстрела в почти окруженном лесу.

— Бегут! — кричал появившийся из кустов Захар. — Бегут, мать их так! Черкесы без выстрела подползли, левый фланг в кинжалы взяли! Тикать надо, Гаврила Иванович, тикать: сейчас турки ворвутся, поздно будет!

— Задержи их! Тут задержи! Там раненые, ра-

неных вытащить надо!

— Попробую, — вздохнул Захар. — Эх, племянничек, ваше благородие, хоть бы рядом помереть, что ли… Стой! Стой, вашу мать, всех пострелю! Ложись! Ложись тут!

Кажется, он успел остановить Карагеоргиева, французов, кого-то из русских волонтеров — Гавриилу некогда было рассматривать. Тот десяток, что руганью и кулаками остановил-таки Захар в кустарнике, был с оружием и уже начал стрелять, и Олексин бросился назад, где лежал Совримович и другие раненые и где совсем близко звучали нестройные выстрелы полувзвода Отвиновского. Он бежал назад, с горькой обидой думая, как низко и подло бросил его Брянов. Он сознавал, что сейчас не время для обид, гнал их от себя, старался думать о другом, но обида эта жила словно не в разуме его, а в нем самом, в больно сжимавшемся сердце, в безнадежном отчаянии, которое все более овладевало им. «Так нельзя, нельзя! — твердил он себе. — Надо перенести, спрятать куда-то раненых, а потом… Неужели Брянов не ударит с той стороны? Он же видит, что я погибаю!.. Надо собрать людей и попытаться пробиться к батальону. Еще можно, в седловине еще не много турок, еще есть шанс… Но Брянов,

Брянов!..»

Думая так, поручик не знал ни того, что Брянова не было в батальоне, ни того, что батальоном этим командовал теперь штабс-капитан Истомин, ни того, что Валибеда так и не дошел до него. Не знал и самого главного: турки атаковали Истомина одновременно с ним, и, отбив три турецких атаки, штабс-капитан счел позицию невыгодной, пострелял немного и приказал отступать. И пробиваться Олексину было попросту некуда: турки не только просочились в седловину, но и заняли соседнюю гору.

По поляне, на опушке которой располагались раненые, в панике метались войники. Хватали пожитки, вновь бросали их или прятали; куда-то, торопясь, волокли раненых; кто-то брал из ящиков патроны, торопливо набивая подсумки, а кто, наоборот, горстями выгребал патроны, разбрасывая их по кустам. Стрельба слышалась совсем рядом, пули жужжали над поляной, и со стороны седловины все отчетливее доносились чужие страшные крики «алла!». Гавриил попытался остановить, образумить бегущих, кричал, ругался, кого-то хватал, кого-то бил, кому-то грозил револьвером, но никто не слушал да и не видел его. Все металось, кричало, бежало: страх перед

турками уже лишил людей воли и мужества.

— Оставьте вы их, Олексин, — с раздражением сказал Отвиновский. — Дело проиграно.

Он стоял у навеса, набивая патронами барабаны револьверов, был бледен, но спокоен, даже пальцы не дрожали.

— Что там, Отвиновский?

— Полный конфуз, поручик. Сейчас турки будут здесь. Ваш кольт заряжен? Заряжайте. — Он бросил Гавриилу мешочек с патронами. — Я пока исполню долг. Или вы желаете?

— Как вы можете, Отвиновский! — в ужасе крикнул Олексин. — Не смейте, слышите? Не смейте, я запрещаю вам это!

— Зарядите револьвер. И берегите мужество: оно пригодится.

Сказав это, Отвиновский сунул один из револьверов за ремень, второй зажал в руке и вошел под навес. Здесь лежали только хрипло дышавший, уже умирающий серб да Совримович: раненых полегче войники уже унесли. Увидев Отвиновского, Совримович изо всех сил потянулся навстречу, опираясь на локти.

— Что, Отвиновский? Что, турки?

— Прощайте, друг, — негромко сказал Отвиновский, щелкнув взведенным курком.

— Не на-а-а… — тонким, жалобным голосом простонал Совримович, судорожно напрягшись всем телом.

Сухо ударил выстрел. Совримович дернулся, забил ногами, мучительно захрипев. Рухнул навзничь, все еще выгибаясь и суча ногами. Из горла хлынула кровь, густо окрасив цыганскую бороду, раздался последний мучительный всхлип, и тело обмякнуло.

— Прощайте, друг, — еще раз шепотом повторил Отвиновский и вышел.

Олексин стоял рядом с навесом, непослушными пальцами заталкивая патроны в барабан кольта.

— Я слышал, я все слышал. Он не хотел умирать. Вы убийца, Отвиновский!

— Теперь вы поняли, господин идеалист, что война — это мерзость? — насильственно улыбнулся поляк. — Как бы там ни было, а пора уходить. Вместе идем, или вам теперь со мной не по дороге? Да что с вами, поручик?

Лицо Олексина вдруг точно опустилось, челюсть отвисла. Неуверенной рукой он ткнул куда-то за плечо Отвиновского:

— Турки…

Отвиновский быстро оглянулся: позади них из кустов выходили семеро в красных фесках и

синих мундирах, держа ружья наперевес.

— Бейте, Олексин! — крикнул Отвиновский, падая за куст.

Поручик все еще заправлял барабан кольта в гнездо. Один из патронов был дослан не полностью, барабан не становился на место, а Гавриил не видел этого, потому что смотрел на турок и все пытался запихнуть этот барабан.

— Ложитесь! — крикнул Отвиновский. — Какого черта?

Он дважды выстрелил, турок упал, остальные бросились назад. Поручик пригнулся, прошмыгнул за куст, и тотчас же ударили выстрелы. Пули срезали ветку, на головы сыпалась листва.

— Отходим! — кричал Отвиновский, отстреливаясь. — Что у вас с оружием?

— Заело барабан.

— Патрон поправьте! Война только начинается, учитесь, поручик.

Стреляли со всех сторон, весь лес был пронизан пулями, криками, синим пороховым дымом. Турецкие солдаты вновь появились на поляне, перебегая от куста к кусту.

— Бегите! — крикнул поляк. — Я задержу их, бегите!

Поручик бросился в лес, но навстречу почти

одновременно ударило несколько выстрелов. Он не упал и даже не остановился, а лишь круто повернул и бежал теперь по опушке, огибая поляну. Сзади слышались крики, нестройная стрельба, но в этой стрельбе он все еще выделял редкие прицельные выстрелы Отвиновского. «Надо беречь патроны, надо…» — мельком подумал он, старательно, как ученик, твердя себе, что у него их ровно пять и что он может выстрелить только четыре раза.

Из-за дерева, до которого он почти добежал, вдруг выдвинулся турок. Это было как во сне: и неожиданность появления турка, и его рост, казавшийся Олексину огромным, и несоразмерно длинное ружье, которое держал он наперевес, направив штык в живот поручику. Гавриил выстрелил, не останавливаясь и не целясь, с пронзительной ясностью увидел, как брызнула из лица кровь, как турок выронил винтовку и начал падать, хватаясь за воздух руками. Олексин перепрыгнул через него, заметил в кустах синие мундиры, трижды выстрелил. Кто-то закричал там, кто-то упал, катаясь по земле, а он успел подумать только о том, что у него остался последний патрон в револьвере. Только об этом, потому что в следующее мгновение ощутил режущий острый

удар, звоном отдавшийся в голове. На миг, как вспышка, пронзила боль, колени подломились, и поручик Олексин с разбегу ткнулся в кустарник головой, уже обильно залитой кровью.

6

Казалось — внешне, для всех, но не для Маши, — что ничего не изменилось ни в старшем Олексине, ни в самом московском доме, по-прежнему жившем размеренной, неторопливой жизнью. Этой жизни не помешали ни приезд барышень, ни внезапное, как обвал, появление Федора: как всегда, отец завтракал один, обедал с теми, кто находился дома, отдыхал после обеда, пил чай за общим столом и рано уходил к себе. А спал мало и тревожно, и Маша, за полночь подкрадываясь к дверям, слышала его тяжелые шаги, чирканье серных спичек и — редко, правда, — неясное бормотание. Отец разговаривал то ли сам с собой, то ли с теми, кто уже ушел из его жизни, нанеся ему этим новые горькие обиды.

— Здоровы ли вы, батюшка? — осторожно спрашивала она.

— Я здоров, здоров совершенно, — всякий раз с неудовольствием отвечал он. — А ты учись, учись… Идите с Таей на курсы, в пансион — куда

желаете. Только не хороните себя со мной. Вам жить надо. Жить.

На курсы Маша и Тая уже опоздали, прием был закончен, но вольнослушательницами их зачислили. Каждое утро они бегали на лекции и возвращались потрясенные: мир открывался со стороны неожиданной. По вечерам, перебивая друг друга, пересказывали Федору, что прослушали днем, невольно дополняя сухие факты личным отношением. Федор держался как старший — с покровительственной иронией.

— Девичья психология — самая неустойчивая из всех мыслимых психологий, — говорил он, очень заботясь о впечатлении, которое производит на малознакомую рыжую девушку. — Слишком отчетливый примат эмоционального над рациональным мешает вам охватить предмет в целом. Вы цепляетесь за частности, как за булавки, пытаясь каждую пристроить на место, да так, чтобы общий вид при этом был вполне элегантным. А наука — материя беспощадная, барышни, ей чужды внешние приличия.

— Нам сказали, что скоро всех поведут в анатомический театр, — округляя глаза, сказала Маша. — Я обязательно шлепнусь в обморок. Обязательно!

Тая молчала, улыбаясь. Но чем чаще они встречались с Федором, тем все более эта улыбка теряла грусть. Опущенные уголки губ уже выравнивались, а порой и загибались кверху, придавая улыбке задорную загадочность. И тогда Федор начинал хмуриться и опускать глаза, а Тая — чаще улыбаться.

— Глупости все, глупости, — сердито бормотал он, не решаясь оторвать глаз от стола. — Еще неизвестно, чему и как вас учат на этих курсах.

О себе он ничего не рассказывал и даже не потрудился объяснить, зачем приехал в Москву. Исчезал с утра, но возвращался хмуро-озабоченным и в откровенности не пускался. Дела, по всей вероятности, не очень-то ладились, но обнадеживали — Маша судила об этом по отсутствию отчаяния, в которое с легкостью впадал Федор при малейшей неудаче. Она хорошо знала его, но знала того, прежнего, а о том, что он стал иным, об этом не догадывалась. И даже не заметила, что известие о гибели брата он воспринял совсем по-новому, не так, как воспринял бы его до ухода из Высокого. Он просто промолчал, когда она рассказала ему о дуэли. Молчал, странно, непривычно потемнев. Посидел, сдвинув брови, покивал и ушел тут же, при первой возможности. Два дня

избегал разговоров, молча ел, молча слушал, а на третий день сказал неожиданно:

— Не добежал наш Володька.

— Куда не добежал? — не поняла Маша.

— До хомута. Понимаешь, мы все необъезженные какие-то. Наверное, большинство людей с детства объезжены и хомут свой — тот, в котором им всю жизнь пахать, — хомут тот они спокойно надевают. А мы спокойно не можем, мы мечемся, крутимся, бесимся, ищем — до той поры, пока жизнь нас не объездит. Ваську она в Америке объездила, меня — в чистом поле, Гавриила в Сербии объезжают. Потом, когда нас объездят, и мы впряжемся. И воз свой тащить будем, и ниву пахать до гробовой доски. А юнкер наш не добежал. Горяч оказался.

— Как ты можешь? — с тихим упреком спросила Маша. — Как ты можешь так холодно философствовать? Ты… ты черствый человек, ты ужасный человек, Федор. Ты — циник.

— Я циник, — согласился Федор, — но все-таки я добежал. Чудом, но добежал. А Володька…

— Прекрати! — Маша топнула ногой.

— Больше ни слова не скажу, извини. Только, знаешь, грош цена тому, кого даже смерть ближнего ничему не учит. Грош цена, сестра,

так-то. — Федор покосился на нее, сказал, отвернувшись: — А что полагаешь меня человеком черствым, то… приходи в воскресенье утром к университету. Только не одна, а с Таисией Леонтьевной.

Больше он ничего объяснять не стал. Маша посоветовалась с Таей, и обе, повздыхав, решили пойти. В следующее воскресенье, чуть светать начало, спустились вниз. В прихожей был Игнат. Он только что принял от разносчика пачку газет и теперь раскладывал их, готовясь идти к барину.

— Что это, газеты? — Маша очень удивилась: отец никогда не читал их, уверяя, что они навязывают волю. — Зачем столько? Откуда?

— Приказано все получать, — с достоинством пояснил Игнат. — Батюшка ваш теперь без них и к столу не выходят, а сегодня воскресенье, и разносчик опоздал.

— Читает? — с недоверчивым удивлением спросила Маша.

— Аккуратно читают-с, — подтвердил камердинер. — Все читают, что про Сербию пишут. Вот новые несу, серчают уже, поди.

— Это он о Гаврииле беспокоится, — озабоченно сказала Маша, когда они спешили к университету. — Он же всегда смеялся над газетами, всегда!

А теперь, видишь, читает. Со страхом читает, известие боится встретить. Ах, какой он, какой! В любви к детям стесняется признаться, в беспокойстве за них. А ведь любит, любит, Таечка!

— Любит, — подтвердила Тая. — И тоскует, наверно.

Она думала о своих родителях в далекой Крымской. Она решилась написать им, получила ответ, полное прощение и слезную просьбу вернуться. Проплакала ночь и ответила отказом. И не потому, что нынешняя жизнь ее сложилась интересно и обещающе, но и потому, что много переплакала, передумала и давным-давно, еще в Тифлисе, свернула на ту дорогу, по которой домой не возвращаются.

Были еще обстоятельства, которые держали ее в Москве сильнее, чем дружба Маши, — ученье и будущее место в жизни — то, что переполняло ее уже сейчас торжественным ощущением долга. Было, крепло с каждым вечером, радовало и ужасало, но в этом Тая боялась признаться даже самой себе.

Барышни вышли очень рано, но чем ближе подходили к Кремлю, тем все люднее становилось на воскресных московских улицах. И потому что прихожане тянулись в церкви и соборы на

призывный перезвон колоколов; и потому что лабазники и приказчики открывали лавки и первые покупательницы уже судачили у дверей; и потому, наконец, что молодежь явно спешила туда же, куда торопились и барышни. Эта часть публики была настроена шумно и бесцеремонно: громко переговаривались, окликали друг друга, пели, смеялись и с особым вниманием разглядывали девушек.

— Не спеши, — сквозь зубы сказала Маша. — Пусть пройдут: я не могу, когда на меня пялят глаза, как в балагане.

Они остановились, разглядывая носки собственных башмаков, и пошли дальше, когда схлынул основной поток студенческой молодежи. И опоздали: в конце Волхонки бородатый, со сверкающей бляхой на могучей груди дворник растопырил руки:

— Нельзя, барышни! Не велено!

У Маши было лишь две реакции на запрещения: гордое молчание или надменная отповедь. Ни то ни другое здесь не подходило, и Маша растерялась. Но Тая не в пример подруге умела разговаривать и с такого рода людьми. Проворковав что-то жалобное и дважды назвав бородача дедушкой, она сокрушила дворницкое «не веле-

но» и, схватив Машу за руку, кинулась вперед.

— Дальше все одно не пустят! — прокричал вдогонку дворник. — Раз не велено, так напрасно так-то!

Их задержали снова, но они все же пробрались на Моховую. Здесь стояла цепь из городовых и дворников, а за цепью виднелось множество студентов, заполнивших улицу перед университетом.

— …требуем воскресных лекций! — высоким голосом кричал кто-то, возвышаясь над толпой. — Дайте всем возможность учиться! Это наше право, и мы требуем…

— Федор Иванович! — ахнула Тая.

Маша сразу узнала брата, но молчала от страха: ей казалось, что стоит признаться, что они знают оратора, как вся эта мундирная свора тотчас же бросится на них и на него. Но полиция никаких акций пока не предпринимала, и Федор продолжал кричать:

— …позор, что женщин не допускают в наши университеты! Во всей Европе допускают, и только мы продолжаем ставить им преграды! Это произвол и надругательство над свободой личности! Мы требуем отмены позорных решений…

— На тебя какой-то господин смотрит! — вдруг

испуганно зашептала Тая. — Улыбается и сюда идет. Ой, ей-богу, сюда!

— Идем отсюда скорее, — не повернув головы, скомандовала Маша.

Сердито уставясь в землю, они пошли назад, изо всех сил стараясь никуда более не смотреть.

— Мария Ивановна? — тихо спросили сзади. — Машенька?

Даже если бы вдруг прогремел выстрел, сердце Маши не забилось бы сильнее, чем забилось сейчас. Она узнала этот голос, как узнала бы его из тысячи других голосов. И обернулась сразу, на ходу, точно ей скомандовали обернуться именно так, с ноги.

— Аверьян Леонидович?

Протянула руку, стала вдруг краснеть и, как всегда, зная, что краснеет, начала сердиться и от этого краснеть еще больше. Беневоленский, зажав шляпу под мышкой, улыбался, держал ее руку в ладонях и с такой откровенной радостью сиял глазами, что Тая сразу все поняла.

— Вот и нашел вас, вот и нашел, — торопливо говорил он, все еще не отпуская ее руки. — Помните, обещал, что непременно найду, — там, в Смоленске? И — нашел. Знал, что придете сюда, право, уверен был, что рано или поздно, а приде-

те. Я же не мог ошибиться, правда? Не мог, потому что вы — такая, вы мимо любого храма пройдете, а этого не минуете, не можете миновать. С тех пор как узнал, что в Москве вы, с тех самых пор и хожу сюда как на службу воскресную.

— Вы знали, что я в Москве? Откуда же знали?

— А у меня есть добрый человек. Вы мне писать запретили, так я Дуняшу попросил. Ей упражнение, а мне сюрприз. Получил ее каракули и сразу сюда кинулся.

Разговаривая, они совершенно забыли про Таю, глядели только друг на друга и улыбались только друг другу. Но сейчас Беневоленский отпустил Машину руку и поклонился Тае.

— Хоть и не представлен, а знаком. По каракулям Дуняшиным знаком.

— Федя выступает, — сказала Маша, не зная, о чем еще говорить, и пугаясь, что может наступить молчание.

— Да пусть его.

— Это опасно? — строго спросила Тая. — Его могут арестовать?

— Вряд ли. Ну, может, продержат до вечера в холодной.

Разговаривая, Аверьян Леонидович смотрел только на Машу. Тая отметила это, сжала подруге

локоть, шепнула:

— Это же он. Он, понимаешь? Я так счастлива за тебя!

Маша понимала, что это о н, что это ее судьба, и тоже была счастлива.

Впереди раздались свистки, цепь городовых заколыхалась. Беневоленский схватил барышень за руки, увлек подальше, к Арбату.

— Здесь становится душно. Может быть, немного погуляем?

Он повел барышень гулять, а потом в студенческую столовую, где им очень понравилось. Там за длинными столами весело хлебали щи и кашу из простых оловянных мисок. И у кого не было денег, тот уходил, не расплатившись, а у кого были, те клали сколько могли в такие же оловянные миски, стоявшие на каждом столе. Все это было удивительно ново, просто и прекрасно.

— У меня к вам просьба, — понизив голос, сказал Аверьян Леонидович во время этого обеда. — Дело в том, что я теперь не Беневоленский и не Аверьян Леонидович. Нет, нет, не пугайтесь, я никого не убил и ничего не украл, но так уж случилось, что зовут меня Аркадием Петровичем Прохоровым. Так, на всякий случай для посторонних.

И это они если и не очень поняли, то приняли без вопросов, потому что и эта таинственность тоже была по-своему прекрасна и нисколько им не мешала. После обеда они опять много гуляли, договорились встречаться, назначили где и когда, и Беневоленский, а ныне господин Прохоров, уже к вечеру проводил их до дома.

У подъезда стояла коляска, запряженная парой. Кучер привычно дремал на козлах.

— У вас, кажется, гости, — сказал Беневоленский, останавливаясь. — Нам лучше расстаться здесь.

— Какие же у нас могут быть гости? — удивилась Маша. — Но все равно, вы правы. До завтра?

Он осторожно пожал ее руку и задержал.

— Я счастлив, Машенька. Я очень счастлив сегодня.

— Правда? — Маша радостно закраснелась. — Я рада.

В доме барышень встретил толстый Петр. Вопреки обыкновению, равнодушное, ленивое лицо его выражало сегодня испуганную озабоченность.

— Чья это коляска? — спросила Маша. — У нас гости?

— Доктор приехали, — сказал Петр шепотом. —

У барина они. Худо барину.

Подхватив платье, Маша через три ступеньки влетела наверх. Без стука распахнула дверь в спальню.

Отец лежал в постели; рядом стоял пожилой доктор в золотых очках. Он старательно капал в рюмку капли, считал их и поэтому сердито посмотрел на вбежавшую Машу.

— Что с батюшкой?

— Шум вреден больному, — с отчетливым немецким акцентом сказал доктор, аккуратно досчитав сначала капли. — Нужен покой.

— Упали они, — тихо сказал Игнат; он сидел на стуле возле дверей и сейчас тяжело поднимался. — В кабинете упали.

— Как упал? Почему? Доктор, что с ним?

— Газета, — невнятно и с трудом сказал отец.

— Газету они читали, — пояснил Игнат, горестно вздохнув.

Газета валялась на полу в кабинете. Маша подняла ее, пробежала глазами и как-то сразу нашла то, что имел в виду отец.

По сообщению австрийского Красного Креста, среди пропавших без вести русских волонтеров в Сербии числился поручик Гавриил Олексин.

7

— Стюарт Милль считал оскорблением человеческого достоинства самую мысль о необходимости доказывать безнравственность войны. Самую мысль, граф!

Князь Насекин говорил непривычно длинно, непривычно ссылаясь на чужой опыт и непривычно горячась. Он чувствовал эту непривычность, как чувствуют одежду с чужого плеча, заметно нервничал и от этого все больше терял спасительную насмешливость. Он привык поражать собеседников ленивыми парадоксами, но на сей раз собеседник не поражался, слушал с вежливым равнодушием, и князь позабыл о парадоксах.

— Признаться, я не был поклонником вашего знаменитого романа именно по этой причине. Вы доказываете в нем безнравственность безнравственности.

— Не перечитывали? — осведомился Толстой.

— Намереваюсь.

— Чтобы утвердиться в этом мнении?

— Чтобы понять вас, граф. Состояние войны есть состояние перекошенной народной нравственности; вы сами подчеркиваете мысль, что

война есть болезнь народа. Возможно, я ошибаюсь?

— Цели войны вы исключаете. — Толстой не спрашивал, а утверждал, подводя итог. — В этом состоит ошибка.

— Цели! — Князь неприятно улыбнулся одними губами. — В Сербии сотнями мрут русские волонтеры. Вы беретесь объяснить, с какой целью они там мрут?

— Сербское безумие не имеет цели, — вздохнул Толстой. — Аксаков наивно уверен, что самодержавие и православие — это идеалы народа. А суть славянофильства в том, что оно ищет врага, которого нет, — это мысль Герцена, князь.

— Может быть, всякая война есть лишь печальный итог поисков врага, которого нет? Вы не допускаете такой мысли?

Толстой остро глянул из-под насупленных бровей. До этого он не смотрел на князя, а если и смотрел, то вскользь, не встречаясь глазами. А сейчас искал взгляда и, встретив его, глядел долго и пристально. Потом сказал:

— Когда обывателю кричат «бей!», он идет и бьет. Полагаете, с ненавистью? Нет, без злобы бьет, даже с радостью. Значит, не врага он видит, а лишь разрешение. Разрешено бить, он и бьет,

а бить с позволения начальства — в этом вроде бы и греха нет. Солдат тоже с дозволения убивает и потому тоже злобы никакой не чувствует. До поры, пока его самого убивать не начинают. Вот тогда он стервенеет, тогда он и о дозволении убийства как бы забывает, тогда он уж не приказ исполняет — он жизнь свою защищает. Тогда и цель появляется. Простая цель: убей, пока тебя не убили. На войну такой цели, конечно, не хватит, и войны она никакой оправдать не может. Ну а если народ убивают, тогда как? Если весь народ под картечь подвели и фитиль запалили, если жизни его, существованию самому угрожают, тогда прав он в злобе своей или не прав? Я считаю, что прав совершенно и что ваше соображение необщо, хотя и парадоксально. Отечественная война такой и была, а вот Крымская кампания такой не стала, хотя и там кровь лилась, и там солдатики себя защищали с остервенением. Но — себя, а не народ. Себя самих! А Милль что ж. Путаник ваш Милль. На бастион бы его.

— И все же, граф, согласитесь, что вы некоторым образом допускаете софистику. Народ прост и глуп, а вы любуетесь им, и… сочиняете вы его, граф, сочиняете! Перо ваше великолепно, в сочинительства ваши верят, а к чему приведут они?

— Дождь пошел, — сказал Толстой. — Я погулять хотел, а вы как? Со мной или здесь, в тепле, под крышей? — Он посмотрел в окно, приоткрыл, высунулся. — Василий Иванович, кончили с Сережей? Может быть, в Засеку со мной? Ну так наденьте плащ да сапоги, обожду! — Прикрыл окно, оборотился к гостю: — Так как же, князь? Решайтесь, и для вас сапоги сыщем. Простые, правда, и грубые, зато сырости не пропускают.

Князь опять улыбнулся одними губами. Он не впервые виделся с Толстым, знал его по Москве, но знал иного — холодно-аристократичного, холодно-корректного, холодно-замкнутого. А сейчас с ним разговаривал человек, который, слушая его и отвечая ему, все время напряженно думал о чем-то далеком от этого разговора и оживлялся тогда лишь, когда в беседе их возникало что-то ведущее туда, в его мысли. Князь чувствовал это, но никак не мог определить тех точек, которые соединили бы его с Толстым не хлипкими мостками сдержанной вежливости, а единым потоком общих размышлений. А ему хотелось влиться в этот поток, ощутить его глубину и холод, и потому он сказал:

— Что ж, я с удовольствием. Если сапоги сыщете.

Сапоги отыскались быстро, гость и хозяин оделись и вышли на крыльцо. Дождь припустил сильнее, и они задержались под навесом, ожидая, когда появится Василий Иванович.

— Вы не рассматривали мысли, что война есть нечто, изначально присущее человеческой натуре? — спросил князь, зябко кутаясь. — Если переплести это с теорией естественного отбора…

Он замолчал, увидев, что Толстой смотрит мимо него, и смотрит с живым интересом. Оглянулся и увидел крепкую, рослую девку, которая бежала через двор, накинув на голову подол юбки и с детской радостью шлепая по лужам босыми ногами. Бежала она, наверно, издалека, раскраснелась, пылала жаром молодого тела, и не только юбка, но и белая рубаха ее промокла насквозь. А ветер бил ей навстречу, и мокрая рубаха липла к телу, обрисовывая не только сильные ноги, но кругло выпяченный живот. И этот круглый живот, и бедра, и крупные груди — все упруго вздрагивало при беге, невольно притягивая любой, даже самый равнодушный, мужской взгляд.

— Вот вам ответ, — сказал Толстой, глянув на князя засиявшими глазами. — Сколько искренности, открытости в женском теле, недаром его так любят рисовать. Поэтому в любви женщина

отдает свое тело целиком, до кончиков пальцев, а мужчина и в любви себя бережет. Зачем, а? Полагаете, для войны, для изначального предназначения своего?

Князь не успел ответить: через двор прямо по лужам шел высокий, худой, очень прямой даже при ходьбе человек.

— Рекомендую, — сказал Толстой, спускаясь с крыльца. — Учитель сына Сергея и мой друг Василий Иванович Олексин.

— Олексин? — точно прислушиваясь к звучанию, повторил князь. — Да, да, конечно. Редкая фамилия.

8

Вторые сутки шел нескончаемый дождь, крупный и холодный. Пленные кутались в мокрые шинели, жались друг к другу: турки запрещали разводить костры. Но, правда, начали кормить, и люди с жадностью пили горячее варево, стоя на коленях перед большими долблеными колодами для скотины. Турки хохотали и специально прибегали смотреть, как жрут из общих корыт русские волонтеры, руками выгребая плохо проваренную кукурузу.

Гавриил не ходил к этим общим корытам. От

ноющей боли разламывалась кое-как перебинтованная голова; он лежал возле стены сарая, под выступом крыши, пряча от дождя раненую голову. С крыши непрерывно лило, но вода попадала на грудь, и к этому он притерпелся. Боялся только намочить повязку: ему казалось, что тогда непременно начнется горячка и он умрет.

Еду приносил полный немолодой майор в собственной фуражке. Аккуратно нес ее через всю площадь полусожженного села, на которую согнали их, из рук в руки передавал поручику. Бережно, будто чашу с водой.

— Ешьте, голубчик. Нет, нет, непременно ешьте, непременно-с! Вам силы нужны, а где же их взять, как не в пище? Каждое даяние от Господа, сударь мой, даже если оно и басурманское.

Майор был из пехотной глухомани, старателен, темен и добр. Маленькие жалостливые глазки его щурились, источая искреннее сострадание. Он бродил по лагерю, перевязывал раненых, сочувствовал потерянным, мягким голосом успокаивал отчаявшихся:

— Обойдется, голубчик, видит бог, обойдется все. Главное, целы, руки-ноги при вас, а прочее перетерпим. Мы же русские, голубчик, а терпеливее русского Господь никого не создал. В

какой народ грубость вложил, в какой — спесь несусветную, в какой — манеры и обхождение, а в нас, сударь мой, терпение свое. И все-то мы стерпим-перетерпим, и все-то будет славно, вот увидите еще, как славно, да и меня вспомните.

В тот первый день сразу после разгрома турки, прочесав лес и кого добив, а кого и подобрав, согнали плененные остатки его роты к подножию горы, но ни этого места, ни пути к нему Олексин не помнил. Шел качаясь, еле переставляя ноги, куда гнали, садился при первой возможности, а потом опять вставал, торопясь подняться, пока не ударили прикладом. Казалось ему только, что со своими пробыл он очень недолго, но кто именно были эти свои, он припомнить не мог, да и не старался.

Вскоре его и других волонтеров отделили и погнали дальше и в одном месте даже подвезли на повозке, учтя ранение. А потом снова делили, снова сортировали, снова куда-то вели, пока не привели в это брошенное жителями село. Пленных было много: смят и разгромлен был весь корпус Хорватовича.

— Они не имеют права так с нами обращаться! — горячо говорил сосед, мальчишка-юнкер. — Я читал, я знаю: это бесчестно. Бесчестно!

По юношески круглому лицу юнкера текли слезы. Текли они от страха и отчаяния, и поэтому юнкер все время возмущался, тщетно пытаясь выдать их за слезы оскорбленной гордости.

— Они считают нас за скотов! За скотов!

Гавриил ни с кем не заговаривал, отвечал односложно, а чаще молчал. Он лежал, заботясь лишь о том, чтобы не намочить повязку, отрешенный от всего остального; лежал, вслушиваясь в собственную боль, и боль эта и была сейчас его существом. Он ощущал ее не только головой, с которой сабля снесла лоскут кожи вместе с половиной уха, — он ощущал ее всем телом, всеми мышцами, суставами, костями, нервами и — сердцем. Именно там гнездилась самая мучительная из его болей, и именно ее он слушал наиболее напряженно и сосредоточенно.

А мыслей не было, и он ни о чем не думал и не хотел думать. В памяти возникали лица, отдельные фразы или ни с чем не связанные слова. Возникали, как бы просачиваясь сквозь боль, и оттого были искажены; он понимал, что они искажены, но не пытался исправить их, прояснить. Все это текло своим порядком, вмешиваться в который не было сил.

Чаще всего он видел Совримовича и слышал его

тоненький, жалобный стон: «Не на-а…» А потом неизменно возникал Отвиновский, холодный и бледный, как северное небо. Они появлялись как два полюса чего-то единого, общего; он однажды с усилием подумал, что они — два полюса, но тут же забыл об этом. Брат наклонялся над ним, широко раскрыв глаза: «Больно, когда убивают? Больно?» Захар кивал издалека кудлатой головой: «Прощай, племянничек. Так ни разу дядей и не назвал, ну да Бог тебе судья». Мадемуазель Лора, улыбаясь ему, льнула к Тюрберту, а Тюрберт самодовольно кричал: «Стрелять надо хорошо, стрелять, все остальное — гниль!..» — «В кого стрелять-то, сынок?» — улыбался Миллье, не умирающий, а веселый, со вкусом куривший трубку и смаковавший вино. И сразу же появлялся неправдоподобный турок с неправдоподобным ружьем. Он целился штыком в живот Олексину, и Олексин стрелял, и из лица турка брызгала кровь. Густая и теплая. «А была ли идея, была ли, была ли?» — с горечью спрашивал Совримович, и все начиналось сначала.

— Этак они нас и в рабство продадут! — горячился юнкер, и по лицу его текли слезы. — А что, с них станется. Думаете, я от страха плачу? Я от унижения гордости плачу, вот отчего, вот.

— Унижены уж, куда ниже-то, — улыбался майор. — Не о том, господа, думать надо. Такие думы терпенье точат, а в терпении сейчас спасение наше. Так что смиряйте гордыню, судари мои, смиряйте, а терпение крепите.

«Унижение, — отрывочно подумал Гавриил; он не слушал разговоров, но голоса порой сами лезли в уши. — Я тоже говорил об унижении. Унижение, уничижение. Зачем все это? Брызнет кровь — и кончатся все слова. Все!.. Сразу кончится то, что приносило боль, тревогу, беспокойство. Все кончится. Все любили толковать о справедливости, а все — ложь. Мы плаваем во лжи, как рыбы в море. А где же человек? Он ведь не может долго плавать, он либо на дно, либо его сожрут, либо он сам станет рыбой и начнет жрать других. И кровь будет брызгать с лица…»

Он и сам не заметил, что начал думать, что бессвязные голоса замолкли в нем, а лица ушли. Голова еще болела, но боль эта уже менялась, и он чувствовал, что она меняется.

9

Толстой шагал быстро, изредка останавливаясь у развилок: решал, на какую тропинку свернуть, и всегда выбирал самую глухую. Князь и Василий

Иванович шли сзади; князь изредка поглядывал на спутника, точно собираясь заговорить, но Олексин упорно смотрел только перед собой, старательно выпрямляя и без того прямую спину, и разговор никак не начинался. Это выбивало гостя из накатанной годами колеи; он привык изрекать, удивлять и фраппировать, но здесь никто не поражался, и князь с легким раздражением поругивал себя за приезд в Ясную Поляну.

— У вас есть сестра? — неожиданно и даже резко спросил он, так и не придумав ни парадокса, ни каламбура.

— Целых три.

Олексин отметил этот факт с полным равнодушием, и это задело князя.

— Меня интересует, вероятно, средняя. Кажется, ее зовут Мари?

— Ее зовут Марией, — спокойно уточнил Василий Иванович. — Мать у меня простая крестьянка, и у нас не было в ходу искажение русских имен.

— Извините, не предполагал, что беседую со славянофилом.

— Уж что-что, а эта славянская дурь никогда не занимала меня.

— Славянская дурь? — откликнулся вдруг

Толстой: до него донеслись последние слова. — Славянская дурь — это сказано точно.

Он остановился, достал папиросы, набитые Софьей Андреевной, закурил, с любопытством рассматривая синий дымок.

— А утверждали, что на прогулках курить неприятно, — ворчливо заметил Василий Иванович, подходя.

— Лесной воздух не принимает дым папиросы, — сказал Толстой. — Он чужд ему. Вот так и фимиам, который курим мы ложным идеям и ложным идолам, не растворяется в нас. Он лишь обволакивает и одурманивает наши души, заслоняя от них истину. А мы курим его веками, мы прокурили весь мир, надежно упрятав Бога за дымовой завесой. Неужели он приходил в мир для того лишь, чтобы ему воздвигали храмы?

— Бог есть вера, — пожал плечами князь. — А вера есть узда, с помощью которой сдерживают темные страсти и ведут народ в нужном правительству направлении. Разрушьте веру — и вместо церкви мужик пойдет в кабак.

— Бог есть мое стремление стать лучше, чем я есть, — сказал Лев Николаевич. — Это просто, и если каждый примет такого Бога в душу свою, кабаки придется закрыть. А заодно и церкви.

Правда, у Василия Ивановича иная точка зрения на сей предмет.

— Мы расходимся в терминологии, — сказал Олексин. — Я принимаю вашу идею самоусовершенствования, но совершенствоваться надо через труд, а не через Бога. Бог создан человеком, Лев Николаевич, не более того.

— Верить, что Бог создал человека по своему образу и подобию, куда возвышеннее и нравственнее, чем знать, что человек выдумал Бога по своему образцу. Именно в этом, Василий Иванович, и заключается нравственность религии и безнравственность атеизма. Именно в этом!

— Вам ли бояться знаний, Лев Николаевич? — улыбнулся князь.

— Знания могут сделать человека умнее, расчетливее, полезнее для общества. Но они бессильны сделать его добрее. Душевнее, как говорят мужики. Душевнее… — задумчиво повторил Толстой. — Нет таких знаний, чтобы, уяснив их, человек стал душевнее. Разум принадлежит человеку, как сила, руки или ноги. А душа… Душа не принадлежит ему. Нет, не принадлежит, и в этом ее особливость. Душа принадлежит чему-то большему, чем сам человек, ее нельзя тренировать, как мускулы, или развивать, как мозг. Ее можно

лишь постичь и, постигнув, поступать согласно ее велениям. Тогда и приходит счастье, о котором так тоскует человек. Счастье слитности с душой своей, конец борениям с нею, конец унижения и угнетения ее. И вот тогда, именно тогда, когда возникает эта слитность, эта гармония, человек и становится воистину свободным и воистину бесстрашным. Изнутри, только изнутри! Кто — я? Зачем — я? Почему — я? Какие науки могут ответить на эти вопросы? Какие?

10

Легче стало не только Олексину, но и всем пленным: привезли котлы и офицерам стали разливать еду по мискам. Добродушный майор перестал потчевать Гавриила из собственной фуражки, тут же с удовольствием напялив ее на голову.

— Вот и дотерпелись, — говорил он. — Терпение, судари мои, великая сила. Благодать Божия — терпение наше!

На следующий день поручик сам пошел за едой. Он уже понемногу передвигался, верил, что выкарабкался, и считал, что должен больше двигаться. Юнкер на всякий случай шел рядом, готовый подхватить, если понадобится, да и май-

ор поглядывал, но помощи не потребовалось.

— Вот ложечек мы еще не дотерпелись, — вздохнул майор. — Можно, конечно, и через край похлебать, а только, говорят, тут солдатик один ложки из дерева режет. Ловко режет, подлец, и продает недорого.

— У меня нет денег.

— Да он и так отдаст. Нет, право, отдаст: как же раненому офицеру не отдать? Юнкер, отнесите еду поручика к сараю.

Олексин согласился идти за ложкой только потому, что надеялся найти кого-нибудь из своей роты. Когда брел к котлу, вглядывался в изможденные, равнодушные, удивительно похожие друг на друга лица пленных, но знакомых не встречалось. А слова о солдате, что ловко режет ложки, напомнили Захара: тот тоже умел их резать, и в детстве они любили хлебать молоко с земляникой именно его ложками.

— Ну вот и добрались, — удовлетворенно сказал майор.

— Где же?..

Гавриил все же надеялся, очень надеялся и почти верил, что увидит Захара. Но Захара не было; на земле сидел рослый детина, краснорожий и рыжебородый. Заметив поручика, он сразу вско-

чил и вытянулся, радостно улыбаясь:

— Ваше благородие, неужто не узнаете? Валибеда я, Валибеда! Вы еще меня в батальон за подмогой посылали, да не дошел я, виноват. Лазутчики ихние перехватили, и вот… — Он виновато опустил голову и замолчал.

— Рад, что живой ты, Валибеда. Рад.

— Спасибо на добром слове, ваше благородие! — опять широко и радостно заулыбался Валибеда. — И я за вас рад, уж так рад, так рад! Вам ложечку надобно? Так я вам новую сделаю, тотчас же сделаю. Вы присядьте покуда, присядьте. — Валибеда обернулся к соседу, сказал повелительно: — Эй, борода, подстели-ка шинелку свою их благородию. Не видишь, раненые они, еле стоят.

— Так я пойду, пожалуй, — шепнул майор, пока солдаты бережно усаживали Олексина на вчетверо сложенную шинель. — Вот как славно получилось, что своего встретили.

— Славно, — улыбнулся Гавриил и еще раз сказал: — Я рад, что встретил тебя, Валибеда. Как ножик у тебя не отобрали?

— А я его, ваше благородие, в голенище пронес. Сапоги у меня старые, никто на них не позарился, вот и пронес.

Говоря, он уже ловко работал ножом, все время вертя в руках деревяшку, чтобы определить направление слоев. Определял он их безошибочно, стружка шла без сколов и заусенцев, той длины и толщины, какой хотел мастер.

— Из нашей роты никого не встречал? — помолчав, спросил Гавриил. — Захара моего или французов?

— Из нашей роты никого, как на грех, — вздохнул Валибеда. — Может, в другом каком лагере? Пленных много они набрали, ужас как много.

В лагере уже слышался шум и гогот турецких солдат, но никто на это не обращал внимания. Турки часто ходили смотреть на пленных и неизменно весело хохотали: что-то смешило их при виде покорного людского стада.

И сейчас между пленными брел низенький толстый турок с глуповатым, ухмыляющимся лицом. Люди такого стиля обычно исполняют роль шутов, привыкают к этой роли, и идиотическая усмешка точно прирастает к ним, выражая готовность потешать. Турок шел медленно, выбирая жертву для той шутки, которую от него ждали и не исполнить которую он уже не мог. И остановился перед Валибедой.

Увидев турка, Валибеда быстро сунул нож под

шинель, на которой сидел поручик, и заулыбался тревожно и заискивающе. Турок неторопливо протянул руку, цепко ухватил Валибеду за косматую рыжую бороду и стал раскачивать его голову из стороны в сторону. Все примолкли, даже турецкие солдаты, что частью толпились на границе лагеря, а частью шли за шутом в ожидании потехи. И в тишине стало слышно, как часто и испуганно дышит Валибеда. Свободной рукой турок вдруг быстро приспустил шаровары, и тугая струя мочи ударила Валибеде в лицо. Он захрипел, забулькал, замотал головой, а струя била в бороду, в рот, в глаза, и громко, восторженно улюлюкая, хохотали турки.

У Гавриила потемнело в глазах, он слышал уже не стук, а клекот своего сердца где-то в гортани и поэтому не кричал, а только хватал воздух. Хотел встать и не мог, не мог, не было сил, и он шарил по земле руками, чтобы найти, на что опереться. И нашел, нащупал и сразу — даже не понял, нет! — всем существом ощутил, что это — нож. И тут же перестали дрожать колени, перестало клокотать сердце, точно окаменев. Он вскочил легко, одним прыжком, будто не было ни ранения, ни плена, ни голодовки. Рванул турка на себя, развернул и с размаху снизу вверх ударил

ножом. Турок закричал тонким, пронзительным голосом, а поручик все бил и бил ножом, ощущая, как брызжет чужая кровь, и ничего не чувствуя, кроме яростного торжества.

Не чувствовал он и тогда, когда его оттащили от рухнувшего турка, повалили и начали бить — жестоко и злобно, насмерть. Он сопротивлялся и бил сам, пока не вырвали нож. Повязка соскочила, кровь лилась из открывшейся раны, но он не ощущал ни ее, ни боли, даже когда вдруг перестали убивать. Кровь заливала глаза, он ничего не видел; его тут же подхватили под руки и куда-то быстро поволокли. «Вот и все, — лихорадочно подумал он. — Но я уже ничего не боюсь. Ничего. Я перешагнул…» Он не успел додумать, что же именно он перешагнул и почему это так для него важно. Его грубо поставили на ноги; он качнулся, но устоял, когда вдруг отпустили.

— Кажется, мы знакомы? — на чистейшем французском языке спросил кто-то.

Гавриил отер лицо, успел глянуть, пока кровь снова не залила глаза. Перед ним стоял молодой турецкий офицер. Что-то знакомое мелькнуло в сознании, но Олексин не стал напрягать память.

— Вы мерзавцы! — громко сказал он, нимало не заботясь, поймут ли его. — Я ненавижу и пре-

зираю вас. Презираю!

Офицер что-то сказал, поручика опять подхватили под руки, опять поволокли. Теперь-то он точно знал, куда и зачем его волокут, и опять не боялся, с гордостью думая, что п е р е ш а г н у л. Но подтащили его не к стенке и не к заготовленной могиле, а вволокли в дом и усадили на стул. И кто-то — он не видел кто — стал осторожно и бережно обмывать его лицо и рану на голове. Он успел понять, что это доктор, что его перевязывают, и потерял сознание.

Очнулся на койке; он был раздет догола и накрыт простыней. Болела голова, болело жестоко избитое тело, но боль не мешала думать, и он сразу все вспомнил. Вспомнил спокойно: сейчас в нем не было той яростной ненависти. Сейчас он был не тем, кто бил ножом визжащего турка, но и не тем, каким он был утром. Он был иным, он чувствовал, что стал иным, но в чем именно иным, каким иным, он не знал, да и не хотел знать. Он вспомнил о том ослепительном открытии, которое объяснилось ему одним словом — п е р е ш а г н у л, знал, что он действительно перешагнул словно бы через самого себя, что уже никогда не будет таким, каким был прежде, и улыбнулся разбитыми губами, прощаясь с самим собой.

Потом пришел худой доктор с печальными глазами. Лопотал что-то, осуждающе качая головой. Санитар принес белье и одежду — не его, но тоже волонтерскую и чистую; все оказалось чуть великовато, и пришлось подвернуть рукава. Одевался он сам, хотя это было трудно: кружилась голова, все сильнее болело тело. Гавриил подумал, что поболеть всласть этому телу так и не удастся, и усмехнулся. Он был убежден, что его расстреляют, а то, что до этого им вздумалось перевязывать его, он объяснял для себя судом, перед которым он сейчас предстанет.

Когда он оделся, его повели под усиленным конвоем, которым командовал немолодой сумрачный унтер-офицер. Его вели по улицам села, и встречные турецкие аскеры что-то гневно и зло кричали ему вслед. Лагерь военнопленных был в стороне, за садами, — он догадался по шуму, — и вели его не к лагерю, а к отдельному домику на окраине. Начальник караула вошел в дом, быстро вернулся и проводил Олексина до дверей.

Поручик распахнул дверь, вошел и остановился у порога. Он ожидал увидеть суд, но в комнате был только изящный, улыбающийся и смутно знакомый турецкий офицер.

— Как чувствуете себя? — Вопрос был задан на

безукоризненном французском языке.

— Благодарю. — Теперь Гавриил припомнил яблоневый сад, гнедого жеребца и ловкого насмешливого офицера, который прискакал тогда по его требованию.

— Поздравляю: вы спаслись чудом.

— Вы полагаете, я спасся?

Офицер улыбнулся, мягким жестом приглашая во вторую комнату. Там возле накрытого стола в почтительной позе стоял пожилой денщик. Офицер вежливо поклонился Гавриилу.

— Прошу.

— У меня отбили аппетит.

— Вы молоды и неукротимы, и рюмка коньяка воскресит все ваши желания.

Хозяин был учтив и приветлив, и Олексин, поколебавшись, сел к столу. Молча выпили коньяк, молча посидели, так по-разному глядя друг на друга: хозяин улыбался, но избитое, распухшее лицо гостя было сурово и непроницаемо.

— Кажется, вы нарушаете Коран? — спросил поручик, чтобы что-нибудь спросить.

— Я родился и вырос в Париже. Кстати, мои аскеры убили ваших парижан. Жаль, я бы с удовольствием поболтал с ними.

— Зачем вам эта встреча? — спросил Олек-

син. — Хотите подсластить пилюлю? В этом больше жестокости, чем в кулаках ваших солдат.

— Ешьте, вам пригодятся силы. Потом будем пить хороший кофе, курить хорошие сигары и ждать, когда стемнеет. Правда, сегодня полнолуние, но что же делать.

— Легче будет целиться, — буркнул поручик, принимаясь за еду.

Он вдруг ощутил волчий аппетит. Ел неторопливо, со вкусом, а хозяин прихлебывал вино, с интересом наблюдая за ним.

— Вы христианин, я мусульманин, и мы сидим за одним столом, — сказал он. — Сидим, не чувствуя никакой ненависти, во всяком случае, я ее не чувствую. И естественно возникает вопрос: а существует ли она вообще, эта ненависть к иноверцам, которую веками внушали нашим народам? А может быть, мы молимся одному Богу, только называя его по-разному? Вам не приходило это в голову?

— А вам не приходило в голову, что войны происходят тогда, когда Бог засыпает?

— Это мысль! — рассмеялся турок. — В таком случае он слишком часто спит.

— Естественно: он одряхлел и измучился, пытаясь хоть как-то организовать то, что натворил,

не подумав о последствиях.

— О, вы атеист?

— Я не знаю, кто я, так что можете смело считать меня атеистом и бунтовщиком и распорядиться о расстреле. Благо полнолуние, как вы отметили.

— К сожалению, вы правы. — Хозяин перестал улыбаться. — Вы не просто бунтовщик, вы — убийца. Вы закололи того несчастного идиота. Закололи, как барана: на его теле оказалось двенадцать ран.

Олексин вдруг ощутил все эти раны. Ощутил физически, собственной рукой, наносящей удар за ударом в мягкий человеческий живот, услышал пронзительный визг толстого турка и судорожное клокотанье в горле Валибеды. Аккуратно и неторопливо вытер губы салфеткой, расправил ее, положил на стол.

— Я не жалею об этом.

— Вас расстреляют, как только прибудет начальство.

Сердце Гавриила сжалось, но он заставил себя улыбнуться и спросил почти спокойно:

— Надеюсь, мы успеем до этого выпить кофе?

Они выпили кофе, и турецкий офицер отпустил денщика. Вышел вместе с ним, долго отсутствовал, поручик курил в одиночестве, не чувствуя

аромата дорогой сигары. Потом хозяин вернулся. Походил по комнате, размышляя, сказал, понизив голос:

— Я проведу вас через наши посты, дальше пойдете один. Возьмите фляжку — пригодится.

Олексин хотел спросить, но не мог подобрать слов. Он верил, хотел верить, что турок говорит правду, но вопрос, почему турок поступает именно так, однажды мелькнув, больше не приходил: его уже занимало другое. Молча сунул в карман фляжку, встал, выжидающе посмотрел на офицера.

— Готовы? Идемте.

Небо было почти сплошь затянуто тучами, луна появлялась редко, только в просветах. Они шли по пустынной улице, и турок негромко объяснял, где сейчас находится Олексин и куда ему следует идти, чтобы миновать турецкие гарнизоны. За последними садами села их окликнули, офицер что-то ответил, и часовой пропустил их беспрепятственно. Они миновали его, и местность вдруг осветилась холодным лунным сиянием.

— Подождем, пока скроется луна, — сказал турок. — Отсюда держите прямо на север, до Моравы. Берегом выйдете к своим.

— Зачем вы это делаете?

— Не знаю. — Турок пожал плечами. — Я поставил себя на ваше место и понял, что поступил бы так же. Следовательно, вы правы, вот и все.

Странный мокрый хрип раздался за спиной поручика. Он оглянулся: в трех шагах от него на дереве висело что-то распухшее, непонятное, еле шевелящееся.

— Что это?

— Болгарин. Смотрите-ка, еще жив!

Олексин шагнул ближе: к дереву за ногу был подвешен человек. Страшно разбухшая от прилива крови голова напоминала шар, распухший язык вывалился из раскрытого рта, из носа и ушей сочилась кровь. Свободная нога странно загибалась книзу, уже надрываясь в паху; человек с мучительным хрипом пытался шевельнуть ею, сдвинуть, но она задеревенела и уже не слушалась его.

— Карагеоргиев, — шепотом сказал Гавриил, вглядевшись в налитые кровью, выпученные глаза повешенного.

— Да, болгарин, — равнодушно повторил офицер. — Он подданный султана и, следовательно, изменник.

— Это бесчеловечно, — сдерживаясь, сказал поручик. — Это чудовищно и… Пристрелите же его!

— Да, это жестокая смерть, — согласился турок. — Как вы говорили? Война — это когда засыпает Бог? Вероятно, ему снятся кошмарные сны. — Он достал револьвер, протянул Гавриилу. — Пристрелите сами, если хотите.

Поручик взял револьвер, взвел курок, подошел вплотную к висевшему болгарину. От него уже дурно пахло: он разлагался, заживо пожираемый мухами.

— Прости меня, Карагеоргиев.

Карагеоргиев, напрягшись, выговорил что-то невнятное, из горла потекла кровь. Гавриил сунул ствол в распухшее ухо, нажал спуск. Треснул выстрел, тело вздрогнуло и замерло, чуть раскачиваясь от удара. Олексин вернулся к офицеру, протянул револьвер.

— Что он прохрипел?

— Он сказал одно слово, — нехотя пояснил поручик. — Самое последнее: «БОЛГАРИЯ!»

— Осталось четыре патрона. — Офицер покрутил барабан. — Три вы можете использовать по своему усмотрению, но последнюю пулю советую оставить для себя, если вам снова будет угрожать плен. — Он протянул револьвер Олексину. — И держите все время на север.

— Благодарю.

Турок молча поклонился, гибким жестом коснувшись лба и сердца.

Небо медленно очищалось от туч, луна все чаще освещала землю, но Гавриил благополучно миновал открытое место и успел углубиться в лес. Он держал путь, ориентируясь по Полярной звезде, которую когда-то, еще в детстве, ему показал Захар. И глядя на эту звезду, он вспоминал Захара, его неожиданное обращение «племянничек» и жалел, что сам никогда не давал ему повода так к себе обращаться. Голова его чуть кружилась, избитое тело начинало болеть все сильнее, но он шел легко и быстро, потому что был свободен и шел к свободе.

Начались густо поросшие лесом пригорки; спуски и подъемы были круты, но луна светила в полную силу, и Полярная звезда сияла ему, как маяк. Он не позволял себе отдыхать, торопясь добраться до Моравы, но, с ходу взяв крутой подъем, запыхался и остановился. Достал фляжку с коньяком, сделал глоток и, пряча фляжку в карман, ощутил вдруг сладковатый трупный запах. Оглянулся: в кустах ничком лежал труп в знакомой волонтерской форме.

Теперь он шел медленно, всматриваясь, боясь наступить на человеческие останки. Стойкий

трупный запах усиливался, и вдруг по изломанным кустам, по разбросанным пожиткам, патронам и оружию он понял, что идет сейчас по собственной позиции.

«Пахнет только чужая смерть, — с горечью подумал он. — Только чужая…»

Левее должна была быть поляна, он взял левее и вышел на нее; даже навес на ней сохранился. Он остановился перед этим навесом, не решаясь приблизиться, но заставил себя сделать шаг и заглянуть. И вздрогнул: на окровавленных клочьях шинели лежал обрубок без рук, без ног и без головы. Все это валялось рядом: черная цыганская борода дико и нелепо торчала среди отрубленных конечностей.

«Расплата…»

Он ни о чем не подумал, пришло только это слово. Оторвав кусок шинели и завернув в него голову Совримовича, нашел на небе Полярную звезду.

Он шел и думал о том, что пахнет только чужая смерть и что эта чужая смерть и есть расплата за все. За ошибочные теории и фальшивые идеи, за просчеты политики и тупость правителей, за спровоцированную ненависть и фанатическую жестокость — за все, что есть преступного

и подлого на земле, платят чужими жизнями и чужими смертями. За все — одна цена, потому что пахнет только чужая смерть и запах ее никогда не достигает кабинетов, в которых решаются судьбы людей.

К рассвету он вышел к Мораве. Мутная, разбухшая от дождей, она бежала перед ним, крутясь и пенясь. Он долго смотрел на темную воду, а потом стал на колени и бережно скатил в нее отрубленную голову Совримовича. Подхваченная быстрым течением, она не утонула — ее завертело, понесло, и он еще долго видел белое лицо и черную цыганскую бороду…

11

А Иван Гаврилович Олексин, немного оправившись от удара, встал на исходе этой ночи и медленно, шаркая ногами, побрел к лестнице. Зачем, почему — об этом уже никто никогда не узнал. Он рухнул на ступенях, рухнул прямо, как рушится подпиленный дуб. Рухнул мертвым.

Олексины не умирали в постелях.

Эпилог

Самое спокойное время года — осень — на этот раз выдалось хлопотливым, переполненным новостями, а более того — слухами. Обычно такая степенная, сытая и довольная собой, Москва ныне изнемогала под гнетом событий, отзвуки которых будоражили ее почти ежедневно. И хотя события эти происходили где-то далеко — настолько далеко, что большинство москвичей и не знали, где именно все случалось, в каких землях и народах, — Москва страдала ими искренне, заинтересованно и затяжно.

— Что в Сербии, не слыхали?

— Бои, батенька, сражения!

Крестились москвичи, о своих думая. Брови хмурили, рассуждать начинали.

— Говорят, у турок генерал объявился, из молодых. Осман-паша, что ли.

— Оставьте, что вы!

— Нет, право…

— Ну откуда, скажите на милость, откуда у них полководцы? Англичане у них полководцы, если вам угодно знать. Англичане!

Как ни обидно было москвичам, но в далекой

(и такой близкой, как выяснилось!) Сербии генерала Черняева били не англичане, а самые что ни на есть природные турки. И в этих боях тогда впервые прозвучало имя дивизионного турецкого генерала Османа Нури-паши. Войска его отличались дисциплиной, упорством, гибкостью маневра, быстротой и решимостью; аскеры Османа-паши не боялись знаменитых штыковых атак, в которые с отчаянной бесшабашностью бросались измотанные боями русские волонтеры.

— Нет, не может того быть! — протестовал против очевидности рядовой москвич, три месяца назад проводивший в Сербию собственного сына. — Разве ж турки могут нас бить?

Но втайне, про себя, любой москвич, любой урапатриот из Охотного Ряда знал, что нет в Сербии никаких англичан, что бьют плохо организованную, плохо вооруженную и растянутую по Мораве армию Черняева те самые турецкие генералы, о которых в России не было принято говорить всерьез еще со времен Румянцева-Задунайского.

29 октября принесло турецкой армии решительную победу при Кружеваце. Отдельные волонтерские соединения и конная группа Медведовского были рассеяны, сербской армии более не существовало, и путь на Белград был открыт.

Через четыре, много — шесть дней передовые турецкие части намеревались вступить в столицу Сербии, сломив в пригородах последние заслоны повстанцев и народного ополчения. Ни легендарная отвага черногорцев, ни упорство сербов, ни кровавые жертвы боснийцев и герцеговинцев, ни энтузиазм волонтеров не смогли поколебать могущества Блистательной Порты. Первый штурм османской твердыни немногочисленными и не объединенными единым знаменем славянскими силами был отбит. В Константинополе готовились к параду.

Однако преждевременно. 31 октября русский посол граф Игнатьев ультимативно заявил правительству Блистательной Порты:

— Если в течение двух суток не будет заключено безусловное, распространяющееся на всех воюющих перемирие сроком от шести недель до двух месяцев и если начальникам турецких войск не будет отдано решительных приказаний немедленно прекратить все военные операции, то дипломатические отношения будут прерваны.

И отправился демонстративно укладывать чемоданы. Турки остановили победоносный марш на Белград, Сербия была спасена, но Александр II уже не мог остановиться. Через две недели был

отдан приказ о мобилизации шести армейских корпусов: Россия бросала меч на славянскую чашу весов.

Зашевелились полки, артиллерийские и инженерные парки, санитарные и обозные части. Снимаясь с насиженных мест, пополнялись на ходу, уже торопясь, уже поспешая куда-то. Заскрипели по дорогам армейские фуры, подскочила цена на овес, и — еще до войны, еще лишь возвещая и предчувствуя ее, — зарыдали бабы на Руси. Привычно, отчаянно и безысходно:

— Прощайте, соколы!

Уходили полки. Надрывались оркестры. Улыбались сквозь слезы женщины. Изо всех сил улыбались, потому что нельзя было, недопустимо и жестоко было огорчать тех, кто уходил, печатая шаг под полковой оркестр.

— Куда, братцы, путь держите? — спрашивали с обочин украшенные медалями крымские инвалиды.

— Турку бить, отцы!

— Посчитайтесь, братцы! Дай вам Бог!

В общем потоке снялся с зимних квартир и 74-й Ставропольский пехотный полк. Четырьмя колоннами (четвертую, хозяйственную, вел подполковник Ковалевский) стягивался к Тифлису

по скверным и страшным кавказским дорогам.

— Дай вам Бог, братцы!

А Москва странно встречала события.

В Охотном Ряду толковали о проливах, Константинополе, поруганной вере и скорой победе.

Студенчество шумело на сходках (косились жандармы, вслушиваясь напряженно), едва ли не впервые искренне и восторженно приветствуя грядущую войну. Здесь громко пели песни и громко требовали свободы. Не для себя, правда, — для всех славян разом.

Москва бульваров, Садовых, Поварской и Арбата негромко печалилась о неготовности армии, о запущенности управления, о плохом вооружении. Пророки в генеральских мундирах грозно предрекали тяжкие бои и неблизкую победу.

На Рогожской считали, неторопливо ворочая миллионами. Убытки на Сербию списали сразу: тут не мелочились, думали крупно и решали крупно. Война требовала денег, но обещала прибыль.

В Тверских переулках…

Да, Москва хоть и говорила о разном, но думала об одном. Уж везде решили, что войны не миновать, что война та будет славной и гордой, что не себя спасаем, а братьев своих, и оттого восторг и

нетерпение выплескивались через край. И войной, этой грядущей войной дышало сейчас все.

1876 год неторопливо отступал в историю.

Часть вторая

Глава первая

1

Новый, 1877 год огорошил известием, на время заслонившим все — и предвоенный ажиотаж, и велеречивые заседания, и искренние восторги, и женские слезы: в Киеве лопнул частный коммерческий банк. Газеты взахлеб писали о систематическом воровстве, о фальшивых книгах, что велись еще с 1872 года, о ложных балансах и дутых счетах. Основными виновными задолго до суда были повсеместно объявлены кассир, бухгалтер да контролер.

— Дурной знак, — торжественно изрекла Софья Гавриловна. — Год крахов. Вот увидите, грядет год крахов.

Пророчество имело под собой некоторые личные основания. Каким бы ни был Иван Гаврилович скверным отцом, а столпом семьи он все же являлся — не сердцем, не осью, а именно столпом, подпиравшим весь семейный бюджет. И стоило этому столпу рухнуть, как Софья Гавриловна с удивлением обнаружила, что Олексины совсем не так богаты, как это представлялось со

стороны. Псковское имение оказалось заложенным под чудовищные проценты, рязанское и тверское — разорены до крайности. Требовалось что-то предпринимать, что-то немедленно делать, но свободных денег было немного, и Софья Гавриловна начала с того, что быстро продала богатому мануфактурщику московский дом.

— А ты — вон, — сказала она Петру.

Петр заплакал. Ни о чем не просил, только размазывал слезы по толстым щекам. Игнат забеспокоился, заморгал, засуетился:

— Барыня, Софья Гавриловна, пожалей дурака!

— Молчи! — оборвала тетушка. — Ты покой заслужил, а с его шеей пахать надобно. Вот пусть и пашет. И письма не дам, и не отрекомендую. Вон!

Игнат промолчал. Голова его теперь тряслась безостановочно, да и ноги слушались плохо. После продажи дома перебрался в Высокое, жил тихо, целыми днями пропадая на кладбище возле двух мраморных крестов. Перед Рождеством не вышел к ужину, позвать забыли, а утром нашли уже холодного.

Продав московский дом и заткнув вырученными деньгами дыры в хозяйстве, Софья Гавриловна уверовала в собственную деловую хватку и за-

метно повеселела. Очень сдружившись с Варей, безропотно помогавшей во всех ее начинаниях, вечерами заходила в ее комнату помечтать.

— Ну, проценты мы уплатим. Хорошо бы, конечно, лес продать. Но побережем, побережем! Нам, голубушка, еще три свадьбы поднимать.

— Какие три свадьбы?

— Машину, Таисьи и вашу, барышня, вашу!

— Маша с Таей и без вас женихов сыщут — курсистки. А я… Ах, оставьте вы меня, тетушка милая, оставьте!

— И не подумаю, — строго говорила Софья Гавриловна. — Видела, сколько красавцев в Смоленск пожаловало? Да все при мундирах, при усах и саблях!

Но Варя только вздыхала. Дни шли, а знакомств не прибавлялось, хотя в Смоленске и вправду появилось много офицеров.

И, вздыхая, Варя все же ждала и верила.

Незадолго до Крещенья ливрейный лакей доставил надушенное письмо: Александра Андреевна Левашева приглашала на благотворительный базар, предлагая Варе взять на себя продажу оранжерейных роз («Уж у вас-то, душенька моя, все непременно за золото скупят, а золото сие на организацию госпитальных отрядов пойдет, на

святое общеславянское дело»). Варя по-детски обрадовалась, до счастливых слез. У лучших мастериц заказали платье по парижским фасонам, подобрали шляпку с лентой из белого шелка, и в назначенный час Варя заняла место в украшенном цветами киоске, проведенная туда лично самой хозяйкой.

— Вы прелестны сегодня, душенька, и шляпка вам очень к лицу, — сказала Левашева, милостиво потрепав Варю по щеке надушенной рукой. — Уверена, что среди покупателей найдутся истинные ценители живой красоты.

Варя поняла намек, покраснела и потупилась. Александра Андреевна ласково улыбнулась ей и вышла, и Варя наконец-то могла прийти в себя, успокоиться и оглядеться.

Весь просторный зал Благородного собрания, где обычно давались парадные балы, которые по традиции открывал сам предводитель дворянства, в этот день был тесно уставлен легкими, изящно убранными киосками. В них уже заняли места барышни, нарядные и взволнованные, готовящиеся продавать ленты и игрушки, брелоки и платочки, собственное рукоделие и прочую мелочь, за которую приглашенные должны были расплачиваться, не спрашивая ни цен, ни сдачи.

Варя быстро окинула зал, улыбнулась знакомым, с ликованием отметив, что ее киоск и больше и наряднее других и что только она торгует сегодня розами из оранжерей самой Левашевой. Вокруг нее на полу и на прилавке стояли большие вазы с живыми цветами, но голова ее сладко кружилась не только от аромата, что источали свежие, обрызганные водой розы. Пришел ее час, ее выход на сцену, и великое значение этих мгновений Варя ощущала всем существом своим, и сердце ее билось отчаянно и весело. Сегодня, именно сегодня должно было нечто произойти, нечто очень важное, огромное, чему должна была подчиниться ее жизнь отныне и до самой кончины.

Все восемь двустворчатых дверей распахнулись одновременно, оркестр на хорах заиграл марш, и в зал торжественно вступили гости. Впереди шла Левашева под руку с губернатором.

— Хочу представить вам, ваше превосходительство, нашу очаровательную цветочницу, — сказала она, подводя сановного старика к киоску. — Это Варенька Олексина, дочь, увы, покойного ныне Ивана Гавриловича и моя протеже.

— Весьма рад, весьма. — Губернатор ласково улыбнулся. — Цветы из таких ручек стоят золота, господа, не так ли? — Он положил на тарелку

империал, выбрал розу и протянул ее Левашевой. — И помните, господа, что ваша сегодняшняя щедрость завтра обернется спасением сотен и тысяч русских страдальцев.

Сказав это, губернатор предложил руку Александре Андреевне и торжественно прошествовал к другим барышням, не задерживаясь, однако, нигде и ничего более не покупая. Совершив круг и открыв тем самым благотворительный базар, его превосходительство покинул зал, дабы не смущать никого своим присутствием. Левашева вышла вместе с ним, в зале сразу возник шум и веселый говор, а возле киоска Вари образовалась целая очередь желающих истратить золотой. Золотые эти то и дело тяжко падали в тарелку, разрумянившаяся и похорошевшая Варя еле поспевала сгребать их в ящичек и подавать розы и опомнилась только тогда, когда кончилось это волнующее звяканье золота и перед нею остался один-единственный покупатель, не спешивший ни покупать, ни отходить от киоска.

— Добрый день, Варвара Ивановна. Я был представлен вам, если припомните.

Варя едва ли не впервые с начала торговли подняла глаза. Перед нею, привычно улыбаясь ничего не выражающей улыбкой, стоял князь

Насекин.

— Здравствуйте, князь. Какую розу вы желаете?

— Прошу извинить, я не любитель оранжерейных цветов.

— А…

Варя смешалась и, чтобы скрыть смущение, принялась с преувеличенным усердием наполнять цветами опустевшие вазы. Она доставала розы из ведер, спрятанных за прилавком, отряхивала и ставила в букеты, ожидая, что князь либо затеет разговор, либо уйдет. Но князь продолжал молча смотреть на нее, с грустью, как ей показалось, следя за каждым ее движением, и это было неприятно.

— Вы надолго в Смоленск? — спросила она, чтобы хоть как-то нарушить это странное молчание.

— Нет. А что же вы одна? Ваша сестра…

— Сестра в Москве, — поспешно и неучтиво перебила Варя. — Она стала курсисткой.

— Жаль, — сказал князь. — А я, представьте, еду в Кишинев и далее, куда двинется армия. Как там у Лермонтова? Кажется, «даст Бог, может, сдохну где по дороге».

— Ну зачем же столько горечи, князь.

— Может быть, это вследствие того, что я не люблю оранжерейных цветов?

— Право, это странно…

— Прошу прощения! — громко и резко сказал коренастый господин, подходя к киоску.

Князь посторонился. Незнакомец коротко поклонился Варе, высыпал на тарелку несколько зазвеневших полуимпериалов:

— Из ваших рук, мадемуазель.

— Здесь… здесь слишком много, сударь, — растерянно сказала Варя, собирая по прилавку рассыпавшиеся золотые.

Князь неприятно растянул тонкие губы, изображая улыбку:

— Оранжерейные цветы стоят дорого, Варвара Ивановна.

И, поклонившись, неторопливо пошел к выходу. Варя проводила его глазами, вновь глянула на щедрого господина.

— Вы заплатили за всю вазу?

— Ровно за один цветок. — Господин улыбнулся, показав крупные белые зубы. — Один, но из ваших рук.

— Благодарю, — сухо ответила Варя: ей не понравились развязные нотки. — Какую желаете?

— На ваш вкус.

Варя выбрала розу, протянула. Незнакомец взял цветок, неожиданно задержал ее руку.

— И тур вальса. У вас не будет отбоя от кавалеров, но тур вальса — за мной.

— Вы слишком… — Варя вырвала руку, — слишком вольны, сударь.

— Тур вальса! — Он вновь сверкнул улыбкой. — Думайте об этом туре.

Поклонившись, неизвестный ушел. Варя злорадно отметила мужицкую тяжеловесность его походки, усиленно занялась цветами, но не думать о танцах уже не могла. Сердилась на себя, на развязного, самоуверенного наглеца, старалась думать о другом и не могла.

Через час белозубый мужиковатый господин вновь появился подле ее киоска в сопровождении самой Софьи Гавриловны и был тут же ею представлен, правда, несколько путано и невразумительно. Сверкнул улыбкой, высыпал несчитанную пригоршню золота, преподнес Софье Гавриловне розу, поклонился и ушел, демонстрируя увесистую походку и тяжелую, несокрушимую спину.

— Миллионщик, — с легкой завистью сказала тетушка. — Но не то, не то. Женат. А ты молодцом, Левашева от тебя в очаровании.

— Он потребовал вальс, — пожаловалась Варя.

— Кто потребовал, этот… Хомяков? — Софья Гавриловна с усилием припомнила фамилию только что представленного ею господина. — Наглец, а придется. Много пожертвовал.

— Он мне антипатичен, тетя.

— Что делать, душечка, что делать! Они теперь персоны.

От кавалеров и вправду отбоя не было, и Варя танцевала без отдыха. Однако Хомяков не появлялся, танцы подходили к концу, и Варя невольно начала искать его глазами в группах офицеров. Но Хомякова нигде не было, и в душе Вари росла непонятная досада.

Она уехала домой, обласканная Левашевой и отмеченная в благодарственной речи самим губернатором. Тетушка была в восторге, всю дорогу то растроганно всхлипывала, то принималась целовать Варю, то строила грандиозные планы. Но сама Варя была угнетена и молчалива.

— Решительно не понимаю тебя, Варвара, — озабоченно объявила Софья Гавриловна по прибытии домой. — Феерический успех, покорение губернатора — и такое уныние. Отчего же уныние, поясни.

— Ах, оставьте меня, оставьте! — вдруг со сле-

зами сказала Варя. — Я устала, я просто устала.

А у самой было чувство, что пообещали и пренебрегли. Причем и пообещали с расчетом, и пренебрегли рассчитанно и демонстративно. И чувство это никак не проходило, заслоняя собой весь тот зримый, несомненный успех, который выпал ей на этом благотворительном базаре.

На следующий день поутру немолодой степенный мужик привез огромную корзину роз. Записки не оказалось, мужик на все вопросы поспешно отвечал: «Не могу знать», но у Вари сразу улучшилось настроение. Розы в корзине были точно такие же, как та, которую выбрала она вчера для Хомякова. «Какой странный, — подумала Варя, расставляя розы по дому. — Вероятно, это от застенчивости. Вчера был развязен, сегодня понял, устыдился и замаливает, а все от застенчивости, и это мило… Господи, что это я?»

На третий день Хомяков явился лично. Варя была наверху, в Машиной комнате, увидела из окна, как он вылезал из саней, запряженных парой серых в яблоках рысаков, но спряталась, как когда-то пряталась от князя Маша. И — ждала, слушая, как замирает сердце.

— Кататься зовет, — с неудовольствием сообщила тетушка, входя. — Вот наглец! Поди откажи.

— Зачем же? — Варя не смогла сдержать улыбку. — Пусть обождет, сейчас оденусь.

— Варенька, это не он. Не он, ты понимаешь?

— Я хочу прокатиться.

— Это компрометантно. Тебе не кажется?

— Так поедем вместе. Тетушка, милая, право, поедем. Такие лошади!

— Да, лошади, — сказала Софья Гавриловна, помолчав. — Заманул. А меня не заманул, и я не поеду.

— Так пошлите с нами кого-нибудь. — Варя отвернулась, чтобы скрыть радость. — Это же ни к чему не обязывает, тетя. Это же так, просто так. Прогулка.

— Именно что просто так, — вздохнула Софья Гавриловна. — Ах, Варвара, Варвара! Не погуби. Только не погуби никого.

— Какие лошади! — с восторгом вздохнула Варя.

Тетушка расценила вздох по-своему и более не противилась. Показаться на таких рысаках после недавнего триумфа было даже полезно: возрастал не только престиж, но и кредит. Однако из гордости она не поехала с мужланом-миллионщиком, послав в качестве соглядатая шуструю, глазастую и ушастую Ксению Николаевну. Варя и укутан-

ная в шали старушка сели в сани, и тысячные рысаки помчались по Смоленску, яростно кося налитыми глазами.

Через час Хомяков осадил разгоряченных коней у кондитерской Христиади, кинул вожжи невесть откуда выскочившему городовому и пригласил дам на чашечку шоколада.

Шоколад пили в отдельном кабинете, прислуживал сам хозяин. Напиток был густым и ароматным, пирожные таяли во рту, за окном, где городовой держал нетерпеливых лошадей, медленно падал снег, что обещало совсем уже сказочное продолжение поездки, и Варя была на седьмом небе.

— Я человек простой, Варвара Ивановна, — сказал Хомяков, испросив разрешения курить и усыпив бдительность Ксении Николаевны большой рюмкой шартреза. — Из мужиков, пробился хребтом и нахальством. Манерам не обучен, да, признаться, и не люблю их: жизнь надо брать за рога. Имею собственное дело, собственный капитал и жену, плоскую, как икона.

— Извините, сударь, я не желаю слышать о…

— Так ведь я не жалуюсь, Варвара Ивановна, — грубовато перебил Хомяков. — Дело говорю, так уж извольте дослушать сперва, а там решайте,

как оно для вас повыгоднее. А в том дело, что от супруги моей детей я не имею, а иметь бы надобно очень, поскольку капиталы большие и все по рукам разойдется да растащится, коли наследников себе не обеспечу. Да, не дала она мне детей, без соков оказалась, яловая, зато богомольная.

— Сударь! — громко сказала Варя в надежде разбудить задремавшую в уголке Ксению Николаевну. — Вы о жене, о женщине, как о скотине! Это возмутительно и неприлично, и я прошу вас…

— Да погодите вы, — поморщился Хомяков. — Война — это прибыль бешеная, недаром я в дело влез. Так мыслю, что утрою капитал, ежели хоть годочек протянется. А кому миллионы пойдут? То-то же и есть, Варвара Ивановна, то-то же и есть. А вы — благородная, красивая, хозяйственная — чего же мне еще-то искать? Так что, считайте, нашел, я-то сам так считаю.

— Я… я не понимаю. — Варя очень растерялась. — Это все странно весьма, согласитесь же, что…

— Виноват, не все сказал еще. Сперва все как на духу скажу, а потом вы решать будете. Завтра я на юг уезжаю — склады мои туда двинулись, — так что либо сразу порешим, либо сутки думать вам да советоваться. До завтрашнего дня, до отъезда

моего.

— Что же, что решать? — Варю вдруг кинуло в жар, лицо ее заполыхало, и Хомяков откровенно любовался им; она кожей чувствовала это и цвела, хорошела под этим уверенным мужским взглядом. — Позвольте, я не понимаю ничего. Какие-то намеки… Извольте же объясниться.

— Это верно, — Хомяков улыбнулся белоснежной молодой улыбкой, — правда ваша, Варвара Ивановна, намеками да экивоками дела не делаются. — Он вдруг резко подался вперед, перестав улыбаться. — Я про ваше положение все знаю, справки наводил. Именьица-то вот-вот с молотка пойдут. А дальше что? Один брат без вести сгинул, второй у графа учительствует, невелик барыш, третий без царя в голове, как говорится, а детей поднимать надо, учить, в люди выводить. А на какие капиталы, Варвара Ивановна? А?

— Позвольте, сударь, нам самим управляться со своими заботами.

— Сами не управитесь, тут деньга нужна. Большая деньга, Варвара Ивановна, увесистая. — Хомяков расчетливо помолчал, ожидая возражений, но их не последовало. — Ну так вот, я деньгу эту даю. Сам векселя скуплю, расписки, обязательства, сам и сожгу на ваших глазах…

в Кишиневе.

Он опять выждал, и опять Варя ничего не сказала. Не потому, что сказать было нечего, а потому, что хорошо знала долговые обязательства, скупить которые угрожал — то, что угрожал, не сомневалась, — этот уверенный в своей силе мужчина.

— Я человек практический, Варвара Ивановна, — продолжал Хомяков. — Не купчина, не барышник, дело у меня крупное, и решаю я крупно: миллион для меня не убыток. Но языкам не обучен, вот какая история, а в Румынии по-русски не говорят. Ну, письма там, бумаги тоже на языке иностранном. И желаю я иметь при себе особу, и по-французски знающую, и не за жалование мне обязанную, почему сразу миллион в обеспечение и предлагаю. Хотите — на булавки, хотите — семье отдайте, ваша на то воля полная. А на остальное моя воля, тоже полная, Варвара Ивановна. А там, глядишь, и жена помрет…

— Как… как вы смеете? — Варя вскочила, ногами резко двинув стул; он упал, зацепившись за ковер, Ксения Николаевна тут же проснулась. — В содержанки? В содержанки — меня, Олексину? Вы… вы негодяй, сударь. Негодяй!..

Хомяков, ничуть не испугавшись ни этого

крика, ни сверкающих гневом глаз, с явным удовольствием наблюдал за Варей, удобно откинувшись к спинке стула. Обезоруживающая улыбка вновь появилась на его лице, а всегда настороженные глаза смотрели сейчас почти восторженно.

— Ух, хороша! — сказал он весело. — Чудо! Всю войну ждать тебя буду, так и знай. Так что сама меня ищи, как надумаешь. Мы с тобой куда как добрая пара: полный воз ребят в жизнь вывезем.

— Негодяй, — еле сдерживая слезы, сказала Варя. — Боже, какой негодяй! Идемте же, Ксения Николаевна, идемте отсюда!

На улице Варя дала волю слезам, благо народу почти не было. Бежала, скользя по звонкому снегу, и Ксения Николаевна с трудом поспевала за ней. А рядом с затоптанным тротуаром, не отставая и не обгоняя, рысила серая в яблоках пара, и городовой на козлах не отрывал от Вари глаз, готовый тут же откинуть медвежью полость по первому ее знаку. И эта готовность была сейчас особенно, до боли оскорбительна, будто обещанный миллион уже лежал в ее муфточке.

На подходе к дому сани тактично отстали. Варя сумела успокоиться, взять себя в руки и войти в дом хотя и в смятении, но уже без слез и отчая-

ния. Она ни словом не обмолвилась о разговоре в кондитерской Софье Гавриловне, а шустрая приспешница сообщить могла немногое, поскольку сладко продремала все это время. Тетушка несколько раз приступала к Варе с расспросами, но Варя отмолчалась, и Софья Гавриловна вскоре оставила эти попытки.

Хомяков больше не появился, прислав на следующий день очередной букет и прощальную записку. В записке, весьма вежливо, но запутанно составленной, содержалось указание, где именно следует теперь его искать. Варя прочитала послание, хотела немедленно порвать и сжечь — и не сожгла. Спрятала в шкатулку, где хранились ее личные письма, драгоценности и старые, еще пансионные дневники.

Жизнь потекла по-прежнему, но Варю не оставляло тревожное чувство, что она невольно чего-то ждет. Чувство это беспокоило ее, выбивало из привычной колеи, мешало с прежним прилежанием помогать тетушке во всех хозяйских делах. Варя плохо спала ночами, начинала читать и вновь бросала книгу, бродила в потемках по дому и — думала.

2

Маша и Тая вместе с присланной из Смоленска для ведения хозяйства и надзора Дуняшей снимали квартиру на Остоженке, с прежним рвением бегая каждое утро на курсы. Жили скромно, принимая только подруг по ученью да Беневоленского; Федор имел свою комнату в квартире, но пользовался ею редко, предпочитая ночевать вне дома.

— За мной следят! — страшным шепотом сообщал он. — Девятый вал арестов!

Беневоленский, по-прежнему живший по паспорту мещанина Прохорова, скептически улыбался. Аресты действительно случались, а в связи с подготовкой к войне и усилились, но за что было арестовывать Федора Олексина, Аверьян Леонидович решительно не мог себе представить и считал, что Федор упоенно играет и в подрывную деятельность, и в слежку, и в опасности. Кроме того, он вообще не любил его еще со времен знакомства в Высоком.

— У них нет никакой организации, никакой программы или хотя бы цели в действиях, — говорил он за чаем, имея в виду новых друзей Федора. — Витийствуют, кричат, шумят, но даже

полиция смотрит на них с насмешкой. И кто знает, может быть, даже поощряет: самодержавию они не опасны.

Когда он говорил вот так спокойно и рассудительно, барышни безоговорочно верили ему и вместе с ним смеялись и над Федором, и над собственными страхами. Но Беневоленский уходил, а Федор сыпал ужасными подробностями об арестах, тревогах и преследованиях, и Маша с Таей снова начинали пугаться. Федор наслаждался их волнениями, пугал еще пуще, исчезал куда-то и появлялся неожиданно и странно, как всегда.

— Машенька, я так боюсь за него! — вздыхала Тая, когда Федор исчезал. — Он такой безрассудно отважный!

Как-то само собой случилось, что Тая приобрела право совершенно по-особому тревожиться за Федора, гордилась этим правом, дорожила им и поверяла свои тайны только Маше, да и то шепотом, в темноте, в девичьих беседах перед сном. Маша все понимала, догадываясь, впрочем, что это пока еще не любовь. Просто Тае необходимо было о ком-то заботиться, кого-то ждать, и ждала она Федора. А Федор вспоминал о ней только тогда, когда видел ее, а если не видел, так и не вспоминал, увлеченный собственной деятельно-

стью и собственными волнениями. Отношения их казались Маше не очень глубокими. Серьезная любовь, та, что нашла ее, представлялась ей спокойной и уравновешенной, которой не страшны никакие осложнения, разрывы, ссоры и разлуки. Маша сразу же согласилась ждать и не страдала, а, наоборот, очень ценила это ожидание счастья. Для нее все было еще впереди, когда она и Аверьян Леонидович, закончив ученье, уедут в глухую дальнюю деревню учить и лечить. Вот тогда и начнется то, что Маша считала счастьем, и в ожидании этого счастья жила ровно, радостно и терпеливо. До того вечера, когда Беневоленский пришел без обычной своей улыбки. Хмурился, озабоченно потирая лоб, а когда Дуняша ушла на кухню, сказал приглушенно:

— Большая неприятность, барышни. Убит надзиратель Бутырского тюремного замка. Зверь был надзиратель, студентов бил, издевался над политическими — и вот, пожалуйста. Кто-то не выдержал или… Теперь уж сыскное за нас возьмется вкупе с жандармами и полицией… — Он помолчал. — Словом, мне придется уехать. Пока не решено еще куда, но думаю, что проще всего вольноопределяющимся.

— Уехать?.. — еле слышно обронила Маша.

— На войну? — ахнула Тая.

— Ну какая для меня война — я медик. Где-нибудь пристроят в военно-временном госпитале, подальше от любезного отечества. А сейчас, извините, бежать надо. Я ведь и вас могу подвести, слежка не исключена. — Он встал. — Прощайте, Машенька. Ждите меня, умоляю, ждите. Повоюем, постреляем, людей покалечим — и все забудется. Тогда и вернусь и увезу вас.

Маша встала, словно вдруг сделавшись меньше ростом, а глаза точно выросли, занимая теперь пол-лица, жадно ловя взгляды Беневоленского. Она хотела сказать что-то, но губы дрожали, и она так ничего и не сказала. Аверьян Леонидович бережно обнял ее, привлек к себе, поцеловал в лоб.

— Помните, что люблю вас, что жизни своей не мыслю…

— Не уходите… — Маша запнулась. — Нет, нет, что я! Уходите, немедленно уходите. Бегите от них, дорогой мой, любимый мой. Бегите! Я… я сама найду вас, слышите? Найду, найду!..

Уйти Аверьян Леонидович не успел: вошел Федор. Он был чем-то до крайности взбудоражен, нервно потирал руки и дергал уголком рта.

— Хотя бы темноты дождались, — буркнул он, увидев одетого Беневоленского.

Прошел умыться. Заметив растерянность барышень, Аверьян Леонидович снял пальто. Все молчали, невольно прислушиваясь, не идет ли Федор. Наконец он вернулся, сел к столу, спросил водки. Выпил рюмку, поданную Таей, глянул на Беневоленского, усмехнулся:

— Не от меня надо бегать.

Аверьян Леонидович смотрел на его дергающийся рот, на пальцы, что не могли остановиться, успокоиться. Спросил вдруг:

— Вам известно, что убит надзиратель…

— Не убит, а казнен, — поправил Федор. — Приговор приведен в исполнение.

— Чей приговор?

— Наш.

Федор словно обрушил это слово — так увесисто оно прозвучало. Аверьян Леонидович чуть сдвинул брови.

— По какому же праву…

— Право завоевывают, господин Беневоленский, а не ждут.

— Но это же убийство! — вскрикнула вдруг Маша. — Это убийство!

— Убийство? — Федор впервые отвел глаза от Аверьяна Леонидовича и посмотрел на сестру. — А держать в казематах людей, вся вина которых

заключается в том, что они власти не приемлют, не убийство? А вешать их под оркестры — не убийство? А ссылать в рудники тоже не убийство? В тебе кричит сейчас гнилая мораль прошлого, сестра, мы отметаем ее.

— Но с какой же целью, Федор Иванович? — тихо спросил Беневоленский, стремясь снять ту истерическую экзальтацию, в которой пребывал Федор. — С целью борьбы за право вершить суд и расправу? Но при чем тогда этот надзиратель, от которого ровно ничего не зависит? Ради мщения? Мелко, опять не тот объект. Что же он, объект этот, случайно под руку вам подвернулся или все же есть хоть какая-то цель, программа какая-то?

— Вы развращаете народ, господа пропагаторы, да, развращаете! — покраснев, закричал вдруг Федор. — Правительство развращает сверху, а вы снизу, обещая журавля в небе после дождичка в четверг. Вы гасите стихийные порывы толпы, льете масло на бушующее море, мужик уповает уже не на топор, а на вашу социальную сказку о земном рае. Удивляюсь, за что вас преследуют: на месте правительства я бы ордена вам жаловал.

— Почему ты повторяешь чужие слова, Федор? — строго спросила Маша. — У тебя нет своей правды?

— Федор Иванович объясняет, — тихо сказала Тая. — Зачем же кричать?

Федор быстро глянул на нее. Тая смущенно улыбнулась и опустила глаза. Маша сердито дернула плечом, перебросив косу на грудь, и стала привычно теребить ее, по-прежнему гневно сверкая глазами.

— Вы не отвечаете на вопрос, — сказал Беневоленский. — Вопрос мой касался цели.

— Я помню. — Федор закурил. — Как ни странно, цель у нас общая: разрушить этот порядок вещей. Цель общая, а средства противоположные. Там, где вы убаюкиваете, мы возмущаем, где обещаете, мы потрясаем, где уговариваете, мы взрываем. Ваша программа основывается на долготерпении русского мужика, наша — на его бунтарском инстинкте. Вы хотите разбудить Россию шепотком, мы — взрывом. Да, взрывом! — Федор с вызовом оглядел всех, вновь чуть задержавшись на рыжей барышне напротив. — Сотни лет Россию гнули к земле страхом — мы хотим обратить его против тех, кто им пользуется с помощью правительства, церкви и той подленькой рабской морали, что копошится во всех вас, господа радикалы, социалисты, либералы и прочие так называемые носители общественной

совести. Вы говорите, что надзиратель не объект? Какой рационализм! Дело не в объекте, дело в вызове! Мы хотим посеять страх во всех звеньях государственного аппарата, от законодателя до исполнителя, и мы посеем этот страх. Да, посеем! И если для этого понадобится храм взорвать, мы и храм взорвем. И тогда…

— И тогда площади уставят виселицами, а тысячи безвинных пойдут на каторгу, — резко перебил Беневоленский. — Это не программа, это кошмарный план охранки. Вами руководят провокаторы, Олексин, опомнитесь.

— Как вы смеете! — Федор, краснея, медленно вставал, опираясь о стол руками. — Как смеете оскорблять моих друзей, героев, благороднее и честнее которых… Убирайтесь вон отсюда!

— Сидите, Аверьян Леонидович.

Маша тоже встала. Брат и сестра в упор глядели друг на друга, разделенные столом, и молчали.

— Аверьян Леонидович — мой жених. — Маша чеканила каждое слово, а глаза ее приобрели сейчас холодноватый отцовский блеск. — Либо ты сейчас же попросишь извинения, либо… либо уйдешь навсегда.

— Ты сейчас выбираешь, Мария, — тихо сказал Федор.

— Я выбрала.

Федор опустил глаза. Долго смотрел в стол, машинально разглаживая скатерть, потом аккуратно задвинул на место стул и, ни на кого не глядя, пошел в прихожую. Тая растерянно посмотрела на Беневоленского, на Машу и быстро вышла следом.

— Ужасно! Вероятно, мы все не правы, — сказал Аверьян Леонидович.

— Я выбрала, — повторила Маша, по-детски упрямо тряхнув головой. — И это не сгоряча.

Вошла Тая. Закрыла дверь, обвела всех расширенными глазами.

— Он ушел.

Маша промолчала.

— И мне пора. — Беневоленский встал. — Прощайте, Тая.

Тая молча кивнула. Аверьян Леонидович грустно усмехнулся. Маша вышла проводить его, вскоре вернулась.

— Я уеду, — сказала Тая. — Может быть, завтра-послезавтра, не знаю. На днях.

— Куда?

Тая неопределенно пожала плечами. Она говорила отрывисто, глядя в темное ночное окно.

— Выгнать брата, у которого нет ни угла, ни

денег. Ты из страшной породы, Мария. Федор сказал, что ты в отца.

— Отец никогда бы не подал руки тому, кто хотя бы на словах восхваляет террор. Я тоже.

— Федор несчастный человек! — почти выкрикнула Тая. — Загнанный, загнанный в угол!

Судорожно всхлипнув, она выбежала из комнаты. Маша убрала со стола, подумала. Потом подошла к комнате Таи, приоткрыла дверь. Тая лежала на кровати, спрятав лицо в подушки.

— Он вернется, Тая, — тихо сказала Маша. — Я лучше тебя знаю своего брата. Он вернется.

Федор вернулся на третью ночь. Поскреб в дверь так тихо, что услыхала одна Тая.

— Господи, Федор Иванович, наконец-то!

Федор был весь в снегу, мокрый и озябший, точно пролежал день в сугробе. Глаза лихорадочно блестели. Тая видела, как колеблется в них свет лампы, которую она держала в руках.

— Не приходили? — спросил он. — Никто не приходил? Меня не спрашивали?

— Нет, — удивленно сказала Тая. — Вы озябли, Федор Иванович, я чай поставлю.

— Нет, нет, не надо. Дайте водки. У нас есть водка?

Тая достала графин, налила рюмку. Он выпил,

попросил хлеба. Съел целую французскую булку с большим куском колбасы. Ел жадно, глотал не прожевывая. Потом дико посмотрел на Таю.

— Виселица ждет.

— Что? — испугалась Тая.

— Бежать надо, бежать! А куда? В Смоленске найдут, в Высоком найдут, в Туле тоже найдут. Куда же, а?

— В Тифлис, — шепотом сказала Тая. — В Тифлис, Федор Иванович!

Весь день Федор прятался в комнате Таи. Он ничего не рассказывал, и расспрашивать его не стали. Маша дала денег, Тая купила два билета на вечерний поезд и в сумерках с величайшими предосторожностями отвезла Федора на вокзал.

Во втором классе Федор ехать категорически отказался. Тряслись в третьем, забитом узлами и корзинами, в чадном сумраке махорочного дыма, оплывших свечек, душных испарений, среди ругани, храпа, стонов, слез и жалоб. Федор забрался в угол под низко нависшую полку, дремал на Таином плече, изредка испуганно вздрагивая. Сердце Таи сжималось от жалости к нему, такому потерянному, замученному и слабому. Сидела, боясь пошевелиться, промокала платком испарину на его лбу.

— Муж? — спросила сидевшая напротив пожилая чиновница в старой мужской шинели.

Тая кивнула, чувствуя, как застучало сердце.

— Болен, видать, — вздохнула добрая чиновница. — А у меня болел-болел, да и помер. А пенсии не дают. Вот в Москву ездила, хлопотала, а зря, только потратилась. Не подмажешь — не поедешь, так-то мир устроен, а подмазывать нечем. — Она опять вздохнула, поглядела на Федора. — Чайку бы ему, ишь мается. На станции сбегайте, я чайничек дам.

За Харьковом Федор немного успокоился, даже повеселел, то ли поверив в спасение, то ли просто устав бояться. Но говорил по-прежнему мало, односложно отвечая на вопросы и поспешно отклоняясь в тень, под полку, как только в вагон входил посторонний. Но Тае и от этого стало полегче; на станциях в сумерках она выводила его гулять. Федор слушался, как маленький, и Тая думала, что теперь во имя спокойствия этого человека она готова ехать в Крымскую, вытерпеть любой позор, но уберечь, сохранить и спасти его. Не для себя — для него самого, для его счастья.

После долгих мучительных пересадок добрались до Тифлиса. Но когда наконец-таки оказались на узкой крутой улочке, где когда-то

Владимир снимал комнату, сердце Таи болезненно заныло. Она вспомнила его торопливый уход навстречу гибели, его последнюю улыбку и не смогла сдержать слез.

— Почему мы стоим? Почему? — встревожился Федор. — Это не здесь?

— Простите, Федор Иванович. — Тая торопливо отерла слезы. — Не знаю только, пустят ли вдвоем.

Она думала, как ей представить Федора хозяйке. Форма была одна — та, к которой прибегла она в поезде при разговоре с бедной чиновницей. Но утверждать это при Федоре было неудобно.

— Вы обождите здесь, Федор Иванович.

— Нет-нет, я не стану ждать. Мне нельзя ждать, Тая, право, никак нельзя. Идемте вместе. Идемте же.

Пришлось идти вдвоем и мучительно краснеть, говоря толстой хозяйке с жесткими усиками над пухлой верхней губой:

— Я с мужем, если позволите.

Хозяйка отнеслась к этому известию спокойно, Федор и бровью не повел, а Тая продолжала краснеть, глядя, как хозяйка застилает чистым бельем единственную кровать. Чтобы скрыть смущение, завела длинный разговор о работе, о мастерицах

и модных портнихах, о ценах, возможных заказчицах и о множестве иных проблем. Хозяйка отвечала с удовольствием, детально обрисовывая каждую даму, которой касалась в разговоре; Тая не прерывала ее, вышла вслед на хозяйскую половину, долго пила там чай, слушала, а сама ощущала каждое мгновение, ибо мгновение это неумолимо приближало ночь. И очень надеялась, что Федор сам что-то придумает, на что-то решится, избавив ее от необходимости принимать решение хотя бы сегодняшним вечером. Пила чай, поддакивала хозяйке, а перед глазами стояло широченное супружеское ложе.

Вернулась в комнату под стук собственного сердца. С отчаянной решимостью распахнула дверь и с облегчением перевела дух: Федор лежал на полу, подстелив студенческую шинель, в которой бегал эту зиму, и накрывшись тужуркой. То ли прикидывался спящим, то ли действительно спал, но не шевелился. Тая тихо погасила лампу, торопливо разделась и юркнула под одеяло.

А сон не шел. Лежала, натянув одеяло до подбородка, пыталась думать, как они будут жить, где зарабатывать деньги, но думала совсем не об этом. С беспокойством ощущала, как холодает в нетопленом доме, как несет сквозняком из-под

неплотной двери, слушала, как ворочается на полу Федор, пытаясь согреться, и уже знала, что пожалеет, что не выдержит и позовет. Позовет согреться, только унять дрожь и кое-как перетерпеть эту ночь. Точно знала, что позовет, не обманывала себя, но боялась этого и тянула, силой сдерживая собственный голос, который уже рвался с губ:

— Федор Иванович…

— Вы меня? — Федор сразу же сел, закутавшись в тужурку. — Я мешаю вам, да? Я ведь не сплю, ворочаюсь.

— Вам холодно? — еле слышно спросила она. — Так…

— Нет, что вы! — поспешно перебил Федор, не дав ей закончить фразу. — Я холода не боюсь, я совсем не потому не сплю. Я привык так спать, вы не беспокойтесь, пожалуйста. Я ведь по Руси бродил со старичком Митяичем. Хороший был старичок, я рассказывал вам, помните?

— Из дверей дует. — Тая говорила очень тихо, но Федор слышал все, что она говорила, и не хотел слышать того, чего она никак не решалась сказать.

— Это пустяки, что дует, это даже приятно. Знаете, свежий воздух… А не сплю я… не сплю

потому… — Он встал, потоптался на шинели босыми ногами. — Вы позволите закурить?

— Да, конечно, конечно.

Он чиркнул спичкой, прикуривая. Отошел к окну — Тая следила, как плыл по комнате огонек папиросы, как возник в окне темный силуэт, — курил, глубоко затягиваясь. Потом решительно сунул окурок в цветочный горшок и шагнул к кровати. Тая уже не видела его, а лишь чувствовала, что он стоит рядом (протяни руку — и дотронешься), и сердце ее замерло.

— Тая, — хрипло выдохнул Федор и вдруг упал на колени перед кроватью. — Я преступник, Тая. Я понял, что я преступник.

— Что? — Тая вместе с одеялом ринулась от него, больно ударившись затылком о стену. — Что вы говорите, Федор Иванович?

— Истину, — почти по складам выговорил он. — Виселица впереди.

Она молчала, вжавшись в стену. Федор вздохнул.

— Страшно, да? Мне тоже страшно. А когда приговор подписывал, страшно не было. Я думал об этом, когда в поезде ехали: почему же мне тогда-то, когда подписывал, страшно не было? Значит, тем, кто смертные законы издает, тоже

не страшно? Значит, что же получается: люди не совести своей страшатся, а расплаты только, наказания, а не преступления? Так, наверно, так, по себе сужу, по тому, как я сейчас боюсь, наказания я боюсь, Тая. Значит, червь я, как и все, червь, а не человек. Ох, как же это гнусно — собственную подлость ощутить!..

— О чем вы, Федор Иванович? — тихо спросила Тая. — О чем?

— Я человека того, из Бутырок, к смерти приговорил. Не один, конечно, но сейчас это уж и не важно. Важно, что радовался я этому, гордился, могучим себя чувствовал. А потом, когда провалы начались, когда взяли многих — я ведь чудом ушел, истинным чудом! — так и полез из меня страх за шкуру свою, так и полез. И я понимаю, все понимаю, всю мерзость свою, а сделать ничего не могу. Страх этот пересилить не могу: ведь повесят же меня, коли поймают, повесят, Тая, повесят!..

Он упал головой на край постели, зарыдал, затрясся так, что Тая ощутила дрожь его через доски кровати. И тут же, ни секунды не колеблясь, отбросила одеяло, которым до сей поры закрывалась, как щитом. Отбросила, обдала Федора теплом, протянула руки, нашла его голову. И сказала строго и властно, как старшая:

— Иди сюда. Иди ко мне, согрейся, успокойся. И ничего не бойся, ничего, слышишь? Я спасу тебя. Ну иди же, иди ко мне…

3

Весна в этом году выдалась ясной. Днем оглушительно орали воробьи, звонко била капель, но к вечеру все умолкало, затаивалось, и мороз за ночь затягивал все проталины. Что-то нетерпеливое и яростное носилось в воздухе; вечерами тихий Смоленск оглашался криками лихачей, музыкой полковых оркестров, звоном шпор и бешеным ритмом канканов в кафешантанах, разросшихся в городе, как опята в дождливую осень. Опереточные дивы, днем отсыпавшиеся в полутемных номерах, ночью отплясывали на скрипучих досках кое-как сколоченных эстрад, мелькая черными чулками в неверном и загадочном свете свечей.

— Вавилон, — кратко определила Софья Гавриловна нынешнее состояние некогда скромного провинциального города Смоленска.

За последнее время тетушка начала сдавать, теряя присущую ей энергическую жизнерадостность, выглядела нездоровой и озабоченной и все время что-то считала, сердито щелкая костяш-

ками счетов.

— Варенька, погляди, душенька, эти записи. Я ничего уже не понимаю, что мы продали, а что купили.

— Извините, я спешу к обедне.

— Куда спешишь?

— В церковь, тетя, — с ханжеской строгостью пояснила Варя.

— Ну иди уж, иди, — ворчала Софья Гавриловна, — хотя и странно все это, Варвара, весьма странно, потому что рано. Я имею в виду не обедню, а увлечение.

Варя и сама понимала, что вдруг настигшее ее религиозное увлечение странно и необъяснимо. В семье соблюдалась лишь обязательная обрядность, без которой нельзя было обойтись, не вызывая пересудов; никому и в голову не приходило появляться в церкви чаще одного раза в неделю, говеть по собственному желанию или стоять всю службу от начала до конца. Слушали пение, привычно крестились, рассеянно прикладывались к образам да более или менее аккуратно ставили свечки — вот, пожалуй, и все, чем связывали себя Олексины с церковью. И вдруг умница Варя, любившая сомневаться и умевшая спорить, пристрастилась к ладанному

чаду, как какая-нибудь полуграмотная купчиха.

— Господи, Господи, не допусти, Господи! — твердила она, стоя на коленях в маленькой уютной Благовещенской церкви. — Я грешница, Господи, удержи меня, Господи. Удержи!..

Иван за этот год неожиданно вытянулся и догнал в росте Владимира, как определил Георгий по зарубке на косяке дверей в столовую. Старательно проверил — мальчик был основательный, — потом сказал:

— Ваня, ты с Володей сравнялся. Полвершка, правда, еще не хватает, но полвершка можно за месяц набрать. Я набрал целый вершок в прошлом сентябре: я почему-то осенью лучше расту.

— Мелкота! — Иван любовно щелкнул младшего брата в лоб. — Есть закон убывающей возрастной прогрессии.

Был такой закон или не было — Георгий верил на слово. А Иван после этого разговора раздобыл немецкую книжку «Как я стал настоящим мужчиной», купил гантели и повесил в своей комнате трапецию. Философия была отвергнута, как прежде была отвергнута химия.

В гимназии — преимущественно в старших классах — эта ранняя весна ощущалась по-особому. Лихорадочное ожидание войны, в котором

пребывало все русское общество, заметно поколебало и тот традиционный культ муштры, который новая гимназия унаследовала от прежних закрытых учебных заведений. Усатые гимназисты читали газеты, а преподаватели все чаще не только не пресекали этого, но и сами ввязывались в споры, смеялись над турецкой армией, дружно ругали Англию, озабоченно следили за Германией.

— Бисмарк этого не допустит.

— Чего — этого?

— Ничего он не допустит.

— Господа, австрияки утверждают, что турки укрепляют крепости с помощью английских инженеров!

— Какое вероломство!

— Да врут австрияки, господа!

— И все-таки Бисмарк этого не допустит.

— Да чего этого, мямля?

— А ничего. Не допустит, и все. Вот посмотрите.

Так спорили в классах и коридорах. В уборных, правда, говорили о другом:

— А вот брат видел водевильчик «Кавалер двух дам». Очень милая, говорит, вещица, очень! Там мадемуазель Жужу в первом же выходе вот этак

подбирает юбочку и — все выше да выше. А под юбочкой — ничего. Ну решительно ничего до самых коленочек.

— Опять, Дылда, на брата сваливаешь?

— Ну где же мне-то, господа, где же? Там же педелей половина зала, ей-богу, половина зала. Как увидят, так цап-царап. И прощай аттестат.

— А зачем тебе аттестат?

— Как зачем? Для коммерции.

Иван слушал гимназические пересуды молча: не любил пустомельства, а чего-либо реального предложить не мог. Разговоры о политике и войне впитывал активно и напряженно, не часто ввязываясь в споры, но основательно продумывая все, что слушал. А болтовню глотал, как отраву, морщась и не разжевывая. Но не уходил, пока не кончались рассказы, и по ночам перед его глазами мелькали никогда не виданные им сказочные ножки, живое кружево юбок, недоступно-соблазнительные подвязки, чулочки и ленточки, уходящие куда-то выше дозволенного, выше мыслимого, куда-то вверх, почти что в небеса. Он никому не признавался в этом, даже товарищам, потому что все его усачи-товарищи либо выдумывали, либо и в самом деле перешагнули порог, хвастались победами и смаковали

подробности, а он, жадно слушая, не мог себе даже представить, что когда-либо осмелится прикоснуться к женщине. Это было выше его сил и даже выше тех тайных желаний, чью изматывающую силу он испытывал каждую ночь.

Дома стало невесело и неуютно. С детьми — Георгием, Колей и Наденькой — Иван как-то утратил близость: они начали его раздражать, сами чувствовали это и не навязывались; Варя все больше и больше уходила в себя; Софья Гавриловна, окончательно запутавшись в счетах и расходах, взяла на время конторщика — невыразительного, тихого и очень старательного. От него всегда пахло дешевым мылом и какими-то мазями от прыщей; Иван его не любил.

— Бонжур, мсье Олексин, — с удовольствием говорил конторщик всякий раз, когда видел Ивана.

— Здравствуйте, Гурий Терентьевич, — сухо отвечал Олексин и проходил не задерживаясь.

Вероятно, он так и прошел бы мимо услужливого конторщика, если б не случайно услышанный им разговор. Дело происходило вечером в гостиной, тетушка клевала носом, а Гурий Терентьевич Сизов тщательно проверял счета, заносил цифры в реестр, щелкал счетами и неторопливо развле-

кал Софью Гавриловну уютными смоленскими беседами.

— …а батюшка аккурат на Евдокию и преставился: в пять дней сгорел. И осталась маменька с дочерью да со мной, оболтусом, без всяких средств и возможностей. Гимназию я оставил, в ученики устроился — спасибо, дядя помог, — да не спасло это нас от бедности и позора, уважаемая Софья Гавриловна. Сестра моя единственная, Дашенька, не вытерпела нищенства нашего, экономии на свечах да на кипяточке да в пятнадцать годков и сбежала с купцом Никифоровым: помните, может быть, года три назад шуму-то было? Ну, купец церковным покаянием отделался, а Дашенька в актерки пошла…

Иван рылся в книжных шкафах, разыскивая памфлеты Гладстона: его очень интересовал славянский вопрос, что завязался сейчас в тугой балканский узел. Копался в старых газетах, когда прислушался невольно к журчащему голосу в гостиной. Прислушался, разобрал, о чем повествует тихий Гурий Терентьевич, и далее уже слушал, машинально перекладывая газеты.

— Да, вот представьте себе, уважаемая Софья Гавриловна, в актерки. Барышня из приличной семьи, с образованием даже — и пропала, погиб-

ла во цвете лет своих. И ни слуху ни духу о ней не было, только раза два или три, что ли, переводы почтовые приходили на скромные суммы маменьке ко дню ангела. И не знали мы, где она и что с ней, даже когда в городе нашем афишки расклеили, что в водевилях с дивертисментами знаменитая мадемуазель Жужу выступает, я и в понятии не держал, что мадемуазель Жужу это и есть сестра моя единственная, Дашенька…

Всю ночь Иван вертелся с боку на бок. Впервые таинственное существо, дразнящее воображение доступностью, обрело нормальные человеческие черты. У существа оказалось обыкновенное имя, обыкновенная семья и необыкновенная жизнь. Не полумифическая француженка, не дикая цыганка, а обычная русская барышня стала предметом игривым и двусмысленным. Ему некому было поведать об этом открытии. Старших братьев в доме не оказалось, друга — тоже, а рассказывать о глубоко несчастной, оскорбленной и брошенной соблазнителем барышне Сизовой гимназическим болтунам он не мог. Он с омерзением вспоминал теперь их гогот в уборной, их замечания о юбках и ножках, а заодно и собственные фривольные мысли. Нет, не о легкой доступности молодой женщины мечтал

теперь Иван Олексин, а о спасении ее. Вытащить ее из ада, увести, спрятать от циничных глаз, защитить от сладострастных рук — эта задача представлялась ему сейчас единственно достойной и благородной. Он старательно все продумал и, не откладывая, приступил к действиям с присущей ему упрямой увлеченностью.

Сблизиться с Гурием Терентьевичем было несложно: услужливый конторщик искал этой дружбы с гибкостью и готовностью. Ивану претила эта услужливая готовность, это извечное стремление Сизова жить пригибаясь, заведомо располагая себя ниже тех, кто оказался рядом.

— Сесть позволите ли, мсье Олексин?

Он произносил фамилию на французский лад, что особенно раздражало Ивана.

— Сесть не позволите ли…

— Ну зачем вы так, право, зачем? — сердился Иван. — Я же моложе вас, в гимназию еще хожу.

— От поклонов спину не ломит, — улыбался осторожно, вежливо Гурий Терентьевич. — Мир так устроен, мсье Олексин, что кто-то кому-то должен почтение оказывать. Особенно когда без средств к жизни и без связей в обществе. Вы не сердитесь на меня, я всей душой к семейству вашему расположен.

— Помилуйте, это же… это же невозможно! Признать законом самоуничижение личности — это неправда. Мир стоит на людях гордых и отважных — они его атланты. Государи и полководцы, мудрецы и пророки, певцы и герои — вот основа мира, господин Сизов. Их трудами, их подвигами мы из темных пещер к свету и разуму восходили и гордились ими, да, да, гордились. А вы утверждаете, что мир на почтении держится.

— Совершенно верно, — спокойно подтвердил Гурий Терентьевич, с ласково-снисходительной улыбкой выслушав весь горячий монолог Ивана. — Я хоть образования и не имею, но образован в меру сил и любопытства своего. Книжонки читаны, журнальчики — да не просто читаны, а со слезою и верой. Со слезою и верой, мсье Олексин!

Разговор этот случился на Блонье воскресным днем: Сизов приходил брать какие-то старые счета, возвращался домой и — повстречались. Сидели в аллее; здесь прогуливались гимназистки из Мариинской гимназии, поглядывали на Ивана, громко смеялись, но он на них не смотрел.

— Что есть гордость? — с вежливой осторожностью спросил конторщик. — Я к такому пришел утверждению, что гордость есть мерило доро-

ги, которая человеку дадена. Коль родился кто, скажем, на почтовом тракте, тому и путь ясен: версты отмерены, подставы на всех перегонах и колокольчик под дугой аж с колыбельки — чего же ему гордым не быть, такому-то счастливчику, а, мсье Олексин? Только немного таких, а главное количество в пустыне рождается, и все у них как в сказке сказано: направо пойдешь — побитым быть, налево пойдешь — забритым быть, а прямо пойдешь — туза на спину нашьешь. И позвольте спросить вас: откуда же тут гордости взяться? Да и зачем она в пустыне-то человеческой рожденному? Так, звук пустой.

Гурий Терентьевич здесь, вне дома, был иным: держался увереннее и говорил основательнее. Только привычная готовность к осторожной улыбочке да согбенная спина оставались без изменений. Он не спорил, да, вероятно, и не умел спорить: он с чувством тайного превосходства излагал умозаключения, которые считал непреложными истинами, почему и не затруднялся доказательствами. Иван чувствовал это торжествующее полузнайство, злился, но не уходил, хотя уйти следовало.

— Тут, в нашем городе Смоленске, жил некогда провидец Иван Яковлевич Корейша, не изволили

слышать? А мне маменька рассказывала. Он, провидец этот, скромно жил, тихонечко, в баньке брошенной у Днепра. В рубище ходил, акридами да росой питался, аки святой. А на деле-то, — Гурий Терентьевич вдруг заговорщицки понизил голос до шепота, — на самом деле умнейший был человек. Гордость свою как язву из души выжег, в смердящие одежды облачился, юродивым дурачком прикинулся, а всеми помыкал. Всеми! На коленях в ту баньку черную к нему вползали, да не кто-нибудь — дворяне да купчины именитые. Дамы ночную вазу, прощения прошу, из-под него выносили, да еще и дрались за честь эту. Вон как согнул-то гордых сих, а? Вот это согнул!

— Восторгаетесь? — неприязненно спросил Иван. — То-то славно было бы вам до такого счастья дорваться. Столбовых дворянок заставить ретирады мужицкие чистить — вот уж всем победам победа, вот уж исполнение мечтаний, не правда ли, господин Сизов?

— Превратно, превратно понять изволили, — заторопился, заерзал на скамье конторщик. — Превосходно, мсье Олексин, совсем, совсем и окончательно не то я в соображении имел. Я просто сказать хотел, что от человека все исходит, от человека единственно. Вот сестра моя Дашенька,

что в вертепе, в разврате, господи прости, вынуждена хлеб свой насущный снискивать, гордостью ни на йоту не поступилась. Ни на гран един! Так и пышет гордостью-то, как вулкан Везувий, что город Помпею испепелил.

Сознательно ли Сизов помянул о Дашеньке или случайно, тут же испугавшись, что проговорился, а только Иван вмиг забыл о неприязненном чувстве. Не зная, как коснуться интересующего его предмета, страдал и мучился и сказал неуклюже, покраснев при этом:

— Вы так хорошо о сестре своей говорите, что я, право, заинтригован и хотел бы… Хотел бы восхищение свое ей выразить.

— За честь почтем, за честь! — поспешно подхватил Гурий Терентьевич, и глазки его на мгновение остренько блеснули. — Мы по-простому живем, мсье Олексин, без всяких особых. А Дашенька аккурат у нас остановилась — из экономии и к маменьке поближе. По четвергам свободна она, так что ежели изволите, то счастливы принять будем. Ведь обязаны вам, столь семейству вашему обязаны!

Сизов был обязан Олексиным лишь дополнительным приработком, но говорил об этом часто и бестактно. Иван вновь ощутил неприятный укол

самолюбию и промолчал: обещанное свидание в четверг делало его непривычно терпеливым и покладистым.

Дашенька Сизова совсем не походила на ту «мамзель Жужу», имя которой склоняли по всему городу. Лицо ее было бледно и невыразительно, худые щеки поблекли от скверного и неумелого грима, под серыми глазами лежали густые, усталые тени. Глаза эти поразили Ивана пустотой.

— Рада, очень рада, — с привычной жеманностью сказала она, свободно протянув руку. — Брат столько говорил о вас.

— Обо мне? — Иван осторожно пожал холодные пальчики. — Помилуйте, что же обо мне можно говорить?

— Мы не бесчувственные какие, — торопливо сказала маменька Сизовых. — Мы чувствуем благодеяния и благородство души.

— Ступайте, маменька, ступайте, — сквозь улыбку процедила Дашенька.

Все это было неприятно и фальшиво; к счастью, маменька тут же вышла, а вслед за ней исчез и Гурий Терентьевич. Иван совсем смешался, но Дашенька спокойно вела разговор, все так же влажно улыбаясь и играя глазами.

— Нет, право же, я особо вам благодарна, гос-

подин Олексин. Вы не мамзель Жужу увидеть спешили, а несчастную женщину. О, если бы вы только знали, что значат для меня эти четверги дома! Как надоели мне аплодисменты, цветы, подношения…

Иван украдкой оглядел комнату, но никаких цветов не обнаружил. Обстановка была как в дешевой гостинице: диван, круглый столик, два венских стула да платяной шкаф. И на самой Дашеньке, которую, правда, он оглядывать не решался, тоже все было скромным — и домашнее платье, и платок, в который она кутала худенькие плечи, и дешевенький перстенек, и такие же дешевые сережки в розовых ушах.

— Я устала от пошлости, — продолжала она. — От всех этих захламленных уборных, пыльной мебели, вульгарных одежд, в которых вынуждена каждый вечер появляться перед сотнями мужских глаз. О, как я все это ненавижу!

Дашенька играла сейчас привычную роль соблазненной и покинутой, но Иван не был знаком с этим женским амплуа. Он верил каждому слову, каждому взмаху ресниц, каждой слезинке, что слишком уж часто посверкивала на этих ресницах. Верил, и сердце его переполнялось горячим и мучительным состраданием к этой несчастной,

обманутой и преданной обольстителем юной женщине.

— Это ужасно, ужасно, я понимаю вас! — взволнованно сказал он. — Вам нужно бежать оттуда, бежать, бежать!

— Куда бежать? — обреченно улыбнулась она. — Куда и с кем бежать? Нет, нет, милый Иван Иванович, это моя судьба. Я обречена жить жизнью чуждой мне и оскорбительной.

На том тогда и закончился их разговор, потому что вошел Гурий Терентьевич и попросил к чаю. А после чая говорили уже о другом, уединиться не удалось, и Иван уносил с собой не столько слова Дашеньки, сколько ее грустные взгляды, почему и не мог думать и анализировать, а мог лишь чувствовать да мечтать.

Через неделю он пришел снова. Дашенька встретила его очень сердечно, но была печальна, а Гурий Терентьевич уходить никуда не торопился. Сидел, закинув ногу на ногу, курил дешевые сигареты и разглагольствовал о предстоящей войне. Иван с трудом поддерживал разговор, почти с ненавистью глядя, как покачивает Сизов острым носком штиблета.

— Нет, что ни говорите, мсье Олексин, а нам дорого достанутся эти разногласия. Дорого, очень

дорого, вот помянете еще мое слово. Я видел карту в книжной лавке: по турецкому берегу Дуная идут сплошные крепости.

— Дашенька, душа моя! — почти пропела из соседней комнаты госпожа Сизова. — Не поможешь ли мне, ангел мой?

— Ах, маменька, оставьте! — громко и очень недовольно сказала Дашенька. — Пусть братец помогает, а у меня голова болит.

— Гурий, дружочек! — тем же тоном запела маменька.

— Я всем помощник, — сказал Сизов, вставая. — Займи нашего дорогого гостя, сестрица.

Дашенька ничего не ответила, но впервые за вечер улыбнулась, вновь ослепив Ивана влажной белизной зубов. Он смущенно улыбнулся в ответ и тут же отвел глаза. Некоторое время они молчали, и для Ивана это время было сплошным мучением: он силился начать разговор, физически ощущая, как впустую уходят драгоценные минуты, но в голове не было ни одной связной мысли, и приходилось только вздыхать.

— Я так ждала этого дня, — тихо сказала Дашенька. — Мне совестно это говорить, потому что вы можете усомниться в моей искренности и посчитать все пустым кокетством. Знаете, вы

напоминаете мне зиму. Да, да, яркую, морозную и чистую-чистую зиму, когда сама делаешься чище и лучше… Простите меня за это признание, Иван Иванович, но я так много думала о вас, что, право, выстрадала его.

— Не знаю, чем заслужил ваше доверие, Дарья Терентьевна, но, верьте мне, я счастлив, — конфузливо пробормотал Иван, чувствуя, что краснеет, и смущаясь от этого все больше. — Я тоже думал о вас, все время думал — и дома и в гимназии. Я знаю, что мой долг помочь вам, но я никак не могу додуматься, как это сделать. Я даже хотел посоветоваться с Варей — знаете, она очень, очень умна и добра, — но именно сейчас у нее в душе какой-то разлад, и я… Нет, сейчас с нею невозможно, она точно вдруг оглохла, а больше мне посоветоваться не с кем. Только вот с вами разве, Дарья Терентьевна.

— Да, да, разумеется, — задумчиво и как-то холодно пробормотала Дашенька. — Мне так отрадно говорить с вами.

Разговор, начавшийся тепло, стал приобретать оттенок обычной светской беседы. Иван не понимал причин, но чувствовал, как исчезает доверительная интонация, как рушатся те шаткие мостки, что наметились между ними.

— Я думаю о месте, — с отчаянием сказал он. — Ведь вам же нужно какое-то место, не правда ли?

— Место? — Дашенька вздохнула. — Господи, Иван Иванович, о чем вы, право. Кому нужна я, актерка, порченая и порочная для всех этих… Нет, нет, мне нужно уехать из этого города. Уехать туда, где не знают мадемуазель Жужу, где я смогу честно заработать кусок хлеба и честно смотреть в глаза людям.

— Тула. — Иван и сам не знал, как выскочила эта «Тула». — Под Тулой в имении Толстого живет мой брат Василий Иванович. Дарья Терентьевна, Дашенька, это же прекрасно, что пришло мне в голову, это же воистину перст божий! Вы будете жить у Васи: я уверен, что он найдет вам достойное занятие. А как только я закончу в гимназии, я тут же приеду к вам, тут же, слышите?

— Приедете, — понизив голос, как-то очень значительно сказала она, — и я по-царски награжу вас. По-царски, Иван Иванович, милый, запомните мои слова!

Но Иван уже ехал в Ясную Поляну, его уже встречала сияющая, счастливая, преображенная Дашенька, и он уже был в восторге от этой встречи. Дашенька поняла этот странный олексинский восторг перед собственными мечтами, опять

заулыбалась молодой, доверчивой, белоснежной улыбкой.

— Это счастье, Иван Иванович. Боже, какое счастье! — В порыве искреннего восторга она схватила его руку, сжала; подняла к груди (Иван обмер, но руку остановили на волосок от туго натянутого ситца). — Но нет, оно недостижимо. Оно недостижимо, Иван Иванович, недостижимо!

Словно в великом затмении чувств, она уронила руку Ивана на плотно обтянутые платьем колени, закусила пухлую нижнюю губку, и серые глаза ее тут же до краев наполнились слезами. Иван сидел как истукан, боясь шелохнуться, ужасаясь, что его могут превратно понять, а руку гневно и презрительно сбросить с божественных колен; сердце то замирало, то начинало биться с такой силой, что стук его мог быть услышан за дверью, где тихо брякали посудой.

— Недостижимо, — шепотом повторила она. — Увы, увы.

— Мсье Олексин, Дашенька, пожалуйте к чаю! — бодро и так некстати пропел в соседней комнате Гурий Терентьевич.

— О боже! — горестно вздохнула Дашенька. — Нам не дадут сейчас поговорить, нет, не дадут. Приходите завтра к одиннадцати: я как раз вер-

нусь из театра. Наши будут спать, но вы стукните мне в окошко. Вот в это, не перепутайте.

— Мсье Олексин! Дашенька!

— Да идем же, идем, господи! — с заметным раздражением сказала Дашенька, встав и тем самым сбросив руку Ивана с колен.

4

Тонущий в мартовской слякоти Кишинев был до отказа забит войсками. Кроме 53-го Волынского и 54-го Минского пехотных полков, кроме штабных офицеров и военных чиновников, кроме свиты и конвоя главнокомандующего — Его Императорского Высочества Николая Николаевича старшего, здесь располагались терцы и кубанцы, донские казачьи сотни, гвардейские саперы, понтонные части, 14-я артбригада и уже развернутые по-походному, но пока пустующие военно-временные госпитали. В городе и окрестных селах не осталось дома, хозяева которого не потеснились бы, отдав лучшие комнаты для постоя офицеров и солдат; не было двора, не забитого лошадьми и повозками, площади, не занятой артиллерией или обозами, колодца, к которому не было бы расписанной заранее очереди. Каждое утро город будили трубные призывы

сигналов и хриплые, сорванные голоса унтеров:

— Четвертое капральство, выходи на улицу строиться!

Строились солдаты, раздували большие хозяйские или скромные походные самовары денщики, артельщики выдавали дневную порцию, на задах и огородах разгорались костры, горьковатые дымы сползали в город и уже не выветривались до глубокой ночи.

Офицеры завтракали булкой с чаем на квартирах, но обедали, как правило, в городском клубе, где обед из трех блюд стоил пятьдесят копеек серебром — деньги немалые. Но жили здесь скромно, о кутежах и попойках с шампанским и женщинами и слыхом не слыхивали, изредка позволяя себе лишь купить в складчину местного вина и распить его за тем же столом в городском клубе.

— За победу русского оружия, господа! — кричал восторженный безусый прапорщик.

— Да какая вам победа, прапорщик? — подсмеивался степенный немолодой майор. — Того и гляди с помощью Англии до мира договоримся и распустят нас всех по домам.

— Нет, господа, это невозможно.

— Почему же невозможно? На то и политика.

— Я… тогда застрелюсь, господа! — со слезами кричал прапорщик.

— Браво, прапор, — хмуро сказал молчавший доселе коренастый капитан. — А мы в складчину поставим вам памятник: «Единственной жертве несостоявшейся войны за освобождение славян».

— Перестаньте дразнить его, Брянов, — сказал майор. — Он же вот-вот расплачется.

— Лучше пореветь сейчас от обиды, чем потом от горя. Ладно, прапор, считайте, что я неуклюже пошутил. Мне надоело торчать в резерве, господа, вот почему у меня портится характер. Чтобы не отравлять вам вечер, прошу разрешения удалиться. — Брянов встал, коротко поклонился. — А рассказ о Сербии прибережем для другого раза. Благодарю за приглашение, вино отменное.

Небо над сумрачным Кишиневом было тяжелым и низким, шел мокрый снег, изредка порывами налетал ледяной ветер, поднимая рябь в многочисленных лужах. Стоя на крыльце, Брянов поднял воротник шинели, подобрал полы и затолкал их под ремень. Подхватив саблю, спустился со ступенек, вглядываясь, куда бы поставить ногу. Наметив путь, запрыгал через лужи, скользя заляпанными доверху сапогами по раскисшей глине. Так он выбрался на улицу

и остановился, потому что навстречу неспешно двигалась артиллерийская батарея. От гнедых шел пар, колеса по ступицы зарывались в ухабы, ездовые привычно покачивались в седлах. Впереди ехал офицер в плаще с поднятым воротником и низко надвинутой мокрой фуражке.

— Эй, артиллеристы, нельзя ли полегче? — ворчливо сказал Брянов, отряхивая с шинели брызги глинистой воды, ударившей из-под колеса. — Тут особо сушиться негде, давайте уж беречь платье друг друга.

— Виноват, вашбродь, — отозвался ездовой, одерживая битюга.

— Когда по улице движется основной инструмент грядущей симфонии, рекомендую госпоже пехоте держаться обочины, — с ленцой сказал офицер и придержал коня, намереваясь, как видно, не давать в обиду своего солдата. — Позволю заметить, что моим артиллеристам несколько труднее управляться со своим оружием, чем вам с вашей саблей.

— Это вы, Тюрберт? — Брянов невольно улыбнулся. — Буду весьма удивлен, если ошибся: во всей артиллерии не сыщешь большего ворчуна.

— Стой! — на весь Кишинев заорал гвардеец, спрыгивая с коня прямо в лужу. — Ей-богу, я знаю

этого обидчивого господина. Ей-богу, это же… это вы, Брянов, черт вас побери?

Он радостно затопал напрямик через лужу, разбрызгивая жидкую грязь во все стороны. Брянов попятился, но Тюрберт шел прямо на него, вытянув длинные руки то ли для равновесия, то ли для дружеских объятий. Капитан явно не желал этого и демонстративно отстранился.

— Оставьте лобызания, Тюрберт. Вам для начала предстоит кое-что объяснить, а уж там решим, стоит ли нам протягивать друг другу руки.

— Господи, я все время с кем-то объясняюсь, — без особого огорчения вздохнул подпоручик. — Странная какая-то судьба, вы не находите? Гусев!

— Я, ваше благородие!

— Веди батарею. Накормишь, уложишь, дождешься, доложишь.

— Слушаюсь!

— Исполняй.

— Батарея, слушай команду! — басом прокричал рослый унтер. — На квартеры шагом…

Фырканье лошадей, грохот ошинованных колес, скрип осей и тяжкое, засасывающее чавканье невылазных грязей Кишинева замирали вдали. Оба офицера стояли на обочине, прижавшись спинами к палисаднику.

— Ну и что прикажете объяснять? — спросил Тюрберт. — Почему я топчу грязи Кишинева, а не паркет петербургских гостиных, что делает сейчас вся гвардия? Ответ прост: числюсь в приятелях у одной особы, а ее принесло сюда за крестами.

— Я узнал вашего унтер-офицера, Тюрберт, — перебил Брянов. — Кажется, его фамилия Гусев? Значит, вы вывели своих людей из Сербии?

— Конечно вывел. — Подпоручик недоуменно пожал плечами. — Странно было бы, если бы не вывел. Я не бросаю боевых товарищей на произвол судьбы.

— А я не вывел, — с горечью сказал капитан. — Мой батальон разбежался, а рота Олексина приказала долго жить.

— Да, я слышал, будто поручик в плену?

— Был, — пояснил Брянов. — Был, а потом куда-то делся. Его не оказалось в числе пленных, я специально наводил справки. А это значит, что он погиб.

— Жаль Олексина, — вздохнул Тюрберт. — Знаете, Брянов, у нас с ним были сложные отношения. И вот он погиб, а я в мае женюсь. Я уже получил все разрешения, в мае возьму двухнедельный отпуск, обвенчаюсь — и назад. Вот как все смеш-

но получилось… — Подпоручик еще раз глубоко вздохнул и сокрушенно покачал головой. — Он победил, и я на весь мир готов признать, что по сравнению с ним я трус. Трус, заявляю об этом официально.

— Оставьте вы мальчишничать, Тюрберт, — поморщился Брянов. — Нужны не признания, а объяснения, почему вы предали моих людей.

— Я? Предал?.. — Тюрберт помолчал, точно осознавая сказанное. Добавил уже иным — официальным, холодным, оскорбительным тоном: — За такие слова в гвардии бьют по сопатке, капитан. Из уважения к вашему волонтерскому прошлому без битья прошу к барьеру.

— Сначала потрудитесь объяснить.

— Но не здесь же! Не на улице!

— А где? — Брянов зябко поежился в намокшей шинели. — Я стою в переполненном доме.

— Пошли ко мне, — проворчал Тюрберт, подумав. — Тут, кстати, недалеко.

И, сунув руки в карманы плаща, широко зашагал прямо по лужам, мало заботясь, отстает капитан или поспевает следом.

Подпоручик нанимал комнатку в чистенькой мазанке. Расторопный денщик тут же раздул складной походный самовар, поставил на стол

заварной чайник английского металла, холщовый мешочек с колотым сахаром, ломти белого рассыпчатого хлеба, масло, колбасу, банку сардин и дульчесы — местные сладости, вываренные в меду и сахарном сиропе. Пока он неслышно двигался из кухни в комнату и обратно, изредка тихо переговариваясь с хозяйкой, офицеры молчали. Брянов делал вид, что просматривает старые газеты, а Тюрберт хмурился. Когда все было накрыто и кипящий самовар запел в центре стола, подпоручик молча указал на дверь, и денщик беззвучно исчез.

— Рому хотите?

— Нет. — Капитан сел к столу, не ожидая приглашения. — Вот чаю — с удовольствием.

— Какая-то чепуха, — сказал Тюрберт, наливая капитану чай, а себе ром в одинаковые граненые стаканы. — Вы в чем-то обвиняете меня, не зная что, как и почему… Интересно, мы когда-нибудь поумнеем?

— Почему вы не поддержали огнем Олексина, Тюрберт? У него был шанс пробиться, если бы вы прикрыли его отход. Опять пожалели снарядов?

— А откуда мне было знать, куда вы запихали Олексина? — огрызнулся подпоручик. — Ко мне пришел какой-то недотепа и потребовал, чтобы

я послал с ним своих артиллеристов. Я послал подальше его самого, утром, когда турки поперли на штурм, открыл пальбу, но от вас заявился очередной недотепа и сказал, что вы отходите и мне не стоит даром тратить порох.

— Какой второй посыльный? — поразился капитан. — Значит, был второй посыльный, говорите?

— А вы не помните?!

— А я не знаю! Меня вызвал к себе Черняев, а батальоном временно командовал штабс-капитан Истомин.

Брянов замолчал, только сейчас поняв, в какое положение тогда попала рота Олексина. Тюрберт тоже молчал, хмуро прихлебывая ром.

— Понятно, — проворчал он. — Дай мне Бог встретить Истомина, уж я вытрясу из него объяснение, почему он бросил Олексина. А я своих не бросаю, Брянов, и не выношу, когда меня в этом подозревают. В последний раз спрашиваю, налить вам рому?

— Нет.

— Ну и черт с вами, хлебайте чай. Жаль Олексина, ей-богу, жаль. Вы в каком полку?

— Я в резерве. — Брянов помолчал. — От меня ждут, когда я подам рапорт об отставке. Я вер-

нулся в Россию не только с Таковским крестом, но и с вот таким перечнем грехов: зачем дружил с болгарами, зачем гнал в шею русских пьяниц-патриотов, зачем то, зачем это. Я стал неугоден, но рапорт я все-таки не подам: на моем иждивении сестра, и у меня нет иных доходов, кроме офицерского жалованья.

— А что же вы получаете, числясь в резерве?

— Ничего, но есть надежда, и под эту надежду я делаю долги. Может быть, и у вас к утру попрошу что-нибудь взаймы.

— Я не дам, — отрезал подпоручик. — Долги разрушают дружбу. Лучше я попытаюсь достать вам место, Брянов.

— Я персона нон грата, Тюрберт.

— Нам предстоит один нелегкий визит, — вслух размышлял Тюрберт. — Только уж, пожалуйста, Брянов, настройтесь вполне верноподданнически. В ваших же интересах.

— А что за визит?

— Завтра узнаете. Кстати, где ваш Таковский крест?

— В кармане.

— Утром не забудьте нацепить. А сейчас спать. Ложитесь на мою койку и не спорьте: я все равно должен идти в батарею.

На следующий день он разбудил капитана ни свет ни заря, был озабочен и оделся с особой тщательностью. Когда выходили, сказал, куда направляются. Брянов опешил:

— К великому князю? К младшему? Тюрберт, вы сошли с ума.

— Он вообще-то сговорчив при хорошем настроении, почему я и тороплюсь попасть к нему раньше всех дневных неприятностей.

В небольшом особняке, который занимал адъютант и сын главнокомандующего великий князь Николай Николаевич-младший, им пришлось немного обождать. Лощеный офицер, которому Тюрберт как старому знакомому пожал руку, проводил их в маленькую гостиную и молча удалился.

— Признаюсь, это не по мне, Тюрберт, — вздохнул Брянов.

— Нарушает ваши демократические принципы? Самый главный принцип на свете — хорошо и вовремя поесть, и во имя него стоит поступиться остальными, — отшутился подпоручик.

Часы пробили семь, и с последним ударом в гостиную вошел молодой человек с длинным лицом, над которым нависал мощный, как несгораемый ящик, лоб. Большие, по-романовски

бесцветные глаза его смотрели тяжело и пытливо; взгляд точно сверлил насквозь, и Брянов почувствовал неприятный холодок. Великий князь молча кивнул в ответ на их уставные приветствия и сел, жестом указав, что они могут последовать его примеру. Однако Тюрберт остался стоять, знаком предупредив Брянова, что пользоваться великокняжеской любезностью не следует.

— Всю ночь читал Тацита, господа, — сказал великий князь. — Увлекательней романа. Рекомендую перечитать. Чему обязан, Тюрберт? Опять кого-нибудь обидели эти пройдохи интенданты?

— Нет, Ваше Высочество, долг дружбы, не более. Капитан Брянов, которого я имею счастье представить вам, не только проявил в Сербии редкую отвагу, о чем свидетельствует крест на его груди, но и лично спас мне жизнь.

Капитан Брянов от неожиданности кашлянул, но промолчал.

— Вот как? — Николай Николаевич еще раз и столь же холодно глянул на Брянова. — Кстати, Тюрберт, ты был не прав: Варенька Никитина отказала всем женихам и решительно избрала высокое искусство. Представьте, господа, дитя, еще ученица, а уже выступает в сольных пар-

тиях на сцене Мариинки. Какая легкость, какое изящество, какая итальянская виртуозность и законченность в ее движениях! Ты не бывал в Петербурге, капитан?

— Нет, Ваше Высочество, — вздрогнув, сказал Брянов. — Я провинциальный служака.

— Капитан Брянов больше привык к театру военных действий, Ваше Высочество, — сказал Тюрберт, упрямо возвращаясь к цели визита. — И на этом театре он солист не хуже Вареньки Никитиной.

— Остроумно. — Великий князь улыбнулся, обнажив на редкость крупные зубы. — Чем командовал в Сербии?

— Батальоном, Ваше Высочество.

— Лучшим батальоном в корпусе самого Хорватовича, — вставил Тюрберт.

— У тебя задатки коммивояжера, Тюрберт, — с неудовольствием отметил великий князь. — Предоставь капитану самому докладывать о своих талантах.

— Он застенчив. Кроме того, он впервые видит Ваше Высочество и побаивается, как и все простые смертные.

— Побаивается? — Великий князь не смог скрыть мальчишеского самодовольства. — А ты

говорил о его отваге.

— Так вы же не враг, — ворчливо пояснил Тюрберт.

— Ты обаятельнейший из нахалов, Тюрберт.

Николай Николаевич осуждающе покачал массивной головой.

— Догадываюсь, что у тебя неприятности, капитан.

— Я в резерве, Ваше Высочество. Давно в резерве и, признаться…

Брянов запнулся, не зная, следует ли говорить о своих финансовых затруднениях человеку, который не понимал, что такое деньги. Но великий князь по-своему истолковал его заминку.

— Надоело? Понимаю тебя, капитан. — Адъютант главнокомандующего для пущей важности помолчал и похмурил густые белесые брови. — Только на батальон не рассчитывай, это тебе не Сербия. А вот роту… — Он опять задумался. — Кажется, в Волынском полку есть вакансия.

— Благодарю, Ваше Высочество.

— Я решу это сам, но вынужден по долгу службы поставить в известность главнокомандующего. Предупреждаю, капитан, у моего отца феноменальная память, и он, безусловно, запомнит тебя. Не подведи меня в деле.

— Слово дворянина, Ваше Высочество.

— Прекрасно. — Великий князь встал, показывая тем самым, что аудиенция закончена. — Если у вас больше нет вопросов, господа, можете быть свободны. У меня дела, как, впрочем, и у всех нас. В час пополудни я увижу командира волынцев Родионова и скажу ему о тебе, Брянов. Сегодня же.

— Слушаюсь, Ваше Высочество. И еще раз благодарю.

— До свидания, господа. — Николай Николаевич пошел к дверям, но остановился. — А ведь мне когда-нибудь надоест твое нахальство, Тюрберт.

— Надеюсь, что это случится не так уж скоро, Ваше Высочество, — весело улыбнулся подпоручик.

Великий князь погрозил ему пальцем и вышел из гостиной.

Глава вторая

1

В Тифлис ежедневно прибывали партии запасных для пополнения 74-го пехотного Ставропольского полка в соответствии с расписанием военного времени. Запасных нижних чинов встречали дежурные офицеры; после переклички и беглого осмотра унтеры вели запасников в баню, а оттуда — опять дежурные офицеры! — доставляли их непосредственно в дворцовый сад. Здесь были накрыты столы, за которыми уроженцев забытой богом Гродненской губернии угощала чаем сама Ее Высочество великая княгиня Ольга Федоровна в присутствии всех своих августейших детей. Вырванные из родных деревень, измученные пешим переходом от Владикавказа до Тифлиса и новизной положения, застенчивые белорусы страдали от этой милости пуще, чем от царской службы.

— Слава русским солдатикам! Слава! Слава! — провозглашала растроганная собственным подвигом Ольга Федоровна.

Августейшие отпрыски, фрейлины и пригла-

шенные на патриотическое чаепитие дамы из тифлисского общества кричали «слава!», махали кружевными платочками и утирали слезы. А смертельно уставшие, плохо говорившие по-русски гродненские мужики скучно глотали чай, через силу жуя сухое, заготовленное впрок царское печенье.

Строевые офицеры не любили этих дежурств и как могли увиливали от царских чаепитий: запасные нижние чины дружно, угрюмо и привычно молчали, а им приходилось, обаятельно улыбаясь, отвечать на сотни глупых вопросов восторженных дам.

— Не пойду больше! — категорически объявил Ковалевскому горячий поручик Ростом Чекаидзе. — Я человек кавказский, у нас не принято с женщинами долго разговаривать.

— Хорошо, голубчик, — подумав, сказал подполковник. — Из уважения к вашим традициям перевожу вас в команду капитана Гедулянова.

— Везет Ростому, — горевали остальные офицеры. — Вот всегда так: наврет с три короба и непременно вывернется. А мы отдувайся.

К весне передовые эшелоны полка уже покинули Тифлис, направляясь на Эривань и далее на Игдырь, на границу с Турцией. В Тифлисе

пока оставались тылы, занимающиеся приемом запасных нижних чинов, а также заготовкой фуража и продовольствия. Последнее обстоятельство весьма усложнило жизнь подполковнику Ковалевскому: считать он не любил, а считать приходилось, ибо будущее мясное довольствие из расчета по три четверти фунта мяса на солдатскую душу закупалось сверх довольствия казенного, как добавок, на натуральные, звонкие полковые деньги, которые подполковник всегда полагал деньгами солдатскими. Поэтому днем он, никому не доверяя, лично осматривал скотину, до хрипоты ругаясь с поставщиками, а вечерами мучительно страдал за проверкой счетов, потея и ужасаясь, что пройдохи поставщики все равно его объегорят. Но семья оставалась в Крымской, спешить теперь было некуда, и Ковалевский засиживался в своем маленьком, жарко натопленном кабинетике допоздна.

— Живой вес — пять пуд, четыре фунта и семнадцать золотников, — бормотал он, перепроверяя каждую закупленную мясную единицу. — Разделить его на три четверти фунта да помножить обратно же…

Открылась дверь, и без стука вошел Гедулянов: ему подполковник поручил фураж и больше об

этом не думал. Капитан у входа стащил сапоги, в толстых носках прошлепал к столу и сел напротив подполковника, опершись о саблю.

— Сено скупил? — не поднимая головы, спросил подполковник.

— Скупил. Сено доброе. И недорого.

— Хватит ли?

— Терехов остальное доставит.

— Хорошо. Слушай, Петр Игнатьевич, а может, мне буйволов взять? — вдруг оживился Ковалевский. — Буйволов задешево сторговать можно.

— Неуваристы, — кратко сказал капитан. — Жилы да шкура.

— Это верно, — согласился подполковник. — Солдатушек в походе надо кормить крепко.

Он вновь склонился над бумагами, а капитан по-прежнему угрюмо молчал, тяжело опираясь на саблю. Потом вздохнул, точно наконец-таки решившись, и сказал:

— Тая в Тифлисе.

— Что?.. — Подполковник медленно выпрямлялся, сидя на стуле и не отрывая глаз от Гедулянова.

— Говорю, Тая в городе.

— Тая? Наша Тая? Здесь? — Ковалевский судорожно тискал грудь под расстегнутым сюр-

туком. — Может, ошибся? Не она, может?

— Она. Окликнул, а она от меня бегом. Прямо бегом, не оглядываясь.

— А где же она, где? На что живет, как?

— Где да как — завтра узнаю. Унтера толкового за нею послал, он выследит.

— Господи! — Подполковник вылез из-за стола, затопал по комнате такими же, как у Гедулянова, вязаными носками. — А что я Сидоровне скажу? И как скажу-то, как? Ведь наповал это ее, наповал!

— Погодите Сидоровне писать, — сказал Гедулянов. — Это всегда успеется, спервa сами разберемся.

— Что? — не слушая, спросил Ковалевский. — Что же это она ко мне-то не идет, а? Писала ведь, что в Москве, что учиться пошла, и на тебе — вдруг Тифлис! Почему Тифлис, зачем Тифлис? А на что живет-то, а? На что?

Гедулянов угрюмо молчал, потому что знал все ответы на эти беспомощные родительские «зачем» да «почему». Еще неделю назад Ростом Чекаидзе сообщил ему, что бывший подпоручик фон Геллер-Ровенбург отпущен из тюрьмы на поруки и проживает теперь в гостинице. Вот в этом странном освобождении Геллера, содержавшегося в Метехском замке за дуэль, и видел капитан

Гедулянов причину поспешного возвращения Таи. «А мальчишка погиб ни за грош, — думал он. — Вот и пойми их, кобылиц этих…»

Он не сожалел, что сказал Ковалевскому о Тае. Подполковник непременно услышал бы об этом, но услышал бы как сплетню, как пикантную историю, а Гедулянов уже все делал для того, чтобы пресечь это, чтобы принять какие-то меры. Пресечь то, ради чего Тая бросила ученье в Москве и примчалась сюда, в Тифлис: связь с фон Геллером. Вот этого допустить капитан никак не мог: сама мысль об этом была для него мучительна.

— Узнаю — доложу, — кратко сказал он Ковалевскому, вставая. — Думаю, завтра к вечеру ясность будет.

— Завтра Евгений Вильгельмович приезжает, — зачем-то сказал Ковалевский, точно приезд фон Борделиуса мог чем-то помочь в его отношениях с дочерью.

— Вот это хорошо, — с неожиданной радостью сказал Гедулянов. — Это очень вовремя, что приезжает.

На следующий день, еще ничего не успев узнать о Тае, он разыскал фон Геллера в маленькой скромной гостинице. Вошел без стука в номер и остановился в дверях, не снимая ни фуражки,

ни перчаток.

— А, это вы, Гедулянов, — без всякого удивления отметил Геллер.

Он лежал на кровати поверх шелкового покрывала в одежде и ботинках. То ли оттого, что одежда эта была гражданской, то ли от пребывания в тюрьме, но выглядел он осунувшимся и похудевшим и стал словно бы меньше ростом. Сел, спустив ноги, провел ладонью по бледному, отекшему лицу.

— Проходите, раз пришли. Что там еще?

Капитан молча прошел в номер и сел на стул, так и не сняв фуражки, точно подчеркивая этим кратковременность и официальность своего визита. Привычно оперся о поставленную между колен саблю и неторопливо, внимательно оглядел комнату. Он искал следы пребывания Таи, но ни предметов, ни вещей, ни каких-либо безделушек, принадлежащих женщине, не обнаружил. Геллер молчал, вяло растирая мятое лицо и тупо уставясь в пол.

— Что же суд? — сухо спросил капитан. — Откупились?

— Уволен из армии, — с ленивым безразличием сказал Геллер. — Подал прошение в казачьи войска. Вот лежу, жду ответа.

Гедулянов внимательно посмотрел на него, спросил напрямик:

— В Москву телеграмму давали?

— В Москву? Зачем в Москву? Кому?

— Не лгите, Геллер.

— Разучился, капитан. — Геллер криво усмехнулся. — Он перед смертью «мама!» крикнул. До сих пор крик этот слышу. Засну и слышу — и в поту просыпаюсь.

Геллер говорил правду, Гедулянов уже не сомневался. И в то же время он никак не мог расстаться с собственной версией, что Тая приехала сюда ради этого помятого, согнутого, а может быть, уже и сломленного человека. Не умея лукавить, спросил напрямик:

— Таисия Ковалевская в Тифлисе, это вам известно? Виделись с нею?

— Тая?..

Лицо Геллера вдруг подобралось, определилось, мягкие, распущенные губы стянулись в нитку, а в глазах мелькнул ужас. Он вскочил, прошел к столу, возле которого сидел Гедулянов, взял папиросу, чиркнул спичкой; пальцы его дрожали, что было очень заметно по пляшущему огоньку.

— Тая в Тифлисе? Мне сказали как-то, что в Москве она, и я обрадовался. Нет, не обрадовал-

ся, лгу: я бояться стал меньше. Думал, хоть ее-то никогда в жизни не встречу… Зачем она здесь?

— У вас спросить хотел.

Геллер молча курил, глядя в стол. Потом поднял на капитана растерянные глаза, сказал, и губы его дрогнули:

— Вот встречи с нею не выдержу. Боюсь, не выдержу, Гедулянов.

Это признание было для капитана уж совсем неожиданным. Он видел искренний страх Геллера, его отчаяние и нехотя отказывался от своих первоначальных предположений. Да, Геллер никак не был более связан с Таей, приходил в ужас от одной мысли о возможной встрече, но тогда оставалось неясно, зачем и почему Тая, оставив Москву, вдруг прикатила в Тифлис.

— Значит, не знаете, — сказал он и встал. — Сожалею, что потревожил.

— Подождите, Гедулянов, — нервно захрустел пальцами, засуетился Геллер. — Не говорите ей, что я на свободе, что в Тифлисе, что я жив, не говорите. Пожалуйста, прошу вас, не говорите! Я не могу сейчас уехать из города, я решения жду, а как получу приказ, так тотчас же уеду, часа не задержусь, поверьте. Только не говорите ей, я же свидания этого не выдержу. Я же знаю, зачем она

сюда приехала: меня добить, меня уничтожить. А я в щель забьюсь, я выходить никуда не буду, только ей не говорите…

— Трус, — с презрением сказал Гедулянов. — Нашкодил и в штаны наложил со страху? Жаль, не на меня ты нарвался и не на Ростома: гнил бы в земле сейчас, подлая душа. Мальчика убил, Тае жизнь испортил и опять о себе думаешь, о себе трясешься? Так не дам я тебе покоя, слышишь? У казаков спрятаться хочешь? Не выйдет, меня все казаки на линии знают. Все, вырос я здесь! И всем расскажу, что ты есть и где прячешься, всем — и Тае прежде всего. Пусть она в глаза твои посмотрит. Вот и живи теперь в страхе Господнем, крыса!

И вышел из номера, остервенело хлопнув дверью.

2

Героя из Федора не вышло; у него хватило мужества осознать это, но к мучительному чувству стыда и острого недовольства собой примешивалось обидное ощущение, что его пожалели поспешно и умилительно. Не найдя в себе сил отвергнуть эту жалость сразу, утром сказал, пряча глаза:

— Я не достоин вас, Тая. Не достоин ни вашей жалости, ни тем паче вашей любви. Вероятно, я тряпка, но я не подлец. То, что произошло между нами, налагает на меня обязательства, и я, поверьте…

— Никаких обязательств, — тихо сказала Тая. — И не надо об этом, пожалуйста, не надо.

Она с трудом сдержалась, чтобы не разрыдаться, не закричать. Федор не только не смог простить ей истории с Геллером, он не смог и понять того, почему она первой сделала шаг навстречу ему. Так она думала, из последних сил стараясь не показывать, какую боль испытывает при этих мыслях.

— Но я… я не могу уйти, — Федор растерянно развел руками. — Некуда мне уходить.

— И не надо, не беспокойтесь, пожалуйста, — торопливо говорила Тая: ей хотелось убежать, исчезнуть, только бы не быть с ним рядом. — Я умею шить, мы прекрасно обойдемся…

И сразу ушла. Ходила весь день по улицам, никого не видя и ничего не слыша. Но вечером принесла купленное в лавке одеяло.

— Все-таки вам будет теплее.

И опять допоздна сидела у хозяйки. Федор проспал ночь на полу, завернувшись в одеяло, и на

следующее утро им стало как-то проще. Правда, они еще избегали глядеть друг на друга, да и разговор вязался плохо, но все же вместе напились чаю, и Тая вновь поспешно ушла.

— Так это не может продолжаться, — сказал Федор за ужином. — Нет, нет, Тая, не спорьте, я все время думаю об этом. Вы чудная, благородная, а я… — он помолчал, — в нахлебниках?

— Ну что вы, Федор Иванович. — Тае стало легче, что он заговорил, но тема разговора ей не нравилась. — Деньги пока есть, а скоро я куда-нибудь устроюсь, и вообще пустяки какие.

— Нет, это не пустяки, — вздохнул он. — Я не о деньгах же, я… Я о себе говорю, уж извините, но о себе. Даже если вы наследство завтра получите, я же не могу при вас в приживалках, ведь правда? И жить нам вместе не следует, это мучительно, двусмысленно как-то.

Он опять касался этой темы, опять обижал, напоминая. Тая понимала, что он не стремится обижать, что просто ищет выход, но ей стало больно.

— В Тифлисе служит господин Чекаидзе, он был секундантом на дуэли, — сухо сказала она. — Если угодно, я разыщу его.

— А я расскажу ему всю подноготную? — Федор

резко отодвинул стул, отошел к окну и закурил. — Извините, я понимаю, вы хотели как лучше, но… Как лучше не получается, Тая. Не получается, заколдованный круг!

На этом тогда и кончился разговор. Возобновился он через двое суток, когда оба достаточно успокоились, притерпелись к своему странному положению и уже начали оберегать друг друга от воспоминаний.

— Я много думал, Тая, — сказал Федор, впервые открыто посмотрев ей в глаза. — Знаете, ничто так не обостряет мысли, как одиночество: в поисках собеседника начинаешь выворачивать себя и в конце концов докапываешься до первопричины. До того червячка, который гложет изнутри.

Тая выдержала его взгляд, с ужасом чувствуя, что начинает краснеть и — это было самое страшное! — радоваться. А ей нельзя было ни краснеть, ни тем более испытывать радость от его наконец-таки просветленного взгляда; она с отчаянием подумала, как это скверно, и поэтому почти не расслышала, что он говорил.

— Знаете, кажется, я нашла работу, — невпопад сказала она первое, что пришло в голову. — Очень приличная хозяйка, она обещала…

— Это хорошо. — Федор неуверенно улыбнулся,

заставляя себя смотреть в темные, очень напряженные глаза так, как смотрел в Москве. — Дело ведь не в куске хлеба, Тая, дело в том, чтобы человека в себе ощущать, правда? А я потерял в себе человека, потерял, в подлеца оборотился, и в подлеца-то трусливенького. Нет, нет, не перебивайте меня, мне нужно все вам сказать, все как на духу, наизнанку вывернуться.

— Ох, Федор Иванович, — несогласно вздохнула она.

— Нет, нужно, нужно, — упрямо повторил Федор. — Я сам себя понял и сам себя осудил за… за многое, очень многое, поверьте. Человек должен быть гордым от осознания самого себя, иначе он не человек, а полчеловека. Руки, ноги, сила, разум, а все — без руля и без ветрил, все — без цели и смысла. Из такого что угодно сотворить можно: убийцей сделать, насильником, клятвопреступником, подлецом — что надобно, то он и сделает, потому что себя не ощущает более, только на то и способен, что чужую волю исполнять. А я не могу таким быть, не могу, не желаю! Я лучше пулю себе в лоб, чем так-то!..

Федор всегда говорил красно, но сейчас в его словах звучала искренность, и Тая сразу поверила ему. Протянула руку через стол, коснулась

рукава его тужурки и тотчас же отдернула пальцы, словно от горячего.

— Господь с вами, Федор Иванович.

— Господь с теми, кто верует, — сказал Федор, нахмурившись и убрав руки со стола. — Вот и я хочу уверовать. Снова в себя уверовать, сильным себя ощутить, сильным и гордым, иначе… — Он помолчал, закурил, вновь прямо посмотрел в ее глаза. — Я испытать себя должен, Тая. Испытать на деле простом и благородном, вот что я понял. Коли выдержу — снова человеком стану, а уж коли и там сподличаю, смалодушничаю, струшу — тогда все, конец мне тогда. Тогда крест на мне ставьте.

Он замолчал, разглядывая папиросу. А Тая из всех его слов выделила последние, прозвучавшие для нее особенно, как обещание, как мостик на будущее, как «ждите меня». И опять со страхом ощутила, как тревожно забилось сердце.

— Такое дело есть: война вот-вот начаться должна, — продолжал он, снова посмотрев на нее. — За чужую свободу идем воевать, что может быть благороднее?

Он увлеченно говорил о войне, о великой исторической миссии России, о спасении самих себя в борьбе за чужую свободу, но Тая уже не

слушала. Она поняла вдруг, что не хочет с ним расставаться, что боится его ухода, потому что он уже никогда более не вернется к ней, и сейчас боролась с этим чувством, глушила его, убеждая себя, что это единственный выход, но выход — для него.

— Я встретила сегодня капитана Гедулянова, — сказала она. — Испугалась почему-то, убежала. Но я найду его.

— Тая, — он улыбнулся ей тепло и благодарно, — вы чудесная, чудесная, только я капризный. Знаете, к кому я мечтаю попасть под начало? К Скобелеву. Уж он-то меня не пощадит, потому что себя щадить не умеет, а с ним рядом и я, глядишь, воскресну. Еще, может, и крест заслужу, чем черт не шутит!

Каждый день Тая бегала в поисках работы, но без рекомендаций ее нигде не брали, а деньги таяли. Прежде она беспокоилась, как прокормит Федора, когда они кончатся, но теперь уж и не думала об этом. Федор уходил, уходил навсегда, а о себе беспокоиться было и непривычно и бессмысленно. Все думы ее были сейчас только о нем: как он убережется там от пуль и сабель, от простуд и болезней.

— Прощения просим, барышня.

Тая остановилась, точно очнувшись. Бежала, привычно никого не замечая, и вдруг услышала почтительное обращение и увидела немолодого уже унтер-офицера с добрым, улыбчивым лицом.

— Вы меня? Что вам угодно?

— Прощения просим, — повторил унтер. — Пожалуйте в экипаж.

Рядом оказалась извозчичья пролетка с поднятым верхом. Тая не успела даже испугаться, как унтер ловко подсадил ее на подножку. Она хотела рвануться, закричать, но тут из пролетки высунулась рука, втащила ее внутрь, и лошадь сразу взяла с места.

— Простите, что так пришлось, — хмуро сказал Гедулянов, по-прежнему крепко держа ее за руку. — А то все бегаете от меня как от зачумленного.

— Петр Игнатьич! — Тая задохнулась в слезах. — Боже мой, Петр Игнатьич, боже мой, какое счастье, что это вы. Я ведь со стыда тогда удрала от вас, только со стыда.

— Ну успокойся, успокойся. — Гедулянов совсем как в детстве, в Крымской, обнял ее за плечи. — Такая большая девочка — и ревешь. Совестно реветь-то, солдатская ведь дочь.

Остановились возле духана. Хозяин проводил за перегородку, принес зелень, сыр, кувшин вина. Ушел жарить цыплят, они остались одни, и Тая, тихо всхлипывая, рассказала почти все. Утаила лишь причины бегства Федора в Тифлис да их отношения.

— Он к Скобелеву мечтает попасть.

— Ешь, — сказал Гедулянов, размышляя. — Может, в Крымскую тебя отправить?

Тая отчаянно затрясла головой.

— Не хочешь, значит, к матери, — спокойно отметил он. — Что ж, понимаю, там сейчас бабы одни остались. Так трепать начнут, что и света невзвидишь. В Москву, может, вернешься?

Тая не успела ответить: духанщик принес цыплят. Пока он ставил их на стол, резал и красочно расхваливал, и Тая и Гедулянов молчали. Капитан пил вино, а Тая, рассеянно отщипывая лаваш, напряженно думала. Черные бровки ее смешно ерзали при этом, и Гедулянов, чуть улыбаясь, любовался ею. Наконец разговорчивый духанщик ушел.

— Ну, надумала?

— Я с вами хочу, — не поднимая глаз, призналась она.

— Как так с нами? — опешил капитан. — С кем

это с нами и куда с нами?

— На войну, — сказала Тая; она не могла вернуться в Москву, что-то объяснять Маше и выбирала, как ей казалось, самое простое. — Не удивляйтесь, Петр Игнатьич, я думаю, что говорю. Нам на курсах про перевязки рассказывали, немного учили, а сейчас сестер милосердия в военно-временные госпитали набирают, я читала об этом. Это благородно, потому что за чужую свободу идем воевать. И потом, мне легче будет, вот посмотрите, что легче.

— Что легче? — недовольно проворчал он, не поняв. — Раненым солдатам поганые ведра подавать — это, что ли, легче?

— Потом, — чуть покраснев, с досадой сказала она. — Потом, после войны. Я кто сейчас такая? Ну кто я такая, скажите? Не знаете, как назвать, или стесняетесь? А после войны я опять человеком стану…

Она говорила что-то еще, говорила горячо, долго — капитан не слушал. С острой, всепоглощающей ненавистью он думал сейчас о Геллере, минутный каприз которого привел дорогую ему девочку на край катастрофы. Но, поворчав и поспорив — больше для порядка, — он признал возможным и такой исход. Действительно, армия

нуждалась в сестрах милосердия, в городах, в том числе и в Тифлисе, открывались курсы, и поток молодых женщин, добровольно изъявивших желание послужить отечеству, все возрастал: об этом много и неизменно восторженно писали газеты.

— Да, это верно, — в задумчивости говорил он. — Вон и баронесса Вревская, читал я, тоже желание изъявила. Ладно, так решим: сейчас я тебя к батюшке твоему доставлю — ни-ни, и спорить не моги, доставлю! — а сам с этим, как его, с Федором Ивановичем переговорю.

— Нет, Петр Игнатьич, — Тая грустно улыбнулась, — и спорить не буду, и по-своему сделаю. Помогите Федору Ивановичу к Скобелеву попасть, уж какими путями, не знаю, но хоть чем-либо помогите. А я провожу его и приду. Обещаю вам это.

В улыбке ее было что-то новое, взрослое, незнакомое капитану. Он с грустью отметил это новое, еще раз помянул про себя недобрым словом фон Геллера, но уговаривать Таю не стал.

На другой день Гедулянов явился к полковнику Бордель фон Борделиусу, испросив разрешения на частную беседу. Напомнил о портупей-юнкере Владимире Олексине, немного поведал о

возвращении Таи и попросил рекомендательное письмо к Михаилу Дмитриевичу Скобелеву для Федора Олексина. Евгений Вильгельмович долго хмурился и покашливал, выражая неодобрение, но капитан был настойчив.

— Ради этого письма он приехал в Тифлис, господин полковник. Он мечтает о нем, поскольку это даст ему возможность познакомиться с героем Туркестана.

— Признаться, не уверен, помнит ли еще меня Михаил Дмитриевич, — сказал наконец полковник. — Служил он в нашем полку недолго, и когда же это было! Да и где-то он сейчас.

— Уж мимо Кишинева не проедет, — улыбнулся Гедулянов.

— Это верно, — вздохнул Евгений Вильгельмович. — Что ж, попробую написать.

Вечером Тая вручила Федору рекомендательное письмо к генерал-майору свиты Его Императорского Величества Скобелеву-второму.

— От самого Евгения Вильгельмовича. Они вместе служили.

— Тая, дорогая, я и не знаю, как вас благодарить.

— Говорят, Скобелев очень смелый. Будьте благоразумным, Федор Иванович, прошу вас.

— Ну конечно же, конечно, я же хочу с крестами вернуться.

— Вернуться?

— Все будет прекрасно, Тая, все будет замечательно, вот увидите!

Федор не замечал ни ее грустного вида, ни с трудом сдерживаемых слез, ни вымученной улыбки. Он уже ехал, уже представлялся Скобелеву, уже воевал…

На почтовой станции, от которой отправлялись пароконные линейки на Владикавказ, они стесненно молчали. Тая очень хотела спросить, вернется ли он в Тифлис, но не решалась, страшась услышать правду. А Федор со все возрастающим нетерпением ждал, когда же наконец тронется в путь.

— Я вам газету куплю, — сказала Тая, когда молчание стало совсем уж невыносимым.

Газету продавали за углом. Бойкий парень подмигнул озорным глазом:

— Берите, барышня. Тут про убийство из-за любви.

На ходу Тая развернула еще сырые листы. Мельком глянула, задохнулась, испуганно спрятала газету.

— Еще не продают, — пряча глаза, сказала она,

вернувшись.

— Ну и ладно, так доеду, — сказал Федор. — Уж сигнал дали, чтоб садиться. Так что…

Он замолчал, растерянно затоптался. Тая изо всех сил улыбнулась, протянула руку:

— Берегите себя. Обещаете?

Он вдруг резко согнулся, точно сломавшись пополам, припал губами к ее руке.

— Простите, Тая. Знаю, не достоин прощения, но все равно, бога ради, простите меня.

Тая крепко прижала его голову к груди, но он высвободился и не оглядываясь побежал к уже тронувшейся в путь линейке.

Тая стояла, пока экипажи не свернули в горы. Потом вздохнула, отерла слезы и достала газету. В той утренней газете на последней странице было маленькое сообщение:

«Вчера в два часа пополудни в номере гостиницы господина Гагавы застрелился насмерть бывший подпоручик 74-го пехотного Ставропольского полка Герман Станиславович фон Геллер-Ровенбург».

3

— Господи, вразуми меня! — жарко и истово шептала Варя, и слезы текли по ее лицу. — Гос-

поди, я потеряла разум! Господи, избавь меня от мук моих, научи, как мне жить дальше.

Стояла глухая весенняя ночь, в доме горела только одна лампада, освещая скорбный потускневший лик в серебряном окладе. Розовые огоньки струились и дрожали, отражаясь в старом серебре, и Варя глядела не на Божий лик, а на эти играющие обманчивые и жаркие сполохи слабого лампадного света.

— Господи, вразуми!

Она никогда не была религиозной и не стала ею, но живого и разумного советчика не было сейчас рядом, и Варя, столь часто обращавшаяся к Богу, спорила, в сущности, сама с собой. Спорила молча, даже наедине, лицом к лицу с иконой не решаясь произнести вслух то, что мучило ее, что уже много ночей не давало уснуть, а если, устав и исплакавшись, она и засыпала, то это нерешенное приходило во сне. Кто-то усмехался, обнажая крепкие молодые зубы, уверенно звал куда-то. Варя просыпалась в томлении и страхе, падала на колени, шептала бесконечные «вразуми, Господи!», но опять не решалась ни в чем признаваться. Если бы ей не предложили миллиона, если бы ей просто улыбнулись так, как улыбнулись однажды, она бы уже, наверное, была там, в далеком

Кишиневе, бросив все. Сила, которая глянула на нее серыми твердыми глазами, уверенность, что сверкнула ей белозубой улыбкой, были как бы отражением ее собственного бессилия и неуверенности, были тем родником, к которому она, не задумываясь, готова была припасть, но деньги… Деньги словно перечеркивали эту душевную силу; улыбка манила и притягивала, а деньги — отталкивали, и Варя изнемогала в борьбе между этими взаимно уничтожавшими друг друга силами. «Господи, ну почему же я одна, почему нет мамы? — с горечью думала она. — Мне же не с кем посоветоваться, я же одна теперь, во всем мире одна».

А время шло, нетерпение возрастало, и невозможно было ни на что решиться. Его не было, этого решения, которое одновременно успокоило и примирило бы и ее чувства и ее совесть. Не было, не могло быть; в ужасе от этой мысли Варя и вскакивала по ночам, падая коленями на холодный пол.

Во дворе яростно залаяла, но тут же успокоилась собака, за зашторенными окнами Вариной комнаты послышались осторожные шаги. Варя прислушалась: где-то рядом, вероятно в гостиной, заскребли в окно, словно пытаясь открыть

его с той, наружной стороны. Кто-то тайком пытался проникнуть в спящий дом, но Варя совсем не испугалась. Встала с колен, зажгла свечу и, сунув ноги в мягкие комнатные туфли, неслышно прошла в гостиную. Остановилась в дверях, прикрыв ладонью огонек. И тотчас же скрипнуло отворяемое окно, заколыхалась портьера, и через подоконник ловко перепрыгнула мужская фигура. Варя отважно шагнула вперед и подняла над головой свечу.

— Кто здесь?

— Ну я, — чуть помедлив, сказал Иван. — Спать надо, а ты не спишь.

— Откуда ты? И почему так странно, не как все люди?

— Так все люди дрыхнут, — весело пояснил он. — Обожди, закрою окно. — Он откинул портьеру, шумно и радостно вдохнул полной грудью. — Хорошо-то как, Варенька!.. — Закрыл окно, повернулся к ней. — Давай поговорим, а? Я все равно уж не усну, а поговорить хочется. Очень надо поговорить, потому что я взрослый, понимаешь? Я стал совсем взрослым, Варя, и поступать теперь надо по-взрослому, по-мужски.

— Идем, — сказала она, вдруг ощутив беспокойство. — Это все странно, Иван.

— Это все чудесно, сестра, — сказал он, подойдя и обнимая ее.

И тихо рассмеялся. А она отшатнулась.

— От тебя вином пахнет!

— Пахнет, но я не пьян, не бойся. Я просто… — Он не договорил. — Ну идем же, идем. Замерзнешь.

Брат с сестрой прошли в спальню Вари. Она накинула на плечи платок и села в кресло, обернув ноги одеялом. А он зажег лампу, потушил свечу и вольно плюхнулся на стул.

— Я женюсь, — сказал он, тихо и блаженно улыбаясь. — Не сейчас, разумеется, через год или два. Но она будет ждать меня. Она чудная, Варя, она изумительная, прекрасная женщина, и я счастлив. И вы все полюбите ее. И ты, и Маша, и Вася, и даже тетушка.

— Так, — сказала она, пытаясь собрать мысли, разбежавшиеся от этой новости во все стороны. — Подожди, подожди, это все очень странно и… по-моему, неприлично. По-моему, неприлично, — строго повторила она. — Где ты был ночью?

— У нее. — Иван опять улыбнулся счастливой и очень глупой улыбкой. — Я же сказал, что женюсь. Так вот, Варя, я не только хочу этого, но и обязан как честный…

— Мальчишка! — гневно перебила Варя. — Долг перед юбкой, которая легкомысленно уступила тебе до венчанья? Это бесчестье, а не долг, сударь! Бесчестье для всей нашей семьи, понятно это тебе? Говори, сейчас же говори, кто она такая?

— Ты кричишь, а я ведь тебя не боюсь, — спокойно сказал Иван. — Я вообще никого не боюсь, потому что я прав. А оскорблять женщину — низость, Варвара. Я не хочу тебя более слушать, но предупреждаю, что все равно сделаю по-своему. — Он встал и пошел к дверям, но остановился. Сказал уже иным, вымученным и просящим тоном: — Скажи, у нас есть деньги? Я не знаю, как это полагается, но готов как угодно. Под расписку, под вексель в счет наследства…

— Вон! — еле сдерживая слезы, прошептала Варя. — Вон, негодяй, убирайся вон, слышишь?

Гнев ее был велик и искренен, и Иван вдруг растерял весь свой апломб. Съежился, втянул голову в плечи и вышел тихо, на цыпочках, осторожно прикрыв дверь.

Однако у себя в комнате он быстро успокоился. Он не желал ни о чем думать, он верил, что все будет прекрасно, потому что чувствовал каждую клеточку своего тела, тайную мощь которого постиг только сегодня. Его переполняла дикая,

почти звериная радость от этого открытия, а такой гордости и такого довольства собой он не испытывал никогда. Ему не хотелось спать, не хотелось ни о чем думать, а хотелось только вспоминать то, что было совсем недавно и что породило в его душе этот восторг, это упоение самим собой. Он лежал на кровати, закинув руки за голову и счастливо улыбаясь… «Вы уедете в Тулу, к моему брату Василию. А я закончу в…» — «Но нужны деньги». — «Что? Деньги нужны, я знаю. На проезд я достану, а там Вася…» — «Нет, вы не поняли меня. Я должна заплатить неустойку, иначе меня не отпустят. Ведь я же уеду и сорву им все выступления. И труппа прогорит. А так нельзя, надо заплатить долг». — «Конечно, конечно», — торопливо согласился он. «Две тысячи рублей. И не позже четверга, никак не позже». Он вспомнил об этих двух тысячах, с досадой отбросил эту мысль, хотел подумать о чем-то другом — и уснул. Крепко и молодо.

На следующее утро Иван объявил себя больным, не пошел в гимназию и даже не вышел к завтраку. Ему и в самом деле было неважно: побаливала голова, во всем теле ощущалась какая-то непривычная вялость. Но не выходил он не по этой причине, а просто не хотел, не мог видеть

Варю. Мыкался по своей комнате, чуть ли не скрипя зубами, со стыдом и ужасом вспоминая, как ночью с телячьей радости ляпнул о Дашеньке, о том, что намерен жениться, просил денег. Сейчас и о самой-то Дашеньке, о всей той ночи он вспоминал со странным чувством — не то чтобы со стыдом, но с ощущением непоправимости свершившегося. Нет, он и в мыслях не допускал, что обманет любящую его женщину и не исполнит обещанного, но то, что вчера казалось таким простым, сегодня выглядело почти невозможным. Он не знал, не мог даже представить, где он, ученик старшего класса гимназии, может достать две тысячи рублей. Если бы жива была мама, он пошел бы к ней, упал на колени, во всем признался, и мама наверняка нашла бы достойный выход и спасла его честь. Но мамы не было, а говорить с Варей после вчерашней счастливо-пьяной болтовни, после ее крика: «Вон, негодяй!» — было уже невозможно, и Иван метался по комнате, то падая на кровать, то вскакивая снова.

Так прошли суббота и воскресенье, а в понедельник Иван опять не пошел в гимназию. Он похудел и почернел за эти два дня, он передумал все, о чем только можно было думать, он создал и разрушил тысячи планов, но так ничего и не

придумал. Ни одолжить, ни попросить, ни тем более заработать такую сумму было немыслимо. «Украду, — тупо повторял он, устав от пустых размышлений. — Украду, отдам ей и застрелюсь».

Вари с утра дома не было — куда-то уехала, а куда именно, Иван не интересовался. Детей отправили — кого в гимназию, кого заниматься дома с учителями, Гурий Терентьевич еще не приходил, а тетушка сидела в гостиной. Иван метался по дому, но в гостиную только заглядывал, думая, что Софья Гавриловна корпит, как обычно, над счетами, но потом разглядел, что она сосредоточенно раскладывает большой королевский пасьянс, а в углу привычно дремлет Ксения Николаевна. И — боком-боком — вошел в гостиную.

— Что тебе, Иван? — спросила тетушка, размышляя, как ей избавиться от короля.

Иван молчал, сосредоточенно изучая паркет.

— Тебе неможется? Завтра приглашу врача.

— Не надо, я здоров, — хрипло сказал он, попрежнему не поднимая головы. — Мне уж никто не поможет, кроме мамы. А ее нет.

Софья Гавриловна аккуратно положила короля, поправила сползавшее пенсне — эта вечная проверка счетов не прошла даром для ее зрения — и внимательно посмотрела на Ивана.

— Сядь. — И строго добавила, потому что он продолжал стоять как истукан: — Не угнетай меня высотой.

Иван беспомощно глянул, тотчас же опустил глаза и через плечо выразительно покосился на Ксению Николаевну.

— Голубушка Ксения Николаевна, — тотчас же сказала тетушка, — распорядитесь насчет чаю. И сами заварите, вы по этой части мастерица.

— Заварю, матушка, китайского заварю, с четырьмя мандаринами.

Приживалка выкатилась из гостиной.

— Затвори двери и садись, — сказала Софья Гавриловна. — У тебя что-то случилось, и ты потерял лицо.

Иван сел напротив, избегая смотреть в глаза. Долго вздыхал, собираясь с силами, но так ничего и не смог выговорить.

— Ты сказал, что тебе могла бы помочь мама. Я — тетя, но, может быть, я тоже могу помочь? Я очень люблю всем помогать.

— Я знаю, — глухо сказал он. — Но мне нельзя помочь.

— Так не бывает, мальчик, — сказала тетушка, улыбнувшись. — Если бы так было, люди б давным-давно вымерли. А они помогают друг другу

и не вымирают.

Иван набрал полную грудь воздуха, опять не смог ничего сказать и с шумом выдохнул его. Снова вздохнул, задержал вздох, зажмурился и пробормотал торопливо и невразумительно:

— Если не дадут двух тысяч до четверга, я их украду. Я украду их, тетя, а потом застрелюсь.

— Каких двух тысяч? Я ничего не поняла. Зачем тебе такая куча денег? Ты проигрался в карты?

— Нет, — кусая губы, буркнул Иван. — Я обещал.

— Кому же обещал?

— Это не важно.

— Напрасно ты так думаешь, это-то как раз и есть самое важное. Так кому же? Другу? Ростовщику? Задолжал за мороженое?

— Не смейтесь! — вспыхнул Иван. — Я обещал их женщине, тетя. Женщине, теперь вам все понятно?

— Теперь понятно, — сказала тетушка, помолчав. — Бог мой, ну и цены пошли.

— Тетя, не надо так, — умоляюще сказал он. — Я даже вам не позволю, даже вам. Это прекрасная женщина.

— Конечно, мой друг, конечно, — грустно согласилась Софья Гавриловна, вставая. — Все

женщины прекрасны, но, бог мой, как же мало вы их любите!.. — Она несколько раз прошлась по комнате, остановилась перед Иваном; он сидел, низко опустив голову. — Я не буду спрашивать, кто она: захочешь — расскажешь сам. Но это большая, очень большая сумма, и я хочу кое-что знать. Уж, пожалуйста, ответь мне, Иван.

— Я отвечу, — тихо сказал он.

— Что ты еще обещал этой прекрасной женщине, кроме денег? Ты обещал, что женишься на ней, когда закончишь в гимназии? Почему ты молчишь?

— Я женюсь на ней, тетя, — твердо сказал Иван.

— Так я и предполагала, — задумчиво сказала Софья Гавриловна, барабаня пальцами по спинке стула, на котором сидел Иван. — Так я и думала… Две тысячи нужны этой даме, чтобы уехать из Смоленска?

— Да.

— У нас нет таких денег. — Иван дернулся, но она положила руку на его плечо и удержала на месте. — Мы начинаем уже жить в долг, Иван, под векселя, проценты и расписки. Новое время, что делать, что делать, и у этого нового времени никогда уже не будет добрых, старых денег.

— Я отработаю, — торопливо заговорил Иван. — Я отработаю, даю вам слово. Я расписку готов дать, вексель под любые проценты…

— Не закладывай, — строго сказала тетушка. — Никогда не закладывай душу свою. Обожди меня здесь.

Она ушла, но отсутствовала недолго; Иван сидел не шевелясь, весь напрягшись и слушая каждый шорох. Вернулась Софья Гавриловна, неся небольшой футляр.

— Вот все, что у меня осталось, — сказала она. — Думала Машеньке к свадьбе… — Она открыла футляр. — Это серьги моей покойной матушки. Они стоят больше двух тысяч, много больше, но ты же не пойдешь их закладывать, правда? И я не пойду, и не будем считать, что да почем: ясная совесть всегда дороже. Отнеси ей, Иван, только пусть она уедет из нашего города. Ты потом ее найдешь, когда закончишь ученье. Хорошо, мальчик мой?

— Тетя! — Иван вскочил, поймал руку Софьи Гавриловны, припал к ней губами. — Тетя, милая тетя, вы спасли меня! Я никогда, никогда в жизни не забуду этого!

И, схватив футляр, опрометью выбежал из гостиной.

— Забудешь, Ванечка, забудешь, — с грустной улыбкой сказала Софья Гавриловна, вновь усаживаясь за пасьянс. — Все забудешь и правильно сделаешь. Жить — это значит сходить с ума…

4

— Да, жаль, что дела в Сербии закончились столь поспешно, — вздохнул молодой генерал с пшеничной, расчесанной на две стороны бородой и детскими синими глазами.

Он стоял у окна, заложив за спину руки и привычно развернув украшенную орденами грудь. За окном сиял весенний кишиневский день, и в каждой луже светило солнце. Князь Насекин молча наблюдал за ним, утонув в глубоком продавленном диване. В гостиничном номере было холодно и сыро; князь мерз и кутался в шотландский плед.

— Да, жаль, — еще раз вздохнул генерал. — Ей-богу, князь, плюнул бы на все и укатил бы к Черняеву. А там пусть судят: семь бед — один ответ.

— Любопытная мысль, — лениво усмехнулся князь. — Если солдат — слуга отечества, то генерал — слуга правительства. Вы слушаете, Скобелев? Отсюда следует, что если солдат-бун-

тарь принадлежит суду, то бунтарь генерал принадлежит самой истории. Я правильно вас понял, Михаил Дмитриевич?

— С меня моей славы хватит, — ворчливо буркнул Скобелев.

— Фи, Мишель, — вяло поморщился князь. — Мы поклялись говорить друг другу правду. Кстати, вы помните, где это было?

— Париж, пансион Жирардэ, — улыбнулся Скобелев. — Прекрасная пора! Потом мы почему-то решили стать учеными мужами.

— Вас с колыбели изматывал бес тщеславия, генерал. Если братья Столетовы пошли в университет за знаниями, я — по врожденному безразличию, то вы — лишь в поисках лавровых венков. Через год вы переметнулись в кавалергарды, и из всей нашей четверки терпеливо закончил в университете один Столетов-младший. И вот ему-то и достанется самая прочная слава, помяните мое слово. И только лишь потому, что он о ней не думает совершенно. А вам всего мало, Скобелев. Мало орденов, мало званий, мало славы, почестей и восторгов толпы. Впрочем, я завидую вашей жадности: она — зеркало ваших неуемных желаний.

Скобелев молчал, с видимым удовольствием

слушая монолог князя: он любил, когда о нем говорили, и не скрывал этого. Он не просто жаждал славы — он яростно добивался ее, рискуя жизнью и карьерой. Он искал ее, эту звонкую военную славу, бросаясь за нею то в Данию, то в Сардинию, то в Туркестан. Он ловил свою удачу, азартно вверяя случаю самого себя.

В Дании, выехав на рекогносцировку с полувзводом улан, ни на секунду не задумавшись, бросил в атаку этот полувзвод, врубился во главе его в пешую колонну противника, захватил штандарт и ушел с несколькими уцелевшими солдатами.

В Сардинии повел на картечь горстку отчаянных головорезов, ворвался на позиции артиллерии, переколол прислугу и захватил пушку.

На Кавказе… На Кавказе, кажется, угомонился. Читал лекции по тактике офицерам 74-го пехотного Ставропольского полка, лично проводил учения, беспощадно гоняя солдат и офицерскую молодежь в бесконечные броски и атаки. Вечерами лихо танцевал с дамами, пил не пьянея и пел под гитару неаполитанские и шотландские песни. Начальство ставило его в пример, не подозревая, что ночами идет азартнейшая картежная игра, в которую примерный Скобелев

уже проиграл не только жалованье за полгода вперед, но и орден, лично дарованный ему королем Сардинии.

В Туркестане он прославился еще во время труднейшего похода на Хиву. Киндерлиндский отряд вышел к южным воротам города под его началом: заболевшего полковника Ломакина солдаты принесли на руках. К тому времени Хива уже сдалась частям генерала Кауфмана, стоявшим у северных ворот: уточнялись детали капитуляции, порядок сдачи оружия и ритуал. И в то время, когда личные представители сбежавшего хивинского хана и почтенные аксакалы торжественно вручали Кауфману ключи от северных ворот, Скобелев повел Киндерлиндский отряд на штурм ворот южных. Поднялась невероятная суматоха, стрельба, крики; хивинцы, еще не успев сдать оружия, отчаянно отбивались, не понимая, кто, зачем и почему атакует их город. Скоро разобрались, стрельба прекратилась, трубачи отозвали атакующих, подполковник Скобелев получил свирепый нагоняй от Кауфмана и возможность всю жизнь утверждать, что взял Хиву приступом…

Слава нашла его быстро, но у этой шумной, даже чересчур шумной славы оказался оттенок

скандала. И этот проклятый оттенок перечеркивал все, даже ту воистину легендарную личную храбрость, в которой Михаилу Дмитриевичу не могли отказать и враги. А их было нисколько не меньше, чем друзей: Скобелев был широк, бесшабашен, резок в оценках и безрассудно отважен в решениях. Обладая прекрасным образованием и острым умом, он так и не научился светскому хладнокровию: в обществе его не любили за детское неумение и нежелание прикрываться спокойным юмором или язвительной иронией. Этот большой, сильный, шумный и яркий человек воспринимал театр военных действий прежде всего именно как театр. Ему всегда нужна была главная роль и публика. И еще — противник, и чем сильнее оказывался этот противник, тем талантливее становился Скобелев.

Об этом думал князь, насмешливо поглядывая на Михаила Дмитриевича, меривше го номер большими шагами, — ордена звякали на груди.

— Не тратьте на обиды столько внутренних сил, генерал, — как-то нехотя, словно превозмогая себя, сказал он. — Москва не верит ни слезам, ни слухам.

— Верит, — Скобелев упрямо мотнул головой, — еще как верит!.. Впрочем, в чем-то вы правы: я не

люблю Петербург. Нерусский и неискренний город! В нем есть что-то лакейское: Пушкин недаром сравнивал Москву с девичьей, а Петербург с прихожей. Москва болтлива, шумна, слезлива и отходчива, а град Петров пронырлив, хитер, молчалив и злопамятен. Нет-нет, я москвич душою и телом, и напрасно вы улыбаетесь, князь: говорю это обдуманно и серьезно.

— А ну как государь не простит?

— Что — не простит?

Скобелев спросил с паузой, и в этой паузе чувствовалось напряжение. Будто он и впрямь подумал о том же, а подумав, сжался. Не струсил — он уже привык волей подавлять в себе всякий страх, — а именно сжался, съежился внутренне.

— Генерал свиты Его Императорского Величества Скобелев бросил войска, губернатор Скобелев оставил вверенную его попечению область — не слишком ли много прегрешений? Было бы что-нибудь одно — ну бог с вами, Михаил Дмитриевич, пошалили — прощаем. Но вы же едины в двух лицах, и оба эти лица без монаршего соизволения оказываются сначала в Петербурге, потом в Москве, а затем и в Кишиневе.

— Я требую, чтобы меня судили! — громко сказал Скобелев. — Я готов отвечать перед любым

судом, лишь бы положить конец гнусным, порочащим меня слухам. Намекнуть об исчезновении казны кокандского хана в то время, когда я штурмом беру этот самый Коканд, — да за это убить вас мало, господа корреспонденты!.. Ну убью, допустим, а что дальше? Слух назад не отзовешь, слух пополз, затрепыхался, взлетел даже! Уж из дома в дом порхает, из гостиной в гостиную: «Слыхали, генерал-то Скобелев — кокандскую казну… того, знаете…» Ну и что прикажете делать?.. Что? Единственно искать защиты у государя. Единственно!

— И что же государь? — негромко поинтересовался князь. — Понял вашу оскорбленную душу и тотчас распорядился с судом?

— Как бы не так, — шумно вздохнул Скобелев, вновь принимаясь широко и упруго шагать по номеру. — Государь сказал, что генералов своей свиты он под суд не отдает, рекомендовал отдохнуть на водах и… И вот я не у дел. Генерал без войск, правитель без территории. А за спиной шушукаются, на улицах не узнают, а скоро и в гостиных руки подавать не будут.

— И все же не ответили: боитесь вы гнева монаршего, генерал без войск, и лишь бравируете или действительно не боитесь?

— Действительно не боюсь, — улыбнулся Ско-

белев. — Не из безрассудства, а по расчету, князь. Удивлены, поди: расчет — и Скобелев. Однако расчетец есть, поскольку в моем послужном списке значится Гродненский гусарский полк — служил там корнетом в шестьдесят четвертом. Между прочим, в Четвертом эскадроне означенного полка служил когда-то — в тридцать восьмом, что ли, — и корнет Лермонтов. Ну-с, так вот: государь был шефом этого полка с семилетнего возраста, а однополчан, как известно, прощают. — Он шумно завздыхал, потеребил обеими руками любовно расчесанные бакенбарды. — А жаль все же, что в Сербии — замирились: ударить бы нам османам под дых одновременно с Черняевым, куда как славно бы было! Ну да ладно, что Сербия — мне сейчас все равно, лишь бы из отечества милого долой.

— По пулям соскучились?

— Напрасно иронизируете, пули имеют и свою благодатную сторону. Когда они свистят вокруг, в вас сами собой просыпаются желания. Например, лечь, убежать, пригнуться. Одним словом, жить. Вы, поди, уж и позабыли, что на свете есть желания? Ну так прошу покорно со мной под пули, там снова восчувствуете, что жизнь прекрасна.

— Заманчиво. — Князь бледно улыбнулся. —

Признаюсь вам, как старому другу, Мишель: вы совершенно правы. Я лишен желаний, я увял и отцвел, не принеся плодов. А, вероятно, мог бы принести… — Он странно оживился, даже отбросил плед, точно перестав вдруг привычно мерзнуть. — Знаете, недавно испытал, что еще что-то могу, чего-то желаю. Гостил у сестры в Смоленске и встретил случайно существо… Простенькое существо, провинция, усадьба, наивность и максимализм. И — чистота, как у мадонны. Вот если бы такая полюбила — спасла бы, воскресила бы, из могилы бы вытащила. Да не случилось этого, но все равно рад я, Мишель, и имя ее до гроба не забуду, клянусь, не забуду.

— Ну и что же за имя, коли не секрет? — помолчав, спросил генерал, с удивлением слушавший неожиданно пылкую речь всегда вялого, анемичного князя.

— Мария Олексина, — тихо сказал князь. — Мария Олексина… — Он помолчал, словно давая себе время вернуться в прежнее состояние, старательно и неторопливо укрылся пледом и сказал с привычной ленивой бесцветностью: — Извините, Скобелев, утомил вас. Должно быть, горячка, не принимайте всерьез. А что касается пуль, так они скоро засвистят.

— Где засвистят, здесь? — Михаил Дмитриевич горько усмехнулся. — Это все лишь демонстрация, Серж, уверяю вас. Мы боимся воевать, мы все больше на политику надеемся. Побряцаем оружием, погорланим песни, постреляем на полигонах, а там, глядишь, и выторгуем что-нибудь. И — полки по квартирам.

— Не похоже что-то на демонстрацию, — сказал князь. — Россия воевать захотела, генерал, сама Россия: здесь уж никакой политикой не отделаешься. Так что терпите: враг тут ожидается поинтереснее, чем в Туркестане, а время от времени нужно менять не только друзей, но и врагов. А вам, Михаил Дмитриевич, самое время врагов сменить.

— Не врагов я менять стремлюсь, а закоснелые планы наши, — вздохнул Скобелев. — Не утерпел, каюсь, и главнокомандующему идейку одну подкинул. У вас нет карты? Ну черт с ней. В Румынию ведет от нас железная дорога. Возле самого Дуная дорога эта пересекает реку Серет через Барбошский мост, и турки его непременно взорвут, как только мы войну им объявим. Значит, нужен поиск. До объявления войны кавалерийский рейд для захвата Барбошского моста. Просто? Гениально просто: турки опомниться не

успеют, как мы…

Без стука распахнулась дверь, и вошел коренастый мужчина с седоватой бородкой, в странном меховом пиджачке нерусского покроя, с медной бляхой корреспондента на левом рукаве. Снял мягкую шляпу, обнажив изрядную плешь, сказал по-английски:

— Видимо, мне суждено все главные новости узнавать раньше русских. Так вот, император одиннадцатого прибывает в Кишинев. А Двадцать девятый казачий полк уже двинут к границе, за ним следуют селенгинцы. Передовой отряд поведет личный адъютант главнокомандующего полковник Струков.

— Вот и война, господа, — тихо сказал князь и перекрестился. — Откуда это известно вам, Макгахан?

— Тайна корреспондента, — улыбнулся Макгахан.

— И здесь меня обошли! — Скобелев с маху ударил кулаком по столу. — Ах вы, крысы штабные, боитесь скобелевской славы? Ну еще поглядим!.. Прощайте, господа!

— Куда же вы, генерал?

— К отцу! — из дверей прокричал Скобелев. — Пусть хоть в ординарцы берет, только бы на

войну не опоздать!..

5

Аверьян Леонидович не гадал, не думал, что, закрывая за собою дверь московской квартиры Олексиных, он закрывает ее навсегда. Что ему не суждено более перешагнуть ее порог, ощутить ее особое, родное тепло, погреть руки об изразцы голландки в прихожей, услышать стремительное шуршание юбок спешащей к нему хозяйки. В тот затянувшийся вьюжный вечер, когда дверь эта захлопнулась за ним, Беневоленский думал совсем о другом, думал, не ощущая холода, ломил сквозь сугробы в распахнутом пальто и улыбался. И все время в ушах его звенел высокий, ломкий от внутреннего напряжения голос Машеньки: «Я выбрала». И он знал, что Маша действительно выбрала, верил ей и до восторженных слез гордился, что выбрала она его.

Сейчас ему уже казалось несуразным, смешным и странным, что когда-то — давным-давно, еще до эмиграции — он слыл ярым, принципиальным, почти фанатичным противником сословий вообще и дворянства в особенности. Все несчастья русской истории, весь ее пот и вся ее кровь представлялись ему тогда цепью заговоров,

предательств, преступлений и общей неспособностью правящего класса, почему из всех царей он не то чтобы уважал — он не мог уважать то, что презирал с детства, — а признавал одного лишь Ивана Грозного. И когда с ним спорили, указывая на параноическую подозрительность и жестокость Грозного, упорствовал:

— Мало казнил, мало! Ему отмщение было дано, и он, как грозный судия, воздавал преступникам за их злодеяния.

— Но помилуйте, а сколько погибло безвинных?

— Безвинных дворян не бывает.

Тут Аверьян Леонидович слегка красовался, становясь в позу этакого кровожадного «дворянобойцы». На самом-то деле он был миролюбив и прекрасно уживался с дворянами и за границей, и в нелегальной деятельности, и в студенческом быту, хотя и относился к ним с большой долей предвзятости, априори считая бездарями, лентяями и безвольными субъектами. Позиция вполне отвечала современности, и надо же было случиться, чтобы личное его счастье, радость, а в определенной степени и смысл самой жизни заключались отныне в голосе, улыбках, жестах, взглядах — во всем существе юной представи-

тельницы того класса, который он полагал давно прогнившим балластом России. И, ломясь через сугробы, Беневоленский улыбался блаженно и иронически одновременно, поскольку думал о Маше и о себе уже неразделимо, как о едином существе.

Он не простудился тогда потому лишь, что через сугробы вышел прямехонько на ночного извозчика. Продрогший ванька, мечтавший уж не о заработке, а о душном тепле кабака, несказанно обрадовался невесть откуда вынырнувшему барину, тем паче что барин показался ему сильно навеселе. Он прямо-таки затащил его в морозное безветрие возка, укрыл полостью, с огорчением удостоверился, что седок трезв, но все же сказал заботливо:

— Не засни, ваше благородие, господин хороший. Лучше песни пой или меня ругай.

Деловое предложение враз вернуло Беневоленского на студеную русскую землю. Назвав адрес хорошо знакомого ему проходного двора — многие ночные извозчики были так или иначе связаны либо с охранкой, либо с полицией, — Аверьян Леонидович тут же дисциплинированно перестал думать о Маше, а начал размышлять о Федоре Ивановиче. Собственно, не о самом

Федоре — бог с ним: мальчишка, недоумок, — а о том зле, которое несли подобные мальчишки, в нетерпении не признающие не только дисциплины общей борьбы с самодержавием, но и просто логики этой борьбы. Если раньше Беневоленский лишь слышал об убийстве, то теперь не только знал, чьих рук это дело, но и цель, ради которой оно свершилось. Следовало немедленно оповестить своих, сменить адреса, отправить кое-кого из Москвы — словом, принять меры, и он, расплатившись с полуночным ванькой, направился не домой, а к товарищам, чтобы не терять ни часа и по возможности упредить действия III Отделения.

Последующие дни прошли в суете, отчасти полезной, отчасти растерянной. Удалось многое: уничтожить или перепрятать документы и запретную литературу, переправить людей в другие города — поглуше и потише, — сменить квартиры, паспорта, прописки, но чем больше удавалось сделать, тем больше оставалось несделанного, и сам Беневоленский, например, свою квартиру так и не сменил. Впрочем, сделал он это не по забывчивости и не из-за спешки, а после вполне здравого размышления и совета с друзьями. В самом деле, если, как можно было

предполагать, охранка уже вышла на его след, то давать ей знак, что он об этом знает, было нерасчетливо: следовало сначала сделать все, что возможно, не вспугивая ищеек, а уж потом самому путать след, исчезать, отрываться от «хвостов», уводя заодно их подальше от друзей. Конечно, в этом положении нельзя было не только видеться с Машей, но и писать ей, и Аверьян Леонидович скрепя сердце отодвинул до времени все связанное с любовью в самый тайный уголок души. Как бы ни любил он женщину, как бы ни поклонялся ей — дело всегда значило для него больше.

Занимаясь всей этой полутайной деятельностью, Беневоленский ни разу не обнаружил за собою «хвоста», хотя умел различать их, обладая вполне достаточным опытом. Однако он не позволял себе благодушия и вел себя так, будто все время волочил за собою этот проклятый «хвост». И лишь когда почти все было готово, когда ему уже подыскивали новую квартиру и готовили другой паспорт, Аверьян Леонидович и вправду заметил за собою слежку. Перепроверил несколько раз — для этого он знал множество способов, — убедился, что не ошибся, что некий господин намертво, как клещ, вцепился в него,

но обнаружил заодно, что господин этот работал в одиночку, а значит, шанс оторваться от него, запутать, заморочить, закружить и исчезнуть — был вполне реальным.

Сообразуясь с этой задачей, Беневоленский незаметно изменил первоначальное направление и, покружив немного, стал пробираться к многолюдным и шумным торговым улицам, где уйти от «хвоста» было проще простого. Так он вышел на Мясницкую, дошел до Лубянки и свернул на Кузнецкий Мост, намереваясь спуститься к Неглинной, где знал много проходных дворов, домов с двумя выходами и контор с множеством вывесок, залов, кабинетов и коридоров. Здесь, в этой деловой толчее, оторваться от слежки было легче, чем где бы то ни было, тем паче что филер был одинок. И Беневоленский начал неторопливо спускаться к Неглинке, идя с краю тротуара, поскольку до времени и сам не хотел терять из виду собственный «хвост».

— Кажется, господин Беневоленский? Господи, какая приятная неожиданность. Господин Беневоленский!

Это было столь внезапно, что, несмотря на воспитанную самодисциплину, уменье владеть собой и реальную слежку, Аверьян Леонидович

вздрогнул, сбился с ноги и лишь усилием воли удержался, чтобы не оглянуться на голос. И опытный филер, шедший следом, должен был, обязан был обратить внимание, как дернулся господин Прохоров, услышав чужую фамилию. Все это мгновенно пронеслось в голове Аверьяна Леонидовича, что не помешало ему, однако, сообразить, что окликнувший его женский голос был очень знакомым, и, продолжая идти размеренно и спокойно, как шел доселе, Беневоленский напряженно вспоминал, когда и где слышал он этот низкий, грудной, воркующий голос. А оглянуться, посмотреть было никак невозможно, и он лишь уголком глаза сумел определить, что рядом по мостовой движутся расписные санки и что кучер с трудом сдерживает нетерпеливого коня на спуске, чтобы обладательница грудного голоса могла продолжать разговор.

— Господин Беневоленский, это становится уже невежливым, — совсем разворковалась дама. — Аверьян Леонидович — видите, как точно я запомнила вас с одной встречи.

Теперь он вдруг вспомнил все. Смоленское именье Олексиных, вечера с Федором, знакомство с Машенькой — еще совсем девочкой в широченной татьянке без талии. И приезд скучающей

томной красавицы, в которую был влюблен этот несчастный юнкер, брат Машеньки, так глупо погибший на Кавказе. Ее звали… Ее звали Елизаветой Антоновной. Он вспомнил все в считаные секунды, понял, что дама не отстанет, что нужно действовать немедленно, перехватывать инициативу и вести игру самому.

— Простите, сударыня, вы звали меня, я не ослышался? — Он остановился, в упор разглядывая весьма интересную, богато и модно одетую молодую женщину: это и впрямь была Елизавета Антоновна, Лизонька. — Бог мой, Елизавета Антоновна? Вы ли это, глазам не верю!

Лизонька настолько привыкла к фальши, настолько была неискренней сама, что откровенная и грубая игра Беневоленского не только не оскорбляла ее, но, напротив, полностью отвечала норме той среды, которую Елизавета Антоновна гордо именовала «кругом». В этом «кругу» форма всегда ценилась дороже и выше содержания: за нею ревниво следили, ее пестовали, ею гордились. И мучительная ложь Аверьяна Леонидовича, ложь, которой он внутренне стыдился, воспринималась как милая и вполне естественная светская болтовня. И, кое-как справившись со стыдом и первым волнением, Беневоленский понял и

принял предложенный тон разговора, спиной ощущая, что филер стоит сзади и что отрываться от него нужно немедленно и совсем не так, как он задумал.

И он начал ненавидимую и презираемую им светскую болтовню, полную недомолвок, пошлой двусмысленности, намеков, грошового остроумия и фривольной игривости, внутренне благодаря судьбу, что Машенька не слышит этого мутного потока лжи. А Лизонька чувствовала себя в этом словоблудии, как в собственном доме, таинственно улыбаясь намекам, смеясь натужному остроумию и с наслаждением перебрасываясь словечками, как воланами в игре. А он не знал, что ему делать далее, по-прежнему ощущая филерский — «слушающий», как говаривал Герцен, — взгляд, и лихорадочно соображал, как бы повернуть разговор…

— Вы исчезли тогда так стремительно и более не появились, и это было так странно, что я, право же, заподозрила вас в нездоровом интересе к этой невоспитанной девочке… Как же звали ее? Такое простонародное имя, без шика…

— Становится прохладно, вы не находите? — торопливо сказал Беневоленский, чтобы только сбить Елизавету Антоновну с мыслей о Машень-

ке. — Беспокоюсь за ваш прелестный голос: сейчас время ангин, верьте врачу.

— Однако и в самом деле, что же это мы стоим? — очень удивилась Лизонька. — Право, я и впрямь начинаю ощущать холод, хотя меня и кидает в жар от ваших льстивых слов, дорогой Аверьян Леонидович. Вы куда-то спешили, погруженный в собственное «я»?

— Пустяки, — торопливо сказал он. — Признаюсь, мне не хотелось бы расстаться с вами столь же внезапно, сколь внезапной вышла наша встреча.

Он говорил и говорил, со стыдом ощущая мерзкую фальшь каждого комплимента. Но надо было, во что бы то ни стало надо было добиться приглашения сесть в расписные, с окованными полозьями сани пятирублевого лихача и мчать куда угодно, лишь бы исчезнуть навеки с прищуренных филерских глаз. И он напросился на приглашение и помчался вниз, к Театральной, а оттуда через Охотный Ряд и Манеж на тихую респектабельную Поварскую, где само появление филера было столь же противоестественным, сколь противоестественной показалась бы здесь искренность, доверчивость и простота. И филер действительно отстал, сознательно упуская

«объект», дабы не налететь на еще большую неприятность.

А Лизонька болтала, нимало не заботясь ответами, взволнованно ощущая близость, общее тепло под медвежьей полостью, свежий морозный ветер и собственную неотразимость.

— В Москве я проездом, и то, что мы встретились, поразительнейшая и совершеннейшая случайность. Вы верите в судьбу, Аверьян Леонидович? О, я верю! Верю, верю неистово и благоговейно, как институтка. Помните нашу первую встречу у этих наивных провинциалов? Тогда вы жестоко не замечали меня, жестоко. А теперь? Какие чувства волнуют вас, если вы, не замечая мороза, терпеливо и жадно слушали мою болтовню на Кузнецком? О, это судьба, и я благословляю ее. Кстати, мой повелитель днями направляется в Кишинев, а я собираюсь навестить родню в Смоленске. Вам никому не хочется передать поклон? Никому? Это прекрасно! Оттуда я непременно ворочусь в Москву и тогда… Как мне известить вас о приезде? О, конечно, если вы захотите свидеться со мной. Так, говорите, тот милый юноша, что был так влюблен в меня, погиб на дуэли? Какая жалость, такой прелестный, такой наивный юнкер. Ах, Боже, Боже, это все —

судьба. Сегодня мы воркуем и смеемся, назначаем свидание на завтра, а завтра умываемся слезами. Это — судьба, Аверьян Леонидович, судьба!

Скрепя сердце Беневоленский улыбался, поддакивал, вставлял словечки, хотя внутренне его трясло от злости и презрения. Но он скрыл все чувства, он доиграл роль до конца и даже сообщил Лизоньке несуществующий адрес, куда бы она могла прислать телеграмму о своем возвращении из Смоленска. Наговорив кучу банальностей и пошлейших комплиментов, Аверьян Леонидович простился наконец-таки с раскрасневшейся и действительно очень похорошевшей Елизаветой Антоновной, обещал непременно встретить ее, как только прибудет телеграмма, и благополучно нырнул в заснеженные вензеля бесконечных Садовых.

Взяли его через неделю, когда он уже был убежден, что избежал неприятностей, и готовился уехать из Москвы.

6

Теплым апрельским вечером по всему местечку Кубея, расположенному на самой румынской границе, весело трещали десятки костров. На центральной площади возле каменной церкви играл

полковой оркестр, а вокруг костра, зажженного в центре, толпились казаки и молодые офицеры; те, кто постарше, сидели у огня на седлах в тесном кругу бородатых донцов. Со всех сторон доносились песни, озорные посвисты, ржание встревоженных, предчувствующих поход коней.

— Нет, сегодня всенепременно приказ на выступление должон быть, — говорил увешанный медалями старый урядник. — Помяните мое слово, ребята, должон!

— Печенка чует, Евсеич? — смеялись казаки.

— Не сглазь, отец. Каркаешь третий час.

— У него глаз добрый: глянет — как выстрелит!

— Правду говорю, — убежденно сказал урядник. — Ну, с кем об заклад?

— Со мной, борода, — улыбнулся безусый хорунжий. — Что ставишь?

— Шашку поставлю. Хорошая шашка, кавказская. А ты что взамен, ваше благородие?

— Лошадь могу. У меня заводная есть.

— Тю, лошадь! На твоей лошади только и знай, что девок катать.

— Ну, винчестер хочешь?

— Смотрите, Студеникин, проиграете, — предупредил стоявший рядом немолодой сотник. — Евсеич и вправду печенкой поход чувствует:

тридцать лет в строю.

— Не беспокойтесь о моем имуществе, Немчинов, — с задором сказал хорунжий. — Пойдет ли винчестер, Евсеич?

— Коль не ломаный, так чего ж ему не пойти.

— Нет, новый. Только скажи, откуда о походе знаешь?

— Дело простое, — пряча улыбку в косматую, с густой проседью бороду, начал урядник. — Задаю я, значит, поутру корм своему Джигиту, а он и рыло в сторону. Что ты, говорю, подлец, морду-то воротишь? Овес отборный, сам бы жрал, да зубы не те. А он повздыхал этак, по сторонам глазом порыскал да и говорит мне…

— Ох-хо-хо! Ха-ха-ха! — ржали казаки. — Ну Евсеич! Ну отец! Ну уморил!

— Что это они там? — удивленно спросил полковник Струков, нервно топтавшийся у крыльца каменного дома, занятого под штаб.

— Перед походом, — пояснил командир 29-го казачьего полка хмурый полковник Пономарев. — Евсеич, поди, байки рассказывает, а они зубы скалят.

— Поход, — вздохнул Струков. — Порученца до сей поры нет, вот вам и поход. Неужто отложили?

— Быть того не должно…

Полковник вдруг примолк и напрягся, вслушиваясь. Из степи донесся далекий перезвон почтового колокольчика.

— Вот он, порученец, Александр Петрович. Ну, дай-то Бог!

— Доложите Шаховскому! — крикнул Струков и, подхватив саблю, по-молодому выбежал на площадь. — Место, казаки! Освобождай проезд!

Было уже начало одиннадцатого, когда перед штабом остановилась взмыленная фельдъегерская тройка. Из коляски торопливо вылез не по возрасту располневший офицер по особым поручениям полковник Золотарев.

— Здравствуйте, господа. Заждались?

— Признаться, заждались, — сказал Струков. — Где вас носило, Золотарев?

— Так ведь грязи непролазные, господа. Где князь?

— Сюда. Осторожнее, приступочка.

Командир 11-го корпуса генерал-лейтенант князь Алексей Иванович Шаховской ожидал порученца стоя. Нетерпеливо прервав рапорт, требовательно протянул руку за пакетом. Перед тем как надорвать его, обвел офицеров штаба суровым взглядом из-под седых насупленных

бровей. Рванул сургуч, вынул бумагу, торопливо пробежал ее глазами, глубоко, облегченно вздохнул и широко перекрестился.

— Война, господа.

— Ура! — дружно и коротко отозвались офицеры.

Князь поднял руку, и все смолкло.

— Высочайший манифест будет опубликован завтра в два часа пополудни. А сегодня… Где селенгинцы, полковник Струков?

— На подходе, ваше сиятельство.

— Дороги очень тяжелые, ваше сиятельство, — поспешно пояснил Золотарев. — Передовую колонну Селенгинского полка обогнал верстах в десяти отсюда, артиллерия отстала безнадежно.

— Так, — вздохнул Шаховской. — Начать не успели, а уж в грязи по уши.

— Время уходит, ваше сиятельство, — негромко напомнил Струков. — Селенгинцы после марша за мною все равно не угонятся, а артиллерия раньше утра вообще не подойдет.

Корпусной командир промолчал. Подошел к столу, долго изучал расстеленную карту. Сказал, не поднимая головы:

— Сто десять верст марша да переправа через Прут. Вы убеждены, что паром не снесло раз-

ливом?

— Вчера с той стороны перебежал болгарин, — сказал начальник штаба корпуса полковник Бискупский. — Утверждает, что паром цел.

Князь Шаховской был старым кавказским воякой, заслужившим личной отвагой одобрение самого Шамиля. Он, как никто, любил риск, стремился к глубоким рейдам и всегда безоговорочно верил в победу. Но начинать именно эту войну за сутки до ее официального объявления без достаточной подготовки он решиться не мог. Повздыхал, сердито двигая седыми клочковатыми бровями, сказал сухо:

— Повременим. Свободны. Бискупскому остаться.

Недовольный Струков замешкался в дверях, пропуская поваливших из комнаты офицеров. Глянул на часы, решился:

— Разрешите хоть рекогносцировку с офицерами провести, ваше сиятельство.

— Экой ты, братец, упрямый, — с неудовольствием отметил генерал. — Ну проведи. Не помешает.

Оставив Пономарева заниматься подготовкой к походу, Струков вывел офицеров на границу — на сам Траянов вал, режущий землю на Россию

и Румынию.

Над степью уже спустилась тьма, но на той, румынской стороне горели окна в таможне и — цепочкой от Траянова вала в глубь Румынии — с десяток ярких костров, точно кто-то высвечивал дорогу русскому передовому отряду. Кратко ознакомив офицеров с задачей и сердито оборвав их попытки тут же рявкнуть восторженное «ура», указал примерный маршрут, обратив особое внимание на цепочку костров:

— Это нам светят, господа. Деревенька, что перед нами, населена болгарами, бежавшими от турок, и носит название совершенно особое, я бы сказал, даже символическое — Болгария. Это наша первая и конечная цель в этой святой войне, господа. Еще раз напоминаю о порядке и осторожности. Какие бы то ни было перемещения, курение и разговоры запрещаю категорически. Учтите, что поход будет проходить по территории дружественного суверенного государства. Растолкуйте это казакам, чтобы дошло до каждого. И помните, господа офицеры: на нас смотрит не только вся Россия, на нас смотрит вся Европа, потому что мы первыми начинаем освободительный поход против многовековой тирании османов.

Когда вернулись в Кубею, полк был готов к длительному маршу. Кони взнузданы, тюки увязаны, тороки пригнаны; казаки еще балагурили у затухающих костров, но за их спинами коноводы уже держали лошадей в поводу.

В начале двенадцатого послышался мерный тяжелый топот: шли селенгинцы. Остановились на дороге у выхода на площадь, устало опершись о винтовки, но строго соблюдая строй. Командир спешился у крыльца, доложил о прибытии полка вышедшему навстречу Шаховскому.

— Что артиллерия?

— Застряла, ваше сиятельство. Полк совершил тридцативерстный переход по тяжелой дороге, нуждается в отдыхе.

— Ясно, — сердито буркнул князь.

— Ваше сиятельство, — умоляюще сказал Струков. — Позвольте с одними казаками поиск произвести, ваше сиятельство.

Генерал хмуро потоптался, вздохнул:

— Делать нечего, рискуйте, полковник. Только…

— Ур-ра!.. — загремела притихшая площадь, заглушая генеральские слова. — Поход, ребята! По местам, казаки!

Шаховской рассмеялся, выпрямился, как на

смотру, развернул плечи, разгладил седые усы. Крикнул, поднатужившись, хриплым, сорванным басом:

— С Богом, дети мои!.. — Закашлялся, обернулся к Струкову. — Обращение — и вперед. Вперед, полковник, только вперед!

— Благодарю, ваше сиятельство! — прокричал Струков, сбегая с крыльца.

Казаки уже вскакивали в седла, вытягиваясь посотенно и строя каре по сторонам площади. Во время захождения кто-то вежливо тронул хорунжего Студеникина за плечо. Он оглянулся: с седла, ухмыляясь, свешивался урядник Евсеич.

— Винтовочку мою сам понесешь, ваше благородие, или мне отдашь?

Казаки рассмеялись.

— Тихо! — крикнул сотник Немчинов. — Что за хохот?

Хорунжий торопливо сдернул с плеча новенький английский винчестер и протянул его уряднику.

Каре выстроилось, и в центр его въехали Струков и Пономарев.

— Казаки! — волнуясь, но зычно и отчетливо прокричал Струков. — Боевые орлы России! Вам доверена великая честь: вы первыми идете на

врага! Поздравляю с походом, донцы!

— Ур-ра!.. — качнув пиками, раскатисто прокричали казаки.

— Слушай обращение! — Струков развернул бумагу, адъютант услужливо светил фонарем. — «Сотни лет тяготеет иго Турции над христианами, братьями нашими. Горька их неволя… Не выдержали несчастные, восстали против угнетателей, и вот уже два года льется кровь; города и села выжжены, имущество разграблено, жены и дочери обесчещены; население иных мест поголовно вырезано… Войска вверенной мне армии! Не для завоеваний идем мы, а на защиту поруганных и угнетенных братий наших. Дело наше свято и с нами Бог! Я уверен, что каждый, от генерала до рядового, исполнит свой долг и не посрамит имени русского. Да будет оно и ныне так же грозно, как в былые годы. Да не остановят нас ни преграды, ни труды, ни иные лишения, ни стойкость врага. Мирные же жители, к какой бы вере и к какому бы народу они ни принадлежали, равно как и их добро, да будут для вас неприкосновенны. Ничто не должно быть взято безвозмездно, никто не должен дозволить себе произвола… — Струков откашлялся, передохнул, строго оглядел замерший строй: в затухающем свете костров за

силуэтами всадников виднелись первые ряды стоявших в строю селенгинцев и группа офицеров на крыльце штаба. Он вздохнул и продолжал с новой силой: — Напоминаю войскам, что по переходе границы нашей мы вступаем в издревле дружественную нам Румынию, за освобождение которой пролито немало русской крови. Я уверен, что там мы встретим то же гостеприимство, что предки и отцы наши. Я требую, чтобы за то все чины платили им, братьям и друзьям нашим, полною дружбою, охраною их порядков и беззаветною помощью против турок, а когда потребуется, то и защищали их дома и семьи так же, как свои собственные…» Подлинник подписал его императорское высочество великий князь главнокомандующий Николай Николаевич-старший! — Струков сложил обращение, вытер со лба пот, вновь привстал на стременах. — Для молебствия времени нет. Полковник Пономарев, вы один прочтете молитву перед походом. Шапки долой!

Пономарев, громко, отчетливо выговаривая каждое слово, прочитал молитву. Казаки истово перекрестились, надели шапки.

— Полк, справа по три, за мной рысью маарш! — подал команду Струков.

И не успели тронуться передовые казачьи ряды, как с улицы донеслось:

— Селенгинцы, слушай! Равнение на Двадцать девятый казачий!.. На кра-ул!..

Слаженно лязгнули взятые на караул винтовки: пехота отдавала воинские почести казакам, уходившим в поход первыми. Генерал Шаховской и офицеры у штаба взяли под козырек, и сразу же загремел походным маршем оркестр. Сотни вытягивались из Кубеи к государственной границе России.

Поравнялись с румынской таможней. Во всех окнах горел свет, шлагбаум был поднят. Румынский доробанец у шлагбаума держал ружье на караул, офицер и солдаты, высыпавшие из таможни, отдавали честь.

— Прекрасно, — отметил Струков и, привстав на стременах, крикнул: — Расчехлить знамя!

За таможней начиналась цепь костров, освещавшая дорогу, ведущую в небольшую деревеньку. Сразу стало светло, и все увидели десятки людей, стоявших по обе стороны. Старухи и старики кланялись в пояс, женщины поднимали детей; кто плакал, кто низко кланялся, кто становился на колени, и все кричали что-то восторженное и непонятное.

— Здравствуйте, братья болгары! — громко крикнул Струков, и голос его дрогнул. — Вот мы и пришли!

— Добре дошли, братушки! — сказал седой сгорбленный старик.

Держа в руках хлеб, он шагнул на дорогу, остановив колонну, низко, до земли поклонился. Струков нагнулся с седла, принял хлеб, поцеловал его.

— Спасибо, отец. Только некогда нам, ты уж извини. Мы в твою Болгарию спешим.

Старик еще раз поклонился и отступил в сторону. Но Струков не успел тронуть коня: бородатый крепкий мужик держал за повод.

— Ваше высокоблагородие, русский я, русский! — торопливо говорил он. — В Сербии ранен был, в плен там попал, бежал оттудова и вот вас дожидаюсь.

— Ну и дождался, — сказал Струков. — Можешь домой идти, в Россию.

— Охотой я тут кормился, — продолжал бородач, не слушая его. — Места хорошо знаю, хочу проводником к вам. А идти, ваше высокоблагородие, мне теперь некуда: барина моего в Сербии убили. Посчитаться надо бы, возьми, а?

— Проводником, говоришь? — Струков поду-

мал. — Эй, казаки, коня проводнику! По дороге расскажешь, кто да что, познакомимся.

— Спасибо, ваше высокоблагородие!

Он ловко вскочил на заводного коня, пристроился рядом. Рассказывал, как воевал в Сербии, как потерял барина, у которого служил денщиком, как без денег и документов прошел всю Европу и осел здесь, в болгарской колонии, ждать своих.

— Настрадался я, ваше высокоблагородие: бумаг-то при мне нету. А уж тюрем повидал — и австрийских, и венгерских, и румынских, не приведи бог никому! Ну, слава богу, до болгар этих добрался.

— Охотой промышлял, значит?

— Да. — Проводник усмехнулся. — Башибузуки тут шалят часто. Через Дунай переправляются — по двое, по трое, а то и поболе. Скот угоняют, хаты жгут, бывает, и девчонок уводят. Ну, мне обчество ружьишко купило, так теперь потише стало. Ну и охота, она, конечно, тоже. Она здесь богатая, охота то есть… Тут правее бери, ваше высокоблагородие, прямо низинка идет, топко там.

— Ну ты молодец, борода, — смеялся Струков, приняв правее по совету проводника. — Гайдук, значит, так получается?

— Какой из меня гайдук, — усмехнулся в бороду

проводник. — Охотник я, стреляю хорошо…

— Паром на Пруте цел, не знаешь?

— Как не знаю, цел. Сам же крепил его, чтоб в половодье не унесло.

Подошли к местечку, жители которого от мала до велика высыпали навстречу русским. Кланялись, кричали приветствия, протягивали казакам пшеничные хлебы, по местному обычаю ломая их пополам на вечную дружбу. Но Струков и здесь не остановился, только сбавил аллюр, из уважения к гостеприимным румынам шагом миновав местечко.

Остановились на берегу мутного, широко разлившегося Прута. Надежно закрепленный паром был на месте, но канат, по которому ходил он на противоположный берег, с той стороны оказался перерубленным.

— Башибузуки, — виновато вздохнул проводник. — Виноват, ваше высокоблагородие, недоглядел: вчера днем еще целым был.

— Кому-то надо вплавь, — озабоченно сказал Пономарев. — Скрепит канат, а там уж и мы переправимся. Эй, ребята, кто за крестом полезет?

— Уж, видно, мне придется. — Евсеич спрыгнул с седла, не ожидая разрешения, стал раздеваться. — Конь у меня добрый, вытащит.

Пока урядник неторопливо стаскивал сапоги и одежду, проводник уже скинул все и в одних холщовых подштанниках спустился к воде. Попробовал ее корявой ступней:

— Холодна купель.

— Куда собрался, борода? — строго окликнул Струков. — Урядник один справится.

— Нет уж, ваше высокоблагородие, ты мне не перечь, — строго сказал проводник. — Я тут за всю Россию в ответе, а, видишь, не углядел.

— За гриву держись, борода, — сказал Евсеич, крепя конец каната к задней луке высокого казачьего седла. — Джигит вынесет. Одежонку нашу с первым же паромом отправить не позабудьте, казаки. Ну, с Богом, что ли?

Добровольцы широко перекрестились и дружно шагнули в мутную стремительную воду. Жеребец, сердито фыркнув, недовольно дернул головой, но послушно пошел за хозяином.

— Ух, знобка, зараза! — донесся веселый голос Евсеича. — Не поминайте лихом, братцы!

Полк спешился, отпустил коням подпруги, длинным строем рассыпавшись по берегу. Все молчали, с тревогой ловя среди волн три головы — две людские и лошадиную.

— А если судорога? — спросил Студеникин. — По

такому холоду судорога очень даже возможна.

— Типун вам на язык, хорунжий, — недовольно сказал сотник.

Две кудлатые головы — одна седая, будто усыпанная солью, вторая темно-русая — плыли вровень по обе стороны высоко задранной в небо лошадиной морды. Но на стремнине их отбросило друг от друга, понесло, закружило, перекрывая волнами.

— Держись! — орали казаки. — Загребай, братцы!

— Придержи канат! — крикнул Пономарев и сам бросился к парому. — Внатяг его надо, внатяг пускать!

Но было уже поздно: мокрый тяжелый канат захлестнул задние ноги жеребца. Джигит испуганно заржал, завалился на бок, голова на миг ушла под воду. Евсеич пытался подплыть к коню, но его снесло ниже, и он напрасно молотил руками.

— Пропал конь! — ахнули казаки. — Сейчас воды глотнет, и все, обессилеет.

Проводник, развернувшись по течению, уже плыл к Джигиту размашистыми саженками, по пояс выскакивая из воды при каждом гребке. Нагнал сбитого волнами жеребца, нырнул, нащупал

поводья, рванул морду кверху. Жеребец всхрапнул, заржал тоненько. Не отпуская поводьев, проводник плыл впереди, из последних сил загребая поперек стремнины. Он греб теперь одной рукой, волны то и дело накрывали его с головой, но он, задыхаясь и глотая мутную ледяную воду, не отпускал коня. Евсеича сносило вниз.

— Держись! — теперь кричали не только казаки, но и офицеры, подбадривая изнемогающего бородача. — Держись, милок! Чуток осталось, держись!..

Жеребец первым нащупал дно, рванулся, выносясь на поводьях обессилевшего, нахлебавшегося воды проводника, выволок на размытый глинистый берег. Следом тащился отяжелевший мокрый канат.

— Ура! — восторженно закричали донцы. — Молодец, борода!..

— Вот вам и первые ордена в этой кампании, — облегченно вздохнув, сказал Струков Пономареву. — Поздравляю, полковник.

— Дадут ли? — засомневался осторожный Пономарев.

— Свои отдам, — смеялся Струков.

Снизу по той стороне бежал Евсеич. Проводник стоял на коленях: его мучительно рвало. Рядом

тяжело поводил проваленными боками Джигит.

— Живой? — Урядник сграбастал проводника, поцеловал. — Коня ты мне спас, Джигита моего! Брат ты теперь мой названый!..

— Вяжи канат, Евсеич, — задыхаясь, сказал проводник. — Сам вяжи, сил у меня нет.

Торопливо огладив и крепко поцеловав в мокрую морду жеребца, Евсеич кинулся крепить канат к вбитой в откос дубовой свае.

Струков переправился первым паромом. К тому времени проводник и урядник уже отдышались. Увидев подходившего полковника, встали; докладывать не было сил, особо вытягиваться тоже: тяжелые, усталые руки вяло висели вдоль еще не просохших подштанников.

— Спасибо, молодцы. — Струков троекратно расцеловал каждого, протянул фляжку. — Пополам — и до дна. — Дождался, когда они осушат ее, добавил: — Поздравляю с крестами, братцы.

— Рады стараться, ваше высокоблагородие, — устало сказал Евсеич.

Проводник промолчал. Глянул умоляюще:

— Ваше высокоблагородие, уважьте просьбу, век буду Бога молить. Дозвольте с вами на турка. Посчитаться мне с ним надобно, ваше высокоблагородие.

— Дозвольте в строй ему, — попросил урядник. — Побратим он мой и казак добрый, дай бог каждому. Всем обществом просить будем.

— В казаки, значит, хочешь? — улыбнулся Струков. — Что ж, заслужил. Полковник Пономарев, возьмете казака?

— Фамилия?

— Тихонов Захар! — собрав все силы, бодро отозвался проводник.

— Немчинов, запиши в свою сотню.

— Премного благодарен!

— Ну, поздравляю, казак. — Струков пожал Захару руку. — Одевайся, грейся. Пока при мне будешь.

— Слушаюсь, ваше высокоблагородие!

Через три часа полк переправился полностью. За это время отдохнули и подкормились и казаки и кони: шли резво, радуясь тихому солнечному дню. За Прутом потянулись нескончаемые, залитые водой низины; дорога пролегала по узкой дамбе, полк с трудом умещался в строю по трое. Струков вместе с Захаром ехали впереди.

— Дунай виден, ваше высокоблагородие, — сказал Захар. — Вон слева блестит, видите? Кругом вода желтая, а он вроде как стальной.

— Слева Дунай, казаки! — крикнул Струков

ближайшим рядам.

— Слава Богу! — отозвались оттуда. — Побачим и мы, что деды наши бачили.

Перевалили через высокий холм, и Захар придержал коня. Теперь Дунай уже был виден впереди, а перед ними за спуском сразу начинался город. На утреннем солнце ярко белели дома.

— Галац, ваше высокоблагородие. Может, разведку сперва? Тут по Дунаю турецкие броненосцы шастают.

— Некогда разведывать. Авось проскочим.

Проскочить не удалось: перед городской заставой стояла цепь румынских доробанцев. Они стояли спокойно, опустив ружья к ногам, и больше сдерживали толпу любопытных жителей, чем казаков.

— Пропустить не могу, господа, — сказал молодой офицер по-французски. — Сейчас прибудет господин префект, потрудитесь обождать.

Спорить было бесполезно, идти напролом Струков не имел полномочий, и полк замер в бездействии. Наконец показалась коляска, остановилась у заставы, и из нее важно вышел полный господин, опоясанный трехцветной перевязью.

— С кем имею честь?

Струков отрекомендовался, попросил разрешения пройти через город. Префект энергично замотал головой:

— Нет, нет, нет, господа, об этом не может быть и речи. Я не получил соответствующих распоряжений и не имею права позволить вам пересечь мой город. Но я не могу и запретить вам двигаться в любую сторону.

— Извините, господин префект, я не понял вас.

— Я не имею права ни позволить, ни запретить, — туманно пояснил префект.

— Как?

— Я все сказал, господа.

Струков в недоумении повернулся к Пономареву:

— Вы поняли, что он имеет в виду?

— Хитрит, — пожал плечами Пономарев. — Нас мало, а турецкие мониторы ходят по Дунаю.

— Что он говорил, начальник ихний? — нетерпеливо спросил Захар.

— Через город не пускает, — нехотя пояснил Струков.

— Ну так я вас задами проведу, эка беда, — сказал Захар. — Задами-то, чай, можно, не его власть?

— Молодец! — облегченно рассмеялся Стру-

ков. — Веди.

— А вот направо, через выгон.

— До свидания, господин префект. — Струков вежливо откозырял. — Полк, рысью!..

Префект молча подождал, пока весь полк не свернул с дороги, огибая город. Потом снял шляпу, вытер платком лоб, сказал офицеру:

— Догадались наконец.

Полк беспрепятственно обогнул Галац, вновь вернулся на дорогу. Отсюда хорошо был виден Дунай и пристань Галаца, вся в дымах от множества пароходов. Пароходы разводили пары, торопливо разворачиваясь, уходили вверх и вниз по Дунаю.

— Турки, — сказал Захар. — Слава богу, броненосцев нет. Быстро мы добрались, не ожидали они.

Струков перевел полк на крупную рысь. Десять верст скачки — и из-за поворота открылась станция Барбош и длинный железнодорожный мост через Серет.

— Цел, слава тебе, Господи! — крикнул Струков. — Первой сотне спешиться, на ту сторону бегом, занять оборону!

Казаки первой сотни, бросив поводья коноводам, прыгали с седел. Срывая с плеч берданы, бежали по мосту на ту сторону Серета. Командир

сотни, добежав первым, замахал фуражкой; казаки его, рассыпавшись, уже занимали оборону.

— Слава Богу! — Пономарев снял фуражку, широко перекрестился, и за ним закрестились все казаки. — Поздравляю, казаки, перед нами — Турция.

— Ошибаетесь, полковник, — негромко поправил Струков. — Перед нами Болгария.

7

В то время как казаки 29-го Донского полка спешно занимали оборону вокруг захваченного в целости и сохранности Барбошского железнодорожного моста, в Кишиневе на Скаковом поле в присутствии императора Александра II заканчивалось торжественное молебствие по случаю подписания высочайшего манифеста о начале войны с Турцией. Батальоны вставали с колен, солдаты надевали шапки, священнослужители убирали походные алтари. Многотысячный парад и толпы местных жителей хранили глубокое благоговейное молчание, подавленные торжественностью и значимостью происходящего, лишь изредка всхрапывали застоявшиеся кони, да неумолчно орали воробьи, радуясь солнечному дню. Государь и многочисленная свита сели

на лошадей и отъехали в сторону, освобождая середину поля для церемониального марша.

Стоя в строю Волынского полка перед своей ротой, капитан Брянов ощущал, что искренне взволнован и умилен, что все его сомнения и неверие куда-то делись, что цель его теперь проста и ясна. Он повторял про себя запавшую в память строку из манифеста: «Мера долготерпения нашего истощилась», — и удивлялся, что не чувствует в себе ни иронии, ни раздражения, которые всегда возникали в нем при чтении выспренних монарших слов. Сейчас он верил, что перед Россией едва ли не впервые в истории поставлена воистину благороднейшая задача, решение которой зависит уже не от воли всевластного повелителя. Решение это зависело теперь от всей России, от ее народа, а значит, и от него самого, капитана Брянова. Он вспомнил вдруг своего деда, тяжело раненного под Бородином, отца, погибшего на Черной речке в Крымскую войну, и с гордостью подумал, что идет отныне по их пути.

Торжественно и звонко пропели трубы кавалерийский поход. Первыми поэскадронно развернутым строем на рысях двинулись через поле кубанские и терские казаки, отряженные се-

годня в собственный Его Величества конвой. Под сухой строгий рокот сотен барабанов сверкнули на солнце вырванные для салюта офицерские клинки: 14-я пехотная дивизия генерала Драгомирова начинала торжественный марш. Ряд за рядом, рота за ротой шагала она через поле, ощетинившись тысячами штыков, и Брянов, печатая шаг, шел впереди своей роты раскованно и гордо.

Следом за последним полком 14-й пехотной дивизии шли два батальона, солдаты которых были одеты в новое, незнакомое русской армии обмундирование: в меховых шапках с зеленым верхом, черных суконных мундирах с алыми погонами, перекрещенных амуницией из желтой кожи, в черных же шароварах и сапогах с высокими голенищами. Появление их на поле вызвало бурю восторга в толпе зрителей, и даже император совсем по-особому поднял руку в знак приветствия: шли первые два батальона болгарских добровольцев. Кого только не было в их рядах: безусые юнцы и кряжистые, поседевшие отцы семейств, студенты и крестьяне, торговцы и священники, покрытые шрамами гайдуки и бывшие волонтеры с Таковскими крестами на черных новеньких мундирах. Шла не только

будущая народная армия свободной Болгарии — шел ее завтрашний день, и поэтому так восторженно встречали первых ополченцев жители Кишинева.

И было это 12 апреля 1877 года. Впервые после разгрома Наполеона Россия вступала в войну за свободу и независимость других народов.

Глава третья

1

По раскисшим весенним румынским дорогам днем и ночью двигались войска: Россия стягивала армию на берега Дуная, именно в этом году так некстати разлившегося особенно широко. Днем шла пехота и кавалерия, ночью неумолчно скрипели обозы, подтягивались пока еще, слава богу, пустующие госпитали, а уж за ними следом валом валила жадная, как мошка, темная шушера: спекулянты и перекупщики, воры и проститутки, карточные шулера и авантюристы всех мастей. Война взбаламутила людское море, подняв со дна и захватив с собой муть и гниль портовых городов. В румынских отелях, где издавна царил язык космополитов, резко возросли цены, превзойдя Вену, Берлин и даже Петербург, и подавляющее большинство русских офицеров предпочитали жить по-походному, вместе с солдатами. Бумажные деньги, что были выданы на поход, сразу же оказались обесцененными: при курсе в четыре франка за рубль давали от силы два с половиной.

— Господа, это немыслимо: эти субъекты меняют цены по три раза на дню!

— А вы завтракайте, обедайте и ужинайте разом, вот вам и экономия.

— Шутки шутками, а в Петербурге у Бореля можно пообедать, и даже с вином, втрое дешевле, чем в мерзком галацком ресторане.

— А я, знаете, со своими солдатиками обедаю, из котла. Плачу артельщику долю: щи да каша — пища наша. Дешево и сердито.

— Господа, а какие женщины, какие женщины! С ума сойти. Сидит этакая в ландо…

— У вас же все равно золота нет.

— Вот потому-то я с тротуара и любуюсь!

Дойдя до Дуная, полки устраивались прочно: вода пока и не думала спадать. Днем проводились обязательные ученья, но длинные весенние вечера были свободны. Удрученно пересчитывая тающие на глазах ассигнации, офицеры часами гуляли по улицам, не рискуя заглядывать в кафе и рестораны. Любовались чужими женщинами, чужими рысаками, чужими ландо и фаэтонами, чужой жизнью и болтали. О турках, армию которых уж очень усиленно расхваливали германские газеты, о минной войне на Дунае, о дороговизне, о доме, о будущем и конечно же

о женщинах. Прекрасных и недоступных, как номера в отелях Бухареста.

Газеты всего мира писали, что русская армия простоит здесь целую вечность: опыта форсирования таких водных преград, как Дунай, еще не существовало в военной истории. Пехотных офицеров мало беспокоили эти стратегические задачи, но артиллеристы и моряки уже занимались ими, постепенно очищая нижнее течение Дуная от турецких мин и боевых судов и ведя непрестанную огневую разведку оборонительных батарей противника.

В румынских городах и местечках допоздна гремела музыка, яркими огнями светились окна кафе и ресторанов, а берег Дуная не спал никогда. Тихо перекликались часовые, часто беззвучно проскальзывали казачьи разъезды, а когда опускалась ночь и затихала музыка в городских садах и скверах, здесь, на берегах, начиналась своя, особая ночная жизнь. Усиливались караулы, моряки ставили свои мины или снимали турецкие, и тихо, без всплесков и разговоров, отваливали на ту сторону лодки. В некоторых случаях эти безмолвные лодки провожал худощавый, небольшого роста очень неразговорчивый человек — полковник Генерального штаба Артамонов. Проводив,

стоял, прислушиваясь, не вспыхнет ли стрельба на том, турецком берегу. Но и тогда, когда стрельбы не случалось, не уходил, а лишь перебирался с берега к ближайшему костру, укрытому от турок холмом или кустами. Сидел, глядя в огонь, слушал солдатские прибаутки, много курил и молчал — ждал, когда вернутся охотники.

Но кроме этой совсем уж тайной жизни, ночной Дунай жил жизнью и полутайной. Часто начиналась она со стрельбы и криков на том берегу; тогда солдаты, бросив костры, бежали к воде. Вглядывались в темноту:

— Плывет вроде?

— Да нет, то бревно.

— Может, и до реки не добрались?

— Может, не добрались, а может, их уж турки убили.

Ждали болгар. Почти каждую ночь они переправлялись через Дунай, пробираясь сквозь турецкие секреты и побеждая могучую, широко разлившуюся реку. Переправлялись по одному, по двое, группами; едва ступив на берег, требовали оружия. Их наспех допрашивали, регистрировали и отправляли в специальный лагерь, откуда можно было попасть в одну из дружин формировавшегося болгарского ополчения.

Эти перебежчики, как правило, мало интересовали полковника Артамонова: бежали они из Болгарии тайно, избегая дорог и далеко обходя турецкие гарнизоны. Сведения, которые они охотно сообщали, большей частью были случайными и отрывочными, а то и попросту неверными. Артамонов предпочитал профессионалов — военных, но среди болгар военных не было. Приходилось отправлять своих охотников в турецкий тыл, это было неудобно и приносило немного пользы. Турки часто перехватывали разведчиков еще на переправе, вспыхивала короткая перестрелка, и наступала зловещая тишина. Полковник Артамонов долго еще ждал, сняв фуражку и напряженно прислушиваясь. Потом глубоко вздыхал, надевал фуражку и, не оглядываясь более, уходил к себе. А добравшись до своего отдельно стоявшего домика, возле которого круглосуточно дежурила усиленная охрана, вычеркивал из тайного, известного только ему списка фамилии и мучительно ломал голову, кого бы послать еще: штаб требовал все новых и новых данных о береговой линии турецких укреплений, об артиллерии, резервах и гарнизонах, мостах и дорогах, о настроении населения, наличии фуража, скота, воды, повозок.

— Разрешите, господин полковник?

Артамонов поднял голову: в дверях стоял его офицер поручик Николов, болгарин, закончивший военное училище в России и состоящий на русской службе. И несмотря на то что поручик был его же сотрудником, педантичный Артамонов сначала спрятал в несгораемый ящик список своих уцелевших разведчиков, а уж потом пригласил Николова пройти.

— Южнее Журжи час назад переправились двое болгар. Просят свидания с вами, господин полковник.

— Откуда они знают обо мне?

— Они от Цеко Петкова.

На хмуром лице полковника впервые разгладились морщины. Даже в усталых глазах появилось что-то живое.

— Где они?

— Ждут в сенях.

— Давайте по одному.

Поручик вышел. Артамонов аккуратно спрятал все бумаги, свернул карту. Николов приоткрыл дверь, заглянул и пропустил в комнату коренастого широкоплечего парня в крестьянской куртке и штанах. Раскисшие от воды царвули оставляли на полу огромные разлапистые следы.

— Здравствуй, юнак. Как добрался? Садись.

— Дошли, — лаконично пояснил парень, сев напротив полковника.

— Имя, фамилия, откуда родом?

— Какая у гайдука фамилия и где у гайдука дом? Просто Кирчо.

— Ты из четы Петкова?

— Да. Воевода ждет переправы. Как условлено.

— Как он себя чувствует?

— Здоров. — Парень пожал плечами.

— Он с надежной охраной?

— С ним Меченый.

— Когда воевода хочет переправиться?

— Через три дня, в новолуние. Вы должны указать, где удобнее, и обеспечить охрану.

— У меня мало данных о той стороне. — Полковник развернул карту. — Зимница не подойдет? Там наш морской отряд…

— В Свиштове крупный гарнизон, — перебил Кирчо. — Опасно.

— А где не опасно?

— Опасно везде, но лучше там, где турки не решаются плавать.

— Тогда у Браилова. Там, правда, пока плавают, но их мониторы невелики и тихоходны.

Кирчо долго разглядывал карту. Потом кивнул:

— Поведу там. Значит, на третью ночь, в новолуние.

— Хорошо. — Полковник сделал пометку. — Когда шел, что видел, что слышал?

— Товарищ лучше расскажет, — усмехнулся Кирчо. — Я по сторонам смотрел, а он считал и видел.

— Товарищ тоже гайдук?

— Сам спросишь. Я завтра туда вернусь, а он останется. Так воевода решил.

— Хорошо. Николов!

В дверь заглянул поручик.

— Доставишь Кирчо на квартиру. Переодеть, накормить, уложить спать. Ко мне второго. Спасибо, Кирчо. Можешь идти.

Николов, проводив Кирчо, впустил второго гайдука и тут же вышел. Этот второй был высок и строен, по-военному подтянут и светлоглаз, и Артамонов сразу понял, что он не болгарин.

— Прошу садиться, — сказал он. — Имя, фамилия?

— В отряде звали Здравко. Думаю, этого достаточно.

Он сказал «в отряде», а не «в чете», как говорили болгары, и эта оговорка окончательно убедила полковника, что перед ним не житель Болгарии

и даже не южанин. Кроме того, полковник отметил свободную и раскованную манеру разговора. Спросил вдруг по-русски:

— Давно знаете воеводу?

— Стойчо Меченого знаю больше. Вместе воевали в Сербии.

— Вы не болгарин?

— Вам нужна моя национальность или моя разведка? — усмехнулся гайдук.

— Для начала — что видели, где и когда.

— Карту.

Полковник вновь развернул карту. Гайдук склонился над нею, но, в отличие от Кирчо, ориентировался быстро, точно указывая пункты, о которых говорил.

— Рущук. Турки активно возводят укрепления, строят новые верки и барбеты. Завезены стальные крупповские пушки, видел сам шесть штук, но полагаю, что их больше. Инженерными работами в крепости руководят два английских офицера.

— Почему решили, что они англичане?

— Из всех европейцев только англичане ходят на работу со стеками.

— Вы наблюдательны.

Гайдук молча пожал плечами.

— Продолжайте.

— Пехота вооружена ружьями системы Снайдерса. Новые редуты, — он показал на карте их расположение, — возводятся на три и пять орудий. Подступы к ним минируются в обязательном порядке. Общее количество пехоты — свыше трех таборов.

— Какого калибра артиллерию могут выдержать мосты?

— На основных дорогах мосты усилены: турки сами возят пушки.

— Где еще были?

— Свиштов. Два табора пехоты, две батареи — на три и на пять орудий. Батареи на высотах. — Он указал, где именно. — Берег охраняется плохо, но в устье Текир-Дере сторожевой пост. Из Свиштова на Рущук идет телеграфная линия: мы перерезали ее в трех местах. Я засек время: турки восстановили линию только через четыре с половиной часа. Значит, не очень-то привыкли ею пользоваться. — Он замолчал, увидев, что полковник в упор смотрит на него.

— Кто же вы все-таки? — спросил Артамонов. — Ваша дотошность изобличает в вас человека военного и бесспорно образованного.

— Вам очень важно знать, кто я?

— Да, — сказал полковник. — Я обязан думать о будущем.

— Моем? — насмешливо улыбнулся гайдук.

— И вашем тоже.

— Я поляк, но судьбе угодно было, чтобы я воевал против турок.

— Ваше имя?

— Зачем же так спешить со знакомством? — улыбнулся поляк.

Артамонов очень серьезно посмотрел на него и вздохнул. Потом вылез из-за стола, прошелся по комнате, что-то сосредоточенно обдумывая. Остановился против гостя.

— Скажите, турки действительно пытаются создать польский легион?

— Я не изучал этого вопроса, но такие слухи до меня доходили.

— И как же вы отнеслись к ним?

Поляк пожал плечами:

— Всякий человек волен в выборе врагов, но не все могут выбирать друзей.

— Следовательно, вы оправдываете тех, кто пойдет в этот легион?

— Как ни странно, я посчитаю таких людей предателями, — серьезно сказал поляк.

— Где же логика? — усмехнулся Артамонов. —

Где пресловутая свобода в выборе врагов?

— Это весьма сложный вопрос, — вздохнул поляк. — Очень возможно, что я был бы более логичным, если бы попал в Болгарию непосредственно из Польши. Но я попал туда из Сербии, господин полковник. Из Сербии, и в этом все дело.

— Кирчо сказал, что вы решили остаться здесь, — помолчав, сказал Артамонов. — С какой целью?

— Хочу вступить в болгарское ополчение. За меня готов поручиться Цеко Петков.

— Поручительство воеводы много значит. — Полковник предложил папиросу, закурил сам. — Ополчение — это хорошо. Очень хорошо, только… — Он помолчал, еще раз старательно взвешивая то, что собирался сказать. — Только вы мне нужны там. В Турции, в польском легионе, который пытаются создать турки. Прошу вас, не горячитесь, подумайте. Это очень, очень важно для дела всех славян.

— Всех ли? — не скрывая иронии, спросил поляк.

— Не будем сейчас спорить, — примирительно сказал Артамонов. — Я понимаю, в моем предложении много риска, и вы можете отказаться.

Поляк загадочно улыбнулся, но промолчал. Приняв его молчание за добрый знак, полковник Артамонов оживился, заговорил еще пространнее и глуше:

— Я знаю, риском вас не запугать, и упоминаю о нем единственно для того, чтобы дополнить картину: там столь же опасно, как и в бою, а возможно, и еще опаснее. Там, как нигде, нужны отвага, хладнокровие, ясность ума…

— И отсутствие чести, — негромко перебил собеседник. — Конечно, честь есть звук пустой для тех, у кого ее нет, но ведь вы предлагаете подобную службу шляхтичу, господин полковник. Поверьте, я понимаю, сколь важно во время войны иметь свои глаза и уши на той стороне, понимаю необходимость и даже закономерность подобного военного элемента…

— Боюсь, не совсем еще понимаете, — вздохнул Артамонов. — Времена рыцарских сражений ушли безвозвратно, современная война жестока, кровава и, по сути, свободна от нравственности. Не пора ли задуматься, как же сочетать честь личную с честью отечества в этих новых условиях? И тогда…

— Не нужно говорить, что будет тогда, — перебил поляк. — Честь отчизны есть сумма чести

ее граждан, и всякий бесчестный поступок во имя самого благородного, самого светлого завтра сегодня отнимает у чести родины какую-то долю. Отнимает, господин полковник! Вы предлагаете мне днем изображать из себя друга, а ночью предавать тех, с кем вечером делил хлеб? Благодарю, ваше предложение не для меня. Если я не угоден России в каком-либо ином качестве, разрешите мне вернуться к Цеко Петкову. И закончим на этом разговор.

2

Всю весну Лев Николаевич страдал головными болями и внезапными приливами крови. Это мешало спать, работать и, главное, отвлекало от дум, и Толстой раздражался, хотя внешне старался не показывать этого никому. Софья Андреевна очень боялась удара, отсылала к врачу. По ее настоянию Лев Николаевич поехал к Захарьину, покорно согласился поставить пиявки, которых не любил и даже побаивался. Захарьин поставил дюжину на затылок, но лучше Толстому не стало.

— Устаю, — жаловался он Василию Ивановичу на прогулках. — Только не говорите Софье Андреевне.

— Надо серьезно лечиться, Лев Николаевич. Поезжайте в Европу.

— И ты, Брут! — сердито отмахивался Толстой. — Покоя, покоя душевного искать надо, а где он, покой?

Покоя не было уже хотя бы потому, что вся Ясная Поляна жадно читала газеты, подробно обсуждая все, что касалось войны. Лев Николаевич относился к ней с неодобрением, предполагая печальный исход.

— Солдата надо готовить долго и тщательно, — говорил он. — А что сделали мы? Уничтожили тип старого русского солдата, давшего столько славы русскому войску.

— Свободный человек должен воевать лучше, Лев Николаевич, — упрямо не соглашался Василий Иванович. — Храбрость из-под капральской палки недолговечна, а свободная личность способна вершить чудеса.

— Что касается личности, то вы, возможно, и правы, — не сдавался Толстой. — Но суть армии — повиновение, дорогой Василий Иванович. Раньше солдат знал, что солдатчина есть отныне вся жизнь его, приноравливался к ней, старался облегчить ее, а облегчить — следовательно, стать примерным солдатом. А теперь он лишь терпит.

Вот увидите еще, что прав я, Василий Иванович, увидите, когда позора на войне этой примем поболее того, как на Крымской приняли.

Теперь они спорили часто и почти по каждому поводу. Спорили не потому, что Василий Иванович стал подвергать сомнению слова своего кумира. Нет, Толстой по-прежнему оставался для него авторитетом недосягаемым, существом почти равным богам, но Олексин ощущал, что именно сейчас, в этот период жизни, Толстому нужны споры. Нужны для проверки каких-то своих собственных мыслей, которые только зарождались в нем и были еще настолько смутны и бесформенны, что нуждались в контраргументах в той же степени, как и в аргументах. Все бродило в нем, клокотало, как в перегретом котле, и ночные приливы крови, да и сама головная боль, были лишь наружным проявлением странных глубинных брожений.

Чаще всего они спорили о религии. Лев Николаевич — для всех, по крайней мере, — по-прежнему оставался ревностным поборником православия, никого, правда, не уговаривая следовать своему примеру. Он старательно соблюдал всю обрядность, но уже чисто формально, и Василий Иванович заставал его за внимательнейшим

изучением Евангелия теперь куда чаще, чем прежде.

— Родник ищете?

Толстой сердито двигал клочковатыми бровями. Первооснова христианского учения была настолько запутана обрядами, искажена вторичными толкованиями, завуалирована политическими соображениями, что отыскать в ней незамутненный источник истины казалось ему почти невозможным. Толстой терзался сомнениями, испытывая мучительное состояние разобщенности с той простой, безыскусной и ясной верой, какой жил народ. Жил в полном согласии формы и содержания, как всегда казалось Толстому, и он завидовал этому согласию и упрямо шел к нему своими путями.

— Вот вычитал в газетах: Садык-паша был поляком, Сулейман-паша — иудей, Вессель-паша — немец. Не странно ли сие? — задумчиво говорил он. — Не означает ли это, что магометанская вера позволяет спекулировать своими догматами людям ловким и беспринципным? Достаточно объявить во всеуслышание, что отныне вы верите, что нет Бога, кроме Аллаха, что Магомет — пророк его, и вам открываются все пути для карьеры.

— Может быть, религия мусульманская более демократична, нежели религия христианская? — осторожно, словно клал полешко в начинавший разгораться костер, спросил Василий Иванович. — Может это быть или не допускаете?

— Вера, с помощью которой открываются двери к должностям, перестает быть верой, — сказал Толстой. — Вера есть внутреннее убеждение, а не формальное признание господствующего порядка вещей, вопрос совести, а не опора в службе. Я упомянул о магометанах лишь как о примере, а в сущности, любая современная религия уже превратилась в трамплин для натуры энергической, а то и просто безнравственной. Вас не мучает эта мысль, Василий Иванович?

Василий Иванович долго шел молча — они гуляли вдвоем по саду, — потом признался:

— Помните, рассказывал, как вешали меня? А ведь им только и надо было, чтобы я на Библии поклялся. Только этого и добивались.

— То есть формы, пустой формальности, — подхватил Толстой. — Вот во что превращается вера, когда забывается то, ради чего создавалась она. Вспомните первых христиан: они шли на муки за веру свою, на костры восходили, к лютым зверям в клети с молитвой святой входили. Им

ничего не обещалось за то, что они называли себя учениками Христа, ничего, кроме пыток, слез, истязаний и смерти. А они — шли и веровали, веровали и шли!

— И дошли, — тихо подсказал Василий Иванович.

— И дошли, — подхватил Толстой. — Дошли до того, что вера Христова стала подспорьем карьеры, ее рычагом и фундаментом. Заяви на словах, что веруешь свято, что блюдешь заповеди, походи в церковь прилюдно, перекрести лоб — и ты уж обеспечен доверием, ты уж столп благонадежности, ты уж и обществу опора. А все ведь — в словах, в словах!

— Вы правы, Лев Николаевич, — сказал Олексин. — Вера вышла из души человеческой, превратившись в форму государственной морали.

— Вера стала безверием, — вздохнул Толстой. — И только мужик еще свято верует в то, что Бог есть совесть. Он еще живет по заветам первых христиан, ходивших в рубище и не искавших наград, должностей и власти за веру свою. Вот так и надо жить, ничего не вымаливая у власть имущих и не торгуя совестью.

— Это пассивная жизнь, — не согласился Олексин. — Вы призываете к гармонии личной, Лев

Николаевич, а нужно стремиться к гармонии общества.

— Сначала надо переделать себя.

— Но через труд, а не через веру, — упрямо сказал Василий Иванович. — Надо жить своим трудом, надо стараться отдавать народу больше, чем мы от него получаем, надо следовать христианской заповеди не делать другому того, чего себе не желаешь. Вот аксиомы, на которых только и возможно построить справедливое общество будущего.

— Нет, Василий Иванович, вы не правы. Вы опускаете веру, а без веры все здание, что воздвигаете, зашатается и рухнет неминуемо. Вы все о кирпичиках толкуете, а где же раствор, что скрепит их? Нет, нет, у каждого общества раствор крепящий должен быть, как у пчелы воск. Коли не озаботитесь этим своевременно, то государство озаботится. Таким вас раствором скрепит, что и кабала татарская раем покажется. Нет, нет, только через себя, только через себя!

Разговоры случались почти каждый день и часто повторяли друг друга. Толстой словно кружил, заблудившись в глухом лесу, возвращался к собственным следам и снова упрямо отправлялся искать выход. Мысль о совести мужика, живше-

го, по его представлениям, в полной гармонии формы и содержания, чаще всего тревожила Льва Николаевича. Он постоянно выходил на нее с разных сторон, присматриваясь, изучая и проверяя.

— Знаешь, Катенька, по-моему, у Льва Николаевича какой-то кризис, — говорил Василий Иванович перед сном Екатерине Павловне. — В нем что-то нарождается, а что-то отмирает, но все одновременно и потому болезненно.

— Софья Андреевна говорила мне, что он о декабристах роман задумывает.

— Нет, здесь не роман, здесь большее что-то, — задумчиво сказал Олексин. — Како верую и верую ли вообще — вот что его сейчас мучает.

— Однако Лев Николаевич регулярно посещает церковь, Вася.

— А это старое, это не отмерло еще. Это корни, вот их-то он и рвет из души своей. Ему закон надо вывести.

— Какой закон? — удивилась Екатерина Павловна.

Василий Иванович недоуменно пожал плечами и растерянно улыбнулся:

— Не знаю, Катенька. Это я так сказал, по наитию, что ли. Беспокоит меня, что он как-то об обществе не думает. Нужно через общество на

личность влиять, а он через личность на общество. Ты как думаешь, прав я, что сомневаюсь?

Ответить Екатерина Павловна не успела: в дверь постучали. Василий Иванович накинул пиджак, вышел открыть.

— Вам кого?

— Это я, Вася. Я, Иван, не узнаешь?

— Ваня? Какими судьбами?

Братья расцеловались. Василий Иванович раздел позднего и неожиданного гостя, провел в комнату.

— Катенька, это Ваня, вот не ожидали мы, правда? А это жена моя, Ваня, Екатерина Павловна. Ты почему здесь? И время позднее, и не каникулы. Случилось что в доме?

— А где… где Дарья Терентьевна? — не отвечая, спросил Иван, странным, растерянным взглядом обведя комнату. — Она что же, не приезжала?

— Кто должен был приехать, Иван?

— Дашенька не приезжала? Так и не приезжала совсем? Ну скажите же, правду мне скажите!

— Никто не приезжал, — растерянно сказала Екатерина Павловна. — Что с вами, Ваня?

Странно обмякнув, Иван обессиленно опустился на стул, закрыв лицо руками. Супруги испуганно переглянулись.

— Кто должен был приехать, Иван? — спросил Василий Иванович. — Ну что же ты молчишь?

— Я опозорен, — жалко сказал Иван, уронив руки на колени. — Я обманут и опозорен. Что мне делать? Что же мне делать, Вася, я не могу, не могу возвращаться в Смоленск!

По лицу его текли слезы. Крупные, детские. Последние детские и потому особенно трогательные и беспомощные.

3

Воскресным солнечным днем Каля Могошоаей — аристократическая улица Бухареста — была заполнена открытыми, нарядно убранными экипажами. В час безделья — между завтраком и обедом — эту улицу занимала местная знать: русские офицеры здесь почти не показывались. В открытых пролетках, ландо и фаэтонах располагались дамы общества, приезжие кокотки и наиболее преуспевшие из каскадесс, что хлынули в Румынию не только из России, но и со всей Европы. Расфранченные, набриллиантиненные и нафабренные мужчины гуляли по тротуарам; в экипажах оставались только старцы в сюртуках и мундирах, украшенных орденами. Здесь обсуждались новости, рождались сплетни, за-

вязывались знакомства и начинались интриги. Среди фланирующей публики бегали девочки-оборвашки, бойко предлагая господам букетики свежих подснежников.

Возле модной кондитерской Фраскатти стоял худощавый молодой человек в потрепанной сербской шинели с чужого плеча, старом солдатском кепи и растоптанных опанках. Несмотря на полубродяжий вид, держался он достаточно надменно, чтобы обезопасить себя от расспросов полицейских, с насмешливым презрением наблюдая за шумной и блестящей толпой светских бездельников. Судя по всему, попал он в этот район случайно, но, то ли ему некуда было спешить, то ли еще по какой причине, уходить пока не торопился.

На панели неподалеку от странного молодого человека, на которого косились все — мужчины с нескрываемой брезгливой настороженностью, а дамы даже с интересом, — остановился открытый пароконный экипаж, в котором восседал сухой старик с непомерно толстыми губами и живыми, пронзительными, очень еще зоркими глазками. Цепкие руки его лежали на набалдашнике трости, и он все время шевелил пальцами, любуясь игрой крупного бриллианта на безымян-

ном пальце правой руки. Рядом с коляской стоял полный средних лет мужчина, обмахиваясь соломенной шляпой.

— Австрийцы — народ, по крайней мере европейский, цивилизованный, — говорил он, и в тоне его слышалось застарелое подобострастие. — А эти степные варвары, что посылают вперед себя орды диких казаков, — это же угроза скорее Европе, чем Турции. И мы как древнейшая нация Европы…

— Да, да, вы правы, — рассеянно отвечал старик, бегая острыми глазками по пестрой толпе. — Я, как вам известно, не поддерживаю нашей турецкой партии и во многом расхожусь с ее лидером Ионом Гиком, но он все же во многом прав, во многом. Мы не только древнейшая нация, наследники римлян, — мы аванпост Европы, и нам следует помнить, что наша Мекка — Париж, а не Москва.

— Но князь, увы, не может не считаться с простолюдинами, — вздохнул собеседник. — А вся чернь в восторге от этих гуннов, что ворвались в нашу несчастную Румынию.

Бегающие глазки старика окончательно остановились на черноволосой, очень хорошенькой цветочнице. Коричневый палец отклеился от

трости и поманил ее, ослепительно сверкнув бриллиантом.

— Что у тебя, моя миленькая?

— Уно бени, — торопливо сказала девочка, тотчас подбежав к экипажу и протягивая цветы. — Уно бени, домине.

— Уно бени? А вот это хочешь? — старик с ловкостью менялы завертел перед глазами девочки серебряным полуфранком. — Ну посмотри, посмотри, как блестит. Хочешь получить его?

— Дай! — радостно закричала девочка, подпрыгивая и стараясь схватить монету. — Домине, добрый домине, дай!

— Дать? Ну лезь в экипаж. Лезь, не бойся.

Девочка неуверенно встала на подножку, но старик отклонился, и до монеты она так и не дотянулась. Завороженная серебряным блеском, девочка сделала еще шаг, оказавшись уже в экипаже.

— Целуй, — сказал старый аристократ, протягивая ей коричневую сухую руку.

Девочка секунду помедлила, борясь с искушением, а потом быстро, точно украдкой, чмокнула протянутую руку.

— Молодец! Ты смелая девочка, вот тебе за это.

Серебряная монета перешла к девочке и тут

же исчезла где-то в многочисленных складках ее юбки. Цветочница хотела спрыгнуть, но старик достал вторую монету, на этот раз золотую.

— Теперь эту заработай, — сказал он, держа золотой в правой руке, а левой обнимая девочку за талию. — Но за это целуй сюда. — Он коснулся золотым толстых выпяченных губ. — Ну? Ты же смелая девочка…

— Целуй, дурочка, целуй скорей, — заулыбался стоявший рядом господин с соломенной шляпой в руке. — Домине добрый, он даст тебе много золота, если ты будешь слушаться его.

— Садись рядышком, вот так, — понизив голос, бормотал старик, усаживая девочку. — Ну что же ты? Это ведь золото. Настоящее золото!

Крепко прижимая к себе девочку, старик тянулся к ней толстыми выпяченными губами. Упираясь обеими руками в украшенную орденами грудь, девочка отчаянно вертела головой, испуганно повторяя:

— Не надо, домине, не надо, не надо…

Кучера на козлах не было. В поисках его собеседник с соломенной шляпой уже оглядывался по сторонам:

— Кучер! Кучер, живо сюда! Трогай, кучер!

Но раньше кучера возле экипажа оказался мо-

лодой человек в сербской шинели. Бесцеремонно оттолкнув услужливого господина, он левой рукой рванул старика за орденоносную грудь, а правой наотмашь влепил сочную пощечину.

— Сладострастная мумия…

Он еще раз встряхнул старика. Аристократ сполз на пол, девочка выскользнула из экипажа, тут же словно растворившись в толпе.

— Убивают! — закричал господин у коляски. — Грабеж! Полиция!

Он схватил молодого человека за руку, подоспевший кучер ударил сзади, сбил с ног. Безмятежная толпа, не обращавшая внимания на девочку, вдруг согласно, с визгом и криками кинулась на ее защитника. Ему не давали встать, топтали, били тростями, кололи зонтиками. Лежа на мостовой, молодой человек молча и яростно отбивался от набежавших со всех сторон кучеров. Силы были явно неравные, но тут с тротуара в свалку одновременно бросились двое: загорелый и обветренный молодой человек в модном костюме и небольшого роста ловкий и складный румынский капитан. В четыре кулака они мгновенно расшвыряли нападающих, подняли с мостовой волонтера. Кругом угрожающе шумела разгневанная толпа, визжали женщины,

откуда-то слышались полицейские свистки.

— Бежим, — сказал румынский капитан. — За кондитерской проходной двор.

Они беспрепятственно добрались до кондитерской, немного покружили по дворовым лабиринтам и вышли на спокойную соседнюю улицу.

— Благодарю, — сказал молодой человек, отряхиваясь и приводя себя в порядок. — Глупейшая история.

— Вы действовали в высшей степени благородно, — сказал румын, пожимая ему руку. — Я Вальтер Морочиняну, капитан Восьмого линейного полка, и вы всегда можете рассчитывать на меня. Судя по виду, вы недавно из Сербии?

— Да. Я был ранен в последних боях, долго лечился. Сейчас пробираюсь на родину.

— Могу ли я узнать ваше имя?

— Поручик Гавриил Олексин.

— Очень рад, что оказал помощь соотечественнику, — улыбнулся молодой человек в модном костюме. — Позвольте отрекомендоваться в свою очередь. Князь Цертелев.

— Счастлив нашему знакомству, но вынужден вас оставить, — сказал капитан Морочиняну. — Кажется, в свалке я заехал по физиономии

любимчику нашего князя Карла, а он — немец и плохо понимает шутки. Надеюсь, увидимся?

С этими словами капитан отдал честь, остановил извозчика и поспешно укатил прочь. Русские остались одни.

— Как вас занесло на Каля Могошоаей? — спросил Цертелев.

— Я не знаю города, — пожал плечами поручик. — Искал, где пообедать.

— Вы очень богаты?

— В кармане франк с четвертью.

— На это вы не пообедаете даже в портовом кабаке, — улыбнулся князь. — Однако я тоже голоден и приглашаю вас с собой. Кстати, я как раз направлялся на обед.

— Благодарю, но боюсь, что мой наряд…

— Оставьте церемонии, поручик. Вы из Сербии, этим сказано все.

— И все же, князь, это неудобно, — упорствовал Гавриил. — Знакомство наше шапочное, а мне, право же, будет неуютно рядом с таким франтом, как вы.

— Это маскировка, Олексин: мне положено быть в форме урядника Кубанского полка с шевронами вольноопределяющегося, но в подобном виде в рестораны, увы, не пускают. А компания

за обедом будет сугубо мужская: два корреспондента, казачий урядник, поручик из Сербии и… и еще один очень приятный собеседник.

Разговаривая, князь Цертелев уверенно вел Олексина тихими улочками в обход шумного аристократического квартала. В конце концов они все же вышли в этот квартал, но в его наиболее респектабельную, а потому и тихую часть, и свернули к ресторану. Ливрейный швейцар с откровенным удивлением уставился на потрепанную одежду поручика, но беспрепятственно распахнул перед ними тяжелые зеркальные двери.

— Это единственный ресторан Бухареста, где прислуга не говорит о политике, — сказал Цертелев, когда они миновали гардероб. — Правда, их молчание хозяин включает в счет.

— Господи, ну и вид у меня, — озадаченно вздохнул Олексин, рассматривая себя в огромном зеркале.

— Таковский крест на вашей груди важнее самого модного фрака, Олексин, — успокоил его Цертелев. — Прошу прямо в зал, нас давно уже ждут сотрапезники.

— Пожалуйста, князь, не проговоритесь за столом об этом инциденте.

— Не беспокойтесь, поручик, я старый дипломат. Видите троих мужчин за столом у окна?

Гавриил сразу заметил этот стол, мужчин и невольно остановился: лицом к нему в распахнутом белом кителе сидел генерал Скобелев. В соседе справа он тут же узнал князя Насекина, и только левый сосед — рыжеватый, с корреспондентской бляхой на рукаве мехового пиджака — был ему незнаком.

— Господа, позвольте представить моего друга поручика Олексина, — сказал князь Цертелев, крепко взяв Гавриила за локоть и чуть ли не силой подведя к столу. — Он только сегодня вернулся из Сербии.

— Олексин? — Насекин медленно улыбнулся. — Эта фамилия преследует меня не только во сне, но и наяву.

— Я тоже как-то слышал эту фамилию, — сказал Скобелев. — Где, где, где, напомните?

— В Туркестане, ваше превосходительство. Я тот офицер, что доставил вам именной указ.

— Прекрасно, значит, мы знакомы, — улыбнулся генерал. — Прошу, господа, обед я заказал на свой вкус, уж не посетуйте.

— Прошу простить, что явился столь неожиданно… — начал было поручик, садясь напротив.

— Полноте, — проворчал Скобелев. — Вы сражались в Сербии, мы с Макгаханом тоже достаточно нюхнули пороху в Туркестане, их сиятельства в расчет брать не будем — и получается добрая встреча боевых друзей. Вы еще помните Туркестан, дружище? — Он хлопнул по плечу сидящего слева рыжеватого корреспондента.

— У меня дурацкая память: я забываю только то, что нельзя продать газетам, — улыбнулся Макгахан. — Впрочем, одну историю мне так и не удалось напечатать: все редакторы в один голос заявили, что это тысяча вторая ночь Шахерезады, хотя я был правдивее папы римского.

— Попробую вам поверить, хотя, видит Бог, это нелегко, — насмешливо сказал Насекин.

— Клянусь честью, джентльмены. История эта произошла в незабвенном для меня городе Хиве, где я имел счастье познакомиться со Скобелевым, — начал Макгахан. — Однако в то время как моего друга за мелкие прегрешения не впустили в Хиву, я вступил в нее с отрядом генерала Головачева и после осмотра цитадели вместе с ним же пристроился на ночевку в ханском дворце. Должен сказать, что хан хивинский бежал от русских войск столь поспешно, что оставил победителям свое главное сокровище — гарем.

Узнав об этом, суровый Головачев выставил к дверям гарема усиленный караул и безмятежно завалился спать, отделенный от ханских гурий лишь невысокой глинобитной стеной.

— Представляю ваше состояние, Макгахан, — улыбнулся в густые бакенбарды Скобелев.

— Да, джентльмены, я был молод и безрассуден. Мог ли я спать, когда в трех футах от меня прекрасные из прекрасных горько оплакивали предательство своего мужа и повелителя? Мог ли я не использовать хотя бы один шанс из тысячи, лишь бы только своими глазами увидеть лица, которыми до сей поры любовался один царственный супруг? И вот, дождавшись, когда богатырский храп повис над двориком, я тихо поднялся с ковра, сунул револьвер в карман и осторожно прокрался к стене. Не буду говорить, сколько времени я потратил на бесполезные блуждания в поисках второго, неохраняемого, входа в святая святых ханского дворца: было бы бесчеловечно столь злоупотреблять вашим доверием. Достаточно сказать, что моя настойчивость принесла плоды: я обнаружил таинственную дверь и замер подле нее, вслушиваясь. И что же я услышал, джентльмены?

— Храп генерала Головачева? — предположил

Цертелев.

— Смех, джентльмены! Серебристый, чарующий женский смех, от которого сердце мое застучало как паровая машина, а в жилах вскипела кровь. Я был у цели, я касался руками сокровищницы, и мне лишь оставалось воскликнуть: «Сезам, отворись!»

— На каком же языке вы намеревались воскликнуть? — снова поинтересовался Цертелев.

— Вы скептик, князь, — вздохнул Макгахан. — Язык страсти доступен всем женщинам мира. Я подумал об этом и смело постучал в дверь.

— Перед тем как она откроется, я предлагаю закусить, — сказал Насекин. — Необходимо подкрепить свои силы.

За столом все были достаточно молоды, чтобы есть и пить с аппетитом и удовольствием. На поручика никто не обращал внимания, он быстро освоился и ел за двоих, без церемоний.

— Мясной экстракт Либиха — чудовищная вещь, — вдруг сказал Макгахан, содрогнувшись от отвращения.

— Почему вы вдруг вспомнили о Либихе? — поперхнувшись от смеха, спросил Скобелев. — Вам мало того, что стоит на столе?

— Вероятно, он угощал этим экстрактом гурий

ханского гарема, — улыбнулся Цертелев.

— Кстати, Макгахан, раз уж вы постучали, так входите, — ворчливо сказал князь Насекин. — Ничего нет хуже, чем остановиться на пороге наслаждения.

— И забудьте наконец о Либихе, — с улыбкой добавил генерал.

— Не так-то все было просто и ясно, как ваш смех, — вздохнул Макгахан. — Я отбил себе руку, прежде чем мне открыла какая-то ведьма с глиняным светильником в руке. Она что-то затараторила, но в глубине за ее согбенной спиной по-прежнему звучал призывный женский смех. Я молча отодвинул старуху и неожиданно увидел картину настолько фантастическую, настолько сказочную, что она до сей поры отчетливо стоит передо мною.

Принесли суп, и рассказчик замолчал. Подождал, когда разольют его по тарелкам, когда уйдет прислуга. Все начали есть, а он лишь попробовал и продолжил:

— Я увидел двор футов в сто длиной и пятьдесят шириной, на одной стороне которого было возвышение, сплошь покрытое коврами, подушками и одеялами. Именно в этом углу двора, освещенном бледным светом луны, находилось около двадца-

ти красавиц…

— Не надо никого обманывать, Макгахан, — опять проворчал Насекин. — Убежден, что вы пересчитали всех гаремных дам по пальцам, а нам вместо четкой цифры предлагаете знаменитое «около». «Около двух человек было ранено», как недавно сообщила наша уважаемая пресса.

— Вы правы, князь, это дурная привычка, — сказал Макгахан. — Их было ровнехонько двадцать две штуки, но три оказались старыми и безобразными, почему я и остановился где-то около двадцати. Лежа в прелестных позах на подушках, они болтали и смеялись, но, к сожалению, мне не пришлось долго ими любоваться, потому что за моей спиной прокаркала что-то ведьма со светильником. Надо было видеть, джентльмены, как грациозно замерли вдруг эти прелестницы, какой вслед за этим поднялся смех и визг, как они заметались, пока на них не прикрикнула одна из красавиц. Они сразу замолчали, а она, взяв в руки светильник, смело подошла ко мне и остановилась в шаге, серьезно и строго рассматривая меня с головы до ног.

— Надеюсь, вы не оплошали, дружище? — улыбнулся Скобелев. — Между прочим, если вы и впредь будете отказываться от супа, то в конце

концов оплошаете.

— Она оказалась любимой дочерью индийского раджи, похищенной в раннем детстве? — поинтересовался Цертелев.

— Я не сочиняю, я излагаю сущую правду. Я не знаю, откуда она родом, но звали ее Зулейкой, что я установил после долгой смешной путаницы. Эта Зулейка провела меня на возвышение дворика, усадила на подушки и стала угощать чаем. Остальные обитательницы гарема расселись вокруг и принялись очень внимательно разглядывать меня, обмениваться замечаниями и хихикать. А я выпил две чашки чая, съел какую-то тягучую сладость, после чего был выдворен из гарема под конвоем всех трех фурий.

— И все приключение? — разочарованно спросил Скобелев. — Я-то развесил уши, готовясь услышать, как прекрасные узницы передавали вас из объятий в объятья.

— Чего не было, того не было, — серьезно сказал Макгахан. — Я вернулся в наш двор и завалился на ковер рядом с безмятежно храпевшим генералом Головачевым. Но каково же было мое удивление, когда рано утром дежурный офицер сообщил, что гарем пуст! Все его обитательницы исчезли таинственно и необъяснимо, пройдя не

только цитадель, но и город, занятый русскими войсками.

— Они бежали от вас, Макгахан, — убежденно сказал Насекин. — Вы так боялись напугать их действием, что перепугали бездействием, а это самый большой страх, который испытывают женщины.

— Я рассказал вам этот анекдот не ради забавы, — продолжал Макгахан. — Меня до сей поры тревожит один вопрос: что же понимают женщины под личной свободой? Любовь? Но когда вас двадцать душ, какая уж тут любовь. Долг? Но хан первым бросил их и сбежал. Покорность? Но никто не понуждал их бежать из охраняемого гарема. Что же тогда, джентльмены, что?

— Если бы вместо чая вы пили любовный напиток, вы бы не мучились над подобными вопросами, — сказал генерал. — Женщины любят силу, вот и все. И стоило вам ее применить, как они тут же пошли бы за вами.

— Представляете, Макгахан, вы привезли бы в Европу целых двадцать две жены, — улыбнулся Цертелев. — То-то была бы сенсация!

— Я не хочу шутить на эту тему, — недовольно поморщился американец. — Женщина не только источник наслаждения, женщина — часть

мужчины, часть его существа: недаром Библия упоминает о ребре Адама. Представьте на миг, что никаких женщин нет и не было, что мы размножаемся, скажем, почкованием…

— Как скучно! — заметил Цертелев.

— Возможно, но я о другом. Представьте мир мужчин: что вы найдете в этом мире? Средства для убийств себе подобных, для охоты и рыбной ловли, шкуры для сна и одежды и… и, пожалуй, все.

— Вы забыли вино и карты, — серьезно подсказал Скобелев.

— Вы шутите, а я утверждаю, что мы, мужчины, всегда готовы довольствоваться необходимым, если рядом нет женщины. Женщина — стимул цивилизации и ее венец, вот о чем я толкую, джентльмены. Ради нее писались законы и романы, возникали державы и открывались Америки. Ради женщины, только ради женщины, все остальное чушь; мы бы до сей поры не вылезли из пещер, если бы наши дамы не захотели этого. Вы утверждаете, что женщины любят силу? Нет, джентльмены, это мы любим слабость, будучи сильными; любим верность, будучи неверными; любим нежность, будучи грубыми. Мы, а не они — вот в чем парадокс!

— Обед зашел в тупик, — вздохнул Скобелев. — Я полагал, что он пройдет под знаком Стрельца, а его унесло под знак Девы. Право же, будет куда поучительнее, если поручик расскажет, где он оставил половину своего уха.

— В Сербии, ваше превосходительство, — нехотя сказал Гавриил. — Затем был плен, побег, снова бой и пуля в плечо. Я так долго валялся по госпиталям и больницам, что сейчас хочу только домой.

— Жаль, что я не у дел, — с грустью сказал генерал. — Я числюсь начальником штаба в дивизии собственного отца Скобелева-первого, понимайте это как полупочетную ссылку. Но, в отличие от вас, поручик, я не хочу домой. Я хочу на тот берег, туда, где так нуждаются в нашем с вами опыте. Или вы настолько уморились, что больше не слышите стонов из-за Дуная?

— Ну почему же, — сказал Олексин. — Просто мой полк сейчас в Москве.

— Вы знаете болгарский язык? — спросил вдруг Цертелев.

— Одно время я командовал болгарским отрядом.

— Вам известно, что генерал Столетов формирует болгарское ополчение?

— Я слышал кое-что за границей.

— Михаил Дмитриевич, я прошу вас рекомендовать моего друга Столетову, — серьезно сказал Цертелев. — Полагаю, что там он будет на месте.

Скобелев испытующе смотрел на Олексина. Поручик с напряжением выдержал его пристальный взгляд, не торопясь ни отказываться, ни соглашаться.

— Ваш друг не готов к решению, князь, — сказал генерал. — Стоит ли что-либо навязывать человеку помимо его воли?

— Вот вы и подпалили крылья, архангел Гавриил, — бледно улыбнулся Насекин. — Помню, как вы гордились ими в Москве.

— Я давно обронил их, князь, — вздохнул Гавриил. — Я простой пехотный офицер с некоторым боевым опытом. И если болгары и впрямь нуждаются в нем, я готов попробовать еще раз.

— Что попробовать, поручик? — спросил генерал.

— Попробовать понять, для чего я убивал и для чего убивали меня.

Скобелев весело улыбнулся, тут же деликатно прикрыв улыбку ладонью.

— Ваше превосходительство!

К ним спешил штабс-капитан с резким и непри-

ветливым лицом. Цертелев махнул ему рукой:

— Сюда, Млынов!

Млынов подошел. Щелкнув каблуками, сухо поклонился.

— Извините, господа, я за его превосходительством. Михаил Дмитриевич, вас срочно просит его высочество главнокомандующий.

Скобелев резко выпрямился, глаза его радостно сверкнули.

— Вот и обо мне вспомнили. — Он торопливо вытер усы, бросил на стол салфетку и встал, застегивая китель. — Прошу простить, господа, но главнокомандующие не любят ждать даже генералов.

Он уже выбрался из-за стола, когда глаза его остановились на поручике Олексине. Спросил через плечо у адъютанта:

— Ты в экипаже, Млынов?

— Так точно, Михаил Дмитриевич.

— Поедешь со мной, поручик, — генеральским, не терпящим возражений тоном сказал Скобелев.

4

Дежурный адъютант ввел Скобелева в кабинет главнокомандующего и тут же беззвучно вышел.

Скобелев громко и ясно — все Романовы любили эту громкую ясность — доложил, но Николай Николаевич, мельком глянув на него, оборотился к кому-то невидимому:

— Государь не простит нам напрасных жертв.

Из угла плавно выдвинулась фигура начальника штаба генерала от инфантерии Артура Адамовича Непокойчицкого. Скобелев только сейчас разглядел его и молча поклонился.

— Напрасных жертв не бывает, коли все идет по плану, Ваше Высочество.

Речь Непокойчицкого была гибкой, сугубо доверительной и проникновенной. Он никогда не повышал голоса, никогда не спорил и никогда не настаивал; он всегда словно только подсказывал, напоминая известное, забытое лишь на мгновение.

— Да, да, планы, ты прав. Соблюдение планов и дисциплина — святая святых армии. Святая святых! — Бесцветные глаза главнокомандующего остановились на стоявшем у дверей Скобелеве. — Где ты был, генерал?

— Обедал, Ваше Высочество.

— С вином и с бабами? Знаю я твои солдатские замашки.

— С вином, но без баб, — резко сказал Скобе-

лев.

Непокойчицкий остро глянул на него, из-за спины Николая Николаевича неодобрительно покачал головой. Взял со стола какую-то папку:

— С вашего позволения я хотел бы подумать над вашими предложениями, Ваше Высочество.

Это было сказано вовремя: великий князь уже начал багроветь и надуваться, готовясь разразиться гневом. Слова начальника штаба, а также его спокойный, умиротворяющий тон переключили медлительный и тяжелый, как товарный состав, ум главнокомандующего на другие рельсы.

— Да, да, предложения, предложения, — озабоченно сказал он. — Ступай. Мы все будем думать. Все.

Непокойчицкий вышел. Николай Николаевич строго посмотрел на дерзкого генерала, милостиво кивнул:

— Проходи и садись.

Скобелев прошел в кабинет и сел, нимало не заботясь о том, что сам великий князь остался стоять и что широкие белесые брови его строго поползли навстречу друг другу при виде столь быстрого исполнения его приказания. Однако на сей раз ему хватило здравого смысла не раз-

дражаться.

— Государь недоволен тобой, Скобелев, — сказал он, огорченно вздохнув. — Да, да, не спорь! Ты упрям, своенравен и способен вывести из терпения даже моего брата. Кто разрешил тебе покинуть Журжу?

— Я полагал, что для этого достаточно согласия моего непосредственного начальника.

— Ты генерал свиты Его Императорского Величества, а не капитан Генерального штаба!

— Именно это я хотел бы напомнить вам, Ваше Высочество, — вспыхнув, сказал Михаил Дмитриевич.

Он хотел добавить что-то еще, но усилием воли сдержал себя, упрямо продолжая сидеть. Николай Николаевич озадаченно посмотрел на него и нахмурился.

— Дерзок, — он еще раз вздохнул, — однако, кроме дерзостей, я бы желал услышать объяснения.

— Ваше Высочество, — умоляюще сказал Скобелев, — какой я ни есть, я генерал действий, а не салонов. Действий, а их нет. В казачьей дивизии, которой командует мой отец, осталось два полка: ингуши, как вам известно, отправлены с марша обратно в Одессу. И эти два полка несут

караульную службу. Вы мне предлагаете заняться разводом караулов? Хорошо, я исполню ваше повеление, но, осмелюсь заметить, без желания и страсти. Дайте мне хоть бригаду, хоть полк, Ваше Высочество! Клянусь вам, я способен на большее, клянусь!

— У меня нет свободных полков.

Скобелев промолчал. Великий князь внимательно глянул на него, затем отошел к большому, заваленному картами письменному столу и начал просматривать какие-то записи, сверяясь с картой. Потом сказал:

— Что перед нами, Скобелев?

— Передо мной стена, — хмуро ответил генерал.

— Я не шучу, — терпеливо пояснил главнокомандующий. — Перед тобой, возможно, и стена, а перед нами — Дунай, величайшая река Европы. И вся Европа смотрит со злорадством, как-то мы через него перескочим. Подобной задачи еще не приходилось решать ни одному главнокомандующему. — В голосе Николая Николаевича зазвучала тщеславная нотка. — Каковы турецкие укрепления? Где их батареи? Сколько у них орудий и какого калибра? Где расположены резервы и каково их количество? Вот вопросы, которые

необходимо изучить. Ты согласен со мной, Скобелев?

— Совершенно согласен, Ваше Высочество, — тотчас же откликнулся генерал, слушавший последние слова великого князя с особым вниманием. — Задача действительно чрезвычайно сложна, но мы обязаны решить ее во что бы то ни стало. Громить Турцию надо здесь, на этом театре; на Кавказе нет возможностей для маневра.

— Правильно, — одобрительно заметил Николай Николаевич. — Поди сюда. — Подождал, когда Скобелев подойдет к столу, пальцем провел по карте. — Вот твой участок, генерал. Хоть ты и без должности, но пойми: твой это участок. Охрана, наблюдения за противником, рекогносцировки — все с тебя спрошу.

— Благодарю вас, Ваше Высочество, — без энтузиазма отозвался Скобелев.

Великий князь уловил его разочарование. Покачал головой с несоразмерно большим лбом, вздохнул:

— Жди. Даст бог, переправимся, тогда и пригодишься. И без повеления государева или моего из Журжи ни ногой. Ни на обеды, ни к бабам, лучше к себе вози.

Скобелев тихо вздыхал, упрямо глядя мимо

великого князя в окно. Там то и дело мелькали верховые, подкатывали пролетки, бегали расторопные ординарцы. Экипаж, который доставил его к главнокомандующему, стоял почти напротив окна: генерал видел дисциплинированно ожидавшего своей участи Олексина.

— Ваше Высочество…

Кажется, он перебил Николая Николаевича: тот замолчал, обиженно и удивленно подняв брови. Но Скобелев не обратил на это должного внимания: он не забывал об обещаниях, данных подчиненным.

— В экипаже против окна сидит боевой офицер. Воевал в Сербии, где командовал болгарами, дважды ранен, а сейчас вне службы. Может быть, его целесообразно направить…

— Я сам знаю, кого куда направить! — резко перебил великий князь. — Я не терплю протекций, и вы это должны знать, Скобелев. — Он позвонил; вошел дежурный адъютант. — Позовите… Укажите ему, кого позвать, генерал!

Через минуту поручика ввели в кабинет. Он четко представился и замер у порога под неторопливым, проверяющим взглядом главнокомандующего. Сербскую шинель он оставил в коляске, стоял перед великим князем в потрепанном

волонтерском мундире с Таковским крестом, но Николай Николаевич, казалось, не замечал этого креста, а с брезгливым недоумением косился на разбитые опанки.

— Олексин? Из каких же Олексиных? — резко спросил он наконец.

— Из псковских, Ваше Высочество.

— Из псковских? Что-то помню, помню. Твой отец императора Николая Павловича на дуэль вызвал?

Кадык великого князя двигался и булькал, точно жил отдельно от большого грузного тела. Гавриил как-то сразу увидел только этот кадык и ничего больше. И сказал:

— Мне неизвестен этот анекдот, Ваше Высочество.

— Упрямая порода, упрямая! — с некоторой долей странного одобрения сказал Николай Николаевич. — Ступай к Столетову. Передай, что я велел дать тебе роту.

— Благодарю…

— Ему же не на что добраться до Столетова, — вдруг перебил Скобелев и, подойдя к Олексину, протянул кошелек. — В долг, поручик, не кипятитесь и не вздумайте отказываться. Вернете с первого жалованья.

— Нет, Скобелев, ты положительно мне непонятен, — с огорчением отметил великий князь, когда Олексин вышел. — Ступай в Журжу и сиди там, покуда не позову. И не смей своевольничать, слышишь?

Скобелев молча поклонился и вышел из кабинета.

5

С того вечера, о котором Маша не переставала думать с приливами жаркой застенчивой гордости, вспоминая собственный выбор — выбор, прозвучавший как признание, — Беневоленский более не появлялся. Не заходил, не давал о себе знать, не присылал писем, будто канул в небытие или умчался вдруг, петляя по российским городам и весям, заметая следы и память о себе в тоскливом поиске той заветной квадратной сажени, что не просматривалась полицейским всевидящим оком. Маша продумала эту возможность тщательнее, чем прочие, но и здесь не могла не усомниться: даже уходя от господ в голубых мундирах, даже петляя и запутывая, Беневоленский непременно изыскал бы возможность как-то сообщить о себе. А сообщений не было, не было даже намеков на них, и Маша

длинными одинокими вечерами металась по опустевшей квартире, ища и не находя объяснений этому странному молчанию.

Пришло письмо из Смоленска, от Вари — она писала с регулярностью отлаженного механизма, раз в месяц. Машенька просмотрела письмо с небрежностью — не то письмо было, не то! — но, дочитав, точно спохватилась и перечитала заново уже внимательно, вникая в смысл фраз, а не скользя глазами. И никак не могла понять, что же удивило ее, пока вновь, уже вечером, в третий раз не перечла его. И тогда поняла, что поразило ее не торопливое перечисление событий и даже не жалобы на возросшие денежные затруднения («…знаешь, Мария, тебе, пожалуй, придется вскорости либо приехать к нам, либо сократить московские расходы…»), а какое-то безразличное, словно бы между прочим, упоминание в конце, в постскриптуме: «Да, Иван ушел из дома. Кажется, уехал к Василию». Без разъяснений, без мотивов, даже без сожаления: уехал, и все тут. И от этого весь тон письма, весь смысл его становился каким-то необычно мелочным и назойливо эгоистичным: смотри, мол, Мария, как плохо мне тут, в смоленской глуши, вдали от жизни, общества, звона шпор и цветов по утрам. И хотя в письме

не было ни единой жалобы на отсутствие общества, шпор и цветов, читалось оно именно так, и Маша впервые по-взрослому, до щемящей боли пожалела старшую сестру.

А вот от Федора и Таи не было никаких известий, и Маша не знала, как они добрались до Тифлиса и как устроились там, если добрались. А ведь могли и не добраться, могли затеряться по дороге, могли по каким-либо причинам сменить Тифлис на другой город — Маша ничего не знала. Брата могли уже арестовать, препроводить в тюрьму или крепость, а Таю запугать и силой отправить к родным в Крымскую — о всех этих ужасных «могли» Маша вспоминала мельком, холодно и небрежно, проклинала себя за эту рассудочную небрежность — и упорно думала только о нем, о Беневоленском. Ничего иного для нее уже не существовало и существовать не могло: тогда за столом, в споре с братом, она не просто сделала выбор — она ощутила себя женщиной, и эта вдруг заговорившая в ней женщина отныне чувствовала, думала и действовала за нее, словно бы помимо ее собственной воли. И фокусом, в котором собирались теперь все лучики, все помыслы души ее, стал Аверьян Леонидович Беневоленский.

— Может, в солдаты они пошли? — вздыхала Дуняша. — А там писать не велят.

— Но ведь Аверьян Леонидович — медик, Дуняша. Нет, нет, здесь что-то не то. Что-то не то!

Мысли изматывали, лишали сна и покоя, а посоветоваться или хотя бы просто поговорить по душам было не с кем. Тая уехала, а Дуняша, при всей ее преданности, природной сообразительности и грамотности, оставалась по-прежнему «девушкой», точно так же как Машенька оставалась «барышней», и никакого знака равенства или хотя бы подобия между двумя этими родственными понятиями невозможно было даже представить. Живя одной жизнью, ежедневно соприкасаясь друг с другом и часто думая об одном, барышня и девушка оставались каждая на круге своем, и круги эти никогда не пересекались, а лишь сообщали друг другу движение, будто шестерни передаточного механизма. И если Дуняша при этом могла отвести душу во дворе или в ближайшей лавочке, то Маша такой возможности была лишена. Покойный отец ее сторонился московского общества и не вводил в него своих дочерей, а курсы с началом войны временно прикрыли, наспех обучив курсисток оказывать первую помощь, накладывать повяз-

ки да ухаживать за ранеными, и Маша осталась одна. Еще до письма Вари начала давать уроки музыки в двух купеческих домах, занималась языками с золотушной и ленивой чиновничьей дочкой да по доброй воле учила грамоте трех смышленых татарчат, детей дворника Мустафы. Жила на собственный заработок, держалась независимо и — по молодости — чуточку задиристо, в связи с чем носила юбки на два пальца короче общепринятого, никогда не надевала корсет и презирала входившие в моду черные чулки.

— Уж очень вы самостоятельная, — приторно улыбаясь, говаривала пышная чиновница, присутствующая на всякий случай — кто этих курсисток знает! — на всех уроках. — А ведь мы, женщины, подневольности ищем.

— Женщина — такой же человек, зачем же ей подневольность?

— Это вы — по молодости. А придет время замуж идти, так сразу вспомните, что совсем даже не такой.

— Рабство женщины имеет чисто экономические причины, — гордо провозглашала Маша. — А я сама зарабатываю свой хлеб, и потому я свободна и независима.

— Милая вы моя, женщина ведь не своим хле-

бом гордится, а мужним, и слаще его ничего на свете нету. Уж поверьте мне.

Были средства, была квартира (Маша упорно не меняла ее на более дешевую, опасаясь окончательно потерять исчезнувшего Аверьяна Леонидовича), была независимость — и все это ровно ничего не стоило, потому что не было Беневоленского. И, отвечая сладчайшей чиновнице заученными фразами, Машенька внутренне прекрасно понимала, что женское счастье не имеет ничего общего ни с экономической независимостью, ни с образовательным цензом, ни даже с жуткой, отчаянной смелостью ходить без корсета.

Впрочем, в последнем случае Маша немного хитрила. В моде были высокие стройные фигуры, и дамы добивались этой стройности, туго шнуруя собственные тела. А Маша заметно подросла за последнее время, выстройнилась и вполне могла обходиться без шнуровки, но думать, что она не шнуруется исходя из принципов, а не из естества, было чрезвычайно современно, отважно и приятно. И если бы при этом еще был тот, ради которого совершался этот подвиг, то… Но, увы, «того» не было.

В это время «тот», то есть Аверьян Леонидович

Беневоленский, доселе проживавший в Москве по паспорту мещанина Аркадия Петровича Прохорова, сидел в подследственном корпусе Бутырского тюремного замка. Его взяли еще весной, вскоре после неожиданной встречи с Елизаветой Антоновной на Кузнецком, взяли по подозрению, а не по уликам, несколько перестаравшись на поприще защиты отечества от «врагов внутренних». Аверьян Леонидович быстро понял, что под готовившийся гигантский политический процесс не подходит, стал требовать справедливости, адвоката, гласного суда, но полиция — а брали его чины полиции, а не охранки — носила мундир и блюла его чистоту. И уж если не выгорало дело с политическим обвинением, то хотелось хоть какого-либо дела, хоть видимости его, хоть намека. Но ни видимости, ни намеков не находилось, арестант требовал адвоката, следствия, суда и гласности, и полиция сама была не рада, что заварила всю эту кашу. В конце концов глупого и чванливого полицейского следователя сменил пронзительно хитрый господин из судейских. На первом же допросе терпеливо выслушал протесты Беневоленского, покивал сочувственно:

— Вы абсолютно правы, абсолютно. Только известно им, что вы такой же господин Прохо-

ров, как я — боярин Орша. Это, конечно, еще не преступление, не улика даже, но держать вас полиция будет, а потому, о здоровье вашем заботясь, рискну дать совет. Пишите нижайшее прошение о добровольном зачислении вас в действующую армию вольноопределяющимся нижним чином. Засим найдите достойного поручителя, и я гарантирую вам свободу, правда, пока — в солдатской шинели.

Аверьян Леонидович сразу понял, куда метит мягко стелющий судейский крючок: выйти через поручителя либо на связи арестованного по подозрению, либо на его настоящее имя. И все же шанс представлялся реальным, и Беневоленский, продумав кандидатуру поручителя, написал прошение о зачислении его вольноопределяющимся в любой из полков действующей армии, поскольку оставался господином Прохоровым и к медицине не мог иметь никакого отношения. Написал и подал, назвав при этом и поручителя, фамилия которого повергла полицию в изумление, поскольку за нею стояли известные всей Москве увесистые старообрядческие миллионы.

Но Маша ничего этого не знала и, думая о своем избраннике постоянно, не позволяла себе впасть в отчаяние и ни разу не допустила мысли, что ее

Аверьяна Леонидовича вообще уже нет на свете.

— Барышня, вас Мустафа спрашивает. Очень, говорит, нужно.

Мустафа был человеком старательным и испуганно исполнительным — качество типичное для тайных пособников карательного аппарата. Он истово блюл чистоту, порядок и надзор во вверенном ему дворе, но чувства благодарности не растерял, почему и выделял Машеньку Олексину из всех порученных его негласному надзору жильцов. Уважал ее за приветливость, за простоту и скромность и — главное — за бескорыстную помощь его детям в освоении мучительно трудной русской грамоты. И хоть и был в свое время предупрежден, что обязан уведомлять, кто, когда и сколько раз навещает барышень Марию Олексину и Таисию Ковалевскую, доносил неизменно одно и то же, что-де никто особо не навещает, а если и навещает, то днем и ненадолго. И потому никогда не докучал барышне своими посещениями, никогда ни о чем не спрашивал, лишь кланяясь издали, а тут вдруг прибежал сам и до дрожи в коленках перепугал Дуняшу, шепотом сообщив ей, что «очень, понимаешь, нужно…».

— Здравствуй, Мустафа. Случилось что-нибудь?

— Может, барышня, случилось, может, не случилось, не знаю. Ты детей моих грамоте учишь, а сама, случается, чай пустой пьешь. Ты меня свиным ухом не дразнишь, ты меня уважаешь, семью уважаешь и веру мою уважаешь, и я тебя уважаю. За тобой, барышня, следить приказано и говорить, кто к тебе ходит, а я всегда одно говорил: никто, мол, не ходит, все, мол, тихо-покойно. А тут господин важный приехал, на рысаках приехал и о тебе спрашивает. Может, бумаги у тебя есть, может, книжки, так ты спрячь все, пока я ворота открывать буду.

— Спасибо тебе, Мустафа, только прятать мне нечего. Проси, пожалуйста.

Дворник ушел, недовольно качая круглой, начисто выбритой головой. А Маша почему-то тотчас же решила, что визитер — от Аверьяна Леонидовича, очень разволновалась, послала Дуняшу ставить самовар, тут же вернула ее и неприлично ждала в прихожей, лишь в самый последний момент юркнув в гостиную. И там напряженно прислушивалась, непроизвольно тиская пальцы и краснея.

— Позвольте представиться: Рожных Филимон Донатов. Имею брата-близнеца Сильвестра, с коим прошу не путать, а чтоб конфузу не вышло,

вот мое отличие, — посетитель слегка коснулся пальцем маленького родимого пятнышка под правым глазом. — У Филимона, стало быть, оное имеется, а у Сильвестра отсутствует, так что запомнить просто.

Этот странный монолог неторопливо изложил высокий и плечистый молодой человек с рыжей бородой и стриженными в скобку темно-русыми волосами. Несмотря на немодную прическу, одет он был вполне современно и говорил свободно, чуть выкругляя «о», как то делают сибиряки и уральцы.

— Не убеждена, что мне удастся свидеться с вашим братом, но за примету благодарю, ее я запомнила, — сказала Маша, ощущая все растущую тревогу. — Не знаю лишь, чем обязана визиту вашему.

— Позвольте сперва Дуняше шляпу отдать, — улыбнулся Филимон Донатович, отдавая Дуняше шляпу с перчатками и тяжелую, окованную серебром трость. — Ведь Дуняша ты, не ошибся?

— Дуняша, — протянула горничная, настороженно глянув на барышню. — А откуда знаете?

— А от того самого господина, что тебе письма писал в Смоленск, спрашивая, когда же Мария Ивановна Олексина к батюшке своему пожа-

лует.

— Господи! — Маша прижала руки к груди. — Вы от…

— От господина Прохорова Аркадия Петровича, — чуть поспешнее, чем требовалось, сказал Рожных и еще раз почтительно поклонился. — Являюсь его старым другом, почитателем, а теперь и поручителем. Однако, может быть, сесть позволите, Мария Ивановна? Мы, купцы, сидя беседу ведем, нам барские постоялочки не с руки: тяжелы мы для них да неуклюжи.

— Да, да, извольте же, — торопливо сказала Маша.

Филимон Донатович неспешным увесистым шагом прошествовал к немодным уже стульям с прямой спинкой. Маша торопливо села напротив, спросила:

— Так где же он, господин Рожнов? Где Аверь… То есть…

— Да не волнуйтесь вы, Мария Ивановна, — весело улыбнулся гость. — И он не Аверьян Леонидович, и я Рожных, а не Рожнов, потому как из сибиряков происхожу. А друг наш теперь поди уж на гарнизонной гауптвахте, поскольку подал прошение о добровольном зачислении в солдаты.

— Какие солдаты? Почему? — поразилась Маша. — Он же — медик, зачем же в солдаты?

— То господин Беневоленский медик, — чуть понизив голос, терпеливо пояснил Филимон Донатович. — А господин Прохоров — он по торговой части. У нас с братом служил, чему мы и документ сумели разыскать. Позволю еще сказать, что мы с братом Сильвестром во исполнение патриотического и христианского долга на собственный кошт организуем медицинский отряд для помощи раненым и больным нижним чинам. В отряде сем санитары понадобятся, вот тогда мы господина Прохорова и вытребуем через местное начальство. Такие у нас расчеты на будущее, а настоящее таково, что жив он и здоров, чего и вам желает.

Рослый, самоуверенный, благодушно-сильный и — Маша не могла не признать этого — красивый мужчина неторопливо рассказывал о чем-то необязательном. Рассказывал с мягкой иронией, время от времени вставляя в разговор фразы очень важные, решающие судьбу как Беневоленского, так и Машеньки, но произносил их будто случайно, будто походя, будто оговариваясь, словно пришел сюда не ради этих самых оговорок. Жадно слушая его, Маша вовремя ловила второй,

наиглавнейший повод его посещения, боясь пропустить не только слово, но и интонацию. И в то же время смутно, неясно, очень неопределенно для самой себя чувствовала, что уже все решила. Что именно решила, Маша еще не знала, еще не смогла бы точно объяснить, но чувство какого-то очень важного и очень правильного решения утверждалось в душе ее с каждым словом неожиданного гостя.

6

6 мая ярко светило солнце, только на юге, за Дунаем, где-то над далекими Балканами, хмурились низкие косматые тучи. С утра в лагере болгарского ополчения шла приподнятая суета: ополченцы начищали амуницию, офицеры озабоченно переговаривались, унтеры придирчиво проверяли подчиненных. Все готовились к празднику.

Задолго до объявленного времени к ополченскому лагерю, расположенному в полутора верстах от города Плоешти, стали собираться жители. С женами и детьми в торжественном молчании шли болгары-изгнанники; с песнями спешили принаряженные румыны и армяне, цыгане и венгры. Прибывший из города генерал-майор Николай Николаевич Столетов с трудом

пробрался через окружавшую лагерь шумную праздничную толпу.

— Это стихия, — строго указал он своему начальнику штаба подполковнику Рынкевичу. — Отведите для публики особые места и поручите соблюдение порядка толковому офицеру. Кто дежурит по лагерю?

— Караул третьей дружины.

— Передайте дежурному офицеру мое напоминание об особой ответственности.

— Будет исполнено, Николай Григорьевич.

— Его Высочество прибудет в два с половиной часа пополудни. К этому времени должны быть закончены все приготовления.

Неторопливый, обстоятельный Рынкевич чуть склонил лысеющую голову, повторив:

— Будет исполнено.

Генерал Столетов выше всех военных доблестей ставил аккуратность и исполнительность, почему и постарался окружить себя людьми серьезными и основательными. Одобрительно кивнув подполковнику, старательно записывавшему каждое его распоряжение, сказал:

— Подполковника Калитина ко мне.

Подполковника Павла Калитина Столетов отмечал особо. Подполковник был неразговорчив,

энергичен, требователен и заботлив. В действующую армию прибыл из Туркестана, где показал себя не только отважным, но и осмотрительным офицером.

— Честь имею, ваше превосходительство.

— Самарское знамя будет передано на хранение первой роте вашей дружины, полковник. Таково решение главнокомандующего. Подберите знаменщика.

— Благодарю за доверие, ваше превосходительство.

Подполковник знал, кого благодарить: решение великого князя было подсказано Столетовым. Калитин был весьма горд оказанным доверием, но его простое, вечно хмуро-озабоченное лицо не отразило никаких эмоций.

— Лучшего знаменщика, чем унтер-офицер Антон Марченко, предложить не могу. Бесстрашен, честен, старателен, предан. Готов поручиться за него перед вашим превосходительством, а если угодно, то и перед Его Высочеством.

— Вашего слова достаточно, Калитин. Объясните унтеру церемониал.

Церемониал особо беспокоил Николая Григорьевича, поскольку был исключительным и во многом отличался от традиционных армейских

торжеств подобного рода. Существовало множество лиц, не имеющих к армии никакого отношения, но связанных с формированием ополчения, а потому и обладающих правом присутствия при освящении знамени. Да и само это знамя было необычным, что тоже в какой-то степени путало сложившийся веками ритуал, оставляя место чему-то не предусмотренному никакими артикулами. В торжественном священнодействии появлялась возможность стихийной самодеятельности, что вселяло тревогу в тренированную логикой и армейским порядком душу Столетова.

Знамя, которое сегодня предстояло вручить впервые в истории сформированным по образцу современной армии болгарским дружинам, тоже было результатом стихийного творчества. Его расшили шелками жительницы далекого города Самары, предназначая для восставшего болгарского народа еще прошлой весной, но вручить так и не успели: восстание было быстро и беспощадно потоплено в крови. Сейчас самарцы дарили его тем, кто не просто уцелел после разгрома апрельского восстания, а родился из него, впитав в свои сердца кровь, слезы и боль истерзанной Болгарии, — первым боевым частям болгарского ополчения. И именно потому, что

эти боевые части были прямыми продолжателями апрельских повстанцев, в символике боевого Самарского стяга ничего не пришлось менять. Воплощенная в шелке идея полностью отвечала духу, настроениям и надеждам всех патриотов Болгарии.

Для торжественной передачи знамени из Самары прибыл городской голова Кожевников и гласный Самарской думы Алабин; взволнованные предстоящей церемонией, они с утра мыкались по лагерю, по простоте душевной не понимая, что мешают подготовке. Корректный и очень сдержанный Столетов, неизменно вежливо улыбаясь, уже начинал непроизвольно дергать щекой, встречаясь с самарскими представителями на каждом шагу.

— Господа, для паники нет оснований. Возьмите себя в руки и перестаньте нервничать.

— А Его Высочество будет? Не передумает? — пугался Алабин.

Солидный Кожевников был спокойнее. Поглаживая широкую бороду, успокаивал:

— А как же можно без них?

Болгарские священнослужители — архимандрит Амфилогий Михайлов, назначенный дивизионным благочинным, и дружинный

священник 1-й болгарской бригады отец Петко Драганов, которым предстояло провести длинное и сложное богослужение, держались куда спокойнее самарских представителей. В этом сказывались не только их навыки, но и та боевая выучка, которую они получили еще в прошлом году. Оба представителя болгарского духовенства были участниками апрельского восстания, оба командовали своими прихожанами, отражая натиск башибузуков, а Петко Драганов был в боях и против регулярных турецких войск, защищая Дряновскую обитель. Они уже облачились в приличествующие торжеству парчовые одежды и теперь с невозмутимым терпением ожидали начала.

Командиры выводили дружины, выстраивая каре, в центре которого стоял большой стол, накрытый церковными пеленами. В левой части стола размещалось Евангелие, крест, походные дружинные образа и чаша со святой водой; правая половина пока была пуста. На эту половину стола самарские представители должны были положить полотнище знамени, но Столетов распорядился, чтобы и эта акция была выполнена с торжественностью, когда войска построятся и все будет готово для начала церемонии. Поэтому

городской голова Самары безотлучно находился в штабной палатке у подготовленного для переноса стяга, а гласный Алабин ходил по пятам за командиром ополчения, вздыхал и с тревогой заглядывал в глаза:

— Не едет? Почему же не едет?

— Я уже докладывал вам, что Его Высочество прибудет в два с половиной часа пополудни, а сейчас около двух.

— Разрешите доложить, ваше превосходительство?

Перед Столетовым вырос дежурный офицер. Несмотря на официальный рапорт, он с трудом сдерживал улыбку.

— Прибыл полковник Артамонов с почетными гостями.

— Расположите их слева от свиты Его Высочества, впереди дружинных колонн.

— Слушаюсь.

— Вы чем-то взволнованы, поручик?

— Все сегодня взволнованы, ваше превосходительство.

— Но не все улыбаются при докладе командиру.

— Виноват, ваше…

— Едут! — издалека закричали махальщики. —

Едут!

— Поручик, проводите гостей, — поспешно распорядился Столетов. — Коня!

Со стороны города приближались несколько колясок и верховых офицеров в окружении конвоя терских казаков. В первом экипаже сидели Николай Николаевич-старший, генерал Непокойчицкий и великий князь Николай Николаевич-младший — сын и личный адъютант главнокомандующего. Столетов протяжно выкрикнул команду и, подскакав, отдал строевой рапорт. Главнокомандующий вышел из коляски, в сопровождении Столетова обошел выстроенные войска, здороваясь и поздравляя с великим днем каждую дружину. Ополченцы громко кричали «ура». Закончив обход, великий князь и Столетов подошли к столу.

— Все готово?

— Так точно, Ваше Высочество.

— Гость прибыл?

— Стоит левее вас. Высокий, в болгарской боевой одежде.

— Распорядитесь со знаменем.

— Слушаюсь, Ваше Высочество. — Столетов сделал шаг вперед, громко отдал команду: — Дружины, смирно! Господа офицеры!

Сверкнули на солнце клинки, замерли ополченцы. В полной тишине из палатки вышли оба самарца, неся на руках развернутое знамя. Пройдя к столу, они аккуратно расстелили полотнище на правой части, поклонились главнокомандующему и отошли к свите.

— Готово, святой отец? — негромко спросил великий князь.

Архимандрит с достоинством склонил голову.

— Барабанщик, бой на молитву! — резко выкрикнул главнокомандующий.

Началась неторопливая торжественная служба, установленная для освящения знамен и штандартов. Ополченцы, гости и многочисленные зрители, окружившие лагерь со всех сторон, молились истово и проникновенно. У многих в глазах стояли слезы, и то были слезы не умиления, а гордости за возрождающуюся болгарскую армию.

Молебствие окончилось. Городской голова города Самары Кожевников торжественно подал на блюде главнокомандующему молоток и серебряные гвозди. Великий князь трижды перекрестился и вбил в древко первый гвоздь. Гвоздь пошел криво, но Николай Николаевич все же благополучно достукал его до конца и

передал молоток сыну. Затем гвозди вбили генералы Непокойчицкий и Столетов, оба самарских представителя. В полной тишине звонко стучал молоток. После Алабина Столетов хотел передать его своему начальнику штаба, но великий князь остановил.

— Сейчас время болгарам. — Он оглянулся на почетных болгарских гостей, стоявших левее свиты, и, побагровев от натуги, громко выкрикнул: — Вбей и ты гвоздь в святое знамя, Балканский Орел.

Из группы почетных гостей вышел черноусый, с обильной проседью, но еще статный и крепкий старик в расшитом шнурами боевом болгарском наряде, перехваченном широким поясом, из-за которого торчали богато изукрашенные рукояти ятаганов. Это был знаменитый гайдукский воевода, гроза Балкан Цеко Петков, тридцать два года воевавший с турками. По обе стороны воеводу торжественно поддерживали два молодых гайдука; лицо того, который шел справа, было изуродовано широким шрамом. Взяв из рук великого князя молоток, Цеко Петков снял шапку, в задумчивости провел ладонью по густым усам и, молодо выпрямившись, повернулся к замершим в строю ополченцам:

— Да поможет Бог этому святому знамени из конца в конец пройти несчастную землю болгарскую! Да утрут этим знаменем наши матери, жены и сестры свои скорбные очи! Да бежит в страхе все нечистое, поганое, злое перед ним, а за ним да воцарится в Болгарии вечный мир и благоденствие!

Сильный голос воеводы дрожал и прерывался от волнения, и это волнение передалось всем, даже главнокомандующий невольно приосанился, милостиво закивав. Цеко Петков наставил гвоздь, с силой ударил по нему молотком, и в этот момент с далеких Балканских гор отчетливо долетел раскатистый удар грома.

— Добрый знак, добрый! — крикнул воевода, преклонив колено и целуя полотнище знамени.

— Ур-ра! — восторженно подхватили ополченские дружины.

Тысячи черных шапок одновременно взлетели в воздух. Это было явным нарушением чинного церемониала, и Столетов в растерянности посмотрел на великого князя. Мгновение помедлив, главнокомандующий поднес ладонь к козырьку фуражки, и тотчас же все офицеры, щелкнув каблуками, отдали честь старому болгарскому воеводе, а Николай Николаевич-младший лично

подхватил его под локоть, помогая подняться с колен.

— Дружины, смирно! — протяжно скомандовал Столетов, и сразу наступила тишина. — Подполковнику Калитину и знаменщику унтер-офицеру Марченко вбить последние гвозди!

В последний раз прозвучал стук молотка. Великий князь завязал бантом ленты знамени и высоко поднял его над головой. Мощно зарокотали барабаны. Столетов, Калитин и Марченко опустились на колени.

— Вручаю вам боевое знамя болгарского ополчения, — громко сказал главнокомандующий. — Не посрамите же его ни трусостью, ни предательством, ни неправедными делами. И пуще жизни храните его честь, чтобы никогда ни одна вражеская рука не смела к нему прикасаться!

— Клянусь! — первым сдавленно сказал Калитин, пряча мокрое от слез лицо в скользком шелке знамени.

Ударили отбой. Ополченцы надели шапки и тут же взяли ружья на караул. Раздался грохот барабанов, громко бивших поход, восторженное «ура», и унтер-офицер Антон Марченко торжественно пронес Самарское знамя мимо строя и остановился возле первой, отныне знаменной ро-

ты 3-й дружины. После короткого перестроения вновь зарокотали барабаны, и дружины взвод за взводом торжественным церемониальным маршем продефилировали мимо главнокомандующего.

— Благодарю. — Великий князь был очень доволен. — Отменная выучка, отменная организация и отменный порядок. Пригласи от моего имени на обед тех офицеров, которых сочтешь нужным поощрить. Еще раз спасибо, Столетов, порадовал!

Список офицеров для званого обеда составлял подполковник Рынкевич. Он сидел за походным столом, витиеватым чиновничьим почерком выводя фамилии. А Столетов все еще не мог успокоиться и нервно вышагивал по штабной палатке.

— Главнокомандующий особо отметил порядок, — сказал он, останавливаясь напротив начальника штаба. — Как фамилия дежурного офицера?

— Сию минуточку, Николай Григорьевич. — Рынкевич заглянул в списки. — Караул был наряжен от Третьей дружины. Дежурный офицер — ротный командир поручик Олексин.

— Включите его в списки приглашенных и

выразите ему при случае мою признательность.

— Будет исполнено, Николай Григорьевич, — сказал подполковник, аккуратно занося фамилию отличившегося офицера в списки приглашенных на торжественный обед от имени великого князя главнокомандующего.

7

Поручик Олексин так и не попал на праздничный обед. Сдав дежурство и еще не получив официального приглашения, он тут же возле караулки встретил молодого, нарядно одетого гайдука с обезображенным шрамом лицом.

— Жду вас, поручик. Вот мы и свиделись наконец.

Гавриил молча обнял Стойчо Меченого. Постояли, улыбаясь и с удовольствием разглядывая друг друга.

— Я знал, что непременно встречу вас, Стойчо, на этой войне, — сказал Олексин. — Или по крайней мере услышу о ваших делах.

— Я за вами, поручик. — Меченый взял Гавриила под руку. — С вами хочет познакомиться мой воевода Цеко Петков.

— Кажется, тут намечается какое-то торжество.

— Воевода отговорился, он не любит официальных приемов в присутствии августейших особ. Мы собрались скромно в своем землячестве.

Разговаривая, молодые люди миновали лагерь, направляясь в город. Гавриил подумал было, что следовало доложить о своем уходе командиру дружины Калитину, но решил, что подполковник и так сочтет его уход оправданным.

— Как поживает ваша сестра, Стойчо? Она все еще в отряде?

— Вышла замуж, — улыбнулся Меченый. — А мужа вы знаете — Бранко.

— Прекрасная пара. Передайте им мои поздравления, если случится.

— С удовольствием. Мы хотим как можно скорее вернуться в Болгарию. Мы очень нужны там.

— Придется прорываться с боями?

— Вряд ли. Кирчо знает тропы, а туркам сейчас не до нас. Вы не встречали Отвиновского?

— Отвиновский погиб почти у меня на глазах. Турки окружили роту, а среди пленных его не оказалось.

— Тогда он ушел, — сказал Меченый. — Пробрался через Сербию, Болгарию, разыскал нас.

— Что вы говорите, Стойчо!

— Да, это так. Сражался вместе с нами против

турок, а потом Кирчо провел его к Дунаю и переправил к вам.

— Зачем?

— Он хотел во что бы то ни стало попасть в Россию. На Волынь, что ли. В какое-то имение, к какой-то кузине. Говорил, что дал слово побывать там.

— На Волынь? — Поручик долго шел молча. — Знаете, Стойчо, Отвиновский бесспорно человек чести, но сколько же в нем холодной жестокости… Впрочем, я не прав, на войне другие мерки.

— На войне как на войне, — пожал плечами гайдук.

— Да, на войне как на войне, — вздохнул поручик. — Но прийти к матери и сказать, что я сам, собственными руками… — Он запнулся. — Я видел много смертей и много ужасов, но так и не понял, как же следует поступать.

— Вероятно, все зависит от обстоятельств.

— Не знаю, — задумчиво сказал Гавриил. — Никак не могу разобраться, какая разница между человеком, который воюет, и человеком, который спокойно сидит дома. Один не только имеет право, но и обязан убивать, а другого за это же ждет бесчестье и каторга. А что, в сущности, меняется? Совесть? Нравственные принципы? Вы можете

убить человека не в бою, Меченый?

— Смотря какого человека, — усмехнулся Стойчо. — Странные у вас мысли для боевого офицера.

— Полагаете, они мешают мне воевать?

— Они мешают вам жить, поручик. Думать об этом будете после войны.

— Нет, Стойчо, думать об этом надо всегда. Всегда, даже в бою. Иначе мы рискуем превратить род человеческий в банду убийц и грабителей. — Он помолчал и неожиданно добавил: — Турки казнили Карагеоргиева. У него была мучительная смерть, очень мучительная.

— Вечная память, — помолчав, сухо сказал гайдук. — Мы пришли, поручик. Пожалуйста, не говорите с воеводой о морали и праве человека на убийство: на его теле двадцать восемь турецких ран.

В небольшом зале скромной болгарской кафаны собрались только мужчины. Большинство были в форме ополченцев или в живописном гайдукском наряде, но среди них мелькали сюртуки, безрукавки и куртки обывателей, с почетом принимавших у себя легендарного Балканского Орла. Сам почетный гость сидел во главе стола; когда Меченый представил ему Олексина, воево-

да встал и протянул Гавриилу глиняную кружку с вином:

— На здраве!

— На здраве! — хором откликнулся стол.

Отхлебнув изрядный глоток, Петков разгладил пышные, переходящие в густые бакенбарды усы и молодо улыбнулся.

— Садись, поручик, ты всегда будешь желанным гостем за болгарским столом. Мне было семь лет, когда турки до полусмерти избили моего отца. Я кричал и плакал от гнева и боли за него, и моя старая бабка сказала мне: «Не плачь, мальчик, ты еще доживешь до того времени, когда из-за Дуная придет большой дядя Иван и выгонит с нашей земли всю турецкую погань». Я дожил до этого дня и плакал сегодня второй раз в жизни, но плакал от радости. Запомним этот день, болгары! Запомним лица наших братьев, отложивших в сторону многотрудные дела свои, чтобы взять меч и помочь маленькому народу сбросить османское иго. Честь им и слава!

Уже много месяцев Гавриил жил в каком-то безразличии. Он не вспоминал о далеком доме и избегал шумных компаний. Он никому не писал, ни от кого не получал писем и не ждал их более. Ему было все равно, принимать участие в этой

войне или уехать куда-либо подальше от театра военных действий. Отныне он подчинялся судьбе, не пытаясь сопротивляться. Он словно плыл по течению, отдавшись ему с равнодушной покорностью. Он не просто устал бороться, он разуверился в том, что когда-то составляло смысл его борьбы, а искать какой-либо иной, новый смысл не было ни сил, ни желаний.

Он не пытался понять причин своего подавленного состояния, но сейчас чувствовал потребность вспомнить, когда же это началось, где лежал рубеж между его вчерашним и сегодняшним «я». Причиной тому была встреча со старыми друзьями, которые, к его удивлению, остались такими же, какими Гавриил помнил их еще по Сербии.

Нет, он внутренне сломался не тогда, когда валялся в лагере для военнопленных, не тогда, когда зарезал турка, и даже не тогда, когда опустил в мутные воды Моравы отрубленную голову Совримовича. Наоборот, тогда он испытывал холодную ненависть и нетерпеливое желание мстить. С этими чувствами он вышел к своим, к остаткам разгромленного корпуса Хорватовича, сколотил отряд и, отступая по лесам, на свой собственный страх и риск бил турок где только мог. Огнем

и упорством прорвался к регулярным частям, еще сдерживающим турецкий натиск, получил участок обороны и держал его с ожесточением, удивлявшим многих из русских волонтеров: «Вы фанатик, поручик». — «Побывайте в турецком плену, господа». — «Но вас боятся ваши же солдаты!»

Он знал, что его боятся. С ним не было тех, прежних, кому он мог довериться. Ни болгар Стойчо Меченого, ни опытного Отвиновского, ни рассудительного Совримовича, ни преданного Захара. Он мог рассчитывать только на собственную отвагу, собственный опыт и собственную рассудительность, добиваясь от своих войников не преданности, а подчинения. И когда в бою кто-то из волонтеров бросился назад с криком: «Обходят!..» — он не стал никого уговаривать. Ни секунды не колеблясь, он всадил пулю в спину паникера, сразу остановив начавшееся бегство. «Вы шутить не любите, поручик», — сказал командир бригады полковник Карташов после боя. «Рота удержала позиции, господин полковник». Полковник был стар и добродушен, красные от бессонницы глазки его смотрели устало и жалостливо. «С чем домой-то вернетесь, голубчик? Русского ведь убили. Русского». — «Трус не имеет

отечества». — «Сколько вам лет?» — «Двадцать четыре». — «Двадцать четыре, — вздохнул полковник. — Как жить-то будете с этаким вулканом в душе?» — «Думаю, как воевать, а не как жить. Это важнее». — «Нет, голубчик, нет, — вздыхал полковник. — О жизни надо думать, всегда о жизни. Даже в аду кромешном». За этот бой поручик получил Таковский крест. Сербы ставили его в пример, предлагали повышение, но он не бросил своих. Он не искал более карьеры, он искал боя.

Вскоре дорогу к ним почему-то забыли те, кто доставлял еду и патроны. Более недели бригада отбивалась считаными залпами и штыками, питаясь несоленой, кое-как сваренной кониной. Полковник Карташов рассылал посыльных, но они не возвращались. На офицерском совете он предложил отступать, но Гавриил решительно воспротивился, увлек за собой большинство, и командир бригады развел руками: «Вы сами выбрали свой жребий, господа».

Вскоре турки предприняли решительное наступление. Рота Олексина остервенело отбивалась до вечера, а что было потом, Гавриил узнал уже впоследствии. К исходу того страшного дня, когда оставались одни штыки да обреченное упорство, он был тяжело ранен. Рота легла почти

вся, прикрывая тех, кто волок на шинели истекавшего кровью командира.

В госпитале поручик узнал, что им не передали приказа на отход. Посыльный струсил, порвал пакет, адресованный Карташову, и бежал в тыл. Кажется, там, в забытьи, на грани жизни и смерти, Олексин впервые задумался о восторге, с которым пришел на сербскую войну, и о крушении идеалов сейчас. В бреду к нему приходили те, кого уже не было в живых, кого он посылал на смерть, и Гавриилу нечего было сказать ни в свое оправдание, ни в оправдание их гибели.

Война кончилась куда тише и скромнее, чем началась, и хотя турки так и не посмели вступить в Белград, Гавриил чувствовал себя побежденным, и раны его заживали плохо. Рассеянные по Сербии русские волонтеры стягивались в лагеря, залечивали раны, небольшими партиями пробирались на родину. Перед возвращением в Россию полковник Карташов разыскал Олексина в госпитале. «Скверно, — сокрушенно вздыхал он, горестно качая лысой головой. — Ах ты, боже ты мой, как же все скверно. Вот видите, книжицу целую именами погибших исписал. Листаю синодик сей каждый день: сын крестьянский, сын купеческий, сын дворянский — вся Россия

тут. Клятву себе дал: как отечества достигну, так непременно всех родителей погибших навещу. Лично о геройстве сынов их поведаю, панихиды отстою. Чести служили мы, голубчик, чести». — «Смерти, а не чести, — сказал Гавриил. — Война — это торжество смерти». — «Неужели так полагаете? — тихо спросил полковник. — Страшная это мысль, Гавриил Иванович. Страшная!»

Отставной полковник Карташов не достиг отечества, не известил родных погибших подчиненных и не отстоял по ним ни одной панихиды. Накануне отъезда его убили мародеры, польстившись на грошовое волонтерское вознаграждение.

Нелепая гибель Карташова потрясла поручика. Отныне любая война представлялась ему жестокой бессмыслицей, любая насильственная смерть — преступлением. Он возвращался в Россию с твердым намерением никогда более не служить тому делу, которое отныне полагал бессмысленным и бесчеловечным. Но помимо его воли сложилось так, что он вновь надел мундир. А сейчас сидел среди тех, для кого война была не просто профессией, а самим смыслом существования, кто с гордостью вел счет убитым врагам и мечтал о том, чтобы счет этот увеличить. Он не

очень хотел идти сюда, опасаясь шумных разговоров и расспросов. Но здесь, в маленьком зальце кафаны, на его молчаливую сосредоточенность никто не покушался. Нет, его не забыли, к нему были очень предупредительны и внимательны, но все делалось легко и тактично, никто не досаждал излишней опекой, и Олексин скоро почувствовал давно утраченный покой. Через стол от него сидел веселый Митко, хитро подмигивавший ему, когда взоры их встречались; правее улыбался хмурый Кирчо, а слева он чувствовал и плечо и ненавязчивое внимание Стойчо Меченого. Поручик ел привычную скару, пил румынское вино, слушал песни и ощущал себя среди своих.

Было уже поздно, когда в кафану вошел полковник Артамонов в сопровождении поручика Николова. Сдержанно поздоровавшись, сел к столу, вежливо пригубил предложенное вино и негромко сказал:

— Вам придется задержаться у нас, господин Петков. По моим сведениям, турки перекрыли дороги, и мы не можем рисковать вашей жизнью.

— На Балканах осталась моя чета.

— К ней как-нибудь проберутся Меченый и Кирчо. А вас мы просим пожить пока в лагере среди ополченцев. Там много молодежи: они

горячо рвутся в бой, но еще не нюхали пороху. Вам есть чему поучить и от чего предостеречь их, воевода.

— Когда же я вернусь на родину?

— Вместе с нами, господин Петков. После форсирования Дуная.

— Когда же это будет? — спросил Митко.

Полковник медленно повернулся в его сторону. Посмотрел, сказал, помолчав:

— В свое время, юнак.

Воевода тяжело вздохнул, покачал большой, с густой проседью головой:

— Так, это решено. Я посылал к вам человека, полковник. Кирчо сказал, что он дошел до вас. Где он и что с ним?

— Вы говорите о пане Отвиновском? — Полковник чуть улыбнулся. — Он испросил у меня разрешения навестить друзей на Волыни.

— Он вернется? — спросил Олексин.

— Планы Отвиновского мне неизвестны, поручик. От того места, куда он так рвался, не очень-то далеко до Польши. Не удивлюсь, если он окажется там. Зайдите завтра ко мне, Меченый, я укажу место переправы. На этом позвольте откланяться. Дела.

Артамонов встал, поклонился воеводе, кивнул

остальным и вышел. Все молчали.

— Скажите, Николов, Отвиновский действительно поехал на Волынь или… — Меченый вдруг оборвал вопрос, придав этим ему какую-то особую многозначительность.

— Я сам сажал его на поезд, — нехотя сказал поручик. — А где он окажется потом, не знаю.

— Вот потому-то я и спросил, — хмуро буркнул Стойчо, выразительно посмотрев на Олексина.

Над столом повисло молчание.

Глава четвертая

1

Воинский эшелон из платформ, занятых артиллерийскими орудиями, фурами и зарядными ящиками, из теплушек с конским и людским составом и двух классных вагонов для офицеров нещадно трясло и бросало на узкой заграничной колее. Офицеры пробирались из купе в купе, цепляясь за стенки и потирая ушибленные места.

— Казнь египетская, а не перегон, — ругался капитан Юматов, боком влетая в купе. — Нет, господа, я за старые способы передвижения. Тише едешь — целее будешь.

— Вы ретроград, капитан, — сказал Тюрберт. — Начинается век бешеных скоростей, это только цветочки.

— Ну, даст бог, до ягодок я не доживу, — проворчал капитан.

Он был старше других офицеров, картам и выпивкам предпочитал книги, за что к нему относились с изрядной долей иронии. В отличие от него собравшиеся у Тюрберта полковые приятели воспринимали дорожные неудобства как

развлечение.

— Очень приятно спать, господа, — разглагольствовал розовощекий прапорщик. — При толчках отсеиваются всякие волнующие сновидения.

— Если бы нам грозила только скорость, я бы приветствовал век грядущий, — сказал черноусый майор с длинными восточными глазами. — Но я боюсь, что ученые бестии в конце концов низведут наше искусство до ремесла. И для того чтобы, скажем, попасть с первого выстрела в гарцующего на коне вражеского полководца, понадобится посмотреть в какую-нибудь хитрую зрительную трубку. И любой безграмотный остолоп будет стрелять нисколько не хуже выпускника академии. Как, Тюрберт, вы согласны жить в таком веке?

— Я встречу этот век в возрасте пятидесяти двух лет, — сказал Тюрберт, аккуратно подпиливая ногти. — К тому времени я, безусловно, буду счастливым мужем и отцом трех… нет, маловато — пяти детей и, конечно же, генералом. — Он полюбовался ногтями и спрятал пилочку в футляр. — Думается мне, что майор спутал искусство артиллерийского офицера с искусством артиллерийского наводчика. Наводчик целится и стреляет, а офицер указывает, куда целиться

и куда стрелять. Поэтому офицерское искусство бессмертно: оно не зависит ни от каких ученых трубок. Оно основано не на механике, а на долге и чести.

— Эка хватили! — капитан Юматов с усмешкой покачал головой. — Это все буквально понятые философии, материи и иллюзии, господа бомбардиры. Уж ежели додумаются до трубок, о которых говорит майор, так додумаются и до ваших донкихотских представлений о чести.

— Как это вы себе мыслите? — спросил Тюрберт. — С помощью клистира для мозгов или еще как?

— Клистир для мозгов будет наверняка, — улыбнулся майор. — Тут, Тюрберт, вы заглянули в корень.

— Дальность стрельбы, — подняв палец, важно сказал капитан. — Дальность стрельбы — вот в чем вся штука.

— Что дальность стрельбы? — не понял прапорщик. — Вы говорите загадками.

— А то, вьюнош, что эта самая дальность перевернет все наши морали вверх тормашками. Вот сделает господин Крупп пушку длиной с версту и доведет ее дальность до того, что из Берлина можно будет стрелять по Петербургу. Ну и при

чем тут ваша честь, долг, мораль, жалость и прочая ахинея? Когда наводчик не видит, где рвется снаряд, он, господа бомбардиры, свободен от всех грехов разом. Коль не видишь и не слышишь, так и не разумеешь, — вот каков результат. Бабах — и полтысячи душ разнесло по вселенной, так и в реляциях писать станут, то-то радость читающей публике. А каких именно душ — детских или женских — пушке все равно.

— Страшная картина, — усмехнулся Тюрберт.

— Но правдивая, — сказал майор. — В самом деле, что можно противопоставить желанию господ стратегов выигрывать войны любой ценой?

— Честь, — упрямо тряхнул головой подпоручик. — Если люди не растеряют ее, так и Крупп такой пушки не сделает. И никто не сделает, если сохранится понятие чести и благородства. Однако если допустить, что тезис отцов иезуитов «цель оправдывает средства» восторжествует в каждодневной жизни, я ни за что уже не поручусь.

— Ага, — сказал Юматов, — все же допускаете это через «однако». Значит, и ваша душа смущена, Тюрберт, смущена духом практическим, коим, как сквозняком, из всех щелей несет. Чувствуете этот ветер, господа бомбардиры? Это ветер века грядущего: отдайте ему честь и… и сдайте ему

сабли.

— Это почему же, позвольте? — обиделся вдруг прапорщик. — Это я не понимаю. Почему мы должны сдать сабли?

— Потому что капитан Юматов опять всю ночь просидел над Спенсером, Шопенгауэром или еще над каким-либо очередным заумным немцем, — сказал Тюрберт. — И это вместо того, чтобы безмятежно играть в винт.

— Кстати, насчет винтика, — оживился майор. — Может…

Открылась дверь, и в купе заглянула усатая, красная то ли от ветра, то ли от усердия, физиономия унтер-офицера Гусева.

— Виноват, ваши благородия, — сдерживая дыхание, сказал он. — Водички не найдется?

— Ты откуда взялся, Гусев? — удивился Тюрберт.

— Так из вагона своего, ваше благородие. Сперва по крыше, потом, стало быть, по платформе, потом обратно по крыше, а там и к вам. Мне бы водички.

— Пить захотелось? — строго спросил капитан. — А ну дыхни!

— Да не извольте думать, тверезый я, — сказал Гусев с досадой. — Мне бы ведра два.

— Ого! — сказал прапорщик. — А мы всю в самовар вылили.

— Что случилось, Гусев? — спросил Тюрберт.

— Да так… — Гусев замялся. — Сами справимся, водичка была бы.

— Говори, в чем дело.

— Да ящик зарядный горит на платформе, — с большой неохотой сообщил унтер. — Да вы не беспокойтесь, ваше благородие, там уж расчет тушит.

— Ящик? — Подпоручик вскочил. — Пять пудов снарядов, соображаешь? Если рванет, эшелону конец, балда стоеросовая. Веди!

Следом за Гусевым, виновато бормочущим: «Да не извольте же вы беспокоиться», Тюрберт, майор и юный прапорщик кинулись из купе. Капитан Юматов открыл окно и по пояс высунулся из него, пытаясь разглядеть, где горит. Но платформа с зарядными ящиками была прицеплена через теплушку от классного вагона, и увидеть из окна, что там творится, было невозможно. Убедившись в этом, Юматов закрыл окно, сел у столика и хладнокровно закурил.

В тамбуре молчаливый денщик Тюрберта колдовал над самоваром, оберегая его от вагонной качки. Увидев Гусева и ворвавшихся следом офи-

церов, вытянулся и лаконично доложил:

— Закипает.

— Вся вода тут, — сказал Тюрберт. — Дотащишь?

— Дотащу. Только подайте, как на крышу взлезу.

Унтер открыл дверь и ловко полез на крышу. Тесный тамбур сразу наполнился грохотом колес, стуком и скрежетом металла. Ногой сбив горячую трубу, Тюрберт схватил самовар и, аккуратно за ножки подняв его над головой, подал со ступенек. Вагон немилосердно бросало, из-под крышки самовара выплескивалась горячая вода. Тюрберт громко ругался, но терпел: майор держал его за расстегнутый мундир.

— Бери, Гусев!

— Сейчас, ваше… Зацеплюсь только.

— Осторожней, на меня не плесни. Да бери же ты, холера, горячо ведь держать.

— Ну беру, беру.

Передав закипающий самовар Гусеву, Тюрберт тут же стал подниматься на крышу, подтягиваясь на скобах. Прапорщик хотел было последовать за ним, но майор бесцеремонно отбросил его, крикнув:

— Запрещаю! Ступайте в вагон и успокойте

офицеров!

Пока майор взбирался на крышу, прапорщик успел пробежать вдоль всего вагона. Он распахивал двери каждого купе и кричал:

— Спокойно, господа! Сейчас взорвемся!

На узкой, круто выгнутой крыше вагона швыряло, трясло и мотало так, что Тюрберт не мог встать на ноги. Рядом на четвереньках стоял майор, уцепившись за вентиляционную трубу, а Гусев, сидя на корточках, держал отчаянно дымивший самовар на вытянутых руках и выжидал мгновение, когда можно будет выпрямиться и одним прыжком перепрыгнуть на крышу соседней теплушки.

— Положеньице! — кричал майор. — В жизни не попадал в такую передрягу! Чего вы ржете, как жеребец, Тюрберт?

— Не могу! — На подпоручика напал безудержный приступ смеха. — Смертельный номер на крыше вагона!

— Ну, Господи, благослови! — крикнул Гусев и прыгнул на соседний вагон, по-прежнему держа дымящийся самовар в вытянутых руках. — Сигайте, ваше благородие! — радостно кричал он оттуда. — Подсобите с самоваром, мне одному не управиться!

— Чай будем пить на платформе, майор! — Тюрберт вскочил, оттолкнулся и с грохотом упал на соседнюю крышу. — Прыгайте, майор!

— Не получается! — Майор несколько раз честно пытался привстать и изготовиться для прыжка, но вагон бросало, и он тут же испуганно падал на колени, цепляясь за вентиляционную трубу.

— Черт с вами, майор!

Пригнувшись, Тюрберт бежал по крыше. В конце его подбросило внезапным толчком, но он успел присесть и ухватиться за железо.

— В рост-то не бегай! — с укоризной кричал Гусев. — Ты ж длинный, ваше благородие, ты ниже пригинайся, ниже! Держи самовар!

Тюрберт принял самовар. Теперь подпоручик лежал на краю крыши и отчетливо видел платформу, заставленную ящиками и орудиями. Один из ящиков горел, ветер раздувал пламя, и искры летели во все стороны. Вокруг него суетились солдаты, шинелями, шапками, а то и просто руками сбивая огонь. Он исчезал, из-под толстых досок шел густой белый дым, а потом вновь летели искры и вырывались языки пламени: ветер начинал пожар заново.

Гусев уже спустился на платформу. Он стоял на

вагонных буферах, широко расставив ноги. Сзади его в обхват держал артиллерист в раздутой колоколом и прожженной во многих местах рубахе. Унтер тянул вверх руки и надсадно кричал:

— Кидай самовар! Самовар, говорю, кидай! Кидай, поймаю!

Тюрберт изловчился и, раскачав самовар, выпустил. Гусев ловко поймал его за горячие бока, перехватил и уже за ручки потащил к горящему ящику, а солдат перелез на его место, чтобы помочь подпоручику спуститься на платформу.

Вскоре с огнем и искрами было покончено. Пламя залили водой, обгоревшие места укутали шинелями; довольные солдаты сидели вокруг ящика, еще не чувствуя холода на пронизывающем ветру.

— Ну, теперя, ребята, все. Задохся он.

— Вода — первое дело.

— А я думал — не поспеем. Пра слово, думал — взорвет!

— Слава Богу, обошлось. Слава Богу!

Тюрберт дул на ошпаренные ладони, морщился. Возбуждение его еще не улеглось, холода он пока тоже не чувствовал и даже не запахивал мундир. Гусев принес шинель, набросил ему на плечи.

— Укройся, ваше благородие. Застынешь.

— Мерзавцы, — беззлобно сказал подпоручик. — Как все это случилось?

— Должно, искра. С паровоза. Ишь как он разошелся, что твой самовар.

— Усиль караул, Гусев. На станции набери воды в ведра, вели дневальным ящики поливать.

— Слушаюсь, ваше благородие. — Унтер добродушно улыбнулся. — Что, руки ошпарил? Дуй сильней, до свадьбы заживет.

— Нет, Гусев, ошибаешься, как раз до свадьбы-то и не заживет, — весело сказал Тюрберт. — Свадьба у меня через десять дней, вот какая история. Эй, ребята, слазайте кто-нибудь на классный вагон да майора снимите, а то он там до самых Плоешт на карачках просидит.

2

— Как проехать к господам Совримовичам?

— Чого? — переспросила классическая свитка с вислыми запорожскими усами. — Мабуть, вам до пана Андрия Совримовича? Так его же нету. Он же вже вбитый.

— Да в Климовичи ему, в Климовичи, — поспешно вмешалась дородная запорожцева жинка. — То на Климовичи вам, верст семь або

десять.

— Довезешь?

— Ни, не повезу, — сказал запорожец. — То ж в Климовичи, а мне не в Климовичи.

Отвиновский не умел уговаривать. Отказ он всегда воспринимал в его окончательной форме и поэтому тут же повернулся спиной к запорожцу.

— Та куда ж вы, пане милостивый? — расстроилась добрая баба. — То ж мы не в Климовичи, а ось та бричка, так та в Климовичи.

— И она не в Климовичи, — упрямо не согласился запорожец.

— Да чого же не в Климовичи, зараз когда в Климовичи? И кони те из Климовичей, бо у их сроду овса доброго не было.

— То у нас овса сроду не было, а у их…

Отвиновский уже шагал через разъезженную площадь к одинокой бричке, запряженной парой поджарых коней. Вечерело, накрапывал дождь, и вокруг не было ни души. Но бричка стояла возле питейного заведения, и Отвиновский не сомневался, что рано или поздно владелец ее отыщется.

Владельцем оказался угрюмый верзила, заросший по самые брови бурой, сроду не чесанной шерстью. Он потребовал полтину вперед, тут

же торопливо выпил еще и взгромоздился на передок.

— Но, халявы!..

Заморенные кони тащились с убийственной неторопливостью, бричку трясло, и Отвиновский, сунув саквояж под сено, шел по обочине. Однако вскоре началась такая черноземная грязь, что пришлось-таки пристроиться позади пропахшего всеми кабацкими запахами необъятного кожуха возницы.

— Кто в именье живет?

— Чого?

— Кто, говорю, у Совримовичей сейчас?

— Люди.

— Какие люди? — не понял Отвиновский.

— А уси — люди. И чоловики — люди и жонки — люди.

— И много их там?

— Кого?

— Да людей, кого же еще?

— А кто их знае. — Возница гулко икнул. — Хороша горилка у шинкаря. С духом. А у их горилки немае.

— У кого?

— Та у их, у жонок. — Верзила передернул вожжами. — Но, халявы! Пан их на войне загинул,

зачем им теперь горилка?

— Значит, одни женщины остались?

— Чого?

— В именье, говорю, одни женщины теперь?

— Не, двое их. Стара да паненка. А горилки немае. И горилки немае, и радости немае. Чорно.

— Чорно, — вздохнув, повторил Отвиновский.

— Как в печи нетопленной. — Возница сокрушенно покачал головой. — Был пан — так и печь топилась, нет пана — так и хлиб с водой. Коли усих чоловиков побьют, то и уси печи погаснут.

Отвиновский промолчал. Он еще в отрочестве взял в руки оружие и с той поры убивал и делал все, чтобы не убили его самого, но никогда еще война, ставшая судьбой, не обнажалась перед ним столь ясно и беспощадно, как обнажилась она в корявых словах подвыпившего верзилы. «Значит, когда гибнет человек, в его доме гаснет огонь, — думал он. — Как просто все: смерть — и потухший очаг. И нет тепла в доме. И женщины молча сидят у остывшего пепла и жуют хлеб, запивая холодной водой. И может быть, совсем не от бедности, а оттого, что не для кого более готовить обед. Сколько же мы потушили очагов и сколько еще потушим…»

Он распрощался с возницей у старых, с облу-

пившейся штукатуркой кирпичных столбов, ворота с которых были давно сняты, и по заросшей дороге пошел через запущенный сад. Дорога вывела его к одноэтажному, несуразно длинному дому с двумя крылами; было уже темно, но во всем доме только в двух окнах горел свет. Он остановился у крыльца, долго вытирал ноги, ожидая, что кто-нибудь пробежит по двору, выйдет, окликнет его, что хотя бы залает собака, но вокруг было тихо, сыро и печально. Он вздохнул, старательно отряхнул макинтош от дождевых брызг и постучал в дверь.

Открыла чернявая толстая женщина в переднике, испачканном мукой: то ли кухарка, то ли прислуга. Он представился, спросил госпожу Совримович, но баба смотрела настороженно и молчала.

— Кто там, Тарасовна? — спросил женский голос, показавшийся ему усталым и безразличным.

— Да вас спрашивают.

— Так впусти.

— Да не бачила я их прежде.

— Проведи в комнату, пусть обождут.

Кухарка нехотя посторонилась. Отвиновский мимо нее протиснулся в переднюю, снял макин-

тош и шляпу, повесил их, куда указали, и прошел в маленькую комнату, заставленную старой и случайной мебелью. Дверь за ним закрылась, и он остался один, не зная, куда сесть и следует ли вообще садиться. Впрочем, скоро открылась другая дверь, и в комнату вошла пожилая рыхлая дама с седыми волосами, густыми, еще черными бровями и заметными усиками. Отвиновский поклонился и назвал себя.

— Я друг вашего сына.

— Мой сын погиб, сударь, — строго сказала барыня. — Однако же садитесь.

— Он погиб у меня на руках, — сказал Отвиновский, садясь на подозрительно зашатавшийся стул. — Я дал ему слово повидать вас и рассказать…

Он замолчал, заметив что госпожа Совримович со странным ужасом смотрит на него. Увидел, как жалко дрожат болезненные мешки под круглыми темными глазами, как судорожно дергаются губы, и торопливо повторил:

— Да, да, он умер у меня на руках…

— Оля! — вдруг громко крикнула барыня. — Оля, поди же сюда, поди! У нас друг Андрюши, он видел, как погиб, как погиб… Собственными глазами!

Потом, вспоминая это мгновение, Отвиновский всегда связывал его с шорохом, а не стуком, словно Оля летела к нему, шурша крыльями, а не стучала каблучками по истертому полу. Она и вправду влетела: развевающийся подол еще оставался в другой комнате, а сама Оля уже стояла перед ним.

Совримович называл ее красавицей и успел признаться, что был влюблен. Как все влюбленные, он преувеличивал красоту той, о которой мечтал: красивыми у Оли были одни глаза — черные, глубокие, в пол-лица. Перед Отвиновским стояла очень живая, вероятно, смешливая и стремительная барышня с детской грудью, длинной нежной шеей и нервными худыми руками, пальцы она сплела и так стиснула, что суставы стали совсем белыми.

— Вы друг Андрея?

Взгляды их столкнулись, и она замолчала. Не в замешательстве, ибо для него не было никаких резонов, а по той таинственной причине, по которой зачастую мужчина и женщина, лишь однажды заглянув друг другу в глаза и еще не будучи знакомы, без всяких размышлений и доводов рассудка узнают того, кого неосознанно ждали всю жизнь. Узнают судьбу свою и общую,

уже неотделимую от своей, уже единую для двух сердец, и оба эти сердца в такое мгновение начинают биться согласно и восторженно. И поэтому молодые люди продолжали молча смотреть друг на друга. Оля первой опустила глаза и, покраснев, спросила:

— Значит, вы с ним вместе были там? В Сербии?

— Да, мадемуазель. — Отвиновский в задумчивости провел ладонью по лбу, не понимая, что с ним происходит и отчего так радостно забилось сердце. — Я познакомился с ним в штабе Черняева, когда Андрей уже носил черную косматую бороду, потому что ему взрывом опалило лицо…

Он замолчал, подумав, что говорить нужно не о том, что претерпел Совримович на чужбине, а о чем-то хорошем, добром, уютном. Но им — и кузине, в которую безнадежно, как вдруг подумалось Отвиновскому, был влюблен Совримович, и его матери, — им сейчас важно и дорого было все о близком человеке, погибшем где-то далеко-далеко от дома, в чужой земле и на чужой войне. И он весь долгий вечер рассказывал им все, что знал, что пережил сам, шаг за шагом приближаясь к тому моменту, когда он сказал: «Прощайте, друг», — и нажал на спусковой крю-

чок револьвера. Сейчас Отвиновский все помнил, все видел и все слышал и, рассказывая, все время лихорадочно думал, как же ему обойти эти последние страшные секунды. Он столько лет воевал, столько лет был лишен семьи, общества, общения с милыми, воспитанными женщинами, что давно разучился обманывать даже во спасение, и теперь с ужасом ожидал, что рано или поздно признается в том, что сам собственными руками застрелил Андрея Совримовича.

Но разговор уже переставал быть плавным. Он уже прыгал и разветвлялся, отходя от случаев с Андреем, переключаясь на иные случаи, обрастая подробностями. Первое время Отвиновский не решался говорить о другом, коротко отвечал на вопросы и снова возвращался к Совримовичу. Но потом понял, что слушательницам нужны именно подробности, а не сам рассказ; им чисто по-женски хотелось знать, с кем дружил их Андрей, что ел и пил, где спал и тепло ли одевался. И вздохнул с облегчением: он и не предполагал, что женщин, оказывается, всегда интересуют подробности жизни, а не подробности смерти.

Теперь рассказов хватало на все вечера, потому что он начал рассказывать о жизни. Смерть конечна и однозначна, а жизнь не имеет ни кон-

цов, ни начал, и Отвиновский вдруг сам ощутил эту безграничность и обрадовался ей. Он словно переживал заново то, что когда-то происходило с ним, но происходило торопливо и напряженно, в постоянной борьбе, а потому походило скорее на какой-то набросок жизни, чем на нее саму. И только сейчас, в воспоминаниях, он жил неторопливо и осмысленно, внимательно вглядываясь в людей и события. Ему казалось, что только теперь он начинает понимать и этих людей, и все, что происходило тогда.

Старая барыня была очень больна и вставала только к вечерним рассказам. А днем Отвиновский часами гулял вместе с Олей по старому, запущенному саду. Звенели птицы, звенели соки в деревьях, звенела молодая листва — звенела сама жизнь в эти прекрасные весенние дни.

— Мы всегда жили очень скромно. — Теперь Оля все чаще рассказывала о себе. — Когда Андрей учился, все деньги уходили на ученье, но это было как-то привычно. А когда он погиб, нам пришлось продавать последнее и экономить на дровах. Сейчас мы живем в самой серединочке дома, а крылья всю зиму не топились, пустуют и разрушаются. Я хотела идти в гувернантки или в компаньонки, но здесь мало кому нужны

такие нахлебницы. Вы думали когда-нибудь о богатстве?

— Нет, — сказал он. — Я не знаю, о чем я думал. О свободе? Нет, я не думал о свободе, я просто хотел ее, как голодный хочет куска хлеба. Хотел, даже не мечтая.

— А о чем вы мечтали?

— Мечтал? — Он задумался. — Я не умею мечтать. Я умею стрелять, скакать на лошади, рубить с обеих рук. Вы сказали о богатстве, а я не знаю, что это такое и зачем людям нужно богатство. Людям нужно есть и пить, одеваться и иметь теплый угол — вот, пожалуй, и все, что им нужно. А богатство… Я бы собрал все богатства, какие только есть, и купил бы на них хлеб и одежду для тех, кто голоден и раздет.

— Рядом с нами живут очень богатые люди, однажды я была у них… — она запнулась, — по делам. Меня приняла сама хозяйка, а я смотрела на ее уши. В каждой серьге сверкало по бриллианту, на который можно было бы накормить и одеть половину уезда.

— Вы пытались получить службу?

— Золушек приглашают на балы только в сказках, — грустно улыбнулась Оля. — Мне было сказано, что если бы я была француженкой или

англичанкой, то они бы, пожалуй, подумали, как мне помочь.

— А еще где-нибудь вы искали место?

— Искала. — Оля невесело усмехнулась.

— И там тоже отказали?

— Напротив, там обещали райскую жизнь.

— И что же?

— Я убежала. Бегом и немедленно.

— Почему? — Он спохватился: — Извините, я не имею права расспрашивать вас.

— Отчего же? Мне предложили большое жалованье и даже намекнули на богатые подарки, если я… хорошо пойму свои обязанности. И за все это я должна была читать романы хозяину дома.

— Всего-навсего?

— Всего-навсего. По вечерам и перед сном. А хозяин — шестидесятилетний старик с такими глазами, что я бежала оттуда три версты без передыху. А теперь жду, не придется ли бежать обратно. Простите, мне не следовало об этом говорить, но ведь вы сказали сущую правду: человеку не нужны богатства, ему нужно лишь есть, пить, одеваться и иметь свой угол.

Он ничего не ответил. Долго шел молча, потом спросил неожиданно:

— Вы собирались замуж за Андрея?

— Тетя мечтала об этом, — нехотя сказала Оля.

— И Андрей, — кивнул Отвиновский. — Я знаю, он успел сказать, что был влюблен в вас.

Оля промолчала. Шла чуть впереди него, сосредоточенно глядя под ноги. Потом вдруг остановилась.

— Скажите, господин Отвиновский, это была мучительная смерть? Тетя боится расспрашивать вас о его последних минутах, а сама говорит о них и плачет.

— Нет, — помедлив, сказал Отвиновский. — Конечно, смерть есть смерть, но не надо думать о ней, мадемуазель. Мне у вас так хорошо, как еще никогда не было, может быть, как раз потому, что я стал думать о жизни.

— И что вы о ней стали думать?

Он хотел заглянуть в ее удивительные глаза, но она упорно смотрела мимо.

— Если бы у меня был дом, я бы увез вас с собой, — угрюмо сказал он. — Да, увез бы, потому что я эгоист. Мне хорошо с вами и плохо без вас. Пусто, как в нежилом доме. Бога ради, простите…

— Почему? — Теперь она пристально смотрела на него огромными темными глазами. — Почему вы думаете, что вам плохо без меня?

— Потому что я много лет жил без вас и мне было плохо, — тихо сказал он. — Это была жизнь, это была… Я не знаю, что это было, вероятно, сплошная война, а теперь — мир. В моей душе теперь мир, Оля, и я хочу унести этот мир с собой. Но я не знаю, как это сделать.

Она продолжала молча смотреть на него, точно пытаясь проникнуть внутрь и заглянуть в самое сердце. Он не понял ее взгляда и лишь виновато развел руками.

— Я солдат, мадемуазель Оля, я не умею разговаривать с барышнями, и вы можете прогнать меня. Но я сказал вам сущую правду. Я больше никогда не вернусь к этому разговору, даю вам слово.

— Пора обедать. — Оля повернулась и пошла к дому. — Только, прошу вас, не давайте больше таких слов.

— Оля! — Он нагнал ее, рискнул взять за руку. — Оля, обождите.

— Завтра. — Она впервые рассмеялась застенчиво и счастливо. — Завтра днем здесь же, хорошо?

Мягко высвободила руку и, подобрав платье, легко и молодо побежала к крыльцу. Отвиновский глядел ей вслед, радуясь и удивляясь этой

прорвавшейся в ней грациозности.

После обеда Отвиновский обычно валялся на диване, читал или просматривал старые журналы, но сегодня не мог ни лежать, ни читать. Он то бродил по комнате, натыкаясь на мебель, то выходил в сад, часто доставая часы и очень досадуя, что так медленно тянется время.

После сна по заведенному исстари порядку пили чай с вареньем, а разговоры начинались потом, когда недоверчивая Тарасовна — старая и одинокая нянька Андрея Совримовича, жившая в доме на положении члена семьи, — убирала со стола. Сегодня Отвиновский ожидал этого с особым нетерпением, говорил легко и интересно, смотрел в Олины глаза, и она не опускала их, а лишь прикрывала ресницами, чуть заметно улыбаясь ему. В этот вечер он говорил о поручике Олексине, о болгарах, Стойчо Меченом и его сестре Любчо. Ему хотелось, чтобы Оле понравились его друзья, и рассказ его звучал восторженно и увлеченно, и они не сразу расслышали стук во входную дверь.

— Пана гостя спрашивают! — крикнула из передней Тарасовна. — В экипаже приехали!

Никто ничего не успел сказать, как в комнату вошел офицер в сопровождении двух жандармов.

Жандармы остались у порога, а офицер отдал честь и шагнул к столу.

— Прошу прощения за незваный визит, сударыня, я лишь исполняю долг. Господин Збигнев Отвиновский?

Отвиновский уже все понял. В последний раз долгим взглядом посмотрел в глубокие, испуганно раскрывшиеся черные глаза, медленно встал и уж более не заглядывал в них. Не видел растерянности, ужаса, отчаяния, слез, которые вдруг переполнили их до краев.

— Что вам угодно?

— Мне приказано арестовать вас и под охраной доставить в Киев. Потрудитесь сдать оружие и все находящиеся при вас бумаги.

— В чем дело, господин офицер? — встревоженно спросила госпожа Совримович. — Этот господин друг моего сына и мой гость, и я хотела бы знать…

— Очень сожалею, сударыня, но этот господин — государственный преступник.

— В чем же меня обвиняют? — Отвиновский спрашивал сейчас не для себя, для Оли. — Я прибыл в Россию вполне легально, мне выдано разрешение из штаба действующей армии.

— Повторяю, что мне приказано лишь аресто-

вать вас. Прошу оружие и бумаги.

— Оружия у меня нет, а бумаги находятся в саквояже. Позвольте достать их оттуда.

У него было оружие: заряженный револьвер лежал в саквояже. Трое в комнате, один, по всей вероятности, с лошадьми возле экипажа: четыре выстрела — и он свободен. Он выходил из худших переделок и с четырьмя неопытными жандармами справился бы без особого труда.

— Этот ваш саквояж? — спросил офицер.

— Да.

— Достаньте бумаги сами. Вещи можете взять с собой.

Этот жандармский офицер был столь молод и наивен, что собственными руками протягивал ему его спасение и свою смерть. Отвиновский открыл саквояж, сунул туда обе руки, нащупал револьвер. Оставалось лишь взвести курок, а первый выстрел — прямо в обтянутую голубым мундиром грудь — можно было сделать не доставая револьвера. Прогремит выстрел, рухнет офицер, жандармы растеряются, и у него будет достаточно времени, чтобы уложить их обоих. А там четыре шага до входной двери, еще выстрел, коляска, добрый конь — и темень. Пустынные дороги, леса, пустоши, болота и где-то совсем

недалеко — Польша, а значит, спасение. Оставалось только взвести курок…

Но он не мог его взвести. Бежать на глазах у женщин, ничего так и не объяснив им и оставив за собой четыре трупа, — нет, такой ценой не стоило покупать свободу. Такое бегство подтверждало, что он преступник, лишало его чести, а ею Отвиновский поступиться не мог. И поэтому раньше всех бумаг он выложил на стол заряженный револьвер.

3

Серые, бесшумные, как мыши, фигуры богомолок скапливались во внутреннем дворе Соборного холма. Центральный храм Успения Божьей Матери был еще закрыт, и женщины скромно жались к стенам, ожидая начала службы, солнца, тепла и света.

Сегодня был как бы женский день или, во всяком случае, — женское утро: высокочтимая чудотворная икона Божьей Матери Смоленской особо пеклась о нескладных женских судьбах, спасая от бесплодия, обещая легкие роды, излечивая женские болезни и поставляя женихов засидевшимся в девках невестам. И потоком шли неудачливые, скорбные, некрасивые, отчаявши-

еся, но по-женски упрямо верящие в чудо.

— Боженька душу вкладывает, а Матерь Божья — жизнь, — с привычной приторно-ласковой напевностью говорила аккуратная маленькая старушка из породы вечных странниц, кочующих по святым местам. — А жизнь днями отмерена, како сосуд каплями: канул денек — упала капелька, еще денек — еще капелька: ан и сосуд пуст, помирать пора. И все-то капельки на небесах сосчитаны, а людям грешным знать счет их не дадено. Только замечено, милые вы мои, что там, где у бабы две слезинки, у мужика — одна: стало быть, и дни наши не равны. У мужиков день капельке равен, а у нашей сестрицы — двум капелькам. Оттого и век бабий короче мужеского.

Варя — тоже в темном и тоже в ожидании — стояла поодаль, не прислушиваясь, о чем толкует странница. Но последние слова упали в смятенную душу, как зерна на пахоту, и, еще ничего не осознав, не пытаясь даже понять, Варя качнулась и пошла к воротам, все убыстряя и убыстряя шаги.

«Две капельки, — разорванно и бессвязно думала она. — Каждый день — две капельки, а они идут и идут, идут и идут, а я теряю капельки свои, и никто мне не поможет, никто, никто…»

Думая так, она пробиралась сквозь спешивших к началу богослужения, и прихожанки сторонились, потому что Варя шагала энергично и напористо, никого не замечая и не желая замечать. Тот покой, та гармония, которые она так долго искала в сумеречных ликах икон и торжественной тишине церквей, с предельной ясностью представились ей недостижимыми. Нет, не вне ее существа была эта гармония, а внутри, в ней самой, в равновесии ее личного «я» с той объективной реальностью, которая называется жизнью. И равновесие это могло быть достигнуто только действием, только поступками, а не покорностью, не постом и молитвою. Безграмотная старуха сказала то, что Варя чувствовала каждое утро и каждый вечер: жизнь уходит по капелькам, тратится на бесплодные борения, на попытки примирения совести и желания, долга и чести. И сколько ни молись, сколько ни размышляй, сколько ни терзай себя — каждые две слезы равны прожитому дню, и если не сделать что-то немедленно, срочно, тотчас же, то сосуд оскудеет, и не для чего тогда будет ни спорить, ни ждать, ни молиться, ни жить. Капельки падают — вот и вся истина, и пока есть хоть какой-то запас, пока есть чему капать, надо устраивать самой свою судьбу.

Сказать, что Варя только сейчас трезво оценила свой возраст, было бы неверно. Она уже давно ощущала его, но ощущение это, рождая тревогу, все же оставляло упрямую надежду, что судьба ее образуется сама собой, что все уладится, что появится некто, ради кого она родилась на свет, и тогда жизнь вновь обретет и смысл, и цель, и надежду. Но в их опустевшем доме давно уже никто не появлялся, запутавшаяся в хозяйственных неурядицах Софья Гавриловна с гибелью Владимира, отъездом Маши и Таи, а в особенности с внезапным и непонятным уходом Ивана сдала духом и телом, оставив столь занимавшую ее когда-то идею Вариного сватовства. Все в доме отныне утихло и опустело, Олексины никого не принимали и никуда не выезжали, и тот феерический успех, которого добилась Варя на благотворительном базаре, так и остался случайным, постепенно отходя в воспоминания. Беспардонное и оскорбительное предложение разбогатевшего мужлана, повергнувшее Варю сперва во гнев, а затем в смятение, тоже стало прошлым, а дни шли и шли, пока не превратились в капельки в устах певучей богомолки, и капельки эти Варя ощутила физически до отчаяния и тоскливой, безнадежной боли. Капельки

падали, а ее жизнь, ее молодость, силы, здоровье, вся ее нерастраченная страсть никому более были не нужны: ни семье, ни младшим, ни даже бесцеремонному миллионщику.

«Боже мой, Боже мой, но за что же, за что? — сбивчиво продолжала думать она, торопливо поднимаясь по Дворянской. — Я же не уродка, я умна, недурно сложена, у меня белая кожа, красивые волосы, легкая походка. Почему же судьба обходит меня, почему? Я отмолила ту, старую вину, тот невольный грех свой, отмолила, отплакала, покаялась — так за что же лишена того, чем хвастается любая дворовая девка? Судьба? Нет, я сама загубила себя. Сама, сама!..»

Задыхаясь, она уже почти бежала в гору, но не смирение перед судьбой, не горечь оттого, что в мыслях она признавала себя виноватой, а гнев, слепой, безадресный отцовский гнев мутной волной поднимался в ней с каждым шагом. И если бы у нее нашлись силы остановиться, успокоиться, отдышаться, если бы ее встретил кто-либо из знакомых, заговорил бы, отвлек, тогда бы Варя сумела справиться с собой, сумела понять, что, признавая себя виновной в собственной несложившейся судьбе, она в то же самое время под этими смиренными мыслями уже искала иные

причины, иных виновных. Искала и нашла, и знала, что нашла, но и зная, не признавалась самой себе, а лишь распаляла гнев, подходивший на этих тайных мыслях, как на дрожжах.

Она буквально ворвалась в гостиную, где тетушка еще допивала утренний кофе и исполнительный Гурий Терентьевич раскладывал свои счета и бумаги, начиная что-то монотонно и длинно объяснять Софье Гавриловне. Увидев Варю, он запнулся на полуслове и поклонился.

— Ступай отсюда, — с трудом сдерживаясь, но все же недопустимо резко сказала Варя. — Вы слышали?

Сизов испуганно посмотрел на невозмутимую Софью Гавриловну, еще раз поклонился и, чуть помедлив, бесшумно вышел, аккуратно прикрыв за собой тяжелые двери. Эта покорность как-то пригасила Варину вспышку, первая волна отхлынула; тетушка по-прежнему спокойно пила кофе, и только чашечка в ее располневшей руке задрожала чуть приметнее. Но Варя не смотрела на Софью Гавриловну, а, нервно потирая пальцы, металась по гостиной. Чуть звякнув, тетушка опустила чашечку на блюдце, поднесла салфетку к губам.

— Он проворовался?

— Кто?

— Гурий Терентьевич. Обманывает?

— Не знаю. — Варя неопределенно пожала плечами. — О чем вы, не понимаю. Это же вы обманываете. Да, вы! Со дня приезда своего в Высокое вы уже начали обманывать меня, меня, которая все силы, молодость, счастье свое положила во имя семьи. Так где же она, судьба моя, тетя? Вы же обещали мне ее, обещали, так дайте, не обманывайте более, не… — Варя неожиданно замолчала, потому что Софья Гавриловна слушала спокойно, не шевелясь и не останавливая ее. — Кажется, я горячусь. Господи, какое мне дело до пропавшего Ивана, до ваших расчетов, до успехов Наденьки или шалостей Георгия, когда я так безмерно устала. Я устала ждать, тетя, надеюсь, вы не осудите меня за это?

— Да. — Софья Гавриловна важно кивнула. — Не продолжай. В перечнях нет истерики, и я окончательно запутаюсь.

— Ваша манера разговаривать, милая тетушка, порой так похожа на издевательство, что я… — Варя не закончила фразы и отошла к окну. Потом сказала: — Мне следует принести извинения, я не в меру резка.

— Я не знаю, что такое проценты, — вздохнув,

объявила тетушка. — Это то, чего на самом деле нет. И вот мы живем на то, чего на самом деле нет, и от этого все наши несчастья.

— Если бы только от этого. — Варя невесело усмехнулась. — Если бы только от этого, я бы нашла возможность…

И опять оборвала себя, словно очень хотела и очень боялась проговориться. Софья Гавриловна внимательно посмотрела на нее поверх очков — они до сей поры так огорчали ее! — и медленно покачала седой головой.

— Когда-то твой батюшка сказал, что смена века означает смену знамен. Тогда я была полна надежд, и мне некогда было понимать его. Но я слегка зажилась на этом свете и кое-что научилась вспоминать. И я вспоминаю то, что ушло навсегда.

— Боюсь, что я тоже вскоре начну вспоминать то, что ушло.

— К примеру, слово «боюсь», — все так же размеренно продолжала тетушка. — Оно появилось совсем недавно, ты не находишь? Во всяком случае, мы пользовались им очень редко и в ином смысле. Мы боялись чего-то определенного, а теперь боимся неопределенного. Значит, надо определиться. Определить себя, так будет яснее.

Разве я не права?

Варя молча смотрела на старую даму. За тяжелой дверью осторожно покашливал Сизов.

— Да, да, тебе следует определить себя, — повторила Софья Гавриловна. — Я полагаю, что в нерешенности корни. Я многое хотела сделать и не сделала ничего, и потому у меня осталась одна привилегия. Привилегия старости: давать советы.

— И что же вы советуете?

— Возобновить отношения с Левашевой. Она только что воротилась в Смоленск: прекрасный повод для визита.

— И это все? — грустно улыбнулась Варя.

— Нет. Надо позвать Гурия Терентьевича. Пусть он занимается своим делом, а ты будешь заниматься своим.

— Но каким же своим, каким, тетушка, милая? — почти выкрикнула Варя.

— Наносить визиты Левашевой, — строго сказала Софья Гавриловна. — С той же верой и надеждой, с какой ходила по церквам. Бог жениха не даст, сударыня, а Левашева — даст. Если очень захочет. Поди поплачь да по дороге господина Сизова позови. Ну, что же ты? Поцелуй меня и ступай.

Варя без размышления восприняла прямой совет тетушки, как-то не оценив косвенного, хотя в том, иносказательном, вскользь, как воспоминание, подброшенном совете и заключалось главное. Нет, Софья Гавриловна отнюдь не приветствовала грядущую смену знамен, и лишь одна Ксения Николаевна знала, сколько бессонных ночей и раздумий стояло за этой подсказкой. Но дела Олексиных лихо неслись под гору, деньги таяли как мартовские снега, и ответственность за семью в конечном итоге победила дворянскую гордость старой дамы. Ничего не узнавая специально, тетушка знала все и, утвердившись в своем знании, утвердилась и в мысли, что во имя спасения целого следует жертвовать частностью. И, направляя Варю к Левашевой, Софья Гавриловна втайне надеялась, что знающая истинную стоимость современных ценностей Александра Андреевна не преминет подсказать Варваре, что нынешние женихи не столько звенят шпорами, сколько золотом.

Тщательно готовясь к визиту, Варя сначала с удивлением, а затем с радостью обнаружила, что волнуется. Что сердце ее, в последнее тягостное время склонное к нытью, сейчас стучит с прежним нетерпеливым ожиданием, что щеки

еще способны пылать, что нетерпение делает ее легкой, стремительной и грациозной. Она вновь поверила в свою молодость и неотразимость, в собственное счастье и удачу, тем паче что принята была без промедления и сама хозяйка с приветливой улыбкой поспешила навстречу.

— Вы изумительно хороши сегодня, прелесть моя!

Но в тот самый миг, как только Варя переступила порог гостиной, настроение победной легкости, вера в себя и в чудо тотчас же покинули ее. У окна вполуоборот к ней стояла молодая дама в визитном платье со шлейфом, что само по себе было совершенно невероятным для закоснелых мод провинциального Смоленска. И этот шлейф, и гордая осанка дамы, которую Варя сразу же узнала, и понимание несвоевременности своего появления в этом доме — все разом вернуло Варю на землю с тех облаков, на которые вознеслась она, еще раз рискнув поверить в саму себя.

— Кажется, вы знакомы с Варенькой Олексиной, дорогая Елизавета Антоновна?

— Да, мы встречались. — Лизонька слегка склонила голову, мельком глянув на Варю и с женской цепкостью оценив ее скромное и, увы, безнадежно отставшее от моды платье. — Очень рада.

Варя деревянным истуканчиком присела на стул, стоявший поодаль, в надежде, что Левашева обратит на это внимание и пригласит пересесть поближе. Но Лизонька трещала как сорока, продолжая прерванный разговор, и хозяйке было уже не до новой гостьи.

— Нет, нет, не говорите, подушечки под турнюр — вчерашний день, дорогая. В моде легкий каркас, этакая легкая корзиночка из проволочек, но высший шик — тугой крахмал! Да, да, туго накрахмаленная жесткая ткань создает шикарный силуэт, шикарный. А нижние юбки, господи, вы не поверите, стали важнее верхних! Их принято подбирать — разумеется, я говорю о верхних юбках, — подбирать особо изящными складками с напуском, и это очень, очень украшает фигуру. Женщина выглядит как бутон, настоящий шик, изумительно! Я уж не говорю о кружевной накидке — она называется «иллюзион», не правда ли, чрезвычайно мило? Нет, нет, шик — вот что определяет сейчас дам нашего круга, шик!..

Варя сидела не шевелясь, скованная стремительной болтовней о модах, сплетнях, слухах, драгоценностях, адюльтерах, туалетах, прическах, рысаках, особах, и словечко «шик», которым Лизонька определяла все необыкновенно мод-

ное, казалось Варе сказанным специально для нее, навсегда лишенной этого самого шика. С трудом высидев приличное для визита время, Варя пролепетала стертые фразы о здоровье и погоде и поспешила уйти, неуклюже, с каким-то постыдным заискиванием поклонившись в дверях звонко победоносной Елизавете Антоновне. Хозяйка не удерживала, однако проводила, еще раз восторженно отозвавшись о том, как хороша сегодня Варя, но этот прощальный комплимент прозвучал нестерпимо фальшиво.

Дома Варя ничего не стала рассказывать и сразу же прошла к себе. Заперла дверь и, не переодевшись, долго ходила по тесной, заставленной старой мебелью комнате вдоль кушетки, на которой спала, когда мама приезжала из Высокого. Она хотела о чем-то думать, искала эти думы, пыталась собрать мысли в единое целое, в какое-то подобие цепочки, придерживаясь которой, можно было бы куда-то выйти из этой комнатки, из глухого Смоленска, из опостылевшего одиночества, из самой себя. Но никакой цепочки не выстраивалось, логика не помогала, и Варя, так ни о чем и не подумав, достала шкатулку, где хранились ее личные вещицы и пансионные девичьи дневники, открыла ее и медленно, неуве-

ренно, пересиливая себя, взяла надорванное до половины последнее и единственное письмо Романа Трифоновича Хомякова.

4

Главнокомандующий великий князь Николай Николаевич-старший вставал в пять утра: как многие из Романовых, он мнил себя прямым последователем Петра Великого. В шесть — после туалета и завтрака — начальник штаба Артур Адамович Непокойчицкий уже докладывал ему о перемещениях войск, турецких контрмерах, действиях речных флотилий и — особо — о состоянии Дуная.

— За истекшие сутки уровень воды понизился еще на три фута, Ваше Высочество. Старожилы из местных уверяют, что через неделю, много — десять дней, Дунай войдет в берега.

Николай Николаевич аккуратно заносил новые данные на огромную, лично им исполненную и любовно раскрашенную цветными карандашами схему. И по этой схеме получалось, что турки все еще не потеряли возможности помешать будущим русским переправам сверху: в нижнем течении реки их флот был уже частично уничтожен, частично отнесен к морю.

— Последняя дыра. — Карандаш скользнул по схеме. — Заткни ее, и, помолясь, будем готовиться перепрыгнуть.

— Я уже отдал распоряжение капитану первого ранга Новикову об установке минных заграждений, Ваше Высочество.

— Отряди ему в помощь Струкова, — подумав, сказал главнокомандующий.

— Слушаюсь.

В соответствии с этим решением 7 июня в одиннадцать часов вечера от деревни Малу-ди-Жос отошла флотилия из десяти паровых катеров и шести весельных шлюпок, нагруженных минами. Подойдя к местечку Парапан, моряки приступили к минированию Дуная, заняв предварительно остров Мечку отрядом спешенных казаков и пехотинцев. Башибузуки, охранявшие турецкий берег напротив Парапана, открыли было огонь по минерам, но дружные залпы казаков и пехотинцев быстро сбили их с береговых позиций, заставив отступить вглубь.

Через несколько часов, уже на рассвете, турки выслали паровой фрегат, вооруженный пятью орудиями. За ним в кильватере шел бронированный монитор с двухбашенным пушечным вооружением, намереваясь огнем с близкого

расстояния потопить и разогнать суда заградительного минного отряда. Одновременно с этими мерами противник отправил из Рущука берегом конную батарею: турки всерьез были обеспокоены разворотом минных работ на Дунае.

Паровая шлюпка «Шутка» под командованием лейтенанта Скрыдлова, назначенная в охранение минному отряду, стояла за мысом заросшего лозой и камышом острова Мечки. Лейтенант Скрыдлов и его механик прапорщик Болеславский, сидя на надстройке, безмятежно болтали с увязавшимся за ними в качестве охотника Василием Васильевичем Верещагиным, к тому времени не только известным художником, но и георгиевским кавалером, получившим орден за личную храбрость в боях под Самаркандом. Василий Васильевич угощал офицеров испанским хересом и рассказывал о Париже, откуда только что прибыл.

— Бог мой, живут же люди! — восторгался наивный прапорщик, не бывавший нигде далее Бухареста.

— Вижу дым, ваше благородие! — крикнул матрос. — Сверху пароход!

— По местам! — Скрыдлов вскочил. — Василий Васильевич, прошу немедленно покинуть

«Шутку».

— Давай команду, — улыбнулся Верещагин. — С шуткой и помирать не страшно.

— Василий Васильевич, я требую…

— Вижу фрегат! — прокричал Болеславский. — Здоровенный фрегатище, господа, с пушками!

— Отваливай! — скомандовал лейтенант. — Полный вперед, на сближение! Минеры, не зевать! Ну, Василий Васильевич, у меня ведь и спрятаться негде.

— Хлебни. — Верещагин протянул бутылку. — Хороший херес, правда?

Шлюпку уже трясло и било на волнах: на полных оборотах она шла навстречу темной громаде фрегата, все увеличивая скорость. Оттуда грохнул залп, снаряды разорвались позади шлюпки, а пароход вдруг стал резко сбавлять ход, отваливая к турецкому берегу.

— А, не нравится тебе, мусульманская душа! — радостно кричал Скрыдлов. — Давай обороты, Болеславский, давай!

— Вали к нему вплотную, чтоб из пушек не накрыл, — посоветовал Верещагин.

Он аккуратно допил херес, бросил бутылку за борт и поежился: в лицо бил ветер, с волн срывало водяную пыль; на «Шутке» все были уже

мокрыми.

Шлюпка вырвалась вперед так стремительно, что турки не успели со вторым залпом: Скрыдлов уже проскочил в мертвую зону, куда не могли лечь турецкие снаряды. Но из-за отвалившего борта фрегата вынырнул монитор: пушка носовой башни медленно двигалась, нащупывая цель. Лейтенант круто заложил руль.

— Держитесь, Верещагин!

Снаряд с монитора разорвался у правого борта, окатив шлюпку водой. И почти одновременно с фрегата раздался оружейный залп, пули с треском кромсали обшивку. Скрыдлов судорожно вздрогнул.

— Ранен? — спросил Верещагин.

— Готовьсь! — крикнул лейтенант минеру, стоявшему на носу. — Спокойно, Виноградов, не спеши только!

— Есть не спешить!

С минера залпом сбило фуражку, но сам он остался невредим. По команде Скрыдлова он подключил контакты к шесту, на конце которого была закреплена мина, и изготовился.

Лейтенант вел шлюпку прямо на фрегат, застопоривший машины и жавшийся к берегу. Расстояние уменьшалось с каждым оборотом

винта, и Верещагин видел ужас на лицах турецких моряков. Они уже не стреляли, а повалили к противоположному борту, и даже капитан бросился с мостика вниз, на палубу.

Второй ружейный залп раздался с монитора. Брызнули разбитые в щепы ручки штурвала, еще раз болезненно скривился Скрыдлов, а Верещагин ощутил сильный удар в зад.

— Ну, нашла место, — проворчал он. — Ни сесть, ни лечь.

Из плеча лейтенанта торчала, как стрела, большая щепа, кровь заливала китель, но он ни на что не обращал внимания. Его целью, его задачей, всем смыслом его жизни был сейчас турецкий фрегат. Он подвел «Шутку» почти вплотную, круто развернул, чтобы разойтись бортами.

— Рви!..

Минер ткнул миной в борт парохода рядом с колесом, замкнул контакты, нырнул за бронированную блинду, но взрыва так и не последовало.

— Нету! — крикнул он. — Провод перебило!

— Черт!.. — выругался Скрыдлов. — Рви «по желанию», еще раз подведу! — Повернул к Верещагину мокрое, побелевшее от боли и напряжения лицо. — Чего стоишь? Готовь крылатую!

Василий Васильевич, припадая на правую ногу

и громко ругаясь, выбрался к борту, где за броневыми блиндами хранились плавучие крылатые мины. С монитора вновь грохнул орудийный выстрел, картечь с визгом пронеслась над водой, корпус шлюпки дрогнул.

— Все провода перебило! — прокричал минер с носа. — Взрывать нечем!

— Черт! Черт! Черт!.. — в отчаянии кричал Скрыдлов, колотя кулаком по штурвалу.

— В машинном вода! — донесся крик Болеславского.

— Задний ход!

«Шутка» медленно пятилась назад. Лейтенант развернул ее носом к своему берегу: провода электрозапалов были оборваны, вести бой стало невозможно. Фрегат молчал, напуганный опасной близостью миноноски и невероятной дерзостью ее экипажа, но монитор медленно наползал сверху по течению, продолжая стрелять и отрезая шлюпке путь к спасению.

— Не проскочим, — сказал Верещагин, кое-как втащившись в рубку. — А мне, пардон, задницу продырявило.

— Сколько продержимся? — не слушая его, крикнул Скрыдлов прапорщику.

— С полчаса! — глухо отозвался Болеслав-

ский. — Фуражками вычерпываем…

— Атакую монитор! — крикнул лейтенант. — Виноградов, подсоединяй батарею напрямую! Как столкнемся, рви руками!

— Есть рвать руками!

— Полный вперед! Не унывай, ребята, второй смерти не будет!.. Ну, Василий Васильевич, прыгайте за борт, «Шутка» кончилась. Берите второй пробковый пояс, и дай вам Бог удачи. Может, картину про нас напишете.

— Картину про вас уж кто-нибудь другой напишет, — проворчал Верещагин, неприятно ощущая текущую по ногам кровь. — Жалко, хереса больше нет. Хороший был херес…

Дрожа всем корпусом, «Шутка» отчаянно спешила навстречу бронированному монитору. С него раздался еще один, по счастью, совсем уж неприцельный выстрел, и броненосец, заметно сбавив ход, стал отваливать влево, уступая фарватер.

— Уходят! — восторженно кричал минер Виноградов. — Струсили, нехристи окаянные!.. Жми, ваше благородие, у меня все готово! Жми, я рвану! Я их к Аллаху ихнему с полным удовольствием доставлю!

Видя, что монитор разворачивается вверх по

течению, фрегат тут же дал задний ход. Оба турецких судна, вооруженных артиллерией, бесславно отступали вверх перед отчаянным натиском практически безоружной русской миноноски.

— Все, — с облегчением вздохнул лейтенант, закладывая шлюпку к своему берегу. — Еле стою, пятка у меня оторвана. Только не говорите никому.

— Давай я поведу.

— Я моряк, Василий Васильевич. Я штурвал и мертвым не отдам. Сзади вас в нише фляжка. Там, правда, не херес, а наша родимая, но все равно дайте глоток.

— Что же ты раньше молчал, чертушка? — недовольно сказал Верещагин, доставая фляжку. — Из меня, понимаешь, кровища хлещет, как из кладеного кабана, а ты жадничаешь.

— Раньше никак нельзя было. Раньше бой был.

Вскоре полузатопленная шлюпка ошвартовалась у пристани, и с берега грянуло «ура» в честь моряков. Отсюда внимательно следили за всем ходом боя, и санитарные экипажи уже ожидали раненых. Но раньше врачей и санитаров на «Шутке» оказался Скобелев.

— Все видел, герои! — восторженно крикнул он, обнимая болезненно охнувшего Скрыдло-

ва. — Молодцы! Молодцы, моряки, спасибо и поклон вам!

— Поосторожней, Миша, — хмуро сказал побледневший от потери крови Верещагин. — У него три ранения да заноза в плече, а ты как медведь, право.

— Вася, друг ты мой милый, герой Самарканда и Дуная! — Генерал ценил храбрость превыше всех человеческих качеств. — Дай я тебя поцелую!

— И меня не надо, — непримиримо ворчал художник. — У меня пуля там же, где была у Мушкетона, если ты не позабыл еще «Трех мушкетеров».

— Нашел, что подставить! — расхохотался Скобелев. — Санитары, бегом!

Он дождался, когда раненых — а среди них оказался и прапорщик Болеславский — отправят в госпиталь, вскочил на коня и, не разбирая дороги, помчался к Парапану. В Парапане оказался только что прибывший адъютант главнокомандующего полковник Струков, награжденный за Барбошский мост золотым оружием. Скобелев хмуро выслушал его представление, спешился, отозвал в сторону. Спросил обиженно с глазу на глаз:

— Стало быть, опять тебя вместо меня?

— Михаил Дмитриевич, ну помилуйте, ну я-то тут при чем?

— Вырвал ты у меня золотое оружие из рук, Шурка, — горестно вздохнул Скобелев. — Обидно.

— Война только начинается, — улыбнулся Струков. — Все еще впереди, потерпите.

— Это у тебя все впереди, а у меня, кажется, все уже позади. Ну скажи, чего он на меня взъелся? Из Журжи приказал не выезжать. Вот в Парапан прискакал — и то поджилки трясутся: как бы опять нагоняй не получить.

— Но это же ваш участок.

— Участок мой, а послали тебя. Не доверяют. Хоть ты тресни, не доверяют более Скобелеву.

— Ваше превосходительство! — донесся крик с берега.

— Сахаров бежит, — сказал Струков. — Что там еще?

— Ваше превосходительство! — кричал на бегу капитан Генерального штаба Сахаров. — Казаки говорят, турки возле наших минеров батарею к бою разворачивают!

— В шлюпки! — гаркнул Скобелев, мгновенно забыв все обиды и первым бросаясь к пристани.

В шлюпки садились наспех, не разбирая, кто и откуда. Кроме матросов-весельных в них набились казаки, капитан Сахаров, командир 54-го Минского полка полковник Мольский, прискакавший доложить, что его полк на подходе, и Скобелев со Струковым. Понимая, как дорога каждая секунда, матросы гребли изо всех сил, весла выгибались дугой. Двухверстное расстояние было пройдено за кратчайший срок, когда турки только снимали орудия с передков и растаскивали их по номерам. Но Скобелеву было недостаточно, он понимал, что минная флотилия будет сожжена и разгромлена, если капитан Новиков не прикажет вовремя отходить. А моряки не видели и не могли видеть с воды турецкую батарею, закрытую скатом берега, потому-то турки разворачивали ее неторопливо и тщательно, чтобы стрелять в упор и наверняка.

До острова оставалось саженей около ста, а катера стояли еще дальше и выше по Дунаю. Тяжелые шлюпки сносило течением, они с трудом выдерживали направление на остров Мечку, где в бездействии, поскольку башибузуки отошли, толпилось полторы сотни людей, а их шлюпки оказались отведенными за песчаную косу, на мелководье. На то, чтобы сообщить Новикову об

опасности, предупредить стрелков об отходе и перетащить их шлюпки из-за косы на глубокую воду, требовалось время, и Скобелев, каждое мгновение ожидавший прицельного артиллерийского залпа по катерам, уже не мог тратить его впустую.

— Тащите шлюпки на руках через косу! — крикнул он, ни к кому, в сущности, не обращаясь, так как в этой ситуации не было ни начальников, ни заместителей. — Стрелки пусть немедленно открывают огонь хоть в воздух, только бы турок отвлечь!

Прокричав это, он вскочил и головой вниз бросился в воду. Вынырнул и, забыв об уплывающей по течению генеральской фуражке, быстро поплыл наперерез к катерам капитана Новикова.

— Куда вы, генерал? — растерялся полковник Мольский.

— Полковник Мольский, вы старший! — крикнул Струков. — Тащите шлюпки, спасайте людей!

И вслед за Скобелевым полетел в воду. То ли плавал он лучше, то ли просто был сильнее, а только вскоре нагнал генерала и плыл рядом, громко отфыркиваясь.

— А ты зачем? — сердито спросил Скобелев.

— С вами вместе, — улыбнулся Струков — роскошные усы сосульками свисали к подбородку. — А то опять обиды разведете, почему мне одно, а вам другое. Теперь либо вдвоем потонем, либо двоих ругать будут.

— Понятно, — хмыкнул генерал. — Для придворного лизоблюда ты неплохо держишься на волне.

— Благодарю, ваше превосходительство. — Полковник по пояс выпрыгнул из воды, крикнул: — Новиков! Новиков, уводи катера!.. О, да тут мелко, Михаил Дмитриевич. Становитесь на ноги, не тратьте силы.

Со стороны острова раздался дружный ружейный залп. Оттуда не могли видеть турецких артиллеристов, но, как было приказано, стреляли, отвлекая внимание. Этот огонь, а также вид бредущих по отмели мокрых и грязных полковника и генерала еще издали заинтересовали моряков. Предчувствуя недоброе, опытный Новиков тут же начал свертывать минные работы.

— Отваливай! — кричали Скобелев и Струков. — Турки батарею разворачивают! Отваливай!

— Понял! — донесся далекий отклик. — Ухожу! Ждите ялик!

На острове продолжалась азартная пальба. Привлеченные ею, турки первый залп дали не по катерам, а по острову, опасаясь возможного десанта. Стреляли они с закрытых позиций, снаряды падали в воду, частью рвались в камышах. В грохоте, сумятице и неразберихе капитан Новиков хладнокровно свернул работы и теперь уводил катера из зоны возможного обстрела.

— Ну, одно дело сделано, — сказал Скобелев с облегчением.

Он стоял по грудь в воде и ждал, когда подойдет легкий ялик. Струков достал из кармана кителя портсигар, открыл: там была каша из размокших папирос.

— А продавали за непромокаемый.

На ялике подошел черноглазый ловкий матрос. Помог взобраться в лодку.

— Куда прикажете?

— К острову!

Когда добрались до острова, казаки и матросы уже перетащили почти все шлюпки на глубокую воду. Оставались еще две, но турецкие артиллеристы, упустив катера, обрушили на остров беглый огонь. Было убито двое, семеро ранено, и вдребезги разнесло одну шлюпку.

— Отходить немедля, — сказал Скобелев. — Кто

не поместится в шлюпках, тащить за собой на ружейных ремнях.

Перегруженные сверх всякой меры шлюпки медленно отваливали от острова среди сплошных снарядных разрывов. Струков и Скобелев на ялике замыкали караван.

— Дай-ка погреюсь, — сказал Струков, садясь на весла. — Ох, давненько я фрейлин не катал по царскосельским прудам!

Скобелев оценил выпад, весело улыбнулся:

— А ты ничего, Шурка. Ладно уж, владей золотым оружием, дарю!

— Благодарю вас, Михаил Дмитриевич, — усмехнулся полковник. — Эй, матрос, махорка у тебя есть? Дай закурить его превосходительству, чтоб он зубами дробь не выбивал.

— С нашим удовольствием, — заторопился матрос. — Только ведь трубка у меня. Не побрезгуете?

— Был бы табачок хорош.

— Тютюн добрый, из Крыма. — Матрос быстренько набил трубку, раскурил, протянул генералу. — Пожалуйте флотского, ваше превосходительство.

— Спасибо, братец. — Скобелев, попыхивая трубкой, развалился на корме в позе Стеньки

Разина. — Плавнее, плавнее подгребай, недотепа. И не брызгай!

— Р-рады стар-раться! — улыбался Струков, налегая на весла. — Ох и влетит же нам с вами за эту прогулочку, Михаил Дмитриевич. По первое число влетит!

5

За «прогулку» влетело, но, как всегда, одному Скобелеву.

— Ты что — поручик? Урядник вроде Цертелева? Почему сам в воду полез?

— Мгновения берег, Ваше Высочество.

— А если бы утоп? Русский генерал сам собой в Дунае утоп — то-то радости туркам было бы!

— Так ведь не утоп же.

— А мог! Мог! — Великий князь глядел строго, но строгость была напускной, и Скобелев это чувствовал. — За геройство прощаю, за самоуправство наказываю. Завтра государь прибывает в Плоешти, но ты его встречать не будешь. Ты в Журже будешь торчать безвылазно. Безвылазно, Скобелев!

— Слушаюсь, Ваше Высочество, — с облегчением сказал Скобелев, радуясь, что дешево отделался.

Для встречи царского поезда на перроне Плоешти были выстроены генералы и особо отличившиеся полковники, Александр II с чувством расцеловал Непокойчицкого, стоявшего первым согласно должности, обнял Шаховского:

— Тебя благодарю особо, князь, ты первых героев России подарил. Напомни имена.

— Полковник Струков, Ваше Величество. Барбошский мост — его заслуга.

— Подойди, полковник, — позвал следовавший за государем главнокомандующий.

— Знаю о тебе, — сказал Александр, когда Струков подошел. — Однако уже, кажется, награжден за это? А кого сам отличил?

— Урядник Евсеев и казак Тихонов достойны Георгия, Ваше Величество.

— Представь мне их сегодня же. Герои не должны ожидать наград.

— Слушаюсь, Ваше Величество.

От вокзала до дома плоештинского обывателя Николеску, выбранного под временную резиденцию императора за огромный сад, по обе стороны улицы были шпалерами выстроены болгарские дружины. Они стояли недвижимо, держа на караул тяжелые винтовки системы Крика, и Александр время от времени поднимал

руку и кричал:

— Молодцы! Молодцы, болгары!

За коляской следовал конвой и почетный эскорт офицеров гвардии. Гвардейцы ехали молча, учитывая торжественность момента, восторженные крики жителей, толпившихся за черными рядами ополченцев, и присутствие высших чинов армии и государства. Тюрберт, только что вернувшийся из Петербурга, не смотрел по сторонам, сдерживая нетерпеливого, то и дело сбивавшего аллюр и норовившего скакать боком кровного жеребца. Жеребец был свадебным подарком тестя, и подпоручик еще не привык к нему.

— Вот Самарское знамя, Тюрберт, — сказал скакавший рядом капитан Юматов.

Тюрберт равнодушно скользнул взглядом по знамени и рослому знаменосцу и вдруг невольно придержал коня, ломая ряд. Впереди следующей болгарской роты с обнаженной саблей стоял ее командир, и лицо этого командира показалось подпоручику удивительно знакомым.

— Что с вами, Тюрберт?

— Ничего, — сказал подпоручик, отпуская жеребца. — Показалось, что лицо знакомо еще по Сербии. Только чушь, этого не может быть…

Перед вечером Александр и главнокомандующий уединились в кабинете. Николай Николаевич расстелил знаменитую схему, показал расположение корпусов и дивизий, артиллерии, резервов и обоза.

— Как видишь, все изготовлено к прыжку.

— Никополь? — спросил государь.

Великий князь загадочно улыбнулся. Легким движением карандаша не без самодовольства очертил турецкие крепости правого берега.

— И Никополь, и Рущук, и Силистрия — все ждут. Я бомбардирую Никополь и держу в Турну-Магурели корпус Криденера. Веду усиленную разведку Рущука и возвожу возле Журжи осадные батареи. Мало того, через несколько дней я начну переправу в Галаце, и турки из всех крепостей двинут туда резервы. А это будет всего лишь демонстрация, и я запутаю турецкий штаб настолько, что они потеряют веру в собственных шпионов. — Он вдруг понизил голос: — Плоешти кишит турецкими шпионами. Там, где появляюсь я, все кишит шпионами!

— Значит, возле Галаца будет лишь демонстрация переправы? — спросил Александр, давно знакомый с болезненной подозрительностью брата.

— Да, но об этом знаем только мы с тобой да Непокойчицкий.

— Ты сознательно жертвуешь людьми?

— Жертвую малым, чтобы уберечь главное. Это стратегия.

— Это идея Непокойчицкого?

Идея принадлежала Н.Н. Обручеву. Главнокомандующий не любил этого свободно мыслящего генерала и поэтому ответил уклончиво:

— Я принял ее.

— А где же будет настоящая переправа?

— Позволь мне доложить об этом позже.

— Ты еще не принял решения?

— Окончательно я приму его завтра на месте. Если не возражаешь, я возьму твой поезд и сегодня же ночью с полным соблюдением тайны отбуду в… Разреши мне умолчать о конечном пункте последнего совещания, он очень близок к предполагаемому месту переправы. Дело ожидается серьезное, и я боюсь, что турки могут раньше времени узнать об этом. Сейчас они мечутся по всему берегу, перегоняя резервы из одного пункта в другой, завтра ринутся в Галац, куда я брошу Восемнадцатую дивизию, а когда узнают правду, будет уже поздно. Дорогой брат, кругом лазутчики, кругом шпионы, поэтому я вынужден

молчать даже перед своим государем.

Александр долго смотрел на любовно и старательно раскрашенную схему. Его не обижало то, что главнокомандующий не сказал о своих планах ничего существенно важного даже ему, императору. Он думал сейчас не об этом и даже не о предстоящем форсировании Дуная — он думал о словах, которые обязан был сказать. Слова эти должны были стать историческими, но ничего исторического в голову, как на грех, не приходило.

— Береги патроны, — сказал он, так ничего и не придумав. — Эта современная мода на скорострельное оружие родилась от неверия в солдат. А солдат должен стрелять прицельно и точно и чаще ходить в штыки. И да благословит Бог все твои труды на благо отечества, как я благословляю тебя.

В огромном саду, со всех сторон окружавшем дом Николеску, в этот вечер был разбит походный бивак сводного конвоя Его Величества. Горели костры, сад был ярко иллюминирован, приглашенные офицеры гвардии, сопровождавшие Александра от вокзала, ждали выхода государя подле террасы.

Он появился в сопровождении великого князя

главнокомандующего уже в сумерках. Офицеры воодушевленно крикнули «ура», но Александр поднял руку, призывая к молчанию.

— Сначала я хочу исполнить самый приятный долг государей и поблагодарить нижних чинов за геройскую службу, — сказал он. — Где твои герои, Струков?

В стороне от блестящей офицерской группы скромно стояли два бородатых казака. Струков махнул им рукой, и они, старательно топая, подошли к Александру и замерли, выпятив грудь.

— Что за дьявольщина? — удивленно прошептал Тюрберт. — Мне все время мерещатся знакомые лица.

— Перекрестись, — сквозь зубы сказал Юматов.

— Благодарю за геройскую службу, — говорил тем временем император, пристегивая к казачьим мундирам Георгиевские кресты, поданные дежурным флигель-адъютантом. — Ура в честь первых героев этой войны, ура!

— Ура! — коротко и дружно рявкнули гвардейцы.

— Надеюсь, что еще услышу о ваших доблестных делах во славу отечества, казаки.

— Благодарим покорно, Ваше Величество! — вразнобой ответили казаки и с топотом вышли

из сада.

— Не стойте во фронте, господа, и подойдите поближе. — Александр подождал, пока гвардейцы окружат его со всех сторон. — Я душевно рад видеть всех вас, представителей моей доблестной гвардии, на театре военных действий. Бог благословил нашу справедливую войну доблестью и геройством сынов отечества всех званий и чинов. Вы видели сейчас героев казаков, а главнокомандующий доложил мне о геройском сражении, которое имела шлюпка лейтенанта…

— Скрыдлова, — подсказал великий князь: он любил демонстрировать свою поразительную память на фамилии.

— …Скрыдлова с двумя броненосцами противника. Бог отметил нас и в этом случае и уберег от гибели, пощадив всех нижних чинов, бывших в бою. Но в вашей доблести и чести я уверен особо. Я желаю дать вам возможность участвовать в делах и отличиться, но не хотел бы, чтобы все вы пошли в первое большое сражение. Поэтому я приказываю вам разделиться на две очереди согласно вашему добровольному желанию. Первая очередь пойдет на переправу, когда ей прикажет главнокомандующий, а вторая — в другое дело уже за Дунаем.

Офицеры молча поклонились, изъявляя свое полное согласие с монаршей волей.

— Доложите, когда установите очередь, мне это интересно. До свидания, господа. Да хранит вас Бог в предстоящих подвигах, как хранил он нижних чинов лейтенанта… Скрыдлова, — с напряжением припомнил император и обрадовался.

— С делами не задержу, гвардейцы, — пообещал главнокомандующий, уходя вслед за государем в дом. — От сего дня уже часы считайте.

— Жеребьевка, господа! — объявил полковник Озеров, когда офицеры остались одни. — Поручик Ильин, пишите имена — и в шапку.

Фамилии присутствующих были записаны тут же у террасы при свете иллюминации. Поручик Ильин аккуратно скатал жребии и опустил их в чью-то подставленную фуражку.

— Нас тридцать восемь, — сказал Озеров. — Следовательно, первые девятнадцать фамилий и есть счастливчики. Кто потащит?

— Полагалось бы душе безгрешной, — улыбнулся капитан Юматов. — Но поскольку безгрешные души давно уж спят сном праведников, предлагаю, господа, назначить ангелом подпоручика Тюрберта. Третьего дня у него закончилась медо-

вая неделя, и с той поры он вряд ли успел много нагрешить.

— Господа, предупреждаю: у меня тяжелая и, главное, своенравная рука.

— Ладно, Тюрберт, тащите.

— Чур, не передергивать!

— И обратите очи горе, когда нащупаете жребий. А то я знавал одного фокусника, так он, господа, сквозь бумажку фамилии читал.

— Ну, Господи, благослови! — Тюрберт опустил руку в фуражку, задрал, как велено, лицо к небу и не глядя протянул первую записку поручику Ильину.

— Озеров! — громко прочитал Ильин. — Поздравляю вас, полковник.

— Вы подхалим, Тюрберт, — сказал Юматов. — Привыкли ублажать начальство.

— Случай, — пояснил Тюрберт. — Я щупал свою фамилию: она у меня колючая.

Одна за другой появлялись записки, звучали фамилии: капитан Мицкович, поручик Поливанов, капитан Косач, поручик Прескотт… Отзвучали восемнадцать жребиев, и Озеров предупредил:

— Последняя, Тюрберт. Достанете ее, а остальное вместе с фуражкой можете вручить флигель-адъютанту Эндену: это уже второй сорт.

На этот раз Тюрберт перебирал жребии особенно долго, точно и впрямь искал что-то на ощупь. Веснушчатое лицо его покрылось бисеринками пота от напряжения.

— Да скоро вы там, поручик?

— Не мешайте, он молится своей звезде, которую зовут Лора.

— Тюрберт, признайтесь, вы колдуете?

— Ну что вы, в самом-то деле?

Тюрберт вытащил записку, сунул Ильину:

— Ну, Павлик?

— Тюрберт! — крикнул удивленный Ильин. — Нащупал-таки себя, каналья!

— Ура! — заорал Тюрберт, вскакивая. — Шампанского, господа! Ставлю на каждого по паре бутылок, хоть упейтесь!

Офицеры гвардии еще пили шампанское под песни, хохот и соленые шутки, когда из черного хода дома господина Николеску одна за другой выскользнули четыре фигуры в длинных черных плащах с поднятыми воротниками. Старательно пряча лица, быстро направились к воротам.

— Стой! — закричал часовой, некстати оказавшийся поблизости. — Стой, кто такие? Отзовись, стреляю!

Один из четверки шагнул к нему, отогнул от-

ворот плаща.

— Не узнал, морда? Я оборотень оборотеньевич, понятно? Так и доложи дежурному офицеру. Кругом марш!

Обалдевший часовой, мгновение помедлив, опрометью бросился исполнять приказание, а таинственная четверка без помех добралась до вокзала, где под парами ожидал царский поезд. Как только они сели в вагон, поезд без свистков тронулся в путь, быстро набирая скорость. Через час он остановился на глухом полустанке, где прибывших ожидали верховые лошади и очень небольшая охрана.

— Обманули мы все-таки турецких шпионов! — довольно отметил великий князь Николай Николаевич-старший, садясь в седло.

— Благодарите меня, батюшка, — сказал сын. — Если бы не моя находчивость, сидеть бы нам всем четверым под арестом в караулке.

Учитывая темень, Непокойчицкий позволил себе насмешливо улыбнуться.

Четверо всадников и конвой бешеным аллюром мчались по темным дорогам. Их часто останавливали многочисленные разъезды и часовые; тогда скакавший впереди начальник конвоя свешивался с седла и шепотом произно-

сил одно слово:

— Зимница…

Глава пятая

1

Брянов всегда был человеком ответственным и точным. Именно эти качества и спасали его до сей поры не только от отставки, но и от каземата, потому что при всей настороженности и недоверии к вольнодумствующему офицеру начальство не могло не ценить его служебного рвения и профессиональных достоинств. Его послужной список мог быть образцом для многих армейских офицеров.

Странное чувство полной внутренней гармонии, испытанное им на Скаковом поле Кишинева в день объявления войны, не исчезло в армейских буднях. Капитан уже не удивлялся и не умилялся вселившемуся в него твердому ощущению правоты, закономерности и необходимости того дела, которому он сейчас служил.

Путь до Зимницы был тяжелым. Тридцати-сорокаверстные переходы начались еще по весенней слякоти, по засасывающей грязи разъезженных и размытых дорог. На ночевки останавливались в чистом поле, и солдаты валились на мокрую

землю, порою так и не сняв ранцев. Палаток не получили, обозы оторвались, негде было ни обогреться, ни обсушиться, но никто из его роты не заболел, а отставшие к полуночи подтягивались и на заре снова оказывались в строю. Солдаты в этом адском походе спали по шесть-семь часов, а Брянов и его субалтерн-офицеры довольствовались пятью, а то и четырьмя. Надо было разместить людей, напоить хотя бы чаем, как-то устроиться со сном и дождаться отставших. Еще в самом начале похода Брянов отказался от положенной ему лошади и шел вместе с солдатами; уже на второй день степенный и немногословный фельдфебель Литовченко раздобыл где-то легкие дрожки, в которые и запрягали теперь смирную бряновскую лошаденку. Дрожки тащились сзади, слабосильным разрешалось сгружать на них ранцы, а то и проехать пять-десять верст. Это было нарушением порядков, но командир полка помалкивал, и бряновская 12-я рота, на удивление многим, оказывалась на утренних перекличках в полном составе.

— Самоуправствуете, Брянов? — спросил как-то командир 3-й стрелковой роты капитан Фок. — Изнежите нижних чинов, разбалуете — не боитесь последствий?

— Сбитых ног боюсь больше.

— А гнева генеральского? — не унимался Фок, славившийся в полку особой въедливостью. — Его превосходительство генерал-майор Михаил Иванович Драгомиров человек академический.

— Полагаю, что и генералу солдат дороже буквы устава.

— Знаете, Брянов, есть солдатофилы по призванию, а есть по самоистязанию. Сдается мне, что вы из второй половины.

— А вы, Фок?

— А я старого закала, и для меня любой из моих стрелков есть лишь инструмент, при оружии состоящий. — Фок удобно покачивался в седле, сверху вниз глядя на месившего грязь Брянова. — Насморк еще не схватили?

— Я здоров.

— Ну помогай вам Бог. — Фок тронул коня, нагоняя свою роту, но тут же придержал его. — Между прочим, мои стрелки волокут для меня палатку. Заходите обогреться.

— Благодарю, Фок, я еще в Сербии привык спать под открытым небом.

— Ох уж эта мне волонтерская гордость!

Брянов жалел и щадил своих солдат, хотя если бы эти марши были учебными, он бы по-

качивался в седле впереди своей роты с тем же спокойствием, что и Фок. Но роте предстояли бои, и рота была чужой: ее прежний командир, заболев еще в Кишиневе, освободил капитану всего лишь должность, а не место в ротных рядах, слитых долгой совместной службой. И, шагая впереди, Брянов думал не только об отставших, но и о себе самом, о своем месте в роте.

Место это не определялось ни уставом, ни опытом, ни офицерским званием. Солдаты были дисциплинированны и старательны, делали все, что полагалось делать, но ровно настолько, чтобы не вызывать гнева командира. Он оставался для них по-прежнему чужим; они преданно таращили глаза и вытягивались, но немедленно замолкали, стоило командиру приблизиться к вечернему костру. Брянов был опытным офицером и прекрасно ощущал эту солдатскую настороженность, это постоянное наблюдение. Его изучали не менее пристально и досконально, чем он сам изучал своих солдат, и никто не торопился с дружескими улыбками. И даже то, что он отдал своего коня для слабосильных и месил грязь наравне со всеми, нисколько не уменьшило солдатской настороженности, а может быть, в какой-то степени и усилило ее.

— Чудит господин ротный.

— Мягко стелет, братцы, каково-то выспимся?

— И крест у него какой-то чудной.

— Ненашенский. А за что дали, поди вон да погадай.

— Тихо, братцы, идет…

— Вот, стало быть, и говорю я куме: здорово, говорю, кума… Встать! Смирно!

— Вольно. Садись.

Ветер дул в сторону Брянова, и он слышал каждое слово. Но не обижался на солдат, скорее наоборот, ему нравилась в них этакая неторопливая основательная приглядка к тому, кто в скором времени поведет их в огонь, от хладнокровия, выдержки, самообладания и опыта которого будет зависеть их жизнь. Легко сходясь с людьми своего круга, Брянов испытывал огромные затруднения в разговорах с солдатами. Он был человеком чутким и легко чувствовал ту бодрическую фальшь, к которой привычно прибегали солдаты в разговорах с офицерами; она угнетала и оскорбляла его. Он не принадлежал к числу тех «отцов-командиров», которые кокетничали простецкими словами, присаживаясь к солдатским кострам и ведя беседы на выдуманном, грубом и пошлом языке, который сами же именовали

хамским. Это была чудовищная смесь сальных шуток, матерщины и простонародных словечек, произнести которые он не смог бы при всем своем желании. Таким, например, был командир 1-й стрелковой роты капитан Остапов — квадратный увалень с оловянными глазами. Он сыпал у костров грязными прибаутками, провоцируя солдатский гогот, очень хвастался этим, а встав поутру в дурном настроении, не знал иных слов, кроме «харя» да «рожа», ругался и сквернословил, а то и хлестал солдат по щекам, как истеричная барынька сенных девок.

— Солдат — дитя неразумное, но испорченное, — говорил он. — У них все помыслы о бабах, господа, дальше фантазия не работает. Коль распустишь — завтра же первой встречной юбки задерут, и карьерка ваша тю-тю. А передо мною они — как перед отцом родным. Боготворят, трепещут и любят, господа, да, любят!

— Как они вас любят, Остапов, это мы после боя оценим, — усмехался Фок.

Фок откровенно сторонился солдат, но зато и не занимался рукоприкладством, чем грешили, по правде говоря, многие офицеры. Он был неутомимо требовательным, быстро и беспощадно взыскивал за любое упущение и никогда не

хвалил. В его речи не было даже знаменитого русского «братцы», с которым к солдатам обращались все, начиная с седовласых генералов и кончая безусыми прапорщиками.

— Какие они мне, к дьяволу, братцы? Они механические человеки, при винтовке состоящие. И как механизму им положено масло и щелочь, остальное — излишество. Фельдфебель, рота смазана?

— Так точно, вашбродь, накормил!

— Выдай на привале по банке щелочи, чтоб ржавчину смыло.

— Слушаюсь!

Под щелочью в роте понималась винная порция, под смазкой — еда. И как бы там они ни назывались, а стрелки капитана Фока всегда были своевременно «смазаны» и «выщелочены»: за этими двумя процедурами презиравший не только нижних чинов, но и все человечество капитан Фок следил с неусыпным вниманием.

Стремясь сблизиться, стать своим, а значит, понятным для солдат, Брянов не спешил подружиться с офицерами. И потому что на это почти не было времени, и потому что попал он в одну из лучших дивизий «по случаю», и это тоже налагало определенную печать на его положение

в полку. Правда, о подробностях его назначения знал только командир волынцев полковник Родионов, но Брянов не мог забыть их первого и пока единственного разговора и понимающей, хорошо спрятанной в усах усмешки полковника.

— Мне приказано дать вам роту, капитан.

— Благодарю.

— Меня-то не за что. Мы, армейцы, далеки от столицы и ко многому не привыкли. Служба у нас скучная, капитан.

— Я не ищу веселья, господин полковник.

— Какое уж тут веселье. Признаться, удивлен весьма. Поэтому уж не посетуйте, буду посматривать. Помилуй бог, а вдруг спросят: ну как там наш протеже?

— Надеюсь, что не спросят, господин полковник.

— А я, знаете, на себя все больше привык надеяться, так-то оно спокойнее. Ну что же, приступайте.

На этом и кончился разговор. Разговор кончился, а осадок от него остался и точил душу капитана недосказанными словами и замаскированными усмешками.

Ближе всех офицеров, с которыми Брянов старался поддерживать спокойные товарищеские

отношения, как-то вдруг стал штабс-капитан Ящинский. Молчаливый, скорее замкнутый, никогда, даже в походе, не расстававшийся с книгой. Рота его славилась песнями, до которых сам штабс-капитан был большой любитель. Солдаты пели при первой возможности, будь то в пути или на привале, причем пели действительно хорошие песни, а не ту несусветную полупохабщину, что перекочевала из старой бессрочной николаевской армии. К этой поющей роте на привалах тянулись офицеры: замкнутый Ящинский был неизменно молчаливо любезен.

— Не удивляйтесь, если он с вами за весь вечер и слова не скажет, — предупредил прапорщик Лукьянов, уговорив Брянова подойти к офицерскому костру соседней роты: давно стояли биваком близ Беи. — Он у нас молчун, а вот солдатики его любят.

Штабс-капитан сидел у костра с неизменной книгой. Улыбался подходившим офицерам, жестом приглашал к чаю и молчал. Это никого не смущало, но говорить, когда так вольно и покойно пели солдаты, тоже никому не хотелось; полковые врали, болтуны и ругатели здесь, как правило, не появлялись.

— Как поют! — восторгался склонный к элеги-

ческой грусти поручик Григоришвили. — Во всех ротах слова кричат, а у вас — песню поют. Отчего так, Ящинский?

Ящинский молча улыбался. Выпив два стакана густого, пахнувшего дымом чая, Брянов уже собирался идти к себе, как Ящинский неожиданно отложил книжку и с обычной благожелательной своей улыбкой заглянул ему в лицо.

— Я слышал о вас, Брянов.

У костра никого, кроме денщика, не было: грустный Григоришвили увел Лукьянова ближе к поющим. Слова сказаны были тихо, но — со значением.

— Что же именно?

— Я слышал о вас от Василия Фомича Кондратовича.

Брянов промолчал: Кондратович был членом пропагандистского кружка, за участие в котором Брянову в свое время грозили нешуточные неприятности. Он давно ничего не слышал о прежних друзьях и потому что потерял связи, и потому что многое пересмотрел заново, во многом разуверился и от многого отказался. Пока он обдумывал ответ, Ящинский не выдержал первым:

— Я бы не напомнил, если бы вы не отдали солдатам свою лошадь. Тем более что Василий

Фомич в тюрьме.

— В двадцать лет человек жаждет переделать мир, — сказал Брянов. — В тридцать он думает уже о том, что переделка мира хороша только в том случае, если миру от этого станет хоть чуточку лучше. В сорок он служит, стараясь добиться этого улучшения хотя бы на своем крохотном участочке. А в пятьдесят он уже нянчит внуков и испуганно вздрагивает от выстрелов в Южной Америке. Вот так он живет до самой смерти, а потом его внуки открывают заново те же идеалы и идут точно тем же путем.

— А к какому возрасту мне отнести вас, Брянов? — тихо спросил штабс-капитан.

— Пока война — к строевому. Я верю в нее, Ящинский, и давайте отложим все, пока она не кончится.

— Что вы предлагаете отложить? Извините, я не понял вас.

Брянов долго молчал, вороша палкой костер. Красиво и слаженно пели солдаты, и это мешало сосредоточиться. Ящинский терпеливо ждал.

— Всем нам дорого отечество, — сказал наконец капитан. — Мы не выбираем его, как не выбираем мать и отца, которые дарят нам жизнь. Нам досталось больное отечество, мы чувствуем его

болезни, мы пытаемся изыскать средства к лечению его и… и этим служим ему. Хирург, который отпиливает гангренозную ногу, спасает жизнь, хотя и доставляет мучения. Все это правильно, и я приветствую необходимость радикальных изменений, направленных на оздоровление всего организма.

— Но при этом относите себя к возрасту строевому?

— Больной, которого мы полагали безнадежным, встал, чтобы помочь соседу выгнать из дома разбойников. Имеем ли мы в этом случае нравственное право напоминать ему о болезни?

— Да, но ведь самый главный-то симптом его болезни — социальная несправедливость, Брянов.

— История иногда преподносит парадоксы, Ящинский. Самое несправедливое общество сегодня несет высокую справедливость. И во имя этой справедливости мы обязаны забыть несправедливость внутреннюю. Существует тактика, и существует стратегия, и стратегия диктует сейчас иные формы.

— Что ж, я понимаю вашу позицию, капитан, — подумав, сказал Ящинский. — Как знать, какие песни зазвучат после этой войны?

Он улыбнулся привычной улыбкой и уткнул-

ся в книгу. Брянов молча откланялся и ушел в свою роту. Ночью ему приснились качели, и он проснулся от собственного крика. К счастью, никто не слыхал: рота спала, занавесившись мощным храпом, денщик прикорнул возле потухшего костра. Ночь выдалась теплой и тихой, но вблизи реки было туманно и сыро.

Брянов не выспался, заря еще только занималась, но он так и не решился прилечь снова. Он до ужаса боялся этого сна, бывшего когда-то явью…

Это было в последний юнкерский отпуск; он приехал в именье к матери и сестре счастливый, молодой, веселый, влюбленный в дочь начальника училища, старого друга отца. Отец к тому времени уже погиб, мать тяжело переживала утрату и часто болела, но крепостное право отменили совсем недавно, выкупные деньги пока не растратились, и бедность не нависла еще над маленьким барским домом сельца Копытово Рязанской губернии. Ни бедность, ни несчастья: все было впереди.

Он качал на качелях десятилетнюю сестренку — звонкое, стремительное и ясноглазое существо. «Выше! — кричала она, смеясь. — Еще выше! Еще!..» И на самом большом махе, когда качели встали почти параллельно земле, оборвалась

веревка. Брянов до сих пор слышал тупой стук: сестренка головой ударилась об угол сарая. Пять дней она не приходила в себя, пять дней лежала неподвижно и отрешенно, а потом оправилась, стала разговаривать, шевелиться, даже ходить, но уже ощупью, навеки оставшись слепой. Вскоре умерла мать, не перенесшая второго удара, и слепая, беспомощная девочка с той поры стала крестом Брянова. И он безропотно нес этот крест всю жизнь, раз и навсегда отказавшись от собственной любви. Нес со спокойным достоинством, никогда не жаловался, ничего не рассказывал, но до холодного пота боялся снов со взлетающими качелями. «Выше! Еще выше! Еще!..»

— Это кто там? Вы, Брянов? — Из тумана выросла длинная фигура дежурного по полку капитана Фока. — Будите своих офицеров: через полчаса выступаем.

— Куда?

— Кажется, к Зимнице. — Фок был непривычно сдержан и серьезен. — Кажется, мы и есть те самые пешки, которых приказано провести в дамки во что бы то ни стало.

2

Вторые сутки русская артиллерия, расположенная в Турну-Магурели против Никополя и возле Журжи против Рущука, вела интенсивный огонь. К этому времени 69-й Рязанский и 70-й Рижский пехотные полки 18-й дивизии под командованием генерал-майора Жукова уже форсировали Дунай узким коридором в районе Галаца, заняв Буджакский полуостров и оттеснив турок на линию Черноводы-Кюстенджи, а 9-й корпус генерала Криденера явно готовился к переправе где-то между Фламундой и Никополем. Турецкая артиллерия ввязалась в длительную дуэль, турецкие резервы метались по всему правому берегу от Никополя до Силистрии, и только в Свиштове было спокойно. Напротив находилось тихое местечко Зимница, где стояли какие-то второстепенные русские части, ничто не предвещало грозы, и поэтому посетивший Свиштов главнокомандующий турецкой армией Абдул-Керим-паша показал свите свою ладонь:

— Скорее у меня на ладони вырастут волосы, чем русские здесь переправятся через Дунай.

Через сутки об этих словах полковник Артамонов доложил Непокойчицкому. Артур Адамович

ничем не выказал своего особого удовлетворения, но Артамонов заметил все же чуть дрогнувшие усы. И добавил почти шепотом:

— Я дал распоряжение сеять слух, что переправа главных сил состоится у Фламунды, ваше высокопревосходительство.

— Прекрасно, голубчик, прекрасно. Пусть трое говорят, что у Фламунды, а четвертый — что возле Никополя. Это нам не помешает.

Во Фламунде, небольшой береговой деревушке, целыми днями раскатывали экипажи, скакали конные, бегали пешие ординарцы и посыльные. Центром их движения был хорошо видимый со всех сторон дом зажиточного крестьянина, усиленно охраняемый цепью часовых и казачьими разъездами. Во дворе его толпились офицеры, изредка мелькали генералы, а раз в день непременно появлялся и личный адъютант главнокомандующего Николай Николаевич-младший. Все входили в дом, выходили из него, получали какие-то распоряжения, бешено куда-то скакали, и никто не обращал внимания на скромный домишко в сырой низине, невидимый с турецкого берега. Сюда не скакали нарочные и не подкатывали фельдъегерские тройки, здесь не видно было часовых и караулов, но ни один чело-

век не мог спуститься в низину незамеченным: из кустов молча вырастали кубанские пластуны, и любопытный в лучшем случае удалялся после длительных проверок и допросов.

В этот невидимый и неказистый домишко днем 13 июня Николай Николаевич-младший в три приема провел начальника артиллерии Дунайской армии князя Массальского, генерала Левицкого, начальника инженерного обеспечения Деппа и генерала Драгомирова. Михаила Ивановича великий князь вел последним, молча и с особыми предосторожностями, встретив генеральский экипаж на подъезде к Фламунде и проведя старого генерала совсем уж нехоженым путем. Подвел ко входу, пропустил в избу, сел на крыльцо, прислонившись спиной к дверям, и положил перед собой два револьвера.

— Эй! — негромко позвал он.

Кусты напротив раздались, и в просвете возникло лицо дежурного офицера.

— Предупреди посты: стреляю в каждого, кто хоть на шаг приблизится к дверям.

— Слушаюсь, Ваше Высочество.

И кусты вновь сдвинулись, не вздрогнув ни одним листком.

В единственной комнате избы приглашенных

ждал главнокомандующий и его начальник штаба.

— Вы догадываетесь, господа, что выбор Его Высочеством уже сделан, — как всегда, негромко и спокойно сказал Непокойчицкий. — Благодаря тщательно продуманной системе дезориентации, противник введен в полнейшее заблуждение относительно места переправы главных сил. Так вот, переправа состоится в ночь с четырнадцатого на пятнадцатое июня возле Зимницы силами дивизии Михаила Ивановича. Всем даются сутки на подготовку.

— Об этом решении, кроме нас, не знает ни одна живая душа, — сказал сидевший у стола Николай Николаевич-старший. — Даже государю доложат лишь завтра утром.

— Переправа и захват участка на том берегу силами одной дивизии? — удивленно спросил князь Массальский. — Ваше Высочество, это дерзко, это отважно, но… — Начальник артиллерии выразительно развел руками.

— Мы долго обсуждали этот вопрос, — пояснил Непокойчицкий. — Большие силы наверняка привлекли бы внимание противника, а малочисленность передового отряда позволяет надеяться и на малые жертвы.

— Беречь патроны, — вдруг значительно сказал главнокомандующий. — Государь специально и очень своевременно указал нам об этом. И я особо напоминаю: беречь патроны. С доставкой их будут трудности, и каждый выстрел стоит денег. Запретите нижним чинам стрелять без команды.

— Безусловно, Ваше Высочество. Ваша дивизия, Михаил Иванович, будет усилена Четвертой стрелковой бригадой генерала Цвецинского, двумя сотнями пластунов, гвардейцами Его Величества, саперами, а впоследствии и батареями Четырнадцатой артиллерийской бригады. Порядок переправы, я думаю, обсудим позже, Ваше Высочество?

— Позже нет времени, — отрезал великий князь. — Наметьте в общих чертах, генералы разберутся сами.

Пока в высших сферах решалась судьба крупнейшей операции, войска, предназначенные для того, чтобы своей кровью открыть ворота русской армии, подтягивались к Зимнице. Волынский и Минский полки торопили особо; к вечеру 13 июня волынцы уже расположились на последнем биваке. Все чувствовали, что предстоит серьезное и тяжелое дело, разговоры

примолкли, и даже в роте Ящинского не слышно было обычных песен. И ужин был короче и тише, чем всегда, а вскоре после ужина сыграли отбой. Нижние чины, как приказано, залегли под шинели, сунув ранцы под голову, но немногие уснули в эту тихую летнюю ночь. И хоть не было еще никакого приказа, незаметно было и каких-либо необычных приготовлений, но солдатская молва быстро и точно донесла: м ы. И кто-то молча лежал, с головой укрывшись шинелью и вспоминая родных, кто-то беззвучно молился или столь же беззвучно плакал. Но еще никто никогда, ни в какие времена и ни перед какими битвами не считал солдатских слез.

Считали патроны.

И Брянову не хотелось быть одному в этот вечер. Обойдя роту, он прошел к офицерскому костру, что горел в лощине. Над костром висел закопченный солдатский котелок, в котором что-то деловито помешивал Фок. Рядом молча сидели Остапов, Григоришвили, прапорщик Лукьянов и штабс-капитан Ящинский.

— Варю пунш, как заповедано дедами перед боем, — пояснил Фок, хотя Брянов ни о чем не спросил его, сев рядом с Остаповым.

— Молиться надо грешным душам, а не пунши

распивать, — сказал Остапов.

— Зачем молиться? Зачем о грустном думать? — вздохнул Григоришвили. — Надо о жизни думать, а не о смерти.

— Думать вредно, — улыбнулся Фок. — Все неприятности происходят оттого, что люди начинают думать. Вы согласны с такой теорией, Ящинский? Или у вас в запасе есть собственная?

— Я оставил все теории дома, — сказал штабс-капитан. — Вам угодно знать адрес?

— Кажется, генерал вернулся! — вскочил Лукьянов. — Я, пожалуй, сбегаю, господа? Вдруг узнаю что-нибудь.

— Сбегайте, прапорщик, — сказал Остапов. Дождался, когда юноша ушел, выругался. — Все слыхали? Вот на этом языке и разговаривайте при мальчишке, философы, мать вашу. Нашли время и место для споров.

— Что это вы сердитесь? — миролюбиво спросил Григоришвили.

— Говорунов не люблю. Развелось их — как мух на помойке, и жужжат и жужжат! А мы офицеры, господа. Наше дело…

— Наше дело — топать смело, — усмехнулся Фок. — Это ведь, между прочим, тоже теория, Остапов. Но поскольку вы, кроме устава, в жизни

своей не раскрыли ни одной книжки, я извиняю ваше невежество. Вы счастливейший из смертных, капитан, вы сразу попадете в рай, минуя чистилище, ибо вас уже зачислили в охрану райских кущ на том свете.

— Да будет вам, право, — с неудовольствием заметил Брянов. — Пить так пить, а нет — так разойдемся.

— Правильно, — сказал Григоришвили. — Зачем у вина спорить? У вина радоваться надо.

— Ну, будем радоваться. — Фок разлил пунш по кружкам. — Берите лукьяновскую, Брянов. — Поднял кружку, став непривычно серьезным. — Я не люблю тостов, господа, но сейчас позволю себе эту пошлость. Мы только что царапались друг с другом по той простой причине, что души наши неспокойны. Их ожидает тяжкое испытание, а быть может, и расставание с бренным телом. Я хотел бы, чтобы души остались при нас, ну а если случится неприятность, чтоб упорхнули они в вечность легко и весело. За нас, господа.

— Вот уж не думал, что вы мистик, — сказал Ящинский. — Циник — да, но сочетание цинизма с мистикой довольно забавно.

— Ошибаетесь, Ящинский. — Фок холодно улыбнулся. — Во мне нет ни грана того, что вы

подразумеваете под мистицизмом. А поднимая бокал за наши души, я имел в виду именно их вечность с точки зрения здравого цинизма. Что такое бессмертие, господа? Точнее, что религия называет бессмертием? Это не что иное, как благодарная память потомков. Рай не на небе — рай в памяти людской, и если кому-либо из нас суждено вскоре погибнуть, так пусть душа его предстанет не перед Богом, а перед потомками.

— Вы кощунствуете, Фок, — строго сказал Остапов. — Это не просто грешно, это…

— Это приступ гипертрофированного себялюбия, не более того, — сказал Брянов. — Мечтать о собственном бессмертии еще допустимо юношам и старцам, но провозглашать такой девиз в то время, когда вся Россия — вся Россия, господа, едва ли не впервые в жизни своей! — в едином порыве встала на защиту угнетенных, значит думать лишь о себе. Но есть же такие мгновения в истории отчизны, когда думать о себе — худшее из преступлений. Худшее потому…

— Брянов!.. — Из темноты выбежал взволнованный прапорщик. — Господа, Озеров гвардейцев привел! Значит, все правда, господа, значит, у нас главное дело, значит, мы — счастливчики! Ура, господа!.. Да, Брянов, вас там какой-то гвардеец

спрашивал. Узнал, что я из Волынского полка, и прямо-таки вцепился. Подать, говорит, мне сюда капитана Брянова!..

— Тюрберт, — улыбнулся Брянов. — Не иначе как Тюрберт пожаловал. — Он встал. — Благодарю, господа. До завтра.

3

— Ну вот она и пришла, эта ночь, — говорил Тюрберт. — А комары по-прежнему бесчинствуют, в реке плещется рыба, и птицы спят в своих гнездах. Отсюда позволительно сделать вывод, что природе наплевать на историю, хотя расплачивается за нее именно она. Это как-то несправедливо, Брянов, не правда ли?

Они медленно шли по берегу мимо казачьих пикетов, полупогасших солдатских костров и настороженных патрулей. Тюрберт болтал, а Брянов помалкивал, с легкой досадой ловя себя на мысли, что гвардии подпоручик излишне суетится перед боем и, чего доброго, побаивается его.

— Знаете, все мы если не тщимся, то хотя бы мечтаем о славе, особенно в юности. И я, грешный, сладостно, до слез порою представлял себе, что меня пышно похоронят и что последующие поколения будут с благоговейным почтением

склонять головы над моею могилой.

— Извините, Тюрберт, я только что слышал это рассуждение из уст капитана Фока, — улыбнулся Брянов. — Это конвульсии эгоцентризма.

— Вы слушали какого-то Фока и не дослушали меня, — с неудовольствием заметил Тюрберт. — Я еще не совершил преступления, а вы уже тут как тут с приговором. Этак мы не поговорим, а станем препираться, а потом будем жалеть, что не поговорили.

— Вы совершенно правы, простите. Вы остановились…

— Я остановился на юных мечтах о славе, — сказал Тюрберт ворчливо, — но не успел поставить вас в известность, что сам я с этими мечтами расстался где-то в Сербии. Но начал-то я с природы, которой наплевать на все наши мечты… Вы меня разозлили, Брянов, и я утерял нить… — Некоторое время он шел молча. — Вы любите жизнь, Брянов?

— Признаться, не задумывался. — Брянов неуверенно пожал плечами. — То есть, конечно, люблю, но это же естественно.

— Естественно ваше состояние — жить не задумываясь; любите ли вы это занятие? А я однажды проснулся и увидел на соседней подушке лицо

своей жены. Она спала, она не знала, что я смотрю на нее, не готовилась встретить мужской взгляд и… и была прекрасна. И тогда я подумал… Нет, ни черта я тогда не подумал, а просто чувствовал, как меня распирает от счастья. А подумал потом, в поезде, когда спешил сюда.

— Прямо с подушки?

— Не ерничайте, Брянов, это не ваш стиль. То, о чем я подумал, я могу сказать только вам, и если вы станете иронизировать, то лучше я промолчу.

— Право, больше не буду, Тюрберт.

— А того утра я никогда не забуду. — Тюрберт вздохнул. — Я понял, что самое большое счастье — сделать кого-то счастливым. Есть натуры, целованные Богом в уста, они обладают даром делать счастливыми многих. Но и каждый человек, понимаете, каждый самый обыкновенный человек может сделать кого-то счастливым. Иногда всю жизнь может — и не делает. Думаете, это эгоисты и себялюбцы? Нет, большинство не приносят счастья другим просто потому, что не знают, как это сделать. Так, может, нужно какое-то новое ученье, которое помогло бы людям, а?.. Впрочем, тут вам и карты в руки, потому что я в этом не разбираюсь.

— Возможно, нужна просто цель, достойная человека?

— Цель? Какая цель? — Тюрберт вдруг рассмеялся. — Ах, вы не о той цели, о которой беспокоится артиллерист.

— Да, я не о стрельбе картечью.

— Понимаю, Брянов, понимаю. Цель?.. — Он подумал. — Цель — это что-то конечное, это всегда результат, а следовательно, и какая-то практическая выгода. А я ведь не о счастье приобретения думаю, Господь с ним, с таким счастьем!

— Вы ли это, Тюрберт? — улыбаясь, спросил капитан. — Совсем недавно некий офицер заявлял, что идей расплодилось больше, чем голов, и что идеи вообще чужды нашей профессии. Что же с вами произошло, коли вы вдруг утверждаете обратное?

— Я ничего не утверждаю, я просто очень счастлив и хочу, чтобы все вокруг были счастливы. Не счастливыми — в этом есть что-то, пардон, сопливое, вы не находите? — а просто были бы счастливы. Не думайте, что это каламбур, здесь есть какая-то мысль, которую мне пока трудно высказать, вот я и бормочу привычные слова в надежде, что вы мне подскажете. Ну, для примера, что вы говорите любимой женщине, расстава-

ясь? Пошлое «будь счастливой»? Да никогда! Вы говорите: «Будь счастлива, дорогая!» Улавливаете разницу?

— Нет, — суховато ответил Брянов. — Уж не посетуйте, не имею вашего опыта и не улавливаю никакой разницы. Вероятно, суть в том, что понимать под таким пожеланием.

— Как — что понимать? То и понимать. Счастье есть счастье.

— Счастье — категория сугубо относительная, Тюрберт. Для вас оно заключается в том, чтобы сделать кого-то счастливым, для мужика — урожайный год, а для болгарина — падение османского владычества. Я сознательно взял столь различные примеры, чтобы показать вам относительность того, что мы понимаем под словом «счастье». А поскольку термин неабсолютен, то и оставим его для милого житейского обихода. Для девичьих томлений, дамских пересудов и вздохов провинциальных пошляков.

— Похоже, что вы мне дали выволочку, — сказал, помолчав, Тюрберт, — но, убей бог, не знаю за что. Я искренне хочу, чтобы всем — всем на свете! — было хорошо. Я щедрый сегодня, Брянов, потому что люблю жизнь неистово, вот и вся причина. А чтобы любить жизнь, надо любить

женщину, потому что женщина и есть воплощение жизни на земле. И я, вероятно, просто не в состоянии сейчас заниматься холодным анализом, и не уничтожайте меня за это.

— Вы сказали дельную мысль, Тюрберт: каждый человек носит в себе возможность сделать людям добро. Я вас правильно понял?

— Добро — это что-то библейское, — проворчал подпоручик. — Я говорил проще.

— И все же вы говорили о добре, которое каждый может отдать, но почему-то мало кто отдает. — Брянов сел на песок, и Тюрберт, помедлив, опустился рядом. — Взгляните на тот берег — очень скоро, может быть завтра-послезавтра, мы придем туда. С чем мы вступим на него? С неистовой любовью к жизни, олицетворенной в прекрасной женщине? С искренним желанием сделать кого-то счастливым? Мало, Тюрберт, мало! Вот мы с вами, два русских офицера, сидим перед темницей, в которой много веков томится целый народ… Нет, народ — слишком общее, привычное и абстрактное понятие. Томятся дети и матери, девушки и старики, нетерпеливая молодость и суровая зрелость. И мы с вами — мы с вами, лично мы, Тюрберт! — первыми собьем замок с этой кошмарной темницы. Первыми! Это

ощущение наполняет меня гордостью, Тюрберт. Я хочу в бой, хочу, как никогда ничего не хотел!..

Брянов говорил взволнованно и приподнято, не стесняясь высоких слов, которых всегда избегал и всегда не любил. Но сейчас в нем словно взорвалось что-то давно накопленное и передуманное. Тюрберт понял его искренность, но все же позволил себе проворчать:

— Какая разница, как называть то чувство, с которым мы завтра пересечем Дунай? Вы жаждете принести болгарам свободу — честь вам и слава. А я хочу сделать их счастливыми. Разве дело в словах?

Брянов уже успокоился, и привычная сдержанность вернулась к нему. Сказал, чуть усмехнувшись:

— Слова обладают способностью затушевывать истинный смысл, Тюрберт. А в особенности такое неуловимое понятие, как счастье. Стоит ли ради этого рисковать своей жизнью? Нет, не стоит. А вот ради свободы — стоит. Счастье чаще всего бывает чужим, а свобода никогда чужой не бывает. И я счастлив, безмерно счастлив, что Россия, ее народ первыми в мире осознали это. Осознали великое счастье драться за свободу других народов… Почему вы улыбаетесь?

— Вот вы и заговорили о счастье, — с торжеством сказал Тюрберт. — Философствовали, мудрствовали, иезуитствовали даже, а кончили гимном счастью. Эх вы, Макиавелли!

— Поймали-таки! — весело сказал Брянов.

Он вдруг сгреб Тюрберта в охапку с явным намерением положить гвардейца на обе лопатки. Но подпоручик не давался, и они долго барахтались на песке, с мальчишеским азартом испытывая силу и ловкость друг друга. Тюрберт оказался сильнее, но не обладал бряновской увертливостью и быстротой. В конце концов оба запыхались и угомонились.

— Ну и медведь же вы, Тюрберт.

— Признаться, о чем я мечтаю? Только не вздумайте смеяться, предупреждаю, я чертовски обидчив. Сказать?

— Признавайтесь. Чистосердечное признание — половина вины.

— Я очень хотел бы помочь именно вам в этом бою, — тихо и серьезно сказал Тюрберт. — Даже больше: я б хотел спасти вас, Брянов. Я бы хвастался потом всю жизнь и рассказывал бы своим внукам, как однажды прикрыл огнем и выручил из беды очень хорошего человека.

— Вы неисправимы, Тюрберт, — мягко улыб-

нулся Брянов. — Будем дружить, артиллерия?

— Будем, пехота!

Офицеры встали и торжественно пожали друг другу руки. На востоке светлело. Занимался новый день — 14 июня 1877 года.

4

В глубокой тишине рассаживался по понтонам первый эшелон десанта — сотня кубанских пластунов, стрелки Остапова и Фока, пехотинцы Ящинского и Брянова и гвардейцы под командованием полковника Озерова. По сорок пять человек в полуторных понтонах, по тридцать — в обыкновенных. Генерал Драгомиров стоял у причала, пропуская роты мимо себя. Солдаты узнавали его в темноте, подтягивались, шепотом передавая по рядам:

— Сам провожает.

А Михаил Иванович всматривался в старательные молодые лица, размытые сумраком и уже неузнаваемые, с горечью думая о том, сколько внимательных, живых человеческих глаз не увидят завтрашнего дня. Эти мысли не мешали ему верить в победу: он твердо знал, что выиграет дело, что выдержит, что силою, мужеством и жизнями этих вот солдат проломит брешь в

несокрушимой обороне Османской империи. Он просто считал, сколькими сотнями молодых жизней он заплатит за эту победу, и печаль тяжким грузом оседала в сердце старого генерала.

— Михаил Иванович! — Кто-то вежливо тронул Драгомирова за рукав.

Он оглянулся: перед ним стоял Скобелев-второй. В белой парадной форме и при всех орденах.

— Не спится, Михаил Дмитриевич?

— Михаил Иванович, будьте отцом родным, — умоляюще зашептал Скобелев, — возьмите в дело. Не могу, себе не прощу, коли в стороне останусь. Вплавь вон с казаками…

— Голубчик, ну куда же я вас могу? Не приказано, и должностей нет. И потом, что это вы в белом?

— Бой есть праздник, Михаил Иванович, поиному не мыслю.

— Правильно, Михаил Дмитриевич, и я не мыслю. Но днем, а не ночью. Днем, при солнышке.

— Сниму, — мгновенно согласился Скобелев. — Бешмет вон казачий надену, только возьмите, Христом-богом…

— Как взять, как, в каком роде, генерал? — маялся Драгомиров, любивший Скобелева за отвагу и независимость. — В ординарцы ведь…

— Пойду, — торопливо перебил Скобелев. — За честь почту при вас и при таком деле в качестве ординарца. Прикажете в понтон?

— При мне до утра, — сухо сказал Драгомиров. — Подтяните Минский полк и чтоб разговоров — ни-ни!

— Слушаюсь, Михаил Иванович! — просиял Скобелев. — И благодарю. От всего сердца благодарю!..

А роты все шли и шли, будто 14-я дивизия отправляла на тот берег не восемнадцать понтонов, а добрую половину Волынского полка. Вся идея прорыва главных сил русской армии строилась на быстроте маневра и его внезапности, количество войск ради этого было сведено до минимума, но нетерпение уже охватывало всегда спокойного и невозмутимого генерала, и он начинал нервно пощипывать тощий монгольский ус.

— Погрузка закончена, Михаил Иванович, — негромко доложил начальник переправы генерал-майор Рихтер. — Прикажете отваливать?

— Обождите. — Драгомиров снял фуражку, шагнул к тяжело, по самые борта, нагруженным понтонам. — Вы уходите, а я остаюсь. Второй эшелон погружу — и за вами. Я хотел бы вместе, да служба не велит, так что на время расста-

немся… — Он помолчал, покрутил фуражку в задрожавших руках. — Одно помните — от вас все дело зависит. Либо через Дунай, либо — в Дунай, иного пути у нас нет. Ничего не обещаю, и помощь не скоро придет, и артиллерия не скоро поддержит — сами вы все должны исполнить. Не стреляйте в темноте без толку: целей не видать, а турки сразу поймут, что вас горсточка. А главное, сигналов об отступлении быть не должно и не будет. Колите того штыком, кто сигнал такой подаст, тут же на месте и колите, потому что это либо трус, либо враг. Не ищите своих офицеров, держитесь тех, кто поближе, и выручайте друг дружку. Помните об этом. С Богом! С Богом, друзья мои! С Богом, герои, до встречи на том берегу — в Болгарии!

Не гремели оркестры, не развевались знамена, никто не кричал «ура». Матросы молча отпихнули баграми тяжелые паромы. Дружно и плавно поднялись весла, громоздкие суда медленно тронулись по протоке к Дунаю, скрытые тьмой и низким островом Аддой, еще загодя занятым ротами Брянского полка. Генерал Драгомиров, держа в руках фуражку, глядел им вслед, пока неясные силуэты не растаяли в ночной мгле. Тогда он вздохнул, перекрестился и надел фу-

ражку.

— Грузите артиллерию немедля.

К причалам уже подходили грузовые понтоны. Матросы плотно чалили их, устанавливали сходни. Где-то совсем рядом всхрапнула лошадь, послышался тихий ласковый голос ездового:

— Стоять, милая, стоять.

— Минчане подошли, — сказал вновь возникший за плечом Драгомирова Скобелев. — А на этом участке у турок черкесов нет, Михаил Иванович.

— Почему так полагаете?

— Минчане уток вспугнули на подходе, а на той стороне тишина. Черкесы сразу бы всполошились: вояки опытные.

— Слава богу, коли так. Минский полк вам поручаю, Михаил Дмитриевич.

— Благодарю. Только уж и на ту сторону с ними, а?

— Все там будем, — строго сказал Драгомиров. — Путь у нас один: только в Болгарию.

Ездовые осторожно вводили на понтоны испуганно всхрапывающих лошадей, расчеты готовили к погрузке пушки и зарядные ящики. Все делалось молча, без обычных шуток, ругани и команд.

— Лапушки наши заряжены, Гусев? — тихо спросил Тюрберт.

— Лично заряжал, ваше благородие. Картечный снаряд, как велено.

— Брянов с первым эшелоном пошел. Помнишь капитана Брянова, Гусев?

— Как не помнить, в Сербии, чай, вместе горюшко хлебали.

— Да… Вели ездовым лошадей за храп держать, пока не переправимся. А коли ранят какую — душить всем дружно, чтоб я и вздоха ее не услышал. Всю батарею предупреди.

— Не извольте беспокоиться, ваше благородие, понимаем, куда идем.

К тому времени передовые понтоны со стрелками Остапова и Фока уже вышли на стрежень. Тучи перекрыли луну, на турецком берегу было тихо, темно и пусто, но верховой ветер принес волну, паромы закачало и стало заметно сносить по течению.

— Навались, гребцы, навались, мать вашу! — сквозь зубы шепотом ругался Остапов.

Однако ветер и разыгравшаяся река уже разорвали единый строй понтонов. Турецкий берег, на котором не видать было ни одного огонька, утонул в кромешной тьме, и офицеры, как ни

всматривались, не могли определить ни одного ориентира. Понтоны, медленно пересекая течение, шли в черную неизвестность.

Первым врезался в отмель понтон с сорока пятью стрелками Остапова; нос уперся в песок, течение развернуло корму к берегу, и понтон накренился, черпая воду. Подняв револьвер над головой, капитан первым прыгнул в воду.

— За мной! Оружие беречь!

Он ожидал залпа, окрика, но берег молчал. Остапов брел по пояс в воде, сабля путалась в ногах. Позади с шумом и плеском шли стрелки. Так они и выбрались на берег, никого не потревожив, не зная, где свои, где чужие. За узкой полоской песка начинался крутой и высокий глинистый обрыв. Распределив солдат, капитан направил охранение вверх и вниз по берегу, а сам с основной группой стал подниматься на откос. Солдаты лезли, втыкая штыки в глину, рубя ступени, подставляя друг другу плечи, цепляясь за корни и неровности. С трудом выбравшись наверх, залегли, вглядываясь в темноту.

— Ни хрена не видать. Все подтянулись?

— Так точно, ваше благородие, все как один.

Ниже гулко ударил выстрел, и тотчас же все вершины доселе затаенно молчавшего враже-

ского берега отозвались разрозненной ружейной пальбой. Это была настороженная стрельба наугад, по еще невидимому, но ожидаемому противнику.

— Ах вот вы где, мать вашу! — закричал Остапов, вырывая из ножен саблю. — Вперед, ребята! Не стрелять! В штыки их, в штыки!..

Первый выстрел, переполошивший турок и создавший впоследствии особые трудности для стрелков капитана Фока, был, по сути, случайным. Высадившиеся почти одновременно с Остаповым пластуны, пользуясь темнотой, берегом проникли в устье пересохшего ручья Текир-Дере и вышли к турецкому пикету. Турки окликнули, но казачий есаул, шедший впереди, спокойно ответил по-черкесски:

— Свои. С той стороны возвращаемся.

Турки, поверив, подпустили их и тут же были взяты в кинжалы. Уцелел до времени один, находившийся у караулки, успел подать сигнал, и береговые склоны ответили огнем разрозненных винтовочных выстрелов. В устье Текир-Дере начинался ад: турки занимали высоты и, обнаружив врага, начали бить беспорядочным, но массированным огнем. Пластуны сразу оказались прижатыми к откосам.

Сюда, в эту простреливаемую со всех сторон низину, прибило паромы Фока. Вода кипела от пуль, стояла сплошная винтовочная трескотня.

— Стрелки, за мной! — перекрывая грохот, крикнул Фок. — Барабанщик, атаку!

Он бежал по мелководью, слыша дружный солдатский топот за спиной и испытывая странное, впервые возникшее чувство благодарности. Раненые падали в воду, но подбирать их не было ни времени, ни возможностей. Дело решали секунды, и Фок, правильно оценив это, решительно вел свои «механизмы, при винтовке состоящие» на штурм обрывов, ощетиненных турецким огнем.

Чуть ниже высаживался Ящинский. Едва ступив на берег, рванул из ножен саблю:

— Вперед, брат…

И, взмахнув руками, упал навзничь, так и не закончив команды. Солдаты бросились к нему, приподняли, но штабс-капитан был уже мертв: пуля попала в висок.

— Отпелись… — горько и растерянно сказал кто-то.

Унтер-офицер, державший на коленях пробитую голову командира, бережно опустил ее на песок и встал.

— Чего столпились? Вперед! Бей их, сволочей,

ребята! За мной!

Солдаты приступом взяли обрыв, выбили турок из передовых ложементов и с боем прорвались к стрелкам. Унтер нашел Фока, вытянулся, приткнул к ноге винтовку с окровавленным штыком:

— Разрешите доложить, унтер-офицер восьмой роты Малютка. Командира убило…

— Ложись и докладывай толком.

— Так вы же стоите, ваше благородие.

— Потому и стою, что благородие. Значит, погиб Ящинский?

— Так точно. В висок.

— Сколько с тобой?

— Семнадцать.

— Видишь внизу караулку? Бери своих и штурмуй. Как тебя? Малютка? Уцелеешь, произведу во взрослые. Барабанщик, атаку ящинцам!

Бессистемная стрельба шла по всему берегу. Взвыли турецкие сигнальные рожки, вспыхнули смоляные шесты, оповещая гарнизоны о русском десанте. Послышался сильный шум и в Вардине, где стояла вражеская артиллерия. Турки спешно собирали таборы, намереваясь ударами с трех сторон уничтожить немногочисленный русский отряд.

Но пока царила сумятица: как выяснилось позднее, пластуны сумели-таки просочиться за линию турецких охранений и перерезали телеграфную связь. Пользуясь темнотой и суматохой, Остапов без единого выстрела занял виноградники, развернул стрелков в жидкую цепь фронтом к Свиштову и отчаянной штыковой атакой встретил первые турецкие подкрепления, спешно брошенные в устье Текир-Дере.

— Не стрелять! — хрипло орал он, отбиваясь саблей сразу от двух турок. — Не стрелять, сукины дети! Ломи их, в аллаха мать!..

Семнадцать человек, уцелевшие с понтона Ящинского, бежали к турецкой караулке молча. Они скатились с правого откоса, турки поначалу то ли не заметили атакующих, то ли приняли за своих, а когда опомнились, было уже поздно. Единственный залп, который успели они сделать, был торопливым и неприцельным; ящинцы так же молча, без «ура» приблизились на штыковой удар, и только тогда унтер Малютка на последнем выдохе выкрикнул, как на ученье:

— Коли!..

Семнадцать штыков с разбегу вонзились в человеческие тела, тут же четко и умело были выдернуты и снова вонзились — уже вразнобой, уже

не все семнадцать. Уже началась рукопашная, уже приходилось и отбивать выпад противника, и подставлять винтовку под удар ятагана, и крушить черепа прикладом. Но этот молчаливый стремительный штурм так ошеломил турок, что, вяло посопротивлявшись, шесть десятков аскеров в панике бежали к водяной мельнице.

Чуть светало. В сером предрассветном сумраке уже прорисовывались кромки турецких высот, темные силуэты понтонов на реке и вершины возле села Вардин, занятые турецкими батареями. Оттуда прогремел первый выстрел, снаряд с воем пронесся над стрелками Фока и разорвался в Дунае, подняв высокий фонтан.

Вся река была усеяна понтонами. Пустые торопливо отгребали назад, к своему берегу, перегруженные с трудом преодолевали течение. Теперь, когда с каждой минутой становилось светлее, турки обрушивали на суда яростный ружейный огонь. Продырявленные пулями, понтоны набирали воду, команды не успевали ее вычерпывать; все чаще то один, то другой понтон, переполнившись, шел на дно.

Взятие караулки обеспечило правый фланг Фока, но его теснили и с фронта и с левого фланга. Он то и дело поднимал своих людей, бросал их в

короткие контратаки и отходил снова, охраняя место основной переправы и боясь оказаться отрезанным от берега. Несмотря на рассвет, он упорно не ложился; высокая его фигура все время маячила впереди цепи. После бесконечных рукопашных схваток мучительно ломило плечо; он морщился, перехватывал саблю в левую руку, пытался растереть занемевшие мышцы. По мундиру расползалось темное пятно: в последней схватке штык аскера достал-таки до капитанских ребер, но, к счастью, скользнул, лишь надломив кость и сорвав лоскут кожи. Фок никому не говорил об этом и старался держаться так, чтобы солдаты не заметили, что он ранен.

— Ваше благородие, ложись! — время от времени зло кричали стрелки. — Убьют тебя — все тут поляжем!

— А смотреть кто будет? — огрызался капитан, страдая от боли в растренированной руке, которой досталось сегодня столько работы. — Ваше дело шкуры беречь и исполнять что прикажут.

— А коли приказывать станет некому?

— Коли некому, так в штыки! Все дружно, а ежели кто замешкается, я с него и на том свете спрошу!

Как бы ни было тяжело стрелкам Фока, Остапо-

ва и уже успокоившегося Ящинского, а понтоны с того берега шли. Вразнобой, потеряв связь, приткнувшись к случайному месту, они все же доставляли солдат, и солдаты эти, зачастую сразу же теряя офицеров, все же упрямо лезли на обрыв, штыками отбрасывали турок и цепко держали узкую полоску берега. Часть их прибилась к Фоку, десятка два провел в устье Текир-Дере поручик Григоришвили, раненный в плечо в первой же атаке: вместе с уцелевшими солдатами унтера Малютки он упорно штурмовал засевших на мельнице аскеров.

Благополучно переправился на вражеский берег и командир первого эшелона генерал-майор Иолшин. Вместе со штабными офицерами он сидел под обрывом и страдал от бездействия: руководить боем в такой неразберихе было немыслимо.

Турки ожесточенно атаковали Остапова. Поредевший в схватках отряд его, пополненный пластунами и частью гвардейских офицеров полковника Озерова, упрямо держался за виноградники, перерезав туркам дорогу к Текир-Дере. Остапову пуля раздробила коленную чашечку; он лежал в пыли на дороге, собрав вокруг себя раненых, и, страшно ругаясь, отбивал атаки

четкими ружейными залпами. Командование принял Озеров.

— Только не вздумайте стрелять, полковник, — скрипя зубами от боли, сказал Остапов; ему очень хотелось ругаться, он грубил, но в присутствии старшего воздерживался. — Штыками их, штыками!

— Я слышал приказ, капитан. Держите дорогу.

— Ну уж тут-то они только по трупам: мне ногу перебило. А вот вам придется побегать.

— Доктора утверждают, что это полезно для здоровья, — усмехнулся Озеров, уходя в цепь.

— Стрелять только раненым! — вдогонку прокричал Остапов. — Только тем, кто уж и на ногах-то не стоит! Слышите, гвардия?..

Но время текло своим чередом, и, как ни внезапен был русский удар, турецкое командование в конце концов разобралось в обстановке. Из трех наиболее активных очагов сопротивления самым неустойчивым им представился участок Фока. И туда, на его измотанных, израненных и немногочисленных стрелков, турки и бросили подошедшие из Вардина свежие резервы.

5

Брянову не повезло с самого начала: понтон, на котором находился капитан с сорока пятью солдатами, закрутило на быстрине с особой затейливостью, развернув почти в обратную сторону. Гребцы, привставая на скамьях, с силой налегли на весла, и весла не выдержали — три хрустнули пополам, и потерявший скорость и управление понтон потащило по течению. Пока гребцы разбирались с веслами, чтоб уравнять количество их с обеих сторон, судно успело уйти далеко вниз, потеряв всякую связь с соседним понтоном прапорщика Лукьянова. Когда наконец-таки приткнулись под обрыв, спускавшийся в этом месте к самой воде, в устье Текир-Дере и на высотах вокруг уже кипел бой.

Здесь пока не стреляли, но обрыв был на редкость высок и крут; терять время на подъем, а затем завязывать бой в стороне от основного удара было бессмысленно, и Брянов, не раздумывая, принял решение — берегом быстро и по возможности скрытно добраться до своих, выйти во фланг туркам и внезапно атаковать их.

Полоска песка была тут настолько узкой, что временами приходилось идти по воде. Отряд

двигался с возможной быстротой, прикрытый от турок кручей; дважды они слышали голоса и топот наверху, но никто их не обнаружил, и они не задержались ни на мгновение.

Все ближе и ближе слышалась стрельба и дикие крики атакующих аскеров. Брянов спешил, иногда переходя на бег, и все время неотступно думал о том, как поведут себя эти сорок пять человек, что, сдерживая дыхание, спешили за ним, не отставая ни на шаг и заботливо следя, чтобы не бряцало оружие. На бегу он поскользнулся, но не упал, с двух сторон бережно подхваченный сильными руками.

— Осторожней, ваше благородие, — дыхнуло сбоку крепким махорочным перегаром.

Это был пустяк, обычная товарищеская услуга, но Брянов почему-то сразу поверил, что рота уже его, что она признала в нем своего командира, уверовала в него и теперь без колебаний пойдет туда, куда он ее поведет. Не прикажет идти, а именно поведет, поведет сам, впереди всех; это допущение он на всякий случай оставил про запас. А подумав, тут же отбросил все эти мысли и стал размышлять уже о бое, пытаясь представить себе, где могут зацепиться наши и в каком месте ему следует подняться на обрыв и оказаться

у турок на фланге не слишком далеко, но и не чересчур близко, чтобы солдаты успели собраться вместе и отдышаться после крутизны. А бой приближался, и они уже различали не только отдельные выстрелы, но и свист пуль над головой.

Брянову некогда было думать о понтонах своей роты: он думал о более насущном: о своей конкретной задаче в этом бою. Понтоны разбросало при переправе, часть его солдат оказалась выше Текир-Дере и тут же пристала к остаповцам, часть — в самом устье и перебралась к мельнице, а понтон прапорщика Лукьянова затонул недалеко от турецкого берега. Лукьянов собрал тех, кто выплыл, и, не оглядевшись, тут же полез на обрыв, вышел во фланг туркам, атакующим Озерова, но слишком далеко и поэтому был смят и уничтожен аскерами. Безусый прапорщик долго мучительно хрипел на застрявшем в груди турецком штыке.

А отряд Брянова все еще бежал под обрывом, когда сверху почти им на головы с шумом скатились двое в изодранных, окровавленных рубахах.

— Стой! Кто такие?

— Свои, не видишь? — задыхаясь, прохрипел один из них, но тут же узнал офицера. — Виноват, вашбродь. Раненые мы, турки сбили. Ох ломит он, ох ломит!

— Откуда?

— Стрелки третьей роты капитана Фока. Ох и жмет турка, ох жмет!..

— Поднять меня на обрыв! — прокричал Брянов. — За мной! На выручку!

Десятки солдатских рук тут же подняли его в воздух. Он уцепился за корни, нащупал носками сапог расселину и полез наверх, подтягиваясь на руках. Он сейчас уже не думал о своих солдатах: он знал, твердо знал, что они ползут следом по крутому, твердому, как камень, глинистому обрыву; он думал о Фоке и его стрелках, что дрались здесь все то время, пока он спокойно шел под защитой обрыва. Ему хотелось крикнуть им, что он рядом, что он спешит на помощь, но подъем отнимал все силы, и на крики не оставалось дыхания. Он взобрался на откос, вскочил на ноги и в нескольких шагах от себя увидел турок. Они еще не заметили его; Брянов мог бы снова упасть на землю и подождать, пока поднимутся все его солдаты, но тут же в сумраке, в огневых вспышках, за этими аскерами он увидел и Фока: собрав вокруг себя стрелков и ощетинившись штыками, капитан отчаянно отбивался от наседавших со всех сторон турок.

— Иду, Фок! — все-таки хрипло выкрикнул Бря-

нов, вырвав из ножен саблю. — За мной, ребята!..

И, никого не дожидаясь, бросился в свалку. Ударил саблей одного, с выпадом ткнул второго и вдруг почувствовал, как его отрывают от земли. Не ощущая боли, он рубил саблей кого мог достать, рубил, уже поднятый в воздух, уже распятый девятью турецкими штыками, рубил до тех пор, пока штыки эти не отбросили его тело к краю обрыва. Услышал отчаянный крик всегда спокойного фельдфебеля Литовченко:

— Капитана убили! Бей их, мать в перемать!.. Круши! За командира, ребята! За командира!..

Это было последним реальным звуком, который расслышал капитан Брянов. В следующее мгновение перед ним взметнулись качели и все звуки ушли; он видел сестренку, ее смеющиеся сияющие глаза: «Выше! Еще выше! Еще!..»

Внезапный удар бряновцев во фланг атакующих турок не только спас стрелков, но и позволил им перейти в атаку. Опираясь на штыки, которые вел за собой осатаневший от ярости Литовченко, Фок отбросил турок на прежние позиции. И впервые за эту ночь сел на липкую от крови землю, задыхаясь и бережно ощупывая изрезанную штыками левую руку: он отбивал ею выпады аскеров в бою.

— Ваше благородие… Ваше благородие, разрешите обратиться!

— Ты кто?

— Фельдфебель Литовченко, вашбродь. Бряновцы мы.

— Спасибо за помощь, бряновцы.

— Ваше благородие, дозвольте отлучиться. Товарища вынести.

— Раненым не помогать, ты что, фельдфебель, приказа не знаешь? Пусть санитаров ждут, у меня каждый штык на счету.

— Да не раненый он, вашбродь. Он убитый. Дозвольте…

— Тем более если убитый. Ступай.

— То командир мой, их благородие капитан Брянов.

— Брянов убит?.. — Фок тяжело поднялся, опираясь на саблю. — Врешь! Покажи где.

— За мной идите, вашбродь. Он первым на них бросился, нас не дождавшись.

Литовченко подвел Фока к лежавшему у обрыва окровавленному Брянову. Фок опустился на колени.

— Эх, волонтер… — Он прижался ухом к груди. — Дышит, кажется?.. Фельдфебель!

— Тут я, ваше благородие, тут. Глядите, и саблю

не выпустил. Как прикипела…

— Вот так с саблей и неси его. Дотащишь один?

— Дотащу. Я перед собой его. На руках.

— Дождешься на берегу санитаров и первой же партии передашь. И ни на шаг от него, понял? Если гнать будут, скажешь, что я так приказал, я, капитан Фок!

И не оглядываясь, пошел к цепи, с каждым шагом ощущая, что болит уже не занемевшая от сабли правая рука, не изрезанная до костей левая, не бок, проткнутый штыком, — что болит все его тело. А помощь все не шла, турки собирались в очередную атаку, и до победы было куда дальше, чем до смерти.

6

Артиллерийские понтоны — рубленные из бревен платформы, опиравшиеся на тяжелые рыбацкие шаланды, — были медлительны и неповоротливы. Отвалив от берега позже, чем понтоны с пехотинцами первого эшелона, они медленно огибали остров Адду, медленно добирались до основного русла. Уже все береговые склоны опоясались ружейным огнем, уже Фок и остаповцы намертво вцепились в свои щедро политые кровью плацдармы, уже погиб Ящинский,

уже поручик Григоришвили, охрипнув от команд и слабея от раны, в шестой раз бросался на штурм мельницы, а артиллерия, грузно покачиваясь на осевших шаландах, еще только-только миновала стремнину Дуная.

К этому времени чуть просветлело, турки обнаружили испятнившие всю реку понтоны, открыли яростный ружейный огонь, и первые снаряды вражеской батареи, расположенной у Вардина, начали пристрелку. Вода кругом кипела от пуль и осколков, но понтон Тюрберта был пока цел, а на соседнем, которым командовал его субалтерн-офицер подпоручик Лихачев, ранило лошадь. Она дико заржала, забилась, грозя запутать постромки и разбить ограждение, но артиллеристы, дружно навалившись, придушили ее и тут же скинули в Дунай.

Время шло, а кипевший огнем и боем вражеский берег почти не приближался. Тюрберт нервничал, с трудом унимая растущее раздражение и вызванную этим мучительную внутреннюю дрожь. Он был человеком активных действий, легко ориентировался в боевой обстановке, но терпеливо выжидать не умел и не любил. Понтон был до отказа забит орудиями, лошадьми, зарядными ящиками, люди стояли впритык друг к

другу, и он даже не мог подвигаться, чтобы унять эту нервную трясучку и хоть как-то отвлечься. В сотый раз он прикидывал, где они могут пристать, как втащат на обрыв пушки и куда в первую очередь следует направить неожиданный для турок сокрушительный картечный огонь. И все время советовался с невозмутимым Гусевым:

— На руках втащим?

— Втащим, ваше благородие.

— Главное — пушки. Лошадей пока под обрывом оставим, а снаряды — на руках.

— На руках, ваше благородие, это точно. Ты не беспокой себя понапрасну.

— Представляешь, как там Брянову достается?

— Всем достается. Известное дело, без артиллерии.

— Господи, ну что же так медленно, что же так медленно!..

Тюрберт не знал, что как раз во время этого разговора Фока потеснили к обрыву, Брянов был поднят на штыки, а удар его солдат спас стрелков от неминуемой гибели. Не знал, что аскеры вскоре снова навалились на Фока и прибившихся к нему бряновцев. Фок то и дело бросал свой отряд в штыковые контратаки, уже не ощущая ни времени, ни боли, ни даже усталости. Все слилось в

один кошмарный клубок: атака — рукопашная — короткий бросок вперед и снова штыковой бой. Сабля у капитана сломалась, он теперь отбивался ружьем и с ним наперевес водил в бесконечные контрброски своих грязных, окровавленных, нечеловечески уставших солдат.

А Григоришвили все же ворвался на мельницу. Все тот же унтер Малютка во время последнего штурма успел спрятаться в кустах, при первой возможности взобрался на крышу и, разметав черепицу, через пролом бросился внутрь. И тут же погиб, проткнутый десятком штыков, но на какое-то мгновение отвлек аскеров от окон, и Григоришвили успел с последним отчаянным приступом.

— Пленных не брать! — кричал он, путая грузинские и русские слова. — Бей их, братцы! Бей насмерть!

Получил удар прикладом в голову, отлетел к стене и сел на пол, чудом сохранив сознание. Его солдаты в тесных и темных помещениях добивали последних защитников мельницы. Стоял лязг оружия, хриплая ругань, вопли и стоны раненых и умирающих, а поручик, слыша все это, никак не мог удержать голову прямо: она валилась с плеча на плечо, как у болванчика. Потом наступила

тишина, он хотел встать, но не сумел, и тут же кто-то присел рядом:

— Живы, вашбродь?

— Что турки?

— Перебили.

— Немедленно на берег. Найдешь генерала Иолшина, скажешь: путь свободен. Пусть строит дорогу для артиллерии. А мне… воды из Дуная. Хоть в фуражке…

Остапов по-прежнему валялся в дорожной пыли, окончательно обессилев от потери крови и даже перестав ругаться. К нему подползали раненые с оружием, те, которые уже не могли ходить в атаку, но еще могли стрелять. И он отбивался огнем от наседавших из Свиштова турок, а Озеров от них же отбивался штыками. Гвардии поручики Поливанов и Прескотт были уже убиты, сам Озеров ранен. Зажав окурок погасшей сигары, он водил солдат в атаку, сквозь зубы ругаясь по-французски.

А Тюрберт все еще пересекал Дунай…

— Ваше благородие, тонем!…

В сплошном грохоте выстрелов он не расслышал тех, что поразили его понтон, не почувствовал, как пули пробили борта, как хлынула вода в тяжелые шаланды.

— Тонем!..

Тюрберт оглянулся, увидел серые, напряженные лица артиллеристов, пушку, ствол которой был направлен на тот страшный, огненный, кровавый берег. Замешательство длилось мгновение:

— Все за борт! Все! Отплывай подальше!

Расталкивая людей, он бросился к пушке. Присел, снял с запора, наводя на турецкий берег. И сразу пропала дрожь: он действовал, он знал, что ему надо делать.

— Все за борт! Живо за борт!

Понтон уже кренился набок, испуганно ржали и бились лошади. Ездовые ломали поручни, сталкивали лошадей в воду. Матросы покинули тонущие шаланды, и артиллеристы вслед за ними тоже прыгали в Дунай.

— Сбрасывай лошадей, чтоб наводить не мешали!..

— Ваше благородие! Ваше благородие, Александр Петрович, что ты делаешь?! Ведь убьет откатом, не закреплена ведь, убьет!

Гусев хватал за руки, тащил к борту. Тюрберт вырвался, впервые в жизни ударил подчиненного.

— Исполнять приказ!

— Саша! — забыв о субординации, забыв о сословном неравенстве, забыв обо всем и помня только, что перед ним самый дорогой человек, Гусев упал на колени. — Сашка, опомнись!..

— Вон! — Тюрберт схватился за кобуру. — Застрелю!

— Стреляй, — покорно сказал Гусев. — Лучше в меня, чем из пушки. Смерть это верная…

Тюрберт сунул револьвер на место, отер мокрое то ли от брызг, то ли от слез лицо.

— Там люди гибнут, Гусев. Они нас ждут, нас, артиллеристов, как спасение, ждут как надежду. Там… Там — Брянов, Гусев. Что же прикажешь, без надежды его оставить? Уходи.

Гусев поднялся с колен. Шаланды наполнились водой, и понтон на какое-то время выровнялся. Ездовые уже сбросили лошадей, попрыгали сами, и на понтоне остался теперь только командир и его старый боевой помощник. Настил заливала вода.

— Прощай, Александр Петрович. — Гусев низко поклонился Тюрберту и, перекрестившись, бросился за борт.

Тюрберт уже ничего не слышал и не видел. Он стоял в воде на коленях, тщательно наводя орудие. Ориентиров не было никаких, он наводил по

наитию, но боевое вдохновение его было сейчас великим, прозорливым и прекрасным. Все накопленное им мастерство, весь опыт, вся любовь и вся ненависть сошлись сейчас в его прицеле.

— Держись, Брянов, — шептал он, выравнивая крен. — Держись, друг мой. Держись… И живи!..

И дернул спуск. Рявкнул единственный с русской стороны пушечный выстрел, и понтон разнесло на куски. Обломки его на миг поднялись над водой и тут же канули в пучину.

А единственный картечный снаряд разорвался в цепи атакующих турок. Ликующий крик вырвался из пересохших глоток стрелков капитана Фока. В едином порыве они смяли растерявшихся аскеров, вырвались из смертного кольца и далеко отбросили противника от берега. Правый фланг их примыкал теперь к занявшим мельницу солдатам Григоришвили, а те, в свою очередь, пробились к Остапову. Вместо трех разрозненных береговых участков русские к исходу третьего часа ночи сумели создать общий плацдарм и организовать единую систему обороны.

Как только рассвело, береговая русская артиллерия открыла частый сокрушительный огонь по всей линии турецких позиций. Самое главное было сделано: турки оказались отброшенными от

берега; можно было начинать систематическую переправу войск, наращивая силы для удара.

Уже ушли вторые эшелоны десанта, уже субалтерн-офицер погибшего Тюрберта подпоручик Лихачев, благополучно добравшись до берега, втащил свои пушки на обрыв и прямой наводкой громил наступающих из Свиштова турок, уже грузились в понтоны первые санитары. Уже можно было передохнуть: Остапова подтащили к берегу, Григоришвили напился воды из солдатского кепи, а капитан Фок наконец-таки смог лечь. Его бил озноб, и, хотя он не говорил об этом, его стрелки искали шинель и вскоре нашли. Турецкую, окровавленную и короткую. Фок с трудом завернулся в нее.

— Пора и нам туда, — сказал Драгомиров Скобелеву. — Надо посмотреть на месте и, пожалуй, приостановить на время движение вглубь.

— Если позволит обстановка, Михаил Иванович. Разрешите мне обойти позиции?

— Видимо, придется. — Драгомиров обернулся к адъютанту. — Доложите генералу Радецкому, что я счел необходимым переправиться на тот берег. Со мной чины штаба и генерал Скобелев-второй. Ступайте. Прошу на катер, Михаил Дмитриевич.

До катера генералы дойти не успели. Молодой

подпоручик Брянского полка догнал у причала:

— Ваше превосходительство, артиллерист из подбитого понтона на берег выбрался. Говорит, будто тот картечный выстрел успел произвести его командир…

Пока шли к берегу, подпоручик с юношеским восторгом и искренней завистью рассказывал о единственном выстреле русской пушки. Первом и последнем выстреле гвардии подпоручика Тюрберта в этой войне.

— …видел я его, ваше превосходительство: здоров как бык, одно слово — гвардия. Спокойно бы Дунай дважды переплыл, если бы захотел. А он не спастись — он выстрелить захотел…

Мокрый, еще не отдышавшийся Гусев сидел на песке в окружении брянцев. Увидев подходивших генералов, солдаты вскочили; Гусев поднялся тоже, но, зарыдав вдруг, упал на колени.

— Ваше высокопревосходительство, велите все, все ему отдать!.. — Он сорвал с груди ордена и, стоя на коленях, протягивал их Драгомирову. — Все ему отдаю, командиру моему Тюрберту Александру Петровичу. Все!..

— Как фамилия? — тихо спросил Драгомиров.

— Тюрберт, ваше высокопревосхо…

— Про Тюрберта знаю и доложу. Твоя как фа-

милия?

— Унтер-офицер Гусев.

— Надень свои кресты, Гусев, а Тюрберта мы не забудем.

Скобелев шагнул вперед, поднял Гусева с колен, поцеловал в мокрое от слез лицо.

— Спасибо за преданность, солдат. Ранен?

— Никак нет. Велите туда меня. Туда.

— Пойдешь туда. Переодеть, накормить, дать водки, отправить с артиллеристами.

Уже на катере, отваливая от берега, Драгомиров сказал:

— Вот на таких, как этот Тюрберт, и держится армия. Сам погибай, а товарища выручи. Прекрасно! Непременно в реляции отмечу. Подвиг его символический: с дружбой идем, а не с гневом. С великой дружбой…

7

Командир волынцев полковник Родионов переправился с последними ротами своего полка во втором эшелоне. Его понтон попал под губительный ружейный огонь, некоторые гребцы были убиты, многие ранены, что сильно замедлило движение. Когда наконец пристали неподалеку от устья Текир-Дере, бой на ближних высотах уже

откатился в глубину и наступила кратковременная передышка. Турецкое командование искало новое решение, перетасовывая подходившие резервы и все еще не веря, что дело проиграно. Доложив Иолшину о прибытии и получив приказание обосноваться в центре обороны, Родионов берегом вышел к пересохшему ручью, куда, пользуясь затишьем, солдаты начали стаскивать раненых. Уложив их на песок, тотчас же и уходили, понимая, что смены нет и что каждый штык на счету. И только одна фигура продолжала сидеть возле неподвижного тела.

— А ты почему сидишь?

— Виноват, ваше высокоблагородие, — вскочил фельдфебель. — Исполняю приказ Фока: не отходить от командира, пока санитарам не сдам.

— Стало быть, твой ротный, Литовченко? — Родионов знал всех фельдфебелей своего полка. — Неужто Брянов?

— Так точно, ваше высокоблагородие. Десять штыков в нем, а саблю не выпустил.

— Брянов, — со вздохом повторил полковник, опускаясь на колено возле капитана. — Ты слышишь меня, Брянов?

Брянов медленно открыл глаза. Он слышал весь разговор, но отвечать не хотел, потому что сил

оставалось мало. Из девяти ран две были в живот, он чувствовал их и понимал, что это — смерть. Но думал он сейчас не о смерти и не о жизни: думал о сестре, которая оставалась теперь одна, без всяких средств к существованию, и решал сейчас последнюю задачу. Задачу, как обеспечить ей пенсион, до которого он так и не успел дослужиться. Полковник Родионов был не в состоянии ему помочь, и Брянов молчал, сберегая силы на тот случай, если удастся поговорить с кем-либо из всемогущих. Этот крест капитан не имел права сбросить с плеч и на пороге смерти.

— Тюрберта, — еле слышно сказал он, с трудом разлепив искусанные губы. — Мне Тюрберта…

— Да, да, — не поняв, вздохнул Родионов. — Ты вон какой, а я-то думал… Спасибо, капитан. — Он коснулся руки Брянова, не решившись пожать ее, и встал. — Береги его, фельдфебель.

Генерал Драгомиров с офицерами штаба и самозваным ординарцем генералом Скобелевым-вторым добрался до берега без особых помех. Иолшин усиленно занимался строительством дороги для подвоза артиллерии, бросив на эту работу горстку саперов и всех своих офицеров. Дело было важным, но, судя по рапорту, обстановку Иолшин знал плохо.

— Я распорядился, чтобы командиры прислали посыльных, — поспешно добавил он.

Драгомиров промолчал, понимая, что Иолшин упустил из рук командование не по своей вине, но с трудом скрыл неудовольствие. Хотел ответить помягче, но Скобелев ничего скрывать не умел.

— Дорогу строите? — резко спросил он. — Похвально. Только от посыльных чуда не ждите: тот, кто пошлет их, три часа в бою был. Это вам не под обрывом сидеть.

— Извините, генерал, не знаю, в какой должности вы здесь пребываете, но я просил бы вас… — покраснев, раздельно начал Иолшин, но Драгомиров мягко остановил его:

— Потом, господа, потом. Главное — обстановка.

— Разрешите исполнять должность? — с вызовом спросил Скобелев.

— Идите, голубчик, — вздохнул Драгомиров, — от посыльных и вправду толку мало. — Он оглядел Скобелева и с неудовольствием покачал головой. — А обещали бешмет надеть.

— Прятать русский мундир оснований не имею, — проворчал Скобелев. — Ни под бешметом, ни под обрывом.

И, поклонившись, быстро пошел берегом к ле-

вому флангу обороны. К отряду капитана Фока.

В самом устье Текир-Дере убитых было немного. Еще издали генерал опытным взглядом оценил крутизну откосов и подивился, что потери невелики. Участок располагал на редкость удобным для обороны рельефом, но турки плохо использовали это обстоятельство, не укрепив, как следовало бы, береговую линию. «Тут, кажется, повезло», — отметил про себя Скобелев и стал подниматься на обрыв, но искал не легкий путь, а место, где поднимались солдаты. И, пока лез, думал, что повезло удивительно: штурмовать такую крутизну было все едино что крепостную стену. А когда поднялся наверх и огляделся, понял, что поторопился с выводом, что малое число убитых под обрывом не следствие тактического недомыслия турок, а результат быстроты, решительности и отчаянной отваги русских солдат и офицеров.

Генерал стоял сейчас на том месте, которое Фок удерживал в течение трех часов. Сюда отжимали его турки, и отсюда, с края обрыва, он вновь и вновь бросался вперед, шаг за шагом расчищая путь. Каждый аршин здесь стоил крови, и трупы громоздились друг на друге, покрывая эти аршины. Генерал перешагивал через мертвых,

повсюду слыша проклятия и стоны раненых и умирающих, и земля, пропитанная кровью, тяжко хлюпала под его сапогами. Скобелева трудно было удивить полем боя — он сам ходил в штыковые и водил за собой казачьи лавы, — но то, что он видел сейчас, было за гранью человеческих возможностей. Он шел и считал убитых, ведя отдельный учет для своих и врагов, и по беглому этому подсчету получалось, что на каждый русский штык тут приходилось свыше двух десятков турецких. «Как же вы устояли тут? — с горечью думал он. — Ах, ребята, ребята, досталась вам сегодня работка, какой и врагу не пожелаешь…»

К тому времени турки, перестроившись, вновь открыли огонь со всех высот, но к более активным действиям пока не переходили, и наши передовые цепи устало и затаенно молчали. Пули свистели вокруг генерала, вонзаясь в уже убитых и добивая ползущих, но Скобелев шел, не убыстряя шага и не пригибаясь. Только смотрел теперь не на поле боя, а на занятые противником высоты, по плотности огня определяя линию вражеского фронта, расположение командных пунктов и даже стыки между отдельными частями.

Так он вышел к стрелкам Фока, занявшим

гребень высотки. Левый фланг их упирался в глубокую промоину, правый смыкался с расселиной Текир-Дере, и Скобелев с удовольствием отметил тактическую безупречность занимаемой позиции.

— Молодец, — сказал он Фоку после рапорта. — А за ночь вдвойне: я полем шел, видел.

— Отбиваться буду огнем, — с непонятным ожесточением объявил капитан. — Ставлю вас о том в известность, так что уж насчет экономии патронов извините.

— Есть кому сдать командование участком? — помолчав, спросил генерал.

Фок отрицательно покачал головой. Обычно Скобелев обращался к офицерам запросто, на «ты», любил это обращение, но сейчас чувствовал некоторое неудобство.

— Временно поручите унтеру — и в лазарет.

Фок еще раз покачал головой. Он стоял перед Скобелевым, не по-уставному расставив ноги, чтобы не упасть. Левую руку ему кое-как перевязали солдаты, но от потери крови и нечеловеческой усталости его до сей поры бил озноб, от которого не спасала и наброшенная на плечи короткая турецкая шинелька.

— В лазарет нужно всех, — нехотя сказал он. —

А всех нельзя, значит, будем ждать смены.

— Всех нельзя, а вам надо.

— А они что? — Фок насильственно усмехнулся. — Извините, ваше превосходительство, мы тут устали немного. Хорошо бы щелочи.

— Чего?

— Водки, — пояснил Фок. — Либо полную смену, либо двойную винную порцию.

— Хлебните. — Скобелев достал из кармана фляжку.

Фок облизнул пересохшие губы. С трудом проглотил комок.

— Благодарю, ваше превосходительство, но на всех нас вашего коньяка не хватит.

— А вы солдат, капитан, — тихо сказал Скобелев, так и не решившись поцеловать Фока. — Первый резерв вам на смену отправлю.

— Не торопитесь обещать, ваше превосходительство. — Фок снова усмехнулся. — Вы еще у Григоришвили не были, Остапова не видали. Повидайте их, а уж там и решайте, чья первая очередь.

— Вы правы, — сказал генерал. — Вы совершенно правы, капитан. Надеюсь на встречу в будущем. Не провожайте.

— Благодарю, — буркнул Фок и, не дожидаясь

ухода генерала, сел на землю.

Скобелев шел вдоль позиций, с уважением думая о железном упорстве стрелков и о суровой воле их командира. Стало светло, пули то и дело щелкали совсем рядом, но он не обращал на них внимания. А вскоре перестал думать и о Фоке, часто останавливаясь и внимательно вглядываясь в очертания занятых турками высот. Там уже приметили генеральскую фигуру в белом, уже целились в нее; Скобелев вскоре почувствовал это по густоте обстрела, сердце щемило от близости пролетавших пуль, но он давно уже строго-настрого приказал себе не кланяться им. Усталые стрелки Фока с удивлением провожали его высокую, не сгибающуюся под огнем фигуру, и пожилой сказал:

— Нет, братцы, не видать этому генералу ратной смерти. Заговоренный он, братцы, ей-богу, заговоренный.

Еще на спуске в низину Текир-Дере Скобелев заметил пожар: горела мельница, с таким трудом занятая отрядом Григоришвили. Сам поручик сидел под кустами позади своей жидкой, неимоверно растянутой цепи; перед ним стояло конское ведро, к которому он то и дело прикладывался, как лошадь сквозь зубы втягивая воду. За ночь

на щеках выросла щетина, и поручик выглядел сущим абреком. При виде генерала он попытался встать, но Скобелев остановил его и сел рядом.

— Горишь? — спросил он, имея в виду полыхавшее жаром лицо офицера.

— Турок недобитый поджег! — гневно сказал Григоришвили. — Сам поджег, сам и сгорел, дурной человек!

— Кто тебя заменить может?

— Зачем заменять? Что на берегу лежать, что здесь лежать. Унтер хороший был, ваше превосходительство, жаль, фамилию не спросил. Ах жаль!..

— Кто левее тебя?

— Пластуны и гвардейцы — видите виноградники? А дальше Остапов.

— До резервов продержишься?

— Я всю ночь не стрелял, ваше превосходительство, все штыком да штыком. Теперь огнем велел, сил мало.

— Правильно, — сказал Скобелев, вставая. — Ну держись, поручик. При первой возможности выведем из боя.

— Брянов погиб, Ящинский погиб, а мы с Фоком живы, — словно не слыша генерала, лихорадочно сказал Григоришвили. — Перед боем пунш

варили. А унтера фамилию не спросил. Почему не спросил, ослиная голова? Теперь всю жизнь виноватым буду.

Он сокрушенно помотал головой, перевязанной лоскутом солдатской нижней рубахи, и наклонился к ведру.

— Дать сопровождающих, ваше превосходительство? — гулко спросил он оттуда, цедя сквозь зубы мутную воду. — У меня двое целеньких есть. Ни разу за всю ночь не ранены, вот чудо-то, ваше превосходительство, правда?

Скобелев от сопровождающих отказался и, бегло осмотрев удобные позиции Григоришвили, вышел на стык его отряда с пластунами, где его сразу же и окликнули, хотя он никого еще заметить так и не успел. Поговорив с кубанцами, двинулся дальше, но вскоре остановился, оглядываясь и вслушиваясь.

Чуть впереди пластунских позиций в глубь вражеской территории уходила широкая промоина. Турок нигде не было видно, и огня они здесь не вели. Подумав немного, генерал бесшумно спустился и, зажав в руке револьвер, осторожно пошел по дну глубокого каньона, настороженно прислушиваясь. Его вела не только присущая ему озорная любознательность. Этот глухой овраг с

почти отвесными стенами шел напрямик от берега, разрезая турецкую оборону, и, судя по тишине и безлюдности, не был должным образом оценен противником. Смутная идея уже шевельнулась в голове Скобелева, но для ее осуществления надо было точно знать, куда приведет каньон и не седлают ли турки его противоположный конец. И Скобелев сознательно рисковал, мельком подумав, что должен во что бы то ни стало успеть застрелиться, если нарвется на аскеров.

Каньон тянулся версты две, но ни турок, ни башибузуков не было видно. Затем промоина стала мельчать, разветвляться, явно приближаясь к истоку; удвоив осторожность, Скобелев продолжал идти, а когда дошел до конца, вполз на ближайшую возвышенность, укрылся в кустах и огляделся.

Саженях в трехстах впереди проходила дорога. По ней спешно двигались разрозненные турецкие части, то и дело скакали всадники, и Скобелев понял, что это рокада, опираясь на которую противник и манипулирует своими резервами в непосредственной близости от позиций. Он тут же отчетливо припомнил карту, представил на ней свой путь и догадался, что дорога эта ведет на Тырново и что именно по ней могут двигаться из

глубины основные турецкие подкрепления. Идея, которая смутно представилась ему как задача тактическая, приобрела вдруг значение задачи стратегической; теперь все решала быстрота.

Он скатился в обрыв и, уже ни о чем более не заботясь, побежал назад. Пот застилал глаза, сердце колотило в ребра, не хватало воздуха, но он, внутренне ликуя, не давал себе передышки. Он уже понял бой, он нащупал самое уязвимое место противника, он уже знал, как должно действовать, чтобы поставить последнюю точку в первом сражении на болгарской земле.

Возле своих позиций его чуть не обстреляли пластуны, сильно озадаченные внезапным исчезновением генерала. Наскоро объяснив есаулу, что тому необходимо срочно и по возможности скрытно занять расселину и во что бы то ни стало держать ее до подхода своих, Скобелев напрямик через низину Текир-Дере бросился к Драгомирову.

— Безупречно, — сказал Михаил Иванович, когда Скобелев торопливо объяснил ему идею. — С вашего разрешения, Михаил Дмитриевич, я упрощу задачу. Я прикажу Петрушевскому демонстрировать на Свиштов, пока вы не закончите марш и не перережете тырновскую дорогу.

Собирайте Четвертую бригаду, мне докладывали, что она уже переправляется. И — с Богом! Только… — Драгомиров озабоченно помолчал. — Выдержат ли фланги возможную атаку турок? Сколько там рот?

— Там нет рот, Михаил Иванович, — сказал Скобелев. — Там раненые солдаты под командованием раненых офицеров.

— Боевые артели, — с академическим спокойствием отметил Драгомиров. — Когда солдат знает свою задачу, он будет выполнять ее под любым началом. Очень интересный момент, Михаил Дмитриевич, очень интересный и в плане теоретическом. Рождается новая армия, основанная не на слепом подчинении, а на разумных действиях разумных солдат.

— Не знаю, как там насчет теории, а на практике все решает мужество, — сказал Скобелев. — В серых шинелишках. А мы до сей поры имен их выучить не можем.

И пошел на берег собирать прибывающую поротно 4-ю бригаду.

8

С утра турки предпринимали отчаянные попытки опрокинуть русских в Дунай. Свежие

резервы прямо с марша были брошены в бой против все тех же стрелков капитана Фока. Стрелки выдержали натиск, встретив атакующих прицельными винтовочными залпами: помогла артиллерия с левого берега, обрушившая на турок мощный шрапнельный удар. Фок вынес еще одно испытание духа, ни разу не заикнувшись о помощи.

Убедившись, что в этом месте русские стоят насмерть, турки перенесли атаку в центр, в долину Текир-Дере. Их стрелки поддерживали атакующих массированным ружейным огнем, но отряд Григоришвили защитил позиции, не дрогнув даже тогда, когда шальная пуля добила дважды раненного поручика. Командование принял казачий есаул, неожиданно бросив остатки своих пластунов во фланг атакующим; турки отошли, готовя новый приступ, но было уже поздно. В одиннадцать часов бригада генерала Петрушевского начала наступление на свиштовские высоты.

Солдаты Петрушевского еще на подходе к высотам, в виноградниках, попали под прицельный огонь турецкой батареи, стоявшей у Свиштова. Несмотря на сплошную завесу разрывов, русские упорно продвигались вперед; командовавший

турецкой батареей английский офицер в конце концов не выдержал:

— Сколько ни бей это мужичье, а оно все лезет и лезет!

И приказал готовить батарею к отходу.

Пока Подольский и Житомирский полки бригады Петрушевского упрямо лезли вперед, вызывая на себя огонь, Скобелев быстрым маршем вел своих стрелков через каньон к дороге на Тырново. Турки поздно заметили этот маневр, судорожными усилиями пытаясь сдержать натиск Скобелева. Оборона города была спешно свернута: опасаясь глубокого охвата, турки отошли без выстрела. Около трех часов пополудни русские части вступили в первый болгарский город.

Отряд капитана Фока вывели из боя последним. Все его солдаты были либо ранены, либо контужены и молча сидели на берегу возле своего командира в ожидании переправы. Здесь же санитары и перевязывали их, а проходившие мимо свежие части замолкали, и офицеры вскидывали руки к козырькам фуражек, отдавая честь тем, кто совершил невозможное. Первая еда и первая винная порция, доставленные с того берега, были отданы им. Они молча выпили свои чарки и устало жевали хлеб.

— Сидите, все сидите! — поспешно сказал Драгомиров, подходя. — Земно кланяюсь вам, герои, и благодарю от всего сердца. Вы сделали великое дело, которое никогда не забудет Россия.

— Да, — тихо сказал Фок. — А из всех пешек, кажется, один я вышел в дамки.

— Что вы сказали, капитан?

— Извините, ваше превосходительство, галлюцинирую. Разговариваю с теми, кого уже нет.

Ударами колонн Петрушевского и Скобелева, а затем и наступлением на левом фланге свежих частей, сменивших отряд Фока, русские к середине дня 15 июня освободили город Свиштов, перерезали дорогу на Тырново и отбросили турок к Рущуку. Плацдарм на правом берегу Дуная был расширен и углублен, турки отрезаны от береговой линии; русские войска спешно перебрасывались на противоположный берег, и саперы приступили к строительству наплавных мостов.

Замок с темницы народов, исстари именуемой Блистательной Портой, был сбит. Русские кавалерийские части готовились к стремительному броску в глубь Болгарии для захвата перевалов через Балканский хребет. Ценою восьмисот жизней Россия менее чем за сутки сумела не только

форсировать крупнейшую реку Европы, но и твердой ногой стать на другом берегу.

А галлюцинации капитана Фока оказались пророческими. К вечеру того же победного дня Остапов умер в госпитале от потери крови, а через сутки скончался и капитан Брянов. Из всех офицеров, которые пили пунш перед кровавой ночью переправы, в живых остался один лишь командир 3-й стрелковой роты капитан Фок.

Через сорок с лишним лет он вновь приехал туда, где прошли самые страшные и самые гордые часы его жизни. Жители Свиштова до сих пор вспоминают о седом высоком старике, который каждое утро в любую погоду ходил в устье Текир-Дере, а на обратном пути долго сидел на могиле капитана Брянова.

«Иду, Фок!..»

Брянову все же удалось исполнить последний, так мучивший его долг. На другой день госпиталь, в котором он лежал, посетил главнокомандующий великий князь Николай Николаевич-старший в сопровождении командира волынцев полковника Родионова. Он сразу же спросил о Брянове, и их подвели к лежавшему в забытьи капитану.

— Вот он, — с волнением сказал Родионов. — Де-

вять штыковых ран, а саблю так и не выпустил.

— Спасибо, Брянов, — сказал главнокомандующий. — От имени Его Величества поздравляю тебя с Георгием. — И, помедлив, положил орден на забинтованную грудь.

— Брянов, дружище, ты слышишь меня? — Полковник присел на корточки возле головы капитана. — Это сам главнокомандующий, Брянов.

Брянов медленно открыл глаза. Собрав все силы, зашептал что-то, и кровавая пена запузырилась на серых губах.

— Что он говорит? — в нетерпении спросил великий князь.

— Сейчас… — Родионов приник ухом к губам раненого. — Он без пенсиона, Ваше Высочество, а на иждивении у него беспомощная сестра.

— Ты заслужил пенсион, Брянов, — торжественно изрек Николай Николаевич. — Слышишь меня? Полный пенсион с мундиром. Поправляйся.

— Прощай. — Родионов поцеловал Брянова во влажный лоб. — Жаль, что мы с тобой так и не познакомились по-людски.

Это было последнее усилие, которое удерживало в Брянове искорку жизни. Он умер успокоен-

ным через час после этого разговора.

Первой крупной победе радовались шумно. Кричали «ура», звенели бокалами, устраивали парады и шествия, а в церквах торжественная «Вечная память» заглушалась ликующим «Многая лета».

И раздавали награды. Щедро — по спискам и в розницу, по встречам и по памяти, за дело и по случаю. По случаю давали, по случаю и забывали: поручик Григоришвили так ничего и не получил, а великий князь Николай Николаевич-младший, вся доблесть которого заключалась в том, что он не поспал ночь, присутствуя при погрузке на понтоны тех, кто шел в бой, нацепил Георгиевский крест. Иолшину тоже дали Георгия, как и всем командирам бригад, но Скобелева при этом забыли. Зная его мальчишескую обидчивость, командир корпуса Радецкий специально просил генерала Драгомирова посетить героя первого успеха русского оружия, дабы подсластить царскую пилюлю.

Драгомиров основательно подготовился к неприятному разговору, вооружившись логичными и, как казалось ему, неопровержимыми аргументами. Однако, к его удивлению, никого утешать не пришлось: чрезвычайно гордый

личным вкладом в победу, Скобелев воспринял романовскую забывчивость с полнейшим равнодушием.

— Да бог с ним, Михаил Иванович, — отмахнулся он. — Царь забыть может — Россия бы нас не забыла…

Эпилог

15 июня закончились бои на правом берегу. Отбросив турок от Дуная, русская армия спешно наводила мосты. К вечеру 19 июня была переправлена вся сосредоточенная ранее артиллерия, обозы и санитарные части. В ночь на 20-е понтонные мосты закачались на волнах под дробный перестук копыт: в Болгарию нескончаемым потоком вливалась основная ударная мощь России — ее знаменитые кавалерийские полки.

Долго, вплоть до Второй мировой войны, военные академии мира изучали опыт этой переправы. Анализировали, раскладывали по полочкам, учитывали все за и против, взвешивали силы сторон, а концы не сходились с концами.

По всем канонам военного искусства турки должны были сбросить в воду первый эшелон, высадившийся на неудобный для атаки берег без артиллерийского сопровождения и даже без ружейной поддержки. Должны были — и не сбросили: Россия опять воевала не по правилам.

Не по правилам воевали русский дворянин Брянов и потомок шведов Тюрберт, украинец Ящинский и немец Фок, поляк Непокойчицкий и

грузин Григоришвили и сотни других — русских и нерусских — истинных сынов России. Созданный еще Петром Великим русский офицерский корпус был уникальным по своему многонациональному составу. В этом корпусе, спаянном дружбой, обостренным чувством долга и кастовой честью, никто не интересовался, откуда родом офицер, — интересовались его мужеством и отвагой, доблестью и благородством. И солдаты шли за ними в любой огонь, потому что огонь врага уравнивал солдата и офицера, создавая тот необычайный сплав, который никогда не могли понять никакие иноземные специалисты.

Ошеломленные внезапным ударом, турки без сопротивления откатывались к Балканам, надеясь там, в узких горных проходах, остановить наступательный порыв русских. Однако сильные турецкие группировки по-прежнему нависали над Дунайской армией с востока и запада: опираясь на оборону Балканского хребта, турецкое командование рассчитывало концентрированными ударами этих группировок отрезать вторгшегося противника от речных переправ, окружить его и уничтожить. По законам стратегии русским предстояло вначале разгромить ударные соединения на своих флангах и только

после этого развивать планомерное наступление в глубь Болгарии.

— Рейд, — сказал Непокойчицкий на Военном совете. — Глубокий рейд сильной кавалерийской группы для захвата горных перевалов на Балканах. Я правильно понял вашу мысль, Ваше Высочество?

Николай Николаевич-старший важно наклонил лобастую голову. Генералы переглянулись.

— Турки сохраняют перевес в силах на наших флангах, — сказал осторожный Левицкий. — Этого нельзя не учитывать.

— Мы создадим два мощных заслона — восточный и западный. Их задача: заняв важнейшие опорные пункты, сдерживать противника. Только сдерживать!

В соответствии с этим планом 20 июня на Тырново выступил десятитысячный летучий отряд из драгун, гусар, казаков и шести дружин болгарского ополчения. 24 июня этот отряд нагнал его командир Иосиф Владимирович Гурко; начался стремительный бросок в Забалканье.

Не принимая боя, турки откатывались за перевалы. Война начинала представляться веселой прогулкой, и казалось, ничего уже не может быть страшнее, чем ночной бой первого эшелона

у устья Текир-Дере… Об этом часто говорили в армии. Вспоминали подробности, передавали слухи, сочиняли легенды. Особенно когда дошла весть о похоронах гвардии подпоручика Тюрберта.

Тело его прибило к берегу на левой, румынской стороне: он так и не переправился через Дунай. Отпевали его в Зимнице, в маленькой церкви, окна которой были распахнуты по случаю жары, и торжественные звуки «Вечной памяти» донеслись до царской резиденции.

— Кого отпевают?

— Гвардии подпоручика Тюрберта, Ваше Величество.

— Артиллерист? Помню, помню, Драгомиров докладывал…

В церкви было мало народу: уцелевшие друзья покойного, несколько офицеров, наслышанных о нем, подпоручик Лихачев да унтер-офицер Гусев, стоявший в ногах погибшего командира. Служба шла своим чередом, когда вдруг вошел император в сопровождении свиты. Свита забила церковь до отказа, а Александр, сделав знак поперхнувшемуся священнику продолжать отпевание, прошел к гробу Тюрберта и стал в головах.

— Странно все же, — сказал после похорон

поручик Ильин. — Чтоб государь почтил присутствием не члена августейшей фамилии…

— Почтил! — с раздражением перебил полковник Озеров: он сбежал из госпиталя на похороны и маялся от боли в перебитой ятаганом руке. — Государь не Тюрберта почтил, а подвиг. Высшая доблесть воина — сам сдохни, а товарища выручи. Вот эту доблесть государь и отметил…

Начиналось жаркое болгарское лето, солнце пекло немилосердно, и желтая пыль дорог намертво прикипала к пропотевшим солдатским рубахам. А турок не было. Удивлялись солдаты:

— Ну и война, братцы! Будто гуляем.

— Сбежал турка, видать.

— Те его напугали. Те, что в ночь дрались, путь нам пробивали. Вечная память им, братцы!

— Вечная память, — вздыхали солдаты.

Так, без боев, летучий отряд генерала Гурко перевалил через Балканы и ворвался в Долину роз. Западный отряд генерала Криденера скоротечным штурмом овладел крепостью Никополь. Турки легко сдавали города, отступали, уклонялись от боя, откатываясь на юг. Вот-вот должна была закончиться эта удивительная война, и русское интендантство решительно вычеркнуло из списка поставок зимнее обмундирование для

действующей армии. Все ждали скорой победы и грома колоколов, только старый Непокойчицкий хмурился и озабоченно качал головой.

А пока готовились к победе, турецкий дивизионный генерал Осман Нури-паша, пользуясь бездеятельностью Криденера, перебросил шестьдесят таборов своей отборной пехоты в русский тыл и занял никому не известный доселе городишко Плевну. А из Черногории на пароходах, любезно предоставленных англичанами, другой паша, Сулейман, перевез в Болгарию свою сирийскую армию, оказавшись вдруг на фланге летучего отряда Гурко. И эти две турецкие армии одновременно накинули петли на широко разбросанные русские войска. Узлы этих петель пришлись на город Плевну и Шипкинский горный перевал.

Все еще было впереди. И испепеляющий жар плевненских штурмов, и двадцатиградусные морозы Шипки, и подвиг румынского капитана Вальтера Морочиняну, и полный Георгиевский бант казачьего урядника князя Цертелева. Впереди было боевое крещение болгарского ополчения под Старой Загорой, донесение корреспондентов «на Шипке все спокойно», превратившееся в поговорку, и звездный час генерала Скобе-

лева-второго, ставшего национальным героем Болгарии.

Все еще было впереди.